С. ДУРЫЛИН

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ У ГЕТЕ В ВЕЙМАРЕ

Русское гетеанство менее всего может быть уложено в сравнительно узкие рамки «литературного влияния». Как осваивалось творчество Гете, какие отклики находило оно в современной ему литературной действительности,—все это вопросы конечно вполне законные и правомерные. Но, по существу, за ними встает другой вопрос—вопрос более общий—о русском гетеанстве как об идеологическом орудии классовой борьбы эпохи, орудии, получающем различный классовый смысл в зависимости от классовой физиономии «гетеанцев», в числе которых мы найдем представителей глубоко различных классовых группировок—от крупного вельможи, дворянина-крепостника, до разночинца.

Уже в эпоху наполеоновских войн правящие круги России используют мировое имя Гете для своих чисто политических нужд, пытаясь например оправдать экспансию на Восток русского крепостнического государства, опираясь на поддержку и сочувствие Гете. Таким образом проблематика «русского гетеанства» еще более расширяется и усложняется. Встает несколько неожиданный и на первый взгляд даже парадоксальный вопрос о русском гетеанстве как явлении русской внешней политики начала прошлого века.

К сожалению все эти вопросы оставались до сих пор не только не решенными, но и не поставленными. В буржуазной русской историографии, если не считать стоящей на исключительно низком научном уровне работы Розова («Пушкин и Гете», Киев, 1908), небольшого этюда Каллаша («Русские отношения Гете» в сборнике «Под знаменем науки», М., 1902) да незначительного числа мелких высказываний отдельных исследователей, к тому же высказываний, роняемых обычно походя,—для решения этих вопросов не сделано ничего. Так же или почти так же обстоит дело и в немецкой гетеане. Да и то немногое, что писалось до сих пор на эту тему, не столько может служить отправной точкой для дальнейшей работы, сколько должно явиться объектом критического преодоления. Классовость всякой науки, и науки историко-литературной в том числе, сказалась здесь в полной мере.

Интереснейшая проблема о взаимоотношениях Гете с Россией его эпохи не только не разрешена, но даже не поставлена во всем объеме задач марксистского исследования. Это исследование еще ждет своего автора. Но этот будущий автор встретит на пути к разрешению поставленных задач серьезнейшие препятствия, которые в значительной мере устраняет для него публикуемая здесь работа С. Н. Дурылина.

Дело в том, что путь к исследованию проблемы связан с совершенно исключительными трудностями по подбору материала. Многие историко-литературные темы обеспечены крупными архивными массивами, фундаментальными изданиями документов, естественно сложившейся в ходе документальных напластований концентрированностью фактического документального материала. Имеется очень часто какой-либо крупный, концентрированный фонд фактов, за которым недалеко ходить, который доступен и с которого просто и легко начать фундаментальное исследование. Ничего подобного нет для поставленной выше темы. Ее материал исключительно распылен и исключительно труден для собирания. Его надо по мельчайшим крупицам извлекать из многих разбросанных в разных концах архивных связок, из многотомных биографий, пыльных комплектов старых журналов, забытых анонимных произведений, редчайших безвестных памфлетов и брошюр, из случайных разрозненных листков частных писем, из отметок на полях книг, из надписей на титульных листах. Больше того: надо «сорвать маску» со многих «научных изданий» и обнаружить материал там, где он ранее упорно отрицался. Когда эти мельчайшие крупицы и осколки соединяются все вместе перед читателем, он удивленно чувствует грандиозность и захватывающий интерес поставленной темы, прочность и огромную глубину того фактического фундамента, который может быть под нее подведен. Но

понадобились многие годы для этой кропотливой работы сбора рассеянных крупиц. И тот факт, что предлагаемая читателю работа, являющаяся результатом этого сбора, заполняет огромным материалом то в сущности пустое место, которое раньше было в научной литературе под рубрикой «Гете в его взаимоотношениях с Россией его эпохи»,—этот факт уже говорит за себя.

Легенда о пресловутом «олимпийстве» Гете, составляющая ядро буржуазной гетеаны, привела к тому, что подлинные пружины интереса Гете к России и России к Гете, в особенности гетеанских происков и поползновений русского самодержавия и его адептов, неизменно оставались в лучшем случае просто нераскрытыми, а в худшем—сознательно или бессознательно завуалированными.

В этом смысле работа С. Н. Дурылина по полноте охваченного в ней материала и по содержащимся в ней попыткам дать материалистическую интерпретацию этого материала не имеет никаких прецедентов ни в русской, ни в зарубежной науке о Гете. Автором очень широко обследованы важнейшие печатные источники этой темы, источники часто трудно доступные, погребенные на страницах старых журналов и всяких исторических сборников. Со своей стороны редакция «Литературного Наследства» обследовала по этой теме основные фонды московских и ленинградских архивохранилищ и т. д. Не ограничиваясь советскими источниками, редакция предприняла поиски соответствующих материалов и в крупнейших из заграничных фондов. Так например, в веймарском архиве по указанию редакции были обнаружены и извлечены впервые публикуемые ниже столь ценные и важные документы, как письма В. К. Кюхельбекера, А. И. Тургенева, Федора Толстого и др.; неизвестные стихотворения Жуковского и Глинки и т. д.

Правда, работа С. Н. Дурылина далека от того, чтобы дать марксистское исследование темы во всем ее объеме. Свое исследование С. Н. Дурылин строит почти исключительно на материале личных встреч Гете с Россией его эпохи, с русскими современниками, используя все остальное лишь постольку, поскольку это необходимо для создания определенного исторического фона, для реставрации исторической обстановки, в условиях которой эти встречи происходили и вне которой совершенно не может быть понят их исторический и классовый смысл.

В конце XVIII, в начале XIX века Веймар не просто мелкое немецкое княжество, случайно ставшее местопребыванием Гете, но и современные Афины, говоря языком той эпохи, центр европейской образованности и центр широкого культурного паломничества, привлекающего многочисленных посетителей, стоящих на самых разнообразных ступенях социальной лестницы,—нечто аналогичное тому, чем был несколькими десятилетиями раньше Ферней и чем стала столетием позднее Ясная Поляна. Дом Гете в последнее тридцатилетие его жизни принимал «необозримый ряд иностранных гостей со всего цивилизованного мира», говорит биограф поэта. Поэтому законно выделение темы о встречах Гете с Россией его эпохи из общей и более крупной темы «Гете и Россия».

Выше мы указали, что автор не довольствуется ролью регистратора фактов и их систематизатора, но и пытается как-то связать все эти факты воедино, дав им социологическое обоснование. В этих попытках он не всегда бывает достаточно четок и последователен, не всегда делает все те выводы, которые можно было бы сделать из обследуемого материала, не всегда решается поставить точку над и.

Под каким углом зрения должна рассматриваться та сложная система исторических, культурных и всяких иных взаимодействий, которая обозначается понятием русского гетеанства? Прежде всего под углом зрения той борьбы за Гете, которая началась уже при его жизни и не кончена еще и сейчас, когда агонизирующая буржуазия пытается опереться на Гете в защите своего господства, представив его оплотом буржуазного «порядка» и «законности». Ей противостоит международный революционный пролетариат, извлекающий из поэтического и философского наследия Гете все, что достойно стать одним из камней социалистической культуры.

Основные направления этой борьбы и ее различные стадии схвачены С. Н. Дурылиным не всегда удачно. Нередко он теряет за субъективными намерениями человеческих помыслов и поступков их объективный классовый смысл. Ему не хватает методологической четкости и глубины проникновения марксиста, чтобы уловить всю сложность экономического, политического и литературного переплета эпохи, его взгляд часто скользит лишь по поверхности, и еще чаще там, где нужен острый скальпель марксистского анализа, чтобы вскрыть и показать читателю всю подоплеку изображаемых явлений, мы с огорчением видим, что наш автор работает обычным ножом. Отсюда и та нечеткость ряда характеристик персонажей, которую заметит внимательный читатель.

Эти недостатки—большие недостатки. Их ни на минуту не должен упускать из виду читатель, вошедший в работу С. Н. Дурылина. Об этих недостатках надо пожалеть: они много поубавили в ценности его труда. Но они не могут и не должны умалять его значения.

Несмотря на все недостатки работы С. Н. Дурылина, вряд ли могут быть сомнения в целесообразности ее опубликования. Одно то, что в ней впервые собран, систематизирован и как-то обобщен огромный фактический материал, касающийся русского гетеанства в самых разнообразных его проявлениях и доселе выпадавший из научного оборота, может ее оправдать. Она не решила поставленной проблемы, но безусловно дала солидный материал для ее решения.

Редакция

ВСТУПЛЕНИЕ

ГЕТЕ И РОССИЯ.—ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ И НЕОБХОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.—ЗНАЧЕНИЕ „РУССКИХ" ТЕМ ДЛЯ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ ГЕТЕ.—ПОЧЕМУ ЛЕГЕНДА О ГЕТЕ СТОРОНИЛАСЬ ЭТИХ ТЕМ?—ОБЪЕМ, СМЫСЛ И ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГЕТЕ И РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.—НЕОБХОДИМОСТЬ КЛАССОВОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.—НЕМЕЦКИЕ ПОПЫТКИ ПОСТАНОВКИ ТЕМЫ: G. SCHMID, O. HARNACK, E. ZABEL.—АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ В „GERMANOSLAVICA" РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ ГЕТЕ.—РУССКИЕ ПОПЫТКИ ПОСТАНОВКИ ТЕМЫ: КАЛЛАШ, АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛОВСКИЙ, ПОЛОВЦОВ.—НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ ГЕТЕ.—РАЗБРОСАННОСТЬ АРХИВНОГО МАТЕРИАЛА.—НЕСОВЕРШЕНСТВО РАБОТЫ.

«Гете и Россия»—так будет называться одна из глав будущей биографии Гете, которая покончит с легендой об «олимпийце» из мелкопоместного Веймара и займется жизнью человека, в котором «человеческое» играло всеми цветами своего спектра, в котором Фауст уживался с церемонным придворным, «с торжественной серьезностью занимавшимся,—по словам Энгельса,—ничтожнейшими делами и menus plaisirs ничтожнейшего немецкого двора».

В легенде о Гете такая глава невозможна: спектр Гете-человека играл бы в ней теми своими цветами, которых не любит легенда: от этого ни в одной из книг о Гете, старых и новых, ни у Льюиса, ни у Бельшовского, ни у Гундольфа, нет такой главы. Материал для этой главы и многообразие тем, которые должна она будет затронуть, поистине огромны.

Первая группа тем связана с отношениями Гете к России через книгу. Предстоит выяснить историю русских переводов Гете, проследить его влияние на литературу, изучить отображения Гете в русской историографии и литературной критике, отыскать следы научных идей Гете в работах русских ученых, выявить отклики русской музыки, живописи, театра на творчество Гете и т. д.

Вторая группа тем связана с отношениями Гете как живого современника к России Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I; полвека русской истории должны быть сопоставлены с пятьюдесятью годами жизни Гете: первые упоминания Гете о России и первые встречи его с русскими относятся еще ко времени его пребывания в Лейпцигском университете (1765—1768). Здесь легко выкристаллизовываются темы об интересе Гете к новейшей русской истории (Петр I и Екатерина II), об отношении Гете к участию России в борьбе против Наполеона, о роли Гете в русской политике веймарского двора; сами собою выдвигаются темы о политико-экономической зависимости Веймара от русского двора и об отражении этой зависимости в личной биографии Гете; из этих тем естественно выделяются дополнительные: Гете и Мария Павловна, Гете и русская аристократия. В круг тем «Гете и русская культура» входят: «Участие Гете в правительственно-просветительной деятельности эпохи Александра I»,

«Гете и Петербургская Академия Наук», «Гете и русские художники», «Русские писатели у Гете в Веймаре». Особняком стоит тема: «Немецкие друзья Гете в России».

Остановимся на некоторых из этих тем.

Биографами Гете достаточно подчеркивалась особая позиция, занятая им в тяжбе между Наполеоном и Германией: министр одного из феодально-провинциальных отечеств старой Германии, он как верный и блистательнейший представитель «третьего сословия» по существу стоит на стороне врага Германии—Наполеона, сметающего метлой войны весь залежавшийся сор бесчисленных феодальных курятников, в которых политически и экономически гнила Германия, и готовит нужную площадь для Германии буржуазной. Наполеон отлично осведомлен о настоящих симпатиях Гете и сам ищет с ним союза как с великой державой европейской культуры. В эпоху борьбы Германии с Наполеоном в 1813—1814 гг. Гете стоит в стороне от так называемого национального движения: он не верит в его культурно-историческую правоту. Но в этой борьбе есть третья сторона: Россия и Александр I. Отношение Гете к этой третьей стороне усложняется тем, что самое политическое существование Веймара связано теснейшим образом с поддержкой России, обусловленной династическими связями. Гете больше, чем кто-либо, участвовал сознательно в закреплении политической прочности Веймара путем подчеркнуто-предупредительного внимания и почтения, оказываемого русскому императору, его двору и дипломатии. Маленький Веймар в 1805—1815 гг. нередко являлся узлом, где стягивались сложнейшие политические нити. Проследить роль Гете в этом сложном переплете политических взаимоотношений составляет одну из задач биографа Гете. Задача эта не только не решена, но она даже не поставлена на очередь.

Совершенно в таком же положении—связанная с нею задача-тема «Гете и русский двор». Гете лично знал двух русских императоров и трех императриц; с одними из них он был в переписке, другим писал стихи; это—факты, которые каждый может извлечь из биографии и сочинений Гете. Второй ряд фактов менее известен: отношения Гете к этим особам и их окружению носили характер такой почтительной обязательности, которая граничит почти с верноподданничеством. Ближайшее изучение вопроса показывает, что политико-экономическая зависимость Веймара от России делала веймарский двор отделением петербургского, и веймарский придворный, тайный советник Вольфганг фон Гете, являлся петербургским придворным (хотя в Петербурге никогда не бывал) с вытекающими отсюда следствиями социально-политическими, биографическо-бытовыми и литературными.

Этот вывод приводит к третьей теме: экономические отношения Веймара и русского двора в их связи с отношениями политическими и культурно-литературными. В бюджете Веймара «дотации» Марии Павловны, шедшие из кармана эксплоататоров российского крестьянства, занимали чрезвычайно видное место. Многие из самых прославленных культурных учреждений Веймара, связанных с именем и с прямым руководством Гете, не могли бы существовать, еслиб не русские крепостные червонцы, получаемые из рук Марии Павловны. Эта русская экономика веймарских Афин первой четверти XIX века не только не изучена, но «благоразумно» обойдена молчанием немецкими исследователями, между тем как прямые заявления Гете в доступнейших источниках, каковы его дневник и раз-

говоры с Эккерманом, не позволяют и на минуту усомниться в действительности этого факта первостепенной важности.

Все эти три смежные темы ждут внимания советских историков. Без их тщательной разработки всякое построение биографии Гете в его последнее тридцатилетие было бы лишено социальной глубины и тем самым—научной достоверности. Темы эти требуют пристального архивного изучения. В СССР должны быть привлечены к делу архивные фонды, поступившие из б. министерства двора, из управления уделов, из б. министерства иностранных дел, из личных архивов Марии Федоровны, Александра I и Николая I; в Веймаре должны быть привлечены к делу архивы б. канцелярии Марии Павловны и б. герцогских учреждений (театра, библиотеки, рисовальной школы, благотворительных учреждений) до «Женского общества» включительно. Только таким путем можно обнаружить всю степень политической и особенно экономической зависимости Веймара Гете от крепостной империи Александра I и Николая I. Но и намеченный круг архивов тесен: даже архив военного ведомства мог бы дать ценнейшие документы. Пример—письмо Марии Павловны к Аракчееву, которое читатели найдут ниже.

Сказанного достаточно, чтоб показать сложность постановки темы «Гете и Россия». Постановка этой темы во всей полноте доступна будет лишь тем биографам Гете, которые отрешатся от двух легенд: об «олимпийстве» Гете и об «афинизме» Веймара. Поставь биографы—сказатели этих легенд—только три эти смежные темы, бегло здесь обозначенные, на них полился бы такой поток архивного материала, который снес бы мельницу олимпийско-афинской легенды в биографии Гете. На «счастье» биографов, до Октябрьской революции почти весь этот материал был заморожен в никому недоступных хранилищах.

Из цикла тем, связанных с живыми отношениями Гете к России, здесь выбрана одна: «Русские литераторы у Гете в Веймаре». Объем, содержание, границы темы ясны. Речь будет итти не о литературном воздействии Гете на русскую литературу (переводы, влияния в области поэтики, идеологии, стиля, критические изучения), но о жизненных отношениях Гете к российским литераторам его эпохи. Основной формой таких отношений будут личные встречи русских писателей с Гете в Веймаре и в немногих случаях—в Карлсбаде, Теплице, Иене, но не будут обойдены и другие формы личного общения: переписка с Гете, посылка ему книг и стихов, отдача своих произведений на его суд, посещение его жилища, сношения с близкими его друзьями, вводящими в круг его жизни и творчества. «Писатель»—в границах нашей темы и в пределах эпохи, ею затрагиваемой,—это не писатель-профессионал. В этом смысле понятие «писатель» истолковывается в настоящей работе достаточно широко: под него подойдут и известный писатель, печатающий свои произведения, вроде Жуковского, и русский дипломат, который всю жизнь пишет стихи и читает их по салонам, не заботясь о предании их тиснению.

К жизненным встречам и прямым дружеским, ученическим или менее глубоким сношениям с Гете русские писатели приходили конечно не раньше, чем испытав на себе воздействие творчества и поэзии Гете: прежде чем быть посетителями дома Гете, все они были в той или иной степени читателями его книг, а некоторые из них—еще и переводчиками его в России. Таким образом рассказ о жизненных встречах русских писателей с Гете неизбежно оказывается и историей мыслительного и творческого влияния

Гете-писателя на определенный круг русских писателей, но история этого влияния должна умещаться при этом в пределах личных или групповых (например «московские любомудры») биографий. Предлагаемые в этой работе биографические страницы из жизни целого ряда писателей не могут ни в какой мере притязать на полноту, но тем не менее все эти страницы сшиты одной нитью. Истолкование тяги русских арзамасцев, романтиков и т. д. к Гете всегда имеет классовое содержание: русский арзамасец, когда едет к Гете, не оставляет «русского барина» в России, а везет его в себе в Веймар; «московский шеллингианец» приезжает к Гете со всей своей неснимаемой социальной нагрузкой: приезжает не только «с душою прямо геттингенской», но и со всей своей социальной наличностью: богатого крупнопоместного «архивного юноши», записанного в такую-то дворянскую родословную книгу, или наоборот—разночинца, дворянина только по отцовскому чину, внука полкового лекаря из бурсаков. В свою очередь и сам Гете как участник своего биографического эпизода—сношений с русскими—не перестает быть веймарским министром, придворным, чиновником; некоторые эпизоды его встреч с русскими особенно ценны для будущей биографии Гете, которой нужно ждать от марксистского литературоведения: в них особенно ясно выступает классовая сущность Гете.

Однако было бы грубейшей ошибкой оставить эти встречи русских писателей с Гете самозамкнутыми в отдельные эпизоды отдельных биографий; все они происходят на одной общей исторической почве, в каждом из них ощущается давление одной и той же социальной атмосферы. Цепь встреч Гете с русскими писателями, звено в звено, сцепляется с такой же цепью его встреч с русскими аристократами, дипломатами, военными, придворными, великими князьями и императорами.

Если бы в какой-либо мере были изучены отношения Гете с русским двором, знатью, дипломатией, исследователь литературных звеньев цепи русских отношений Гете мог бы воспользоваться результатами изучений других звеньев этой цепи: политических, экономических и т. д.; он мог бы и сам базироваться, и отослать читателя к соответствующим историческим и социологическим сочинениям. Но таких изучений нет, и историку литературы поневоле приходится самому браться за ту долю социолого-исторической работы, какая ему необходима для его историко-литературных построений, но какую он с радостью взял бы из более уверенных и опытных рук историков-специалистов.

Читатель найдет далее главу «Гете в политике Александра I и Николая I». Она сплошь посвящена таким посетителям Гете, которые ничего общего не имеют с литераторами; в главе «Официальные и официозные гетеанцы» и в некоторых других местах моей работы он опять встретится с подобными же «гетеанцами» в мундирах, эполетах, при шпагах, или с дипломатическими портфелями. Это—та часть моей работы, которая должна была бы выйти из-под пера историка. В работе моей читатель найдет достаточно и других мест, которые—на первый взгляд—как бы выпадают из поставленной темы: он найдет сведения о сношениях Гете с русскими художниками, о русских чтениях Гете, об участии Гете в основании Харьковского университета, об отношениях Гете к Академии Наук и т. д. Еслиб существовали работы на эти темы, смежные с основной моей темой, я мог бы ограничиться простыми ссылками на них. Но работ этих нет, и мне опять приходилось самостоятельно проделывать для своих историко-ли-

тературных целей ту долю работы, которую хотелось бы просто заимствовать у историков искусства и культуры.

Все это расширяет и усложняет задачу исследования, намеченную темой «Русские писатели у Гете в Веймаре»: русские писательские посещения Гете становятся фактом, производным из другого, более крупного и сложного первичного факта—политико-социальных отношений Гете к России императоров и крепостного права. Поскольку исследование этого первичного факта не сделано доселе ни одним исследователем, русским или немецким, его приходилось делать (с неизбежными, повторяю, промахами и ошибками) в той мере, какая была необходима, чтобы перейти к детальному исследованию факта производного: личных сношений русских писателей с Гете.

История и смысл многих русских литературных знакомств Гете были бы совершенно неясны для читателя, если бы им не предшествовали страницы, посвященные русским политическим, придворным и официальным отношениям Гете. Даже летопись встреч Гете с таким первостепенным писателем, как Жуковский, оставалась бы неясной и неполной, если бы были оставлены без внимания отношения Гете к русскому двору.

В русской и немецкой литературе существует несколько опытов изучения отношений Гете и русских писателей.

Начало было положено немецкими исследователями. Мне не удалось ознакомиться с заметкой «Goethe in Russland» («Zeitung für elegante Welt» 1833, № 130, v. 6); другая одноименная заметка H. König'a «Goethe in Russland» («Frankfurter Telegraph», Neue Folge, № 17, April 1837, S. 129—131) рассказывает в двух словах о «Московском Вестнике», Шевыреве и его переводе «Елены» и приводит письмо Гете к Н. Борхарду в Москву, вызванное этим переводом. Еще в 1832 г. стали известны сношения Гете с Жуковским: в книге «Goethes letzte literarische Thätigkeit, Verhältnis zum Ausland und Scheiden, nach den Mitteilungen seiner Freunde dargestellt von Dr. Karl-Wilh. Müller, Jena» упомянуто о свидании 1827 г. и о стихах, написанных к Гете Жуковским; в 1883 г. «Goethe-Jahrbuch» (Hgg. von Ludwig Geiger, Frankf. a/M., 1883, B. IV) напечатал письмо Гете к Жуковскому и снабдил его (стр. 177—179) заметкой об их отношениях. В 1904 г. Adelgeid von Schorn издала письма канцлера Мюллера к Жуковскому («Deutsche Rundschau», Heft 11, S. 277—288). В 1888 г. появилось «исследование»: Dr. Georg Schmid, «Goethe und Uvarov und ihr Briefwechsel» («Russische Revue», B. XVII, Petersburg); «исследователь» понял свою задачу очень просто: напечатав переписку Гете и Уварова, он воспользовался ею, чтоб пропеть хвалебный гимн Уварову, возведя его в чин «друга Гете» и творца русской культуры. В 1890 г. появилась статья Otto Harnack, «Goethes Beziehungen zu russischen Schriftstellern» («Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur». Hgg. von Dr. Max Koch u. Dr. L. Geiger, Neue Folge, B. III, Hf. 4—5. Berlin, S. 265—274); статья вошла в книгу Otto Harnack, «Essais und Studien zur Literatugeschichte», Braunschweig, 1899, S. 231—237); это ряд беглых заметок о тех же Уварове, Жуковском, Шевыреве как переводчике «Елены» с прибавлением сведения о Пушкине: о «Сцене из «Фауста» и о «пере Гете» (заимствовано у Анненкова). Бессодержательна заметка: Arth. Hoffmann, «Puschkin und seine Beziehungen zu Goethe» («S.-Petersburg. Zeitung», 1912, Montagsblatt, S. 428). В 1921 г. в издании «Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft» (B. VIII, S. 27—48) напечатана статья

известного критика Eugen Zabel'я: «Goethe und Russland». Работа поражает устарелостью материала и полной методологической беспомощностью. Можно лишь развести руками, как подобная статья, не дающая нового материала, совершенно игнорирующая необъятный материал по России, заключенный в дневниках Гете, и изобилующая грубыми ошибками, могла появиться на страницах специального ученого издания, посвященного изучению Гете! Последней новинкой в немецких изданиях из нашей области являются две статьи в специальном гетевском выпуске издания «Germanoslavica», Vierteljahrsschrift für die Erforschung der germanisch-slavischen Kulturbeziehungen, Jahrgang I, 1931—1932. Heft 3, I Goetheheft, Verl. v. K. Rohren (Brünn): A. P o g o d i n (Belgrad): «Goethe in Russland» и R u d o l f J a g o d i t s c h (Wien):«Goethe und seine russische Zeitgenossen» (даны лишь две главы: «Goethe und der russische Hochadel in Weimar» и «Russische Dichter bei Goethe in Weimar»; продолжение обещано в № 5). Эти статьи, не имеющие ровно никакого научного значения, не использующие и десятой доли наличного, уже известного в печати материала о российских связях Гете, отличаются совершенной теоретической беспомощностью. Зато тем яснее выступает их политический смысл, сводящийся к тому, чтобы созданием иллюзии гетевского олимпийства позволить империалистической буржуазии использовать Гете в своих интересах. Статья Погодина дает поверхностный набросок литературных воздействий, полученных русским читателем и писателем от Гете. Статья Ягодича ставит целью «в первую очередь установить многосторонние личные отношения Гете к России и к его русским современникам, не входя более глубоко в историко-художественные и идеологические связи, и характеризовать место и значение Гете в развитии русской литературы того времени» (S. 348). Ягодич привлекает больший материал, чем его предшественники, но в русской части он пользуется почти исключительно тем, что сообщено в цитатах и ссылках Александром Веселовским в его книге о Жуковским, и тем, что попало в «Goethe-Gespräche» Biedermann'a. Ему попрежнему остается неизвестен ряд ранних посетителей Гете (Ханыков, Греч, Стурдза и др.), пропущенных Веселовским. Не расширяя материала за пределы Biedermann'a и Веселовского, Ягодич не хочет относиться к нему критически: он ни единым словом не подвергает сомнению похвальное слово Уварову, напечатанное Schmid'ом, цитирует со спокойной совестью место из подложных записок Смирновой, повторяет легенду о Марии Павловне как о музе Эгерии, отсылая читателя к панегирической статейке Lily von Kretschmann, и т. д. По существу Ягодич дает искаженную, неверную, фальсифицированную картину. Для Ягодича не существует вопроса о пересмотре легенд в биографии Гете: он сам творит—в 1932 году!—в духе и силе старой легенды: она тщится поддержать миф о веймарском афинизме и гетевском олимпийстве, которая всегда была на руку политической реакции.

В русской литературе Уваров сам—в своей речи 1833 г.—разгласил о своих отношениях к Гете; рано стали известны отношения к Гете Жуковского (речь С. П. Ш е в ы р е в а «О значении Жуковского в русской жизни и поэзии», М. 1853 г.; в дальнейшем—заметка П. А. В и с к о в а т о в а «Об отношениях Жуковского и Гете» в «Литературном Вестнике» 1902 г., кн. 5 и очерк Е. В. П е т у х о в а «Письма В. А. Жуковского к канцлеру Фридриху фон Мюллеру» в «Новом сборнике статей по славяноведению, составленном учениками В. И. Ламанского». СПБ., 1905 г.) и т. д. Но пер-

вой попыткой взять вопрос в более широком объеме является заметка В. В. Каллаша «Русские отношения Гете» («Под знаменем науки», юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженка. М., 1902, стр. 178—184 и дополн. на стр. 738). Содержание заметки до крайности скудно: немецкие источники обойдены вовсе; перепечатаны письмо Гете к Борхардту (стр. 180—183), стихи к Гете Веневитинова и Хвостова и упомянуты Жуковский, Шишков, Уваров, А. Тургенев и А. Толстой. Акад. А. Н. Веселовский уделил много места отношениям Жуковского и Гете в десятой главе своего труда «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения» (П., 1904; 2-е изд., П., 1918): им были привлечены впервые в России дневники Гете, сообщения Эккермана и канцлера Мюллера; в примечаниях даны на основании немецких и русских источников сведения о посещениях Веймара и встречах с Гете Шишкова, Кюхельбекера, А. Тургенева, Шевырева, Кошелева, Л. А. Яковлева, Блудова, Вигеля. Но и А. Н. Веселовскому остался неизвестен целый ряд русских посещений и встреч с Гете: Батюшкова, Ханыкова, Стурдзы, Греча, Лобанова-Ростовского, Рожалина, кн. З. Волконской, Э. Мещерского. В руках А. Н. Веселовского были неизданные дневники А. И. Тургенева, но он не воспользовался ими для рассказа о посещениях Гете Тургеневым (стр. 319, изд. 1918 г.), а построил его только на печатном материале. В 1904 г. попытку написать исследование на тему «Гете и Россия» делал А. В. Половцов; 28 сентября 1904 г. он обратился с письмом к Л. Н. Толстому, в котором спрашивал его мнение о Гете и передавал план своей предполагаемой книги, первым отделом которой были «Непосредственные личные отношения Гете к русским: Жуковскому, Уварову, Пушкину, Вьельгорскому, Шевыреву и другим» (см. «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка, 1878—1906 гг.», Л., 1929, стр. 358—359). Сколько мне известно, труд Половцова не появлялся в печати ни в целом виде, ни по частям.

Задачей моей работы было выявить и по возможности сгруппировать весь печатный материал, связанный с моей темой, и тем самым дать возможность для дальнейших выводов и обобщений будущим гетеведам. Проследить русские связи Гете, вскрыть, где можно, их социальную подоплеку; показать их закономерность, очертить их развитие—эти задачи (не мне судить об их выполнении) были для меня руководящими. Для этого пришлось прежде всего установить список русских писателей и художников, имевших личное общение с Гете (свиданием, письмом, посылкой своих книг и рукописей). Список этот превосходит в четыре раза список Александра Веселовского, называет ряд имен, неизвестных русским и немецким исследователям вопроса (В. В. Ханыков, А. С. Стурдза, гр. Р. А. Эдлинг, Н. И. Греч, Ф. Н. Глинка, кн. А. Я. Лобанов-Ростовский. кн. Э. П. Мещерский, Н. И. Кривцов, А. С. Норов, П. И. Полетика, Е. Кульман, В. А. Казадаев), тем не менее я не считаю его исчерпывающим: при дальнейшей работе в архивах возможны его дополнения. Список устанавливает жизненные связи с Гете целой плеяды русских писателей нескольких литературных эпох и поколений—от Радищева до славянофила Кошелева.

Материалом для моей работы послужили, с одной стороны, дневники, записки, воспоминания, письма, стихи русских посетителей Гете, с другой—дневники, письма, высказывания самого Гете и его ближайших веймарских друзей. Все эти свидетельства о русских посетителях, идущие с немецкой стороны, за редчайшими исключениями появляются впервые на

русском языке. Систематизированный свод русских и немецких свидетельств, легший в основу работы, дал возможность обнаружить несколько совершенно забытых историками литературы эпизодов из истории русских отношений Гете, а в историю более известных русских знакомств Гете внести ряд новых страниц или черт, не попадавших доселе в поле зрения немногочисленного числа исследователей, интересовавшихся темою. Так, впервые привлечены мною путевые записки Н. И. Греча, С. П. Шевырева, кн. З. А. Волконской, воспоминания гр. Р. С. Эдлинг, письма К. Н. Батюшкова и Н. М. Рожалина, письмо и стихи гр. Д. И. Хвостова, некролог А. И. Тургенева, писанный веймарским канцлером Мюллером, совершенно забытая статья кн. Э. П. Мещерского «Weimar» и мн. др. Распыленность печатного материала, нужного для работы, была крайне велика: отсутствие каких-либо обобщающих работ о Гете и России заставляло искать его в самых неожиданных источниках, редко попадающих в поле зрения не только литературоведа, но и историка. Разбросанность материала не позволяет надеяться, что удалось обнаружить все относящееся к Гете.

Архивные хранилища СССР дали для моей работы весьма ценный и до сих пор неизданный материал: письма вел. кн. Марии Павловны к императрице Александре Федоровне, листы из альбома В. А. Жуковского, веймарские и дрезденские записи дневников А. И. Тургенева 1826, 1827 и 1829 гг., его же письмо к И. И. Козлову о Гете, письмо С. П. Шевырева к А. П. Елагиной о посещении Гете (1829), дневник позднейшей поездки Шевырева в Веймар, письмо гр. М. Ю. Вьельгорского к Жуковскому из Веймара (1829) и др. Покойному Вл. М. Голицыну обязан воспоминаниями о В. А. Казадаеве. Весьма ценными оказались для моей работы обнаруженные С. А. Мухиным в библиотеке б. Павловского дворца книги Гете с его автографами, принадлежавшие имп. Марии Федоровне. Еще ценнее найденная в Публичной Библиотеке в Ленинграде книга Гете, подаренная им Кюхельбекеру.

Весь этот материал, впервые являющийся теперь на свет, существенным образом расширил объемы нашего знания о русских отношениях Гете. Несомненно однако, что это только начало тех находок в наших архивах, которые должны привести к более углубленному постижению исследуемой темы.

Благодаря исключительно внимательному отношению к моему труду и активнейшему содействию редакции «Литературного Наследства» мне была дана возможность воспользоваться и теми сокровищами, которые хранятся в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре и в «Доме Гете» во Франкфурте-на-Майне. Этими сокровищами не пользовался доселе ни один из русских и немецких исследователей русских отношений Гете. Объем настоящего труда, и без того вышедший далеко за пределы, обычные для журналов, не позволил мне воспользоваться очень многим из извлеченного из веймарского архива. До отдельного издания моего труда я откладываю опубликование писем к Гете кн. А. Щербатовой, гр. Г. К. Разумовского, гр. Северина Потоцкого, Г. А. Вилламова, Ф. Отто, проф. И. Шада; в настоящем издании я ограничиваюсь упоминаниями о них и напечатанием одного-двух. На предлагаемых ниже страницах читатель впервые найдет в печати стихотворения В. А. Жуковского и Ф. Н. Глинки, посвященные Гете; письмо В. К. Кюхельбекера с изъяснительным переводом одного из переложений Жуковского из Гете и с собственным стихо-

творением «К Промефею», автограф которого был неизвестен; письмо кн. З. А. Волконской к гр. К. Эглофштейн; рисунок Е. Рейтерна; письма к Гете А. И. Тургенева, Д. И. Хвостова, Ф. П. Толстого, А. А. Кавелина, печатаемые с автографов; страницы с записями ранних русских посетителей «Дома Гете» во Франкфурте. Обследование русских книг личной библиотеки Гете дало возможность установить ряд важных фактов в истории его русских отношений. Такое же значение имело знакомство с подробным инвентарем русских вкладов в знаменитые коллекции Гете (медали, портреты, минералы и т. д.).

Богатство и неожиданность многих из этих литературных находок только подтверждают уже высказанную мысль, что полное овладение исследуемой темой возможно будет лишь тогда, когда произведена будет длительная, планомерная работа в архивах. Один веймарский архив насчитывает до 55 000 писем, полученных Гете и расположенных ныне по годам. Новые находки писем русских корреспондентов в нем вполне вероятны: для этого необходимо установить точную хронологическую канву русских знакомств Гете. Настоящая работа хочет положить начало этому делу. Разбросанность нужного материала велика: в Ленинграде мне его дали Публичная Библиотека, Институт Новой Русской Литературы (б. Пушкинский Дом) Академии Наук СССР, в Павловске—библиотека дворца-музея, в Москве—Центрархив, Ленинская библиотека, Исторический музей, в г. Белеве—бывший архив Елагиных, в Харькове—архив Харьковского университета, в Веймаре—Гете-Шиллеровский архив, во Франкфурте-на-Майне—«Дом Гете». Нет сомнения, что и список городов, и перечень архивов придется увеличить для дальнейшего овладения темой. Отсутствие библиографических пособий по данному предмету изучения еще более затрудняло работу; автору приходилось создавать библиографию данного вопроса; вряд ли он вполне успешно с этим справился.

Тема работы—жизненные сношения Гете с русскими писателями на фоне его политико-культурно-экономических отношений с Россией Александра I и Николая I—требовала, таким образом, не только новой и поневоле расширенной постановки вопроса, не только неизбежных экскурсий из области истории литературы в области истории и социологии, но и выявления и овладения совершенно новым материалом—печатным и архивным,—разбросанным по двум государствам и библиографически не обследованным.

Ошибки, промахи, недосмотры, пропуски—естественный удел подобной работы как первой попытки такого рода. Автору несовершенство его работы яснее, чем кому бы то ни было.

Этих ошибок, недосмотров, погрешностей всякого рода было бы несравненно больше, если б не та товарищеская и дружеская помощь, которую отовсюду встречал я в своей работе. В мой труд вложено много труда и заботы теми, кому он был дорог. Не умею учесть долю труда каждого и просто, от всего сердца, благодарю за помощь—М. П. Алексеева, А. К. Виноградова, Г. С. Виноградова, А. Г. Габричевского, Е. В. Гениеву, Н. К. Гудзия, Г. А. Гуковского, И. С. Зильберштейна, И. А. Комиссарову, С. А. Макашина, М. А. Моисееву, С. А. Мухина, Ю. Г. Оксмана, К. В. Пигарева, И. Н. Розанова, ак. М. Н. Розанова, А. А. Сабурова, И. В. Сергиевского, Н. И. Тютчева, Н. В. Устюгова, Н. К. Шапошникову, А. М. Эфроса.

Глава первая

РАННИЕ РУССКИЕ ЗНАКОМСТВА ГЕТЕ

СТУДЕНТ ГЕТЕ И РУССКИЕ СТУДЕНТЫ В ЛЕЙПЦИГЕ.—А. Н. РАДИЩЕВ И ГЕТЕ.—ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОДЧИК ГЕТЕ О. П. КОЗОДАВЛЕВ.—„ВЕРТЕР" В РОССИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ КРУГИ ЕГО ЧИТАТЕЛЕЙ.—КАРАМЗИН В ВЕЙМАРЕ.—К ВИЛАНДУ ИЛИ К ГЕТЕ?—ФЕРНЕЙ И ВЕЙМАР. ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО И ГЕТЕАНСТВО В КРУГАХ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА.—ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СМЕНА ВЕХ: ВМЕСТО ФЕРНЕЯ—В ВЕЙМАР.—КН. Д. А. ГОЛИЦЫН И КН. АДЕЛЬГЕЙДА-АМАЛИЯ ГОЛИЦЫНА В СНОШЕНИЯХ С ГЕТЕ.—РУССКИЙ КАРАНТИН ПРОТИВ ГЕТЕ ПРИ ПАВЛЕ I.—ГР. СЕВЕРИН ПОТОЦКИЙ И ГЕТЕ.—УЧАСТИЕ ГЕТЕ В УСТРОЕНИИ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.—ИНТЕРЕС ГЕТЕ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ.—ЗАПИСКА ГЕТЕ О РУССКОЙ ИКОНОПИСИ.—ДЕЛО РУССКОГО МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ „О СОБИРАНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИКОНОПИСНОМ ДЕЛЕ ДЛЯ ТАЙНОГО СОВЕТНИКА ФОН ГЕТЕ".—КОЗОДАВЛЕВ И КАРАМЗИН КАК ИСПОЛНИТЕЛИ ПОРУЧЕНИЙ ГЕТЕ

В 1765—1768 гг. Гете был студентом Лейпцигского университета. В Лейпциге произошли его первые встречи с русскими: приехав в 1865 г. в этот город во время знаменитой ярмарки, он, по его словам, «с большим вниманием прошелся по рынку и по лавкам»; в особенности привлекли его «жители восточных стран в своих странных костюмах: поляки, русские, а больше всего греки» [1]. Но с русскими Гете скоро встретился и в стенах университета: у него оказались русские коллеги. 24 августа 1765 г. в список студентов Лейпцигского университета был внесен какой-то «Iwanowitz Petrus Boguslawskoiensis, Russus» (Петр Иванович Богуславский), а 26 февраля 1767 г. в список была внесена целая группа русской дворянской молодежи, посланная Екатериной II обучаться в Лейпциге историко-юридическим наукам. В числе этой молодежи был и «de Radischteff Alexander, equ. Mosquov», будущий автор революционного «Путешествия из Петербурга в Москву», и его друг «d'Ouschakoff Theodor, equ. Novogrod», чье «Житие» написано Радищевым. А. Н. Радищев был однолеток с Гете (р. 1749 г.), Ф. Ушакову—самому старшему из всех—было 22 года, остальные были самая зеленая молодежь (младшему—Зиновьеву—было 13 лет) [2]. Эти русские студенты, опекаемые иеромонахом-духовником и скаредным попечителем Бокумом, встречались со студентом Гете в университетских аудиториях: они слушали одних и тех же профессоров. Гете, как известно, послан был своим отцом в надежде, что Лейпциг сделает из него юриста. Гете (против собственного желания) подчинился воле отца и по указанию проф. Беме, читавшего историю и государственное право, «должен был слушать» кроме его предметов «философию, историю права, институции и еще кое-что. Я согласился, но решил кроме того посещать лекции Геллерта по истории литературы». Гете упоминает еще профессора-классика Моруса, у которого он бывал [3]. Русские студенты точно так же «обучались логике, естественному праву, народному праву, универсальной истории, генеральному политическому праву, истории всех государств и о состоянии оных». Студенты ходили также в историческую коллегию проф. Беме, слушали лекции Геллерта или, как выражается сам Радищев, «наслаждались преподаваниями в словесных науках» [4]. Но встречи Гете с русской кучкой студентов, к тому же и поступившей в университет значительно позже Гете (он—в ноябре 1765 г., они—в конце февраля 1767 г.), не могли быть часты и вряд ли сопровождались знакомством, тем более, что Гете скоро охладел к университетской науке и стал редко посещать университет. Но не знать о существовании этой обособленной группы русских студентов Гете не мог: она была заметна на фоне лейпцигского студенчества, и когда через двадцать лет Карамзин заглянул в Лейпциг, он еще нашел там след памяти о Радищеве с товарищами [5].

Радищев—как все его поколение—знал «Вертера». В главе своего «Путешествия», озаглавленной «Клин», описывая впечатление, произведенное на слушателей слепым стариком, певшим про Алексия, человека божия, Радищев говорит: «Я рыдал, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертера» [6]. Круг Радищева во всяком случае дал одних из первых читателей Гете в России. Другого русского юношу, в это же десятилетие учившегося в Лейпциге, Осипа Петровича Козодавлева (1754—1819), с которым связана первая крупная дата русского гетеанства, Гете уже не мог видеть в Лейпциге: Гете покинул университет в 1768 г., а Козодавлев поступил туда 21 апреля 1769 г. [7].

Этот круг лейпцигской русской молодежи положил начало русскому гетеанству. О. П. Козодавлев выпустил в 1780 г. в Петербурге свой перевод трагедии Гете «Клавиго» (1774). В предисловии Козодавлев писал: «Я за лишнее почитаю здесь предложить пространное известие о сочинителе сея трагедии и о достоинствах его, ибо они всем любителям словесных наук уже известны. «Страдания молодого Вертера», прекрасное произведение его пера, приобрело ему великую славу и сравняло его с лучшими писателями Германии, так как и сея трагедия заслужила от всех знающих людей великую похвалу». Россия начинала знакомство с Гете не в пример другим странам не с «Вертера», а со сравнительно мало популярной трагедии; однако ее ждал успех: в том же 1780 г. потребовалось второе издание перевода Козодавлева. В предисловии к этому новому изданию переводчик счел долгом прибавить несколько слов о значении драматургии Гете: «Г. Гете во всех сочинениях своих подражал единой натуре и не следовал правилам, удаляющим оную от глаз писателей и полагающим весьма тесные духу их пределы. О таковых драмах, какова сея трагедия, писанных непринужденным и естественным слогом, многие из славнейших писателей предложили свои мысли в некоторых сочинениях своих, и я за излишнее почитаю здесь оные повторять». Слова эти подчеркивали и объясняли русский успех «Клавиго»: на смену придворной пышной трагедии с риторическим стихотворным пафосом царей и героев шла выдвигаемая новым классом—буржуазией—бюргерская драма в прозе, с твердым, но редко достигаемым курсом на «натуру», на подлинные человеческие чувства и страсти, и эта новая драма сразу нашла в России своего читателя: через восемь лет Карамзин выпустит «Эмилию Галотти» Лессинга, а в конце века молодой тургеневский кружок будет бредить мещанскими драмами Шиллера. Очень любопытно и последнее заявление Козодавлева в его предисловии: «Я перевел сию драму в угодность некоторым приятелям моим» [8]. Это первый в России след какой-то читательской кучки, уже объединенной интересом к Гете.

На другой год после «Клавиго» появился в России «Вертер»: «Страсти молодого Вертера», перевод Ф. Галченкова (СПБ., 1781). Издание было повторено в 1794 г. [9]. Через четыре года тот же перевод вышел исправленный Ив. Виноградовым; в 1817 г. исправленный перевод был переиздан. В начале XIX ст. появились и доморощенные «Вертеры»—роман Михаила Сушкова «Российский Вертер. Полуправдивая повесть молодого чувствительного человека, нещастным образом самоизвольно прекратившего свою жизнь» (1802) и «оригинальный анекдот» А. Клушина—повесть «Вертеровы чувствования или несчастный М.» (1802). Как и в Германии, как и всюду, появились и в печати, и в альбомах стихотворные послания Вертера к Шарлотте и стихи на гроб Вертера. Вертер начал долгую жизнь свою в русской

литературе: каждая примечательная эпоха русской культуры имела с в о й перевод «Вертера», какими-то особенностями языка и слога созвучный эпохе [10]. В 1787 г. Н. И. Новиков уже отвел Гете место в своем «Драматическом словаре», где высоко расценил его как драматурга, а «Вертера» назвал «отличной книгой, похваляемой всюду». Это было правдой и относительно России: «Вертер» имел и у русского читателя большой, длительный и прочный успех, вызывая сочувствие и исторгая слезы у читателей нескольких поколений и нескольких социальных смен: он был «похваляем» и главой новой литературной школы—Карамзиным, и первым гетеанским русским кружком, собиравшимся в самом конце XVIII столетия в Москве вокруг Андрея Тургенева, и декабристом Н. И. Тургеневым, и пушкинской Татьяной, и московскими юношами-любомудрами 20-х годов, и сибирским поселенцем Кюхельбекером; все они находили в себе те или иные отзвуки «страданиям», мечтам и мыслям «мученика мятежного» (выражение А. С. Пушкина), не мало помучившего европейское общество конца XVIII—начала XIX столетия. История «Вертера» в России поучительна. «Вертер», переводный или подражательный, не был книгою дворцового читателя: он из московских дворянских антресолей проник скоро в усадьбы, в дворянскую провинцию, и Пушкин не случайно заприметил томик «Вертера» в руках у Татьяны Лариной: он своей интимною домашностью пришелся по душе этому усадебному читателю, еще довольному своей социальной судьбой. Для этого читателя «Вертер» был историей трогательной и несчастной любви, весенним томлением чувств, нежной и грустной школой чувствительности. Так читала «Вертера» в конце 10-х годов Ларина Татьяна, а двадцатью годами раньше так читали его в Москве юноши тургеневского кружка с Андреем Тургеневым и Жуковским во главе. Кюхельбекер читал «Вертера» в 20-х годах уже совсем иначе: он со всем поколением декабристов читал его как рассказ о неудачливом, правда, и слабовольном, но искреннем и горячем протестанте против устарелого феодально-иерархического уклада жизни: Вертера этих читателей Пушкин верно назвал «мучеником мятежным». «Вертерьянство» Рожалина и любомудров, представителей дворянской интеллигенции, пережившей революционный подъем 1825 г. и потерпевшей поражение в попытке реализации своих чаяний,—это опять новое «вертерьянство»: для них «Вертер»—повесть о человеке, не нашедшем себе места в жизни, потому что он отплыл от одного социального берега и потому что его оттолкнули от другого. «Вертер» захватил широкие читательские круги: он увлек и читателя-разночинца, проник и на студенческие чердаки и в домишки хорошо грамотного мещанства [11].

Но весь этот пестрый круг читателей для русского «Вертера» был еще впереди: он формировался исподволь, и потребовались десятилетия, чтобы он проник в ширь и глубь.

Как ни глубоко было впечатление, произведенное «Вертером» на русского читателя 80-х годов XVIII столетия, его одного было недостаточно, чтобы вызвать паломничество к его автору. Гете еще так мало был знаком русскому читателю, что первый русский литературный путешественник, побывавший в Веймаре, ехал туда не ради Гете. Когда 20 июля 1789 г. Н. М. Карамзин подъехал к Веймару, он у городских ворот «предложил караульному сержанту свои вопросы, а именно: «Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете?» «Здесь, здесь, здесь», отвечал караульный», и Карамзин велел постиллиону вести» его «в трактир Слона».



ГЕТЕ
Рисунок карандашом Иенса Юэль (Женева, 1779 г.)
Fideikommissbibliothek, Вена

Вопросы литературного паломника заданы в убывающей степени его интереса к трем писателям: Гете на последнем месте.

На третьем месте стоял Гете у Карамзина и в его наказе трактирному слуге, примечательном по ответам посланного. «Наемный слуга немедленно был отправлен мной к Виланду, спросить, дома ли он?—Нет, во дворце.—Дома ли Гердер?—Нет, он во дворце.—Дома ли Гете?—Нет, он во дворце.

— Во дворце! во дворце!—повторил я, передразнивая слугу, взял трость и пошел в сад».

В двух строках Карамзин выразил весь социальный характер литературной столицы Германии: если «кроме герцогского дворца не найдешь здесь ни одного огромного дома», то и все «Афины» ограничиваются одним дворцом.

Будущий «историограф» российский и идеолог крепостнического дворянства, Карамзин в юные свои годы не был чужд либеральных настроений. Поэтому ему стало не совсем по себе от столь тесного жилища для литературы, как герцогский дворец.

Когда на другой день Карамзин с трудом добился свидания с Виландом, очень нелюбезно его встретившим, русский путешественник с первого слова заявил ему: «Желание видеть вас привело меня в Веймар», и через несколько минут нашел нужным прибавить: «еще повторяю вам, что я приехал в Веймар единственно для того, чтобы видеть вас». Опасливый Виланд еще раз спросил нежданного русского гостя: «Что вы от меня хотите?» А гость в третий раз ответил: «Ваши сочинения заставили меня любить вас и возбудили во мне желание узнать автора лично. Я ничего не хочу от вас, кроме того, чтобы вы позволили мне видеть себя» [12].

Не для одного Карамзина тогда Веймар был еще городом Виланда, а не Гете. И двадцать лет спустя порядок русской дворянской любви к немецким поэтам в общем остается прежним: Жуковский в 1806 г. назовет еще виландова «Агатона» «святою книгою» (письмо к Ал. Тургеневу от 8 января), в 1814 г. будет еще пытаться написать поэму «вроде Виландова Оберона», в конце 10-х годов юный Тютчев будет еще упиваться виландовым «Агатодемоном». Еще позже хвалители первой поэмы Пушкина будут находить, что она писана на манер «Оберона». Виланд служил первым этапом отхода от французской придворной трагедийно-одической литературы на новые бюргерские позиции, завоеванные Лессингом, Гете, Шиллером: это был веймарский форпост, ближе всего выдвинутый новой немецкой литературой к старым французским позициям. Неудивительно поэтому, что русские читатели из поместного среднедворянского круга, не очень охотно державшиеся на классических позициях французской литературы, с удовольствием перешли и позадержались на ближайшем немецком этапе. Шиллер, а потом Гете были уже дальнейшими этапами отхода на новые литературные позиции.

Карамзин—по анализу автора специального исследования о нем—«был хорошо знаком с «Вертером». Он даже один из первых заметил литературную связь между «Вертером» и «Новой Элоизой»: без романа Руссо, по его мнению, «не существовал бы и немецкий Вертер (основание романа то же и многие положения взяты из «Элоизы»: но в нем более натуры)». Карамзин «ученик Томсона, Стерна, Юнга, Ричардсона, Оссиана, Гете (Вертер)». Для ученичества Карамзина показателен «укор», брошенный

им в тексте первого (1792) издания «Писем русского путешественника»: «Тот, кто читает наизусть целые страницы из Расина, не знает, что есть на свете Гете» [13]. Сам Карамзин о Гете «знает», но это знание для него не увлекательно: Гете—не властитель ни его дум, ни его чувств. В самом Карамзине нет того «вертерьянства» мысли и чувства, которое бывало первым источником гетеанства в людях более поздних поколений, как Андрей Тургенев или Рожалин. В нем поэты «бури и натиска» не пробуждают и малого ветерка той «мятежности», которую Пушкин вплел в эпитет герою Гете. И если нельзя согласиться с В. В. Сиповским, что «Вертер», сделавшийся для германской молодежи вождем жизни, совершенно чужд и непонятен нашему Карамзину» (на том основании, что «Карамзин—решительный противник самоубийства от любви»), то все-таки отчужденность Карамзина от потока «бури и натиска» несомненна. И когда он отзывается о герое Гете:

Злощастный Вертер—не закон:
Там гроб его: глаза рукою закрываю,—

то этот отзыв нужно расширить: не только смерть, но и жизнь Вертера для Карамзина—«не закон». «Закон» он почерпает у других, более «благополучных», более сродных его дворянскому существу чувствительно-успокоенных героев и авторов, каковы Клопшток, Геллерт, Геснер, Лафатер, и сравнительно с восторгами перед ними или перед «Агатоном» Виланда «сочувственные отзывы Карамзина о Гете и Шиллере» действительно «производят впечатление скорее отзвуков «общего мнения», с которыми пришлось столкнуться нашему писателю во время его путешествия, чем отзывов, идущих от сердца» [14].

Между тем у Карамзина, как ни у одного из русских литературных паломников к Гете, был редкий случай, еще до паломничества, ознакомиться с жизненным путем и укладом Гете из весьма близкого источника—от Якоба Ленца (1751—1792). Этот поэт «бури и натиска», талантливый неудачник, был знаком с Гете в 1771 г., дружески близок с ним в 1773—1775 гг., а в 1776 г. даже переселился в Веймар в общество Гете, Виланда, Гердера. Пребывание там Ленца длилось всего несколько месяцев и кончилось его изгнанием из Веймара по приказу герцога Карла-Августа, вследствие какого-то поступка Ленца, доселе невыясненного, но касавшегося Гете и записанного у него в дневнике как «Lenzens Eselei» («Ослинство Ленца»). Ленц после долгих литературных и житейских мытарств очутился в 1781 г. в Москве и там познакомился с Карамзиным. Карамзин был глубоко заинтересован личностью и судьбой того писателя, который, по выражению Гете, «пролетел метеором по горизонту немецкой литературы» [15]. В Веймаре Карамзин в первое же свидание заговорил с Виландом о Ленце и одно из веймарских «писем русского путешественника» уделил рассказу о жизни Ленца в Веймаре, при «литературном» дворе Карла-Августа. Из бесед с Ленцем в Москве Карамзин запасся целым устным путеводителем по Веймару и его литературным достопримечательностям, и не будет ошибкой думать, что Гете занимал одно из первых, если не самое первое, мест в рассказах Ленца.

Попав к Гердеру, Карамзин получил маленький урок любви к лирике Гете, повидимому тогда мало известной Карамзину [16]. «Он хвалил Виланда, записывает наш путешественник,—а особливо Гете и, велев маленькому сыну принести новое издание его сочинений, читал мне с живостью

некоторые из его прекрасных мелких стихотворений. Особливо нравится ему маленькая пьеса, под именем «Meine Göttin», которая так начинается:

Welcher Unsterblichen
Soll der höchste Preis sein? и т. д.

«Это совершенно по-гречески,—сказал он,—и какой язык, какая чистота! какая легкость!» От себя Карамзин замечает: «Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних греков, умели и язык свой сблизить с греческим и сделать его самым богатым и для поэзии удобным».

Дважды посетив гостеприимного Гердера и дважды добившись свидания с уклончивым Виландом, Карамзин не торопился со свиданием с Гете. Зато его и постигла неудача: «Вчера ввечеру,—пишет он двадцать первого июля,—идучи мимо того дома, где живет Гете, видел я его смотрящего из окна, остановился и рассматривал его с минуту: важное греческое лицо! Ныне заходил к нему, но мне сказали, что он рано уехал в Иену».

Так Карамзину и не довелось видеть Гете. Он только похвалил герцогиню Амалию за то между прочим, что она «призвала Гете, когда он прославился своим Вертером», да в Цюрихе у озера вспомнил, что на этих берегах «Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с музами и мечтами для потомства». Можно предполагать, что и в беседах Карамзина с Лафатером речь не раз заходила о Гете: первый не растерял еще запаса веймарских впечатлений, а второй был другом Гете.

Когда Карамзин при первой встрече с Виландом заявил ему, что готов «остаться в Веймаре дней десять», чтоб видеться со своим «учителем в поэзии», негостеприимный Виланд сдался и сказал московскому гостю: «Мне нравится ваша искренность, и я вижу еще первого русского такого, как вы. Я видел вашего Шувалова, острого человека, напитанного духом этого старика (указывая на бюст Вольтеров). Обыкновенно ваши единоземцы стараются подражать французам, а вы...» Карамзин не дал докончить Виланду, поспешив воскликнуть: «Благодарю» [17].

Слова Виланда свидетельствуют, каким ранним и неожиданным гостем показался в Веймаре Карамзин. Русская культурная тропа в Европу была известна о д н а: в Ферней, к Вольтеру, и Виланд напомнил Карамзину одного из самых ревностных гостей Фернея—щеголя, остроумца и галантного стихотворца гр. Андрея П. Шувалова. Это был действительно хорошо примеченный Виландом представитель целой исторической полосы русского вельможного европеизма. Этот «европеизм» был поверхностной модой российских феодалов и не ознаменовывал изменения их классового существа. Дворянское российское «вольтерьянство» резко отличалось от подлинного вольтерьянства—предгрозового ветра Великой французской революции. Работа истинного вольтерьянства над разрушением феодальных твердынь с ужасом была осознана кокетничавшими с Вольтером российскими вельможами при первых известиях о революционных событиях. А Шувалов был типичным представителем крепостнического кокетства с Вольтером.

Шувалов был, так сказать, статс-секретарем Екатерины II по вольтерьянским делам. Императрица вела переписку с Вольтером; но не совсем была тверда во французкой (как впрочем и в русской, и в немецкой) грамоте и, по не совсем вежливому выражению кн. П. А. Вяземского, граф Шувалов был у нее «прачкой по части французкого белья»—ее писем к Вольтеру. «Даже когда бывал он в отсутствии, например в Париже, получал он черновую от императрицы, очищал ошибки, переписывал исправленное и отправлял

в Петербург, где Екатерина, в свою очередь, переписывала письмо и таким образом в третьем издании посылала его в Ферней» [18]. Могло случиться, грязное «французкое белье» Екатерины и прямо попадало в Ферней, только не к Вольтеру, а к тому же Шувалову, который часто гащивал у фернейского отшельника, затем, вымытое автором послания к Нинон Ланкло, оно возвращалось в Петербург, а оттуда—вновь в Ферней, но уже к господину Вольтеру.

Вот какого фернейского посла и вольтерьянского статс-секретаря Екатерины вспомнил умный Виланд, глядя на молодого Карамзина... Таких послов в Ферней у Екатерины и у русского вельможества было не мало. От многих крепостных захолустных твердынь и великолепных подмосковных уже проложена была торная дорога в Ферней. После «голландских» маршрутов Петра и его птенцов это был второй российский маршрут в Европу: не только веселиться в Париж, но и умничать и набираться ума в Ферней [19].

«Частное» вольтерьянство чтения, воспитания, моды жило иной раз не только официальным поощрением, но и прямым официальным примером. Вольтер был такая сила в Европе, что и правительствам казалось, что лучше с ним дружить, чем враждовать; это понимала и умная, хотя и не совсем грамотная Екатерина, и не очень умная и вовсе безграмотная Елизавета: первая с Вольтером переписывалась и, купив его библиотеку, пожизненно назначила его ее хранителем, вторая «заказала» ему историю


КЛАВИГО,
ТРАГЕДІЯ
ВЪ
ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ
ГОСПОДИНА ГЕТЕ,
переведена съ Нѣмецкаго.
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
при Артиллерійскомъ и Инженерномъ Шляхетномъ Кадетскомъ Корпусѣ у Содержателя Х. Ф. Клеена.
1780 года.

Титульный лист первого произведения Гете, изданного на русском языке—трагедии „Клавиго" в переводе О. Козодавлева (СПБ, 1780)
Публичная Библиотека им. Ленина, Москва

своего отца, и обе слали к нему официальных вольтерьянцев, а первая— не боясь греха, как вторая,—и сама числилась в «вольтерьянках», пока революция не показала ей, что полагаться на Шлиссельбург надежней, чем на Ферней, и что палач Шишковский ближе к ее трону, чем Вольтер.

В словах Виланда Карамзину сквозит опасение: уж не сделал ли русский путешественник маленькую географическую ошибку—не попал ли он в Веймар вместо Фернея, где, правда, уже не было в живых хозяина, но куда все еще паломничали русские вельможи—столичные, губернские и уездные? У Виланда было правильное представление об европейских дорогах русских путешественников.

Карамзин не объяснил ему, что этим дорогам предстояло пустеть, что вольтерово «владычество на севере» приходило к краху. Великая французская революция заставила российских крепостников-вольтерьянцев с ужасом отвергнуть когда-то поверхностно понравившуюся идеологию, подлинное содержание которой всегда оставалось чуждым их сознанию. Заметим, что крах пережило именно феодальное дворянское «вольтерьянство». Вольтеру в России еще предстояло будущее, но уже в классовых кругах новых настроений, антифеодальных, революционных (вспомним интерес декабристов к Вольтеру).

Есть один эпизод из русских отношений Гете, который мог бы, если бы его знал Карамзин, хорошо иллюстрировать эту надвигавшуюся смену русских дворянских путей на Запад.

Одним из самых ярких русских вельможных «вольтерьянцев» нужно считать князя Дмитрия Алексеевича Голицына (1734—1803). Это был яркий человек, на которого «тень века его» пала под самым характерным и острым углом. При Елизавете и Екатерине, в 1754—1768 гг., он состоял при русском посольстве в Париже, писал на изысканнейшем французском языке дипломатические депеши, но более состоял при идеях Вольтера и Дидро. От Екатерины II у него были поручения не только к пышному двору Людовика, но и к скептическому двору Энциклопедии: он совещался с писателями и поэтами о выборе раритетов, антиков и предметов искусства для Царскосельского дворца. Он приятельствовал с энциклопедистами и, когда был назначен в 1768 г. посланником в Гаагу, тотчас воспользовался своим положением и голландскою свободою печати, чтобы издать посмертное сочинение Гельвеция «De l'homme, des ses facultés intellectuelles et de son éducation» (Гаага, 1772). Как русский посол при Энциклопедии он начал с издания этого славного кодекса материализма по рукописи, разысканной и приобретенной им в Париже, а потом, вспомнив, что сверх того он еще и посол России при королях, он издал и чью-то «Histoire de la guerre entre la Russie et la Turquie» (Амстердам, 1773) со своими примечаниями. Он вообще охотно и много писал и издавал—все на темы серьезные, или по крайней мере подражающие серьезным: то об электричестве («Lettres sur quelques objets d'Électricité», 1793), то в защиту Бюффона («Défense de Buffon», 1793), то о «духе экономистов» («De l'ésprit des économistes», 1796), то о Крыме («Description physique de la Tauride», 1788) и т. д. Голицын был одним из типичнейших русских вельможных фернейцев, крепостных «материалистов», придворных «вольнодумцев», знавших Россию только по екатерининским «крестовикам»-червонцам, которые она им высылала и из Петербурга, и из крепостных вотчин и угодий. Но в биографии Дм. Голицына царит не один Ферней, и в этом его отличие от его сверстников и сопоклонников вроде Андрея Шувалова и Белосельского-Белозерского:

тропа Голицына уже не может миновать Веймар или, по меньшей мере, соседнюю Иену.

Вольтерьянец и гельвецианец он был женат на фрейлине прусского двора гр. Адельгейде-Амалии ф. Шметтау (Schmettau) (1748—1806). Ей скоро стал не по духу каждый из дворов, при которых блистал ее муж: и петербургский, и версальский, и энциклопедический, и она, оставив их все, создала четвертый—свой собственный двор в Германии. Князь остался посланничать и вольнодумствовать в Гааге, княгиня переехала размышлять и мистицировать в тихий Мюнстер. Вокруг нее собрался кружок, нимало не похожий на «энциклопедии скептический причет», собиравшийся вокруг ее мужа. Ее гостями, друзьями и собеседниками были «северный маг» Гаманн, который даже похоронен в ее саду, философ Ф. Г. Якоби, прия-



Н. М. КАРАМЗИН
Миниатюра неизвестного художника (конец XVIII века)
Исторический Музей, Москва

тель Гете гр. Штольберг и многие другие, для которых она являлась «Диотимой», вдохновительницей и верховной собеседницей. Княгиня еще в 1785 г. посетила Веймар и узнала Гете, а о том, какое впечатление производила она на него, можно судить по письму Ф. Г. Якоби к кн. Голицыной: «Гете только что вернулся домой,—пишет ей друг обоих.—Но вы, дорогая Амалия, не пришли. После меня и моей сестры никто не скорбел об этом более, чем Гете. Ваш большой силуэт доставил ему несказанную радость. Я хотел только дать ему снять с него копию, но он с такой горячностью его себе присвоил, что я не мог противиться» [20]. В 1792 г. Гете приехал в Мюнстер к кн. Голицыной в пору очень для него тяжелую: после того как в сражении под Вальми (20 сентября 1792 г.) революционная французская армия заставила отступить немецкую соединенную армию интервентов, в которой, состоя при герцоге веймарском, находился и Гете. В этот день Гете прозрел от упорной слепоты к Великой французской революции, воскликнув: «С нынешнего дня и с этого места возникает новая эпоха всемирной истории, и вы можете сказать, что присутствовали при ее зарождении» [21]. Но прозрел он лишь для того, чтобы слепо напасть на

нее как писатель: к 1793—1794 гг. относятся его драматические памфлеты на революцию: «Генерал-гражданин» и «Возмущенные»—памятники столько же пристрастнейшей политической ненависти, сколько и удивительного творческого бессилия. Гете спешил в эти слабенькие пьески укрыться от грозной эпопеи французской революции, а еще раньше поспешил он укрыться от нее в тихий Мюнстер. Там в это время «философия чувства» Гаманна сменилась открытым католицизмом; «Диотима» была окружена аббатами и епископами, католиком стал приятель Гете гр. Штольберг. Гете, усталый от немецких военных неудач, оглохший от шума революционных побед (для него это был лишь шум черни, «достойный слез и смеха»—«слез» в пресной мещанской драме и «смеха» в придворной беззубой комедийке), был особенно рад этому католическому покою. Его в Мюнстере покоили с умом и с тактом,—конечно не без мысли, что и он последует когда-нибудь примеру друга Штольберга и княгини,—и Гете еще в 1829 г. «с большой похвалой говорил... обо всем круге лиц, собравшихся тогда вокруг княгини Голицыной в Вестфалии. Это были люди исключительного образования, с которыми он всегда хорошо проводил время и которые его, старого язычника, охотно терпели в своей среде» [22]. В другой раз, на 22 года раньше, Гете с особым оживлением рассказывал Римеру: «Княгиня Голицына во цвете лет отошла от двора из-за религиозности». Она сказала Гете, вручая свои сокровища (это были геммы.—*С. Д.*): «Если я обманусь в вас, это не будет мне во вред: я обогащусь тогда опытом» [23]. «Язычник» находил у Голицыной и великолепную пищу для своего язычества: он влюбился в ее античные геммы и камеи. Гете «обманул» княгиню: остался язычником, а не сделался католиком, но до конца сохранил к ней дружеские чувства, переписывался с нею, рассказывал о ней как о необыкновенной женщине своим собеседникам в старости, но кажется еще больше беседовал с ее геммами и камеями: его «Дневники» 1802—1822 гг. содержат немалое число отметок об ее геммах. Княгиня умерла в 1806 г., а геммы не разлучались с Гете, и например в марте 1822 г. «рассматривание голицынских камней» было одним из самых постоянных и любимых занятий Гете [24].

Бегство из «вольтерьянства» привело княгиню в католическую тишь: католические аббаты оказались более цепкими, чем парижские вольнодумствующие кавалеры, и не выпустили ее в гетеанское «язычество», но побывать в веймарских Афинах и подружиться с Гете она успела.

У ее мужа была другая дорога: он долго держался Фернея, но повидимому (биография его вовсе не разработана, даже не намечена в твердых чертах), как многие русские вельможные вольнодумцы, собственники тысяч «крепостных душ», почувствовал с грозным пожаром французской революции, что вольтерьянство и вольнодумство лучше выходит на паркетах гостиных, чем на булыжниках народных площадей, и отдался более мирным занятиям минералогией, которой, впрочем, всегда интересовался. Наука не может не вести в Германию. Кн. Д. А. Голицын был избран президентом минералогического общества в Иене и тут встретился с Гете, который был сам страстный минералог и член этого общества. Еще при жизни Голицын завещал свой минералогический кабинет этому обществу. Это был ценный дар. В своих годовых «итогах» Гете—«для себя»—так истолковал этот дар: «Голицын... постарался оценить честь поднесенного ему звания президента принесением в дар своего значительного кабинета». Но тот же Гете, сочиняя по поручению герцога письмо к тому же Голи-

цыну, отправленное ему от имени Карла-Августа, выразился об этом несколько иначе: «Это учреждение [Иенское минералогическое общество], начавшее с малого и достигшее прочного существования, исключительно вам, милостивый государь, обязано тем уважением и блеском, которые его теперь отличают среди других подобных учреждений. Вы не только благоволили принять на себя бремя звания президента, чтобы помогать обществу вашими знаниями, но вы влагаете излишек доброты, даря великолепную коллекцию, вдвойне интересную как по ценности и редкости экземпляров, так и по выбору знатока, который их собрал».

В библиотеке Гете доныне (июнь 1932 г.) хранятся сочинения Голицына по минералогии, полученные им от автора («Briefe über einige mineralogische Gegenstände an Herrn Peter Langer», Göttingen, 1791; «Seconde lettre a Mr. de Crell, ou réflexions sur la minéralogie moderne», Brunswick, 1799; «Recueil de Noms par ordre alphabétique apropriés en minéralogie», Brunswick, 1802).

Как когда-то жена Голицына засадила Гете за геммы, так он засадил его за минералы. Гете отмечает в дневниках: «Г-ну проф. Ленцу (минералогу) с голицынскими письмами» (10 ноября 1802 г.) и вновь: «Записка проф. Ленцу относительно разбора голицынского кабинета» (27 ноября). Это—заботы и работы еще при жизни Голицына; но даже и в 1813 г., в тревогах надвигающейся войны, Гете все еще занят «голицынским каталогом» [25]. Так и старый фернеец и издатель Гельвеция нашел свою дорожку в Веймар, где не было революций, а была провинциальная тишь и невозмутимая минералогия великого веймарского поэта и малых иенских филистеров.

Большая проезжая дорога в Ферней и Париж с самого начала 90-х годов XVIII ст. начала замыкаться для русских проезжих заставами: Франция со всем ее «вольтерьянством» скоро сделалась запретной для русского странствователя благодаря рогаткам Екатерины и Павла. «Вольтерьянство» стало после казни Людовика XVI синонимом «революции», а «вольтерьянец» превратился в термин политический: вольтерьянцам открыт был путь не в Ферней, а в Шлиссельбург [26].

Борьбою с «вольтерьянством», как со «всяческим свободомыслием», особенно занялся Павел I. Цензура 1796—1798 гг. установила строжайшие карантины для ввозимых из-за границы книг, и из карантинов не были впущены в Россию как охваченные «вольтерьянскою заразою» многие сочинения веймарских писателей: Виланда, Гердера, Шиллера и Гете [27]. Особым вниманием русской цензуры всегда пользовался «Эгмонт». Даже на немецком языке он увидел свет рампы в России лишь в 1883 г. [28] Но с 18 апреля 1800 г. ни одна книга Гете, как и всех других иностранных писателей, не должна была проникать в Россию: Павел дал указ Сенату: «так как чрез ввозимые из-за границы разные книги наносится развратверы, гражданского закона и благонравия, то отныне, впредь до указа, повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку». На основании этого указа были задержаны даже книги, выписанные из-за границы императрицею Мариею Федоровною, и ей не без труда удалось упросить Павла разрешить получить эти книги [29]. Таким образом все сочинения Гете, которыми упивалась молодежь московского тургеневского кружка в конце XVIII ст., сплошь сделались нелегальной литературой, и самый кружок первых русских гетеанцев, несмотря на всю свою невинность, мог бы претерпеть кары, еслиб его восторги пред колеблющим

«законную власть» Эгмонтом или шиллеровскими «Разбойниками» сделались известны правительству, запретившему употребление самых слов «общество» и «гражданин» [30].

Павел перестал выпускать из России за границу; учение русской молодежи в заграничных университетах было запрещено, все русские студенты вызваны обратно.

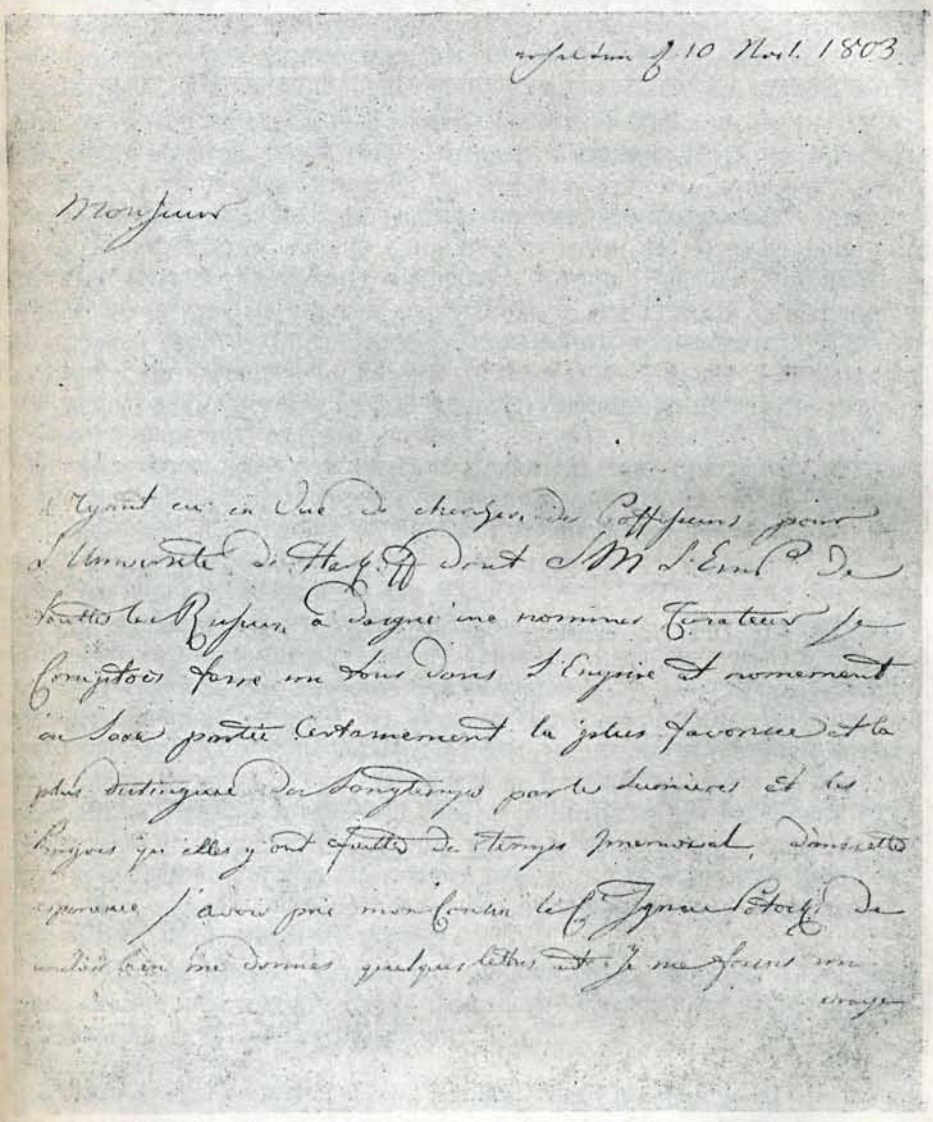
Не только для паломничеств к Гете, но и для чтения Гете время было решительно неблагоприятно. Дружеская фаланга гетеанцев, которая собиралась в московском доме Тургеневых, рвалась в Германию Гете и Канта, но могла удовлетворить свои желания лишь после вступления на престол Александра I.

Александр I поспешил снять непристойные бабкины и отцовы рогатки: 22 марта 1801 г. было объявлено о свободном пропуске едущих в Россию и отъезжающих из нее, а 31 марта отменен указ о запрещении ввоза книг и нот. Русское «гетеанство» могло поднять голову. Но и ему предстояло разделиться на два русла—официальное и неофициальное. У Александра I был хороший случай вспомнить об официальном вольтерьянстве своей бабки: в 1802—1803 гг. в пяти изданиях появилась в русском переводе «Переписка Екатерины Великой с господином Вольтером» [31]. Александр I мог извлечь из нее хороший урок литературной политики у императрицы, наследником политических идей которой он любил себя выставлять. Как увидим, Александр I не хуже бабки понял, что при таких литературных столицах, как Ферней или Веймар, необходимо держать своих послов, как при столицах политических. Такие официальные и официозные отношения у Александра I с Веймаром и Гете и установились к середине 10-х годов с водворением там Марии Павловны в качестве наследной герцогини (1804 г.).

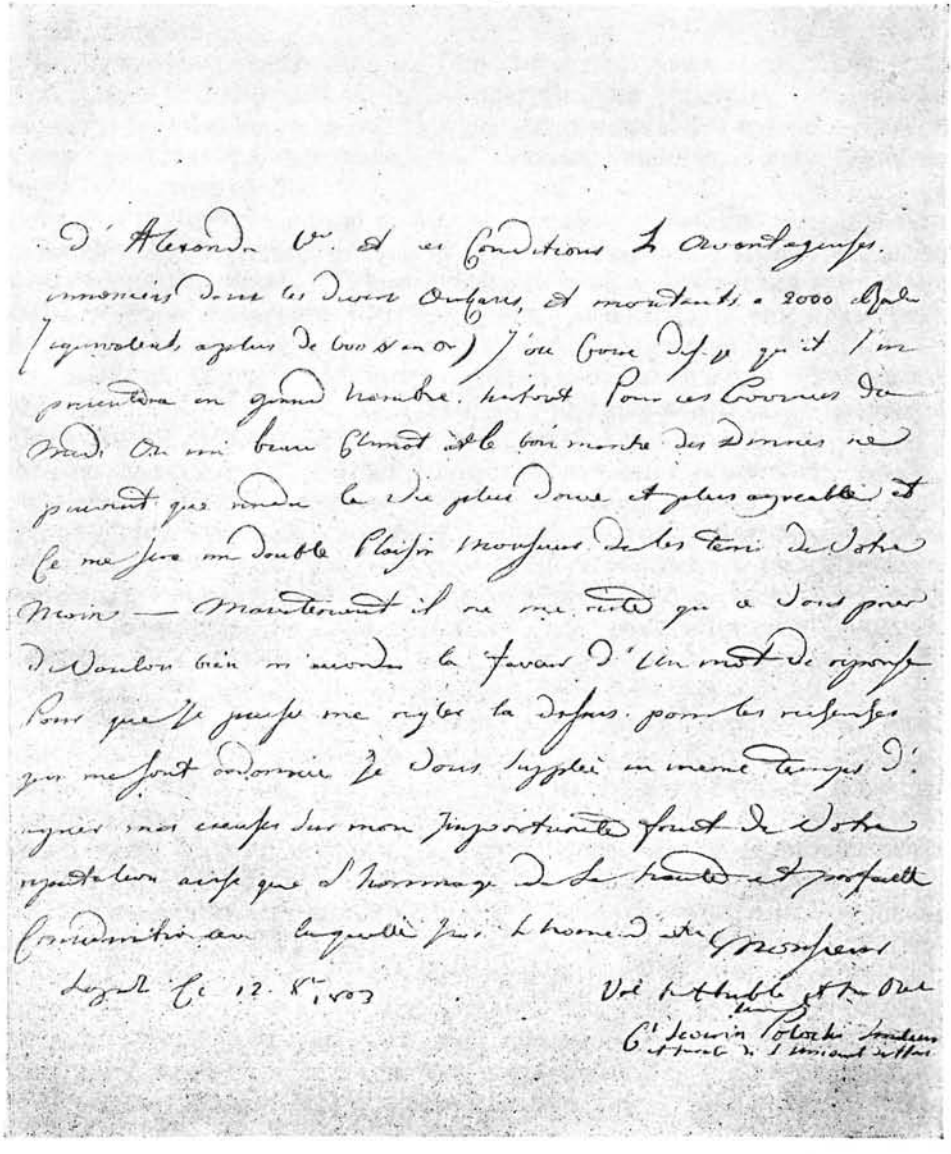
Но прямые русские отношения с Гете были возобновлены и ранее того.

Возобновил их—в интересах русского просвещения—поляк, состоявший на русской службе. Это был представитель аристократической семьи, издавна знакомой с Гете, друг знакомца Гете кн. Адама Чарторижского-сына [32] граф Северин Осипович Потоцкий (1762—1829). Я остановлюсь несколько подробнее на отношениях Северина Потоцкого и Гете, потому что о них вовсе не упоминают авторы специальных работ о Гете и поляках—Густав Карпелес и Гуго Цатей («Goethe in Pollen» von G. Karpeles. Berlin, 1890 и «Goethe i Polacy» Hugo Zathey. W. Krakowie, 1890).

Северин Потоцкий долго и много учился за границей и всю жизнь не покидал стараний «в просвещении стать с веком наравне». Это ему удалось: польско-русский европеец, он, по свидетельству Н. И. Тургенева, хорошо его знавшего, обладал всесторонним образованием и жадно, непрерывно читал все новое, выходившее на европейских языках. Еще в 1793 г. он вступил в русскую службу и, подобно своему другу кн. Адаму Чарторижскому, сблизился с великим князем Александром Павловичем и в царствование Павла состоял при нем в звании камергера. Павел удалил его. По свидетельству А. Чарторижского, «дружеские отношения» Потоцкого с Александром «продолжались и после воцарения его» [33]. Потоцкий принадлежал к кружку «молодых друзей» императора, столь преувеличенно восхваленному либеральными историками, но не играл в нем выдающейся роли, повидимому и не старался играть: богатого магната не влекла административная карьера. В 1801 г. он был назначен сенатором. За графом Северином установилась слава «либерала», но точнее было бы усвоить ему славу



Первая страница автографа письма С. О. Потоцкого к Гете от 12 сентября 1803 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар



Последняя страница автографа письма С. О. Потоцкого к Гете от 12 сентября 1803 г.
Goethe-und Schiller-Archiv, Веймар

защитника сословных привилегий дворянства. 24 января 1803 г. Потоцкий был назначен попечителем Харьковского учебного округа; ему пришлось принять участие в устроении Харьковского университета (год учреждения 1804). Университет учреждался на деньги, собранные дворянством, «купечеством, горожанами и частными жертвователями». Ревностнее всех отнеслись к делу именно эти жертвователи из купечества и разночинцев: университет давал их детям доступ к государственной службе со всеми ее привилегиями. Когда университет был 17 января 1805 г. открыт, их дети действительно и наполнили аудитории: дворяне были на втором месте.

Создать университет в степной глуши Слободской Украины было в 1804 г. делом такого же рода, как в 1725 г. открыть Академию Наук на Ингерманландском болоте: в обоих случаях ученых приходилось выписывать из-за границы. В пышном списке знаменитых ученых, приглашаемых в Харьков советом университета,—только одно русское имя: Н. М. Карамзин; все остальные—ученые Германии, Франции, Англии. Рвением Потоцкого и его пособников едва не удалось переманить в захолустный безбиблиотечный Харьков самого Ф. А. Вольфа, знаменитого исследователя гомеровского эпоса: он «решился было уже на переезд в Харьков и даже подал в отставку у себя на родине, но был удержан рескриптом прусского короля, обещавшего большие выгоды ученому, которым гордилась Пруссия»[34]. Дело усложнялось тем, что русское правительство, приглашая знатных ученых иностранцев, было вовсе не щедро на оплату их труда. Потоцкий за границей вел переговоры со многими учеными, но должен был признаться ревнителю Харьковского университета—В. Н. Каразину: «Счастливым счел бы я себя, если бы мне удалось быть действительно полезным для всего округа, и обстоятельства могли бы, казалось, благоприятствовать этому во время моего путешествия по Германии и далее: можно было бы легко приискать здесь дельных профессоров (эту «легкость» Потоцкий явно преувеличивал.—*С. Д.*), но, к сожалению, все средства к исполнению этого у меня отняты: мне не высылают денег, о которых я так настоятельно просил перед отъездом, а без них ничего не поделаешь, никто из порядочных людей не согласится оставить свое место и пуститься в дальний путь, не имея в кармане, по крайней мере, третного жалованья и сотни четыре или пять рублей на дорогу. Признаюсь вам, что я не мало уже компрометировал себя, начав переговоры с несколькими лицами и не имея возможности кончить их по недостатку денег»[35].

Потоцкого, исправного «куратора» университета, человека европейски образованного, заботило это плохо удававшееся дело, и он решил переложить большой груз заботы на плечи... Гете.

Почему именно Гете?

Потоцкий не был в 1803 г. лично знаком с ним, но обращение его к Гете понятно. Польская аристократия давно узнала дорогу в Веймар и давно привыкла считать Гете во главе культурной Европы. Близкий друг Потоцкого кн. Адам Чарторижский-сын еще юношей являлся на поклон к Гете, встречался с ним и позднее, в 1805 и в 1812 гг. Он занимал должность параллельную с Потоцким: был попечителем Виленского учебного округа. Обращение Потоцкого к Гете, надо думать, совершилось не без прямого влияния князя Адама. Гете пересылал письма к Потоцкому на адрес кн. А. Чарторижского-отца. В глазах Потоцкого и Чарторижских, представителей польского европеизма, в Гете соединялось непререкаемое достоинство высшего выразителя европейской культуры с высоко ценимым

всякой аристократией качеством: неколебимого врага всяческих народоправств и революций. Этого было достаточно, чтобы именно к нему обратиться с таким щекотливым делом, как подбор профессоров-европейцев для университета, учреждаемого по указу самодержавного монарха: нужно было сделать такой выбор, чтоб и овцы просвещения были целы и волки реакции были сыты. В придворно-аристократических сферах целой Европы согласились бы с графом Северином, что никто лучше веймарского министра фон Гете не решит подобной задачи.

12 сентября 1803 г. Потоцкий писал Гете:

Милостивый государь!

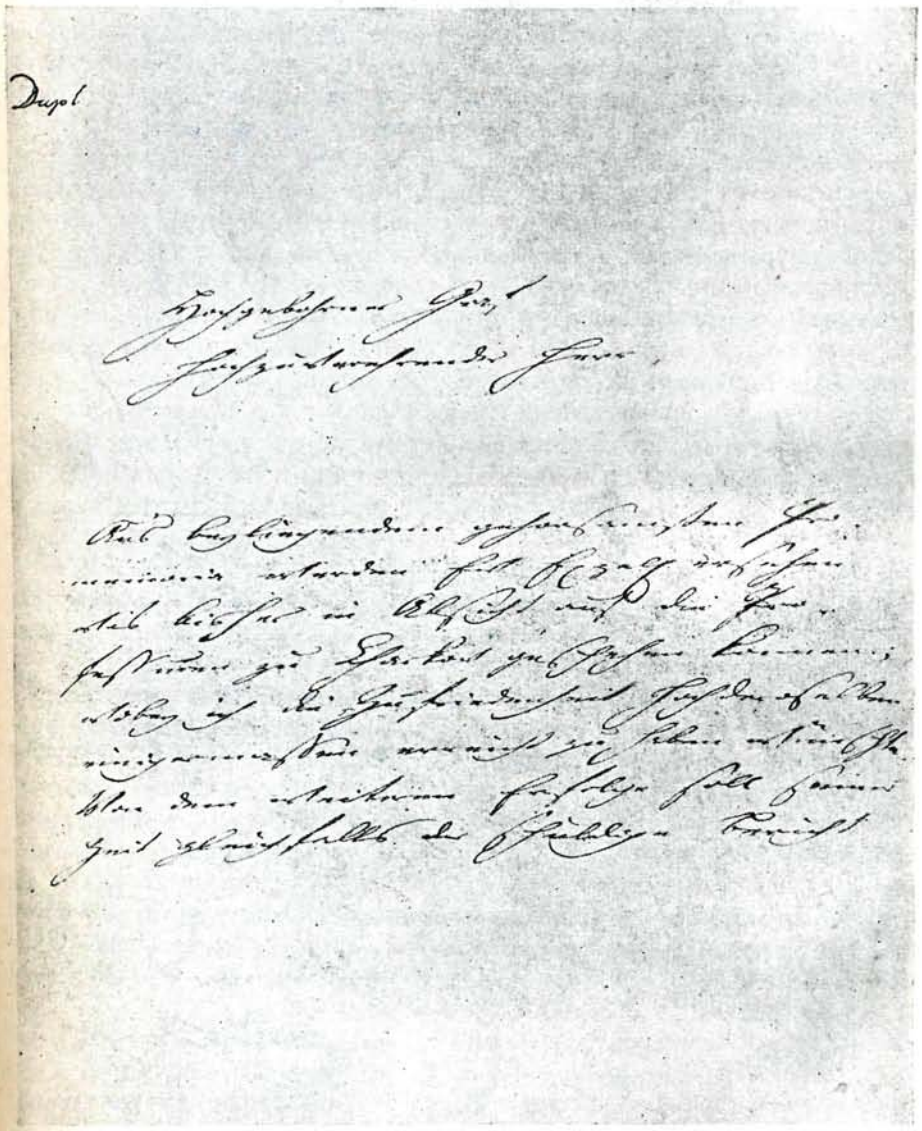
Имея в виду найти профессоров для Университета в Харькове, попечителем которого Е. В. Государь всея России удостоил меня назначить, я рассчитывал совершить поездку в Империю и особенно в Саксонию, несомненно наиболее благоприятную ее часть и наиболее издавна почитаемую за ее просвещение и успехи, производимые им с незапамятных времен. В надежде на это, я просил моего двоюродного брата графа Игнатия Потоцкого дать мне несколько писем, и я предвкушал истинное удовольствие передать в Ваши собственные руки при сем прилагаемое. К несчастью различные обстоятельства вынудили меня ограничить мое путешествие единственно городом Веной и мне не остается ничего другого, как искать посредства у людей достойных, которые захотели бы взять на себя распространение просвещения на юге России. Я думаю, что не мог бы обратиться ни к кому успешнее чем к Вам, милостивый государь, который сами стояли во главе одного прославленного университета и, если Вам известны как в области наук о Политике и Морали, так и в области Химии, Физики и прикладной Математики несколько достойных лиц, я буду Вам обязан, если Вы сообщите мне об этом. Смею надеяться, что благодаря высокому покровительству, какое оказывается наукам в нашей Империи со времени счастливого восшествия на престол Александра I, и благодаря столь выгодным условиям, объявленным в указах (до 2 000 рублей, соответствующих более чем 600 талеров золотом), смею надеяться, говорю я, что достойные лица представятся в большом количестве, особенно для южных провинций, где прекрасный климат и дешевизна припасов не могут не сделать жизнь более отрадной и приятной, и для меня будет двойным удовольствием, милостивый государь, получить их из Ваших рук. Мне остается теперь только просить Вас оказать мне милость ответным словом, чтобы я мог руководствоваться им в розысках, мне приказанных. Я вместе с тем умоляю Вас принять извинения за мою назойливость, плод Вашей славы, и уверения в высоком и глубоком уважении, с которым имею честь быть,

милостивый государь,

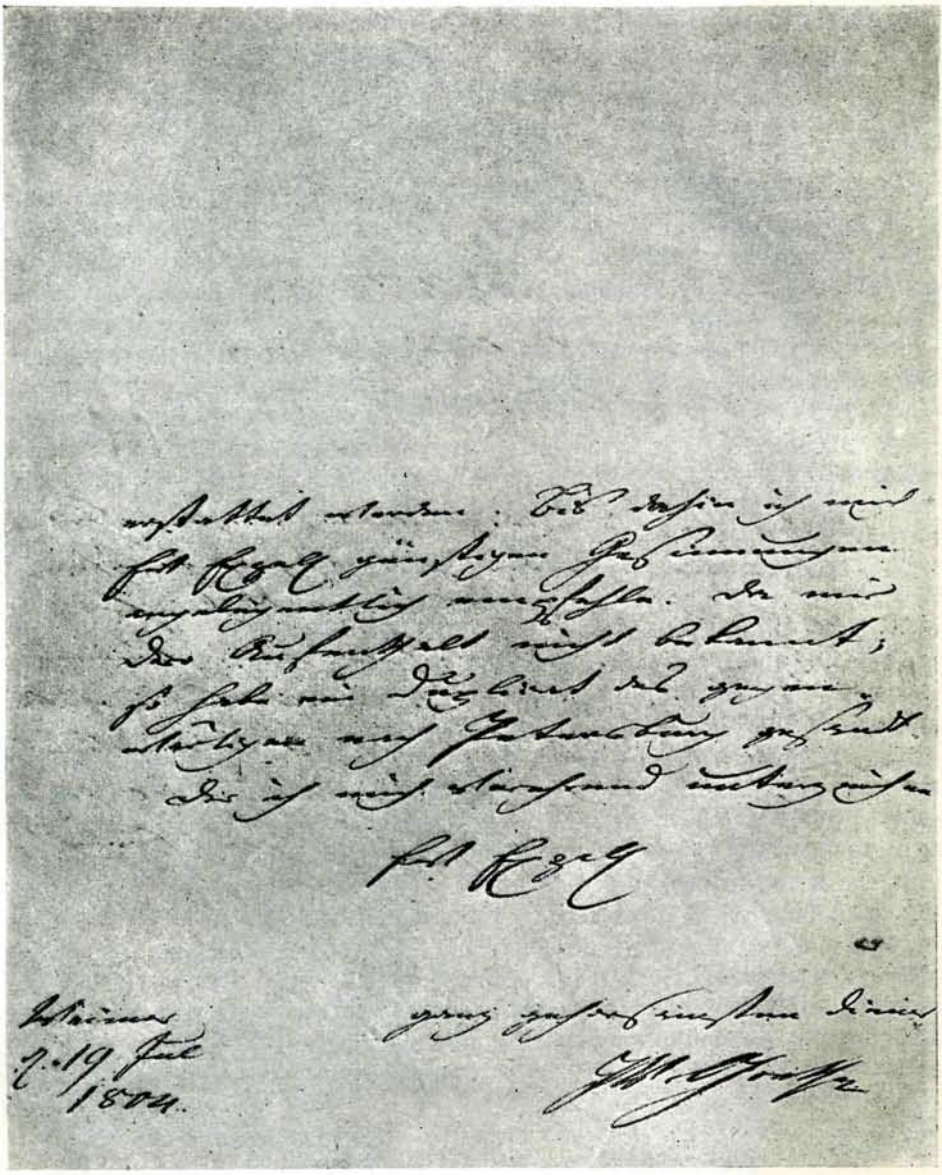
Ваш покорнейший и послушнейший слуга

граф Северин Потоцкий, сенатор и попечитель Университета в Харькове [36].

Гете живо и деятельно отозвался на призыв Потоцкого и 27 ноября 1803 г. писал ему: «Доверие, которым Вы, Ваше превосходительство, меня почтили, желая услышать мой совет относительно замещения кафедр в Харьковском университете, я пытался заслужить покорнейше прилагаемыми Promemoria, ожидая дальнейших приказаний Вашего превосходитель-



Первая страница автографа письма Гете к С. О. Потоцкому от 19 июля 1804 г.
Публичная Библиотека, Ленинград



Вторая страница автографа письма Гете к С. О. Потоцкому от 19 июля 1804 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

ства. Ваше уважаемое письмо от 12 октября пришло ко мне только 10 ноября, и невозможно было раньше собрать все необходимые справки. Надеюсь, мои сообщения придут не слишком поздно и прошу извинения, что употребляю мой родной язык как тот, на котором, мне кажется, я лучше всего выражаю мои мысли. Вместе с тем, должен признаться, я не разобрал места, откуда Вы, Ваше превосходительство, отправили Ваше письмо; почему беру смелость переслать настоящее письмо светлейшему князю Чарторижскому. Поручаю себя Вашей благосклонной памяти и ожидая дальнейших распоряжений и пр.» Пересылавшиеся при этом письме «Promemoria» сохранились в архиве Харьковского университета [37].

Для кафедры «этики, естественного и всеобщего государственного права, как и для всех предметов, включающих в себя теоретическую и практическую философию», Гете рекомендовал иенского доцента Иоганна-Баптиста Шада (Schad, 1758—1834); для кафедры химии указал на молодого ученого Людвига Шнауберта (Schnaubert); для физики и прикладной математики выбор Гете пал на иенского профессора Иоганна-Карла Фишера (Fischer, р. 1763 г.). Гете снабдил рекомендуемых обстоятельными curriculum vitae, но и от Потоцкого запросил уточнения сведений о материальном и правовом положении харьковских профессоров: некоторые его вопросы показывают, что он хотел как бы застраховать жизнь немецких ученых, обрекаемых в жертву российскому просвещению.

21 февраля Гете получил ответ Потоцкого: он звал в Россию Шада и Шнауберта; кафедра физики была уже замещена. Аккуратнейший во всем и всегда Гете через шесть дней оповещал уже графа, что ответ его сообщен Шаду и Шнауберту—«и они покорнейше приняли милостиво обращенный к ним призыв»: и отъезд ускорят, и будут стараться до конца с пользою «употреблять в дело свои способности»,—и все это «по приказаниям и непосредственному руководству столь просвещенного знатока в области наук и государственных потребностей текущего момента»—самого Потоцкого. Гете был во всем осторожен; несмотря на то, что дело было решено, он не хотел преждевременной огласки и за пять дней до этого письма писал своему соредактору по «Иенской Всеобщей Литературной Газете», проф. Генриху Эйхштедту: «Я не хочу ничего разглашать относительно некоторых из наших, вероятно уезжающих в Харьков, пока не пошлю заметку Вашему благородию» [38]. Шад и Шнауберт тотчас были зачислены профессорами Харьковского университета. 19 июля Гете мог порадовать Потоцкого: «Оба лица, назначенные в Харьковский университет, выехали из Иены в половине мая и, согласно письмам, которые мы получили из Лемберга, они давно уже прибыли к месту назначения». Вышло так, что Шад ехал не один, а с бесплатным приложением: «Перед отъездом,—рассказывает Гете,—к проф. Шаду пришел молодой человек, по имени Антоний Рейниш (Antonius Reinisch), духовное лицо из упраздненного монастыря Вейнгартен,—жизнеописание его здесь прилагается,—и решился сопровождать Шада в путешествии. Это тем более могло быть допустимо, что Рейниш, кажется, не без опыта в педагогике и осведомлялся о письме его превосходительства г. попечителя о подобных лицах. К тому же г. Рейниш не стремился получить деньги на проезд, не искал обещания определенного места, а готов был на свои средства и риск предпринять все это длинное путешествие. Таким образом все предоставляется Вашему усмотрению». «Усмотрение» это оказалось благоприятным для Рейниша, и этот сомнительный педагог попал в профессора Харьковского университета.

Утверждение историков этого университета Багалея, Сумцова и Бузескула, что «Совет университета пригласил на разные кафедры, в числе других немцев, и Рейниша» [39], неверно: Рейниш попал туда случайно. В сущности, Гете умыл руки в этом деле перед Потоцким. Гете спрашивал куратора: «Удовлетворена ли в Харькове потребность в педагогах, или требуются туда еще?» и извещал, что ему не удалось найти преподавателя политической экономии; иенский профессор Сарториус поведал Гете, что «лица, мало-мальски известные в этой области, уже отклонили русские предложения», а из ученой молодежи тоже нет охотников ехать в Россию. Но Гете спешил порадовать Потоцкого: «относительно замещения кафедры ветеринарии скорее есть надежда». Заметил ли Гете иронию своего письма польскому ревнителю русского просвещения? Заместить кафедру государственного права в России—нет надежды, а вот заместить кафедру скотолечения—надежда есть. К этому письму опять были приложены «Promemoria», в которых Гете уяснял Потоцкому, «каково до сих пор положение дел с профессурой в Харькове» [40].

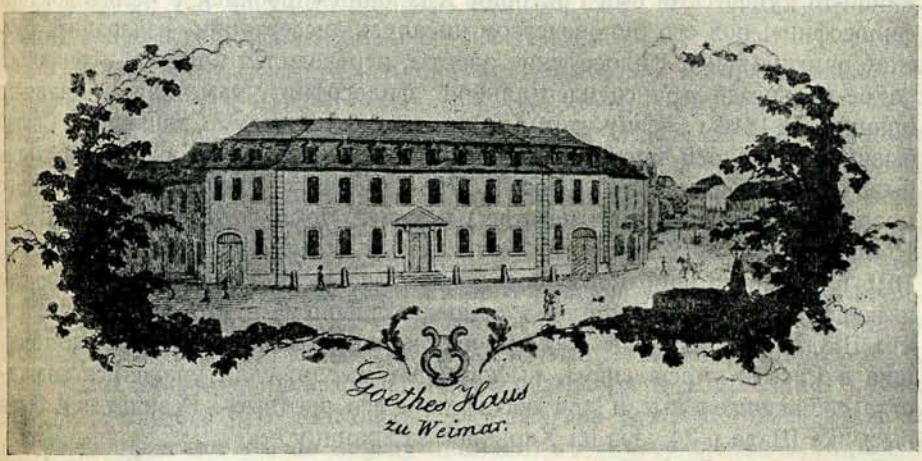
13 сентября 1804 г. Гете спешил «доставить» куратору Потоцкому «удовлетворение», извещая, что «г. капитан Пильгер из Гиссена рекомендуется к профессуре по ветеринарии, а находящийся в настоящее время в Геттингене г. фон Леуварден (Leuwarden)—в качестве профессора по политическим наукам (Staatswissenschaft)». Были приложены и две авторитетные рекомендации [41]; но ирония вещей взяла свое: государствовед Харькову не пригодился, а ветеринар отлично устроился и профессорствовал вполне благополучно.

На этом прекращаются письменные сношения Гете с Потоцким. Летом 1806 г. им довелось встретиться в Карлсбаде: 8 июля Гете записал в дневнике: «Князь Любомирский и граф Потоцкий... Вечером в Почтовый Дом, где Любомирский устроил праздник. В 9 ч. обратно» [42].

Из всех профессоров, сосватанных Гете Харькову, примечателен был один—Иоганн-Баптист Шад. Он был знакомец и последователь Фихте и написал трехтомное изложение его философии, читанное Фихте в листах [43]. В этом были его права на философскую кафедру. Но и самая биография его имеет право на внимание. Сын мельника, он вступил в орден Бенедиктинцев, но вместо ученого монаха из него вышел в конце концов полемист против католичества, критик католической агиологии, автор рационалистических многотомных «комментариев на библию». Он бежал из монастыря, опасаясь преследования со стороны католических властей, сделался иенским студентом и удостоен был степени доктора философии.

Из Харькова Шад прислал Гете письмо, полное сомнений в успехе того дела, ради которого он уехал из Германии: «Пока собралось лишь 9 штатных профессоров, среди которых нет ни одного, который имел хотя бы представление о научности. Это живые ящики памяти, которые производят много шуму, когда они двигаются... Профессора и адъюнкты, которые здесь находятся,—частью французские, частью австрийские шарлатаны, которым вторят довольно невежественные русские... Весь проект относительно создания университета, кажется, больше рассчитан на то, чтобы произвести впечатление за границей, чем создать нечто действительно полезное. Попы пользуются здесь громаднейшим весом, и, чтобы угодить этому классу людей, ни один профессор не может произнести хотя бы одно слово о религии. По этой причине естественная теология или теория религии разума исключена из философии. Ибо религия не должна в России







Театр, дом Гете и базарная площадь в Веймаре
Раскрашенные гравюры начала XIX века
Музей Изобразительных искусств, Москва

опираться на доводы разума, но единственно на веру, как мне писал господин куратор. Дело священников поэтому преподавать религию веры. Что касается философии морали, то по этому поводу господин граф писал мне, что нет лучшей морали, чем мораль евангелия... Свобода преподавания и пера будет чрезвычайно стеснена. Мне потребуется весь мой ум, чтоб приносить пользу, не возбуждая негодования. Когда речь заходит о философии, о ее методах, то все профессора ополчаются против меня, так как никто не имеет понятия о подлинной философии... Я сделаю все, что с умом можно сделать для блага университета. Но если я замечу, что мои сделанные со всей умеренностью предложения не находят отклика, то я удалюсь и предоставлю большинству постанавливать, что ему заблагорассудится» [44].

В Харькове Шад читал этику, психологию, метафизику, естественное право, историю философии и философски передвинулся от Фихте к Шеллингу. В Харькове у него нашлась горсточка учеников и последователей: какой-то купеческий сын Григорий Хлапонин «пробился у него в доктора философии», под его руководством писались диссертации, издавались русские оригинальные философские работы, переводился Фихте [45]—свивалось какое-то гнездо трансцендентальной философии, намечалась какая-то школка. В 1816 г. всему этому пришел конец: в эпоху Священного Союза бывший ратоборец против католичества оказался не ко двору: на Шада было подано несколько доносов. Две его книги—учебник естественного права («Institutiones juris naturae») и книга Ломонда «De viris illustribus Romae» с его прибавлениями—поставлены были ему в вину. Новый (с 1816 г.) министр народного просвещения кн. А. Н. Голицын внял доносам и вошел в комитет министров с представлением, в котором жаловался, что Шад позволяет себе «весьма неприличные замечания на существующие в России учреждения», высказывает мысли, «для учащегося юношества соблазнительные и для воспитания его вредные». Результатом была высылка Шада в 24 часа из Харькова за границу.

Гете—при всей своей осторожности—не предугадал, что в России Аракчеева и Голицына даже Шад может показаться опасным.

Шад не молчал за границей: он «напечатал о своем деле в «Иенских Литературных Ведомостях». Посланник наш при прусском дворе уведомил, что изгнание Шада произвело крайне неблагоприятное впечатление: Шад кричит встречному и поперечному, что немецкие ученые преследуются в России... Шаду выдано было вознаграждение за понесенные убытки; в посольство сообщили описание дела в его настоящем виде (!) для помещения в иностранных газетах; сам Шад получил кафедру в Берлинском университете» [46].

Гете пришлось в этом деле стать на сторону Шада,—и это был кажется единственный случай, когда и рекомендация Гете не оправдалась в глазах русского правительства, и сам он оказался не на стороне правительственной.

В 1817 г. вслед за Шадом ушел из попечителей и кураторов и Потоцкий. Он совсем уклонился от политической деятельности: в Государственном совете, членом которого был с 1810 г., он только числился, а предался деятельности финансовой, участвуя в крупных торгово-промышленных предприятиях и увеличивая свое и без того огромное состояние.

Потоцкий еще в 1807 г. намечал избрать Гете в почетные члены Харьковского университета и предложил совету следующий курьезнейший список кандидатов в почетные члены: «Для изящных искусств: Карамзин, Херас-

ков, гр. Хвостов, Дмитриев, Эйхштедт (Иена), Виланд (Иена), Гете (Иена)». Но избрание закрытой баллотировкой не следовало списку попечителя, и Гете в число членов не попал, что вызвало неудовольствие Потоцкого [47].

В почетные члены Харьковского университета Гете был избран уже в 1827 г. в попечительство А. А. Перовского [48].

Рассказанный эпизод очень важен в истории русских отношений Гете: это был первый русский правительственный заказ, полученный и исполненный им.

Чрезвычайно показательно для интереса Гете к России, что и русскому правительству довелось получить от Гете своеобразный заказ—на удовлетворение одного его научного интереса, связанного с Россией. Эпизод об этом научном заказе Гете должен войти в историю его первых русских отношений.

В исполнении этого гетевского заказа приняли участие наши старые знакомые, гетеанцы первого призыва—Козодавлев и Карамзин, которые к этому времени уже достигли степеней высоких: один был министром внутренних дел, другой официальным историографом.

У Гете был интерес к литературной деятельности и историографии Карамзина. В 1810 г. 4 ноября Гете внес такую запись в свой дневник: «Музыка. Confirma hoc Deus и рождественская кантата. В первый раз канон св. Диогена. За обедом настоятель и дьякон с женой и г. Левандовский. О русской истории и литературе. Карамзин, вводящий немецкую манеру писать» [49]. Собеседниками Гете, ведшими разговор о Карамзине и его литературной реформе, был секретарь Марии Павловны, наследной герцогини Веймарской, М. Ф. Левандовский и причт русской православной церкви, основанной в Веймаре в 1804 г. для Марии Павловны, священник Никита Ясновский (1778—1837) и дьякон Алексей Егоров с женой. Собеседники Гете были достаточно осведомлены для разговора о Карамзине, а сам Гете знал немного и о противнике реформатора русской прозы: он еще в 1804 г. читал кое-что по поводу знаменитого «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» (1803) и отнесся к писанию Шишкова отрицательно.

Среди римских отметок Гете встречаем такую (6 января 1787 г.): «В первый день рождества я видел папу в храме св. Петра... Это—единственное в своем роде представление, великолепное и довольно внушительное; но я настолько состарился в своем протестантском диогенизме, что это великолепие более отнимает у меня, нежели дает мне... Сегодня, в праздник Крещенья, я смотрел и слушал литургию по греческому церковному обряду. Эти обряды кажутся мне величественнее, строже, обдуманнее и между тем общедоступнее латинских». Гете «и там также почувствовал», что «церковные обряды и оперы, и процессии, и балеты,—все это сбегает по мне, как по непромокаемому плащу» [50]. Но у него сохранился интерес к искусству, внедряющемуся в «греческие церковные обряды».

Под первым апрелем 1806 г. встречаем запись в дневнике Гете: «В русской церкви». От 20 апреля 1808 г. он писал композитору Цельтеру: «На этой пасхе проехали восемь певчих из Петербурга в Париж, в церковь русского посольства. Они пели здесь, в здешней греческой церкви, в оба праздничные дня и исполняли, как мне сказала ее высочество [Мария Павловна], подлинные древние песнопения». Гете был заинтересован строением русской церковной музыки, он сравнивал ее с «Canto fermo» итальянцев и с музыкой «Страстей» в католической капелле. Он поражен был

также своеобразием мелодического и гармонического строения русской народной песни и спрашивал Цельтера: «Откуда такая всеобщая тенденция к минорным тонам?» [51]

Заметим, что на какое-то знакомство Гете и с русскими народными песнями указывают еще записи в его «Дневнике» 6 мая 1810 г.: «Танцмейстер из Рудольфштадта. После обеда русские песни» и 10 июля того же года: «Русская песенка» [52]. Позднее Гете читал русские народные песни в переводе Ф. Л. Челаковского: в его библиотеке доныне хранится книга «Wiederhall russischer Lieder von Franz Ladislaus Celakowsky. Prag, 1829».

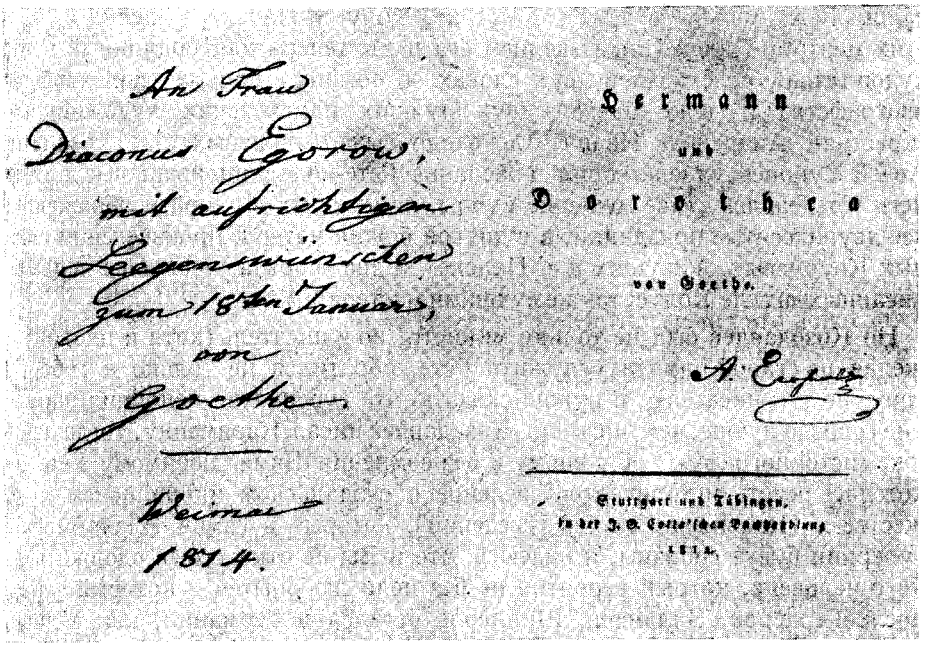
Но сильнее был у Гете интерес к древнерусской живописи. С произведениями такого рода Гете познакомился и в русской церкви, в которой, как видно из приведенной записи, бывал, и в домах русского причта, и в комнатах Марии Павловны, привезшей в Веймар вместе с «приданым» конечно и иконы, вряд ли древнего письма, но вероятно все же «фряжского изографства», совершенно незнакомого лютеранскому Западу. Гете с гениальной чуткостью понял по немногим и вероятно очень поздним образцам, что перед ним целая область искусства, неведомого Западу, но восходящего своими корнями к глубокой византийской и даже эллинской древности. Как всегда бывало, когда Гете нападал на новую для него область знания или искусства, он сделал все, чтобы усвоить его, овладев путями его постижения. Он начал с того, что попытался разузнать об иконописании и об его современном состоянии у русского церковного причта. Дневник Гете показывает, что у него были довольно частые и дружественные сношения с русским причтом. То он беседует с ним о Карамзине и русской истории, то дьякон Алексей Егоров «доставляет» ему какой-то «ящичек» в Карлсбад (1808 г.), то на пасхе 1811 г. (17 апреля) сам Гете появляется «в обед у протопресвитера со всеми русскими». Особенно дружественны были отношения с дьяконом Егоровым и его женою: они нередко бывали гостями и собеседниками Гете. Посещения и собеседования с дьяконом и дьяконицей Гете отмечает в 1811 г. (13 июня), в 1812 г. (3 января и 17 декабря), в 1814 г. (22 марта) [53]. Памятником дружеского расположения к ним Гете остался экземпляр «Германа и Доротеи» (1814 г.) с собственноручной надписью автора, подаренный дьяконице. [54]

Не может быть сомнения, что от причта Гете собрал сведения о современном русском иконописании, которые включил в записку «Russische Heiligenbilder», писанную рукою Джона (John), но с поправками самого Гете. Узнанное породило в Гете целую вереницу вопросов: «В городе Суздале, некогда главном городе губернии, а теперь принадлежащем к губернии Владимирской, изготовляются, как в самом городе, так и в деревнях окрестного уезда, те изображения, которые могут быть названы не столько предметом русского богослужения, сколько внешним побуждением к нему. Эти священные изображения пишутся на деревянных дощечках, выливаются полувыпукло из металла, гравируются резцом, покрываются лаком, вероятно и вырезываются из дерева. Изготовляются ли там же и целые статуи святых? Сомнительно, так как Петр Великий запретил статуи в церквах.

Желательно получить об этих предметах более подробные сведения,— как относительно их изготовления и числа людей, занятых им, так и о том, насколько торговля этими произведениями может быть значительною отраслью промышленности.

Нельзя ли узнать, как давно подобное заведение находится в данной местности? Существуют ли еще греческие иконы, которые при работе служат образцами? Отличаются ли между суздальцами выдающиеся художники? Все ли производится там в старинном, священном стиле, или изготовляются там и иные предметы искусства, на современный лад?

Было бы особенно приятно получить образчики всякого рода этих икон, хотя бы в самых малых размерах, если возможно, от руки лучших современных художников: ибо для любителя искусств весьма поучительно узнать, как вплоть до наших дней целая отрасль искусства, с древнейших времен перешедшая из Византии, сохраняется неизменною, благодаря



Дарственная надпись Гете дьяконице Егоровой на экземпляре издания „Германа и Доротеи" 1814 г. Институт Русской Литературы, Ленинград

постоянной преемственности, тогда как в других странах искусство развивалось и уклонилось от своих первоначальных, религиозных, строгих форм.

Хотя в данной местности четки не изготовляются (их работают в монастырях), однако желательно было бы получить также несколько образцов и четок, особенно, если возможно, из тех, которые приносятся монахами с горы Афонской» [55].

Записку свою Гете передал Марии Павловне [56], а она отослала ее императрице-матери, Марии Федоровне, которая, решив, что веймарский министр фон Гете спрашивает о чем-то, относящемся к «внутренним делам», передала «записку» министру этих «дел» О. П. Козодавлеву, когда-то переводчику «Клавиго». Козодавлев затеял, как и подобало министру, целое «дело» о Гете, захотевшем быть первым исследователем и коллекционером русских икон в Европе в то время, когда никто их не собирал и не изучал в самой России. Козодавлев затребовал прежде всего сведений от владимирского губернатора, указав ему, что действует по поручению са-

мой императрицы. Ради такого поручения губернатор постарался и отозвался министру (17 мая 1814 г.) довольно подробным «донесением», где ответил, собрав сведения «на местах» через исправников и прочих властей, на кое-какие из вопросов Гете. О прошлом «древнерусской живописи» губернатор конечно ничего не мог сообщить дельного, обошел он вовсе и все вопросы Гете об иконах из металла, резных, скульптурных, не ответил вовсе на вопрос Гете, пишут ли что-нибудь суздальские художники «на современный лад». Губернатору легко было бы ответить на этот вопрос одним словом «нет»; а о том, что и как могут писать «суздальские художники» не в «священном», но все-таки в своем «стиле», об этом не знали и сами эти художники. Но, на что мог, губернатор ответил недурно: он сообщил Гете нужные сведения о Мстёре, Хо̀луе и Па̀лехе, выделил из трех этих центров Палех (так выделяем его и мы теперь как подлинный центр художества), рассказал в двух словах об обычных приемах палеховского изографства и даже назвал двух лучших палеховских художников— «крестьян Андрея и Ивана Александровых Коурцевых» [57]. Губернатор Авдей Супонев удовлетворил и желание Гете-коллекционера: выслал для него Козодавлеву «две меньшие иконы, из которых в одной изображаются все двунадесятые праздники, а в другой божия матерь, произведения славных Коурцевых, живущих в с. Палехе», и два «образа, побольше первых», писанных «в селе Холуе, также лучшими мастерами» [58].

Но Козодавлев был не только министр, но и писатель (хотя и плохой) и, желая по старой памяти услужить Гете, обратился не только к губернатору, но и к писателю, и нужно сказать, что губернатор исполнил поручение гораздо лучше, чем писатель. Козадавлев писал Карамзину, тогда давно уже «историографу»: «Славному и без сомнения Вами любимому Гете захотелось иметь историческое сведение о суздальском иконописном художестве... Независимо от тех [сведений], которые в самой Владимирской губернии будут собраны, я надеюсь, что и Вы не откажетесь одолжить такого человека, котрый вероятно не без цели любопытен и который теперь после Гердеров, Виландов, Шиллеров остался в Германии, как головня после пожара, которая однакож еще не совсем погасла и бросает искры прежнего огня». Карамзин ответил 4 апреля 1814 г. из Москвы: «Усердно исполняя желание Вашего превосходительства, спешу ответствовать на предложенные Вами вопросы. 1. Суздальская иконопись есть подражение Византийской, которая вошла в Россию вместе с христианскою верою при Владимире. Греческие живописцы были учителями наших, из коих знаем св. Алимпия Печерского в XI веке (см. Патерик). 2. Сия иконопись у нас не изменилась в течение веков: ибо духовенство российское требовало от живописцов точного подражания византийским образцам, и новости считались ересью. Фигуры, их расположение, краски, одежда—все имело свой закон. Так, например, московский собор XVI века именно утвердил, чтобы иконы писать по образцам Андрея Рублева, а не иначе (см. Стоглав). 3. С которого времени суздальцы занимаются преимущественно иконописью? Думаю, со времен Андрея Боголюбского: он призывал в Владимир византийских художников и пекся о введении искусств в Суздальском великом княжении... Отвечаю коротко, чтобы не сказать ничего лишнего. В материалах нашей истории не нахожу никаких дальнейших объяснений на сей предмет. Не угодно ли будет Вашему превосходительству спросить у нашей Академии художеств, что она думает о суздальской иконной живописи? Не вмешиваюсь в ученость искусств» [59].

О. П. КОЗОДАВЛЕВ
Гравированный портрет Иенфа (Дерпт, 1813 г.)
Музей Изобразительных Искусств, Москва



Ответ «историографа» показывает, что объем его сведений о древнерусской живописи немногим превышал те сведения о ней, которые Гете понасбирал уже от русских «веймарцев»: он уклонился вовсе от суждения о современном состоянии народного иконописания, чем Гете более всего интересовался, и отослал за разъяснениями в Академию художеств, в которой меньше, чем где-либо, можно было добыть нужные сведения: там господствовала ложноклассическая рутина батальных картин, царских портретов и придворной мифологии. Козодавлев ждал от Карамзина особого внимания к просьбе Гете; этого внимания в ответе Карамзина нет и следа: там даже не упомянуто имя Гете.

Можно сказать, что научный заказ Гете русскому правительству оно выполнило довольно скверно. Во всяком случае сам Гете, как мы видели, положил гораздо больше старания в выполнении первого же полуправительственного заказа, полученного им из России.

В дальнейшем же русское правительство могло быть еще больше довольно вниманием и исполнительностью Гете.

Предстоит познакомиться теперь с русскими официальными командировками и неофициальными пилигримствами к Гете. Начало их восходит к первым годам XIX столетия. «Гете и русский двор»—это богатая тема для историка: она еще ждет своего исследователя, как и другая, близкая ей: «Гете и русская дипломатия в наполеоновскую эпоху». Мне приходится лишь коснуться этих сложных и богатых тем.

ПРИМЕЧАНИЯ

Условные обозначения наиболее часто цитируемых источников:
Собрания сочинений Гете:
«W. A.»—Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. Erste Abtheilung: Werke im engenen Sinne. Zweite Abtheilung: Naturwissenschaftliche Schriften. Dritte Abtheilung: Tagebücher. Vierte Abtheilung: Briefe. Weimar. 1887—1911. Hermann Böhlau.

Гете.—Гете. Собрание сочинений в 13 томах. Юбилейное издание под ред. Л. Б. Каменева, А. В. Луначарского, М. Н. Розанова. ГИЗ. М.-Л., 1932 (вышли томы I и II).

Гете-Вейнберг. — Собрание сочинений Гете в переводе русских писателей. II изд. под ред. П. И. Вейнберга. 8 тт. СПБ., 1892—1895.

Источники на русском языке:

I. Журналы. «М. В.»—«Московский Вестник»; «М. Т.»—«Московский Телеграф»; «Р. А.»—«Русский Архив»; «Р. С.»—«Русская Старина»; «С.»—«Современник». II. Прочие издания. Арх. Т.—«Архив братьев Тургеневых». Изд. Академии Наук, СПБ., 1911—1921. Барс.—«Жизнь и труды М. П. Погодина» Николая Барсукова. Книги I—IV. СПБ., 1888—1891 гг. Бельш.—А. Бельшовский. Гете, его жизнь и произведения. Перев. под ред. П. И. Вейнберга. 2 тт., СПБ., 1898—1908; имея в виду русского читателя, приходилось делать ссылки на факты биографии Гете по такой книге, которая была бы ему доступна. Из крупных и более новых биографий Гете работа Бельшовского—единственная, имеющаяся в русском переводе. Она рекомендована как «необходимое пособие» и редакцией (А. В. Луначарский и А. Г. Габричевский) «Фауста» Гете в переводе Брюсова (ГИЗ, 1928, стр. 345). Вес.—акад. Алдр. Н. Веселовский: «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения». П., 1918. Дн.—«Дневники В. А. Жуковского». С примечаниями И. А. Бычкова. СПБ., 1903. Жук.—Полное собрание сочинений В. А. Жуковского, в 12 тт. Под ред. проф. А. С. Архангельского. СПБ., 1902. Кол.—Н. П. Колюпанов. Биография А. И. Кошелева. 2 тт., М., 1892. Кош.—А. И. Кошелев. Записки. Berlin, 1884. «О. А.»—«Остафьевский архив князей Вяземских». I. Переписка кн. П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. Под ред. и прим. В. И. Саитова, тт. I—IV. СПБ., 1899—1908. «Примечания» В. И. Саитова, со II тома издававшиеся отдельным полутомом, цитуются: «О. А.» п—Переписка П.—Сочинения Пушкина. Изд. Академии Наук. Переписка. Под ред. В. И. Саитова, 3 тт. СПБ., 1906—1911. Письма П.—Пушкин. Письма. Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского, тт. I—II. ГИЗ, 1926—1928. Пуш. соч.—Пушкин. Полн. собр. соч., 6 тт. Под ред. Д. Бедного, А. Луначарского, П. Сакулина, В. Соловьева, П. Щеголева. ГИЗ, 1930—1931. «Р. Б. С.»—«Русский биографический словарь». Сак.—П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 1 и ч. 2. М., 1913. Экк.—«Разговоры Гете, собранные Эккерманом». Перевод с нем. Д. В. Аверкиева. 2 тт. СПБ., 1905.

Источники на немецком языке:

Bied.—«Goethes Gespräche. Gesamtausgabe neu hsg. von Flodoart-Frhr. von Biedermann, B. I—V. Leipzig, 1909—1911.—Müller—«Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Müller. Hgg. von C. A. Burckhardt. 2-e Auflage. Stuttgart, 1898.—Propyl.—Propyläen Ausgabe von Goethes sämtlichen Werken. Erstes Supplement: «Die Bildnisse Goethes. Hgg. von Ernst Schulte-Strathaus.—Georg Müller Verlag, München (1910).—Schmid—dr. Georg Schmid, «Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel. «Russische Revue». XVII Jahrgang, 2 Heft, S.-Petersb. 1888, SS. 131—182.—Schorn—«Briefe des Kanzlers Friedrich von Müller an Wassily Andrejewitsch Joukowsky. Hgg. von Adelheid von Schorn. «Deutsche Rundschau» 1904, Heft 11, SS. 277—288.

В тексте исследования разрядка принадлежит всегда цитируемым авторам.

[1] «Поэзия и Правда. Из моей жизни», книга VI.—И. В. Гете «Поэзия и Правда», ч. 2. Перев. Н. А. Холодковского. «Всем. Лит.». Л.-М., 1923, стр. 28. В VII книге «Поэзии и Правды» Гете говорит о своем студенческом знакомстве с «несколькими уроженцами Лифляндии» (стр. 47), но это были немцы—русские подданные, рижане братья Ольдерогге, курляндец Ливен и Боргман, во время дуэли ранивший Гете в плечо. В Страсбурге, во время житья там с Гердером, Гете встретился у него с «одним симпатичным русским, по имени Пеглов», желавшим в Страсбурге «усовершенствоваться в хирургии». Гете отмечает его дружески-юмористическое отношение к некоторым писаниям Гердера, чтением которых он докучал Гете (там же, стр. 52—154). Это был штаб-лекарь одного из русских полков,—по всей вероятности также остзеец.

[2] М. И. Сухомлинов, Ист. Росс. Ак., вып. VI. СПБ., 1882, стр. 13.

[3] «Поэзия и Правда», кн. VI, изд. «Всем. Лит.», ч. 2, стр. 29—31, 36.

[4] Вяч. Якушкин, Учебные годы Радищева. Сб. «Под знаменем науки». М., 1902, стр. 200—201.

[5] «Он [профессор философии Эрнст Платнер, 1744—1818] помнит Кутузова,-озодавлева?], Р[адищева] и других русских, которые здесь учились. «Все они были

моими учениками,—сказал он». (Н. М. Карамзин, Письма русского путешественника. Избранные сочинения. Ч. 2. СПБ., 1892, стр. 42).

[6] Любопытно отметить, что в начале 800-х гг. в изданиях «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», кружка литературных учеников и последователей Радищева, печатались переводы из Гете (см. переводы И. М. Борка в «Свитке Муз» 1802).

[7] Сухомлинов, Ист. Росс. Ак., вып. VI, стр. 14. В Лейпцигском у-те одновременно с Гете, но на другом факультете, учился его однолеток—саксонский дворянин Карл фон Кюхельбекер (1748—1809), отец будущего русского поэта-гетеанца.

[8] Титул первого издания: «Клавиго, трагедия в пяти действиях господина Гете, переведена с немецкого. В Санктпетербурге, при артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе, у содержателя Х. Ф. Клеэна 1780 года».—Титул второго издания: «Клавиго, трагедия господина Гете. Переведено с немецкого. Второе исправленное издание. В Санктпетербурге, печатано в вольной типографии Вейтбрехта и Шнора. 1780 г.» Монолог из «Клавиго» (действие V: «Мертва! Мария мертва!») был перепечатан в «Санктпетербургском Вестнике» 1780 (ч. VI, июль,58—60 стр.). Предисловие ко второму изданию подписано К.... (четыре точки соответствуют числу гласных в фамилии переводчика).

[9] См. библиографию русских переводов «Вертера» в издании: В. Гете, Страдания юного Вертера. Перев. О. Б. Мандельштама, под ред. и с предисл. А. Г. Горнфельда, «Всем. Лит.». П., ГИЗ, 1922, и ниже в работе Б. Я. Бухштаба. Сопиков (т. IV, №№ 11575 и 11576) называет лишь переводы Галченкова —1781 г. и Виноградова—1798 г. В новейшей немецкой работе о Гете и России Евгений Цабель пишет: « Россия усвоила себе роман [«Вертера»] во всяком случае позднее [других стран]: первый перевод вышел там только в 1794 г., на двадцать лет позднее того, как о нем заговорили в литературных кругах Франции, Англии и Италии» (E. Zabel, Goethe und Russland. «Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft», Bd. VIII, 1921, SS. 27—48). Цабель делает грубую ошибку: «Вертер» у нас появился не через двадцать лет после выхода в свет (1774), как утверждает Цабель, а через семь (1781).

[10] Для поколения сентименталистов конца XVIII—начала XIX в. таким созвучным им переводом «Вертера» должен был быть труд Андрея Тургенева и Жуковского, не довершенный и известный лишь по одному печатному отрывку (Андр. Тургенева). Для поколения 20-х гг. своим «Вертером» явился перевод Н. М. Рожалина; люди 40-х гг. обладали своим переводчиком Гете—А. Н. Струговщиковым, которого весьма ценил Белинский; его «Вертер» вышел с сильным опозданием—в 1865 г. В 90-х гг. появились два «Вертера»—О. Н. Хмелевой (1892) и А. Р. Эйгеса (1892). Поколение интеллигенции, с глубоким пессимизмом выходившее из сумерек 80-х гг., оказалось прилежным читателем «Вертера». «Всем. Лит.», ставившая целью ознакомить нового, выдвинутого пролетарской революцией читателя с созданиями классиков, издала в 1922 г. новый перевод «Вертера» О. Б. Мандельштама. В своей статье «Goethe in Russland» белоэмигрантский профессор А. Л. Погодин пишет: «В эпоху романтики мы меньше слышим о «Вертере». Гете привлекал внимание как певец народных преданий»—и ссылается на «Лесного царя» Жуковского («Germanoslavica». Jahrgang I. 1931—1932, Heft 3. I. Goethe-Heft, Brünn, S. 337). Это совсем неверно: тот самый «кружок юных поэтов «М. В.», о котором Погодин пишет, с горячим участием следил за переводом «Вертера», делаемым членом кружка Н. М. Рожалиным, и считал «Вертера» настольной своей книгой: для многих из членов этого кружка быть гетеанцем значило быть вертерьянцем. Недаром Пушкин в список героев эпохи занес «Вертера, мученика мятежного».

[11] Меньше всего был Вертер тем, чем хочет представить его теперь проф. Погодин, утверждая, что «в кругах высшего русского общества Вертер пробуждал не только «чувствительность» [как будто в других кругах он пробуждал только «чувствительность»], но и возвышенное чувсвто гуманности» («Goethe in Russland», стр. 336). Из чего видно, что Вертер пробуждал «чувство гуманности» у петербургских собратий немецких великосветских врагов Вертера, мы не знаем, а профессор не помогает нам узнать, но что Вертер питал в русских читателях боль социальной обиды—это несомненно; см. главу моей работы, посвященную Н. М. Рожалину. Как выше указано, эти протестующие мотивы в романе Гете заставили декабриста Кюхельбекера любить эту книгу больше всех других сочинений Гете, а Пушкину внушили придать Вертеру эпитет «мятежный».

[12] Н. М. Карамзин, Избранные сочинения, ч. 2. СПБ., 1892, стр. 44, 45, 49.

[13] В. В. Сиповский, Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПБ., 1899, стр. 352, 372, 197.

[14] Там же, «Приложения», стр. 50—51.

[15] М. Н. Розанов, Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц. Его жизнь и произведения». М., 1901, стр. 267—269, 418, 484.

[16] Другу Карамзина И. И. Дмитриеву принадлежит чрезвычайно популярное в конце XVIII—начале XIX в. стихотворение «Размышление по случаю грома» («Гремит! благоговей, сын персти!»). Это—подражание, без сохранения размера, стихотворению Гете «Grenzen der Menschheit». По этому переложению впервые знакомились в России с лирикой Гете. Жуковский, побывав у Гете, писал Дмитриеву, что именно это «Размышление» дало первый толчок к его собственному поэтическому творчеству.

[17] Карамзин, Избр. соч., ч. 2, стр. 47, 55, 60, 50.

[18] П. Вяземский, Старая записная книжка. Ред. и прим. Л. Гинзбург. Л., 1929, стр. 134.

[19] Из вельмож, не только переписывавшихся с Вольтером, но и посещавших его, можно назвать: фаворита Елизаветы И. И. Шувалова, две недели прогостившего у Вольтера и привезшего ему заказ на «Историю Петра Великого» (этот же Шувалов, «покровитель» Ломоносова, встретился с Гете в 1781 г.; эта случайная встреча дает самую раннюю из точных дат русских знакомств Гете. «W. A.», III Abt., B. I, S. 132. Запись от 3 сентября); Б. М. Салтыкова (1723—1808), поселившегося в Фернее в качестве корреспондента Шувалова и помощника Вольтеру при писании этой истории; кн. А. М. Белосельского-Белозерского (1752—1809), отца кн. З. А. Волконской, дипломата, поэта и музыканта, и др. В 1775 г. придворно-философический сплетник бар. Гримм, по желанию вдовы знаменитого фельдмаршала гр. Румянцева, возил в Ферней ее сыновей—Сергея и Николая (будущего канцлера)—на поклон Вольтеру. (Д. Д. Языков, Вольтер в русской литературе. Сб. «Под знаменем науки». М., 1902. С. П. Шевырев, История Московского у-та. М., 1855, стр. 28, 48, 85, 118, 441.—«О. А.» т. III, прим. 461).

[20] Bied., B. I, S. 122, № 247.

[21] Бельш., т. II, стр. 31.

[22] Bied., B. IV, S. 174, № 2742.

[23] Там же, т. I, стр. 480, № 973.

[24] «W. A.», III Abt., B. II, S. 30, 31, 55; B. III, S. 38, 46, 61, 158; B. IV, S. 112; B. VIII, S. 171—173, 176, 185. Об Амалии Голицыной см.: Katerkamp, «Denkwürdigkeit aus dem Leben der Fürstin Amalie von Golitzin» (Münst., 1828); «Mitteilungen aus dem Tagebuche der Fürstin Amalie von Golitzin» (Stuttg., 1868).

[25] «W. A.», I Abt., B. XXXV, S. 155; IV Abt., B. XXXIX, S. 50; III Abt., B.III, S. 66—67; B. V, S. 13. О Д. А. Голицыне: кн. Н. Н. Голицын, Род князей Голицыных, т. I, СПБ., 1892. Доселе не обнародованы «голицынские письма», упоминаемые Гете.

[26] О русском провинциальном и не-вельможном вольтерьянстве конца XVIII в. см. в статье В. В. Сиповского, Из истории русской мысли XVIII—XIX ст. (Русское вольтерьянство).—«Голос Минувшего» 1914, № I, стр. 105—131.

[27] Сиповский, Карамзин, стр. 552; ср. ниже статью С. Рейсера.

[28] E. Zabel, Goethe und Russland «Jahrb. der Goethe-Gesellschaft», B. VIII, 1921, S. 27—48.

[29] В. И. Семевский, Вступительная статья к книге А. Г. Брикнера: «Смерть Павла I». СПБ., 1907, стр. XXXIII.

[30] В 1800 г. лифляндский пастор Зейдлер был приговорен к двадцати ударам кнута и отсылке в Нерчинские рудники по подозрению, что он из своей библиотеки дает для чтения книги «сумнительные и уже запрещенные».

[31] Д. Д. Языков, Вольтер в русской литературе, стр. 711.

[32] С Чарторижскими Гете был связан давним знакомством. Уже в 1785 г. на водах в Карлсбаде Гете познакомился с кругом польской аристократии: в их числе был кн. Адам-Казимир Чарторижский, отец будущего министра Александра I, кн. Изабелла Любомирская, гр. Станислав-Костка Потоцкий, переводчик столь любимого Гете Винкельмана, и мн. др. Кн. Адам-Казимир Чарторижский, в следующем же году, посылая своих сыновей в образовательное путешествие за границу, включил в их маршрут и Веймар. «Снабженные письмом от министра соседней Готы,—рассказывает Адам Чарторижский-сын, которому было тогда всего 16 лет,—мы отправились в Веймар, на который тогда уже указывали, как на Афины Германии. Министр Франк помог нашему знакомству со знаменитым Гете. Мы с Цесельским (воспитатель молодых Чарторижских) были даже приглашены на собрание, в котором Гете в кругу нескольких друзей читал только что оконченную им и не появившуюся еще в печати «Ифигению в Тавриде». Я с большим восторгом слушал его чтение. Гете был тогда в полном расцвете молодости; он был высокого роста, с лицом столь же прекрасным, как и величественным, с пронизывающим взглядом, иногда немного презрительным, смотревшим на мир с высоты своего величия, что вызывало улыбку

на его красивых губах. Восторг такого молодого человека, каким был я, был им едва замечен; это была дань, к которой он привык. Позже Гете сделался министром великого герцогства Веймарского и не выказывал такого же презрения к разным официальным милостям и получению орденов, но он всегда сохранил в выражении своего лица и всей своей фигуры некоторое величие, что заставляло сравнивать его с Фидиевой статуей Юпитера Олимпийского» («Мемуары кн. Адама Чарторижского и его переписка с Александром I». Перев. А. Дмитриевой под ред. А. А. Кизеветтера, т. I. М., 1912, стр. 28. См. также G. Karpeles, S. 11; H. Zathey, S. 12).

[33] «Мемуары кн. А. Чарторижского», т. I, стр. 220.

[34] «Краткий очерк истории Харьковского у-та за первые сто лет его существования» (1805—1905). Составлен Д. И. Багалеем, Н. Ф. Сумцовым и В. П. Бузескулом. Харьков, 1906, стр. 32.

[35] «Р. С.» 1875, № 10, стр. 271, 272.

[36] Печатается по фотографии с подлинника (на франц. яз.) из Веймарского архива.

[37] Гете везде именует университет академией—«Akademie Charkof». Приведенное письмо Гете к Потоцкому и самые «Promemoria» напечатаны по собственноручному черновику в «W. A.», IV Abt., B. XVI, S. 357—363.

[38] Гете—Потоцкому, 27/II 1804; там же, B. XVII, S. 78—79; там же, стр. 76.

[39] «Краткий очерк истории Харьковского у-та», стр. 33.

[40] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 159—161.

[41] Там же, стр. 195—196 и 321.

[42] Там же, III Abt., B. III, S. 136.

[43] «Gemeinfassliche Darstellung des Fichtischen Systems und der daraus hervorgehenden Religionstheorie». Erfurt, B. I—II, 1800; B. III, 1802.

[44] Письмо от 16/VIII 1804 г. Печатается по фотографии с подлинника (на нем. яз.) из Веймарского архива.

[45] Густав Шпет, *Очерк развития русской философии*, ч. I. П. 1922, стр. 110—117.

[46] М. И. Сухомлинов, Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I. СПБ., 1889, стр. 102—104. Удаление Шада из Харьковского у-та имеет немалую литературу. Полнее всего история Шада рассказана в исследовании проф. Д. И. Багалея, Удаление проф. Шада из Харьковского университета («Записки Харьк. у-та» 1899, кн. I, стр. 45—60, кн. II, стр. 1—135), перепечатанном в его же «Очерках из русской истории», т. I. Статьи по истории просвещения, Харьков, 1911. Там же статья «Роль Карамзина, Потоцкого и Тимковского в первоначальном устроении Харьк. у-та».

[47] М. М. Плохинский, Почетные члены и члены-корреспонденты Харьковского университета.—«Записки Харьк. у-та» 1895, кн. I, ч. неоф., стр. 45—60.

[48] Д. И. Багалей, Опыт истории Харьковского у-та, т. II (1815—1835). Харьков, 1904, стр. 363.

[49] «W. A.», III Abt., B. IV, S. 164. «Канон», упоминаемый Гете, был произведение его друга, композитора Цельтера.

[50] «Путешествие в Италию». Гете-Вейнберг, т. VI, стр. 96.

[51] «W. A.», III Abt., B. III, S. 123; IV Abt., B. XX, S. 48, № 5524.

[52] Там же, III Abt., B. IV, S. 116, 139. См. также «F. L. Celakovsky's Übersetzungen für Goethe». Mitgeteilt v. O. Fischer. «Germanoslavica», 3 Heft, S. 408—431.

[53] Там же, B. III, S. 346; B. IV, S. 198, 212, 250, 353; B. V, S. 100.

[54] См. ниже статью А. Габричевского «Автографы Гете в СССР».

[55] «W. A.», I Abt., B. XLa, S. 238—239. Отрывок приводится по переводу Георга Бахмана в его заметке «Гете о русских иконах».—«Р. А.» 1901, №10, стр. 251—252, с примечанием П. Б[артенева].

[56] Мария Павловна поддерживала в Гете интерес к русским древностям. Очень характерна в этом отношении отметка в дневнике Гете 1823 г. (24/XI): «Корсунские врата в Новгороде, присланные на просмотр наследной великой герцогиней». (Это известная работа акад. Аделунга о знаменитых Корсунских вратах новгородского Софийского собора.) «W. A.», III Abt., B. IX, S. 148.

[57] Д. Ф. Кобеко, О суздальском иконописании.—«Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук» 1896, № I, стр. 2—4. Работа эта осталась неизвестной Г. Бахману и П. И. Бартеневу.

[58] Там же, стр. 5.

[59] Там же, стр. 1—2, 6.

Глава вторая

ГЕТЕ В ПОЛИТИКЕ АЛЕКСАНДРА I И НИКОЛАЯ I

I. ПОСОЛ РУССКОГО ЦАРЯ ПРИ ДВОРЕ ГЕТЕ

ИНТЕРЕС ГЕТЕ К РОССИИ.—ГЕТЕ И РУССКАЯ ИСТОРИЯ—ГЕТЕ И ПЕТР ВЕЛИКИЙ; ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИНТЕРЕСА ГЕТЕ К ПЕТРУ.—ГЕТЕ И УБИЙСТВО ПАВЛА I.—РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ВЕЙМАРСКОГО ДВОРА С ПЕТЕРБУРГСКИМ.—МАРИЯ ПАВЛОВНА И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЕЙМАРА.—НАПОЛЕОН I И МАРИЯ ПАВЛОВНА.—ВЕЙМАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ДВОРА.—РУССКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ВЕЙМАРСКОГО КУЛЬТУРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.—КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГЕТЕ И ФИНАНСЫ МАРИИ ПАВЛОВНЫ.—ГЕТЕ КАК СЕКРЕТАРЬ МАРИИ ПАВЛОВНЫ.—„НИМФА ЭГЕРИЯ" ИЛИ ПОСОЛ РУССКОГО ИМПЕРАТОРА.—МАРИЯ ПАВЛОВНА И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛИТИКА РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.—ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РУССКИХ ПАЛОМНИЧЕСТВ И ВИЗИТОВ К ГЕТЕ.

Интерес Гете к России в XIX столетии несомненен, непрерывен и многообразен. Об его интересе к древнерусскому искусству речь уже была; об его внимании к русской поэзии и поэтам речь будет впереди. Наука в России также привлекала внимание Гете: он был в переписке с учеными немцами, работавшими в России, следил за их научными трудами, был членом петербургского минералогического и одного из харьковских научных обществ, был почетным членом Харьковского университета и Академии Наук, пытался принять участие в ее трудах, а несколько ранее—горячо принял к сердцу проект об учреждении в Петербурге Азиатской академии. В настоящей работе нельзя было обойтись без целых страниц, посвященных отношениям Гете к русским художникам: О. Кипренский, А. Орловский, Ф. Толстой, Г. Рейтерн были ценимы Гете. У него также был большой интерес к русской природе, быту, к географии России. Он дорожил каждой книгой, каждой беседой, расширяющей его познания в этой области. Познанию России—в самых разнообразных отношениях—Гете учился непрерывно. То он читает «Второе путешествие Палласа через Россию» (1803); то с любопытством слушает «юмористический рассказ» какого-то Шевалье о том, как «русский монах водил его по киевским пещерам и принял за магометанина, потому что он крестился перед святыми гробницами справа налево, а не слева направо» (1810); то отмечает «катанье на русских санях», интересующее его как подробность русского быта (1812); то вместе с гр. Головкиным, начальником русской большой экспедиции-посольства в Китай, рассматривает карту России и обсуждает маршрут бесконечного их пути (1812). От «Путешествия на Кавказ и в Грузию в 1807 г., 1808 г. и 1813 г.» И. Г. Клапрота он переходит к путешествию Дж. Д. Кохрана «Пешком через Россию и сибирскую Татарию» (1825), а в 1831 г. и сам путешествует вместе с Оттоном Коцебу: «по просьбе Вольфа—любимого внука—принесен был глобус, и с помощью его наглядно представили себе последнее кругосветное путешествие русских». Когда ему удается прочесть новую книгу, открывающую что-нибудь новое в той малоизвестной шестой части света, которая называется Россией, Гете счастлив: «Ледебур, русская флора, украсившая мою библиотеку благодаря великой герцогине,—записывает он 1 мая 1830 г.,—замечательное сочинение, вводящее много новых видов». Но кажется еще больше ценил Гете живые беседы о России с теми учеными путешественниками, знаниям и добросовестности которых он доверял. В 1817 г. он, обычно столь скупой на записи, заносит свой разговор с проф. Реннером «о России, в особенности о русских лошадях, рогатом скоте» и о болезнях скота. В 1823 г. Соре привел к нему какого-то «путешественника из Петербурга», и Гете рассматривал с ними «виды Петербурга в русских лито-

графиях и костюмы разных народностей». В том же году Гете посетил один прусский генерал, и Гете с ним беседовал о «канале, который делает возможным сообщение юга и севера русского государства»: это был разговор о Мариинской системе, которая как раз в это время подвергалась капитальному переустройству. В 1830 г. Гете отметил разговор с ученым юристом Cailloué, французом, «изъездившим Пруссию и Россию, изучая их правовой и юридический строй». Когда старый друг Гете Александр Гумбольдт возвратился из своего знаменитого путешествия по России, Гете, не без некоторого упрека за неполноту его рассказов, отметил в дневнике: «В 11 ч. г. ф.-Гумбольдт кратко рассказал, имея под рукой карту, о своем путешествии через русское государство» и утешился несколько на дальнейшем: «он обещал некоторые замечательные, там найденные, минералы» [1].

Все эти чтения и беседы—а число их можно было бы умножить—свидетельствуют о неослабном, даже растущем интересе старика Гете к далекой и чужой стране с ее неисследованными просторами и непонятными укладами жизни и быта [2].

Но как ни глубок и постоянен у Гете этот интерес к русскому искусству, литературе, науке, природе, быту,—он сильно уступает его же интересу к русской истории. Характер этого интереса ни в какой мере не академический. Хотя Гете не чужд интереса и к древней русской истории—в 1802 г. он читал русские летописи [3],—но внимание его по-настоящему направлено только на новейшую русскую историю с Петра, и все его чтения имеют явный характер комментария к той истории, которая творилась в эпоху наполеоновских войн на его глазах, в которой сам он был участником и в которой—иногда не без явного неудовольствия—замечал все большее и большее участие России. В своем историческом чтении Гете запасался материалом для изучения этого русского вмешательства в историю Европы, и часто историческое чтение или разговор, вызванный этим чтением, дают Гете случай высказать суждение, прямо напоенное злобой дня. Вот прекрасный пример: в августе—октябре 1809 г. Гете погружен был в чтение «Жизни Петра Великого» (Leben Petrus des Grossen) Герхардта-Антона Галема (1752—1819), четырежды отметил в дневнике этапы этого чтения [4] и в тот же день, когда сделал первую из отмет, высказал Римеру: «Что собственно получили немцы в их прелестной свободе печати, как не то, что всякий может наговорить про другого дурных и позорных вещей, сколько ему захочется?» [5] Это политическое высказывание Гете летит рикошетом от изучения жизни Петра I, который, в глазах Гете, делал крупные исторические дела и без «свободы печати». И самый интерес Гете к личности Петра был интересом политическим: враг революции, недруг республиканства и конституционализма, Гете в эпоху реставрации не хотел однако быть и со слепыми реставраторами старого режима, с католической и священно-союзной реакцией Людовика XVIII и Александра I, и оттого тянулся к Петру I, где не было революции, но была реформа,—была реформа, но не было реформаторов, заседающих в парламентах и причиняющих неприятности королям и герцогам. «Реформатор», но на троне, с министрами-помощниками вокруг трона—это было самое большее, на что шел Гете в своих политических чаяниях, более чем умеренных и менее всего соответствовавших гениальной остроте его поэтической и научной зоркости. Петр I и его деспотическое реформаторство сверху больше, чем кто-либо в истории, отвечал этим чаяниям, и Гете чувствовал особый интерес к нему.

В этом интересе было много общего с тем интересом, который Гете всегда питал к личности и делу Наполеона. «В войне и управлении государством» Гете считал их одинаково «гениальными», и Петру приписывал то же наитие «демонического», что и Наполеону. Оба они казались Гете столь мощными двигателями, при которых движение в истории обеспечивается и без поддержки народных масс. Тем пристальнее Гете желал судить их деятельность. В 1829 г. он очень внимательно читал книгу Сегюра «Histoire de Russie et de Pierre le Grand» (Paris, 1829). «Положение Петербурга,— говорил Гете Эккерману,—непростительно, особенно если вспомнить, что почва возвышается поблизости от него и что император мог охранить город от наводнений, поставив его несколько выше и оставив в низовьях только гавань... В таком поступке столь великого человека есть нечто загадочное. Знаете ли, чем я его объясняю? Человеку невозможно освободиться от впечатлений своей юности, и это доходит до того, что даже вещи, страдающие недостатками, но к которым он привык в юности и среди которых жил в эти счастливые годы, остаются для него и впоследствии дорогими и кажутся хорошими; он точно ослеплен ими и не видит в них никаких недостатков. Так и Петру Великому хотелось построить в устьях Невы любезный ему в юности Амстердам» [6]. У Гете не ослабевал интерес к истории новой России: проблема бытия России и исторического смысла этого бытия с особой яркостью встала перед Гете тогда, когда Александр I неожиданно для себя оказался вершителем судеб Европы и в особенности Германии. Даже тогда, когда Гете читает сочинения по общей истории Европы, он выделяет все, что относится к России. Так в 1808 г., читая чью-то «Staatengeschichte», он сделал две отметки о чтении части этого сочинения, посвященной России, и так же поступил в 1823 г.: читая сочинение Л. Т. Шпиттлера (1752—1810) «Очерк истории европейских государств», он выделил из него Россию, специально отметив чтение соответствующей главы [7]. На примере русских исторических чтений Гете наглядно доказывается истина, что историческое чтение есть всегда политическое чтение.

Но Гете мог читать русскую историю первой четверти XIX столетия не только из книг, а из самых событий, узнавать ее от людей, бывших участниками или свидетелями этих событий.

7 апреля 1801 г. Гете сделал такую отметку в дневнике: «Фауст. Смерть императора Павла» [8]. Связи между двумя отметками нет никакой, но соседство их примечательно: работу или думу над важнейшим созданием своего гения Гете поставил рядом с политическим событием, совершившимся в далекой России: так показалось оно ему важно и значительно.

В маленьком Веймаре мог быть особый интерес к этому событию: супруга герцога Карла-Августа, столь связанного с Гете, герцогиня Луиза была родной сестрой первой жены Павла I, вел. княгини Наталии Алексеевны (Вильгельмина, принцесса Гессен-Дармштадтская, 1755—1776). Когда Гете жил в Неаполе, он подружился с художником Ф. Гаккертом, который пользовался благосклонностью кн. Андрея Кирилловича Разумовского, бывшего в 1779—1784 гг. русским послом в Неаполе. Пометками о Разумовском и его привязанности к талантливому художнику пестрят страницы Гете, посвященные Ф. Гаккерту [9]. Гаккерт знавал Павла I и Марию Федоровну, когда они, под никого не обманувшим incognito «графа и графини Северных», путешествовали по Италии, и даже писал портрет Марии Федоровны. А о Разумовском, посланнике и Дон-Жуане, остроумном и тонком музыканте [10] ходила европейская молва как о счастливом

сопернике Павла у его жены, Наталии Алексеевны. На эту удачу Разумовского Екатерина сама раскрыла глаза Павлу: чтобы «утешить его в смерти жены», она представила ему пачку писем Разумовского к Наталии Алексеевне [11]. В утешение же Павлу Разумовский был выслан сперва в Ревель, потом в Батурин, потом... в Неаполь, где он имел вторую удачу у королевы Каролины. В Италии Павел и Разумовский имели удовольствие встретиться. Вот какой примерно круг рассказов о Разумовском и русском дворе с Павлом во главе мог слышать Гете от Гаккерта, писавшего для Екатерины II батально-морские картины, окутанные не только дымом пороха, но и дымом фимиама в честь «побед русского флота». Эти рассказы для Гете могли иметь специфический «придворный интерес», так как они касались сестры Луизы Веймарской.

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство Павла I были предметом длительного интереса, даже изучения со стороны Гете. Он с большой настойчивостью собирал все, что мог разузнать об убийстве Павла от лиц, бывших в это время в Петербурге, а с 1804 г. и от приближенных Марии Павловны и ее русских посетителей. Чрезвычайно любопытна в этом отношении отметка в его дневнике 14 марта 1814 г.: «У их высочеств. У miss Диллон. История смерти Павла I» [12]. Их высочества—это великие князья Николай и Михаил Павловичи, приехавшие в Веймар со своим воспитателем графом Ламсдорфом. Гете представлялся им и был вероятно весьма почтителен к сыновьям Павла I, а прямо от них проследовал к англичанке miss Диллон, служившей камер-фрау у Марии Павловны, и от этого интимно близкого к дочери Павла I лица вызнавал—в который—раз историю его убийства. Гете очень хорошо знал показную историю русского двора, но не менее знакома ему была его изнанка. Об этом свидетельствует результат его выспрашиваний о смерти Павла I—большая, тщательно составленная запись под заглавием «Die Palasterrevolution gegen Kaiser Paul I». В виду того, что она никогда не появлялась на русском языке и даже не упоминалась русскими историками, приводим ее целиком:

«С у б б о т а. Отправляется курьер к Бонапарту. Раздел значительной части Германии. Б а д е н не получает ничего. В и р т е м б е р г получает Мюнстер, Падерборн, Гильдесгейм, Вюрцбург, Бамберг, П р у с с и я—Ганновер, Баварский Зальцбург, Пассау, Бехтольсгаден.

В о с к р е с е н ь е. Измайловский гвардейский полк оскорблен на параде тем, что четыре офицера, среди них генерал Милютин и кн. Вяземский, отправлены в крепость. Происходит дуэль между кн. Четвертинским и камергером Рибопьером, последний ранен.

П о н е д е л ь н и к. Под уговором великого князя гр. Пален должен замять дело. Князь (!—*С. Д.*) Нарышкин пробалтывается. Рибопьера сначала отправляют в крепость, потом высылают с семьей из города.

В т о р н и к.

С р е д а.

Ч е т в е р г.

П я т н и ц а 1 м а р т а с т. с т. Великий князь Константин ругает своего отца, генерал-прокурор выдает. Император сам хочет привлечь его к ответу. Странным образом, это отвращено. Константин должен принести присягу.

С у б б о т а 2.

В о с к р е с е н ь е 3.

Понедельник 4. Графу Кутайсову донесено о плане генерал-прокурора Обольянинова объявить себя опекуном несуществующего побочного ребенка императора.

Вторник 5. Граф Пален отстранен от двора, жена его также отослана со своим экипажем обратно.

Среда. Графу Палену внушают, что император вернет ему милость, если он прямо или косвенно через гр. Кутайсова попросит прощенья. Граф отвергает это.

Четверг. Палена снова призвали ко двору.

Пятница.

Суббота 9. Император впервые после долгого времени снова появляется в городе, но, найдя около строящегося Казанского собора кучу неизбежного мусора, приходит в ярость и шлет с фельдъегерем устный выговор графу (Палену; далее он везде называется просто: «Граф».—*С. Д.*)

Воскресенье 10. Свадьба Жерве, на которую граф обещает притти, но не приходит.

Понедельник 11. К графу приходит граф Кутайсов и в шутку высказывает некоторые подозрения. Бурная ночь. Обер-шенк Загряжский, на вечере у кн. Белосельского, в самую полночь, напоминает о предстоящем большом деле. Талызин дает ужин, на который отправляется граф. Все, кто там собрались, или посвящены в дело, или их тут же посвящают.

Вторник 12. Прекрасная погода. Всеобщая радость.

Среда 13. Князь Платон Александрович и граф Валерьян Зубов обедают у графа.

Участники числом 42

Зубов с 26	Пален с 13
1. Князь Платон Александрович } Зубовы	1. Полиц. адъютант Тиран, бывш. адъютант Виомениля.
2. Граф Валерьян } Зубовы	2. Майор Морелли из полиции в районе графа.
3. Гусарский генерал Николай Зубов.	3. Надв. сов. Карповский, обер-лейтенант и пристав одной из частей города, в настоящее время полицмейстер в Петербурге.
4. Дядя Зубовых Козицкий (теперь гофмаршал).	4. Ленев кавалергард.

5. Беннигсен (длинный Cassius) вышел в отставку генерал-лейтенантом, пытается опять поступить на службу, получает отказ, собирается в понедельник 11-го уехать, граф удерживает его и направляет его к Зубовым.

6. Генерал Чичерин.

7. Артиллерийский полковник Татаринов } шарф.
8. Артиллерист князь Яшвиль, грузин }

9. Ротмистр Ушаков, единственный из конной гвардии. Брат генерала У[шакова], который был начальником бывшего так назыв. Сенатского полка и должен был выстроить его перед замком.

10. Генерал Уваров, начальник кавалергардов. Депрерадович, командир батальона великого князя Александра. В распоряжении графа. Запоздал больше, чем на 20 минут.

Талызин, генерал-лейтенант, командир императорского лейб-гвардии полка. Начальник того батальона этого полка, который выступил перед замком.

Вяземский, офицер Измайловского полка, потом он первый приветствовал нового императора.

Комендант Епифаров.

Горголи, обер-лейтенант и платц-майор (теперь полковник в полку императора Александра).

Граф Кутайсов, родом турок. Заведывающий гардеробом и прислугой.

Тайный секр. Мих. Дольской.

Гардероб. секретарь Трошин, слуга последней возлюбленной.

Его брат, офицер второго корпуса, осведомлявший о своем начальнике, Валерьяне Зубове.

Он был обманут последним, в ночь 11-го, с помощью концерта» [13].

Запись Гете очень ценна: это—одна из самых первых, по времени, и самых полных, по материалу, попыток создать твердую схему всего хода «дворцовой революции» 11 марта 1801 г. и дать список действующих лиц. Гете знает мельчайшие подробности дела. В этом отношении показательна отметка «шарф» при фамилиях Татаринова и Яшвиля в списке заговорщиков: с особой сдержанностью, какою отмечено в его записи все, относящееся к царской фамилии, Гете этим одним словом обрисовывает для себя всю сцену убийства Павла I: он был задушен шарфом, и ближайшими участниками этого дела во всех современных записках указываются именно Яшвиль и Татаринов. Другая «мелочь» в записи Гете была уже отмечена известным немецким историком Т. Шиманом: «Прозвище Беннигсена «длинный Cassius» поразительно и указывает на устную передачу» [14]. Для Гете это конечно не только «прозвище», но и целая характеристика Беннигсена как участника убийства. Многие другие кусочки гетевой записи показывают с несомненностью, что он собрал материал для нее от людей чрезвычайно осведомленных, от близких свидетелей павловских «браней» и «яростей» и столь же близких участников прекращения этих «яростей» навсегда. С одним из прямых участников заговора, с Ф. П. Уваровым, Гете был лично знаком, как увидим далее.

Для чего сделал Гете свою запись о «дворцовой революции» 1801 г.? В ней нет никакого намека на то, что это—план или материал для какого-нибудь произведения—например драматического—из жизни Павла I; несомненно, это и не план исторического сочинения. Это—«труды и дни» небольшой придворной революции, чем-то особенно поразившей Гете. Можно догадываться о причине этого интереса: общей и частной. Частная—ясна. Веймарский дворик, как увидим далее и как отчетливо понимал Гете, был отделением петербургского двора: действующие лица петербургской трагедии постоянно появлялись и на тесной веймарской сценке; как же было не интересоваться и исполнителями, и самой трагедией, которую они сыграли 11 марта? Гете и сделал весьма точный набросок ее сценария. Но в происшествии 11 марта для Гете заключался и более крупный интерес. Россия Екатерины II и Павла I была оплотом против западной революции,—и вдруг в ней самой происходит дворцовая революция и притом успешная. Этот успех Гете и не пытается скрыть от себя в своей очень осторожной записи: «Прекрасная погода. Всеобщая радость». Гете отмечал, сколько мог тщательно, ярости и выходки «непросвещенного абсолютиста» Павла. В глазах Гете это—урок и предупреждение всем веймарским

и не веймарским абсолютистам. Гете хочет—как министр и политик—заучить весь завод механизма, каким приводятся в действие «дворцовые революции», чтобы знать, как не допускать до завода этого механизма. Эта запись—memento mori—верного слуги веймарского феодально-дворцового благополучия. Отметка о воцарении Александра I—как о «всеобщей радости» всего Петербурга—важна для понимания отношения Гете к первым годам царствования Александра I. В дневнике Гете отсутствуют записи об Александре I до его появления в Германии в 1805 г. У нас есть зато косвенные указания на интерес Гете к первым годам его царствования, возбудившим в либерально-дворянских кругах столь яркие и столь необоснователные надежды на политическое обновление государства, что вице-президент Академии Наук в Петербурге Андрей Кириллович Шторх предпринял даже специальное издание «Russland unter Alexander dem Ersten», посвященное сочувственному обзору всех мероприятий и проектов начальной эпохи царствования Александра I. Издание пришлось Шторху прекратить, когда этих «великих чрезвычайных дел и предприятий» вскоре же оказалось так мало, что нечем было заполнять страницы. Очень вероятно, что Гете читал Шторха, во всяком случае он хотел поехать посмотреть, как благоденствует Russland unter Alexander dem Ersten. Смысл такой поездки именно для Гете очевиден: как было указано, его политической программой был монархический реформизм сверху. Сам Гете пытался как министр быть проводником и вдохновителем такого реформизма в пределах игрушечного веймарского государства. Даже немецкие апологеты всяческой деятельности Гете признают, что он потерпел здесь полную неудачу: по словам Бельшовского, «он мечтал о грандиозных (!—*С. Д.*) реформах социально-политических»: «освобождение крестьян от барщины и десятины, преобразование крестьянского и помещичьего землевладения в свободную, делимую собственность, обложение имений податями сообразно с их доходностью», а «должен был удовлетвориться» вместо этих реформ вот чем: «в государственном управлении водворились экономия (дошедшая до того, что по уговору Гете «герцог отстранил своих придворных чинов от ежедневных обедов за придворным столом».—*С. Д.*), рачительность и гуманность, бремя воинской повинности было сокращено (веймарская «армия» уменьшена с 600 чел. до 310.—*С. Д.*), пути сообщения улучшены (все пространство Веймара равнялось 1900 кв. км.—*С. Д.*), принята широкая система орошения и осушения полей, приняты меры против порчи полей разными животными...» (т. е. поставлены загородки!—*С. Д.*) [15]. В России Гете мог надеяться увидеть более широкие опыты реформизма сверху и тем подтвердить свою политическую теорию, трещавшую по швам: вот почему он собирался поехать в Россию. Однажды—между октябрем 1806 г. и мартом 1807 г.—в Веймаре, в доме «надворной советницы» и писательницы Шопенгауэр, Гете встретился с писателем и педагогом Георгом Рейнбеком (Reinbeck, 1766—1849), который незадолго перед тем—в 1805 г.—издал книгу «Flüchtige Bemerkungen auf einer Reise von St.-Petersburg... nach Deutschland im Jahre 1805» («Беглые заметки по поводу путешествия из Петербурга... в Германию»). «Когда собралось много гостей, в их числе жена Гете,—вспоминал Рейнбек,—пришел тайный советник. Он вошел с приветливо-протяжным: хм! хм! раскланиваясь во все стороны, и искал себе стула. Потом он оглядел весь круг собравшихся, и, когда его взор упал на меня, он встал и пошел ко мне. Понятно, я тотчас же поднялся. Он торжественно поклонился и сказал: «Я должен

МАРИЯ ПАВЛОВНА, ГЕРЦОГИНЯ ВЕЙМАРСКАЯ
Раскрашенная гравюра с портрета Ф. Ягемана
Государственный Эрмитаж, Ленинград



вам принести благодарность». Я спросил, чем я так осчастливлен, что заслужил его благодарность?—«Я всегда имел намерение когда-нибудь посетить Россию,—ответил он,—но вы меня совершенно от этого излечили».—«Я бы очень об этом сожалел,—ответил я,—прежде всего из-за России, но также,—разрешите, ваше превосходительство, мне сказать это,—также и из-за вас». С его стороны это было шутливым оборотом дать мне понять, что он читал появившиеся тогда мои «Беглые заметки» о поездке через Москву и т. д., которые обратили на себя некоторое внимание тем, что тут и там в описаниях и суждениях отклонялись от обычных восхвалений Шторха: я прожил 14 лет в Петербурге... Гете много говорил со мной о России и спрашивал о многих тамошних знакомых» [16].

С восшествием на престол Александра I связь Веймара с русским двором усилилась: его жена Елизавета Алексеевна по своей матери, баденской маркграфине Амалии, приходилась родной племянницей той же герцогине Луизе.

Маленький двор получил большую родственницу. До сих пор Германия посылала своих принцесс в Петербург; в 1804 г. Петербург послал принцессу в Веймар: наследный веймарский герцог Карл-Фридрих (1783—1853) женился на третьей дочери Павла I Марии Павловне (1786—1859). Это была большая придворная и дипломатическая удача для крошечного Веймара.

В Петербурге долго не соглашались на брак великой княжны с захудалым веймарским принцем, и нужны были немалые дипломатические ухищрения, чтобы брак состоялся.

Сестра русского императора везла с собой на 80 русских подводах приданое, далеко превышавшее не один годовой бюджет всего веймарского герцогства. Богатства, привезенные Марией Павловной, были так невиданны в феодально-обнищалой Германии, что когда Гете случилось увидать в 1829 г. «все сокровища приданого» (Sämmtlichen Schätze des Trous-

seaux») Марии Павловны, он воскликнул: «Зрелище из «Тысяча и одной ночи!» [17] Но Мария Павловна вместе с тем привезла с собою династическое приданое—связи, которые были крупнейшею политическою поддержкой для Веймара в те времена, когда по мановению Наполеона десятки и сотни германских княжеств, герцогств и маркграфств исчезали с лица земли, как пушинки.

Даже готовясь к войне с Россией, Наполеон считался с тем, что наследная веймарская герцогиня происходит не из какого-нибудь Касселя или даже Берлина. Любопытную историю рассказывает Греч: «Дерзкий выскочка вздумал назначить в придворные дамы к императрице Марии-Луизе несколько природных принцесс Германии и в том числе наследную принцессу Веймарскую, великую княгиню Марию Павловну... Не знаю через кого, вероятно через Талейрана», дошло до Наполеона, «что немедленным следствием этой дерзости будет разрыв России с Францией и заключение союза с Англией. Приготовления к истребительной войне с Россией еще не были кончены, и декрет не состоялся» [18]. Немецкие принцессы избавились от удовольствия быть придворными дамами у Марии-Луизы только оттого, что у одной из них оказались сильные всероссийские родственники. Так ли было в случае Греча, или не совсем так, но значение новоприобретенных родственников очень серьезно и веско учитывалось и взвешивалось и в самом Веймаре, и в его европейском окружении—дружественном и враждебном.

Гете понимал лучше других, что династические связи—самый сильный козырь в копеечной веймарской политической игре. Это должно учитывать всегда при всех высказываниях Гете о Марии Павловне и ее родственниках. Учета этого обычно не делается, и в огромном большинстве писаний о Гете Мария Павловна выставляется чуть ли не его «нимфой Эгерией». Дело обстоит гораздо проще. Когда Гете говорит о ней, в его словах очень большая доля суждения всегда выходит из уст министра, дипломата, царедворца—и даже доброго веймарского бюргера: всем им было легче, безопасней, благополучнее жить в их веймарском отечестве, городе, поместье, доме с тех пор, как во дворце водворилась сестра Александра I. В эпоху, когда Наполеона боялись все большие и маленькие властители кусков и кусочков Европы, наследная веймарская принцесса, молоденькая Мария Павловна, боялась его меньше всех. Вот характернейший эпизод, рассказанный А. И. Тургеневым в его неизданном дневнике (запись от 5 мая 1829 г.). Дело происходит во время войны 1807 г.: Карл-Август выступал против Наполеона в качестве прусского генерала и союзника Александра. Под боком у Веймара Наполеон отторжествовал Иену; в Веймаре были французы; канцлеру Мюллеру пришлось вымаливать у Наполеона пощаду для Веймара.

«Был у канцлера Мюллера,—записывает А. И. Тургенев,—читал отрывки из его записок о свидании с Наполеоном во время войны 1807 г., о главной квартире Наполеона, о Дарю, о Талейране, о путешествии Мюллера в Париж: «Avez-vous les quittances de Daru?» спросил Наполеон и до тех пор не принял его. Предложение паспортов великой княгине: растоптала их, когда получила. Подозрение Мюллера в измене» [19].

Растоптать паспорта Наполеона—такую политическую роскошь могла позволить себе во всей Германии только одна Мария Павловна: она одна была там сестрой русского императора. В сопоставлении с этим эпизодом рассказ Греча теряет привкус анекдотичности.

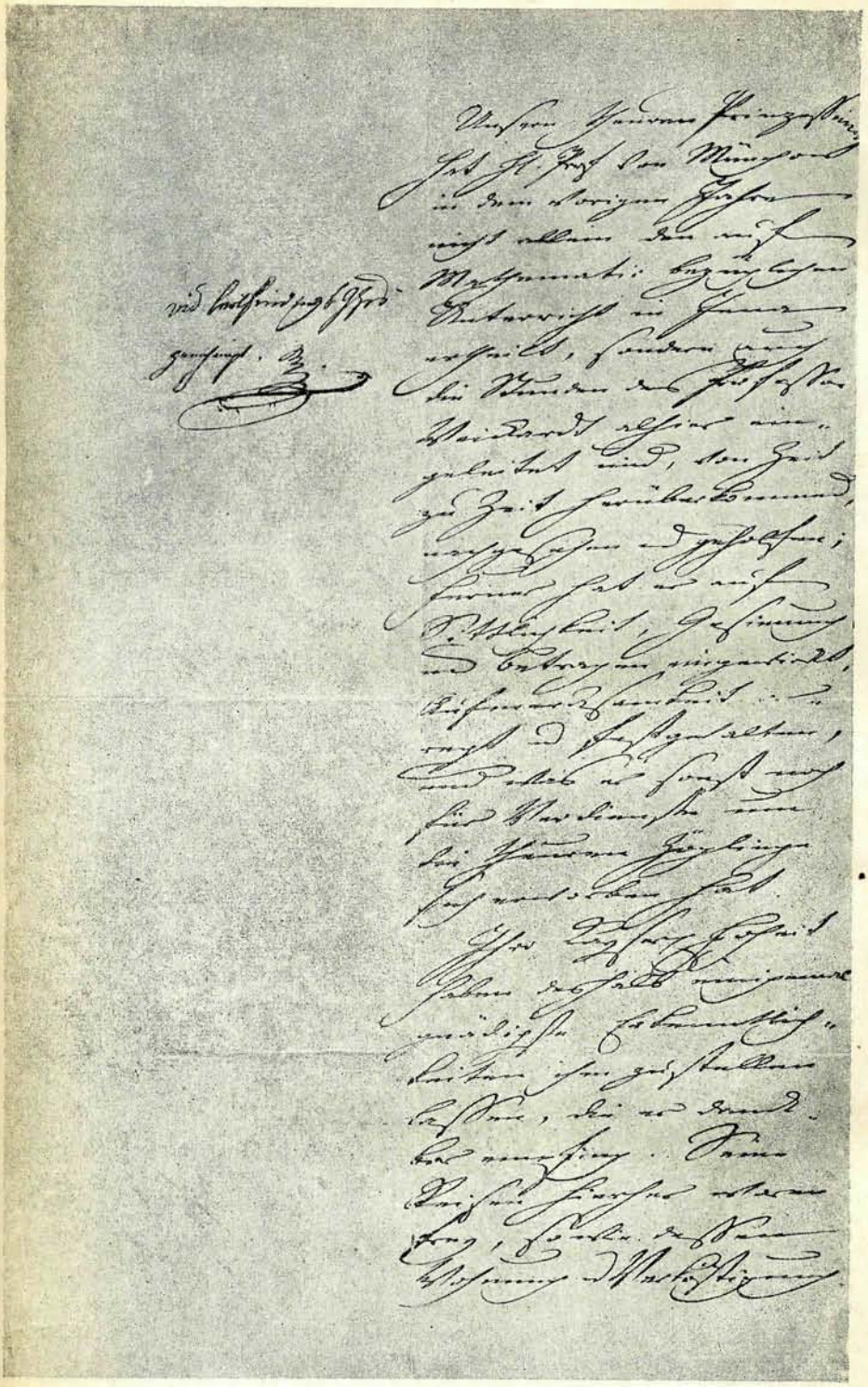
Можно поверить, что провинциальный Веймар достаточно искренне радовался в 1804 г., когда в него совершала въезд 18-летняя Мария Павловна: так в былое время бедная и малочиновная семья радовалась, когда ей удавалось породниться с семьей столичной, рангом, чином и карманом гораздо повыше и покрепче. Веймарскую радость должен был высказать Гете в специальном театральном приветствии, но он уклонился, будучи болен и не в духе; однако приветствовать Марию Павловну считалось столь серьезным делом, что «честь» перешла от первого веймарского поэта ко «второму»: потревожили больного Шиллера, и он написал «Приветствие искусств», разыгранное тогда же на театре. Мария Павловна не успела еще освоиться в Веймаре, как Гете уже воспел ей целый гимн (в письме к Марианне Эйбенберг от 26 апреля 1805 г.). «Она—чудо прелести и грации. Мне не приходилось еще видеть соединения такого совершенства с тем, что высшее общество ожидает и даже требует от высокопоставленной дамы» [20]. Гете несколько раз воспевал ее в стихах [21].

Когда Мария Павловна была уже «царствующей» герцогиней, Гете говорил о ней Эккерману: «Она с самого начала стала добрым ангелом для страны и, чем больше чувствовала себя связанной с новым отечеством, тем сильнее обнаруживала это свойство. Я знаю великую герцогиню с 1805 г., и у меня было много случаев удивляться ее уму и характеру. Она одна из лучших и замечательнейших женщин нашего времени, и была бы ею, не будь даже великой княгиней» [22]. Через полтора года Гете повторил этот отзыв: «Великая герцогиня и умна, и добра, и доброжелательна; она истинное благословение для страны. Люди всюду скоро чувствуют, откуда исходят на них благодеяния, и они почитают также солнце и другие благотворные стихии, а потому я и не удивляюсь, что все сердца обращаются к ней с любовью, и что за нею признают то, что она заслуживает» [23]. Оба эти отзыва Гете заменяют множество цитат из самого Гете,—хотя бы из его многочисленных писем к самой Марии Павловне,—из мемуаристов и из биографов, русских и немецких: Гете в этом двуедином отзыве выразил то, что и сам он, и все другие множество раз повторяли врозь. Если прибавить к отзыву Гете известное суждение Шиллера, находившего в Марии Павловне «большие способности к живописи и музыке и действительную любовь к чтению», то не будет нужды обращаться за другими отзывами: все будет повторением этих отзывов. Что же говорят здесь Гете и Шиллер о Марии Павловне? Гете дважды подчеркнул, что она «с самого начала стала добрым ангелом для страны». Феодально-дворянский бюргерский Веймар действительно мог быть доволен Марией Павловной: все те политические выгоды из ее брака с их принцем, о которых выше говорено, Веймар действительно получил. До самого конца октября 1813 г. в Веймаре были французы, и веймарцы сражались на стороне французов против Александра I и союзников. Положение было самое щекотливое и для герцога, и для его воинства. Мария Павловна и тут пришла на помощь. Вот что писала она «собственноручно» 11 сентября из Теплица самому графу Аракчееву: «Граф Алексей Андреевич. С особенным удовольствием получила я письмо ваше от 22 августа и благодарю вас усердно за старание ваше в рассуждении веймарских пленных офицеров, коим следует ожидать до будущего времени перемену их судьбы, где они находятся: а между тем, прошу вас меня уведомить вперед, ежели что воспоследует в пользу их; я, конечно, всегда сочту внимание ваше к их участи доказательством особой услуги, относящейся к моей особе» [24]. Сколько таких русских услуг

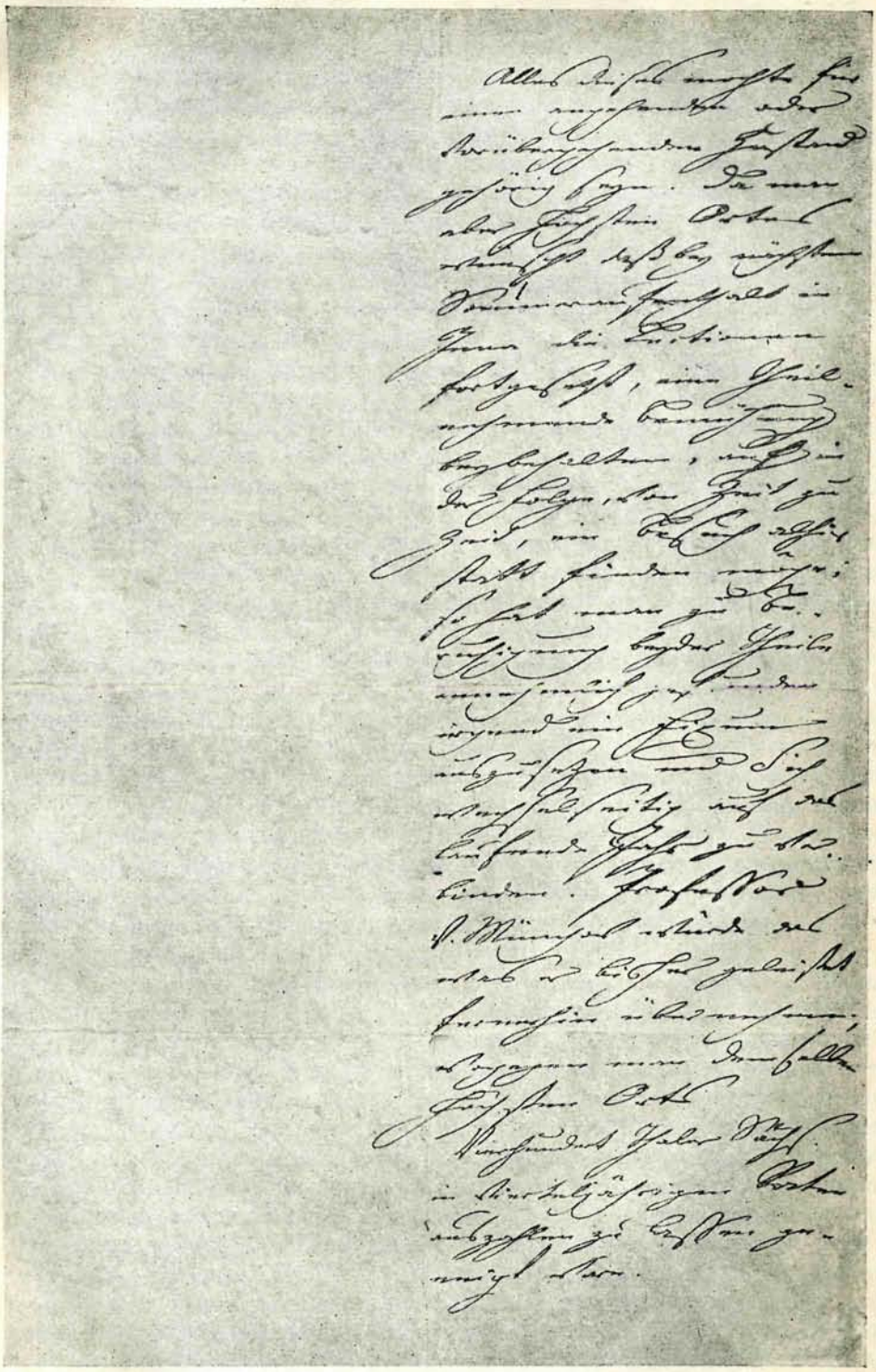
Веймару Мария Павловна вписала в свой личный счет, оплачиваемый ее братом и его приближенными! Веймар вышел из наполеоновских войн не только цел, но и с приращением территории, и с повышением владетеля в чине: из просто герцога он был сделан «великим». То обстоятельство, что Веймар уцелел и даже расширился в то время, как «многие сотни маленьких областей были поглощены более крупными» по приказам Наполеона и решению Венского конгресса 1815 г., Бельшовский приписывает Карлу-Августу: это все было сделано «в награду»-де «за патриотический образ действий герцога и за те тяжелые жертвы, которые выпали на долю страны во время войн» [25]. Это объяснение—простой обман: Карл-Август в эпоху наполеоновских войн проделал не мало опытов политического перебежничества между Наполеоном и Александром.

Когда-то, при тильзитском свидании 1807 г., германские провинциальные «отечества» получили уже пользу от петербургских родственников: «благодаря родственным связям с русским императорским домом остались неприкосновенны герцогства Ольденбургское, Мекленбург-Шверинское и Кобургское. Это была особенная любезность Наполеона к новому союзнику» [26]. Примеру Наполеона последовал и Венский конгресс 1814—1815 гг. На конгрессе помнили не о мнимых «заслугах» Карла-Августа, а о том, что жена его наследника—родная сестра Александра I: смешно было бы лишать наследственной вотчины сестру того человека, в руках которого были тогда острые ножницы для перекройки всей карты не только Германии, но и Европы. Маленького веймарского родственника простили и даже прибавили ему кой-что на бедность из-за большого,—а в 1815 г. даже и очень большого—петербургского родственника. Поэтому Гете не преувеличивал, а только снисходил до сентиментального языка какого-нибудь веймарского бюргера, когда называл Марию Павловну «добрым ангелом для страны». Бюджет императорско-российского содержания Марии Павловны как великой княгини позволял ей быть «доброй»: он настолько превышал все веймарские финансовые возможности, что позволял ей тратить крупные,—а исходя из веймарского масштаба даже исключительно крупные—средства на создание и поддержку разных просветительных и благотворительных учреждений.

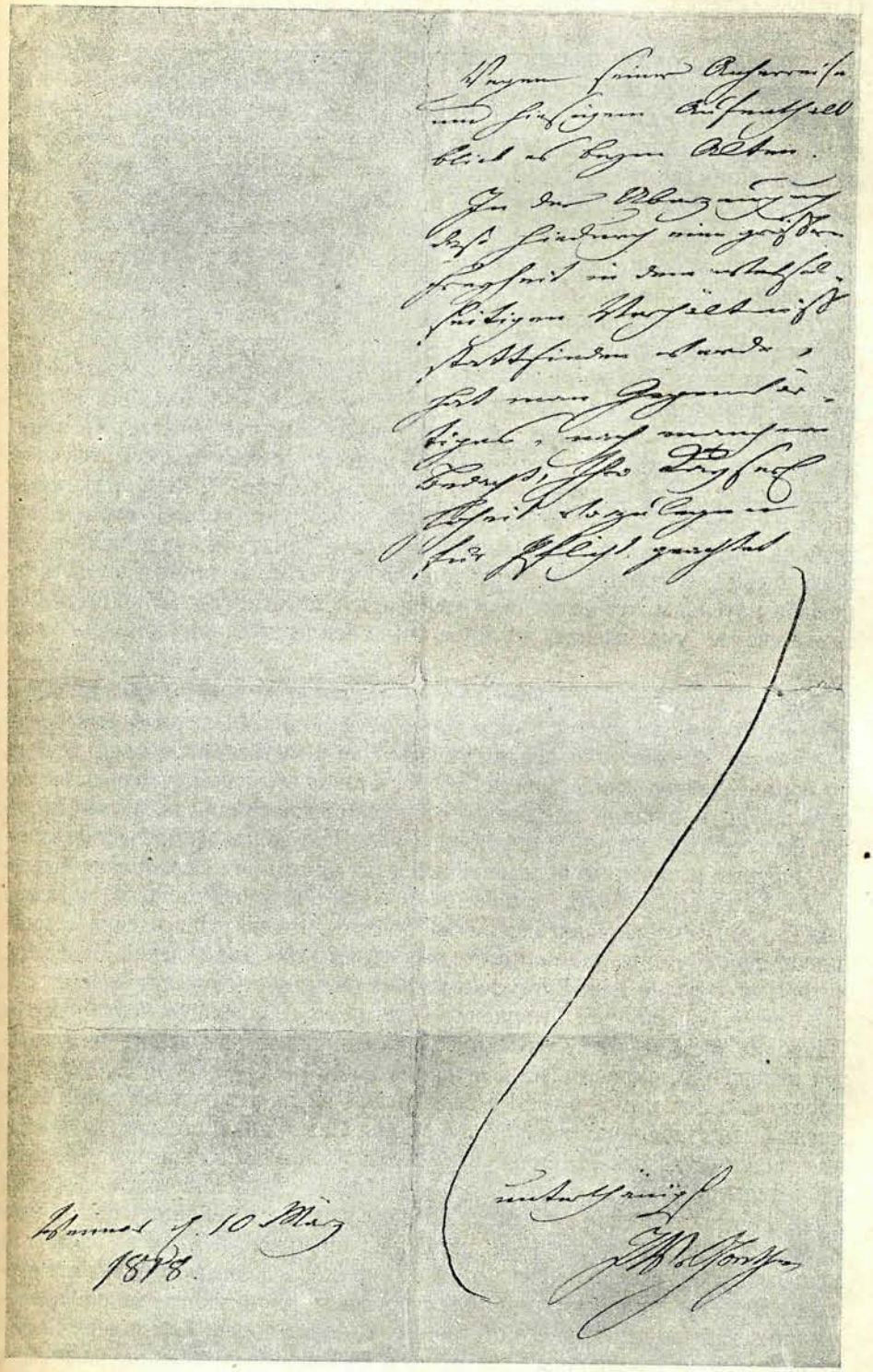
П. И. Бартенев вспоминал про веймарского русского протоиерея Сабинина: «Когда при нем осуждали супругу императора Николая Павловича за ее заграничные траты, замечал, что траты эти ничтожны в сравнении с тем, что истратила его мать на один Веймар, в котором лучшие здания воздвигались на высланные ею деньги» [27]. Это сообщение не преувеличенно. Вот что вынужден сказать о том же Rudolf Jagoditsch в своей новейшей (1932) работе: «Goethe und seine russischen Zeitgenossen»: «обильные средства, которые она [Мария Павловна] получала от императрицы-матери и от своих царственных братьев, переносили в Веймар нечто от блеска и роскоши петербургского двора... В особенности русское богатство пошло на пользу Веймару в художественных и научных планах Гете. Он получал от Марии Павловны постоянные средства для веймарской библиотеки и ее собраний, на содержание руководимой Мейером «Свободной школы рисования» («Freien Zeichenschule») и т. д. Библиотека Иенского университета также получала богатые пожертвования. Постройка веймарского театра после пожара 1825 г. своею быстротою также главным образом обязана ей. Даже устройство и украшение веймарского парка—излюбленная идея Гете—стало возможно только благодаря поддержке «императорского высочества». Когда Мария



Первая страница автографа письма Гете к герцогине Веймарской Марии Павловне от 10 марта 1818 г.
Театральный Музей им. А. Бахрушина, Москва



Вторая страница автографа письма Гете к герцогине Веймарской Марии Павловне от 10 марта 1818 г.
Театральный Музей им. А. Бахрушина, Москва



Третья страница автографа письма Гете к герцогине Веймарской Марии Павловне от 10 марта 1818 г.
Театральный Музей им. А. Бахрушина, Москва

Павловна сделалась великой герцогиней, ее материальная помощь Веймару еще усилилась, и «ее практическому смыслу, постоянству и попечительности обязан Веймар рядом общеполезных и благотворительных учреждений» [28]. Воспитатель детей Марии Павловны Сорэ записал в своем дневнике 10 марта 1831 г.: «К часу ее высочество снова послала меня к Гете... Первое поручение касалось подарка в 1000 экю, которые великая княгиня хотела сделать дирекции [театра.—*С. Д.*], чтобы помочь образованию и развитию новых артистов» [29]. Через две недели сам Гете записал в дневнике: «В 12 час. была ее императорское высочество. Очень довольна счастливым преуспеянием различных учреждений, ею высочайше основанных, на которые, без сомнения, идут большие суммы». 5 октября 1831 г. Гете пометил в дневнике: «Г-ну ф. Отто, отчет частной кассы». Письмо это, в тот же день написанное, сохранилось: «Ваше высокоблагородие,—писал Гете этому секретарю Марии Павловны,—вдвойне меня обяжете, если будете так добры в подходящую минуту передать ее императорскому высочеству прилагаемый счет (Rechnung) вместе с покорнейшим докладом (unterthänigsten Vortrag). Подобным же образом и протекшая половина года занесена в счета и, смею надеяться, со временем также заслужит высочайшее одобрение» [30]. Гете представляет отчет и счета по какому-то из связанных с ним учреждений, содержимому всецело на средства Марии Павловны; нельзя понять иначе смысл печатаемого письма. К сожалению редакторы веймарского издания оказались так нелюбознательны, что не сделали и малейшей попытки уяснить, что это было за гетевское учреждение, которое жило исключительно даянием сестры Александра I.

Только специальная работа, построенная на архивном, веймарском и петербургском, материале, могла бы со всей полнотой вскрыть крепостные российские финансовые основы веймарского культурного благополучия, но и приведенные свидетельства не оставляют сомнения, что золотой русский дождь, поливший на Веймар со времени водворения там Марии Павловны, был частый, крупный и непрерывный. Этот дождь из крепостного золота—важный и почти необследованный факт биографии Гете. Еслиб Гете захотел быть точен в своих отзывах Эккерману о Марии Павловне, он должен был бы, говоря об ее «благодеяниях», сказать, что эти «благодеяния» составляют conditio sine qua non основных «афинских» учреждений Веймара, с которыми связано имя Гете: театра, библиотеки, художественной школы. Это предопределяло все отношение Гете и его «афинского» круга к Марии Павловне и к ее петербургским родственникам: поколебать чем-нибудь эти отношения, окрасить их в ненадлежащий цвет—значило бы просто-напросто нанести такую брешь в веймарском бюджете, которая ничем бы не могла быть заполнена: меценатство Марии Павловны и стоящих за нею бесконтрольных хозяев Российской империи было постоянной и чрезвычайно значительной статьей веймарского «прихода». Гетевский «расход» на свои и шиллеровы трагедии в театре, на редкие издания в библиотеке, на мейеров классицизм в художественной школе, на прекрасный парк в городе и на многое другое всецело зависел от этого «прихода». Когда молодой Гете въезжал в Веймар, его поразили руины сгоревшего герцогского дворца: у Анны-Амалии не было денег на его отстройку. В конце жизни Гете история повторилась: сгорел придворный театр, но в Веймаре была Мария Павловна, и театр быстро был восстановлен на русские деньги. Мария Павловна была не лицо, а учреждение в Веймаре—учреждение, от которого зависела его политическая крепость и финансовая устойчивость, и отношения к ней Гете

диктовались необходимостью охранять и чтить это полезное учреждение. Такому учреждению приходилось и служить. И Гете служил—от писания писем, по приказу Марии Павловны, до улаживания материальных дел и счетов с преподавателями ее детей. Ограничиваюсь только этими двумя примерами. Письмо к Марии Павловне, где Гете улаживает ее дела с проф. Мюнховым, входя во все мелочи расчета, читатель найдет в статье А. Г. Габричевского «Автографы Гете в СССР», а тому же секретарю Марии Павловны Отто вот что писал Гете 11 мая 1830 г.: «Пересылаю набросок милостиво возложенного на меня ответа, насколько он удался. Здесь есть трудность не только в том, что нужно угодить высокопоставленной даме (hohen Dame), но и в том, чтобы подыскать обороты, соответствующие ее положению. Если что-либо вызовет сомнения, я готов на всякие изменения». При письме был приложен проект письма от лица Марии Павловны к Варнхагену фон Энзе: рукою, мыслью и словом Гете Мария Павловна очень изящно благодарила известного писателя за доставленное ей удовольствие от чтения его книги «Жизнь Винцендорфа». Вероятно такие письма, изящно подписанные «Marie», много содействовали распространению славы об уме и талантах веймарской покровительницы талантов—«музы Эгерии».

Гете в ответ на исполненное поручение «удостоился» получить через секретаря Марии Павловны новое поручение и небольшой подарок от нее. Вот что писал ему в неизданном письме Отто:

Ваше Превосходительство!

Препровождаю по поручению Ее Императорского Высочества госпожи Великой Княгини и Великой Герцогини письмо господину Тайному Советнику Посольства Варнхагену фон Энзе с просьбой доставить его через Ваше любезное посредничество по назначению.

Одновременно прилагается литографированный портрет Императрицы Бразильской, который Ее Императорское Высочество приносит в дар местному музею.

С совершеннейшим уважением и преданностью я имею честь быть
Вашего Превосходительства
покорнейший слуга
ф. Отто [31].

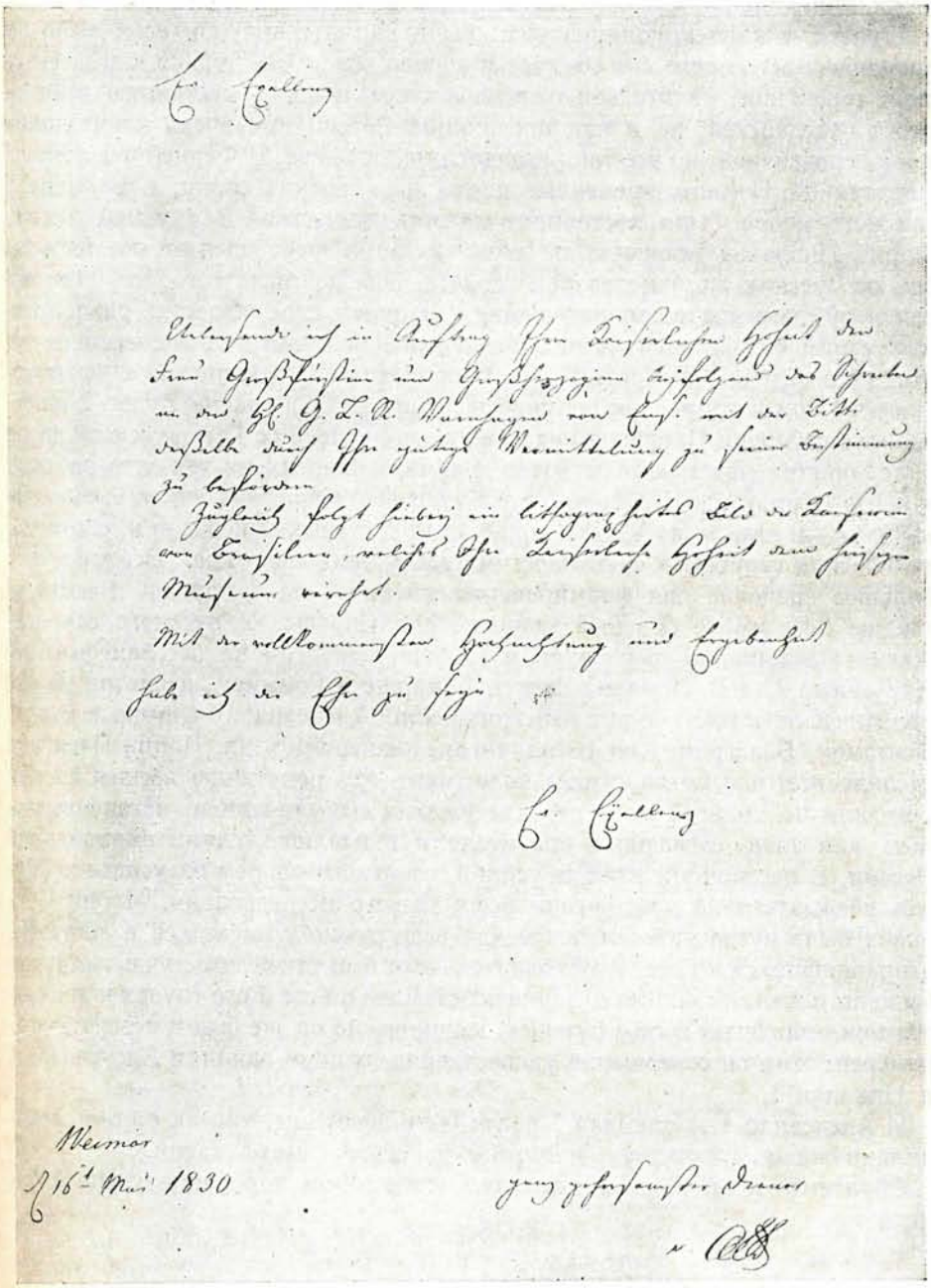
Веймар, 16-го мая 1830 г.

Но Гете говорит не только о достоинствах положения Марии Павловны, но и об ее личных достоинствах: он имел «множество случаев удивляться ее уму и характеру». О достоинствах личных говорит и Шиллер, и множество немецких и русских вспоминателей. Разгадка этих отзывов кажется не трудна. Один из самых ранних отзывов о Марии Павловне принадлежит князю Адаму Чарторижскому, состоявшему вместе со своим братом в должности камер-юнкера при дочерях Павла I: «Обе великие княжны, Елена и Мария, к которым мы считались прикомандированными, были очень милы. Принцы, за которых им предстояло выйти замуж, были мало достойными людьми» [32]. В осторожном отзыве польского аристократа скромные достоинства княжен повышаются сравнением с недостоинством двух принцев—Мекленбургского и Веймарского. О Веймарском—Карле-Фридрихе, муже Марии Павловны,—даже Гете нашел возможным обмолвиться лишь двумя словами, найдя в нем «сердечную доброту» [33], и ничего больше. Карл-Фридрих был ничтожеством. Внучатный племянник Марии

Павловны, историк Николай Михайлович, говорит, что она «не была счастлива в замужестве» [34]. В сравнении с ее жалким мужем Мария Павловна, которую ее бабка Екатерина II звала за живость «настоящим драгуном» («c'est un vrai dragon») [35], являлась живым человеком с человеческими чувствами и интересами. Соседство с Карлом-Фридрихом было чрезвычайно выгодно для репутации Марии Павловны у всех, кто встречался с нею за ее долгое пребывание в Веймаре. Очень ярка благодарность, которую чувствовала к ней императрица Елизавета, жена Александра I: она ценила то «доверие», которое оказывала ей ее золовка, и была счастлива, что привязанность Марии Павловны «не может отнести только на счет денежной поддержки. Каков бы ни был ее источник, ее семья не избаловала меня этим» [36]. Это опять похвала обычным, но не при дворе, человеческим чувствам. Мы должны верить Гете, что Мария Павловна была добра, приветлива, учтива, ласкова, обходительна с людьми. Эти ее свойства повышаются в ценности от близкого соседства с противоположными свойствами, обитающими в людях такого же положения и социальной высоты. Петербургское «соседство» так же возвышало Марию Павловну, как и веймарское. То, что говорит о ней Шиллер,—тоже достоинство только в сравнении: «действительная любовь к чтению»—добродетель, но добродетель лишь в пределах петербургского Аничкова дворца или веймарского Бельведера: за порогом же этих дворцов любовь к чтению—простое свойство многих миллионов грамотных людей [37].

Мария Павловна хорошо понимала, что престиж литературного двора и слава германских Афин сильно повышает место Веймара в «табели о рангах» пестрой германской государственности. Поэтому она позаботилась о закреплении этого престижа; по ее почину положено было начало архиву и музею Шиллера и Гете. Ее внутригерманская литературная политика нашла себе продолжательницу в лице герцогини Софии, напомнившей Германии и Европе о Веймаре и своей династии изданием первого полного собрания сочинений Гете.

Но у Марии Павловны была и особая сфера деятельности в Веймаре: она была превосходной представительницей придворных и политических интересов императорской России при том втором дворе, который был тогда в Веймаре: при дворе великого Гете. Этот второй двор имел несравненно большее европейское значение, чем первый дворик великого герцога. Мы увидим далее, что Наполеон прямо и открыто признавал и подчеркивал это. Представители России при герцоге менялись. Мария Павловна оставалась при Гете бессменной. Правда, она не писала дипломатических нот, но ее дипломатическая деятельность имела бесспорный и постоянный успех: Гете никогда не был великой державой, враждебной императорской России, как были ей враждебны такие великие современные державы, как Байрон, Виктор Гюго, Беранже, Генрих Гейне. Между тем Гете лично расположен был к России, к ее правительству и правителям вряд ли многим более сочувственно, чем эти враждебные России великие державы европейской словесности. Гете редко и неохотно говорит и пишет об Александре I и Николае I, но о Марии Павловне он много и охотно говорит, явно преувеличивая пропорции ее умственных возможностей: явный знак, что он доволен посланницей при своем дворе, в то время как не очень расположен к властителям, ее аккредитировавшим при нем. Нельзя не отнести этого на счет того искусства обхождения, которым Мария Павловна обладала лучше многих дипломатов-профессио-



Автограф письма секретаря Марии Павловны К. Отто к Гете от 16 мая 1830 г.
Goethe-und Schiller-Archiv, Веймар

налов. Она окружала Гете исключительным вниманием (вплоть до посещения по три раза в неделю, в точно назначенные дни), снабжала его ценными книгами, дарила ему то, что отвечало его требовательным вкусам и страсти к коллекционированию, была внимательна ко всем мелочам сложного жизненного его обихода и делала все это не только как веймарская герцогиня, рачительно относящаяся к лучшему достоянию веймарского государства, но и как посланница России при очень влиятельной и консервативной, но все-таки независимой державе. В Ферней посылались Екатериной II лишь временные послы на короткие сроки, в Веймаре у русского двора было постоянное представительство. В трудной миссии Мария Павловна проявила не мало такта: он требовался от нее больше, чем от русских дипломатов при герцоге. Она достигла того, что Гете видел в русском дворе, правительстве и верхнем слое общества равноправных с ним обладателей наследия европейской культуры, а совсем не то, что например видел в них Байрон: полуазиатскую деспотию с французским языком и гримасами полупросвещения. Дальше видно будет, с какой ревностью Мария Павловна поддерживала сношения с Гете русского двора и дворянства, показывавшегося в Веймар. Многих из тех, кто заезжал к ней в Веймар как в филиал петербургского двора, она учила быть европейцами—и влекла их к Гете, приучая крепостных меценатов и медвежьетамбовских туристов к обязанностям культурного «вояжера». Все это имело большое значение для формирования мнения Гете о царской России, а мнение Гете имело большое значение для Европы. У русского самодержавия была плохая репутация в Европе, несмотря на все заигрывания Екатерины II с Вольтером, Дидро, Бомарше и Гриммом, несмотря на все политические и мистические маневрирования Александра I с m-me де Сталь, Бентамом, Баадером, Юнг-Штиллингом, квакерами и др. Мария Павловна сделала все, что могла, чтобы подправить эту репутацию веским словом Гете или по крайней мере не менее веским его молчанием, истолковываемым как знак согласия с правителями и вдохновителями официальной России. В постоянстве этих ее усилий и в относительном их успехе мы будем убеждаться на протяжении всего нашего исследования. Мария Павловна была путеводителем почти для всех русских писателей и деятелей, отправлявшихся к Гете, и путеводитель этот был такой, что лучшего трудно было бы и желать: он был отлично осведомлен о Гете и его трудах и днях,— этим он привлекал к себе путешественников, но он же был и строго благонамерен: этим он совершенно удовлетворял лучшим чаяниям Александра I и Николая I.

И Александр I, и Николай I могли быть довольны, как их сестра проводила в жизнь гетеанскую политику русского самодержавия.

Обратимся к самым вдохновителям этой, доселе вовсе не изученной политики.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «W. A.», III Abt., B. III, S. 77; B. IV, S. 126, 251, 306, 340; B. X, S. 27; B. XIII, S. 47; B. XII, S. 235; B. VI, S. 32; B. IX, S. 26, 89; B. XII, S. 350; B. XIII, S. 18.

[2] Интерес к России поддерживался у Гете и теми немецкими его знакомцами, которые переселились в Россию и занимали там зачастую видные посты в мире административном и научном. Мы встретимся еще с ними в дальнейшем изложении, но указать на них необходимо и здесь. Из товарищей молодости Гете в Россию очень

рано, еще при Екатерине II, переселились Брейткопф и Клингер. При Екатерине же поселился в России воспитанник Иенского университета Август Коцебу (1761—1819), впоследствии известный драматург и реакционер. Он состоял на русской государственной службе при Павле и Александре. В конце жизни он жил в Веймаре. Из приятелей Гете эпохи «бури и натиска» в Москве доживал и окончил свою бурно-неудачливую жизнь Якоб Ленц. Знакомцем Гете был воспитатель Андрея и Александра Тургеневых, женевец Тоблер. Сын веймарского министра и соседа Гете по дому В. Трейтер в 20-х гг. занимал должность директора Московского воспитательного дома. В 20-х гг. декабрист Ал. Одоевский знавал в Петербурге профессора контрапункта Иоганна Мюллера и называл его «другом Гете». Гете состоял до самой смерти в переписке с московским профессором анатомии Христианом-Иоганном Лодером (1753—1832). Уроженец Лифляндии, он в 1777 г. получил степень доктора медицины и хирургии в Иене, сделался ординарным профессором и преподавал там до 1803 г. Гете был его учеником: с осени 1781 г. он занимался под его руководством анатомией, и в результате этих именно занятий он в 1784 г. сделал свое знаменитое открытие межчелюстной кости. Общение Гете с Лодером было тем ближе, что последний был причастен и ко двору: он был лейб-медик Карла-Августа. В 1806 г. Лодер уехал в Россию и создал кафедру анатомии в Московском университете. Учиться у него анатомии стекались не только студенты со всех факультетов, но и сторонние посетители. «Один такой профессор,—по мнению Погодина,—заменяет целый факультет» (Барс., т. I, стр. 50). Лекции Лодера слушал Кюхельбекер. «Из естественных наук,—вспоминал кн. В. Ф. Одоевский,—лишь одна нам казалась достойною внимания любомудра—анатомия как наука человека... Мы принялись за анатомию практически под руководством знаменитого Лодера, у которого многие из нас были любимыми учениками». (Предисловие для собрания сочинений. Кн. В. Ф. Одоевский. «Русские ночи», под ред. С. А. Цветкова, М., 1913 г., стр. 9). Таким образом Гете и его московские последователи были учениками одного и того же ученого. Гете знал также поэта и драматурга Раупаха, профессорствовавшего в конце 10-х годов в Петербурге. Ограничиваюсь пока этими указаниями, предполагая со временем выпустить работу на тему: «Немецкие знакомцы Гете в России».

[3] «W. A.», III Abt., B. III, S. 63, 88. См. об этом в III главе.

[4] Там же, B. IV, S. 56, 69, 70.

[5] Bied., B. II, S. 49.

[6] Экк., т. II, стр. 61, 197, 335. Записи 11/III 1828, 12/IV 1829, 8/III 1831.

[7] «W. A.», III Abt., B. III, S. 341—342; B. IX, S. 52.

[8] Там же, B. III, S. 11.

[9] Там же, I Abt., B. XLI, S. 29; B. XLVI, S. 229, 231, 235, 237.

[10] Впоследствии он был послом в Вене и собирал у себя музыкальное общество, играя вторую скрипку в квартетах. Гайдн, Моцарт, Бетховен были его друзьями. Известны квартеты Бетховена, посвященные Андрею Разумовскому. Об его отношениях—самых дружественных—к Бетховену см. в любой биографии Бетховена: Шиндлера, Ноля и др. См. также А. А. Васильчиков, Семейство Разумовских, т. III. СПБ., 1882.

[11] Рассказ графа Рибопьера в «Дневнике» А. О. Смирновой от 18/III 1845 г. А. О. Смирнова, Записки, дневник, воспоминания, письма. Со статьями и примеч. Л. В. Крестовой. М., 1929, стр. 291—292.

[12] «W. A.», III Abt., B. V, S. 100. Другую запись разговоров о смерти Павла находим под 11 сентября 1808 г. в Карлсбаде, в обществе графа Мощинского из Варшавы, австрийского графа И. Пергена и жены венского банкира Ц. Эскелес Гете обсуждал «Историю убийства Павла I и другие подобные» (там же, B. III, S. 385).

[13] «W. A.», I Abt., B. LIII, № 125, S. 412—414. Нельзя не подивиться здесь небрежности составителей примечаний к этому прославленному изданию, которым и по сю пору продолжают гордиться в Германии. Гете совершенно ясно и точно указывает в заметках своих день (или, точнее, ночь) убийства Павла—11 марта старого стиля (по которому Гете и ведет все свои «Павловские» записи). Под 12 марта он записывает: «Прекрасная погода. Всеобщая радость»—очень краткое, но весьма выразительное изображение того впечатления, которое производит убийство Павла на весь Петербург—от низов до верхов. Ученые же комментаторы «классического» издания пожелали поправить Гете и в примечании пишут: «Als Quelle für diese Aufzeichnung über die Palasterrevolution vom 4 April (23 März) 1801...» (там же, S. 415): выходит, что Павел был убит 23 марта старого стиля, на 12 дней позднее, чем в действительности. Целое открытие в полутора строках! Гете иной

раз неправильно передает трудные русские фамилии, напр.: «Segräschski»—вместо «Загряжский», но поправляют его ученые комментаторы иной раз еще ошибочнее. Так, Гете дважды именует главарей заговора: 1) в списке заговорщиков

1. Fürst Plato Alexander } Zouboff
2. Graf Valerian }

и 2) в записи от 13 марта: «Speisen Fürst Plato Alexander und Graf Valerian Zouboff bey dem Grafen». Гете совершенно осведомлен: на первом месте он ставит фаворита Екатерины, получившего от нее княжеский титул, Платона Александровича Зубова, на втором—его брата графа Валериана. Комментаторы спешат поправить Гете и к записи 13 марта делают буквально такое примечание: «Platow Alex. und Valerian Subov, so auch 16—19» (т. е. подобное де «исправление» нужно внести и в «заговорщицкий список», стр. 415): князь Платон Александрович Зубов превращен у комментаторов в Платова Александра! Причина понятна: их смутило, что 1) два Зубова имеют разные титулы—князь и граф, и 2) что за «Fürst Plato» у Гете следует еще второе имя «Alexander». Но для того, чтоб этим смутиться, поправителям Гете надлежало: 1) вовсе не знать русской истории конца XVIII в. и 2) не иметь понятия, какое место занимает «отчество» в составе русских имен. Оба эти условия были налицо, и вместо комментирования был измышлен не существовавший Александр Платов.

[14] «W. A.», I Abt., B. LIII, S. 415.

[15] Бельш., т. I, стр. 271, 272.

[16] Bied., B. I, S. 481, № 975.

[17] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 73. Запись дневника 27/V 1829 г.

[18] Н. И. Греч, Записки о моей жизни. Под ред. Иванова-Разумника и Д. М. Пинеса. М.-Л., 1930, стр. 537.

[19] Журнал А. Тургенева, № 8, л. 49 об.— б. Пушк. дома № 308. Граф Пьер-Антуан Дарю (1767—1829)—один из важнейших военно-гражданских сановников Наполеона; он был уполномоченным при заключении мира в Тильзите (1807).

[20] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 277—278.

[21] Вот далеко не полный список стихотворных обращений и речений Гете о Марии Павловне: 1) «Epilog zu Schillers Glocke», 2) «Die romantische Poesie» (стихи к маскарадному шествию 30 января 1810 г.), 3) «Vorspiel zur Eröffnung des Weimarischen Theaters am 19 September 1807 nach glücklicher Wiederversammlung der Herzoglichen Familie», 4) «Ihro Kaiserlichen Hoheit der Frau Erbgrossherzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach» (сонет), 5) «An den verehrlichen Frauen-Verein» («Mariens Huld und Anmuth wollt' ich schauen...») и др.

[22] Экк., т. II, стр. 122.

[23] Там же, стр. 353.

[24] В. к. Николай Михайлович, Император Александр I, т. II. СПБ., 1912, стр. 593.

[25] Бельш., т. II, стр. 122.

[26] В. к. Николай Михайлович, Император Александр I, изд. 1914. СПБ., стр. 63—64.

[27] П. Б[артенев], Из дневников Вольфганга Гете.—«Р. А.» 1911, № 7, стр. 449.

[28] R. Jagoditsch, Goethe und seine russischen Zeitgenossen.—«Germanoslavica» 1931—1932, Heft 3, S. 350—351.

[29] Bied., B. IV, S. 343.

[30] «W. A.», III Abt., B. XIII, S. 51, 150; IV Abt., B. XLIX, S. 104.

[31] Там же, IV Abt., B. XIII, S. 57 u. 340. Письмо Отто печатается впервые по фотографии с подлинника, хранящегося в Веймарском музее.

[32] «Мемуары А. Чарторижского», т. I, стр. 168—169.

[33] Экк., т. II, стр. 121.

[34] В. к. Николай Михайлович, Русские портреты, т. I, вып. 3, №138.

[35] Там же.

[36] В. к. Николай Михайлович, Императрица Елизавета Алексеевна, т. I. СПБ., 1909, стр. 203, № 694.

[37] В 1856 г. Ф. И. Тютчев, только что представлявшийся Марии Павловне, нашел, что «она не очень умна» (письмо к жене от 17 июля. «Старина и новизна», кн. XIX, стр. 241). Отзыв Тютчева идет вразрез с суждением Гете и резко оттеняет панегиричность статьи Lily von Kretschmann, Die literarischen Abende der Grossherzogin Maria Pawlowna («Deutsche Rundschau» 1893, Heft 9, S. 422—448). Письма Марии Павловны к Гете собраны в книге «Goethe und Maria Pawlowna», Weimar, 1898.

II. АЛЕКСАНДР I И ГЕТЕ

АЛЕКСАНДР I, НАПОЛЕОН И ГЕТЕ. — ВСТРЕЧИ ГЕТЕ С НАПОЛЕОНОМ И АЛЕКСАНДРОМ В 1808 Г. — ГЕТЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА НАПОЛЕОНА. — НАПОЛЕОН КАК ЗАКАЗЧИК ГЕТЕ. — ГЕТЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I. — ГЕТЕ — РУССКИЙ ЗВЕЗДОНОСЕЦ. — ГЕТЕ, ЧИНЫ И ОРДЕНА. — ЗАКАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО МОЛЧАНИЯ. — ГЕТЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ I И Г-ЖЕ КРЮДЕНЕР. — ЭПИГРАММА ГЕТЕ НА КРЮДЕНЕР. — ШИЛЛЕР, ГЕТЕ И МАЛЬТИЦ В ОТНОШЕНИИ К АЛЕКСАНДРУ I. — ПОЭТИЧЕСКАЯ „ВЕРНОПОДДАННОСТЬ" ГЕТЕ КАК „ОБРАЗЕЦ" ДЛЯ РУССКИХ ПОЭТОВ. — ТРАУР ГЕТЕ ПО АЛЕКСАНДРЕ I.

Впервые Александр I появился в Веймаре в 1805 г. «Из Берлина,— рассказывает его спутник, министр иностранных дел Чарторижский, еще в ранней юности видевшийся с Гете,—император направился в Веймар, где хотел навестить свою сестру. Старый герцог был еще жив; несмотря на преклонные лета, он все еще был полон жизни и сил... В Веймаре нас приняли с искренним радушием. Там мы познакомились с некоторыми знаменитыми писателями». В их числе Чарторижский называет Гете. Но это было знакомство свиты, а не императора: он «торопился в Ольмюц, где его ожидал император Франц» [1]. На деле вышло, что торопился к Аустерлицкому поражению. Гете ничем не отозвался на это посещение, но в 1808 г. он почему-то вспомнил «плохое поведение русских при Аустерлице». Запись эта предшествует другой, явно иронической, по отношению к Александру I и его союзнику, прусскому королю: «Студенческая проказа Александра и Фридриха-Вильгельма перед неприятельскими форпостами» [2].

В этом же году Гете познакомился с Александром,—в самое невыгодное для Александра время: в те же дни, когда он познакомился с Наполеоном. Известно, какое сильное впечатление произвел Наполеон на Гете. Можно составить целый том из высказываний Гете о нем. Для Гете Наполеон был—великий человек, так же вобравший в себя всю политическую волю эпохи, как Байрон вобрал в себя ее поэтическую мысль. Никакие колебания в судьбе Наполеона, ни самое его крушение не поколебали отношения к нему Гете. В 1815 году—в год окончательной катастрофы Наполеона—Гете восклицал о нем: «Величайший ум, какой когда-либо видел мир!» [3] А в 1829 г., когда над могилой Наполеона гнила реставрированная Франция упадочных королей, Гете говорил Эккерману целые монологи, полные старых восхищений перед Наполеоном:

«Наполеон так же справлялся с миром, как Гуммель с фортепиано; и то, и другое нам кажется чудесным, мы одинаково не понимаем ни того, ни другого; но оно так, и происходит перед нашими глазами. Наполеон был особенно велик тем, что всегда был одним и тем же» [4]. Восторг Гете понятен: гениальному сыну почтенного бюргера из вольного города Франкфурта,—как ни пытался он всецело и сполна вдавить себя в веймарское отечество,—было тесно в немецких феодальных клетушках, где любой его замысел реформ, диктуемых классовым самосознанием истого сына «третьего сословия», превращался в карикатуру, в борьбу с веймарскими коровами, в сооружение плетней вокруг огорода. Гете хотелось простора, и он с завистью, с восторгом, вопреки всем требованиям 360 немецких местных патриотизмов, заглядывался на Наполеона, рушившего все карточные домики, пастушьи хижинки и телячьи загоны феодальной Европы, и любовался им, как вся европейская буржуазия. Наполеон был для Гете не страница, не глава, а целый том мировой истории. Александр I был лишь страница в этом томе, правда, набранная шрифтом гораздо более крупным, чем петит веймарских и других немецких примечаний, но все-таки только страница.

25 сентября 1808 г. Гете записал в дневнике: «Обед во дворце. Император Александр появился между 6 и 7». На другой день Гете был представлен императору: «Обед во дворце. Большой стол. После я был представлен наследным принцем императору, который очень любезно расспрашивал о Виланде. Возобновил знакомство с гр. Румянцевым (канцлером Николаем Петровичем.—*С. Д.*). Присутствовал также брат маршала Ланна. Вечером—«Камилла». Император и великий герцог не были в театре» [5].

Император Александр славился своей любезностью. Гете и отметил ее, но любезность была странная: с писателем Гете — говорить... не об авторе «Вертера», а об авторе «Оберона», писателе Виланде. Вряд ли в этом можно видеть особое внимание к писательству Гете. Уж читал ли император Александр «Вертера», прочтенного всей Европой? Гете был тогда директором Веймарского театра и приготовил торжественный спектакль, но не мог похвалиться особым вниманием императора: он отсутствовал.

На другой день, 27-го, Александр I уехал в Эрфурт. Гете отметил его отъезд и то, что «французский император выехал ему навстречу к Мюнхен-Гольцену». Вслед за Александром уехал в Эрфурт и герцог, но уезжая дал Гете поручение, о котором сохранился рассказ канцлера Мюллера: «Наполеон уже много раз давал почувствовать, что веймарская герцогиня должна дать бал в честь его и его царственного гостя Александра I. Герцог просил Гете придумать, чем бы достойнее всего ознаменовать в Веймаре торжественность столь необычных дней. Гете действительно подал много прекрасных и импозантных идей; однако выполнение их потребовало бы слишком много времени, и к тому же они были слишком гигантские» [6]. Иными словами, Гете столь добросовестно проработал придворный заказ, что осуществить его план оказалось не по карману бедному Веймару.

На съезд императоров и королей в Эрфурте герцог Веймарский хотел непременно привезти с собой то, что у него было самого крупного: одни везли с собой червонцы и бриллианты, другие портфели с реестрами штыков и пушек, подкрепляющих доводы дипломатических нот,—Карл-Август вез Гете.

Наполеон очень хорошо оценил, что Карл-Август был богаче других: 1 октября он узнал о прибытии Гете, а уже 2-го в 11 утра назначил ему аудиенцию. После нее Гете писал своему издателю Котта: «Никогда еще лицо выше меня по положению не принимало меня подобным образом: он с особенным доверием приблизил меня к себе и достаточно ясно дал мне понять, что по натуре своей я ему по плечу» [7].

В течение одной недели Гете познакомился с двумя императорами. И Александр был на голову побежден Наполеоном.

Нам нужно вспомнить только две-три черты знаменитой встречи Гете с Наполеоном. Когда Гете вошел, Наполеон долго и пристально посмотрел на него и воскликнул: «Voilà un homme!» (По другому варианту: «Vous êtes un homme!»). Деланно или искренне, но это было хорошо сказано; в сущности, это было не оригинально: это был перевод «Ecce homo», но перевод исключительно удачный, нельзя было лучше определить Гете, о котором Энгельс сказал: «Гете неохотно имел дело с «богом»; от этого слова ему делалось не по себе. Он чувствовал себя как дома только в человеческом». Наполеон не только бросил «mot»—острое словцо, могущее стать эпиграфом книги о Гете,—он знал, о чем беседовать с Гете. На указание

присутствовавшего при аудиенции Дарю, что Гете перевел «Магомета» Вольтера, Наполеон без обиняков отрезал: «Это неважная пьеса», и затем, по рассказу самого Гете, «он с большими подробностями изложил неудобства, проистекающие от того, что властитель мира изображает самого себя в столь неблагоприятном виде»: замечание для писателей, как надо изображать властителей мира, чтобы изображение было им угодно!

Гете для всей Европы прежде всего, больше всего, а для огромного большинства читателей исключительно был автором «Вертера». Как «любимый сын молвы» Наполеон заговорил с Гете и о «Вертере», и так заговорил, что Гете навсегда запомнил и любил вспоминать, что Наполеон семь раз прочел «Вертера» и брал его с собой в Египетский поход. Наполеон оказался хорошим вертероведом: сам похвалился автору, что «изучил его вполне», а, по отзыву самого Гете, «после нескольких совершенно справедливых замечаний, он указал мне на одно место и сказал: зачем вы это сделали? Это не согласуется с природой». И он стал поддерживать свое мнение при помощи совершенно справедливых долгих рассуждений» [8].

Бесконечное число раз приводился разговор Наполеона о Вертере и всегда с умилительной целью: включить Наполеона в список гетеанцев, даже вертерьянцев и тем повысить на несколько ступеней писательский титул Гете. Сам Гете вернее охарактеризовал наполеоновское отношение к «Вертеру»: «Он его изучил, как уголовный судья изучает дело, и в этом смысле он говорил о нем и со мной» [9]. Как судья, а не как поклонник, сделал Наполеон Гете то замечание, которое у Бельшовского звучит очень умилительно: «Император указал на то, что Гете ослабил впечатление необычайно сильной любви Вертера, выставив поводом к его самоубийству, помимо любви, еще и оскорбленное честолюбие» [10]. Исследователи не хотят заметить, что император сделал писателю упрек за то, что он ввел социальный мотив в объяснение самоубийства своего героя: Гете как благонамеренный писатель должен был довольствоваться мотивом психологическим, а не смущать читателя тем, что остро почувствованная Вертером его неравноправность в феодально-дворянском обществе, его социальная обида так же толкает Вертера к пистолету, как и неудачная любовь. Наполеон разрушал старые «феодальные неравенства», от которых страдал Вертер, но он создавал новые «неравенства», буржуазно-цезарские, и счел долгом попенять Гете на его неблагонамеренную ошибку. Но в какой прикрытой, любезнейшей, утонченнейшей форме он это сделал! Он только посетовал—как поклонник, о, исключительно как поклонник!—что Гете неудачным творческим приемом «ослабил впечатление необычайно сильной любви Вертера». Старый Гете не отразил этого нападения на создание его «бури и натиска», но избегал говорить о замечании Наполеона.

Эпизод о «Вертере»—chef d'oeuvre литературно-политического разговора, но только эпизод. Наполеон тотчас же вернулся к главному: «он,—по словам Гете,—возвратился к драме и сделал весьма замечательные указания как человек, с великим вниманием следивший за трагической сценой и наманер следственного судьи. Он живо чувствовал, насколько французский театр далек от натуры и правды. Он отзывался также с неодобрением о пьесах, в которых рок играет большую роль. Он сказал, что они принадлежат к непросвещенному времени. «В наши дни,—сказал он,—что такое значит рок? Политика—вот в чем рок» [11].

Этот выпад Наполеона против феодально-придворных ложноклассических трагедий великолепен. Перед ним стоял великий драматург, автор

«Ифигении», где рок действует и вершит, как в старой трагедии,—и он прямо, почти командно, приказывает: «Повернитесь лицом к современности: в мире есть один рычаг всяческого действия, в том числе и театрально-трагического: политика». Но рычаг такой борьбы и действия был в руках Наполеона. Приказ звучал: «Повернитесь лицом ко мне». Команда была дана, но опять-таки в какой утонченно-умной форме обсуждения вопроса драматической поэтики! В аудиенции 2 октября Наполеон высказал Гете—первому писателю современности—все, чего он хотел бы от искусства,—службы его цезаризму.

Через несколько дней, 6 октября, Наполеон устроил в Веймаре спектакль с партером королей. Короли сидели в креслах, а на сцене французские актеры во главе с знаменитым Тальма играли, не без указки нового Цезаря, «Смерть Цезаря» Вольтера. Актер-Цезарь произносил со сцены:

Je sais combattre, vaincre et ne sais point punir.
Allons, n'écoutons point ni soupçons, ni vengeance.
Sur l'univers soumis régnons sans violence.

(Я умею сражаться, побеждать—и не умею наказывать. Оставим подозрения, оставим чувства мести и мирно будем править покоренной вселенной).

А Цезарь-актер поглядывал из первого ряда партера, хорошо ли слышат это короли, герцоги, дипломаты, военные, придворные, сидевшие позади его. Это был отличный политический спектакль, данный Наполеоном в театре Гете: на сцене превосходно играл Тальма, в партере еще превосходнее—Наполеон. На балу после спектакля Наполеон дал прямой заказ Гете, считая, что все условия заказа и требования заказчика ему уже достаточны ясны. Заказ был дан в таких словах, переданных самим Гете: «Трагедия должна быть школой государей и народов; вот самая высокая цель, которую может предложить себе поэт. Вы например должны бы написать «Смерть Цезаря» и более величественными чертами, чем Вольтер. Это могло бы быть лучшим делом вашей жизни. Следовало бы показать миру, каким счастьем одарил бы его Цезарь, как все получило бы иной образ, если бы ему дано было время для исполнения его возвышенных планов. Приезжайте в Париж, я непременно требую этого от вас. Там зрелище мира больше, там вы в изобилии найдете сюжеты для поэзии» [12]. «Там живу и действую я», оставалось только добавить Наполеону.

Наполеон заказывал первому писателю современности (неважно было, что он немец, важно было что он—первый мастер своего дела) новую политическую трагедию—обоснование и прославление собственного цезаризма. Гете, правда, трагедии не написал, но можно ли сказать, что заказ этот и та обольстительная почетная форма, в которой он был дан, вовсе не тронули Гете? Вот как Гете расценил эту форму: «В жизни моей не могло бы случиться ничего более высокого и отрадного, чем моя встреча, и именно т а к а я с французским императором». В своих многочисленных высказываниях о Наполеоне Гете всегда являлся его апологетом,—и ни от кого и никогда не скрывал этого апологетизма. Когда в 1815 г. он поневоле принял литературный заказ от противников Наполеона и написал свое «Пробуждение Эпименида» (см. главу о Кюхельбекере), он исполнил его так, что апофеоз союзников скорее смахивал на сатиру на них. В немногие октябрьские дни 1808 г. Наполеон навсегда и безвозвратно закрепил Гете за собой. Наполеон оформил это закрепление: 14 октября 1808 г. Гете уже

записал в дневнике: «Орден Почетного Легиона» [13] и 15-го делился своей радостью с друзьями, в их числе с Каролиной Сарториус: «император Наполеон пожаловал мне орден Почетного Легиона» [14].

Стоит сравнить два императорских разговора с Гете и их отражение в писаниях и разговорах самого Гете и его друзей, чтобы понять, насколько решительна и блистательна была победа Наполеона над Александром.

Александра I хватило только на несколько «любезных» фраз для не совсем любезного разговора о Виланде и для отсутствия на торжественном спектакле, специально для него назначенном театральным директором Гете. У воспитанника Лагарпа не хватило эрудиции даже для нескольких прилично незначущих фраз о Вертере, зачитанном до дыр всей Европой. Наполеон же под блистательной дипломатией композиционных поправок к Вертеру и размышлений о трагедии провел целую кампанию выгоднейшего «социального заказа» и одержал вторую Иену: заполучил себе не трагедию Гете, а самого Гете, что конечно стоило десятка-двух немецких княжеств и маркграфств. Но Александр I был в то время союзником Наполеона, и Наполеон непрочь был поделиться с ним своим новым веймарским завоеванием. В первую же аудиенцию, пригласив Гете вечером пойти на «Ифигению» и пообещав, что он найдет в партере много королей, Наполеон, по словам знаменитого Талейрана, присутствовавшего при свидании, спросил Гете: «Вы видели уже русского императора?» И тут же дал ему небольшой заказ для Александра I, но не безвыгодный и для себя: «Он хорошо владеет вашим языком; если вы напишете что-нибудь об Эрфуртском свидании, это нужно будет посвятить ему». Гете уклонился от заказа, объявив: «Я не имею этого обыкновения, ваше величество; с тех пор как я начал писать, я взял себе за правило никогда не делать посвящений, чтобы никогда не раскаиваться». Наполеон не без неудовольствия возразил: «Великие писатели века Людовика XIV смотрели на это иначе».—«Это верно, но ваше величество не можете быть уверены, что они никогда не раскаивались» [15]. Гете охотно шел навстречу заказчику Наполеону, но ему не очень улыбались заказы для Александра. Впрочем Наполеон не очень настаивал на этом заказе. Он был непрочь посвятить Гете в свою иронию, с которой относился к Александру. 6 октября, на балу в Бельведере, после «Смерти Цезаря», Наполеон долго беседовал с Виландом и Гете о Таците и о христианстве и вдруг оборвал разговор, любезно попросив прощения у двух знаменитых писателей: «Но я вас беспокою. Мы здесь не для того, чтобы разговаривать о Таците. Посмотрите, как хорошо танцует император Александр» [16].

Наполеон победил Александра в сердце и уме Гете, но это никак не означает, что Александр сам не хотел дать заказа Гете или считал безразличным отношение к себе этой великой державы германской словесности. Он только уступал Наполеону в умении заключить с нею союз и не обладал для этого столь же утонченно-изысканной дипломатией. Средства его были проще, грубее, обыденнее, но пустить их в дело Александр считал необходимым. Как его бабка была официальной «вольтерьянкой», так он объявил себя официальным гетеанцем. Ни в чем не желая уступить Наполеону, Александр в тот же самый день, когда Наполеон пожаловал Гете «Почетный Легион», сделал поэта кавалером «Святыя Анны». 14 октября Гете утром получил орден от Наполеона, потом «задержался во дворце из-за прибытия русского императора», а когда вернулся домой, «знаки ордена святыя Анны» [17] уже ожидали его дома. На другой день Гете, по-

делившись с Каролиной Сарториус радостью о получении ордена Почетного Легиона, прибавил: «и тут же и Александр подарил меня орденом». Он показал пакет, присланный императором. Пакет заключал в себе большую ленту Анненского ордена с бриллиантовой звездой. С этим он удалился, чтобы одеться ехать ко двору, куда был приглашен на декламацию» [18].

Гете стал «российским кавалером», с правом на пенсию, с правом воспитывать детей в институтах и кадетских корпусах; «Анна» навсегда осталась на груди у Гете вместе с веймарским «Белым Соколом». Гете изображен с нею на портретах: Г. Кюгельгена (1807—1809, 1810), Г. Доу (1819), Г. Кольбе (1822), Ю. Эглофштейн (1826—1827) и др.: он ценил этот знак императорского благоволения и не снимал, а надевал его, позируя художникам. С того момента как голштинско-романовская «Анна» засверкала на груди Гете,—гетеанство сделалось благонадежным и благонамеренным занятием для подданных его величества, императора всероссийского.

Найти большой законченный портрет Гете зрелых лет без «звезд» и «крестов» так же трудно, как разыскать портрет Пушкина в мундире камер-юнкера. Орденолюбие и чинолюбие Гете поражало многих его посетителей, приехавших из России,—и малочиновного А. И. Кошелёва, и весьма орденоносного кн. Адама Чарторижского-сына. В своих интимных дневниках, несмотря на всю скупую краткость записей «для памяти», Гете никогда не забывает выписывать чин посетителей полностью. Даже посещения Шиллера отмечены у него (напр. в записи 7 мая 1799) как посещения «господина надворного советника Шиллера». В глазах веймарских герцогов и российских императоров это чинопочитание было величайшей политической добродетелью Гете, свидетельством его полной благонадежности. Надеть «святую Анну» на грудь Байрона или Шиллера можно было только в мечтах сумасшедшего чиновника Поприщина или графа Дм. И. Хвостова. Но Гете был украшен «звездою» и «лентою», и феодально-бюрократическое сердце могло радоваться, что российская «табель о рангах», эта «великая хартия» петербургской помещичье-бюрократической монархии, втянула в себя и величайшего поэта современности. Автор «Фауста»—российский звездоносец! Это было недурно придумано. Внуку удалось то, о чем не смела и помыслить бабушка—на Вольтера надеть «Анну» или «Владимира». В своей поминальной речи о Гете Уваров, талантливый идеолог русского официального «гетеанства», проведет в 1833 г. параллель между Вольтером и Гете,—и осудит первого как потворствователя «черни», а второго похвалит как ее врага и отрицателя.

Эту официально и свыше признанную еще с 1808 г. благонамеренность Гете—с точки зрения русского самодержавия—должно подчеркнуть. К Вольтеру в Ферней все-таки страшновато было ехать: и безбожник, и вольнодумец, хоть «всемилостивейшая монархиня и изволит читать его забавные острословия»; к Гете в Веймар в 1808—1813 гг. было ехать вполне безопасно и благонамеренно для всякого чина и звания: кавалеры Станислава и Владимира скакали к «кавалеру святыя Анны».

Из трех Мекк культурного паломничества XVIII—XIX ст. Ферней был—полуодобрителен для русского посетителя, Ясная поляна—совсем неодобрительна, Веймар—вполне одобрителен: в официальных гетеанцах числились два императора, три императрицы и бесчисленное число лиц из свиты, дипломатов и военных. Дорога в Веймар была едва ли не единственная дорога на культурный Запад, которую никогда не закрывали для



ГЕТЕ
Портрет маслом работы Юлии Эглофштейн (Веймар, 1826 г.)
Гете изображен здесь с русским орденом св. Анны на груди
Goethe-Nationalmuseum, Веймар

русского паломника ни Александр I, ни Николай I: они сами ходили по ней. «Святой Анной» и Марией Павловной в качестве поклонницы и еженедельной посетительницы Гете был легализован для русского посетителя, но только для посетителя, а отнюдь не для читателя на русском языке! Не будь этого, четырех пятых русских посетителей мы не видели бы в Веймаре.

Гете ни в чем не «посрамил» своего голштино-русского кавалерства. У него нет ни одной страницы вроде тех, какие есть у Байрона, сатирически живописующего Екатерину и ее двор в «Дон-Жуане», или у Шамиссо, воспевающего декабриста Бестужева, или даже у Гуцкова, слабо, но рьяно прославляющего Пугачева. Такое молчание Гете—большая политическая удача русского двора. Особенно сильно говорило это молчание Гете в 1830—1831 гг., во время польского восстания. Все великие, средние и малые державы европейской литературы поднялись на Николая I в защиту Польши и ее революции. Во Франции—Гюго, Беранже, Казимир Делавинь, в германских странах—Грильпарцер, Ленау, фон Платен, Уланд в стихах и прозе, в одах и памфлетах говорили в защиту Польши и обращали свои инвективы на Николая I. Но патриарх европейской литературы Гете молчал.

Не менее Жуковского Гете был придворным поэтом русского императорства: он писал стихи не только русским императрицам, но и о русских императрицах; в 1825 г. он принимал к сердцу декабрьскую тревогу романово-голштинской династии и в самом Жуковском едва ли не больше ценил воспитателя наследника, чем поэта.

Эта придворно-русская позиция Гете поражает своей устойчивостью. Какие бы события ни совершались в Европе, она остается неизменной: так глубоки и прочны ее политические корни.

В 1812—1815 гг., в эпоху последних наполеоновских войн, Гете политически молчал, не высказываясь ни за Наполеона, ни за Александра, ни за одну из политических веймарских и германских стратегий и тактик, вытекающих из того или другого «за». Подлинное его отношение к событиям и лицам этой эпохи, таимое про себя в дневниках и немногих интимных высказываниях, не подлежит сомнению: он не верил в освободительное национальное движение, не ужасался наполеонову господству над Германией и питал некоторый страх пред Россией, видя в ней слепую и грозную силу, сулящую опасности и беды европейской культуре. Этот страх отлично выражен в одном эпизоде 1813 года. В Дрездене, на рынке, Гете увидел толпу, зевавшую на казаков и приведенного ими верблюда; казаки были неинтересны Гете, но, глядя на верблюда, он не удержался от восклицания: «Настоящий символ Азии!» (Asiatisches Wahrzeichen). Войска Наполеона не являли этого «символа». В дневниках своих Гете тщательно отмечал русские успехи Наполеона: переход через Зап. Двину, «взятие Смоленска» и «взятие Москвы» [19]. Несомненно Наполеон был осведомлен об уклоне Гете в сторону Франции.

15 декабря к Гете явился секретарь французского посольства—как будто к владетельной особе—с почтительным докладом, что «Наполеон проехал через город и изволил осведомляться о Гете», а через небольшой промежуток времени явился к Гете с докладом сам французский посланник и передал ему «искренний привет» от Наполеона из Эрфурта. Показательно для политического веса Гете, что Наполеон, несясь в русских санях через Веймар, вспомнил о нем, а не о Карле-Августе, и этот последний не

без ехидства заметил Гете: «Как видишь, и небо, и ад делают тебе глазки» [20].

И в 1813 г. Гете продолжал предпочитать «ад» «небу». Его пометы об Александре, герое Европы, в этом и в 1814—1815 гг. сухи, только фактичны: видел, был, обедал, присутствовал. Он много раз видел Александра в этом году, встречался и обедал с ним при дворе своего герцога (например 24 октября и 24 декабря 1813 г.), еще больше встречался, говорил и обедал с его приближенными, но по дневнику Гете Александр I проходит как тень, не оставляющая следа.

Вот например запись от 24 октября 1813 г.: «Настоящее положение военных дел. Прекрасные настроения и взгляды пожилого австрийского офицера. Князь Лихтенштейн. При дворе. Большой стол. Император Александр». Это все: победитель Наполеона занимает в ней места меньше, чем «пожилой австрийский офицер» [21]. Сохранился довольно подробный рассказ, как Гете смотрел в 1813 г. въезд Александра и прусского короля в Дрезден, но сам Александр занимает в нем крошечное место—всего-навсе в вопросе Гете хозяйке дома, из которого он смотрел въезд: рада ли она, что видела русского императора? [22] Гете нигде ни единым словом не высказался за победителя Наполеона: Наполеон в сознании франкфуртского бюргера, попавшего в феодальные министры марионеточного государства, оставался никем не побежденным. Лишь дважды позволил себе Гете перед самим собой высказать некоторую иронию по адресу Александра—в известной нам записи о какой-то студенческой проказе Александра и Фридриха-Вильгельма и в карлсбадской записи 1810 г. (20/VI): «С князем Морицем Лихтенштейн в Карлсбрюкке. Разговор о последних мировых и военных событиях. Обратно на луг. Капельмейстер Гиммель. Продолжение предыдущего разговора. Император Александр, его ухаживания за всеми. Как провела его m-me Бахарат (жена купца в Петербурге), устроив торжественный чай вместо интимного, к которому он считал себя приглашенным» [23]. Но кроме двух этих иронических обмолвок Гете нигде, и тоже ни единым словом, не высказался, даже косвенно и перед самим собою против Александра. Он был надежнейшим из царедворцев: он умел почтительно молчать, если язык не поворачивался наипочтительнейше хвалить, и это молчание бывало столь умно и тонко, что сходило за ненаходящее слов хваление.

Вот для примера маленький эпизод. 23 апреля 1812 г. Гете отметил в дневнике: «Известие о присутствии г-жи Ю. Крюденер в Веймаре» [24]. Это—первое известие у Гете о знаменитой впоследствии мистической «наставнице» Александра I, любопытной фигуре феодальной политической реакции. Г-жа Крюденер была европейской знаменитостью в эпоху Венского конгресса и Священного Союза. И в тот самый год, когда Александр I лично с нею познакомился и вступил в переписку, тянувшуюся не один год и всячески афишируемую авантюристской, Гете уже знал кое-что, вряд ли особенно лестное, об императоре и г-же Крюденер. В письме к С. Буассере от 5 августа 1815 г., рассказав приятелю об общем знакомом Крамере и об его страхе перед русскими и их влиянием в делах культуры, Гете замечает: «Вечером я рассказывал ему, в связи с русскими, еще об отношениях императора Александра и Крюденер» [25]. Что рассказывал, каковы были эти отношения царя и пророчицы,—обо всем этом молчание. Историку нечем поживиться у Гете: он хранит тайну Александра I и только лишь однажды делает еще отметку: «История г-жи Ю. Крюденер в Эрфурте»

(3 декабря 1817 г.)[26]. «Великолепное» молчание веймарского верноподданного русского царя! Об Александре—из этой мистической пары—Гете молчал, но на Крюденер Гете написал злую эпиграмму (Иена, 4 апреля 1818 г.):

Junge Huren, alte Nonnen
Hatten sonst schon viel gewonnen,
Wenn, von Pfaffen, wohlberathen,
Sie im Kloster Wunder thaten.
Jetzt geht's über Land und Leute
Durch Europas edle Weite!
Hofgemässe Löwen scharnzen,
Affen, Hund' und Bären tanzen—
Neue leid'ge Zauberflöten—
Hurenpack, zuletzt Propheten[27].

По-русски это будет приблизительно так:

Встарь довольно было шлюхам
И монахиням-старухам
Чудеса творить с попами
За келейными стенами,
А теперь им тесно стало—
Для чудес Европы мало!
При дворе танцуют львицы,
Шимпанзе, медведи, псицы,
И, под писк волшебной дудки,
В пляс пророчат проститутки.

В этой эпиграмме было законное место и Александру, но оно осталось вакантным.

Свояченица Фр. Шиллера Каролина фон Вольцоген рассказывает про последний год жизни и труда поэта, когда он занят был недовершонным своим «Demetrius'ом»: «Родственное сближение нашего герцогского семейства с русским императорским домом не раз бывало у нас предметом разговоров. «Я мог бы,—сказал Шиллер однажды вечером,—устами молодого Романова, играющего благородную роль в моей трагедии, наговорить императорской фамилии много любезностей». Но на другой день он сказал: «Нет, я этого не сделаю, мое призвание должно оставаться чистым».

Это было в 1805 г. Прошло только десять лет—и другой немецкий поэт, Франц фон Мальтиц (1794—1857), в своем «Димитрии», вобравшем в себя все написанное на этот сюжет Шиллером, договорился до того, что заставил «дух Ксении» предсказывать Михаилу Романову, брошенному в темницу, и войну 1812 года, и даже Священный Союз:

Dich segnet, mein Enkel, des Ahnherrn Mund,
Dich, Held und Herrscher, nach dessen Willen
Sich Völker umarmen im heiligen Bund (Act. VI, Sc. 2).

(Тебя, мой правнук, благословит сонм прародителей, тебя, герой и властитель, чьею волей народы заключили себя в объятия в Священном Союзе)[28].

Гете занимает середину между Шиллером и Мальтицем: у него есть и молчание, и хвала: хвала—императрицам, молчание—императорам.

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой

был достаточно ясен старому министру и гениальному писателю-ученому, но он лишь случайно позволил себе обмолвиться рассказиком о неудачном любовном приключении «плешивого щеголя» и не шел дальше сухой отметки о политической или военной неудаче героя, «нечаянно пригретого славой». В таком рассказике проскользнуло нечто мефистофелевское. Тайный советник и кавалер фон Гете писал об Александре так, как писал бы о нем и любой русский тайный советник и кавалер, без «Вертера» и «Фауста» в формуляре. Когда Александр I умер, при веймарском дворе был наложен восьминедельный траур, и Гете совершенно справедливо писал Уварову про себя и других придворно-чиновных веймарцев: «С теми далекими покровителями и друзьями [которые остались в Петербурге—*С. Д.*] нас соединяет сейчас общий траур, не допускающий дальнейших слов» [23]. Точно так же «общая верноподданность» «не допускала» Гете до тех «дальнейших слов» об Александре I, до которых «допускали» себя такие плохие верноподданные, как Пушкин или Рылеев. Русский двор и правительство много сделали, чтобы завоевать это «верноподданничество» Гете, и ценили его высоко.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. Чарторижский, Мемуары, т. I, стр. 358.
[2] «W. A.», III Abt., B. III, S. 363. Запись от 22 июля.
[3] В письме к Буассере от 8/VIII. Цитирую по Бельш., т. II, стр. 285.
[4] Экк., т. II, стр. 176.
[5] «W. A.», III Abt., B. III, S. 389. Жан Ланн, герцог Монтебелло, французский маршал (1769—1809).
[6] Bied., B. I, S. 537, № 1097.
[7] Бельш., т. II, стр. 285.
[8] Экк., т. I, стр. 71, 75.
[9] Экк., т. II, стр. 178.
[10] Бельш., т. II, стр. 282.
[11] Экк., т. I, стр. 76.
[12] Экк., т. I, стр. 77.
[13] «W. A.», III Abt., B. III, S. 248.
[14] Bied., B. I, S. 549, № 1110.
[15] Там же, стр. 542, № 1103.
[16] Там же, стр. 544, № 1103.
[17] «W. A.», III Abt., B. III, S. 248.
[18] Bied., B. I, S. 549, № 1110.
[19] Бельш., т. II, стр. 290.
[20] Там же.
[21] «W. A.», III Abt., B. V, S. 80.
[22] Bied., B. II, S. 180—181.
[23] «W. A.», III Abt., B. IV, S. 133—134. Однажды случилось Гете похвалить вкус Александра I. 12 июля 1806 года он писал из Карлсбада Шарлотте фон Штейн: «Число курортных гостей за четырнадцать дней сильно возросло. Список доходит числом до 650. Среди последних приезжих—прекрасная княгиня (! *С. Д.*) Нарышкина, которая является доказательством того, что у Александра Первого вкус не дурен». («W. A.», IV Abt., B. XIX, S. 163—164). Гете имеет в виду любовницу Александра I—М. А. Нарышкину.
[24] Там же, B. III, S. 271.
[25] Bied., B. II, S. 318, № 1687.
[26] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 143.
[27] Там же, I. Abt., B. IV, S. 185.
[28] А. Лютер, Лебединая песнь Шиллера.—«Под знаменем науки», сборник в честь Н. И. Стороженка. М., 1902, стр. 351—352.
[29] «W. A.», IV Abt., B. XL, S. 187; III Abt., B. X, S. 330.

III. ТРИ ИМПЕРАТРИЦЫ И ГЕТЕ

А. ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА—ЧИТАТЕЛЬНИЦА „ИЕНСКОЙ ВСЕОБЩЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ".—ГЕТЕ—РЕДАКТОР „ИЕНСКОЙ ГАЗЕТЫ" И ЗАОЧНАЯ ЦЕНЗУРА РУССКОГО ДВОРА.—ВСТРЕЧИ ГЕТЕ С ЕЛИЗАВЕТОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ.—РАССКАЗ ФРЕЙЛИНЫ Р. С. ЭДЛИНГ.—ВЕРНОПОДДАННИЧЕСТВО ГЕТЕ.—ПИСЬМА ГЕТЕ К ЕЛИЗАВЕТЕ АЛЕКСЕЕВНЕ.
Б. ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЕЙМАРА.—ГЕТЕ—ОРГАНИЗАТОР И СОЧИНИТЕЛЬ ПРИДВОРНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ЗРЕЛИЩА В ЧЕСТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ-МАТЕРИ.—ПОЭТИКО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ.—ПЕРЕПИСКА ГЕТЕ С СЕКРЕТАРЕМ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ.—КНИГИ ГЕТЕ В БИБЛИОТЕКЕ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ В ПАВЛОВСКЕ.—МАРИЯ ФЕДОРОВНА—ЧИТАТЕЛЬНИЦА ГЕТЕ И СОБИРАТЕЛЬНИЦА ЕГО АВТОГРАФОВ.—НАГРАДЫ ГЕТЕ.—„УРОК" ДЛЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.
В. ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, ЕЕ SEHNSUCHT И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРЕПЕТ.—„ИДЕАЛИЗМ" АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ.—ПОСЕЩЕНИЕ ГЕТЕ НИКОЛАЕМ ПАВЛОВИЧЕМ И АЛЕКСАНДРОЙ ФЕДОРОВНОЙ В 1821 Г.—СТИХИ ГЕТЕ НА ЭТОТ СЛУЧАЙ.—ГЕТЕ УВЕНЧИВАЕТ БЮСТ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ.—ПОРУЧЕНИЯ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ К ГЕТЕ.—МЕСТО АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ В ГЕТЕАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ НИКОЛАЯ I.

А

В 1813—1815 гг. Россия придворная, дипломатическая, военная дневала и ночевала в Веймаре.

В эти годы Гете знавал фельдмаршала кн. М. Б. Барклай де Толли, генералов Ф. П. Уварова, Тормасова, кн. Н. Г. Репнина (Волконского), Орлова-Денисова, Бенкендорфа, гр. Ф. В. Растопчина, дипломатов—канцлера гр. Н. П. Румянцева, послов—кн. А. Б. Куракина (Париж), гр. Ливена (Лондон), барона Алопеуса (Берлин), кн. Барятинского (Мюнхен) и многих других [1]. Целая галлерея деятелей 1812—1814 годов! С Гете перезнакомились десятки русских—одни вольно, другие—по должности, и эту пору должно считать эрой в истории русского гетеанства. Гете, легализованный императором, был объявлен легальным Монбланом европейской культуры, взбираться на который было разрешено, а—примером двора—даже рекомендовано русским туристам.

Пример гетеанского туризма показывали императрицы. Императрица Елизавета Алексеевна была читательницей «Иенской Всеобщей Литературной Газеты». Гете не мало в ней сотрудничал, и императрица читала его статьи и рецензии. В 1803 г. с «Газетой» произошла история. Пруссия сманила к себе ее издателя, профессора Шюца: за десять тысяч талеров он согласился перенести издательство в Галле. Гете употребил все усилия, чтобы с 1 января 1804 г., в противовес этой «Всеобщей Литературной Газете» в Галле, в Иене попрежнему выходила «Иенская Всеобщая Литературная Газета». Ей он отдавал много труда как главный руководитель и сотрудник. Императрица осталась верна Гете и продолжала читать его «Иенскую Газету».

Этот третьестепенный факт «гетеаны», что русская императрица читала и читает газету, возглавляемую Гете, приобретает далеко не третьестепенный интерес, если мы вчитаемся в одну из записок, посланную Гете-редактором, живущим в Веймаре, к своему помощнику, профессору филологии Генриху-Карлу Эйхштедту (Eihstädt, 1772—1848), живущему в Иене. 27 января 1804 г. Гете посылал ему пакет с просмотренным материалом для газеты и писал:

«Приложенные заметки достаточно интересны для Intelligenzblatt. Так как нашу газету читают в Петербурге при дворе, то важно, чтобы все тамошние дела являлись у нас освещенными в надлежащем смысле» [2]. Прославленная газета немецкой культуры—по приказу ее редактора—должна была применяться к читательнице из Зимнего дворца. Весь материал, касающийся русской жизни, помещаемый в газетном приложении к литературному изданию, должен был проходить как бы заочную цензуру русской императрицы. А материалу, посвященному России, газета уделяла видное место.

В 1804 г. у Гете еще не было никаких прямых сношений с русским двором и кавалерство св. Анны было еще впереди, но он знал, что делал, когда инструктировал своего ученого помощника кроить и шить русские известия по мерке, прикидываемой заочно на Елизавету Алексеевну и ее двор.

В январе 1804 г. уже шло сватовство наследного Веймарского принца к Марии Павловне: в июле она появилась уже в Веймаре. И Гете, учитывая не только то, что императрица Елизавета—родная племянница великой герцогини, но и то, что идет сватовство политически важное для Веймара и выгодное для двора, заранее принимал меры, чтобы в редактируемых им изданиях не появлялось ничего, что могло бы вызвать тень неудовольствия русского двора. Елизавета Алексеевна встретилась с Гете в январе 1814 г., когда поехала из Петербурга проведать своих баденских родственников. Она читала Гете. Льстивый Уваров даже сказал про нее: «Расин хотел бы ее иметь судьей, и Гете не написал ничего классического, что не привлекло бы ее внимания» [3]. Вот рассказ о пребывании императрицы в Веймаре, принадлежащий перу фрейлины гр. Р. С. Эдлинг:

«Солнце светило по-весеннему, и все встречное принимало более веселый вид, так что в Веймар мы приехали в очень хорошем расположении духа. Некогда в Петербурге я знала великую княгиню Марию Павловну. Она выразила мне удовольствие, что опять меня видит. Веймарский замок очень красив и все устроено в нем на широкую ногу. Двор многолюднее и богаче берлинского.

Принимала герцогиня, тетка императрицы, поистине с величавым достоинством, так что нам казалось, что ей надобно быть не в Веймаре, а разве на престоле Людовика XIV. Своими важными и в то же время изящными движениями напоминала она времена протекшие, и Вальтер Скотт мог бы поместить ее в какой-нибудь из своих прелестных исторических романов. Хотя императрица торопилась на свидание со своими, но ее уговорили принять бал и быть на представлении гетевой трагедии. Я познакомилась с этим славным поэтом; но в том, что он говорил, напрасно искала я следов пламенного воображения, плодами которого наслаждаются его современники. Передо мною был холодный, рассчитанно-приличный царедворец, удовольствованный лентою и чином. Его движения как-то странно противоречили прекрасной и благородной его наружности, напоминающей изваяние Юпитера. Однако случалось, что взор его оживлялся, и какое-нибудь счастливое выражение обличало в нем поэта» [4].

Елизавета Алексеевна пробыла в Веймаре всего два дня: 28 января Гете отметил в дневнике: «Ожидание русской императрицы. В 5 часов ко двору», а 31-го уже записал: «Русская императрица уехала» [5]. Из письма Елизаветы Алексеевны к своей матери, маркграфине Баденской Амалии, от 30 января видно, как она рвется из Веймара и высчитывает минуты, когда очутится в Бадене [6]. Но есть вещи, задерживающие и императриц против их желания. Гетеанство сделано было в Веймаре столь официальной обязанностью, что его просто требовал придворный этикет, и как ни спешила Елизавета Алексеевна к своим баденским родственникам, еле-еле отдышавшимся от наполеоновской опеки, она уплатила дань гетеанской политике двух дворов: посмотрела «гетеву трагедию» и познакомилась на представлении с автором, который был и директором театра. Все это Елизавета Алексеевна исполнила с покорностью и холодностью туриста, которому и совесть, и долг запрещают миновать достопримечательность, которая, сама по себе, вовсе не интересует туриста. Любопытна и веймарская тетушка. Она на-

стояла на том, чтоб один из двух веймарских вечеров императрица уделила на «Ифигению» с Гете. Сама она была далека от восторгов пред Гете, но твердо стояла за прерогативу и честь веймарского двора потчевать гостей «своим» Гете, показывать всем великим земли «ручного» великого поэта. Этим действительно мог гордиться не всякий двор: английскому двору решительно не повезло с приручением Байрона, Николай Павлович приручал, да не приручил Пушкина.

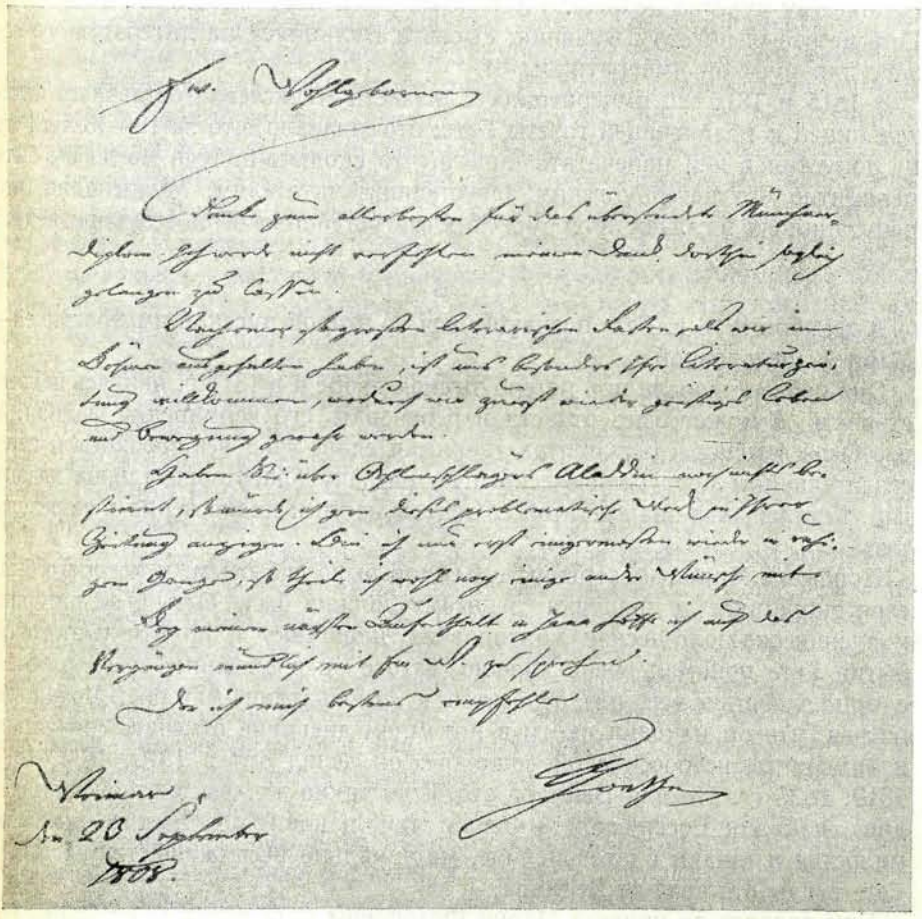
Умная и наблюдательная фрейлина дала превосходную, социально значительную зарисовку Гете. У нее он—тоже Юпитер, как у всех, но Юпитер в анненской ленте, с движениями и разговором, подобающими не «олимпийцу», а «тайному советнику и кавалеру» в приемной еще более высокой особы. Портрет этот тем ценнее, что Эдлинг узнала впоследствии Гете ближе—и не изменила пропорций этой зарисовки. В 1817 г. Роксандра Скарлатовна Стурдза (1786—1844), сестра известного реакционного писателя, вышла замуж за графа Альберта Эдлинга (1774—1841), который служил прежде в Саксонии, а затем принял должность маршала, театрального интенданта и министра иностранных дел в Веймаре.

Писательница Иоганна Шопенгауэр, мать философа, знавшая всех и вся в Веймаре, так отозвалась о графине Эдлинг: «Она не молода и не хороша собою. Кажется, старше его, но очень добра, очень образованна, очень серьезна и умела в высшей степени завоевать уважение двора и города» [7].

В 1819 г. Эдлинг оставил службу, но они жили в Веймаре до 1822 г., когда переселились в Россию. Александр наградил их в 1824 г. владением в Бессарабии, которое составляло, по величине, $^1/_{17}$ часть всего Веймара: они получили 10 000 десятин в Буджакских степях. Там Эдлинги завели свое аграрное «княжество», пользуясь как веймарские помещики вольнонаемным, а не крепостным трудом; супруг занялся сверх сельского хозяйства еще изучением древностей юга России, а супруга—благотворительностью. Вигель находил в графе сходство с добродетельно-хозяйственными баронами из романов семейственно-консервативного Августа Лафонтена. Что находил Гете в графе и графине, мы не знаем, но он встречался с ними и раза 2—3 отметил встречи и в дневнике: «В ботаническом саду. Граф и графиня Эдлинг. Прогулка. Дамы и свита. Осмотр музея. Обед» (2 мая 1817 г.). «К принцессам в Бельведер. Нашел там наследного великого герцога с супругой, также графиню Эдлинг» (22 октября 1818) [8].

Графиня же Эдлинг, уже при первом свидании с ним на представлении «Ифигении», рассмотрела его достаточно зорко: ее отзыв—один из немногих, где нет юпитеропреклонения.

Во второй раз Гете встретился с Елизаветой Алексеевной в ноябре 1815 г. 11-го числа он внес запись: «При дворе. Прибытие императрицы. Представление за столом» [9]. Императрица пожелала возобновить подписку на «Иенскую Литературную Газету». Гете был очень польщен и 1 декабря послал царице нарочито верноподданническое письмо, какого ни одна императрица не дождалась ни от Пушкина, ни от Жуковского, ни от Тютчева: «Исполнять высочайшие приказания для меня—святой и приятнейший долг. Посему препровождается Вам «Иенская Литературная Газета» со всеми вышедшими до сих пор прибавлениями к ней и будет высылаться до конца настоящего года, а также и за первую четверть следующего. Ваше величество убеждены, сколь бесконечно ценю я случай в немногих, но искренних словах выразить Вам мое приверженнейшее почтение и безграничную благодарность за оказанное мне доверие». 12 июня 1816 г.



Автограф письма Гете к редактору „Иенской Всеобщей Литературной Газеты" Г. К. Эйхштедту от 23 сентября 1808 г.
Институт книги, письма и документа, Ленинград

Гете опять писал императрице: «По высочайшему приказанию был заготовлен экземпляр «Иенской Литературной Газеты» за первые три четверти 1815 года, который, как я надеюсь, в конце прошлого года Вы, Ваше Величество, получили. Теперь, вместе с письмом, препровождается, с должным почтением, экземпляр за последнюю четверть прошлого и за первую текущего года. Пусть оба доставят удовольствие Вашему Величеству. Эти листы, и ранее обратившие на себя некоторое внимание, становятся для меня тем ценнее, что доставляют мне счастье удостоверить Вашему Величеству чувства непрестанного почтения и преданности» [10]. 26 декабря Гете не забыл внести в дневник: «Деньги Вульпиусу на литературную газету для русской императрицы» [11].

В 1815 и 1816 гг. императрица Елизавета Алексеевна оставалась читательницей и подписчицей газеты Гете: это означало, что за 12—13 лет Гете не допустил в ней напечатать ничего, что сколько-нибудь могло бы быть неприятно его петербургским августейшим читателям. Мудрено ли, что репутация его в глазах петербургских «августейших» была безукоризненна?

Б

В декабре 1818 г. Гете познакомился со второй русской императрицей—Марией Федоровной.

Она первенствовала при петербургском дворе и в 1818 г. явилась первенствовать, а может быть отчасти и ревизовать его веймарский филиал. У нее была в одах и рескриптах творимая слава «человеколюбицы» и пересоздательницы рода человеческого по разделу благотворительной педагогии. Гете издавна знал об этой ее деятельности и плохо верил в ее результаты.

Прибытие Марии Федоровны в Веймар было событием, у которого была своя экономика и политика и потому должна была быть своя риторика и сценическо-поэтическая монтировка. Экономику и политику этого события Гете понимал очень хорошо, оттого он в дневнике своем отмечает с прилежностью все, что относится к «императрице-матери». Можно дивиться, что он находил охоту в интимном дневнике отмечать «рождения» и «именины» всероссийской «maman»: он делал это в 1810, 1811, 1817, 1819, 1826 гг. Но для Веймара это были такие же «высокоторжественные дни», как для Российской империи дни, в какие получались «монаршие милости» и «знаки благоволения», материально весьма чувствительные, и Гете тут не отставал от Веймара.

Еще задолго до приезда Марии Федоровны Гете получил от Марии Павловны заказ на поэтико-театральное оформление пришествия императрицы-матери. Это был не первый заказ такого рода. 16 февраля 1810 г. в Веймаре уже было маскарадное шествие народностей России, блаженствующих под скипетром Александра I,—«Maskenzug russischen Nationen», и Гете написал для него три стихотворения—«Festlied», «Gastlied» и «Brautlied» [12]. На этот раз заказ был гораздо серьезнее: требовалось в форме маскарадного шествия со стихами, декламацией и драматическим действом представить императрице-матери некий отчет о прошлом и настоящем процветании Веймара, нужно было сделать аллегорический доклад о процветании наук и искусств в Веймаре под покровительством Марии Павловны, ее свекора и свекрови. В предисловии к исполненной работе Гете так определил принятый заказ: «Когда ее императорское высочество, наследная великая герцогиня саксен-веймар-эйзенахская, изволила милостиво устра-

ивать нижеописываемое торжественное шествие, их высочества повелели: чтоб при этом были показаны местные плоды воображения и размышления и чтобы были даны намеки на многолетние и разнообразные достижения» [13].

23 ноября Гете отметил «прибытие в Веймар императрицы-матери, вечером в 6 часов, сопровождаемое колокольным звоном» [14].

Марию Федоровну скоро стали угощать Гете: 3 декабря в Веймарском театре был дан «Магомет» Вольтера в переводе Гете, с «Прологом» в честь императрицы-матери, поднесенным ей и в виде отдельного роскошного издания [15]. 9 декабря Гете был ей представлен Марией Павловной [16].

Пока готовился поэтико-маскраданый отчет, императрица-мать ездила по веймарским учрежденьицам и принимала «местные» отчеты: так 17 декабря «обозрела» она библиотеку, а тремя днями раньше Гете записал: «Оттилия поздно вернулась из школы, где императрица провела вечер» [17]. Гете пришлось быть не только сочинителем текста «маскарадного шествия», но и превратиться в режиссера, что видно из дневника: «Ульрика сообщила о дальнейшей организации шествия» (4 декабря). «Я был занят приготовлением к шествию» (17 дек.), и в самый день шествия: «Последние хлопоты в связи с шествием. С половины 10-го до 1 ч. репетиция в Городской Думе. Крейтер пополнил хороший экземпляр стихотворений для шествия. В 6 часов сбор масок в галерее великой княгини. В 8 ч. выступление. Бал до утра» [18]. Шествие затеяно было Гете повидимому слишком сложно для веймарских камер-артистов, и не обошлось без шероховатостей. В своей записи «итогов 1818 г.» Гете отозвался об этой затее с большою серьезностью: «Маскарадное шествие для ее величества императрицы-матери должно было представить в отдельных группах плоды многолетней поэтической деятельности веймарского кружка муз. И эти группы, появляясь перед высочайшими особами, должны были соответствующими стихами пояснять, что они изображают. Это произошло 18 декабря и порадовало милостивым приемом и радует длящимися воспоминаниями» [19]. Как бы посмеялся и над этой записью, и над этими трудами Гете по монтировке пришествия царицы-хозяйки его Мефистофель, которого в «шествии» изображал сын Гете—Август! Гете положил большой труд на эту российско-веймарскую затею: все, написанное им для этого «шествия», занимает семьдесят четыре страницы текста веймарского издания—размер целой трагедии.

Ко дню «маскарадного шествия» все, написанное для него Гете, было издано в виде отдельных роскошных изданий, которые были поднесены императрице, отпечатанные на толстой веленевой бумаге, с золотым обрезом, в переплетах из цветной кожи и сафьяна (maroquin), с цветными шелковыми форзатцами. Чего-чего не было издано: и «Предварительное изъяснение» («Vorläufige Anzeige»), и пояснение представленных живых «картин», и разъяснения сыгранных «шарад»,—целая литература около одной политико-маскарадной затеи [20]. Основным было издание «Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar Maskenzug 1818» («Маскарадное шествие по случаю высочайшего пребывания в Веймаре ее величества императрицы-матери Марии Федоровны»). Книжка состоит из прозаического предисловия, изъясняющего затею, из сложной поэтической драматизации («драматической кантаты») Гете «Festzug dichterische Landes-Erzeugnisse, darauf aber Künste und Wissenschaften vorführend» («Праздничное шествие, представляющее поэтические плоды страны, а затем—искусства и науки»), исполненной

участниками шествия, и из списка придворных, разыгрывавших в нем роли. Когда Гете писал все это, у него в это время столько было неоконченного, недописанного, недовершонного из его подлинных трудов: «Фауст», «Поэзия и правда»!.. Впрочем для Гете это было—исполнением его обычного придворно-поэтического дела, и он так его исполнил, что российская полухозяйка Веймара была им очень довольна. Поэтико-маскарадный отчет был принят милостиво, и Гете как удачливый составитель на другой же день был принят императрицей. Гете был Марией Федоровной заласкан, если верить его письму к С. С. Уварову от 21 декабря: «нисколько не будет восточной гиперболой, если я правдиво выражу то, что ощутил я, когда был представлен ее величеству императрице и увидел себя осыпанным милостями, доверием, подарками; я не нахожу в себе для этого слов и от души предоставляю Вам, чтимый друг, самому истолковать это и, при случае, где возможно, довести до сведения в высоких местах» [21].

Это письмо—тоже своего рода служебно-верноподданнический отчет: вот-де как воспринимается мною, таким-то «советником и кавалером», монаршая милость. Если б это словоизлияние читатель прочел, не зная, кто, к кому и о ком персонально здесь взывает, то он решил бы, что это подданный говорит о своей государыне, а обращается к ее более приближенному слуге. Поименование их Вольфгангом Гете, Марией Федоровной и С. С. Уваровым не меняет дела: безыменное определение сохраняет свою силу, так как действительные отношения Гете к русскому двору действительно и походили на отношения верноподданного из породы камергеров и гофмаршалов.

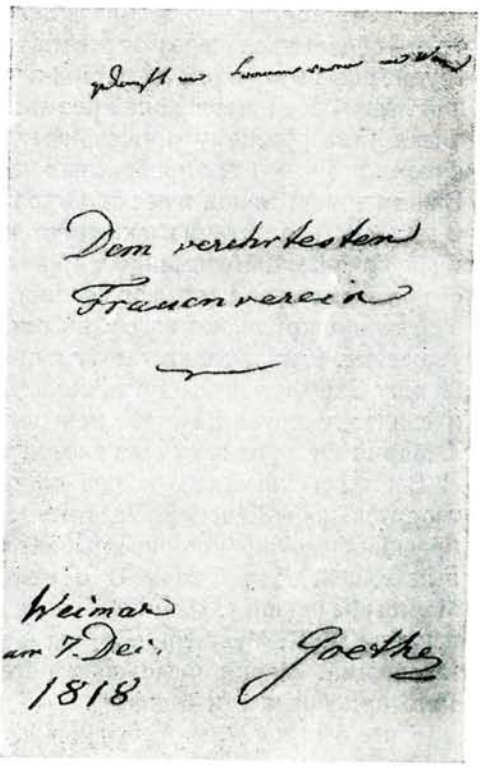
Императрица приняла Гете в 1 ч. дня 19 декабря, а немного позднее его посетил секретарь Марии Федоровны Г. А. Вилламов и остался у него обедать; 21 декабря Вилламов повторил свое посещение [22]. Из Петербурга был прислан Гете подарок императрицы: это была драгоценная табакерка с портретом императрицы Елизаветы Алексеевны [23]. Гете обменялся письмами с секретарем Марии Федоровны.

Первый написал ему Вилламов (печатается впервые):

С. Петербург, 7/19 марта 1819.

Ваше Превосходительство.

Я не посмел бы обеспокоить вас письмом, несмотря на мое страстное желание высказать Вам мое глубокое уважение и сердечное влечение, если бы меня не ободрила на это графиня Каролина своим лестным заверением в тех дружелюбных чувствах, которыми Вы удостаиваете меня. Я живо представляю себе, как много беспокойства Вы испытали в Вашей жизни от посторонних корреспондентов, не думавших о своей назойливости, когда они писали Гете, но лишь о надежде, что блеск этого имени озарит и их ничтожество. Я сознаюсь откровенно, что у меня было слишком много самолюбия, чтобы вмешаться в толпу этих посторонних писак, надоедливая толкотня которых с негодованием отбрасывается в сторону, и вместе с тем не достаточно самолюбия, чтобы вообразить себе, что мое письмо могло бы представить какой-либо интерес для Вас и, таким образом, я не знал, как мне поступить, чтобы добиться наслаждения выразить Вам свои чувства. Я был тем более смущен, что я не чувствовал себя даже в силах выразить их таким образом, чтобы они показались Вам подлинным языком сердца, а не голой фразеологией, что было бы мне самому в высшей мере противно и, по моему мнению, также недостойно и Вас. Поэтому



Дарственная надпись Гете от 7 декабря 1818 г. на экземпляре книги Müller'a „Paris im Scheitelpunkte..."
Из бывшей библиотеки Марии Федоровны
Библиотека б. Павловского дворца, Ленинград

я предпочел воспользоваться посредничеством нашего общего друга, графини Каролины, и я надеюсь, что она Вам так тепло, как бы я этого хотел, рассказала, как меня влечет к Вам духом и сердцем, как живо я сожалею о том, что я наслаждался лишь столь недолго Вашим обществом, и как лестно мне было бы заслужить за это короткое время знакомства Ваше доброе мнение. Я должен лишь чистосердечно признаться, что у меня было достаточно самомнения надеяться, что более частое и продолжительное общение завоевало бы мне, быть может, Ваше расположение, но после моего столь беглого посещения я не мог себя льстить этой надеждой. Представьте себе поэтому, как я был бы горд, если бы я имел уверенность, что я был так счастлив оставить у Вас мысль быть достойным более близкого знакомства или даже Вашей дружбы. Если бы даже этого и не было, что весьма возможно, то я прошу Вас быть, по крайней мере, уверенным в моих чувствах, в моем глубоком, сердечном уважении, заверить Ваше любезное семейство в моей неизменной памяти о нем и временами помнить, что на далеком севере живет человек, который счастлив тем, что он знает не только писателя, как вся Европа, но и человека, который страстно желал бы, чтобы Вы нашли его достойным Вашей дружбы, и который всю свою жизнь будет помнить свое краткое пребывание в Веймаре.—Но может быть я уже слишком долго дал говорить своему сердцу. Будьте здоровы и не забывайте совсем

Вашего Превосходительства
преданнейшего
Г. Вилламова.

Могу я попросить передать вложенное графине Каролине?

Гете тотчас (12/IV) отвечал Вилламову. Письмо Гете написано с тем искусством обращаться через адресата к другому лицу, гораздо высшему, что трудно поверить, чтобы секретарь-адресат не доложил этого образца утонченной лести своей высочайшей повелительнице. «Ваше превосходительство,—писал Гете русскому придворному,—дружественным и любезным письмом напомнили мне о тех прекрасных часах, когда я имел счастье наслаждаться Вашим присутствием и восхищаться высокой дамой (hohe Frau), чья память и милость непрестанно оживляют меня и укрепляют в том добром, что за мною признают. Вспоминайте при чтении стихов, вылившихся из преданного сердца и мысли по случаю праздника, о прекрасных часах, когда Вы, находясь в интимном кругу, как бы с равными, внушили и нам прочное на всю жизнь уважение. Как часто этот круг лиц отдается дорогому о Вас воспоминанию. Прошу Вас достойным друзьям передать приложенную тетрадь и мой привет и свидетельствую Вам мое искреннее почтение» [24].

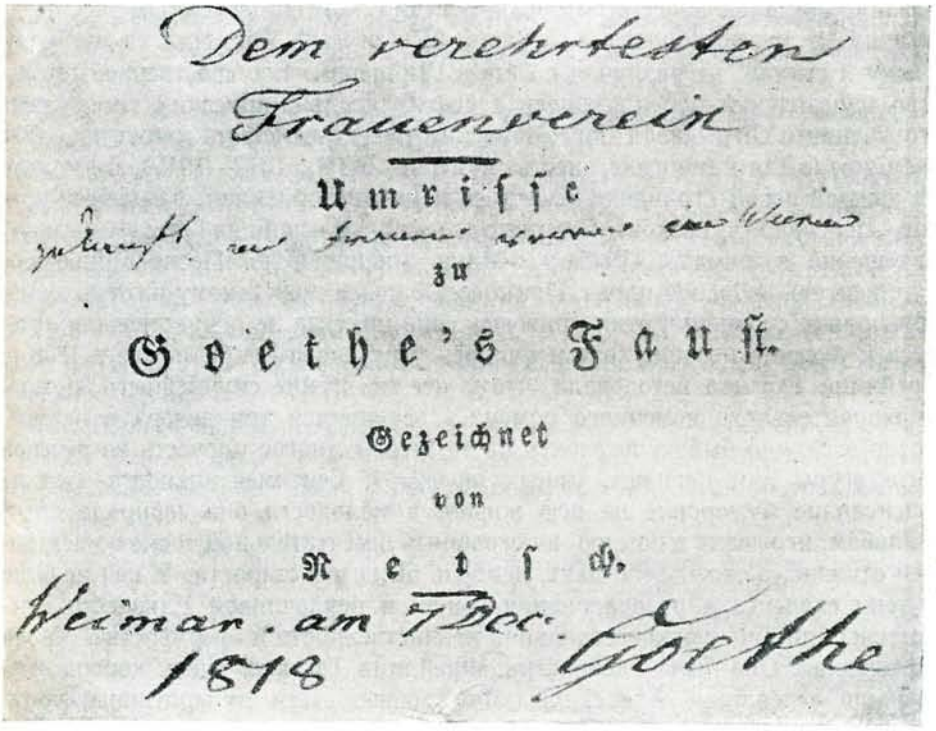
Мария Федоровна сумела весьма тонко изъявить Гете свое благоволение. В Веймаре существовало под покровительством Марии Павловны благотворительное «Женское общество» (Frauen Verein). Перед рождественскими праздниками оно устраивало благотворительные базары из пожертвованных вещей. Для базара 1818 г., совпавшего с пребыванием в Веймаре Марии Федоровны, Гете пожертвовал папку с рисунками Рича к «Фаусту» и книгу В. Х. Мюллера «Париж в зените», снабдив их собственноручными надписями. Мария Федоровна посетила базар и в особую любезность к Гете приобрела эти книги [25].

У нее был какой-то читательский (кто не читал тогда «Вертера»?) пиетет к Гете: она покупала и позднее книги с его автографами: в ее библиотеке оказался экземпляр «Германа и Доротеи», купленный для нее на рождестве 1827 г. с такого же базара: из всего Гете нельзя было выбрать более подходящего чтения для хозяйственно-сентиментальной императрицы, декорировавшей придворную идиллию в своем Павловске. В другой раз она приобрела рукопись гетевой переделки «Ромео и Юлии» Шекспира с автографом Гете. «Императрица попрощалась», замечает Гете 20 декабря, а на следующий день совсем по-камергерски докладывает сам себе: «С ее высочеством Марией Павловной к императрице. В половине 3-го обратно... Отъезд императрицы, последовавший в 5 ч. при звоне всех колоколов, как при ее прибытии» [26].

Императрица-мать до конца жизни была благосклонна к Гете. В ноябре 1828 г. канцлер Мюллер, одновременно с излиянием своих и веймарских чувств по поводу смерти императрицы, сообщил Жуковскому: «Гете только что получил от Вимана из Берлина великолепный бюст вашей милостивой императрицы и обрадован им несказанно» [27]. Жуковский, как известно, написал длинную элегию на смерть императрицы: она тотчас же была издана отдельной книжкой, и для единства придворных русско-веймарских отношений характерно, что в ответ на свою эпистолярную элегию канцлер Мюллер получил стихотворную элегию русского придворного поэта в двух видах: русском и немецком [28]. Нет сомнения, что Гете читал эту элегию своего собрата по придворной музе.

Как было русскому двору не ценить и не «осыпать милостями, доверием, подарками» Гете по его подлинным словам? Он был первый поэт своего века—и с тщанием и с рачением исполнял все нужные заказы своего дворика, спаянного со всероссийским двором. Он не только ревностно сочинял свой «Maskenzug», но и ревниво следил за его печатной репутацией. Вот

что записал канцлер Мюллер 22 января 1819 г.: «Мне кажется, будто Гете недоволен описанием праздника в «Журнале мод» и имеет на меня подозрение, что я помогал» [29]. Кто из русских писателей мог бы не только заботиться об отзывах о подобной стихотворной безделке,—кто из русских поэтов XIX в. мог бы согласиться написать на заказ подобный «Maskenzug»? Граф Дм. Ив. Хвостов, престарелый Ю. А. Нелединский-Мелецкий или еще какой-нибудь одописец из четверостепенных? Даже на действительного тайного советника И. И. Дмитриева надежда была плоха, даже на мягкосердечного В. А. Жуковского нельзя было уповать. А чтоб напи-



Дарственная надпись Гете от 7 декабря 1818 г. на экземпляре книги „Umrisse zu Goeth's Faust. Gezeichnet von Retsch"
Из бывшей библиотеки Марии Федоровны
Библиотека б. Павловского дворца, Ленинград

сал А. С. Пушкин... кто же бы из придворных и императриц смел на это надеяться? Вот Жуковский для той же императрицы-матери составил однажды полукомический, полумечтательный «Отчет о луне» и то был высмеян друзьями и следующего «отчета»—о «солнце» или «звездах»—уже не написал. А Гете представил целый поэтико-дипломатический отчет в действии, никем не был высмеян и с полной серьезностью принимал «высочайшие» благодарности. Как же было русскому двору не ценить и не хвалить Гете? Дорого бы дал этот двор, еслиб русские поэты следовали примеру патриарха мировой поэзии! А они, вместо сооружения Maskenzug'ов, обстреливали двор дробью эпиграмм (Пушкин, Вяземский) или негодующих сатир (Рылеев). Гете был пример, которому плохо следовали в России, но который именно поэтому и выдвигался официальными «гетеанцами» для всеобщего подражания.

В

Третья императрица—знававшая Гете еще великой княгиней—Александра Федоровна была «вертерьянка» на троне; недаром ее и звали Шарлоттой. Она росла в те годы, когда всякая немецкая принцесса считала долгом этикета уронить слезу над «страданиями молодого Вертера» и принять участие в бесконечной стихотворной переписке между Шарлоттой и Вертером, наполнявшей тогда все альбомы принцесс, графинь и знатных бюргерш. Когда в 1817 г. Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина Прусская приехала в Петербург и сделалась русской Александрой Федоровной, выйдя за Николая Павловича, в преподаватели русского языка ей дан был крупнейший из русских поэтов-гетеанцев—Жуковский. Он учил ее русскому языку и стихам, не разлучая с Гете и Шиллером. Его собственное гетеанство переводчика перекликалось с сентиментально-прусским гетеанством его ученицы. Он выдавал для ее обучения русско-немецкие книжечки: «Für Wenige» («Для немногих», шесть номеров, СПБ., 1817—1819), в которых на каждой левой страничке печатался немецкий оригинал, на каждой правой—перевод Жуковского. В первые две книжки вошли из Гете: «К месяцу», «Утешение в слезах», «Рыбак», «Мина» (подражание «Песне Миньоны»), в четвертую—«Лесной царь». Принцесса больше повидимому читала левые, чем правые странички этих книжечек: она никогда не почувствовала интереса к русской поэзии, хотя и училась у русского поэта, и еще в 1858 г. фрейлина Тютчева негодовала, что у нее на чтение скучнейшего, пошло-нравоучительного немецкого романа «посвящается три вечера в неделю, которые можно было употребить на то, чтобы многое прочесть из русской литературы или повидать умных людей» [30]. Сентиментальности хватило Александре Федоровне на всю жизнь: в молодости она собирала стихи в альбом, игрывала в поэзию, а поговорить о мечтательной тоске по нездешней отчизне, о своей Sehnsucht, непрочь была и в старости. У ней не было и тени скепсиса и разочарования умной и неудачливой Елизаветы Алексеевны или буржуазно-феодальной хозяйственности и «фермерства» Марии Федоровны. Она была идеалистка. Фрейлина Тютчева очень хорошо изобразила «идеализм» Александры Федоровны: «Для императрицы фантастический мир великолепных дворцов, роскошных садов, веселых вилл, мир зрелищ и фееричных балов заполнял весь горизонт, и она не подозревала, что за этим горизонтом, за фантасмагорией бриллиантов и жемчугов, драгоценностей, цветов, шелка, кружев и блестящих безделушек существует реальный мир, существует нищая, невежественная, наполовину варварская Россия... Александра Федоровна была добра, у нее всегда была улыбка и доброе слово для всех, кто к ней подходил, но эта улыбка и это доброе слово никогда не выходили за пределы небольшого круга тех, кого судьба к ней приблизила. Если она слышала о несчастьи, она охотно отдавала свое золото, если только что-нибудь оставалось у ее секретаря после расплаты по громадным счетам модных магазинов, но она принадлежала к числу тех принцесс, которые способны были бы наивно спросить, почему народ не ест пирогов, если у него нет хлеба» [31]. «Доброта» Александры Федоровны лучше всего характеризуется в ее истинном социальном смысле ее отношением к казни декабристов. В канун казни—12/24 июля—она писала в своем дневнике: «Ночью. Я так взволнована! Еще бы!—Столица и такие казни»,—и добавляла с рассудительностью прусской принцессы: «Это так опасно!» А на утро: «Что это была за ночь! Мне все время ме-

рещились мертвецы. Мой бедный Николай так много перестрадал за эти дни!» В ночь казни декабристов Александра Федоровна была очень добра... к их убийце, но чувствительность не покидала ее: «К счастью ему [Николаю] не пришлось самому подписывать смертный приговор» [32].

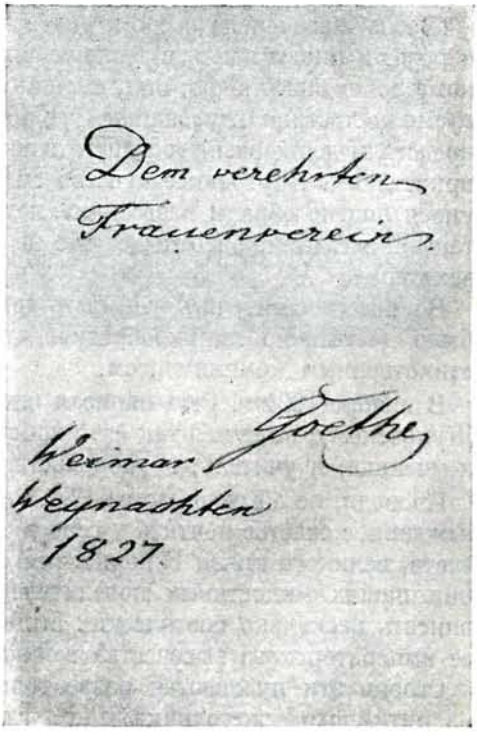
Впервые эта «добрая» крепостница увидела Гете в 1821 г., когда посетила его вместе с Николаем Павловичем.

Гете знал его и раньше. В марте 1814 г. находим три отметы в его дневнике. 8-го: «Ожидание великих князей»; 9-го: «Прибытие великих князей»; 14-го: «У их высочеств» [33]. Эти «великие князья»—Николай и Михаил Павловичи. Такой же характер носят и отметы 1815 г. 17-го октября: «Приехали их высочества»; 18-го: «Обед при дворе. Великие князья Николай и Михаил» [34]. Николай Павлович искал тогда себе невесту по немецким дворам.

В 1821 г. он приехал в Веймар уже с супругою, и русско-прусская вертерьянка совершила свое паломничество к Гете.

Сам Гете тогда уже жил в стороне от прямого участия в придворной жизни, и первая запись его дневника—2 июня—отмечает придворное подготовление Гете-хозяина к приему «высоких гостей». Его посетил «Гофмаршал великого князя Николая». Самое посещение состоялось на следующий день: «Великий герцог, великая герцогиня [по смыслу дальнейшего должно быть: наследная Мария Павловна.—*С. Д.*]. Великий князь Николай и его супруга. Наследный великий герцог пришел после всех. Оставались до половины второго» [35].

Александра Федоровна была чрезвычайно довольна посещением Гете. В тот же день, 3 июня, она спешила записать: «К моей великой радости сегодня, после обедни, я была у Гете... Он был ко мне очень благосклонен,



Дарственная надпись Гете от декабря 1827 г. на экземпляре издания „Hermann und Dorothea" 1826 г.
Из библиотеки Марии Федоровны
Библиотека б. Павловского дворца, Ленинград

показывал мне превосходные средневековые медали. Мы вдвоем прошлись по саду, и я обещала ему мой бюст для его большого собрания бюстов. Он мне сказал, что моя мать и тетка Кумберландская воспитывались когда-то (wären erzogen worden) в его доме во Франкфурте на Майне» [36].

А сам Гете через пять дней внес в дневник заметку, что его «заботит альбом великой княгини Александры» [37]. Она потребовала от Гете стихов в ее альбом. Судя по записи, исполнение заказа далось Гете не без труда, но все-таки альбом Шарлотты украсился его стихами. Сам Гете снабдил его таким пояснением: «Благодаря своему почти совершенному одиночеству... я заслужил себе имя отшельника, который однако и в келье, и в саду почувствовал себя очень польщенным, когда его господин и повелитель привел к нему две любезные молодые четы, и этим стихотворением я осмелился отозваться на любезное посещение» [38].

Der Frühling grünte zeitig, blüthe froh,
Narciss, und Tulpe, dann die Rose so;
Auch die Früchte reiften mit gedrängtem Segen
Der nah und nähern Sonnengluth entgegen
Die zierten wechselnd längst ersehnte Zeit
Und schmeichelten der tiefsten Einsamkeit,
Da stellte sich den Hocherstaunten dar
Ein hehrer Fürst und Jugend Paar um Paar,
So gut als lieb, ehrwürdig und erfreulich,
Der innre Sinn bewahret sie getreulich
In Frühling-, Sommer-, Herbst- und Wintertagen
Die holden Bilder auf- und abzutragen;
So kann er dann bei solcher Sterne Schein
Auch wenn er wollte, niemals einsam sein.

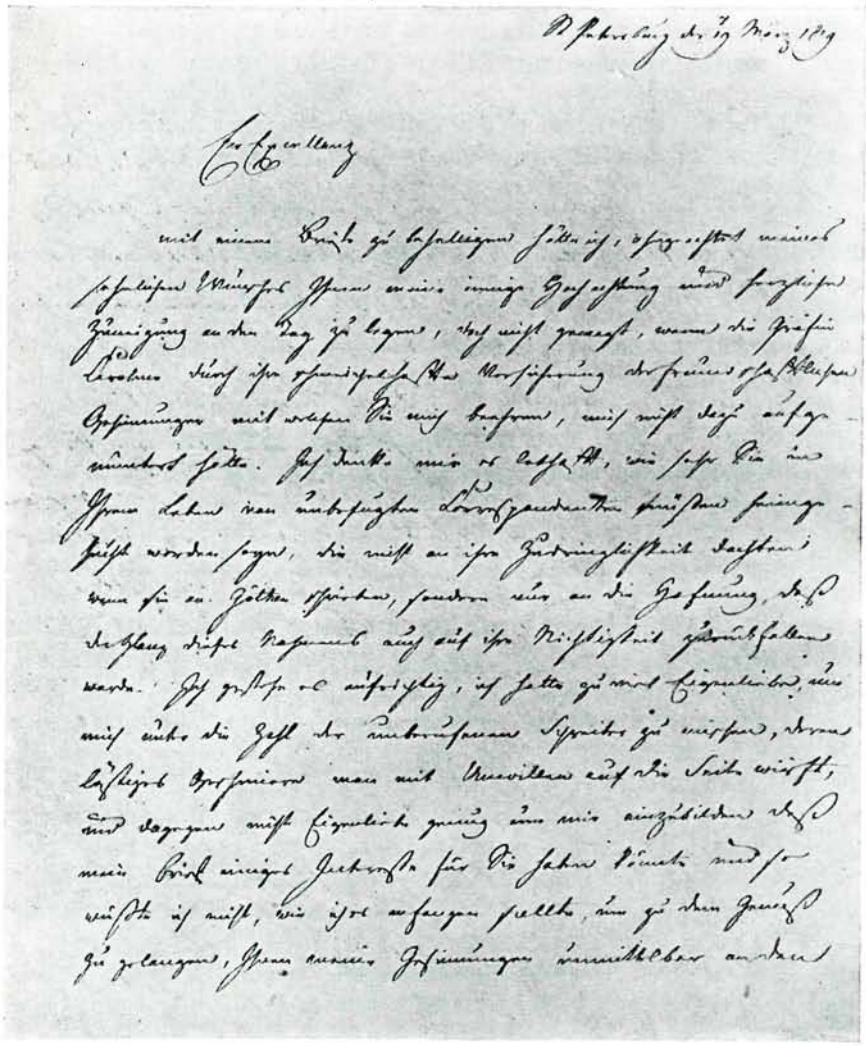
(Весна зазеленела в срок, радостно зацвели нарцисс и тюльпан, а там и роза, и плоды зрели в теснящейся благодати навстречу все более близкому солнечному зною; они, сменяя друг друга, украшали давно жданное время и льстили глубочайшему одиночеству. Тогда пред изумленнейшим предстали державный государь и юные четы, добры и милы, достойны и приветливы. Внутреннее чувство смело хранит их в себе, то принося, то унося благие образы в весенние, летние, осенние и зимние дни; осиянный такими звездами, он отныне уже не может быть одиноким, даже еслиб того захотел).

Важные посетители могли быть довольны стариком Гете. Стихотворение было достаточно лирикообразно, чтобы не казаться холодно-льстивым стихотворным комплиментом.

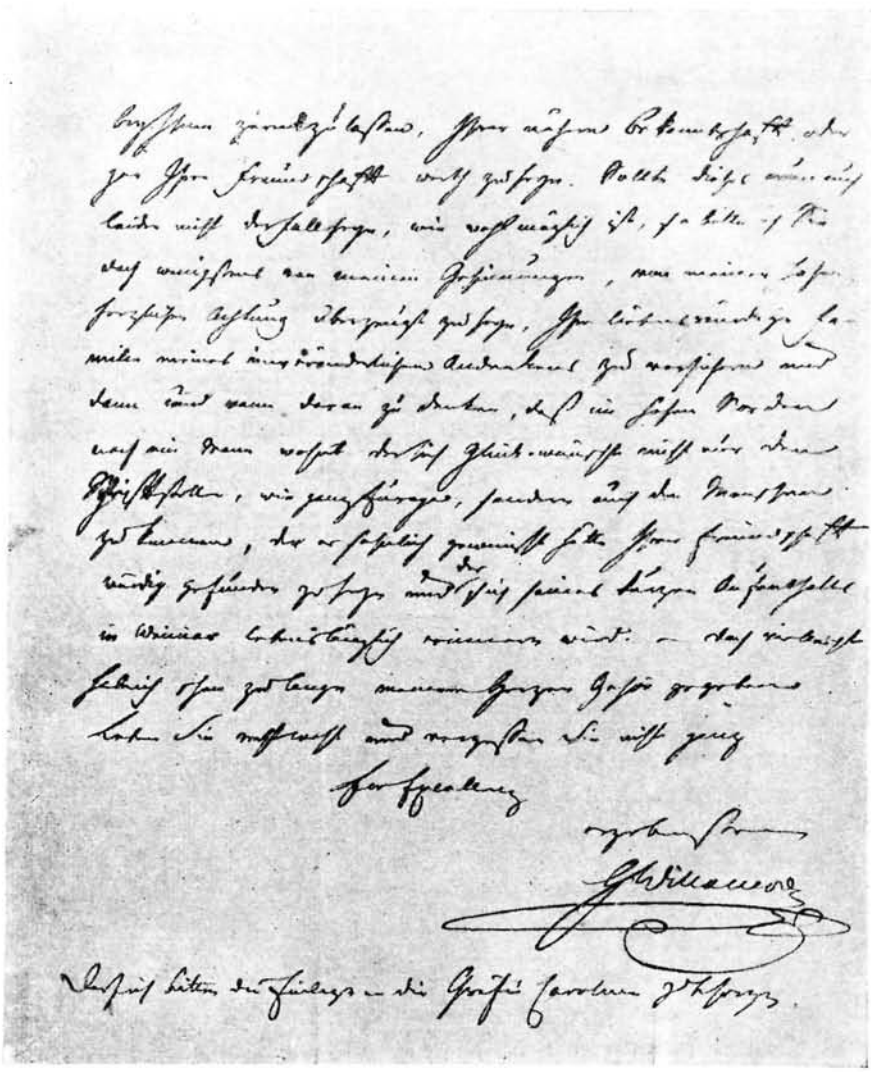
В ноябре 1821 г. Гете написал письмо учителю Александры Федоровны Жуковскому; он сумел так его написать, что оно казалось больше письмом к ученице, и учитель, к удовольствию Гете, показал его ей.

Подводя, по обычаю, итоги 1821 году, Гете отметил: «Мне было даровано нежданное счастье почтить у себя в доме и в саду их императорских высочеств, великого князя Николая и его супругу Александру, в сопровождении наших милостивых повелителей. Мне дозволено было почтительно вписать несколько поэтических строк в великолепный и изящный альбом ее императорского высочества великой княгини» [39].

Строки эти нуждаются разве только в напоминании, что это—строки из интимного «ежегодника» Гете, где подводились им годовые итоги его



Первая страница автографа письма секретаря Марии Федоровны Г. Вилламова к Гете
от 7 марта 1819 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар



Последняя страница автографа письма секретаря Марии Федоровны Г. Вилламова к Гете от 7 марта 1819 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

«трудов и дней», радостей и печалей. Поистине он был русско-веймарским придворным столь добросовестным, каких мало было при обоих дворах.

Александра Федоровна в том же году прислала ему свой бюст, а через несколько лет в день своего рождения, 28 августа 1825 г., Гете получил еще и ее портрет и отметил это событие в дневнике [40]. Перед бюстом Александры Федоровны однажды случилось Гете совершить целый поэтический обряд. 22 марта 1823 г. Сорэ записал: «Сегодня, в празднование выздоровления Гете, в театре давали его «Тассо» с прологом Римера, который прочла г-жа Гейгендорф. Его бюст, при восклицаниях взволнованных зрителей, был увенчан лавровым венком. После спектакля г-жа Гейгендорф отправилась к Гете. Она была в костюме Леоноры и поднесла ему венок Тассо, который он принял, чтобы увенчать им бюст великой княгини Александры Федоровны» [41].

Александра Федоровна больше не видала Гете, но она знала очень хорошо все эти его увенчания и хвалы, которыми он наделял ее живую и мраморную,—знала и от Жуковского, и от Марии Павловны, и от всех русских высокопоставленных туристов, заезжавших в Веймар, и отвечала на то «милостями»: подарками и приветами через Марию Павловну. В неизданном письме Марии Павловны к императрице от 1/13 января 1830 г. читаем: «Je verrai Göthe demain et ne manquerai pas de lui redire celui dont Vous l'honorez» («Гете я увижу завтра и не премину повторить ему то, чем вы его почтили») [42]. В другом неизданном письме от 24/III—5/IV 1831 г. Мария Павловна пишет императрице: «Je m'acquitterai de votre ordre pour Göthe que je vais voir souvent et j'ai à vous dire d'avance combien il sera sensible et flatté de votre souvenir: il est étonnement bien, malgré son grand age et la perte de son fils en automne, son esprit n'a rien perdu de son intimité, de sa vivacité, et il s'intéresse à toutes choses». («Я исполню Ваше поручение к Гете, которого я часто буду видеть, и говорю Вам заранее, как он будет тронут и польщен Вашей памятью. Он удивительно бодр, несмотря на преклонный возраст и потерю сына осенью. Ум его (esprit) нисколько не утратил своей искренности (intimité) и живости, и он интересуется всем на свете») [43].

Из трех императриц, видевшихся с Гете, «гетеанство» Александры Федоровны было самым литературообразным: недаром она была ученицей поэта-гетеанца. Но она же была и ученицей императрицы-матери и всех своих немецких родственников: от них переняла она благоразумный обычай помогать своим супругам в установлении добрых дипломатических отношений с великими державами словесности. «Ласки» и «лестные памятования» Александры Федоровны, передаваемые еще более «ласково» и «лестно» Марией Павловной, так же превосходно поддерживали отношения Николая I с Гете I, как «милости» Елизаветы Алексеевны и особенно Марии Федоровны устраивали отношения Александра I с Гете I.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср. записи дневников Гете: «W. A.», III Abt., B. IV, S. 294, 316, 320, 334, 335; B. V, S. 37, 45, 61, 62, 80, 88, 118 и др.

[2] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 35—36.

[3] Из неизданной рукописи С. С. Уварова: «A la mémoire de l'Imperatrice Elisabeth». В. к. Николай Михайлович, Императрица Елизавета Алексеевна, т. III. СПБ., 1909, стр. 754.

[4] «Из записок гр. Эдлинг, урожденной Стурдзы. С неизданной французской рукописи».—«Р. А.», 1877, вып. 3, стр. 294.

[5] «W. A.», III Abt., B. V, S. 94.

[6] В. к. Николай Михайлович, Императрица Елизавета Алексеевна. СПБ., 1909, т. II, стр. 589—590.

[7] «Damals in Weimar». Erinnerungen und Briefe von und an Johanna Schopenhauer. Ges. u. hgg. v. H. H. Houben. Berlin, 1929. S. 225.

[8] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 45, 256.

[9] Там же, B. V, S. 191—192.

[10] Там же, IV Abt., B. XXVI, S. 170—171, № 7234; B. XXVII, № 7424, S. 54.

[11] Там же, III Abt., B. V, S. 297.

[12] «W. A.», I Abt., B. XVI, S. 228—231.

[13] Там же, стр. 334.

[14] Там же, III Abt., B. VI, S. 269, 274.

[15] «Vorspiel bey der Anwesenheit Ihro Keiserl. Majestät der verwittweten Kaiserin von Russland Maria Feodorowna auf dem Grossherzogl. Hoftheater zu Weimar aufgeführt am 3 Dec. 1818. Die Musik ist vom Herrn Chor—Director Häser, Weimar, 1818. Роскошно переплетенный веленевый экземпляр этого «Пролога» вместе с программами «Пролога» и «Магомета» сохранился в собственной библиотеке Марии Федоровны в Павловске. Обследование библиотеки Павловского дворца-музея, произведенное в 1927—1928 гг. членом Ленинградского общества библиофилов С. А. Мухиным, впервые обнаружило в ней целый ряд изданий, связанных с пребыванием Марии Федоровны в Веймаре (о них дальше), три книги и одну рукопись с автографами Гете. Все сведения об этих книгах и рукописи сообщены нам С. А. Мухиным, которому приносим признательность. Находка этих превосходно сохранившихся экземпляров очень ценна для характеристики связи Гете с русским двором.

[16] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 271.

[17] Там же, стр. 273.

[18] Там же, стр. 269—273.

[19] Там же, I Abt., B. XXXVI, S. 137. Описание торжества дала Адель Шопенгауэр в письме (от 2/II 1819) к брату, знаменитому философу (Johanna Schopenhauer, Damals in Weimar. Hgg. v. H. Houben, Berlin, 1928, S. 278).

[20] В Павловской библиотеке Марии Федоровны сохранились все эти редчайшие издания в двух видах: в более роскошном (на толстой веленевой бумаге большого формата, в кожаных и марокеновых переплетах и т. д.) и в более простом (на обычной веленевой бумаге, в папках и т. д.). Вот их список: 1) «Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro der verwittweten Kaiserin Aller Russen Majestät Maskenzug im December. Vorläufige Anzeige. Weimar, 1818. Kl.-in 8; 2) «Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar Maskenzug, 1818 (сохранился в одном роскошном экземпляре); 3) «Bey... (как в № 2) ...in Weimar. Festspiel Gemälde Darstellung in zwei Abtheilungen. Im December 1818. Kl. in 4; 4) «Bey... (как в № 2) ...in Weimar. Als Festspiel Charade Benennung eines Kleinodes älterer und neuerer Zeit in drei Sylben nach der Franken Sprache. Im Dec. 1818; 5) «Bey... (как в № 2) ...in Weimar. Als Festspiel Charade fünfsylbiger Name eines Malers im Alterthum. Im Dec. 1818».

[21] «W. A.», IV Abt., B. XXXI, S. 30.

[22] «W. A.«, III Abt., B. VI, S. 273—274.

[23] R. Jagoditsch, Goethe und seine russischen Zeitgenossen, S. 352.

[24] Письмо Вилламова печатается по фотографии с подлинника, хранящегося в Веймарском архиве; ответ Гете—в «W. A.», IV Abt., B. XXXI, S. 123, 8/20/V 1819 г. Вилламов отвечал Гете любезнейшим письмом. Оно будет напечатано в отдельном издании моей работы. «Графиня Каролина»—Эглофштейн (1789—1868), придворная дама Марии Павловны.

[25] См. об этих и следующих приобретениях Марии Федоровны в статье А. Г. Габричевского «Автографы Гете в СССР».

[26] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 274.

[27] Schorn, S. 284. Письмо это у Ад. Шорн датировано «1 октября» 1828 г. Bied. («Goethe Gespräche, B. V, S. 164) датирует его «сентябрем». Ни та, ни другая датировка невозможны. Мария Федоровна умерла 5 ноября 1828 г. нов. ст. (24 октября ст. ст.). В письме же Мюллер прямо говорит о «невероятно внезапной кончине (Ableben) высокочтимой императрицы-матери» (S. 283).

[28] «Gefühle am Sarge Ihrer Kaiserlichen Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna. In der Nacht vor ihrer Beerdigung. Von Shukofski».—Е. В. Петухов, Письма В. А. Жуковского к канцлеру Фридриху ф. Мюллеру. «Новый сборник статей по славяноведению, составл. и издан. учениками В. И. Ламанского». СПБ., 1905, стр. 342. В Веймаре так усердно горевали по Марии Федоровне, что едкая и умная

Иоганна Шопенгауэр не выдержала и написала приятелю: «Мы дремлем, в полусне делаем глупости, кутаемся в креп. Со смерти императрицы-матери в Петербурге у нас нет театра, мы все угрюмы и недовольны и вместе с тем благополучны» (Johanna Schopenhauer, Damals in Weimar. Berlin, 1929, S. 390—391).

[29] Müller, S. 34.

[30] А. Ф. Тютчева, При дворе двух императоров. М., 1928, стр. 178.

[31] А. Тютчева, При дворе двух императоров, стр. 103.

[32] «Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи». Подготовил к печати Б. Е. Сыроечковский. ГИЗ, М., 1926, стр. 93.

[33] «W. A.», III Abt., B. V, S. 99, 100.

[34] Там же, стр. 188.

[35] Там же, B. VIII, S. 63.

[36] Bied., B. II, S. 503, № 1944.

[37] «W. A.», III Abt., B. VIII, S. 66.

[38] Там же, I Abt., B. IV, S. 5. Перевод А. Г. Габричевского.

[39] Там же, B. XXVI, S. 187.

[40] Там же, III Abt., B. X, S. 97.

[41] Экк., т. I, стр. 9—10.

[42] Особый отдел Центрархива. Фонд № 27 (Зимнего дворца), опись I, д. № 981. Орфография Марии Павловны (французский текст) соблюдена.

[43] Там же.

IV. НИКОЛАЙ I И ГЕТЕ

РАЗГОВОР НИКОЛАЯ I С ГЕТЕ О „ВЕРТЕРЕ". — НЕМЕЦКИЙ ТЕКСТ, РУССКИЙ ПЕРЕВОД И ФРАНЦУЗСКИЙ ПОДЛИННИК. — ИСТОРИЯ ЭТОГО РАЗГОВОРА КАК ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВ ЛЖЕЗАПИСОК А. О. СМИРНОВОЙ. — ПОЧЕМУ О. Н. СМИРНОВА ЗАСТАВИЛА НИКОЛАЯ I РАЗГОВАРИВАТЬ С ГЕТЕ О „ВЕРТЕРЕ". — „ГЕТЕАНА" В „НИКОЛАЕАНЕ" РУССКОЙ ФРЕЙЛИНЫ. — ИЗЪЯТИЕ „РАЗГОВОРА ГЕТЕ С НИКОЛАЕМ I" ИЗ ФОНДА НЕМЕЦКОЙ „ГЕТЕАНЫ". — ЗНАЧЕНИЕ „ГЕТЕАНСТВА" РУССКИХ ЦАРЕЙ И ИХ ЖЕН ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО ПРЕСТИЖА САМОДЕРЖАВИЯ В ЕВРОПЕ. — ПОДЛИННЫЙ РАЗГОВОР НИКОЛАЯ I О ГЕТЕ. — НИКОЛАЙ I В ВЕЙМАРЕ В 1829 Г. — ИНТЕРЕС ГЕТЕ К ЕГО ПРИЕЗДУ. — ПОДАРКИ НИКОЛАЯ I ГЕТЕ. — ГЕТЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ.

Николай Павлович оказался счастливее своего брата: тому не повезло на разговор с Гете: до «Вертера», о котором все посетители считали долгом беседовать с Гете, дело не дошло; Николай Павлович, наоборот, беседовал с Гете о «Вертере» так удачно, что его разговор, подобно знаменитой беседе Наполеона, попал в «Разговоры Гете» Ф. Ф. Бидерманна. В виду важности этого документа русского императорского гетеанства, приводим его слово в слово:

«Die äussere Erscheinung des alten Olympiers muss Nikolaus ausserordentlich imponiert haben; denn der Kaiser bemerkte darüber: «Ein prächtiger Kopf, der Kopf eines Jupiter Stator». Weiter meinte der Kaiser: «Er hat durch seine göttliche Ruhe und durch sein ernstes gehaltenes Wesen einen ganz gewaltigen Eindruck auf mich gemacht. Er erweckte Achtung durch diese Ruhe und durch seine schlichte Haltung. Als ich ihn sah, war ich noch sehr jung, möchte mich noch nicht in ein Gespräch mit ihm einlassen und hörte der Unterhaltung der Aelteren zu. Nie vernahm ich von ihm eine inhaltslose Äusserung, über alles wusste er mit der Ursprünglichkeit eines Genies, eines Menschen voller eigener, nicht erborgrter Ideen zu reden. Goethe fragte mich, was ich über «Werther's Leiden» und über Werther selber dächte. Diese Frage, ich gestehe es, kam mir nun ein wenig unerwartet. Ich, ein junger Mann, wie hätte ich einem Goethe mein Urtheil über sein Werk mittheilen sollen! Er bestand aber auf seiner Frage und so meinte ich denn: ich hielte den Werther für einen schwächlichen Charakter, der sich einbilde, stark zu sein. Charlotte wäre wohl unglücklich mit ihm geworden, da sie eine Frau war, die zugleich achten und lieben wollte; diese Seelenstimmung erhebe

sie in meinen Augen.—Meine Antwort befriedigte Goethe vollkommen. Im Fortgange der Unterhaltung drückte Goethe seine eigene Meinung über Werther aus und bemerkte unter anderem, dass er nie die Absicht gehabt, den Selbstmord als interessant hinzustellen, dass er ihn vielmehr als ein sittliches Vergehen beurtheile» [1].

Николай Павлович скромен. Он не хочет походить на Наполеона; робеет пред Гете:

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.

Но когда «старший из старших», сам Гете, вынуждает его высказать это суждение, он заявляет с полной мужественностью: нет, он не одобряет Вертера за слабохарактерность, но он уважает Шарлотту за добродетель, и Гете принимает эту критику с полною готовностью извиниться за себя и за своего героя. Великолепный разговор! Пусть не с Наполеоном, но с кем-то, кто идет еще более величественной дорогой, несмотря на всю свою юность... Однако этот важный документ русского императорского «гетеанства» должен быть представлен читателю и по-русски. Вот он:

«У Гете в самом деле голова Юпитера Статора, прекрасная голова. Он произвел на меня сильное впечатление своим серьезным и безмятежным видом, он внушает почтение своим спокойствием и простыми манерами. Я был еще молод, когда увидал его, мне еще не о чем было разговаривать с ним, я слушал старших. Я никогда не слыхал от него ни одной банальной фразы. Он говорил обо всем с оригинальностью гениального человека, человека с собственными, а не заимствованными мыслями... Гете спросил меня, что думаю я о «страданиях Вертера» и о самом Вертере. Признаюсь, это меня смутило немного. Как в мои годы высказать Гете мнение о его книге? Но он настаивал, и я сказал, что Вертер показался мне слабохарактерным человеком, мнящим себя сильным, и что может быть Шарлотта была бы несчастна с ним, потому что она была женщина, желавшая и уважать, и любить в одно и то же время, и это чувство облагораживало ее. Гете был очень доволен моим ответом. Гете говорил при мне, что он никогда не думал выставлять самоубийство интересным и что он считает самоубийство малодушием.

Мне не пришлось переводить этот документ. Я взял его готовым с 85, 86 и 87 страниц «Записок А. О. Смирновой. Часть I. Петербург, 1895 г.» Некоторый труд потребуется лишь на то, чтобы уяснить читателю, каким образом я избавился на этот раз от труда переводчика и должен был заняться совсем другим трудом, разделяемым мною со многими современными русскими литературоведами,—трудом окончательного разоблачения этих «Записок Смирновой».

В X том «Разговоров Гете», вышедший в 1896 г., Бидерманн внес разговор Николая I с Гете из «Beilage zur Deutschen Warte», IV Jahrg., 1892, № 134. В свою очередь, в «Beilage» рассказ был напечатан «nach den Anzeichnungen Smirnows in der «Nordischen Biene».

В немецкой гетеанской литературе «разговор» имел успех. Бидерманн сохранил его в новом издании своей книги (1909), озаглавив так же коротко, но не ясно, как и в 1896 г.: «Smirnow: 1821, Mai». Его перепечатал Ганс-Гетхард Греф (Gräf) в своей известной книге: «Goethe über seine Dichtungen. Versuch einer Sammlung aller Äusserungen des Dichters über seine Poetischen Werke». Frankf. a/M., B. I, 2, S. 653. («Гете о своих созданиях

Опыт собрания всех отзывов поэта о своих поэтических созданиях»). Иными словами, разговор Николая Павловича с Гете о «Вертере» прочно вошел в фонд основной немецкой «гетеаны».

Попробуем выяснить историю включения его в этот фонд. Первое немецкое издание, поместившее разговор, «приложения» к «Deutsche Warte» [2], указали, что берут его из русской «Северной Пчелы», из каких-то «заметок» (или записок) Смирнова (или Смирновой). Бидерманн не мог, по его словам, сверить перевод с русским оригиналом [3]. «Северная Пчела» издавалась около полувека; не похвалимся полною исчерпанностью наших поисков, но пока они не дали никакого результата: никаких «заметок Смирнова» или «записок Смирновой» там не оказывается. Показательно и умолчание немецкого первоисточника о годе и номере «Северной Пчелы», откуда они извлекли «разговор».

Прочтя немецкий перевод «разговора» и русский текст приведенного выше отрывка из «Записок А. О. Смирновой», нельзя не поразиться полным их совпадением: за исключением нескольких незначащих слов в начале «разговора» и одной полуфразы в середине текст немецкий и русский совпадают буквально. Было бы очень легко, оставя в стороне «Северную Пчелу», решить, что гетелюбивая редакция «Deutsche Warte» просто дала перевод соответствующего места из французских «Записок Смирновой», печатавшихся в русском переводе в «Северном Вестнике», но решение это необосновано: «Записки» начались печатанием в «Северном Вестнике» с 1 февраля 1893 г., а «разговор» по-немецки появился еще в 1892 г. Откуда же редакция «Deutsche Warte» могла получить этот яркий кусок русской гетеаны?

Ужели в самом деле сотрудники невидного немецкого издания рылись в пыльных листах «Северной Пчелы»? Нет сомнения, они получили «отрывок» оттуда же, откуда редакция «Северного Вестника» получила «Записки А. О. Смирновой»—от Ольги Николаевны Смирновой, а сопроводительное пояснение, кивающее на «Северную Пчелу», было защитным цветом, в который Ольга Николаевна предусмотрительно выкрасила свою подделку: кто из немцев, в самом деле, станет рыться в ворохах «Северной Пчелы», полный комплект которой имеется лишь в Публичной Библиотеке в Ленинграде? Предположение О. Н. Смирновой оказалось верным: ни Бидерманн, ни Греф не проверили ее и, успокоясь на ссылке на русскую полуправительственную газету 20—60-х годов, внесли вымысел в фонд гетеаны.

В тот же 1892 г., когда О. Н. Смирнова «обогатила» гетеану, она готовилась обогатить пушкиниану: изготовляла французский текст поддельных «Записок А. О. Смирновой» для доверчивой редакции «Северного Вестника». В сущности, она не занималась ни гетеаной, ни пушкинианой: она создавала талантливую «николаеану», базируя на всех, на ком только было выгодно, свой апофеоз Николаю I.

Обладая архивом своей матери, чья репутация друга Пушкина, Жуковского, Вяземского была общеизвестна, О. Н. Смирнова, монархистка по убеждениям, измыслила такой яркий миф о великом поэте, покровительствуемом и хранимом царем, что миф этот дожил, как многие мифы истории, до нашего времени: на нем строились целые философии литературной истории, превращавшиеся в апологетики самодержавия (статья Мережковского «Пушкин»). Только в самые последние годы разрушена была у нас эта легенда, почти сорок лет бытовавшая в публике и в литературе. На Западе она бытует и доселе. Известный немецкий историк литературы и критик Евгений Цабель в своей статье «Гете и Россия»,

помещенной в специальном гетеанском издании, в 1921 г. пишет, толкуя о строгостях русской цензуры к Гете и Шиллеру: «Далеко не каждый поэт находил, подобно Пушкину, столь благородного повелителя (Herrn) в царе Николае, который пожал Пушкину, при его ссылке на юг, руку (?—*С. Д.*) и сказал ему: «Теперь я хочу быть твоим цензором» [4]. При всем фактическом убожестве этого сообщения, какая полная вера в легенду о грешном поэте и милостиво-мудром царе!

Успех смирновской «николаеаны» поистине был прочен. Ольга Николаевна не могла миновать в ней Гете.

Крупнее, прочнее, выше его не было никого из тех, на кого можно было опереть культурно-исторический апофеоз Николая I, воздвигаемый ею в лжезаписках ее матери. У нее были материалы для включения Гете в свою работу: она была хорошо осведомлена в русских придворных отношениях к Веймару и к Гете, она читала в «Русском Архиве» письмо Жуковского к Гете, она недурно знала биографию Гете. Этого было достаточно, чтобы преподнести русскому читателю такой эпизод из истории императорского русского гетеанства:

«Сегодня вечером,—будто бы пишет ее мать,—Государь был расположен рассказывать. Нас было мало. Жуковский, Сесиль, Вьельгорский приглашались каждый вечер «Zum Thee und Souper». Государь говорил с Жуковским о Веймаре. Он видал Гете у Марии Павловны».

Собеседника царю для разговора о Гете О. Н. Смирнова выбрала удачно: она знала, что Жуковский бывал у Гете; очень удачно введена в сцену и Александра Федоровна: она была известная «вертерьянка», но для немцев О. Н. Смирнова начинала сцену иначе, чем для русских. Вот как начиналась она в «Deutsche Warte»: «Недавно императрица Александра Федоровна, в присутствии императора, начала говорить о том, что русский народ мало знает и ценит своих великих поэтов. Это удивительно: в Германии поступают совсем иначе—там Шиллера и Гете знают наизусть. Император выслушал это рассуждение и присоединил к нему рассказ о встрече своей с Гете, которая произошла в Веймаре, в салоне Марии Павловны, известной покровительницы искусств и наук» [5]. В таком «зачале» О. Н. Смирнова делала лестный комплимент немцам: «зачало» было очень хорошо для «Deutsche Warte», но для «Северного Вестника» было лучше его изменить:

«Императрица сказала ему:

— Черненькая говорила мне как-то, что хотела бы видеть вас вместе с Гете.

— Почему?—спросил государь.

— Скажите, почему?—прибавила императрица.

— Потому, что у вас античная и классическая голова,—ответила я,—голова Юпитера, а у Гете также античная и классическая голова. Пушкин говорил мне, что это очень редко встречается.—Все прекрасное—редко.

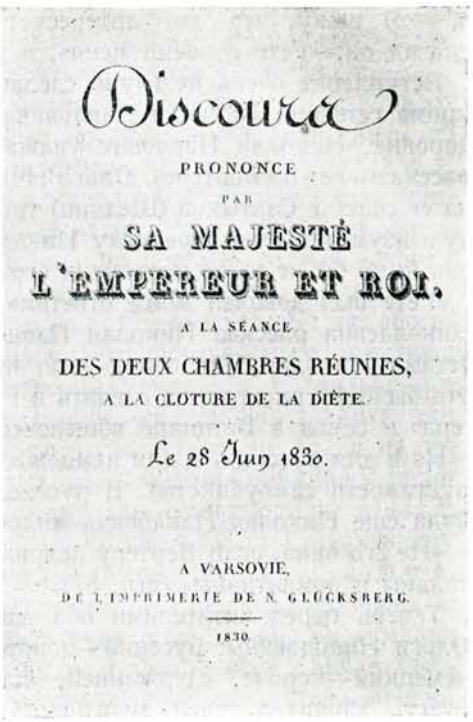
(Классические головы редки: у Гете—классическая голова. Как ясен вывод: Николай Павлович—хоть по голове—так же редок и прекрасен, как Гете! Но Ольге Николаевне этого мало.)

Государь засмеялся.

— Правда у меня голова Юпитера? какого же: громовержца, капитолийского или Статора? их много!

(Николай Павлович, оказывается, не хуже Гете, знаток античной скульптуры).

— Когда В. В. разгневаны, то громовержца,—ответила я,—а вообще капитолийского.


Discours

PRONONCE

PAR

SA MAJESTÉ

L'EMPEREUR ET ROI,

A LA SÉANCE

DES DEUX CHAMBRES RÉUNIES,

A LA CLOTURE DE LA DIÈTE.

Le 28 Juin 1830.

A VARSOVIE,

DE L'IMPRIMERIE DE N. GLUCKSBERG.

1830.

Титульный лист отдельного издания речи Николая I, *произнесенной им при закрытии сейма в Варшаве* 28 июня 1830 г.

С экземпляра, хранящегося в личной библиотеке Гете

Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

Государь засмеялся еще более.

(Итак Юпитеры поделены: два из них—это Николай Павлович: громовержец и капитолийский, на долю Гете остается один: Статор. На это олимпиец Николай Павлович согласен.)

— У Гете в самом деле голова Юпитера Статора».

Далее следует знакомая уже нам и по-русски, и по-немецки аттестация, выданная юным Николаем Павловичем старому Гете в том, что он не говорит ничего банального и обладает собственными мыслями.

О. Н. Смирнова была умная сочинительница, она понимала, что для немецкого читателя было бы скучновато читать о двойном олимпийстве Николая I сравнительно с одинарным олимпийством Гете, а потому, опустив всю приведенную болтовню, она прямо начала с того, что немцам было интересно: с Гете-Статора. Но, с другой стороны, она ввела маленькую поправочку и для русского читателя. Немцам Николай I говорил, что приметил у Гете «göttliche Ruhe», «божественное спокойствие»; русским читателям сказано было поскромнее: просто «спокойствие».

Русскому читателю—по воле О. Н. Смирновой—Николай не мало передавал и других рассказов Гете: о свидании его с Наполеоном, о Байроне, но немецкий читатель был благоразумно избавлен ею от этих рассказов: он мог найти их, с малыми изменениями, в любой биографии Гете, и тогда обнаружился бы секрет производства О. Н. Смирновой. Поэтому, минуя рассказы о Наполеоне и Байроне, она предлагает немецкому читателю прямо эпизод о «Вертере», Гете и Николае Павловиче, нам уже дважды знакомый. Для русского читателя к этому эпизоду делается вступление:

«— Расскажите им про тот вечер, когда у Вашей сестры говорили о «Вертере»,—сказала императрица.

Государь улыбнулся и согласился.

— Я вижу, что это интересует «вечную принцессу» Жуковского,— сказал он.—Гете спросил меня», и т. д.

Вступление очень не глупо сделано: его цель—показать читателю, что кроме гетеанца Николая Павловича есть еще гетеанка—Александра Федоровна. Николай Павлович уважает «вертерьянство» своей супруги, и рассказывает о «Вертере». Ольга Николаевна «сочиняла» все это в 1892 г.; на ее счастье Салтыков (Щедрин) три года уже лежал в могиле; иначе какую изумительную переписку Николая I с Вертером мог бы затеять он; она была бы не хуже переписки его с Поль-де-Коком!

«Гете был доволен моим ответом», так заканчивает для немцев Ольга Николаевна рассказ Николая Павловича; русским же повествует она—устами Николая Павловича—всю историю «Вертера» и его прототипов. Это было бы рискованно сделать в Германии: там история создания «Вертера» и семьи в Ветцларе общеизвестна.

Но и для русских, и для немцев одинаково припасено назидание о недопустимости самоубийства. В русском варианте Ольга Николаевна заставила еще Николая Павловича милостиво оправдать Гете:

«Не его вина, если Вертеру подражали и если были настолько сентиментальны и романтичны» (стр. 87).

Теперь перед читателями оба варианта одного и того же сочинения Ольги Николаевны: русский—полнее, многоречивее и гораздо развязнее, немецкий—короче, сдержанней, осторожней. Ольга Николаевна умела учесть характер своей аудитории: «что нужно Лондону, то рано для Москвы», и обратно.

Итак то, что было напечатано в невидном немецком издании в 1892 г., вовсе не было отрывком из «Заметок Смирнова» из «Северной Пчелы», а из «Записок А. О. Смирновой», как раз в это время фабриковавшихся ее дочерью для «Северного Вестника». Готовясь познакомить русского читателя с своей «николаеаной» в ее пушкинской редакции, Ольга Николаевна нашла нелишним познакомить предварительно европейского читателя с отрывком «николаеаны» в ее гетеанском варианте. Каким путем дошел этот «отрывок» до немецкой редакции—в сущности безразлично: он шел от самой О. Н. Смирновой, так как явился публикацией отрывка из еще неопубликованного текста ее «сочинения». Примечательно, что, печатая в «Северном Вестнике» в расширенном виде свой гетеанско-вертеро-николаевский отрывок, в тексте «Записок» Ольга Николаевна ни одним звуком не упомянула ни о «Северной Пчеле», ни о «Заметках Смирнова», ни о немецком изданьице. Все следы были заметены. Два крупных ученых гетеанца Бидерманн и Греф не испытали укора научного сомнения и ввели подделку О. Н. Смирновой в фонд гетеаны.

Кажется, сказанного довольно, чтобы выбросить ее оттуда, как в СССР выброшены «Записки А. О.(=О. Н.) Смирновой» из фонда пушкинианы.

Для чего же понадобилось О. Н. Смирновой зачислять Николая Павловича в критики «Вертера» наподобие Наполеона?

Стряпая свою подделку, Ольга Николаевна продолжала давнюю традицию русского «официального гетеанства». Фрейлина русского двора, еще успевшая узнать веймарскую Марию Павловну (в 1855 г. О. Н. Смирнова уже фрейлинствовала, а в 1856 г. Мария Павловна долго гостила в Петербурге) и «вечную принцессу» Александру Федоровну, и самого Николая Павловича, она не могла не знать исстари налаженного строя русско-веймарских придворных отношений и их политики лите-

ратурной; как женщина умная и рьяно преданная интересам династии она понимала, что хорошая веймарско-гетеанская репутация никогда не была лишней в культурном престиже русской династии и двора,—престиже, который имел свою не малую политическую цену; она знала от матери, от Жуковского и из придворных преданий, как заботились об этой репутации три императрицы и как не пренебрегал ею сам Александр I. В 1892 г., в старости, О. Н., занимаясь составлением хорошей пушкинианской репутации Николаю Павловичу, приметила, что у него есть изъян и по части гетеанской репутации, и решила подправить ее ему, одарив его разговором с Гете. Николай I давно уже был в могиле, но эта подправка могла пригодиться для истории русского самодержавия: ею обогащался его культурный престиж; подправка пушкинианского престижа Николая I значила для Европы несравненно менее, чем подправка его престижа гетеанского. И был успех: Смирновой удалось занять для Николая I место в немецкой гетеане. Это место доселе, несмотря на то, что в деле «Записок А. О. Смирновой» О. Н. Смирнова поймана с поличным, удерживают за Николаем I те, кому это социально выгодно. В самоновейшей работе Р. Ягодича о Гете и России (1932 г.) попрежнему читаем: «Глубокое впечатление произвел Гете на Николая I, который, много лет спустя, ярко передавал его в салоне Александры Смирновой», и дальше идет в сокращении известный нам рассказ со ссылкой на Бидерманна и с подчеркиванием: «Из записок Александры О. Смирновой» [6]. Может быть Ягодич не знает, что советские исследователи доказали, что «Записки А. О. Смирновой»—подделка, что они опубликовали в 1929 и 1931 гг. подлинные записки и дневники А. О. Смирновой, в которых нет и следа этого «разговора»?

Процитируем единственное место в подлинных «записках» А. О. Смирновой, где упоминается Гете.

«Страшен был 1848 год: искра, упавшая из Парижа, разлила пламя в Италии и объяла всю Германию... Берлин представлял картину самую печальную; войска были выведены; когда они шли со строгим запрещением отвечать взбешенной черни, под Линденами их встретила чернь ругательствами и бросала в них всякий сор и камни... Тогда Гримм читал императрице «Фауста», который ей очень нравился. Он только что принялся читать, когда послышался шаг государя. Он, скрестив руки, передал императрице эти грустные известия. Она расплакалась и повторяла: «Mon pauvre frère, mon pauvre Guillaume!»—«Il s'agit bien de votre poltron de frère quand tout s'écroule en Europe, quelle est en feu, que la Russie pourrait aussi être bouleversée» («Мой бедный брат, мой бедный Вильгельм!»—«Нечего говорить о вашем трусливом брате, когда все рушится в Европе, когда она в огне и в России может также наступить передряга»). С императрицей сделалась дурнота; послали за Мандтом, который остолбенел, когда узнал, что творится в его фатерланде. Государыне дали лавровые капли и aconit... Гримм стоял все у двери с «Фаустом» подмышкой. Император напустился на него: «А вы смеете читать эту безбожную книгу перед моими детьми и развращать их молодое воображение. Это ваши отчаянные головы Шиллер, Гете и подобные подлецы, которые подготовили теперешнюю кутерьму» [7].

Николай Павлович был совершенно прав: Гете принадлежал ему своим феодально-придворным послушанием, своей политической отсталостью, своими «Maskenzug'ами» и хвалебными стихами, своим молчанием в эпоху

польского восстания, но «Фаустом» он принадлежал «кутерьме», революции и новым социальным силам, ее творящим. Николай Павлович был достаточно умен, чтоб понимать, что в конечном итоге—где «Фауст», там и Гете. А «Фауст» был—«безбожная книга», революционная книга. Современным сторонникам и последователям Николая Павловича из европейской буржуазии и белой эмиграции невыгодно цитировать настоящие записки фрейлины Смирновой, хотя они отнюдь не пренебрегают новыми советскими книгами по литературоведению [8], и они предпочитают пользоваться мифом, измышленным предусмотрительной О. Н. Смирновой, фрейлиной, которой было ведомо, какие действительные чувства питал гонитель Пушкина к автору «Фауста» и которая именно поэтому «творила свою легенду».

В 1829 г. Николай I—уже император—посетил Веймар, давно там ожидаемый. Но у Гете находим немногоречивую отметку: «3 декабря... пребывание императора Николая» [9]. Гете уже не являлся тогда ко двору, а Николай I не нашел нужным, как в 1821 г., явиться к Гете. Он поручал заведывать «официальным гетеанством» Марии Павловне и находил это достаточным.

Гете холодно зарегистрировал в дневнике «пребывание» Николая I в Веймаре, но вот что в самые дни этого пребывания, 5/XII 1829 г., писала Мария Павловна в неизданном письме к Александре Федоровне, не сопутствовавшей на этот раз мужу. Извещая императрицу, что весь двор принимает живое участие в ее счастьи (посещение Веймара Николаем), как раньше принимал в горе (смерть в 1828 г. Марии Федоровны), Мария Павловна уверяет Александру Федоровну: «Cet intérêt général vous ferait plaisir à voir il n'y a pas jusqu'à Göthe que j'ai été visiter l'autre jour et dont le premier mot a été: «Si n'avais pas de nouvelles de S. M. l'Empereur?» («Вам бы доставило удовольствие видеть участие всех, не исключая и Гете, которого я на днях посетила и первым вопросом которого было: «Нет ли новостей о его величестве императоре?») [10].

«Участие всех» было предопределено тесною связью двух дворов: трудно было бы определить, где кончался веймарский и где начинался петербургский двор.

В 1810 г. Гете работал над монографией о художнике Филиппе Гаккерте, много писавшем для России по заказам Екатерины, Павла и Марии Федоровны. Гете посвятил свою работу Марии Павловне, а начал свое посвящение так: «Блистательные имена Екатерины, Павла и Марии светят в жизни частного человека, как милостивые к нему звезды. Эти высокие особы услаждаются талантом выдающегося художника, дают ему работу, покровительствуют и кладут основание его земному счастью» [11].

Насколько «блистательным» считал Гете Павла, мы знаем из его записи о заговоре 11 марта 1801 г.; позволительно сомневаться, чтоб он верил в «блистательность» Марии Федоровны, но он совершенно спокойно мог писать эти строки об их «glänzenden Namen»: писанье таких посвящений, как и «участие» в радостях Марии Павловны и всех больших и малых представителей двух дворов, Гете рассматривал как одну из обязанностей своей придворно-поэтико-министерской профессии, точно так же, как «покровительство» художникам являлось в его глазах одной из обязанностей «блистательных» особ. Говоря старинным термином русского XVIII века, Гете «ласкался» к этим особам, но они его действительно и «ласкали». «Ласкал» его и Николай Павлович.

Известна страсть Гете к минералогии; удовлетворить этой страсти, пока дело идет о шпатах и сланцах, легко, но собрать коллекцию изумрудов, алмазов, бериллов, сапфиров, благородных металлов в самородках—на это нужны большие средства. Страсть находит тут свой предел.

Для Гете этого предела не было, и не потому, чтоб он не был стеснен денежными средствами.

Вот что писал ему 15/27 июня 1830 г. русский министр финансов гр. Е. Ф. Канкрин:

«Доброта, с какою Вы, Ваше превосходительство, любезно предоставили доступ к Вашим собраниям некоторым путешествующим питомцам нашего Горного корпуса, внушила мне мысль присоединить небольшой вклад. Я пересылаю при этом, с ведома императора, кусочек (ein Stückchen) самородного золота (весом 24 золотника) и кусочек (ein Stückchen) самородной платины (весом 23 золотника 69 долей); оба из золотых приисков Уральских гор, где подобные куски достигают до 25 ф. Вклад этот, хотя мал, но не лишен примечательности. Позвольте мне Вам, замечательному писателю, из произведений которого я многое читал и, надеюсь, понял, выразить мое почтение».

Министру финансов Николая I нельзя отказать в способностях канцлера: с такой изысканной прикровенностью и любезностью написана эта нота, именуемая письмом: император—в тени, ценный дар—превращен в ничтожность; зато доброта Гете к каким-то «питомцам Горного корпуса» выдвинута на самое видное место; недурна и концовка—комплимент писательству Гете.

Гете отвечал Канкрину письмом от 16 августа: «Ваше превосходительство почувствовали, конечно, в тот момент, когда назначали мне такой значительный дар, какая совершенная радость была мне этим уготована, и я потому имею право скорее умерять слова признательной благодарности, чем во всей полноте предавать их бумаге. Уже шестьдесят лет, как, преданный естествознанию и особенно ревностно минералогии и геологии, я собираю кое-что значительное, чтобы путем постепенно накопленных знаний приобщиться к развивающейся культуре.

Я с удовольствием признаюсь, что важные открытия бесценных рудников в столь богатом русском государстве возбудили все мое внимание, и чем более получал я сведений о них, тем более желал я иметь некоторые образцы, чтобы через непосредственное созерцание достигнуть как бы более глубокого усмотрения этих значительных явлений природы.

К моему изумлению, Ваше превосходительство благосклонно приближаете меня к исполнению этого желания, и когда я смею думать при этом, что его величество император хоть на одно мгновение меня вспомнил, предо мною снова оживают те счастливые часы, когда я имел счастье почтить высочайшую чету на малом пространстве моего сада; ибо перед воображением и в чувстве тогда снова сдвигаются разделяющие дали пространства и времени. Однако я вижу, что мне надо быть кратким, и потому я убедительнейше уверяю Вас, что дарованные мне драгоценные залоги, которые являются моему повторному созерцанию как чудеса природы, должны в то же время быть для меня символом высочайшей милости. Мне очень хочется, пока я пишу, рассматривать вышесказанное как текст к более пространному признанию, однако я заставляю себя на этом кончить и убедительно прошу Вашего расположения на остаток дней моих,—и не менее того заверяю, что участие, какое угодно Вашему превосходительству

проявить ко мне, я умею принимать с глубоким чувством и почерпнуть из него бодрость. С уважением Вашего превосходительства покорный слуга В. Гете» [12].

Канкрин мог быть доволен: его дипломатическая нота была прочитана так, как нужно: Гете взвесил полученные слитки, как «значительный дар», а не как «кусочек», и принял его не как «презент» гетелюбивого министра, а как «высочайшую милость» (подлинное выражение Гете).

В феврале (12-го) 1826 г. русский посол в Берлине писал Гете:

Высокоблагородный и высокочтимый господин
государственный министр!

Недавно я узнал случайно, что Ваше превосходительство желали бы иметь слепки с разных камней, находящихся в Императорском Петербургском Эрмитаже. Я воспользовался своим последним пребыванием в императорском городе, чтобы получить некоторые из них, что и рад переслать Вам в следующем за этим ящике. Мне было бы очень лестно, если бы этот незначительный подарок Ваше превосходительство приняли как доказательство высокого почтения и восхищения, давно к Вам питаемого, так как преимущественно Ваши произведения привлекли меня к изучению немецкого языка. Вы доставляете мне неизменное отдохновение и будете моим спутником на всю жизнь.

С этой мыслью, а также с благоговейным почтением, имею честь быть

Вашего превосходительства
покорнейший слуга
Граф Алопеус.

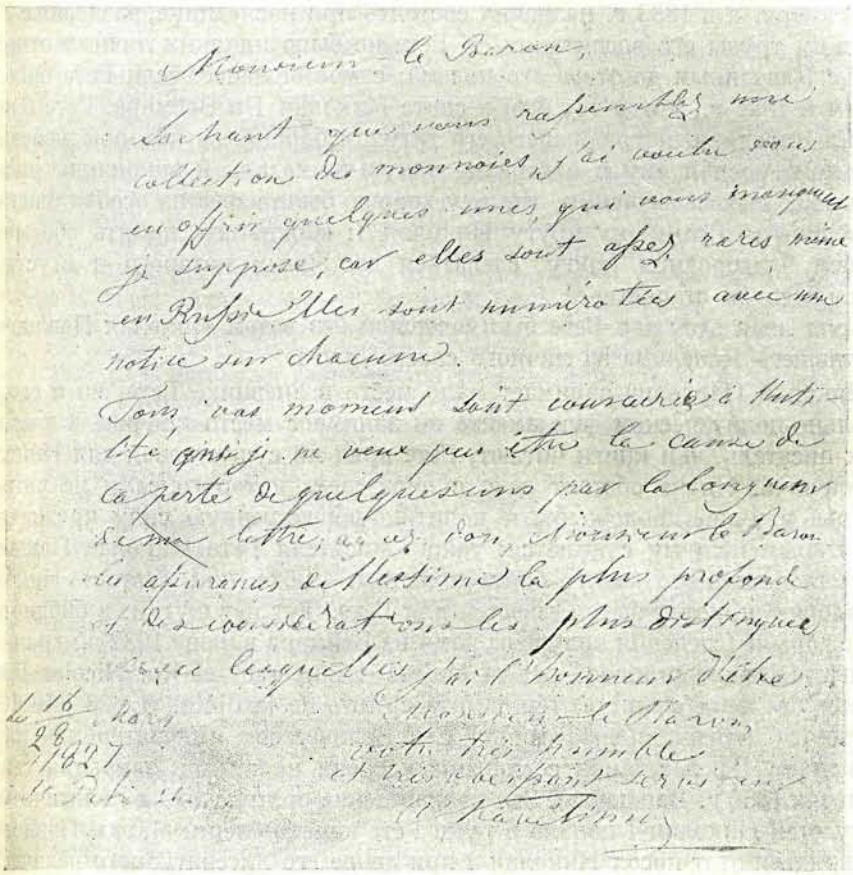
Удивительным образом все большие чиновники Николая Павловича оказывались почитателями таланта Гете: посол в Берлине заявил себя, не хуже министра финансов, поклонником Гете.

25 марта Гете отвечал послу: «В тот момент, когда, по высочайшей милости (allerhöchste Gnade), прибыл ко мне из Берлина бесценный документ (unschätzbares Dokument), важный по содержанию и достойный по форме, и побуждает меня к чувствительнейшей благодарности, я получаю благодаря необычайной внимательности Вашего превосходительства художественное сокровище» [13]. Это «художественное сокровище» была коллекция слепков с камей и гемм Петербургского Императорского Эрмитажа. Гете не мог не понимать, что заказать такую коллекцию слепков с сокровищ Эрмитажа, составлявших личную собственность императора и ни для кого, без его разрешения, недоступных, было невозможно без «милостивого» соизволения самого Николая Павловича. Но еще любопытнее тот «бесценный документ», который получил Гете «по высочайшей милости». «Милость» эта была несомненно русская, а не прусская: иначе не за чем было о ней и писать русскому послу в Берлине: судя по выражению Гете, «милость» далеко для него не безразличная. Но в чем она состояла? Что это был за «документ», важный по содержанию? Веймарское издание, по принятому им в таких случаях обыкновению, обо всем этом умалчивает. Подобные умалчиванья заставляют еще больше желать появления специального исследования отношений Гете к русскому двору.

В 1827 году Гете опять получил столь же неожиданный дар с русских «верхов». Это была целая коллекция древних русских монет. Коллекцию сопровождало следующее письмо:

Господин барон!

Зная, что Вы собираете коллекцию монет, я хочу предложить Вам несколько таких, которых, я предполагаю, Вам не хватает, так как они достаточно редки даже в России. Они перенумерованы с отметкой на каждой. Всякая Ваша минута посвящена полезной деятельности, почему я и не хочу быть причиной потери нескольких из них благодаря длине моего



Автограф письма адъютанта Николая I А. Кавелина к Гете от 16 мая 1827 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

письма. Примите, господин барон, уверения в глубочайшем уважении и исключительном почтении, с которым имею честь быть, господин барон,

Ваш покорнейший и послушнейший слуга

А. Кавелин.

16/28 мая 1827 г. Санкт-Петербург.

По упорной «случайности» и на этот раз дарителем оказалось лицо, чрезвычайно близкое к императору Николаю Павловичу. Это был его флигель-адъютант, полковник Александр Александрович Кавелин (1793—1850). В одном и том же году—в 1818—поступил он в адъютанты к Николаю Павловичу и в члены Союза Благоденствия. «Алфавит декабристов» вот как передает историю о том, как член Союза Благоденствия сделался преданнейшим адъютантом императора: «Кавелин вступил в Общество,

видя, слыша и удостоверяясь из действий, что предметом и целью оного было единственно просвещение и благотворение. Политических видов и тени не было заметно. Но вскоре по обстоятельствам службы отстал от сего общества. О сем объявил он сам в записке своей, представленной государю императору при производстве комиссиею следствия. Отзывы других членов совершенно согласны были с показанием Кавелина». Николай I так верил Кавелину, что произвел его во флигель-адъютанты в самый день 14 декабря, а в 1833 г. назначил состоять при наследнике, разделяя с Жуковским труды его воспитания. У Гете не было никаких личных отношений с Кавелиным до этого его письма: самое большее, если Гете виделся с ним в 1821 г., когда тот был в свите Николая I в Веймаре. Гете благодарил Кавелина, наградившего его титулом барона, за подарок любезным письмом, послал ему в отдарение какую-то медаль и закончил письмо словами, выказывающими, что ему хорошо была известна особая близость Кавелина к интимному кругу Николая I: «Сохраните память обо мне в Вашем благородном кругу, сделаться достойным которого я неустанно стремлюсь до старости» [14].

Вряд ли и этот дар Гете был совершон без ведом Николая Павловича, считавшего Кавелина за личного своего друга.

Николай Павлович занимает мало места в дневнике Гете, но в его социально-политическом фундаменте он занимает место прочное и твердое. Как писатель, чьи книги читают, Гете вряд ли существовал для Николая Павловича. Иначе обстоит дело с писателем, которого сами не читают, но чье влияние, положение и политико-общественную силу признают и с которым поэтому считаются: такого писателя Гете Николай Павлович уважал не меньше своего брата и сестры. Даже как «автор» Николай Павлович не хотел быть безвестен для Гете. Тут нет шутки: в библиотеке Гете доныне (сведения получены нами из Веймара в июне 1932 г.) хранится книга «Discours prononcé par sa Majesé l'Empereur et Roi Nicolas I à la séance des deux chambres réunis à la clôture de la diète. Le 28 juin 1830. Varsovie» («Речь, произнесенная Его Величеством императором и царем Николаем I в заседании соединенных обеих палат при закрытии сейма. 28 июня 1830 г. Варшава»). Это произведение ораторского и политического искусства Николая I попало в руки Гете конечно через Марию Павловну, но вряд ли этот посол Николая I при дворе его литературного величества Гете I действовал без ведома своего доверителя, желавшего держать Гете в курсе своих политических выступлений.

Гетеанскую политику русского самодержавия и двора Николай I ни в чем не нарушил. Это была кажется единственная литературная традиция, которую Николай I перенял от матери, брата и сестры и продолжил до конца. Александр I дал Гете звезду и ленту, Николай I подписал диплом об избрании Гете в почетные члены Академии Наук и дарил слитки золота и платины.

Русским писателям оба императора давали урок наглядного обучения: Радищев, Рылеев, Пушкин не уживались или плохо уживались с самодержавием. Пример Гете, отлично с ним уживавшегося, должен был показать России и Европе, что право было самодержавие, а не писатели.

Этот урок стоил, чтоб его оплачивать и бриллиантовой звездой, и золотыми самородками.

Так крепка была и так всегда последовательна эта политическая традиция русского официального гетеанства, что она не могла не нуждаться

в своем особом идеологе—в писателе, который за своих доверителей-самодержцев мог бы вести нужные разговоры с Гете, и вести их уверенней и удачнее, чем вели сами императоры и императрицы.

Таким идеологом русского правительственного гетеанства и явился Сергей Семенович Уваров.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Bied., B. II, S. 502—503, № 1943; в 10-томн. издании—том X. Lpz., 1896, S. 103, № 1699; у Gräf'a (см. ниже)—B. X, Ausg. 2, S. 653.

[2] В библиотеках Москвы, Ленинграда и Франкфурта-на-Майне не нашлось «Deutsche Warte». «Полный Книжный Лексикон» Хр.-Готл. Кайзера («Chr.-Gottl. Kayser's Vollständiges Bücher-Lexicon») указывает в 1891—1899 гг. два берлинских еженедельных издания под одним и тем же названием «Deutsche Warte», но с разными подзаголовками и с разными редакторами: 1) «Deutsche Warte». Wöchentliche Rundschau über Politik und Gesellschaft, Geistl. u. Wirtschaftl. Leben. Red. Bruno Schippang. Berlin, 52 №, 1891—1893 («Ch. G. Kayser's Vollst. Büch.-Lex.», Bd. XXVII, 2 Heft, 1891—1894. Lpz., 1896, S. 886) и 2) «Deutsche Warte». Belletrist. Wochenblatt. Begründet v. A. v. Studnitz. Red. H. Schade, 52, № 5—9 Jahrgang, Okt. 1894, Sept. 1899 (т а м ж е, B. XXX, Lpz., 1900, S. 956). В последнем издании («Belletr. Wochenblatt»), как видно из справки «Прусской Государственной Библиотеки» (Берлин) от 1/VI 1932 г. за подписью библиотекаря Poews'a, в № 134 «приложений» (Beilage) 1892 г. н е т никаких «воспоминаний» или «записок» Смирнова или Смирновой. Получить подобную же справку о первом издании «Wöchentliche Rundschau» и т. д. мне не удалось.

[3] «К сожалению мне не было возможности дойти до источников этого разговора, чтобы их исследовать и установить что-либо точнее».

[4] Eugen Zabel, Goethe und Russland. Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. B. VIII, 1921, S. 27—48.

[5] Bied., Band X. Lpz., 1896, S. 103. В издании 1909 г. это «начало» разговора Гете с царем опущено. Biedermann датирует разговор «маем 1821 г.». Еслиб «разговор» и был в действительности, дата эта вдвойне фантастична: в 1821 г. Николай I с женой были у Гете 3 июня, но, по смыслу легендарных слов Николая I, он беседовал с Гете не 25-летним женатым человеком, каким он был в 1821 г., а неоперившимся юнцом: таким он был в 1814 и 1815 гг., когда гостил в Веймаре и действительно виделся с Гете. Стало быть разговор о «Вертере» мог бы происходить лишь в 1814, либо в 1815 г. О. Н. Смирнова превосходно была осведомлена в истории русско-веймарских гетеанских отношений и сочиняла «наверняка».

[6] R. Jagoditsch, Goethe und seine russischen Zeitgenossen, S. 352—353.

[7] А. О. Смирнова, Записки, дневник, воспоминания, письма. Со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой. Под ред. М. А. Цявловского. Изд-во «Федерация». М., 1929, стр. 260—261. В вышедшей в 1931 г. «Автобиографии А. О. Смирновой» (Неизданные материалы. Подготовила к печати Л. В. Крестова. С предисловием Д. Д. Благого. К-во «Мир», М.) какое бы то ни было сочетание Гете с Николаем I отсутствует совершенно. В «Автобиографии» есть рассказ А. О. Смирновой о сильнейшем впечатлении, произведенном на нее игрою артистки Зибах в роли Клерхен в «Эгмонте»: «В целом мире нет подобного Шекспиру и Гете в «Фаусте» и других его трагедиях» (стр. 227—228). Эти страницы единственные, где Смирнова говорит о Гете.

[8] В статье Ягодича цитируется книга М. Аронсона «Литературные кружки и салоны», вышедшая в Ленинграде в 1929 г. (стр. 372), но п о д л и н н ы е «Записки А. О. Смирновой», вышедшие в том же 1929 г. в Москве, остаются ему почему-то неизвестны: он предпочитает подложные.

[9] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 161.

[10] Особый отдел Центрархива. Фонд № 27 (Зимнего дворца). Опись I, д. № 981.

[11] «W. A.», I Abt., B. XLVII, S. 107.

[12] Т а м ж е, IV Abt., B. XLVII, S. 185—187; письмо Канкрина там же, стр. 392—393.

[13] Письмо гр. Алопеуса печатается по фотографии с подлинника (на немецком языке), из Веймарского музея. Ответ Гете—«W. A.», IV Abt., B. XL, S. 331—333.

[14] Письмо Кавелина печатается по фотографии с подлинника (на франц. яз.), хранящегося в Веймарском музее. О Кавелине: «Алфавит декабристов», под. ред Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925, стр. 90 и 321—322. Ответ Гете—«W. A.», IV Abt., B. XLII, S. 206—207.

Глава третья

РУССКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ОФИЦИОЗНЫЕ ГЕТЕАНЦЫ

I. „ДРУГ ГЕТЕ"

СТОЛЕТИЕ ЛЕГЕНДЫ О ГЕТЕ И УВАРОВЕ В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (1832—1932).— ТВОРЦЫ ЛЕГЕНДЫ: С. С. УВАРОВ, И. И. ДАВЫДОВ, GEORG SCHMIDT И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДОЛЖАТЕЛИ.—КАРЬЕРА УВАРОВА И „ПРОИЗВОДСТВО В УМ И ЗНАНИЕ".—ФАБРИКАЦИЯ РЕПУТАЦИИ УЧЕНОГО.—ПРОЕКТ АЗИАТСКОЙ АКАДЕМИИ, ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОРНИ И ЦВЕТОЧКИ.—УВАРОВ ПРИВЛЕКАЕТ ГЕТЕ К ДЕЛУ АЗИАТСКОЙ АКАДЕМИИ.—ОБМАН И СОБЛАЗН ГЕТЕ.—ПРОЕКТ АЗИАТСКОЙ АКАДЕМИИ, ВЫШЕДШИЙ ИЗ КРУЖКА ГЕТЕ.—ПЕРЕМЕНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ АЛЕКСАНДРА I В 1811 Г. ЗАСТАВЛЯЕТ ПОХОРОНИТЬ ПРОЕКТ.—НЕДОУМЕНИЕ ГЕТЕ.—ДАЛЬНЕЙШАЯ ПЕРЕПИСКА ГЕТЕ И УВАРОВА.—ГЕТЕ КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ РУПОР РУССКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ.—ИЗБРАНИЕ ГЕТЕ В ЧЛЕНЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ.—ВНИМАНИЕ ГЕТЕ К НАУЧНЫМ ЗАДАЧАМ АКАДЕМИИ И НЕВНИМАНИЕ АКАДЕМИИ К НАУЧНЫМ ЖЕЛАНИЯМ ГЕТЕ.—ГЕТЕ О ХОЛЕРЕ В РОССИИ.—РЕЧЬ УВАРОВА НА СМЕРТЬ ГЕТЕ КАК АПОЛОГЕТИКА РЕАКЦИИ И НИКОЛАЯ I.—БЫЛ ЛИ УВАРОВ ЛИЧНО ЗНАКОМ С ГЕТЕ?

Ни с кем другим из русских писателей у Гете не было таких деятельных и продолжительных сношений, как с Сергеем Семеновичем Уваровым (1786—1855). Сношениям этим очень посчастливилось и в истории литературы. Уваров постарался сделать их широко известными: еще в поминальной речи о Гете, произнесенной в 1833 г. в Академии Наук, он не отказал себе в удовольствии рассказать о своей переписке с Гете. Переводчик этой речи, проф. И. И. Давыдов, со своей стороны, подчеркнул в предисловии к ее отдельному изданию: «Каждый россиянин, любящий отечественное просвещение, может с гордостью указывать на литературные сношения сочинителя сего слова с великим поэтом» [1].

Из всех русских писателей, сносившихся с Гете, Уваров оказался единственным, чьи отношения к Гете дождались целого исследования с обнародованием их переписки [2]. В то время как отношения Гете ко многим другим русским писателям делаются известными впервые только из настоящей работы, об отношениях Уварова к Гете сообщается всюду, где идет речь о Гете и России. Один из немецких исследователей русских отношений Гете Отто Гарнак воздал Уварову не принадлежащую ему честь: назвал его «п е р в ы м русским, который углубленно занялся изучением Гете», забывая о Карамзине, Андрее Тургеневе, Жуковском и всем втором «тургеневском кружке» [3].

С репутацией чуть ли не ученика Гете Уваров вошел в «Очерк развития русской философии» Густава Шпета: «Уваров был учеником немецких неогуманистов, был воспитан в идеологии, возглавляемой Фр.-Авг. Вольфом и видевшей путь к немецкой народности через эллинизм: он был лично знаком с Гете, которому посвятил одно из своих филологических исследований, состоял с ним в деятельной переписке» [4].

Уваров усердно создавал себе славу «друга Гете». В 1817 г. Гете упомянул в одной статье своей об одном печатно высказанном суждении Уварова и назвал себя—в третьем лице и безымянно—«старым другом» автора. Этого было достаточно, чтоб Уваров в следующем же письме бросился в «друзья» к великому поэту: «Edler, herrlicher Freund!» («Благородный, превосходный друг!»). Это было самозванство.

Письмо Гете от 18 мая, на которое отвечал Уваров, начиналось холодным: «Ew. Excellenz!» (Ваше превосходительство). В письме от 12/25 августа Уваров упорно самозванствовал: «Verehrter Freund» (Уважаемый друг), и в ближайшем письме (21 декабря) Гете пришлось волей-неволей обратиться к Уварову с этим же «уважаемым другом» (Verehrter Freund); но в дальнейших письмах Гете перешел опять на «ваше превосходительство», а Ува-

ров то сдавался на это «превосходительство» (письмо от 10 мая 1825 г.), то настаивал на «высокочтимом друге» (письмо от 10 августа 1825 г.) [5].

Так было в действительности, но в русской и немецкой легенде, называемой «историей литературы», от 30-х (проф. И. И. Давыдов) до 80-х годов («исследователь» Georg Schmid) звучало: «Уваров—друг Гете».

Попробуем отделить «правду» (Wahrheit) от «вымысла» (Dichtung) в Гете-Уваровской легенде.

Уваров получил от Николая I графский титул, но язвительный Вигель не без ехидного удовольствия читывал в салонах Москвы 40-х годов странички из своих «Записок», где повествовалось, что «у князя Потемкина был один любимец, добрый, честный, храбрый, веселый Семен Федорович Уваров» и что «сей бедный рядовой дворянин», будучи «флигель-адъютантом Екатерины, мастер был играть на бандуре и с нею в руках плясать вприсядку»: за этот пляс Потемкин обзывал флигель-адъютанта «Сенейбандуристом» и вывел его в люди.

Если б Гете довелось слышать Вигеля, он перестал бы вероятно считать Уварова аристократом, и один из абзацев Гете-Уваровской легенды был бы зачеркнут. Тот же Вигель рассказывает про старшего сына этого «Сенибандуриста»: «мальчик был от природы умен, отменно понятлив в науках, чрезвычайно пригож собою, говорил и писал по-французски в прозе и стихах, как настоящий француз: все хвалили его, дивились ему, и все это вскружило ему голову. Семнадцати лет не более попал он ко двору камер-юнкером пятого класса» [6].

Вигель прав, но обычное злоречие мешает ему быть правдивым до конца: Уваров не только отлично говорил по-французски, чему научил его аббат Mangin, но учился кое-чему и другому, чем не занимались обычно юноши его положения: занимался древней историей и, зачисленный еще в 1801 г. в коллегию иностранных дел, он отведал и «Lehrjahre» в Германии: побывал в Геттингене, отлично выучился по-немецки, так что, когда в 1810 г. с ним познакомился А. И. Тургенев, он нашел, что Уваров «так знает немецкую литературу, что и меня пристыдил даже в истории» [7]. В 1806 г. Уваров был причислен к посольству в Вене. По его собственным признаниям, в это время он и познакомился близко с сочинениями Гете.

В речи своей о Гете в 1833 г. Уваров вспоминал: «Во время появления «Фауста» я был в Германии; трудно изобразить впечатление от сего творения—впечатление восторга и негодования». Негодование, по мнению Уварова, было оттого, что «до Фауста никогда не объявлял Гете лютейшей вражды духу времени; никогда не нападал он на труды века с насмешкою столь язвительною». Фауст—только «возвышенная сатира на страсть немцев копаться в глубинах и пропастях таинственности, разоблачать ее покровы». Гете, как толкует Уваров, потому и вызвал «негодование» современников, что они преданы «разрушительному развитию» философии, а он—охранитель традиции, которому «рукоплескания черни приторны». Но слава Гете была так велика, как уверяет Уваров в 1833 г., что «никто из современников Гете при таких успехах «Фауста» не дерзал вооружиться против него»; негодовали, но не вооружались; «терпели бичевание, только приговаривая: так сказал учитель» [8].

Вряд ли все это—воспоминания о «Фаусте» современника его появлению: это—рассуждения президента Академии Наук и министра Уварова, из 1833 г. перенесенные в 1806—1808 гг. с целью опереть свою собственную образцовую благонамеренность маленького Уварова на великую благонаме-

ренность Гете. Это—всегдашний метод уваровского гетеанства: приткнуться к Гете для собственной устойчивости.

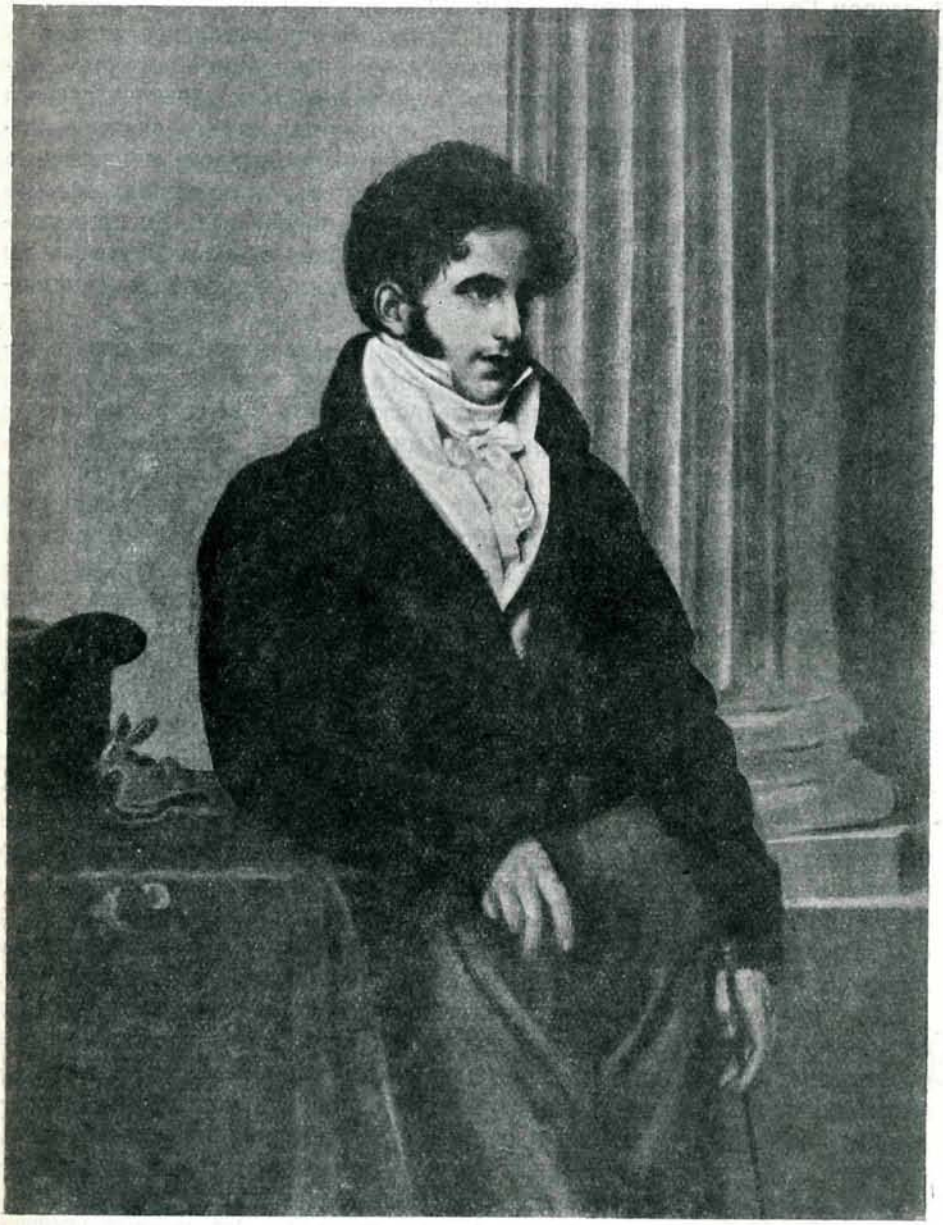
В те годы он «написал небольшую статью» о «Вильгельме Мейстере»; в 1814 г. он переслал ее Гете с такими сопроводительными словами: «Нашел ли я в ней истинную точку зрения, я не знаю, но писал я ее с любовью и воодушевлением» [9]. Отзыв Гете об этой юношеской статье Уварова неизвестен. Живучи в Германии, Уваров не побывал в Веймаре, но в 1810 г. он собирался заехать туда. Его новый приятель А. И. Тургенев писал в мае—июне брату Николаю из Петербурга, что, получив новое дипломатическое назначение, Уваров «поедет в Париж через Веймар, где увидится с Гете, о котором он писал кое-что на французском», а пока Тургенев восхищался талантами Уварова: «он сочинил следующие стихи dans le genre de Goethe. Прочти их Бутервеку [профессору эстетики в Геттингене] и спроси, наблюдены ли правила немецкого механизма в стихах».

Sehnsucht
Träume der Jugend,
Farben des Frühlings,
Töne der Lyra,
Seyd ihr verschwunden,
Auf immer verstummt?
Ernst ist das Leben,
Dunkel die Zukunft,
Der Mensch, er muss streiten,
Mit feindlichen Mächten,
Mit der ewigschaffenden,
Alles zerstörenden
Mutter Natur и т. д.

(Мечты юности, краски весны, звуки лиры, с каких пор исчезли вы, умолкнув навсегда? Жизнь строга, будущее темно; человек—он должен спорить с враждующими силами, с вечно творящей, все уничтожающей матерью-природой).

Простодушный А. И. Тургенев умилялся: «Русский, камер-юнкер—сочиняет немецкие стихи! Скажи это Бутервеку» [10]. Свое гетеанство Уваров простер до того, до чего не простирали его ни Андрей Тургенев, ни Жуковский, ни Веневитинов: они писали по-русски стихи к Гете или переводили его стихи на родной язык. Уваров захотел быть поэтом на языке самого Гете и думал, что этот набор банальностей—стихи, писанные свободным размером Гете и даже с «Mutter-Natur», как у Гете.

Но и на этот раз Уваров не попал в Веймар, а А. И. Тургенев, не без наивного удивления, мог сообщить брату в Геттинген иного рода вести о поэте камер-юнкере: «Уваров женится на гр. Разумовской» (23 сентября 1810 г.) и «Уваров сделан действит. статс. советником и попечителем С. П. Бургского учебного округа» (10 января 1811 г.) [11]. Это был блестящий оборот ловкого карьериста: с женитьбой на некрасивой и немолодой дочери министра народного просвещения, богача гр. Алексея Кирилловича Разумовского, Уваров получал огромное приданое, поправившее его запутанные дела, и сильнейшего покровителя по делам карьерным. По позднейшему признанию самого Уварова, он был «призван к отправлению обязанностей попечителя учебного округа в таком возрасте, когда другие только начинают свое университетское воспитание». И потому «скоро заметил», что в его «образовании



С. С. УВАРОВ В МОЛОДОСТИ
Портрет маслом работы О. Кипренского
Третьяковская Галлерея, Москва

оказывался недостаток основательного знания древних языков». Чтобы покрыть этот недостаток, Уваров начал заниматься греческим языком с профессором Грефе, «и профессор, отдававший попечителю отчет в своих университетских трудах, вечером занимал при нем профессорское место и за греческой грамматикой смело руководил своего начальника, которого приветствовал поутру в университетской аудитории». Как далеко и глубоко преуспел «попечитель»-ученик, видно из признания самого учителя-«профессора». В 1850 г., гостя у Уварова, который не был уже министром, в его Поречьи, Грефе воскликнул: «Как жаль, что вы были министром!—Что вы хотите этим сказать?—То, что без этого вы, право, были бы превосходным эллинистом.—Затем, понизив голос, он прибавил:—Если бы впрочем вы захотели побольше заняться изучением грамматики, которую вы не довольно уважаете» [12].

Впрочем усвоил или не усвоил «превосходный эллинист» греческую грамматику, ученые звания и достоинства шли к нему с такою же быстротою и щедростью, как чины: попечитель учебного округа в 24 года, он в том же году попадает в почетные члены Академии Наук, а 32 лет—в 1818 г.—делается ее президентом. Эта карьера Уварова—из камер-юнкеров, танцующих на посольских балах в Париже и Вене, в президенты Академии Наук—была так быстра и стремительна, что ученый митрополит Евгений не выдержал и обозвал Уварова «ученым шарлатаном»: «Во всех государствах случается, что жалуют в чины и не по заслугам, а в одной России жалуют даже и в ум и в знания без ума и знаний» [13].

Принимая эти щедрые пожалования «в ум и в знания», Уваров имел настолько ума, чтобы наскоро перехватить «знаний» у тех, кто ими действительно обладал (уроки с Грефе), и поскорее заявить себя ученым. Он начал с «Проекта Азиатской академии». Это был умный и тонко рассчитанный ход. К изучению Востока сам Уваров не имел даже и того небольшого касания, какое у него было к античной древности. Востока он не изучал ни в какой, даже самой элементарной мере и однако смело выступил с целым проектом ученого учреждения, которое должно было вести многообразные изучения языков, культур и древностей Азии, издав его по-французски с посвящением гр. А. К. Разумовскому («Project d'une Academie Asiatique. Dedié à le comte Alexis Rasoumovsky», S.-Ptsb. 1810). Нельзя было, прочитав этот проект и ничего не зная из биографии его автора, не подумать, что это пишет глубокий ученый, после множества собственных трудов по востоковедению пришедший к мысли о необходимости положить начало созданию мощного ученого коллектива, преследующего самые ответственные задачи. В проекте предусматривалось создание кафедр таких восточных языков, какие были совершенной новостью и для европейских ученых: манчжурского, тибетского, грузинского, японского и народов азиатского севера; ставились фундаментальнейшие задачи—издание словарей санскритского и китайского языков; таков был фасад проекта Уварова, обращенный в сторону науки, ученых и академий; нужно сказать тут же, что сам Уваров только раскрашивал его, а кирпичная кладка принадлежала двум крупным ученым—Клапроту и Фесслеру; но кроме фасада было и здание, все предназначенное для нужд правительства: тут была кладка самого Уварова:

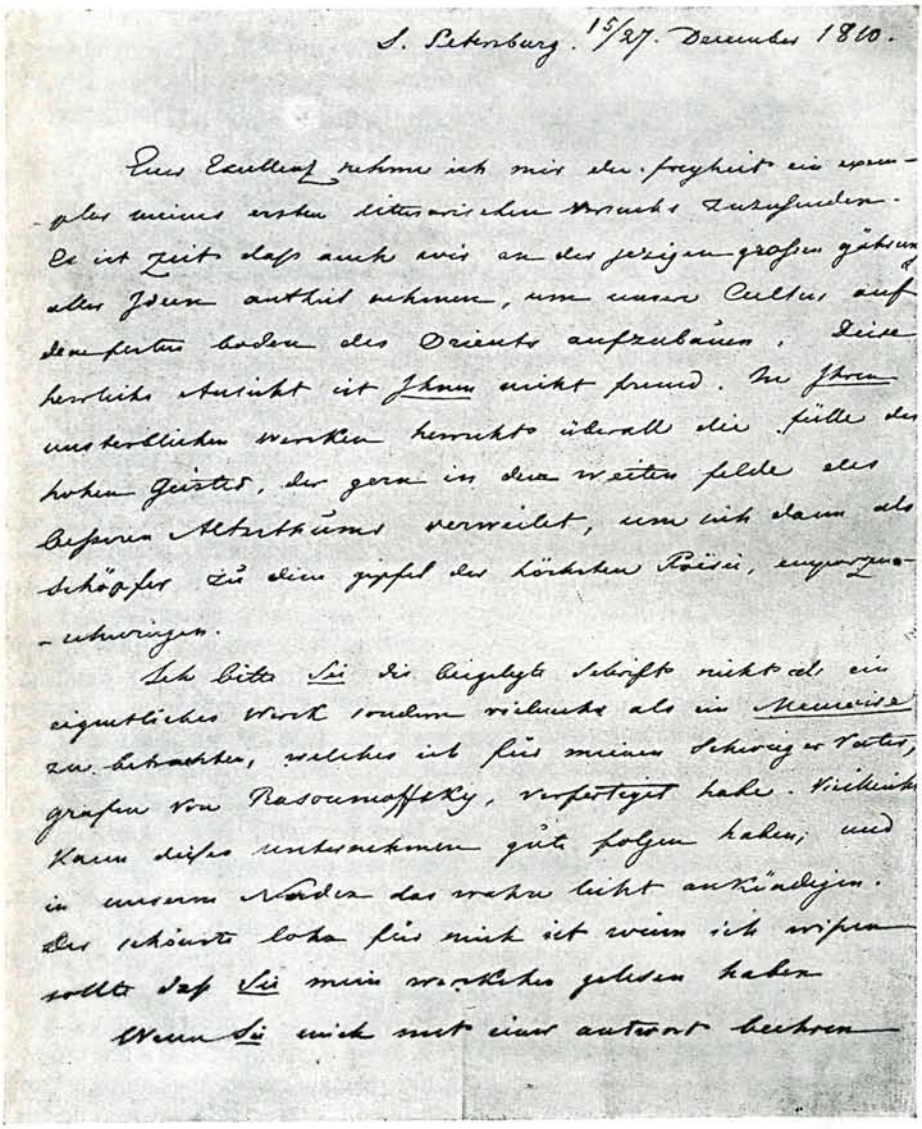
«В момент возрождения наук о востоке,—спрашивал Уваров,—может ли Россия оставаться позади других наций? Сопредельная с Азиею Россия, обладательница всей ее северной части, не может не чувствовать одинако-

вого нравственного побуждения с прочими народами в их благородных предприятиях; но у нее есть побуждение особенное, политическое, которое, при одном взгляде на географическую карту, становится понятным и несомненным. Россия, так сказать, опирается на Азию. Сухопутная граница неизмеримого протяжения приводит ее в соприкосновение почти со всеми народами Востока, и трудно поверить, что из всех государств Европы именно в России менее всего развито изучение Востока. Достаточно самых простых политических соображений, чтобы усмотреть те выгоды, которые Россия извлечет из серьезного изучения Азии. Россия, которая находится в таких тесных отношениях с Турцией, Китаем, Персией, Грузией, тем самым не только поспособствовала бы распространению всеобщего просвещения, но и достигла бы своих собственных важнейших выгод, так что никогда еще политические побуждения не являлись в таком согласии с обширными видами нравственной образованности» [14].

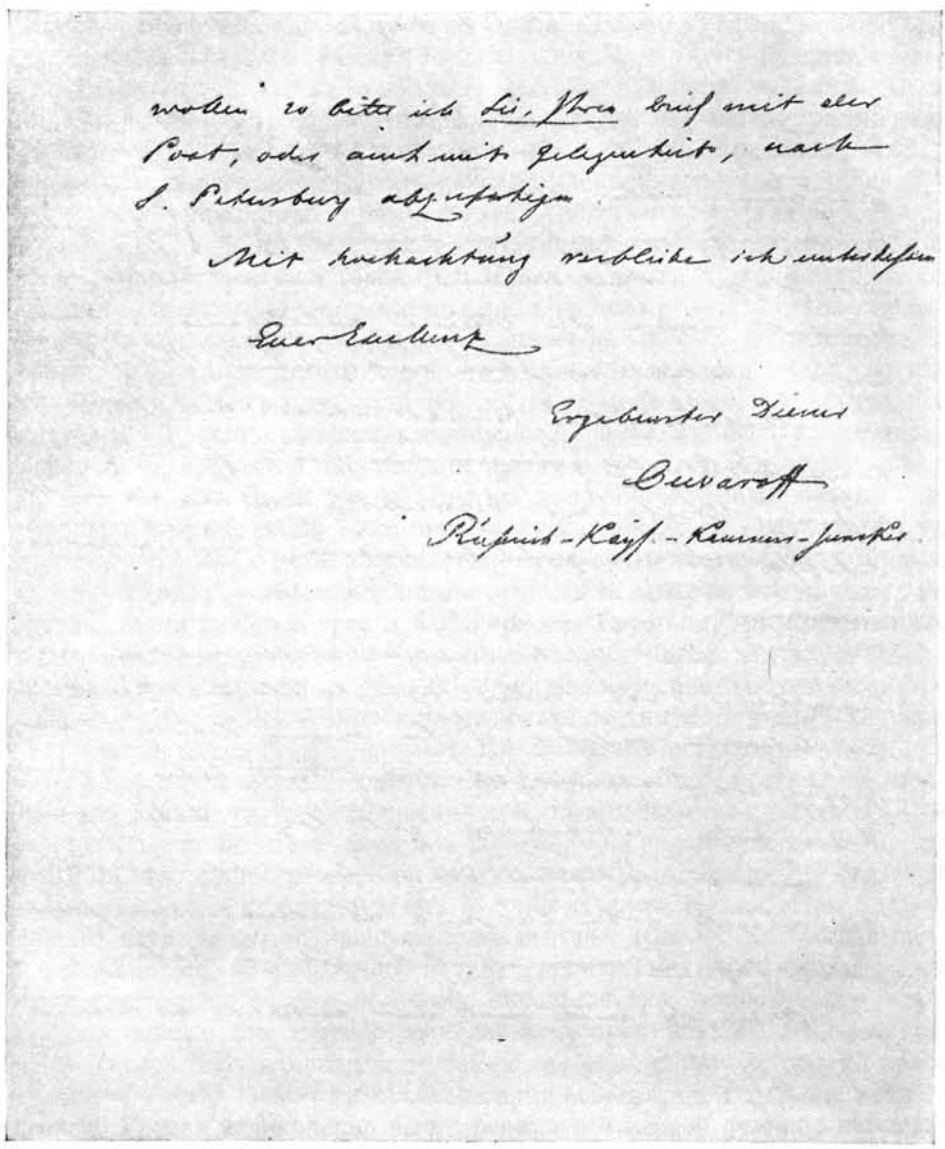
Своим проектом Азиатской академии Уваров ловил на лету очередной заказ внешней политики самодержавно-крепостнического государства русского. Войны Екатерины дали России Крым и Прикубанье; 18 января 1801 г. совершилось присоединение Грузии, в 1803 г.—Мингрелии, в 1804 г.—Имеретии. Это внедрение России в Восток вводило ее в чрезвычайно сложный кругооборот мировой политики. Одновременно с Россией Павла I и Александра I зорко вглядывался в направлении Востока Наполеон: там, в Египте, в Индии, замышлял он нанести сильнейший удар Англии. Посылая войска в Египет и Сирию, Наполеон замышлял «ногою твердой стать» в колонизованном Египте, чтобы затем двумя ногами стать в Индии, выгнав оттуда малочисленные английские войска. В сентябре 1800 г. Павел I вышел из сколоченной Питтом противунаполеоновской коалиции, а в декабре уже писал первому консулу дружественное письмо. 12 января 1801 г. как союзник Наполеона, в полном согласии с его планом нанести удар Англии в Индии, он дал приказ атаману Войска Донского «итти и завоевать Индию». Смерть Павла пресекла поход, и Александр ввел русскую политику опять в полосу противубонапартовских коалиций. После Тильзита (1807 г.) и Эрфурта (1808 г.) Россия вновь вошла в русло наполеоновской политики, а это значило опять итти против Англии. В самые годы этих свиданий с Александром I Наполеон посылал в Персию миссию генерала Гарданна (1807—1808) с прямою целью—через Персию и Турцию наладить нападение на Индию.

Проникновение русских в Закавказье облегчало эти французские задачи. В глазах Англии, наоборот, появление русских в Закавказье означало возможность прокладки нового торгового пути из Европы в Азию, черноморско-закавказско-персидского: путь этот явился бы опасным соперником старых морских путей в Азию, над которыми господствовала Англия. При всяком направлении русской политики, английском или французском, Кавказ, Грузия, Турция, Персия, Индия оказывались очередной задачей русского политического внимания, которая не могла быть решена без помощи пристального изучения этих стран, обнимаемых названием «Востока» или «Азии». Уваров, перекочевавший в «науку» из «дипломатии», отлично это понимал, и его «научный» проект насыщен самой живой злобой политического дня. С Наполеоном или против Наполеона, с Англией или против Англии, но Россия должна знать свой и соседний Восток, чтоб над ним господствовать: вот мысль, положенная в основу проекта Азиатской академии. В свете этой простой мысли легко по-

нимаются все научные детали уваровского проекта. Вопрос об Индии, как видно из сказанного, был практическим, а не теоретическим интересом русской политики Павла и Александра I, поскольку она была связана с Наполеоном и Англией, и поэтому вовсе не для одного чтения «Магабхараты» желал Уваров учреждать кафедры индологии в своей академии. Не для одного насаждения в России вкуса к Саади и Гафизу понадобилась и персидская кафедра: Персия была в ближайшем круге русских политических интересов; в 1818 г. понадобилось уже назначить туда поверенного в делах, а «в 1820-х годах,—по словам историка,—быстро развившаяся транзитная европейская торговля через наши закавказские владения с Персиею до того встревожила сен-джемский кабинет, что он для окончательного уничтожения ее одним разом вовлек Персию в открытую войну с нами»[15]. Грибоедову, павшему жертвой русско-английского спора на персидской почве, пришлось в 20-х годах быть своим собственным профессором персидского языка и истории,—не поэзии, а политики ради. Прямая политическая нужда в кафедре грузинского языка не требует пояснения: нельзя было управлять за девять лет до того присоединенной страной, не имея чиновников, знающих ее язык. Кто владел Закавказьем, тот не мог обходиться и без знания соседнего, армянского, языка. Это было известно Уварову, но он предпочел маскировать нужду в грузинской и армянской кафедрах тем, что очень уж любопытны памятники древней письменности у грузин—царь Вахтанг, у армян—Моисей Хоренский. Очень много уделил Уваров места и ученой маскировке китайского и манчжурского языка. Однако в 1810 г. маскировка эта вероятно была заметна: в этом году очень многие знали в Петербурге и в Сибири, почему русскому правительству должно было заняться таким нелегким предметом, как Китай. В 1805 г. Александром I отправлено было в Китай пышное и многочисленное посольство во главе с гр. Ю. А. Головкиным, будто бы для того, чтобы поздравить богдыхана с восшествием на престол и возвестить о таком же восшествии Александра I, в действительности же для того, чтобы установить выгодные для России торговые сношения с Китаем и добиться уступки России Амура. Задача была так ясна, что даже один из юных участников посольства, Вигель, понимал ее: «Как не стать на Амуре и, вооружив берега его твердынями, как не предписывать законов гордому Китаю, дабы для подданных извлечь из того неисчислимые выгоды? Как не взять его в опеку и не защитить от вторжений других европейских народов?»[16] Однако осуществить эту задачу шумному посольству не удалось: его глава, гр. Головкин, и дипломаты российские были столь невежественны во всем, что касалось Китая, понаделали таких грубейших ошибок еще на пороге Китая, что их в Пекин не пустили: пришлось ретироваться из Урги восвояси. Уваров великолепно был осведомлен о первой причине неслыханной неудачи посольства: «китайскую маскировку» в его «проекте академии» сочинял тот самый ученый профессор Клапрот, который состоял при посольстве Головкина, но не мог спасти заранее проигранного дела. Даже тибетский язык понадобился Уварову не зря. Он очень эффектно зарисовал в своем проекте, как в его академии встретятся «критикующий европеец и азиатский лама» («critique Europeen à côté du Lama asiatique»)[17], но фон зарисовки прост: тибетский язык был официальным языком ламаитского буддийского культа, исповедуемого миллионами подданных русского царя в Азии, и иметь чиновников, знающих этот язык, было правительственною нуждою. На насущную нужду, утоляемую утонченною ака-



Первая страница автографа письма С. С. Уварова к Гете от 27 декабря 1810 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар



Вторая страница автографа письма С. С. Уварова к Гете от 27 декабря 1810 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

демиею, впрочем указал и сам Уваров: «весьма действительная польза, которую приносила бы академия, была бы уж в том, что она подготовляла бы переводчиков, в коих мы терпим нужду при сношениях с Турцией, Персией, Грузией и Китаем» [18]. Проект Уварова ярок и целен: это документ русского наступления на восток. Через восемнадцать лет из рук русского писателя А. С. Грибоедова, также почитателя и даже переводчика Гете, вышел схожий документ—«Общий взгляд на обширные виды, которые могут постепенно и по естественному ходу дел войти в круг действий учреждаемой в Тифлисе Закавказской Торговой Компании» и его же «Записка об учреждении Российской Закавказской Компании» (1828 г.) [19]. Оба—и Уваров, и Грибоедов—пытаются создать учреждения, которые сумели бы собрать в один фокус политические и экономические интересы России на Востоке. Оба учреждения хотят быть полуправительственными по своей организации: Уваров учреждает академию, которая, по его плану, кроме средств от правительства, должна была обладать и собственными источниками существования, Грибоедов основывает частную Компанию, но «на основе правительственных многоразличных привилегий, обращенных в закон» [20]. Разница задач: ученая академия—торгово-промышленная компания есть только разница эпох, когда зарождались эти учреждения: при Александре I надо было прежде всего знать Восток, чтобы удачно действовать на нем, при Николае I приходилось уже политически и экономически действовать и попутно запасаться знанием. Оба проекта политически были направлены против Англии, и оба не были осуществлены в связи с Англией: уваровский проект положила под сукно новая ориентация (с 1811 г.) политики Александра I—против Наполеона, следовательно, с Англией, грибоедовский проект был убит в Тегеране в 1829 г., при обстоятельствах, о которых даже Паскевич писал гр. Нессельроде, что «причины пагубного события были далеко небезызвестны англичанам, и они старались обострить враждебное нам настроение умов в Персии» [21].

Проект Уварова вызвал отзыв вел. кн. Екатерины Павловны, любимой политической собеседницы брата: «Это делает честь автору» [22]. Проект разослан был Уваровым по ученым и дипломатам Франции и нашел себе читателя, весьма компетентного не в маскировочном, а в истинном содержании проекта: Наполеон прочел его и, считая политически важным и практически ценным, предложил рассмотреть его «Институту». Академики, поняв урок Наполеона, рассыпались в похвалах Уварову [23].

Это была большая политическая удача Уварова; он отлично умел ее организовать, а именно для этого ее необходимо было скрыть: нужно было бросить весь свет европейского общественного мнения на научный фасад предприятия, чтобы тем успешнее в тени оно могло осуществлять свои действительные, но боящиеся яркого света политические задачи.

Мог ли Уваров не послать своего «Проекта» к Гете? Никто лучше Гете не мог бы бросить свет европейского культурного признания на фасад уваровской Академии. Уваров отлично знал, что городок, где жили Гете, Гердер (лестно помянутый в проекте) и их друзья, давно уже стал столицей германской, а может быть и европейской культуры. 27 декабря Уваров послал Гете свой «Проект» при следующем письме:

Ваше Превосходительство!

Беру смелость переслать Вам экземпляр моего первого литературного опыта. Пришло время и нам принять участие в современном великом движении всех идей, чтобы построить нашу культуру на прочной основе Во-

стока. Вам не чуждо это превосходное воззрение. В Ваших бессмертных творениях всюду господствует полнота высокого духа, который охотно пребывает в широких просторах прекрасной древности, чтобы потом творчески взлететь на вершину высокой поэзии. Прошу Вас не смотреть на мое писание, как на сочинение в строгом смысле слова, но скорее как на «записку» (Memoire), составленную для моего тестя, гр. Разумовского. Быть может это начинание будет иметь благие последствия и явится предвозвестником истинного света на нашем севере. Лучшей наградой мне будет знать, что Вы прочли это небольшое сочинение. Если Вы удостоите меня ответом, то прошу Вас отправить Ваше письмо по почте или с оказией в Петербург.

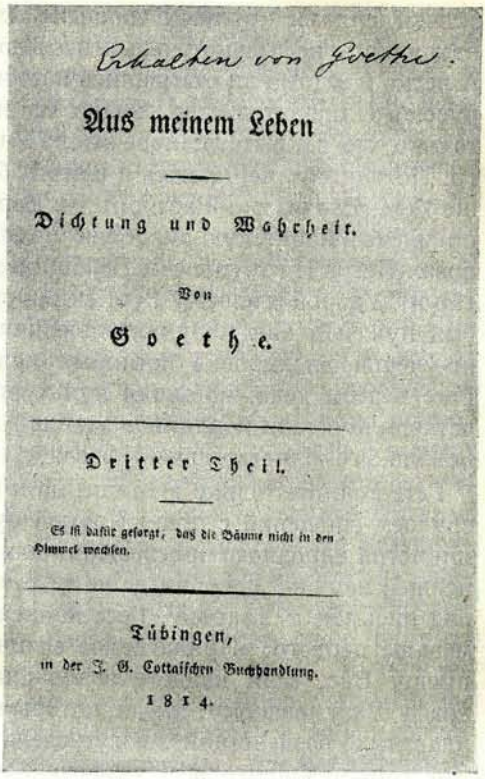
Остаюсь с глубоким почтением Вашего Превосходительства покорный слуга

Уваров,
Его Императорского Величества камер-юнкер [24].

На эту искательную лесть Гете отвечал большим письмом. К сожалению оно почему-то не сохранилось в Порецком архиве аккуратного Уварова, апологету Schmid'у оно осталось неизвестно и его приходится печатать по черновику, уцелевшему в архиве Гете в таком виде:

«С восхищением и радостью прочел я присланную, полную значения, записку (Memoire), с восхищением перед проникновенностью автора и широтой его кругозора, с радостью от его деятельности, от той доброй готовности, с какой он намерен применять свои знания в большом масштабе. Поистине мы живем в век итогов и resumés; так много произошло, так много нам предстоит, что мы отныне можем собирать, заканчивать, дополнять, продолжать, пользоваться результатами. Поэтому счастливы те, кто еще в молодости обладают способностями, влечением и нужными условиями для такой деятельности. Я ничего так не желаю, как того, чтобы Вы как можно скорее возглавили азиатский институт, стали бы распространять свет на обе части света, которым принадлежит государство Вашего великого монарха. По-царски способствовать этому начинанию—это усилило бы блеск, которым он умеет окружить свой трон. Из приложенных таблиц я не мог не усмотреть, что Ваши намерения направлены на то самое, к чему я давно и тщетно обращал свои желания: ибо, хотя я лишь набегами мог вторгаться в область индийской литературы, однако моя прежняя любовь к Веддам все время получала новое питание благодаря исследованиям Соннера, усердным трудам Джонса, переводам «Саконталы» и «Джита-Говинды» [25], и некоторые легенды соблазняли меня их обработать; очень давно носилась у меня в мысли и поэтическая обработка Ведд; хотя бы она и не встретила со стороны критики высокой оценки, тем не менее она могла бы оживить для многих представление об этих глубокомысленных и прекрасных преданиях.

А так как новому восточному обществу будет предоставлена возможность integros adire fontes (проникнуть к чистым истокам) и проследить многообразные пути, намеченные Вашим превосходительством, то благодаря этому должен возникнуть совершенно новый мир, в котором нам можно будет вдоволь пространствовать, укреплять своеобразие нашего духа и освежать его к новой деятельности. Меня бы, например, осчастливило, если бы я дожил до полного перевода «Джита-Говинды».


Erhalten von Goethe.

Aus meinem Leben

Dichtung und Wahrheit.

Von

Goethe.

Dritter Theil.

Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Tübingen,
in der J. G. Cottaischen Buchhandlung.
1814.

Титульный лист экземпляра книги Гете „Dichtung und Wahrheit", подаренной им С. С. Уварову
Наверху надпись, сделанная рукой Уварова: „Erhalten von Goethe"
Библиотека Исторического Музея, Москва

Сказанного слишком много для сопровождения моей искренней благодарности за присылку превосходного проекта, которому я желаю наилучшего успеха: успех не может не быть—и вследствие внутренней ценности проекта, и ради благоприятных условий, в которых Вы находитесь. Прошу Вас время от времени давать мне вести о радостных удачах и поручаю себя и впредь Вашей благосклонной памяти. Имею честь с особым уважением подписаться...» [26]

Не без некоторого стыда за «удачу» Уварова перечитываешь теперь это письмо. Гете ответил ему с исключительной серьезностью, с глубокой культурной верой в великое значение его проекта Азиатской академии, с надеждой на ее осуществление; Гете так был затронут проектом Уварова, что приоткрыл перед ним свои собственные творческие и научные чаяния, обращенные к Востоку (не надо забывать, что через три года после письма Гете начал работу над «Западно-восточным Диваном»), чаяния, воплощения которых можно было ждать от Азиатской академии. Почти трогательно звучит признание великого поэта, что его «осчастливило бы, если бы он дожил до полного перевода «Джита-Говинды», и еще трогательнее его наивная убежденность, что и автор «Проекта», подобно ему самому, очень скорбит оттого, что «мог лишь набегами вторгаться в область индийской поэзии».

Уваров мог быть доволен: умный победил гениального. У него, что называется, «клюнуло»: Гете сразу заинтересовался проектом, с первого же слова хвалил Александра I за готовящийся вклад в европейскую культуру. Гете был необходим агенту русского правительства. Азиатская академия со всей многосторонностью своих заданий могла быть осуществлена

только силами крупных европейских ученых: в России для Востока не находилось не только ученых исследователей, но и простых переводчиков. А легко и охотно ли отзывались настоящие европейские ученые на призывы русского правительства, видно из истории Харьковского университета, только что открытого: попечитель Уваров знал, что другому попечителю, гр. Потоцкому, не удалось и в этом, более простом деле обойтись без помощи Гете. Его высокий авторитет в Европе ученой и культурной должен был привлечь в Азиатскую академию подлинные научные силы. Уваров имитировал Петра I: тот голосом Лейбница звал европейских ученых в Академию Наук, Уваров голосом Гете скликал их в Азиатскую академию. Но Гете был нужен и как монументальнейший участник в великолепной культурно-ученой маскировке истинных политических задач Академии: участие Гете в этом деле, повышая культурный кредит самодержавия в Европе, оставляло в тени подлинное здание Академии и с особою яркостью расцвечивало его блистательный фасад.

Гете впал не только в обман, но и в соблазн. Он решил воспользоваться случаем сношений с правой рукой русского всесильного—как он думал—министра народного просвещения для того, чтобы дать ход своей излюбленнейшей научной идее, нигде не встречавшей признания. Уже подписавшись под письмом к Уварову, Гете написал ему, в сущности, второе письмо, не меньше первого: «Прилагаемое сочинение, посвященное учению о цветах, прошу Вас, если найдете возможным, передать его превосходительству графу Разумовскому. Люди, которым дан, как ему, самый широкий круг властных воздействий, могут сделать доступным и для массы все то, что есть истинного и полезного в подобной работе. Содержание и задачи этого сочинения, над которым я работал много лет, обстоятельно и подробно изложены в конце прилагаемой тетради (in quarto); к ним я ничего не прибавлю. Я должен только высказать ближайшие побуждения, заставившие меня послать Вам эту работу. Дело в том, что его сиятельство князь Репнин [27] направил в Петербург проф. Рейссига из Касселя, искусного механика и оптика. Он давно знаком с моими задачами и средствами к их решению и, руководствуясь моим сочинением, уже изготовлял для друзей естествознания различные стекла и инструменты, необходимые для основных опытов. Он мог бы, еслиб это было найдено интересным, соорудить полную аппаратуру для какого-либо научного института». На этом Гете мог бы закончить высказывание своего заветного чаянья: увидеть, хотя бы в России, правильно поставленные опыты по своей теории цветов, но он знал, что пишет зятю гр. Разумовского, и закончил придворно-льстивой мотивацией: «и, быть может, из этого (из опытов по «Farbenlehre».—*С. Д.*) возникло бы что-нибудь приятное и занимательное для князя (für den Fürsten), любящего искусство и науку», и указал Уварову на таких примерных «князей»: «несколько дней назад мы имели счастье приветствовать здесь прекрасную чету Репниных, находящихся в таком близком родстве с вами [28], и желаем, чтоб их путешествие счастливо продолжалось и закончилось» [29].

Этому большому письму к Уварову, посланному 27 февраля 1811 г., предшествуют отметки в дневнике Гете, свидетельствующие об интересе к Уварову и его проекту: 21 февраля: «После обеда проект Азиатской академии»; 22-го через русского посланника Г. Струве «известия об Уварове». 27-го письмо пошло в Петербург с герцогским курьером [30], и в этот же день Гете писал Кнебелю: «В Петербурге совершилось очень приятное для меня событие. Молодой человек, по фамилии Уваров, камер-юнкер, зять

гр. Разумовского, министра народного просвещения, прислал мне посвященную его тестю записку, содержащую проект азиатского общества, цель которого—способствовать познанию языков и литературы всех древних и новых восточных народов. Наш маленький Клапрот, которого ты верно помнишь, вошел теперь в честь за свое знание Китая. Автору только 25 лет, и кажется можно ожидать, имея в виду его живое стремление и благоприятные внешние отношения, что его поставят во главе подобного учреждения» [31].

Очень существенно упоминание в этом письме Клапрота (Julius-Heinrich Klaproth, 1783-1835). Уваров вверил ему всю «китайскую часть», а также грузинско-армянскую, своего проекта. Это был немецкий ориенталист на службе русского правительства: оно посылало его в 1805 г. в Китай, а в 1807—1808 гг. в Закавказье (о чем упоминает и Уваров в «Проекте»). Гете знал Клапрота по Иене. Допустимо предположение, что этот ученый веймарско-иенского круга Гете, отдавший предпочтение русским полновесным червонцам перед тощими веймарскими талерами, и подал Уварову первую мысль обратиться к Гете, сообщив об его глубоком интересе к Востоку. Участие Клапрота в предприятии Уварова повышало интерес к нему Гете. Гете были известны труды Клапрота, выходившие в Веймаре: «Asiatisches Magazin, Bd. I u. 2» (W. 1802), «Verzeichnis der chinesischen Bücher der Büttnerischen Bibliothek» (W. 1804). Позднее Гете ознакомился и с другой книгой Клапрота: «Reise in den Kaukasus und nach Georgien in den Jahren 1807 und 1808. Halle und Berlin 1812—1814». 10 ноября 1813 г. Гете упоминает Клапрота в дневнике и тогда же пишет о нем Кнебелю как о «воплощенном китайце». Гете познакомился и с начальником неудачного русского посольства в Китай, как явствует из карлсбадской записи 27 июля 1812 г.: «Гр. Головкин, начальник чрезвычайного посольства в Китай. Карта России, проницательный разговор графа»; отмета позволяет думать, что Головкин заинтересовал Гете именно как русский правительственный китайских дел мастер. В июле 1813 г. опять отмечены у Гете встречи с китайским Головкиным [32].

Этот «китайский эпизод»—одно из многих доказательств того исключительного интереса, который проявил Гете к предприятию Уварова.

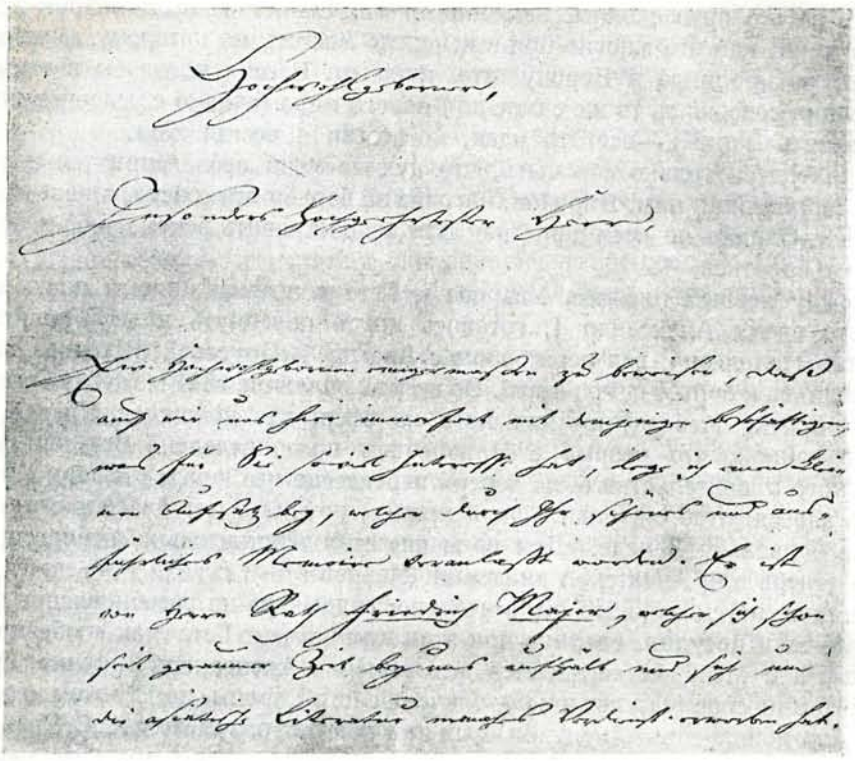
Он понял письмо этого камер-юнкера от науки как призыв к прямому участию в деле и 17 августа 1811 г. давал ему отчет в сделанном:

«Чтобы до некоторой степени доказать Вашему Высокоблагородию, что мы здесь также безустанно заняты тем же самым, что для Вас представляет такой интерес, я прилагаю небольшую статью, внушенную Вашей прекрасной и пространной запиской. Это—произведение г. советника Фридриха Мейера, который вот уже некоторое время находится у нас и который приобрел себе немалые заслуги в области азиатской литературы» [33]. Гете переслал Уварову целый контрпроект, написанный—конечно по его внушению—приват-доцентом Иенского университета Фр. Мейером (1772—1818), прочтенный и одобренный самим Гете. Мейер с первых же строк льет воду на мельницу Уварова и Александра I: «Рано или поздно русское правительство, сообразно своей истинной пользе, станет обращать свой взор все более, или, по крайней мере, с таким же вниманием, на Азию, как и на Европу. Как много мог бы помочь подобный институт созданию и поддержке проектов и предначертаний, отсюда возникающих». Мейер и Гете заблуждались, думая, что русское правительство лишь в будущем («рано или поздно») поймет свои задачи в Азии: оно понимало их уже и в настоящем и радо было услышать от Мейера и Гете такое идиллически-

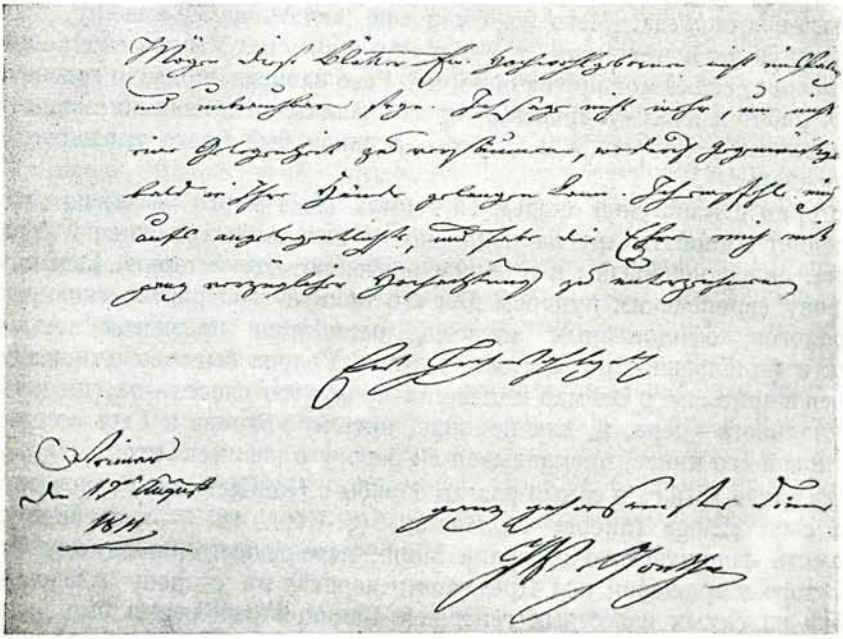
раскрашенное (маскировка удавалась!), но по существу верное понимание целей будущего института: он должен служить колониальным задачам России в Азии; Александр I мог быть благодарен Гете-Мейеру за великолепный идеалистический перевод этих реалистических целей: «В планах мироустройства, кажется, предназначено свыше существование исполинского государства, которое вновь установит почти прерванную духовную связь обеих частей света, бывших издавна главной ареной всей высокой человеческой культуры, и приведет к полному, длительному и плодотворному их взаимодействию. Тем, чем были когда-то египтяне для народов в пределах Средиземного моря: мостом, по которому азиатская культура достигла до нас,—тем самым, только в еще более высоком значении, Россия может стать для Европы и Азии. В более высоком значении, потому что Россия сознательно и умышленно может сделаться таким посредником, тогда как Египет сделался им случайно и бессознательно. В этом отношении русскому правительству представляется самый блестящий случай стяжать неумирающую заслугу перед человечеством в области его высших интересов». Далее Мейер намечает схему организации Азиатской академии как ученого и учебного учреждения, развивает детальную программу предстоящих изучений, подчеркивая, как и Гете, главным образом область индийской культуры, языка и искусства, дополняя и усложняя наметки уваровского проекта. Записка Мейера ставила практическую цель. Он, с одной стороны, усиленно старается заинтересовать в Азиатской академии русское правительство, указывая, что в «учебном заведении» при академии подготовлялись бы «питомцы для политических целей управления—для дипломатических сношений с азиатскими соседями»; с другой стороны, он озабочен тем, чтоб было налажено и обеспечено привлечение к трудам академии иностранных ученых. Эти иностранцы «должны были бы получать или законодательно проведенную ежегодную плату, или такое вознаграждение за свои труды, которое было бы достаточно для поощрения и соревнования». Конечно для Мейера эти «иностранные ученые»—прежде всего немецкие ученые, и он спешит рекомендовать Уварову великого друга Гете: «Нельзя положить более блестящего начала экспедициям», организуемым академией, как «если побудить знаменитого Александра Ф. Гумбольдта совершить давно им намеченное путешествие в Азию из России и посетить, со всеми необходимыми средствами, Среднюю Азию, Тибет и Индию». Мы знаем, что эта наметка Мейера-Гете, в некоторой части своей, при поддержке и покровительстве русского правительства, осуществилась при Николае I. К российскому востоковедению Мейер очень предусмотрительно предлагает привлечь и миссионеров, и широкую сеть «членов-корреспондентов из всех сословий». Эти советы были по вкусу заказчиков, но они вероятно не без улыбки читали другие советы Мейера: заняться немедленно изданием трудов по санскриту Фр. Шлегеля и самого Мейера [34].

Гете и Мейер не скоро дождались ответа Уварова. Только 11 ноября (н.с.) 1811 г. собрался он, и очень кратко, им ответить:

«Ваше Превосходительство! Ваше любезное письмо я получил с великой радостью. Для меня было радостной вестью узнать, что Вы с участием относитесь к идеям, которые, хотя еще и далеки от осуществления, способны однако возбуждать всеобщий интерес. Беру смелость послать Вам, Ваше Превосходительство, экземпляр немецкого перевода, который я несколько улучшил добавлениями. Прошу Вас передать один экземпляр г-ну советнику Фридриху Мейеру как знак моего уважения и благодар-



Первая страница автографа письма Гете к С. С. Уварову от 17 августа 1811 г.
Исторический Музей, Москва



Вторая страница автографа письма Гете к С. С. Уварову от 17 августа 1811 г.
Исторический Музей, Москва

ности за его превосходные замечания. Что Египет не был центром древнего мира, как это многие принимают, но мостом, по которому азиатская культура проникла в Европу, что, наконец, Россия могла бы в высшей потенции совершить то же самое для нового мира (однако с условием чище сохранять формы),—все это идеи, которыми я всегда жил.

Приходится только сожалеть, что дух времени неблагоприятен и стал невосприимчив к ним. Впрочем, награда за борьбу прекрасна, а надежды—велики. Однако не всем дано, как Вам, либо править веком, либо победно с ним бороться» [35].

Между первым письмом Уварова к Гете и вторым прошел почти год: за это время Александр I, готовясь круто повернуть колесо политики против Наполеона, вел переговоры с Австрией, Пруссией, Швецией, приготовляясь к борьбе с Францией. Во второй половине 1811 г. (когда Гете послал проект Мейера) ни для кого из сфер, где вращался Уваров, не было тайной, что разрыв с Наполеоном предопределен. Все внимание русского правительства было теперь перенесено на Запад; о Востоке была одна забота: чтоб он «спал, покой храня», покуда будет благоприятно решена борьба на Западе. «Дух времени» стал действительно «неблагоприятен» теперь для Азиатской академии. Уваров это и сказал Гете почти без обиняков, но сказано это было неглупо: «надежду» на возобновление дела он все-таки посулил, ввернув при этом комплимент Гете как «победителю века», а с Мейером согласился, что империя Александра I, точно, будет Египтом по своему культурному значению для Европы, но Египтом исправленным, дополненным и улучшенным при участии, разумеется, С. С. Уварова.

Гете получил отпуск от Уварова: он пока был ненужен. Сам Уваров для своей политической и ученой карьеры взял большие проценты с «проекта». Он стал известен Наполеону, удостоился похвал в кругу царской семьи, а французские академики, Гете и немецкие ученые сочли его за ученого-востоковеда. Чего же было еще желать камер-юнкеру, произведенному «в ум и в знание», как в следующий чин? Уваров еще более был бы доволен, еслиб мог прочесть то, что Гете написал, подводя годовой итог своих работ и дум: «уваровский проект Азиатской академии завлек меня в те области, в которых я и без того склонен был более продолжительно поблуждать» [36].

История с Азиатской академией заняла здесь много места, но зато она позволяет миновать другие подробности письменных сношений Уварова с Гете: они однообразны и в общем повторяют эту историю. Гете служил Уварову европейским рупором для его политико-патриотических речей и некрологов, официальных записок, memoire'ов президента Академии Наук и филологических опытов. От этого Уваров был необыкновенно исправен в присылке в Веймар малейших продуктов своего—на три четверти официального—пера, и, как правило, письмо Уварова к Гете всегда идет при новой его книге, прокладывая ей дорогу в кабинет Гете.

В феврале 1814 г., в самый разгар борьбы с Наполеоном, Уваров прислал Гете свой «Éloge funèbre de Moreau» (S.-Ptsb. 1813)—хвалебное слово в память французского генерала Моро, перешедшего на службу России и убитого в сражении под Дрезденом; переход на сторону Александра I одного из самых известных генералов Великой революции был большим козырем в политической игре Александра: выходило, что под его знамена стекаются все, кому дорого дело освобождения Европы. Уваров спешил быть истолкователем для Европы этого успеха своего царя. Гете мог быть

при этом прекрасным рупором, и он действительно писал Уварову, что «благородный Моро нашел благородного почитателя, который так правдиво и в то же время искусно и художественно сумел изобразить заслуги необыкновенного человека» [37].

В следующем же письме (16/VI 1814 г.), поблагодарив Гете за отзыв о «Moreau», Уваров посылал Гете новый продукт своего пера, очиненного острым политическим ножом: «L'Empereur Alexandre et Bonaparte» (S.-Ptsb. 1814), предупреждая своего веймарского читателя: «Я обязан был высказать о нашем великом императоре еще одно серьезное слово и я выполнил это с тем большей охотой, что предмет предстал пред нами столь прекрасен и свят» [38].

В 1815 г. (2/XII), в самый разгар работ своих над «Западно-восточным Диваном», Гете пробовал заговорить с Уваровым об Азиатской академии: «В силу особых обстоятельств я приблизился к изучению Востока, и хотя незнание языков полагает мне некоторое препятствие на пути, я снова, однако, взялся за Ваш проект восточного общества и извлек из него много полезного и для моих целей» [39]. Уваров в ответном письме (13/III 1816 г.) ни словом не отозвался на этот намек: политика еще клала под сукно российское «востоковедение», так все внимание еще было устремлено на Запад. Но как только западные дела показались устроены, пришел черед Востока. В 1818 г. не только впервые послано было постоянное дипломатическое представительство в Персию, но и последовало открытие восточных кафедр в Главном педагогическом институте, вскоре преобразованном в Петербургский университет. Уваров, только что возведенный в следующий чин—в президенты Академии Наук,—произнес тогда, по ядовитому определению Греча, «ультра-либеральную речь, за которую впоследствии сам себя посадил бы в крепость» [40]. Речь была не только о пользе восточной словесности, но и о пользе дворянской конституции. «Либерализм» Уварова был простым сервилизмом: он произносил свою речь 22 марта (ст. ст.), а за неделю перед тем—15 марта—Александр I произнес свою известную конституционную речь при открытии польского сейма. На Западе она произвела сильное политическое впечатление, напугав Пруссию и Австрию, чего и желал Александр I. Уваров, разглагольствуя о политической свободе, что она «есть последний и прекраснейший дар бога», и уверяя, что «в опасностях, бурях, сопровождающих политическую свободу, находится вернейший признак всех великих и полезных явлений одушевленного и бездушного мира», пугал «словенороссского» адмирала Шишкова, но был отличным русским и европейским подголоском Александра. Его речь вышла отдельной книжкой и по-русски, и по-немецки [41]. Гете опять понадобился для должности европейского рупора, и 25 августа 1818 г. Уваров уже писал ему: «При этом Вы получите, превосходный друг, немецкий перевод произнесенной мною русской речи. Пусть и в чуждом обличьи получит она Ваше одобрение. Участие, которое Вы принимаете в развитии изучения Востока, столь живо, что Вам, быть может, приятно будет услышать и от нас кое-что, относящееся к этому. Со своей стороны я всякий раз чувствую себя обязанным

Heraus zu treten in das Leben
In Tat und Wort, in Bild und Schall

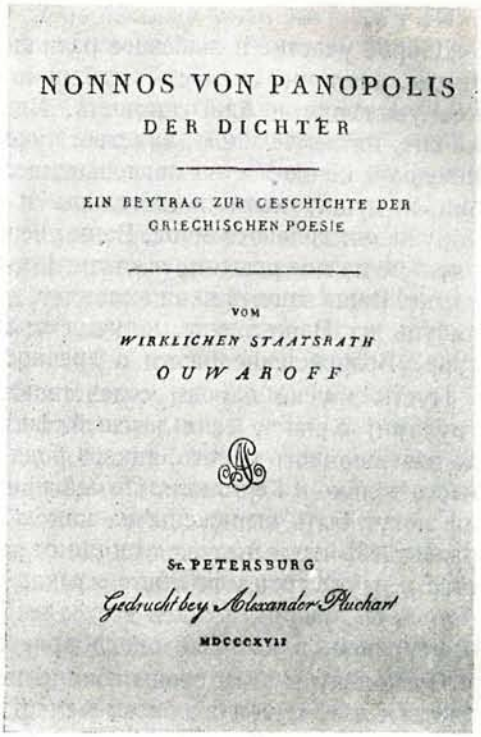
[выступить в жизнь, в дело и слово, в образ и звук] и Вам, любимому превосходному наставнику, дать в том отчет. Оставайтесь надолго пастырем Вашей родины и гордостью Ваших друзей» [42]. Повторяем: каждое

письмо Уварова привносило в кабинет Гете какую-нибудь его брошюру, которую—к выгоде его карьеры и «для пользы службы» самодержавию—должен был прочесть Гете: ведь Гете 1810—1820 гг. со своими бесчисленными посетителями и собеседниками был лучшей изустной «литературной газетой» своего времени.

В начале 1816 г. Уваров предварил Гете, что «печатает одно немецкое сочинение» и «так смел, что решается посвятить его» Гете [43]. Это было его исследование о «последнем древнегреческом поэте»—«Nonnos von Panopolis, der Dichter. Ein Betrag zur Geschichte der Griechischen Poesie. S.-Ptsg. 1817». В своей речи о Гете в 1833 г. Уваров прямо и решительно заявлял: «Книга моя напечатана и издана под охранением Гете; он подстрекнул сочинителя». К чему подстрекнул? К сочинению книги или к писанию ее на немецком языке? Уваров благоразумно умалчивает; письма Гете с «подстреканием» к сочинительству нет ни у Шмида, пользовавшегося уваровским архивом, ни в Веймарском издании. Сам же Уваров привел в своей речи лишь отрывок из другого письма Гете, где он на слова Уварова, что «тщетно искал ученого немца, который бы принял на себя труд пересмотреть рукопись», увещевал президента российской Академии Наук: «Настоятельно прошу Вас, даже требую от Вас обещания никогда не поверять никому из немцев так называемого Вами просмотра рукописей Ваших. Наверно слог Ваш от этого потеряет все, что в моих глазах драгоценно, а в замену приобретет прикрасы, о коих я нимало не забочусь. Пользуйтесь тою важною выгодой, что Вы не знаете немецкой грамматики: лет тридцать стараюсь я забыть ее» [44].

Когда Гете дал Уварову столь удивительный совет и сделал столь поразительное признание? Сам Уваров в речи своей объясняет дело так: «Посылая ему книгу, я писал, что он верно найдет в ней выражения иностранца, руссизмы, даже несколько солецизмов», и дальше приводит в свое оправдание указание на поиски «ученого немца». Этого письма Уварова что-то нигде не отыскивается: его нет ни в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре, как явствует из справки, полученной нами в июне 1932 г., его нет в Уваровском архиве, хранящемся теперь в Москве, в Историческом музее; оно осталось неизвестно и Шмиду, писавшему в 80-х годах по документам, полученным от Уваровых, и Веймарскому изданию. Есть в письме и одна странность: Уваров не мог отыскать «ученого немца»! Да ведь Петербург и Академия Наук кишели ими! Можно поймать Уварова с поличным: такого «ученого немца» он отлично знал, пользовался, по собственным признаниям, его научными услугами, в 1825 г. рекомендовал его Гете как своего друга: это был—каждый внимательный читатель этой работы мог бы рекомендовать его Уварову—это был профессор (впоследствии академик) Фр. Грефе, с которым Уваров и занимался тем самым «Нонном из Панополиса», которому была посвящена немецкая работа Уварова; немца, стало быть, нечего было и искать: он стоял за спиной Уварова—«ученого». Письма Уварова с «немцем» у нас нет, и вряд ли оно существовало, но у нас есть то письмо Гете, в котором он благодарит Уварова за присылку книги о «Нонне из Панополиса». Это письмо от 28 марта 1817 г.; читатель найдет его немного ниже и убедится, что в нем н е т тех слов Гете, которые Уваров привел в своей речи, будто бы из письма, которым Гете отвечал на присылку книги. Может быть было еще какое-то письмо Гете, шедшее рядом с этим и заключавшее приведенную

Титульный лист сочинения С. С. Уварова „Nonnos von Panopolis der Dichter", посвященного Гете (СПБ, 1817)
Публичная Библиотека им. Ленина, Москва


NONNOS VON PANOPOLIS
DER DICHTER
EIN BEYTRAG ZUR GESCHICHTE DER GRIECHISCHEN POESIE
VOM
WIRKLICHEN STAATSRATH
OUWAROFF
St. PETERSBURG
Gedruckt bey Alexander Pluchart
MDCCCXVII

выше похвалу забывшим или незнавшим грамматики? Но такого письма тоже нет нигде. С некоторою растерянностью недавно (1921 г.) писал Евг. Цабель (Eugen Zabel), процитовав знаменитое место о грамматике: «К сожалению этого места нельзя найти, как мне было подтверждено заведывающим архивом Гете и Шиллера в Веймаре, проф. Dr. J. Wahle, ни в напечатанных письмах издания Софии (Веймарское издание.—*С. Д.*), ни в труде Г. Шмида, хотя этот последний напечатал с оригиналов восемь писем Гете, хранившихся в Уваровском семейном архиве в Поречье (теперь он в Москве.—*С. Д.*). Поэтому приходится думать, что письмо, содержащее это место, утеряно» [45]. Приходится думать—поправим мы Цабеля,—что письмо это сочинено Уваровым: иначе пришлось бы дивиться жестокости случайностей: из всей переписки Гете с Уваровым пропали лишь те два письма Гете, которые были особенно лестны для Уварова, и то одно письмо самого Уварова, в котором особенно высоко было его научное смирение. Чтобы покончить с «жестокостью случайностей», приведу из речи Уварова те слова его, которыми он сопровождает знаменитый гетев апокриф о безграмотности: «Несмотря на внимание великого писателя, можно б принять сии строки за легкую иронию, еслиб в то же самое время не повторил он тех же похвал и не объявил бы того же мнения в изданном тогда сочинении: Kunst und Alterthum» [46]. Читатель найдет дальше этот отрывок Гете из «Kunst und Alterthum» и убедится, что по жестокой случайности ничего этого Гете не «повторял» и не «объявлял».

Нужно прочесть «посвящение» «Нонна из Панополиса», чтобы оценить декламационное и дипломатическое мастерство Уварова: оно заразило и самого Гете:

Г е т е.

Доброе участие и любезное расположение, коими Вы всегда дарили мои труды, дают мне смелость публично засвидетельствовать Вам свое глубокое уважение и благодарность. Вы имеете давнее и постоянное право на сие, питаемое мною, чувство: чудесные плоды Вашего духа, некогда на немецкой почве жадно поглощавшиеся юношей в полном согласии фантазии и души, ныне живительны и благотворны для мужа в смутном окружении делового мира. Ваше увещающее слово оказало также большое влияние на мое решение выступить ныне, как писатель, на чужом для меня языке. Ваша защита меня охраняет, да и кто осудил бы меня, еслиб я когда-нибудь из Ваших рук получил право гражданства в немецкой литературе? Возрождение науки о древности принадлежит немцам.

Пусть другие народы содействовали ему важными предварительными трудами; однако, если высшей филологии суждено когда-либо дорасти до завершонного целого, такого рода палингенезис мог бы, конечно, иметь место только в Германии. По сей причине некоторые новые воззрения едва ли могут быть выражены на каком-либо другом из новых языков. Надо надеяться, что ныне уже отошли от ложной идеи политического превосходства в науке того или иного языка. Настало время, когда каждый, не заботясь об орудии, должен всегда выбирать язык наиболее близкий к тому кругу идей, в который он собирается вступить.

Поскольку я этим своим сочинением также намеревался публично признаться в том, чем я обязан немецкой культуре и немецким друзьям, я, как почитатель Ваш, считал своим долгом посвятить эти страницы Вам, красе Вашего народа, великому мастеру немецкого языка и искусства.

13 ноября 1816 г. Автор.

Содержание «Посвящения» можно выразить в трех словах: «Я и Гете». Уваров сумел из своего посвящения Гете сделать настоящее «предисловие Гете» к своей работе. Мало того: сумел сделать себя немецким писателем, которого благословил на это сам патриарх немецкой литературы: нельзя было тоньше и удачнее восхвалить себя и выйти на дорогу европейского ученого писательства. В «предисловии» была и своя доля либерализма: отвергалось «политическое превосходство в науке того или другого языка».

Гете 28 марта 1817 г. отвечал Уварову не на его книгу, а на его «посвящение». Вот это замечательное письмо: «Вы доставили мне счастливые мгновения открытым свидетельством Вашего доброго расположения и приверженности ко мне. Всякий, кто ощущает в себе волю к творчеству, всюду встречает, пока он живет и творит, сопротивления и препятствия: ему лишь изредка приходится наслаждаться тем днем, когда он совершит что-нибудь доброе. Да и в нем самом живет постоянно стремление к лучшему, и все, сделанное им, уже не может не казаться ему слабым, почти недостойным внимания. И только впоследствии, когда обнаруживаются результаты, когда он заметит, что современники воспринимают его надежды, стремятся к их осуществлению и двигаются дальше,—только тогда почувствует он себя подлинно живым существом, составляющим единое целое со всеми остальными.

Такое чувство возбуждало во мне каждое из присылаемых Вами произведений, особенно же последнее, где Вы столь любезно вводите меня в круг Вашей деятельности. Спешу сердечно выразить Вам мою предварительную благодарность и оставляю за собою право высказать Вам в даль-

нейшем—в одной тетради, которая скоро должна быть закончена печатаньем,—мою радость по поводу достоинств Вашего труда и по поводу высказанной Вами верной мысли об употреблении различных языков для выражения разнохарактерных целей. Как раз для нашего времени эти слова звучат как желанное благовестие (Evangelium), возвещающее немцу, что он, вместо того чтоб замыкаться в себе самом, должен принять мир в себя, чтобы на него воздействовать. Ваш пример неоценим» [47].

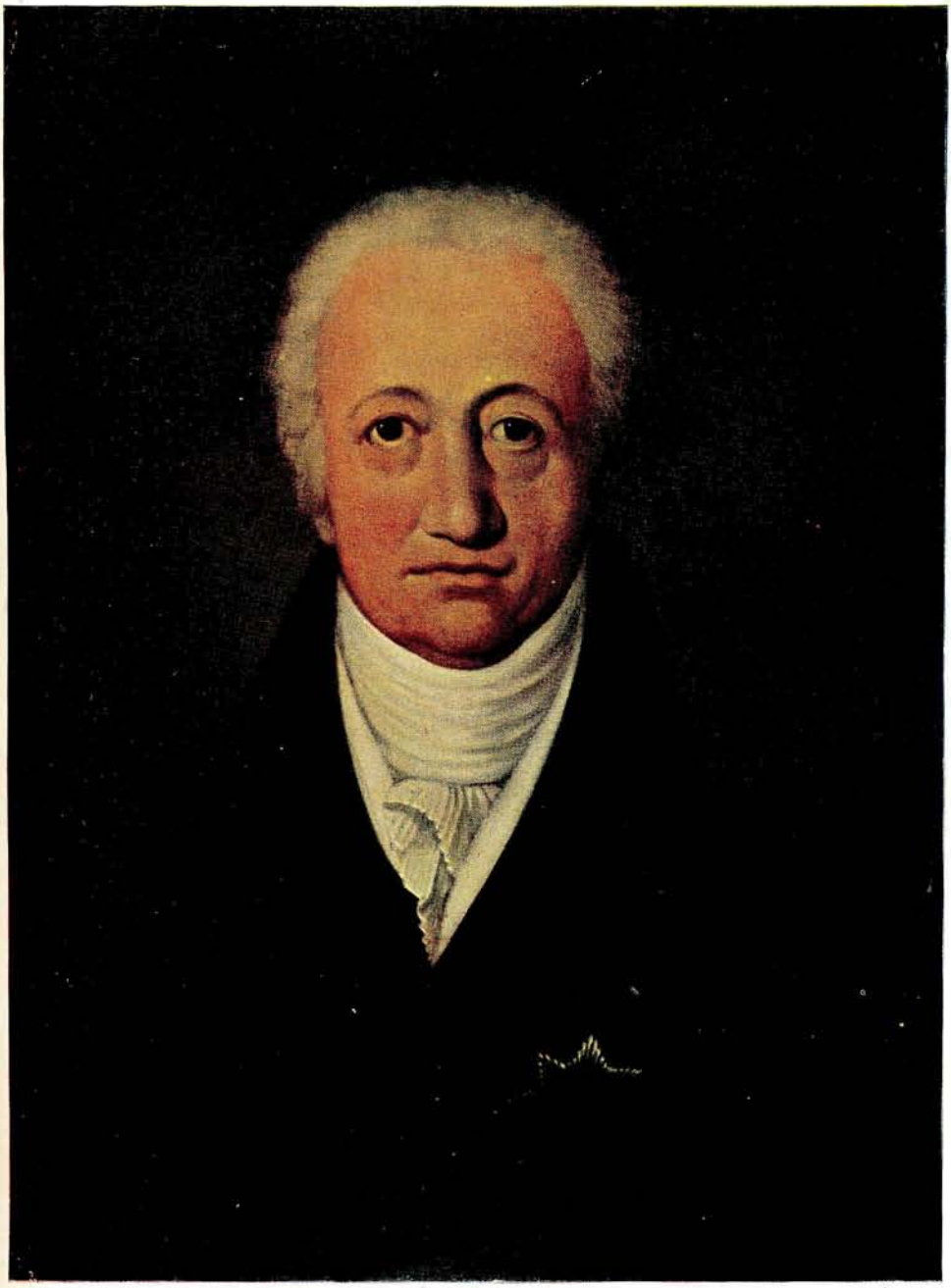
Письмо Гете поражает своей искренней простотой и простой искренностью. Как далеки от пресловутого невозмутимого «олимпийства» эти признания в вечной писательской неудовлетворенности, в этом творческом одиночестве! Гете х о ч е т быть не «олимпийцем», далеким от долин и плоскогорий жизни, а современником своих современников: по крайней мере ему дорог и нужен их отклик, а не эхо веков, на его произведения, их деятельное отзвучие на его надежды и мыслительные чаяния, и писательское счастье он испытывает лишь тогда, когда он—«одно живое существо» со своим веком и современностью. Признания исключительной цены, если вспомнить, как скуп Гете-старик на высказывания такого рода!

Но по какому ошибочнейшему поводу они высказаны! Гете мнит видеть живой, горячий, искренний отклик современника там, где на деле—умный и тонкий политический расчет: «и мы, слуги императора всероссийского, можем дать ученой Германии урок научного либерализма». Злой иронией звучит намерение Гете поставить Уварова в пример немцам как ученого-интернационалиста. Известно, с каким недоверием и прямым отчуждением относился Гете к немецкому освободительному патриотизму 1813 г., как мало он верил в общекультурную значительность этого националистического литературно-философского «германизма» и сколько упреков сыпалось на него за то, что и политически, и идеологически, и творчески он был чужд ему, если не враждебен. В уваровском заявлении—о праве ученого писать на любом языке, которого потребует сама наука и ее предмет,—Гете видел великолепный урок немцам, тем более внушительный, что урок этот исходил от представителя народа, который так же, как немцы, торжествовал победу над Наполеоном и мог предаваться националистическому похмелью. Как жестоко ошибся здесь Гете! Он мог бы легко узнать это, если бы он дожил до 1833 года, когда «интернационалист-ученый» был сделан министром народного просвещения и почтительно преподнес Николаю I знаменитую формулу: «Православие—самодержавие—народность», формулу, в зерне прозябавшую и во всей идеологии Азиатской академии. Ознакомься с нею Гете (у Уварова верно хватило бы смелости преподнести и ее своему «другу»!), он понял бы, что официальная народность Уварова круче, исключительней, жестче неофициальной «народности» немецких студентов, поэтов и философов 1813 г. Знай все это Гете, ему пришлось бы взять назад свой пример, который он выставил в 1817 г. в поучение немцам. А он его действительно выставил—и очень четко—в своем журнале «Kunst und Alterthum» (1817, B. I, 3 Heft, S. 63):

«Будет уместно привести благосклонное мнение, которым одарил нас, немцев, один замечательный иностранец. Русский действ. ст. сов. Уваров с почетом отзывается о нас в своем ценном сочинении «Nonnos von Panopolis»: в предисловии, обращенном к старому другу и благожелателю...» Гете приводит соответствующее место из посвящения Уварова (от слов «Пусть другие народы...» до «...собирается вступить») и с решительной силой и воодушевлением спешит присоединиться к мнению Уварова: «В этом

наконец-то слышится голос человека способного, талантливого, с подвижным умом: высоко поднявшись над скудной ограниченностью застывшего языкового патриотизма (Sprachpatriotismus), он всякий раз выбирает, подобно мастеру музыкального искусства, те регистры своего прекрасно оборудованного органа, которые выражают смысл и чувство мгновения. Пускай же все образованные немцы благодарно запечатлеют в памяти эти почетные и поучительные слова, и пусть одаренные юноши воспламенятся ими к тому, чтобы овладеть многими языками как орудиями жизни, применимыми в любых случаях» [48]. Уваров мог сиять, читая эти строки в гетевом журнале. Он и в 1833 г. не отказал себе в удовольствии напомнить слушателям об этом отзыве Гете. Реальный же комментарий к пышным фразам, очаровавшим старика Гете, был очень прост: дилетант в области греческой филологии, до конца, по осторожному выражению академика Грефе, «не довольно уважавший» греческую грамматику, Уваров хотел блеснуть перед Европой своим исследованием о Нонне из Панополиса, писанным под указку Грефе, который был первым знатоком и издателем текста этого поэта; но чтоб заставить читать русское исследование по классической филологии, чтоб найти себе читателей и рецензентов—на каком же языке его и писать, как не на немецком? Расчет был верен. А чтоб читатели и рецензенты были благосклонны к автору, Уваров предусмотрительно заручился рекомендацией Гете—и в своем «посвящении», построенном так, что оно смахивало на «предисловие Гете», и в отзыве Гете в его журнале. Но у классического Уварова была и реальная подоплека: ведь отзыв Гете—дважды печатно повторенный—во всеуслышанье выражал комплимент просвещенному либерализму русского государственного деятеля. В эпоху, когда Александр I производил конституционные маскарады в Польше и хотел, чтоб им верила Европа, это была некоторая копеечка серебром, положенная на текущий культурный счет русского самодержавия, не очень-то щедро открытый ему Европой.

Панегирический автор легендарного «сказания о Гете и Уварове», д-р Г. Шмид, выражает удивление: «Поражает, что Уваров, вопреки своей оценке немецкого языка в посвящении к «Nonnos», воспользовался им в своих работах еще всего лишь один раз [49], а другие работы выдавал на французском языке» и—один раз—на русском. Когда Уваров справлял 25-летие своего президентства, он издал (в 1844 г.) собрание своих филологических опытов также по-французски, а не по-немецки («Etudes philologiques et critiques»). Уваров знал, что делал: для того, чтобы в качестве ученого представиться немецким филологам, достаточно было двух сочинений по-немецки. Но тот, кто хотел, чтоб его читали политически-властные круги, тот должен был писать по-французски: это был язык реакционного интернационала дипломатов, придворных и реставрированных феодалов, правившего Европой под именем Священного Союза. Политическому спекулянту и ученому шарлатану, каким был Уваров, необходимо было перейти на этот эсперанто эпохи всеевропейской реакции. Он так и сделал: по-французски читал и печатал он свои заказные «похвальные слова» Александру I («A la mémoire de l'Empereur Alexandre. Paris, Didot, 1826») и императрицам Елизавете Алексеевне и Марии Федоровне, но по-французски же кропал он свои псевдо-филологические безделки. На каком языке—по теории Уварова, восхитившей Гете,—должно было писать о Гете? Казалось бы, на немецком; но Уваров свою речь о нем произнес и напечатал по-французски; это была политическая речь о самодержавии



ГЕТЕ

Портрет маслом Фердинанда Ягемана, 1818 г.
Государственный Эрмитаж, Ленинград
Воспроизводится впервые

Николая I и его преимуществах, и нужно было, чтоб вся Европа ее слышала на широко распространенном эсперанто реакции. Но так как было желательно, чтоб она широко распространилась и в тех кругах, которые плохо или вовсе не знали этого языка, то речь была выпущена и по-немецки (дважды), и по-русски. Был большой цинизм в том, что следующее же после немецкого «Nonnos» сочиненьице свое, специально филологическое («О басне о Геркулесе»), Уваров выпустил по-французски. Заметил ли это Гете? Во всяком случае это ни в какой мере не отразилось на его отношениях с Уваровым.

Этот эпизод не привлекался доселе (как и эпизод с Азиатской академией) для характеристики Уварова, но он великолепно укладывается в целый ряд уже сделанных характеристик Уварова—ученого, деятеля, человека. Гр. Оттон Брей, бывший в 1833—1862 гг. (с небольшими перерывами) послом Баварии в Петербурге, зарисовал Уварова как «человека умного и с тонко развитым вкусом». Но «этот восторженный поклонник великого поэта Гете, которому он отдал дань в своем замечательном «Notice sur Goethe», посвящением ему своего «Nonnos von Panopolis», поставил себе задачей искоренить из прибалтийских губерний немецкую науку и немецкий язык и довести до упадка Дерптский университет». Этот «гетеанец», ощетинившийся своею официальною народностью «на немецкую науку и язык, очень чувствителен однако к похвале со стороны иностранных ученых и обладает тщеславием писателя и ученого; само собой разумеется, ему воскуряют в этом отношении фимиам» [50]. Читатель сам может вставить два нарисованные здесь эпизода из отношений Уварова к Гете в эту рамку баварской характеристики Уварова. Но эти же эпизоды также отлично вставляются и в ту русского изделия рамку, которою навсегда руками А. Тургенева, Вигеля, Пушкина, Вяземского, Герцена и мн. др. обрамлена фигура Уварова. «Пред всеми высшими властями пресмыкающийся Уваров» (слова Вигеля) [51]—он пресмыкался также—и для себя, и «для пользы службы»—пред «высшею властью» современного ему европейского культурного мнения—пред Гете. Многие из русских паломников к Гете относились к нему восторженно, догматически-правоверно, но прямую, беззастенчивую лесть из года в год слышал Гете лишь от Уварова. «Это большой негодяй и шарлатан,—писал о нем Пушкин в феврале 1835 г.—Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был б..., потом нянькой, и попал в президенты Академии Наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской Академии. Он крал казенные дрова и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ)... Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретил Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком» [52]. Этот необычайный по резкости отзыв Пушкина целиком умещается в трехсловный отзыв мягкосердечного А. И. Тургенева: «всех оподляющий Уваров» [53]. «Всех оподляющим» было его министерское культуртрегерство, в котором Гете являлся вывеской, употребляемой для прикрытия непотребного промысла. Но тут должно дать слово Герцену, сказавшему такое похвальное слово Уварову—«гетеанцу», «культуртрегеру» и министру народного просвещения, с которым он и войдет в историю:

«Второй «знаменитый» путешественник» [посетивший Московский университет после А. Гумбольдта] был в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей,

воспетый самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения С. С. Уваров. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал: настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски, потом переписывался с Гете по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то, что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. В роде патента он носил в кармане письмо от Гете, в котором Гете ему сделал прекурьезный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге: вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть,—вы забыли немецкую грамматику» [54].

В 1821 г. Уваров подал в отставку из попечителей петербургского учебного округа. Друзья готовы были видеть в этом верность либеральным принципам (которых у сервилиста Уварова никогда не было), так как место Уварова заступил известный мракобес Д. Рунич. Но опытный в делах житейских Греч лучше объяснил уход Уварова: с наступлением эпохи аракчеевского благочестия и благочестивого шпицрутенства Уваров «стал охать, выворачивать глаза и твердить в своих всенародных речах о необходимости чтения слова божия, но никак не мог подделаться под господствующий тон и с отчаяния перешел из просвещения в департамент мануфактуры и при сей верной оказии разорил несколько московских фабрик, мешавших его собственным фабрикам» [55]. В этом отрывке надо зачеркнуть только «с отчаяния» и заменить другим словом: «по расчету». Отчаиваться Уварову было не с чего: что правительство аракчеевцев ровно ничего против него не имело, явствует из того, что его преспокойно оставили и «по просвещению»—в президентах Академии. Место же по финансам—он сделался директором департамента внутренней торговли и начальником Комитета о снабжении войск сукнами—было и доходно, и удобно для обделывания собственных промышленно-крепостных дел, и по запаху времени: нос «гетеанца»-эллиниста отлично учуял, что в воздухе запахло гнилой осенью для дворянского заскорузлого землевладения и теплой весной—для промышленно-капиталистических отношений. Для тех выгод, которые получал Уваров с теплого местечка под крылом министра финансов, стоило проделывать то, в чем обвиняет его А. Тургенев: «Всех кормилиц у Канкрина знает и детям дает кашку» [56],—и стоило совершенно забыть о «превосходном друге» веймарском. В эту пору Гете политически стал не нужен Уварову ни для него самого, ни для правительственной агентуры; ставка уваровская была теперь на крепостную фабрику. Гете тут мало мог быть полезен: политика Александра 20-х годов была—крепче и глуше отгородиться от западных поветрий революционных, конституционных и литературных—и лозунг был прост: «собрать бы книги все, да сжечь». Гете тут был бесполезен: он, к сожалению, писал книги. За 1821—1824 гг. Уваров не пишет Гете ни слова. Повидимому не было за эти годы и никаких присылок от него в Веймар: в дневнике Гете, очень аккуратного на этот счет, нет ни одной отметы, связанной с Уваровым.

Только в 1825 г. напомнил он о себе «учителю» присылкой французского своего Mémoire о греческих трагиках при маленьком бессодержательном письме, да в том же 1825 г. посетил Гете рекомендованный Уваровым его живой подстрочник—профессор греческого языка Грефе [57].

Наступило царствование Николая. Летом 1826 г. он «управился» с декабристами. Подремонтировав зашатавшееся было здание самодержавия, можно было подумать и об украшении его фасада: с начала осени началась игра в «царя и поэта» с Пушкиным—это было для России, а зимою было нарочито торжественно отпраздновано столетие Академии Наук—это было для Европы. Уварову пришло время вспомнить о Гете. По его предложению Гете был избран 29 декабря 1826 г. вместе с другими немецкими, французскими, английскими и итальянскими учеными в почетные члены Академии Наук. Это был отличный жест в сторону Европы: правительство Николая I являло себя сочувственником и покровителем подлинного просвещения. Вместе с Гете и иностранцами-учеными были избраны в почетные члены прусский король Фридрих-Вильгельм III, русский наследник, великие князья Константин и Михаил Павловичи: цесаревич Константин Павлович—бурбон из бурбонов—рядом с Гете—поэтом из поэтов! Но ирония иронией, а и Константин Павлович делался, в глазах Европы, как будто несколько «пристойнее» от соседства с Гете и другими: все-таки значит не только шпицрутенствует над солдатами и поляками, но и покровительствует наукам! Это было недурно придумано.

Когда депутация от Академии во главе с Уваровым пришла к Николаю Павловичу просить разрешения на празднование столетия Академии и на избрание почетных членов, «его величество,—по словам П. А. Плетнева,—не только соизволил на это, но и выразил желание видеть собственное имя в числе имен почетных членов Академии».

Список почетных членов, избранных Академией в заседании 29 декабря, начинается целым поминанием должностных лиц государства российского: тут и митрополит Евгений, и адмиралы Мордвинов и Сенявин, и генералы барон Дибич, гр. Воронцов (гонитель Пушкина) и др., тут и автор «Донесения следственной комиссии» над декабристами Блудов, и мистико-реакционный министр Голицын, и только два человека, причастных к науке,—дерптские профессора Эверс и Струве. Но этот русский список верных слуг не науки, а Николая I прикрывается списком иностранных ученых, избранных в такие же почетные члены: тут блестящий сонм европейских имен—Шамполлион, Гемфри Дэви, Гершель, Мальтус, Нибур, Герен, Гете и др.

С негодованием отозвался на этот ловкий ход правительства Николая I А. И. Тургенев в своем неизданном дневнике: «назначение великого князя—членом А[кадемии] и Humphry Davy в одно время с Погодиным и с..... (точки у Тургенева.—*С. Д.*) суть следствия монгольского владычества в России! Новые члены: и Дибич и Блуменбах, и Гнедич и Бетигер! Что если догадаются тузы, с какими двойками ими козыряют? Но неизвестность прикроет наших» [58].

Чрезвычайно показательно для характера отношений Гете и Уварова, что, тепло поблагодарив за избрание, Гете принял его не только как «почет», но и как «труд»: он озабочен теми научными задачами, которые предложила Академия на соискание премий на том же заседании, на котором происходило и избрание почетных членов,—он толкует о них с Уваровым в своем благодарственном письме, полагая, что и президент Академии заинтересован этими темами по оптике «по тому отделу естественных наук»,—объясняет Гете,—которому «я в течение многих лет отдавал много внимания и продолжаю этим заниматься доселе. И если у меня есть еще основания желать более долгой жизни, то только для того, чтобы

постигнуть, благодаря разрешению вопроса, вдумчиво выдвинутого Академией, многое, что для меня, так же как и для выше стоящих, остается проблемой» [59]. Свое избрание, нужное Уварову и Николаю I только как вывеска, Гете принял всерьез: он захотел работать для Академии по оптике. Об этом свидетельствуют записи его дневника 1827 г. 15 апреля: «Обдумывал петербургскую работу на премию»; 16-го: «Обдумывал дальнейшее относительно петербургской академической работы на премию и продолжал диктовать статью для этого»; 17-го: «Продумал петербургскую работу на премию и кое-что отметил»; 14 мая: «Касательно избрания в Академию»; 3 июня через фрейлину Марии Павловны гр. Каролину Эглофштейн Гете послал Уварову-президенту какой-то пакет [60]. Что было в этом пакете? Какая-то работа Гете по оптике? Только архив Академии Наук мог бы дать ответ на это. Ни в архиве Уварова, ни в архиве Гете нет следа этой работы великого поэта-ученого.

Уваров не отвечал на письмо Гете. Даже и об избрании в члены Академии Гете известили повидимому чисто официальным образом: прислали диплом и медаль. Уваров не почел нужным писать «другу»: еслиб кому-нибудь вздумалось и тут все взваливать на «жестокость случайностей», на утерю этих писем к Уварову, тому следует указать на дневник Гете: там отмечены, без всяких случайностей, все присылы Уварова (напр. 5 октября 1818 г.: «Письмо и посылка от Уварова», 17 июня 1825 г.: «Президент Уваров о греческой трагедии») [61], но за 1827—1831 гг. встречаются только записи об отсылах самого Гете Уварову и ни одной записи о получении чего бы то ни было от него. Президент Академии Наук не отвечал ее почетному члену с таким же упорством, с каким предполагаемый президент Азиатской академии желал втянуть Гете в свое дело. Так изменились времена и их политические нужды.

В 1829 г., в письме к стороннику своей «теории цветов» Х. Шульцу, Гете сделал любопытное признание о задаче, предложенной по физике в юбилейном заседании 1826 г.: «Петербургская императорская Академия Наук, в день празднования столетия ее основания, предложила естествоиспытателям, назначив премию, важную задачу по физике. Прочтя программу, присланную мне тогда же как вновь избранному почетному члену, я откровенно и ясно высказал моим окружающим: Академия не получит разрешения [этой задачи] и не должна бы собственно этого ожидать. Она желает видеть различные гипотезы, высказываемые о завоевываемых, как думают, свойствах и особенностях света, окончательно объединенными, примиренными и соподчиненными между собою. Никто не уверен, что все они связаны с цветовыми явлениями: не думали, что явления, на коих эти гипотезы основаны, должны быть еще раз проверены, что еще требуется исследовать их чистоту, достаточность, простоту и многообразие, первичное и производное в них. Вышеупомянутое мое предсказание сбылось: 29 дек. 1828 г. Академия объявила: в эти два года она не получила ни одной работы, но делает однако отсрочку до сентября этого года, когда конечно также никакого ответа не получит и не может получить. За два года, в первом приливе возбужденного интереса, я занес на бумагу многое» [62].

Интерес этот ни в какой мере не был поддержан в Гете ни Уваровым, ни Петербургской Академией: Академия спала, а Уваров не мог взять никакого политического процента с этого научного интереса великого ученого.

Последнее письмо Гете к Уварову от 28 ноября 1830 г. испытало такую же участь. Обеспокоенный слухами и известиями о небывалом развитии холерной эпидемии в России в частности в Петербурге, Гете послал Уварову—опять как президенту Академии—какой-то рецепт против холеры (содержания его мы не знаем) с рассуждением о мерах борьбы с нею. Отметка о посылке этого письма в дневнике Гете, как и самое письмо его в бумагах Уварова, сохранились, но ответа на свое предложение Гете повидимому не получил: нет его следа в дневниках и архиве Гете. «Человеческая любовь к ближнему была тем, что заставило Гете написать последнее письмо к Уварову», говорит Г. Шмид. Сам же Гете так объясняет причины, побудившие его писать молчаливому президенту: «Уже несколько раз собирался я обратиться с этим скромным письмом. Счастье лично высказывать почтение нашей светлейшей герцогине (Марии Павловне.—*С. Д.*) и все то, что при ее посредстве получаю я себе на пользу с северо-востока, обязывает меня, как и многих других, направлять туда вдаль свои мысли и притом самым многосторонним образом. Сейчас меня побуждает к этому то величайшего значения обстоятельство, что там не прекращается развитие ужаснейшей болезни». Итак, не только «любовь к ближнему», но и верноподданничество Марии Павловне, признательность за «полезное», получаемое от русского двора («manches, was durch sie von Nordosten her auch mir zu gute kommt») [63], побудили Гете представить в Академию Наук соображения какого-то врача, переписывавшегося с ним по поводу борьбы с холерой. Как придворные стихи, как Maskenzug, как поручения по набору профессоров, как многое другое, холерная записка—это служебная работа Гете русскому двору.

В торжественном заседании Академии Наук через год после смерти Гете президент Академии произнес речь о нем. Она была напечатана по-французски («Notice sur Goethe»), переведена на русский в «Ученых Записках Московского Университета», издана переводчиком И. Давыдовым отдельно со льстивейшим восхвалением Уварова в предисловии [64]. Тотчас же появилось два немецких перевода: оратор хотел, чтоб его слышала вся Германия [65].

Уваров знал, что сказать о Гете в 1833 г., и речь его произнесена конечно не только президентом Академии, но и министром народного просвещения (в министры он был назначен 21 марта, а речь говорил 22-го), изобретателем знаменитой формулы «православие—самодержавие—народность». Он сделал все, чтоб у слушателя сложилось убеждение, что Уваров был первым гетеанцем в России и долголетним другом Гете: «изучение Гете составляло мои любимые и при всем том чуждые предрассудков занятия» (нелишняя осторожность: далеко не все, а очень малое в литературном наследии Гете было одобрительно с точки зрения николаевской цензуры); Гете «познал я из долговременных и частых сношений». Литературная характеристика Гете, даваемая Уваровым, банальна: Гете—«истинный Протей». Об этом русский читатель давно уже знал и от Кюхельбекера, и от Полевого, но не банально, а наоборот, ново добавление: «Протей самоуправный и упрямый... ничем не жертвовавший народности» (популярности). Этот мотив, что Гете упрям, что он не отвечает на вопросы современности, что он всегда «шествовал к литературному диктаторству» (стр. 16) Уваров варьирует в речи на все лады. Значит ли это, что он почитает гений Гете ни с кем несоизмеримым? Вовсе нет: он снисходительно подсмеивается над теми, кто сравнивает Гете с Шекспиром; он сознатель-

но преувеличивает подражательность и преуменьшает богатство немецкой литературы до Гете и во время Гете: в речи не упоминаются вовсе ни Гердер, ни Шиллер; Кант оказывается в изображении Уварова столь ничтожным, что его «непроницаемые, темные произведения... ныне едва известны по заглавиям»,—все это нужно Уварову для того, чтобы показать, что в сущности Гете—гений только по немецкой бедности, великий человек при изобилии малых. Самый «протеизм» Гете, по утверждению Уварова,—почти подражательность или подозрительная переимчивость: «соотечественники его пустились в века рыцарства на театрах и в романах»—и Гете сочинил «Геца», «пристрастилась Германия к богатой итальянской поэзии»—и Гете сочинил «Тассо», и т. д. Но этот Протей оказывается величайшим реакционером своего времени, и тут Уваров не находит слов для похвал ему. Для чего написан «Фауст»? По Уварову, это—реакционнейшая книга: «до Фауста никогда не объявлял Гете лютейшей вражды духу времени; никогда не нападал он на труды века с насмешкою столь язвительною» (стр. 18).

Но ведь «дух времени», когда писался «Фауст», был дух Великой революции, а «труды века»—труды новой мысли, новой науки, нового социального устройства: вот «Фауст», по Уварову, и нападал на все это «с насмешкою столь язвительною». Ловкий шулерский ход с крапленого козыря!

Гете—враг революции, столп консерватизма, ненавистник мятежей—значит враг и тех, кто затевал их в России в 1825 и в 1830 гг.: «Когда все всколебалось от бурей переворотов, когда этим чадом отуманились и умозрительные головы германцев,—витийствовал Уваров,—Гете не только не увлекся общим потоком, но даже пребыл в величественном безмолвии. (Нужно ли доказывать, что Уваров тут попросту лгал, ибо каково бы ни было отношение Гете к Великой французской революции, он не «безмолствовал» о ней.—*С. Д.*). Он постоянно оставался аристократом в правилах своих, желаниях, чувствованиях, явно обнаруживал гордое презрение к торжествующим мнениям черни. Так и в то время, когда безверие проникло в Германию, когда страсть к отвлеченностям поколебала основания нравственных законов, Гете сжалился над необузданною охотою соотечественников к метафизическим мечтаниям и преследовал грозными сарказмами их суесловие и пытливость» (стр. 15—16). Таково, по Уварову, все значение «Фауста».

Уваров очень хорошо знает, что Веймар сменил другую столицу европейского просвещения—Ферней,—но он так истолковывает эту смену, будто столица Вольтера была сменена столицей Николая Павловича, Санкт-Петербургом, а не книжным Веймаром: «Суровый и надменный, он [Гете] беспрестанно вооружался против мимолетных страстей и скоропреходящего вкуса; в противность Вольтеру, без обиняков объявлял, что рукоплескания черни ему приторны и оледеняли его, что чернь в словесности, равно как в политике, не способна управлять сама собою» (стр. 17).

Уваров пытается опереть на Гете властительство Николая Павловича; в какой прописи казарменно-государственной всероссийской морали нельзя было бы повторить этого заключения: «чернь в словесности, равно как в политике, не способна управлять сама собою»? По Уварову, эти слова выражали весь смысл деятельности и мировоззрения благонамеренного Гете в противность неблагонамеренному Вольтеру. Схема его поистине великолепна. «Чернь» нуждается в «управителях» и в словесности, и в



С. С. УВАРОВ
Миниатюра неизвестного художника (20-е годы XIX века)
Исторический Музей, Москва

политике. Но каковы же должны быть эти «управители»? На манер дагомейский? Турецкий? Всероссийский? Прусский? Английский? Ответом на это Уваров заканчивает свою речь: «Германия в сем знаменитом муже утратила единственного и последнего из своих повелителей в области словесности—повелителя, над всеми превознесенного на щитах законным правом гения и единодушием соотечественников, но повелителя решительно не конституционного, не любившего слышать о литературной хартии, а который, подвизаясь сам в умственных делах многочисленных подданных своих, был выше народного владычества в словесности и науках» (стр. 29).

Мы узнаем сразу этого «повелителя решительно не конституционного»—это Николай Павлович, другой почетный член той же Академии. То, что Гете—«в области словесности», то Николай Павлович—в империи российской: оба правят по одной и той же хартии невольности. Параллель с Гете безукоризненна: только один Николай Павлович выдерживает ее: прусские и английские управители—с «хартиями», а дагомейские и турецкие, правда, без хартий, но их не пускают на порог Европы. Уваров был «скромен»—он не сделал вывода; впрочем он явно предоставлял каждому сделать его: ежели в мечтательной области словесности столь необходима и благодетельна рука «правителя, решительно не конституционного», то во сколько же раз необходимее и благодетельнее такая рука в действительной области государствования? «Вечную память» Гете Уваров, как хорошо оплаченный протодьякон, закончил многолетием Николаю Павловичу, императору и самодержцу всероссийскому.

Смерть Гете развязала язык Уварову: Гете возражать ему не мог, а на правах «друга Гете» он рассчитывал заработать широкое российское и европейское доверие к той гнусной легенде, которую творил с академической кафедры.

«Доверием» побаловали его и некоторые европейские знаменитости. Вот что например писал Уварову Бальзак, путешествовавший в 1847 г. по России:

«Je reviens de Kiew, et l'acceuil que j'y ai reçu m'a fait comprendre combien d'obligations j'ai contractées envers Votre Excellence qui m'avez sans doute si vivement et si promptement recommandé auprès des autorités de cette grande Rome Russe. En vérité je crois que l'auteur de l'Éloge de Goethe a voulu voir en moi son confrère».

(Я только что вернулся из Киева; оказанный мне там прием заставил меня понять, как много я обязан Вашему превосходительству, без сомнения столь живо и столь лестно рекомендовавшему меня властям этого великого русского Рима. Право, я думаю, что автор Похвалы Гете удостоил видеть во мне своего собрата); неизданное письмо от августа 1847 г. в Уваровском архиве, в Историческом Музее в Москве.

Уваров был доволен впечатлением, которое произвел его публичный опыт укладывания Гете в карман рейтуз Николая I [66]. Но была и ложка дегтя в бочке меда. Своему подстрочнику и репетитору по греческим вокабулам, проф. Грефе, Уваров пожаловался: «В Веймаре моя заметка произвела совсем другое впечатление; повидимому меня хотят обвинить за то, что я не слишком фанатически и без идолопоклонства трактовал Гете» [67]. Попросту говоря, семья и друзья Гете поймали Уварова с поличным и хоть на словах (письменного протеста не было), да выразили свое несогласие с его речью.

Мы коснулись многих эпизодов из русско-немецкой «легенды» о дружбе Гете и Уварова. Чтобы с нею покончить, надобно остановиться еще на одном ее эпизоде—на вопросе о личном знакомстве Уварова с Гете.

Вероятность его конечно исключительно сильна: уж кому-кому, а С. С. Уварову, двадцать лет состоявшему в переписке с Гете, подобало бы познакомиться с ним лично. «Уваров заедет в Веймар»,—А. И. Тургенев несколько раз предварял об этом своего брата-декабриста еще в 1810 г. Предварение это делалось со слов самого Уварова. Но заехал ли туда когда-нибудь предприимчивый официальный гетеанец? Личное знакомство Уварова с Гете, как было сказано, утверждалось многими вплоть до Г. Шпета (1921) [68]. Наоборот, панегирический G. Schmid, как и следующий по его пятам R. Jagoditsch, отрицали это знакомство [69]. Прав несомненно Schmid: С. С. Уваров не удосужился навестить своего «друга». Как будто противоречат этому две записи в дневнике Гете, сделанные в эпоху «освободительной войны» 1813 года, в Теплице: 9 июля: «В 49-й раз принимал ванну. Обед у Serenissimo (у герцога.—*С. Д.*). Граф Головкин и Уваров» и 14 июля: «Обед у его высочества. Sereniss. Пр[инц? инцесса?] Гомбургск[ий? ая?], Ханыков, Головкин, Уваров» [70]. Две встречи с Уваровым. Но речь здесь идет несомненно о генерале Федоре Петровиче Уварове (1769—1824), участнике убийства Павла I и любимом генерал-адъютанте Александра I. В войне 1813 г. Ф. П. Уваров принимал самое деятельное участие: он участвовал в этом году «в делах: 8 и 9 мая в сражении при Бауцене; 14 и 15 августа под стенами Дрездена; 18 августа под Кульмом; 4—7 октября под Лейпцигом» [71]. «После Люценской битвы Уваров прикрывал отступление отряда принца Виртембергского к Бауцену, а затем, после поражения армии, ему была подчинена вся кавалерия. При Дрездене, Кульме и Лейпциге Уваров находился при государе» [72]. Пребывание в Теплице с Александром I было для Уварова антрактом между указанными сражениями, которые все произошли в соседней Саксонии, а Кульмское даже в Богемии, неподалеку от Теплица. Гете и встретился с Ф. П. Уваровым в русском военно-дипломатическом обществе, отдыхав-

шем в Теплице перед Дрезденом и Кульмом. Понятно, почему Гете упомянул этого Уварова в дневнике: он был известен ему как участник убийства Павла I,—его фамилию Гете внес в составленный им список заговорщиков. Ближайшее же письмо Гете С. С. Уварову подтверждает наше утверждение. 9 мая 1814 г. Гете выражал ему желание, чтобы «какие-нибудь обстоятельства привели» его «в скором времени в наши страны» и чтобы «можно было встретиться лично, в живом общении» [73]. Очевидно личной встречи у них не было, и Уваров отвечал на это: «Я ободрился мыслью, что может быть сам некогда буду иметь счастье познакомиться с вами ближе... Потребность души моей была бы удовлетворена, если бы я увидел Вас и поговорил с Вами» [74]. В 1816 г. Уваров сообщает Гете: «не раз она [Мария Павловна] приглашала меня посетить Веймар; к сожалению я не знаю, окажется ли для меня возможным осуществить эту влекущую меня мечту... Во всяком случае, если только я вступлю на немецкую землю, Веймар и в Веймаре вы будете главною целью моего путешествия» [75]. В 1819 г. Уваров попрежнему только повторяет Гете: «Глубоко в моей душе живет желание посетить Ваше превосходительство на берегах Ильма» [76].

В дневниках Гете нет и намека на пребывание Уварова в Веймаре.

Личного «влечения» к Гете у Уварова хватило только на эпистолярное выражение этих «желаний» и «мечтаний» о свидании с Гете. Уваров и тут последователен: Гете-собеседник был ему не нужен, ему нужно было, чтоб Гете с другими беседовал о нем и об его высочайших повелителях. А этой беседы—устной и письменной—Уваров успешно добивался своими письмами, присылами, официальными и официозными сношениями; личное свидание было излишне. Эпистолярная же беседа Уварова с Гете то делалась оживленна, то обрывалась на целые годы, смотря по тому, что показывали российские политические термометр и барометр, показаниям которых Уваров следовал покорно и безошибочно.

В легенде об Уварове и Гете мало поэзии (Dichtung): в ней есть очень много политики (Wahrheit) и не мало отвратительной риторики. Ее Уваров передал своему преемнику—другому идеологу русского официального гетеанства—кн. Э. П. Мещерскому.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «О Гете. В торжественном собрании Императоской С.-Петербургской Академии Наук читано президентом Академии 22 марта 1833 г.». М., в Университетской типографии, 1833, стр. 3.

[2] «Goethe und Uvarov und ihr Briefwechsel» von Dr. Georg Schmid. «Russische Revue». Vierteljahrsschrift. Hgg. v. K. Hammerschmidt. XVII Jahrgang, 2 Heft. S.-Petersburg, 1888, S. 131—182. Дальше всюду—Schmid. Работа Г. Шмида, как и подобает преподавателю благонамереннейшего Историко-Филологического института в Петербурге, носит хвалебный по отношению к Уварову характер: в отрицание сурового приговора истории над насадителем «официальной народности», Шмид «творит легенду» об Уварове как об насадителе «европейского просвещения». «Легенда о Гете и Уварове»—самый крупный козырь в этой обреченной на проигрыш игре.

[3] Otto Harnack, Goethes Beziehungen zu russischen Schriftstellern.—«Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur». Hgg. Dr. Max Koch und Dr. Ludwig Geiger. 5 Heft, Berlin, 1890, S. 269—270.

[4] Густав Шпет, Очерк развития русской философии. П., 1922, изд. «Колос», ч. I, стр. 240.

[5] Schmid, S. 158, 157, 164.

[6] Вигель, Ф. Ф., Записки. Ред. и вст. статья С. Я. Штрайха, т. II. М., 1928, стр. 58—59.

[7] А. И. Тургенев—Н. И. Тургеневу 16/II 1810. Арх. Т., т. II, стр. 412.
[8] «О Гете», стр. 17—19.
[9] Письмо от 16/VI 1814. Schmid, S. 152.
[10] Арх. Т., т. II, стр. 416, 421—422.
[11] Там же, стр. 427, 431.
[12] С. С. Уваров, Воспоминание об академике Фр. Грефе.—«Ученые записки Академии Наук по I и III отд.», т. I. СПБ, 1853, стр. 47 и 50. Хр.-Фр. Грефе (1780—1851)—филолог, профессор, впоследствии академик Петербургской Академии Наук.
[13] «Р. А.» 1889, кн. II, стр. 358.
[14] «Projet d'une Académie Asiatique», St.-Ptsb., 1810, I part., § 3, p. 8.
[15] Слова историка русского Закавказья А. Берже.—И. К. Ениколопов, А. С. Грибоедов в Грузии и Персии, изд. «Заккнига», Тифлис, MCMXXIX, стр. 184.
[16] Вигель, Записки, т. I, стр. 25.
[17] «Projet d'une Académie Asiatique», p. 9.
[18] Там же, стр. 10.
[19] «Общий взгляд» напечатан в I томе собр. сочин. А. С. Грибоедова под ред. И. А. Шляпкина, СПБ, 1889, «Записка»—в книге И. К. Ениколопова. А. С. Грибоедов в Грузии и Персии. Тифлис, MCMXXIX.
[20] Соч. под ред. Шляпкина, т. I, стр. 145.
[21] Ениколопов, стр. 184.
[22] Schmid, S. 137.
[23] Там же. Проект Уварова был напечатан по-русски под заглавием «Мысли о заведении в России Академии Азиатской» в «Вестнике Европы» (1811 г., № 1, стр. 27—52 и № 2 стр. 96—120). Жуковский, редактор журнала, пришел в восторг от «учености» Уварова и ничего не понял ни в личных, ни в политических мотивах, заставивших Уварова написать своей проект. «Проект Уварова я прочитал,—писал Жуковский А. И. Тургеневу 4 декабря 1810 г. из Белева,—и прошу тебя сказать ему от меня усердную благодарность за доставление этой книги. Мне приятно было узнать его со стороны его сведений, и он должен принадлежать, если не ошибаюсь, к числу необыкновенных людей из русских. Жалею только об одном: он разделяет, как видно, со многими несчастие предубеждения против всего Русского и лучше соглашается не быть оригинальным на французском языке, нежели унизить талант свой до Русского и быть отличным писателем Русским... Что же касается до самого прожекта, то он делает честь изобретателю, но едва ли может быть очень полезен в России. Тогда бы кажется могли мы заниматься и, с жарким рвением, и с верною пользою рассматриванием литературы Азиатской (привлекательной только для любопытства людей ученых), когда бы уже стояли на высокой степени образования; но где же у нас образование и где наша ученость? ...В Германии например заведение Академии Азиатской привело бы все головы в движение; у нас займет оно несколько образованных голов, и то вероятно голов, покрытых немецкими париками, а всем вообще Русским покажется странностию» («Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу». Изд. «Русского Архива». М. 1895 г., стр. 81—82). Не без удивления политически беспомощный Жуковский спрашивал у того же Тургенева в 1816 г.: «Правда ли, что у вас затевается опять Азиатская Академия?» (Там же, стр. 161). Вскоре с учреждением Восточного факультета при Петербургском университете «странность» превратилась в реальность: новый факультет сделался поставщиком подготовленных агентов для русского империализма на Востоке.
[24] Печатается по фотографии с немецкого подлинника, хранящегося в Веймарском архиве.
[25] П. Соннерà (Sonnerat, Pierre, 1749—1814)—известный французский естествоиспытатель и путешественник по Индии и Китаю. Его книгу «Reise nach Ostindien und China in den Jahren 1774—1781» (Zürich, 1783) Гете читал в феврале 1810 г. и перечитывал в декабре 1821 г. (Elise von Keudell, «Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek». Weimar, 1931, S. 106, 226). Книга Соннерà дала Гете сюжеты его стихотворений «Пария» (1821) и более раннего «Бог и баядера» (1797). Джонс (Sir William Jones, 1746—1794)—английский востоковед, знаток многих азиатских живых и мертвых языков. Десять лет прожив в Индии, он перевел много произведений с санскритского языка. «Джита-Говинда» (Gitagovinda, Dschajadeva)—индусская поэма автора, жившего в XII в., переведенная Джонсом (1799) по-английски и Мейером (Majer, 1802) и Дальборгом (Dalborg, 1802) по-немецки. «Саконтала»—известнейшая из драм великого индусского поэта Калидасы; немецкий перевод Георга Форстера (Georg Forster) вышел в Майнце-Лейпциге

в 1791 г. Гете отозвался на появление этого перевода дистихами «Willst du die Blüte des frühen»...

[26] Письмо от 27 февраля 1811 г. «W. A.», IV Abt., B. XXII, S. 43—44. У Schmid'a отсутствует.

[27] Кн. Ник. Гр. Репнин (Волконский) (1778—1845)—брат декабриста С. Г. Волконского, в 1813—1814 гг. генерал-губернатор Саксонии. В апреле 1810 г. приятель Гете Кнебель писал: «Герцог был с князем Репниным. Гете мне говорит, что это интересный человек» (B i e d., B. II, S. 75). Позднее, в 1814 г., Гете занес в дневник (4 января): «У князя Репнина. Обед при дворе. Князь и княгиня Репнины» («W. A.», III Abt., B. V, S. 91).

[28] Уваров и Репнин были женаты на родных сестрах, дочерях гр. А. К. Разумовского: Уваров—на Екатерине Алексеевне (1781—1849), Репнин—на Варваре Алексеевне (1771—1864).

[29] «W. A.», IV Abt., B. XXII, S. 45—46.

[30] Там же, III Abt., B. IV, S. 186—187.

[31] Там же, IV Abt., B. XXII, S. 40—41.

[32] «Projet d'une Académie Asiatique», p. 47.—Чтения Гете веймарских «китайских» изданий Клапрота повторно отмечены в 1815 г. (E l i s e v o n K e u d e l l, Goethe als Benützer der Weimarer Bibliothek. W., 1931, S. 151—152).—«W. A.», III Abt., B. V, S. 340.—Там же, B. IV, S. 306; B. V, S. 61—62 (Встречи с Головкиным). Вероятна и еще более ранняя встреча Гете с Головкиным: в Карлсбаде 8 июля 1806 г. (там же, B. III, S. 131): «Знакомство с гр. Головкиным». Другого Головкина кроме Юрия Александровича, сколько знаем, тогда не было. Но этой встрече противоречит указание в. к. Николая Михайловича, что Головкин появился в Петербурге лишь в декабре 1806 г., отсидев «карантин» в Иркутске («Русские портреты», т. III, СПБ, 1907, № 167).

[33] S c h m i d, S. 139. См. полный текст этого письма в статье А. Г. Г а б р и ч е в с к о г о, Автографы Гете в СССР.

[34] S c h m i d, S. 139—143. В «W. A.» записка Мейера не помещена.

[35] Там же, стр. 143. Немецкий перевод «Проекта»: «Ideen zu einer Asiatischen Akademie». S.-Ptsb., gedr. bei A. Pluchart u. C-ie, 1811.

[36] «W. A.», I Abt., B. XXXVI, S. 72.

[37] S c h m i d, S. 150.

[38] Там же, стр. 151—152.

[39] «W. A.», IV Abt., B. XXVI, S. 171. Письмо у Schmid'a отсутствует.

[40] Г р е ч, Записки, стр. 365.

[41] «Речь президента Имп. Академии Наук, попечителя С.-Петерб. учебного округа в торжеств. собрании Главного Педагогич. Института, 22 марта 1818». СПБ, 1818.—«Rede des Herrn Curators des St.-Petersburgischen Lehrbez. gehalten in der Feierl. Versammlung des Pädag. Centralinstituts den 22 März 1818. Aus dem Russischen S.-Ptsb. 1818». Из откликов на речь: Ф. Г л и н к а, Петербургские заметки («С. О.» 1818, ч. 45, стр. 22—26); проф. А. П. К у н и ц ы н, Рассмотрение речи г. президента, и т. д. (там же, ч. 46, стр. 136—146, 174—191). Своеобразным откликом на речь Уварова являются заметки А. С. Шишкова, начертанные на экземпляре «Речи» (Н и к о л а й Б а р с у к о в, С. С. Уваров и адмирал Шишков.—«Р. А.» 1882, вып. 6, стр. 226—228).

[42] S c h m i d, S. 164—165.

[43] Там же, стр. 153.

[44] «О Гете», стр. 20—21.

[45] E u g. Z a b e l, Goethe und Russland.—«Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft», B. VIII, 1921, S. 27—48.

[46] «О Гете», стр. 21.

[47] S c h m i d, S. 156.

[48] «W. A.», I. Abt., B. XLII, S. 127. Гете и еще раз позднее похвалил ученый «интернационализм» Уварова—в рецензии на книгу «Sappho von einem Herrschenden Vorurtheil befreit durch F. G. Welker», Göttingen, 1816.

[49] S c h m i d, S. 167. Вот список работ Уварова после его знаменитого заявления о языках: 1) Речь 1818 г. (см. выше; русск.), 2) «Un examen critique de la fable d'Hercule» (1818, франц.), 3) «Ueber das Vor-Homerische Zeitalter» (1819, нем.), 4) «Трактат о греческой антологии» (1820, русск.), 5) «Mémoire sur les tragiques Grecs» (1823, франц.), 6) «Discours prononcé par M. Ouvaroff, Président... du 16 nov. 1829» (1829, франц.), 7) «Notice sur Goethe» (1833, франц.).

[50] «Император Николай I и его сподвижники». Воспоминания графа О т т о н а д е Б р э—«Р. С.» 1902, т. I, стр. 132—133.

[51] «Записки», т. II, стр. 76.

[52] «Дневник Пушкина», 1833—1835. Под ред. и с объяснит. прим. Б. Л. Модзалевского. ГИЗ, М.-П., 1923, стр. 26—27.

[53] Письмо к Вяземскому от 18 октября 1836 г.—«О. А.», т. III, стр. 334.

[54] «Былое и думы». Редакция и предисловие Л. Б. Каменева, т. I. ГИЗ, М.-Л., 1931, стр. 89. В качестве доброго «признака времени» можно указать, что, говоря об отношениях Гете и Уварова, Eug. Zabel счел уже нужным (недаром он писал в 1921 г.) процитировать это место из Герцена. В 80-х гг. G. Schmid благоразумно умолчал об этом. «Благоразумие» это разделяет и R. Jagoditsch. Он с большой точностью указывает, что «Гете лично не был знаком с Уваровым», рассказывает вкратце историю о «Нонне», приводя отрывки из посвящения Уварова и ответного отзыва Гете, о получении Гете от Уварова медальона Ф. Толстого, об избрании Гете в Академию Наук (ошибаясь лишь в дате: не в 1824 г., как у него, а в 1826 г.),—но о герценовской оценке уваровского гетеанства предусмотрительно умалчивает (Jagoditsch, Goethe und seine russischen Zeitgenossen.—«Germanoslavica», 1931—1932, Heft 3, S. 356—357).

[55] «Записки», стр. 365—366.

[56] Письмо к Вяземскому от 15/IV 1824.—«О. А.», B. III, S. 33.

[57] Schmid, S. 168: письмо от 22 мая 1825 г. Очень характерно, что Гете превратился в этом письме из «друга» опять в «превосходительство» и сам автор письма подписался: «Ваш преданный Уваров, тайный советник». Письмо с рекомендацией Грефе (опять с «другом»).—Schmid, S. 169; отметка в дневнике Гете: «W. A.», III Abt., B. X, S. 139.

[58] П. А. Плетнев, Памяти гр. С. С. Уварова.—«Ученые Записки Имп. Академии Наук, 2-го отд.». Книга 2-я, вып. I, стр. LXXXII. «Recueil des Actes de la séance solennelle de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg tenue à l'occasion de la fête séculaire le 29 décembre 1826». S.-Ptsb. 1827., pp. 5—6. Журнал А. И. Тургенева № 5 (б. Пушк. дом Акад. Наук СССР, № 8), л. 23 об.; Гемфри Дэви (Humphry Devy, 1778—1829),—знаменитый английский химик, основатель электрохимической теории, президент с 1820 г. «Королевского Общества» (английская Академия Наук); Иог.-Фридр. Блуменбах (1852—1840),—знаменитый естествоиспытатель, профессор медицины и сравнит. анатомии в Геттингене; Карл-Август Беттигер (Böttiger, 1760—1835)—известный филолог и археолог, в 1791—1804 гг. директор гимназии в Веймаре, с 1814 г. хранитель музея в Дрездене; бар. Ив. Ив. Дибич (1785—1831)—начальник штаба у Николая I, аракчеевский любимец, один из палачей декабристов, одна из самых реакционных и тупых фигур аракчеевщины и николаевщины: Н. И. Гнедич (1784—1833), трудившийся тогда над переводом «Илиады», и начинающий историк М. П. Погодин (1800—1875) были избраны в члены-корреспонденты Академии.

[59] Письмо начала 1827 г. Schmid, S. 170—171.

[60] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 45, 46, 56; B. XII, S. 66.

[61] Там же, B. VI, S. 25; B. X, S. 69.

[62] «W. A.», IV Abt., B. XLV, S. 312—313.

[63] Schmid, S. 172.

[64] В предисловии Давыдов привел известный нам отзыв Гете об Уварове из «Kunst und Alterthum», но в «исправленном и дополненном виде». Предлагаем (это не бесполезно во многих отношениях) сравнить приведенный выше точный перевод этого места с таким словоизвержением Гете-Давыдова: «Так мыслил ученый, украшенный счастливейшими дарованиями, знаниями разнообразными, истинный талант, который, подобно художнику в области гармонии, играет на различных инструментах, смотря по тому, какой лучше выражает его мысли и чувствования» (стр. 4). Набранного разрядкой нет у Гете. Зато у Гете есть то, что не пожелал поведать русскому читателю благонамеренный проф. Давыдов про своего благонамеренного министра: то, что этот «ученый, украшенный счастливейшими» и пр.—«высоко поднялся над скудной ограниченностью застывшего языкового патриотизма» («Sprachpatriotismus»). В 1833 г. не гоже было повторять это про изобретателя «православия—самодержавия—народности», и Давыдов благоразумно выбросил эту похвалу Гете.

[65] 1) «Ueber Goethe». S.-Ptsb., 1833 (перевод дерптского профессора К. Моргенштерна) и 2) «Literarische Blätter der Börsen-Halle», 1833, № 829 от 3 июля.

[66] Вот некоторые из откликов на речь Уварова о Гете.

Гоголь писал Пушкину (23/XII 1833 г.): «Уваров собаку съел. Я понял его еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гете... Я уверен, что у нас он более сделает, чем Гизо во Франции».

Письма Н. В. Гоголя. Редакция В. И. Шенрока, СПБ, т. I, стр. 271). Отзыв Гоголя не без «себе на уме»: он добивался тогда профессуры, и Уваров был для него тогда «persona grata», но и, вычитая это «себе на уме» в виде «Гизо», все-таки остается в отзыве «Гете», который произвел-таки на Гоголя впечатление.

Отзывы А. Тургенева и Вяземского были иные.

Через четыре дня после произнесения речи А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Он на-днях читал в Академии на французском языке статью о Гете и, по замечанию злоречивых, нашел способ по поводу «Фауста» сказать, что он—министр». А Вяземский, прочтя речь, отвечал: «В ней, кажется, много заимствовано из Клейна; по крайней мере судя по прежним выпискам твоим; но только выведено у него противоположное заключение. В строфах Баратынского более идеи, истины, нежели в брошюрке, в которой, впрочем, встречаются блестящие фразы Шатобриана, но вообще много легкомыслия и поверхностности, что не очень идет к лицу президента Академии Наук и министра просвещения в России, которой именно не нужно красноглаголания, а нужны мысли или мысль» («О. А.», т. III, стр. 228, 237).

От речи о Гете надолго потянулся тот след, который желателен был министру-оратору. Вот что читаем мы в некрологе Уварова, помещенном в «Библиотеке для чтения» (1856 г., март, стр. 73—74): «В 1833 г. он написал сочинение всем доступное и интересное для всякого любителя просвещения. Это была его записка на французском языке: «О Гете». По словам П. А. Плетнева «глубокомысленному критику представилась тема до такой степени богатая содержанием и важностью предмета, что он принужден был набросать только очерки мыслей для надлежащей обстановки обнимаемого им предмета». Автор некролога, сделав выписку из «похвалы» Уварова, заключает: «Эта небольшая записка о Гете показывает, что автору была весьма хорошо знакома личность великого писателя. В кратких, но резких чертах представил он свой взгляд на него, который отличается совершенною справедливостью. Гете именно является здесь таким гением, каким он был на самом деле; он следовал своему собственному влечению, своим заветным убеждениям и не подчинялся мнению толпы». Николай I был уже в земле, автор реакционной легенды о Гете был там же, а ложь этой легенды все еще раздавалась со страниц видного русского журнала.

[67] G. Schmid, Zur russischen Gelehrtengeschichte S. S. Uvarov und Chr.-Fr. Gräfe.—«Russische Revue» 1886, B. XXVI, 2 Heft, S. 160.

[68] Шпет, стр. 240.

[69] Schmid: «Желание Уварова лично познакомиться с Гете не исполнилось» (S. 173); Jagoditsch: «Уваров лично не знал Гете» (S. 357).

[70] «W. A.», III Abt., B. V, S. 61—62.

[71] «1812—1912. Военная галлерея 1812 года», СПБ, 1912 г. Экспедиц. Заготовл. Госуд. Бумаг, т. I—портрет, № 284, стр. 71; т. II—текст, № 284, стр. 248.

[72] Н. Чулков, Биография Ф. Уварова в «Сборнике биографий кавалергардов», под ред. С. Панчулидзева, кн. III, СПБ, 1906, стр. 1—10.

[73] Schmid, S. 151.

[74] Там же, стр. 151 и 153. Письмо от 4(16) VI 1814 г. В этом письме Уваров изображает себя мучеником своего «культуртрегерства» в России и с самолюбованием жалуется Гете: «Хорошо было бы неуклонно стоять на том пути, какой я проложил в моем отечестве; но тернии этого поприща бесчисленны, и слишком часто дух падает под их гнетом. Хотя я хорошо знаю, что жизнь при таких обстоятельствах есть длительная борьба, и я к этой борьбе издавна закалил себя,—однако, я чувствую в себе глубокое неиссякаемое влечение к иной, более свободной жизни, в страну, «где цветут лимоны», к друзьям вдали». Цитата из «Песни Миньоны» означала, что Уваров избирал Веймар и дом Гете местом отдохновения от трудов своего культуртрегерства российского.

[75] Там же, стр. 153—154. Письмо от 1(13) III 1816 г. Из этого письма узнаем, что и в Петербурге Мария Павловна любила разговаривать о Гете: «Несколько месяцев мы имеем счастье видеть у нас Вашу уважаемую великую княгиню; очень часто Вы являетесь предметом беседы».

[76] Там же, стр. 168. Письмо от 1(13) V 1819 г. При этом письме Уваров посылал Гете свою французскую филологическую безделку: «Un examen critique de la fable d'Hercule» (S.-Ptsb., 1819). Этот презент был великолепной иллюстрацией к добросовестности только что сделанного им в посвящении «Нонна из Панополиса» утверждения, что писать о предметах классической филологии можно только по-немецки.

II. ВЕЙМАРСКИЙ ПИТОМЕЦ РУССКОГО ОФИЦИАЛЬНОГО ГЕТЕАНСТВА

КН. Э. П. МЕЩЕРСКИЙ И ЕГО ВЕЙМАРСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.—ВСТРЕЧИ Э. МЕЩЕРСКОГО С ГЕТЕ.—ГЕТЕ ЗНАКОМИТСЯ ПО КНИЖКЕ Э. МЕЩЕРСКОГО С ИСТОРИЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Э. МЕЩЕРСКОГО В ПАРИЖЕ.—ЭЛИМ МЕЩЕРСКИЙ—КОРРЕСПОНДЕНТ РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПАРИЖЕ.—СТАТЬЯ Э. МЕЩЕРСКОГО „ВЕЙМАР" КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЧИ УВАРОВА О ГЕТЕ.—ГЕТЕ КАК ОРУДИЕ БОРЬБЫ С РЕВОЛЮЦИОННОЙ И ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЕВРОПОЙ.—ПОПЫТКА ПРЕВРАТИТЬ ГЕТЕ В СТОЛП МИРОВОЙ РЕАКЦИИ И В ИДЕОЛОГА АРИСТОКРАТИИ И ДВОРА.

Князю Элиму Петровичу Мещерскому (1808—1844) было всего 10 лет, когда наблюдательный Вигель заприметил его мать, княгиню Екатерину Ивановну Мещерскую, в веймарской православной церкви; тогда—в 1818 г.—она уже «два года как тут поселилась» [1]. Стало быть князь Элим с 8-летнего возраста видывал Гете и воспитывался в придворном веймаро-русском благоговении к нему. В 1835 г. сам князь Элим предался приятным и благодарным воспоминаниям: «Веймар! Рай, где прошло мое детство! Я говорю о тебе, как говорят о друге. Твои деревья, твои дома для меня—воспоминания счастья и невинности. Я хотел бы опять быть восьмилетним, чтобы молиться за тебя и тебя благословлять. Читатель простит мне это пристрастие. Ты мне дал матерей, сестер, братьев, и в моей в а р в а р с к о й стране, в Р о с с и и (курсив и ирония самого Мещерского.—*С. Д.*), их не поносят, этих близких моих» [2].

Отец князя Элима, князь Петр Сергеевич Мещерский (1778—1856), имея только «домашнее образование», поднялся довольно скоро по обычным ступенькам «восхождения»: при Павле I умно вышел из Семеновского полка, не без пользы побывал в камер-юнкерах и в 30 лет был уже назначен херсонским гражданским губернатором, послужил и в Сенате, а в 1817 г. был назначен обер-прокурором святейшего синода и благополучно пронес свое «обер-прокурорство» и через аракчеевщину, и через декабрь 1825 г. и только в 1833 г. ушел из обер-прокуроров в сенаторы, но с сохранением всех окладов. Когда в 1824 г. аракчеевская партия свалила А. Н. Голицына, поставившего Мещерского в обер-прокуроры, Мещерский, не в пример А. И. Тургеневу, бывшему директором департамента духовных дел, «усидел». У него была «рука» при дворе: он был женат на Екат. Ив. Чернышевой (1782—1851), сестре будущего военного министра при Николае I, графа, а потом и князя А. И. Чернышева. Этот Чернышев был одним из любимых адъютантов Александра I, и его сестре была честь и место при веймарском филиале русского двора. Князь Элим очень мало знал Россию и очень редко в ней бывал: зато он лучше кого бы то ни было знал дворянский Петербург в его заграничных отделениях—придворных и дипломатических. В совершенстве знал он и родной язык этих отделений—французский. Но изучил и один из иностранных—русский, и изучил настолько, что читал в подлиннике русских поэтов и мог быть их переводчиком на свой родной язык, на французский. Князь Элим пошел по дипломатической части: он «сопричислялся» к миссиям в Дрездене, в Сардинии, в Париже, но славу ему принесла не дипломатическая, а литературная часть, впрочем отлично согласованная с дипломатической.

С Веймаром он не порывал связи никогда: он постоянно—и один, и с родителями—являлся в Веймар засвидетельствовать почтение Гете. Кажется это был самый частый из русских посетителей Гете. 15 июня 1825 г. Гете отмечает: «г. фон Струве и молодой князь Мещерский». Это—первое официальное появление князя Элима при дворе Гете: ему 17 лет. Князя Элима представляет Гете русский «поверенный в делах» Иоган-Густав Струве.

Проходит четыре месяца, и 10 октября Гете вновь отмечает «посещения ...молодого князя Мещерского»—очевидно неоднократные: князь Элим гостит в Веймаре, где у его родителей много знакомых и друзей, гостит месяцами, и только 17 января 1826 г. Гете опять регистрирует: «Князь Мещерский откланялся». Декабрьскую бурю 1825 г. кн. Элим переждал в тихом веймарском гнезде. Летом 1826 г. у Гете новая пометка: «9 июня. Князь Мещерский со своей матерью, по дороге в Эмс...» В 1827 г. князь Элим опять в Веймаре и 11 марта посещает Гете. В 1828 г. начинается дипломатическая оседлость молодого Мещерского в Дрездене, и в Веймар он повидимому не заглядывает, зато в 1829 г. дважды отмечает Гете: 15 мая—«после обеда князь Элим» и 11 июля—«Князь Мещерский и сын»; Элим-дипломат посетил теперь Гете со своим отцом обер-прокурором [3].

В 1830 г. Э. Мещерский впервые появился на поприще литературном. 26 июня этого года в «Атенее», в Марсели, он выступил с публичным чтением о русской литературе. Чтение это тогда же было напечатано в марсельском «Revue de Provence» и издано отдельно «De la littérature russe. Discours prononcé à l'Athenée de Marseille dans la séance du 26 juin 1830. Marseille. Juillet 1830» («О русской литературе. Речь, произнесенная в марсельском «Атенее» в заседании 26 июня 1830 г. Марсель. Июль 1830 г.). На книжке своей Мещерский предусмотрительно обозначил все свои официальные титулы и звания: «gentilhomme de la chambre de S. M. l'Empereur des toutes les Russies, attaché à sa légation près S. M. le roi de Sardaigne, chevalier de l'ordre du Faucon-Blanc» (камер-юнкер Е. В. Императора всея России, причисленный к посольству при Е. В. Короле Сардинии, кавалер ордена Белого Сокола»). В титуле Мещерского самое любопытное—«Белый Сокол»: 22-летний русский князек удостоился этой веймарской награды конечно за преданность веймарско-русским придворным заветам, за верность интересам филиала петербургского двора. Элим Мещерский представил в своей речи беглый набросок истории русской литературы, деля ее на два периода—классический и романтический. Ближайшей его целью было ознакомить французов с борьбой «классиков» и «романтиков» в России: сам князь Элим причислял себя к романтикам.

Набросок его был поверхностен, но он привел (хотя и не сполна) в своем «Discours» знаменитый «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» кн. П. А. Вяземского: это предисловие к первому изданию «Бахчисарайского фонтана» (1824) было боевым кличем русского романтизма 20-х годов и могло хорошо ознакомить французов с существом русских литературных споров 20-х годов. Переводя «Разговор», Мещерский точно послушался Пушкина, печатно заявившего, что «Разговор» Вяземского «писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения» [4]. Пушкиным и заканчивает Мещерский свой очерк. Статья его вызвала сочувственные отклики во французской печати. Дельвигова «Литературная Газета» в том же 1830 г. перевела один из этих французских откликов и в 1831 г. сочла нужным в двух номерах разобрать критически «Discours» Мещерского (№№ 6 и 7).

3 сентября 1830 г. Гете сделал французскую пометку в дневнике: «De la littérature russe. Par le prince Elim Mestschersky» [5]. К удивлению, у Гете не было экземпляра от автора, и он, заинтересованный первым лите-

ратурным выступлением давно знакомого русского юноши, 2 сентября взял из Веймарской библиотеки это сочиненьице, а 4-го, с присущей Гете библиотечной аккуратностью, вернул назад [6]. Отметка Гете очень важна: очерк князя Элима явился единственной «историей русской литературы», которую довелось прочесть Гете, если только можно назвать «историей» набросок, занимающий всего около 48 печатных страниц. Из сочиненьица Мещерского Гете прочел нечто связное о Пушкине. Любопытно, что именно Мещерский знакомил если не Гете, то его домашних с сочинениями Пушкина. Еще до появления «Discours», когда в 1829 г. Шевырев был у Гете, то, по его позднейшим воспоминаниям, невестка Гете «Оттилия говорила о произведениях Пушкина и особенно о его «Кавказском пленнике», который узнала она через перевод, ей сообщенный князем Э[лимом] М[ещерским]» [7].

В 1832 г. Гете умер, с 1832 г. кн. Элим навсегда переселился в Париж, числясь там при посольстве. Он стал заметною фигурою литературного и светского Парижа и приобрел там много друзей и себе, и своему поэтическому творчеству. Он писал только по-французски. Романтик по литературным вкусам и симпатиям, он принадлежал к кругу Альфреда да Виньи и дважды выступал с книгами своих оригинальных стихов. В 1839 г. в Париже вышли его «Les boréales». Третья часть сборника отдана переводам, первую составляет послание Э. Мещерского к поэту Эмилю Дешанде-Сен-Аман (1791—1874), вторая—сборник его лирики: «Le livre d'amour». В 1845 г. выходит его сборник «Les roses noires» (1-я часть—драматические опыты, 2-я—лирика). Стихи Э. Мещерского, как и он сам, нравились французским читателям и друзьям. Вот отзыв одной из его читательниц, Маргариты Ансло, жены писателя. В своих воспоминаниях «Un salon de Paris 1824 à 1864» она пишет: «Я именно этому милому господину Тургеневу [А. И.] обязана тем, что он ввел ко мне целую толпу очаровательных русских людей: это были князь Мещерский, восхитительный поэт, писавший стихи, к нашему счастью, по-французски» [8]. Однако не все французские читатели были согласны с восторженной дамой. Тот же самый А. И. Тургенев писал Вяземскому из Парижа, в год, а может быть даже и в месяц выхода «Les boréales» Мещерского: «Здешние литераторы... «Северное затмение» не слишком хвалят, хотя и обещали сказать за друга словцо. St.-Beuve советовался со мной; я указал ему на «I love you», на «L'état c'est moi» и на русский вонючий тулуп, которым прикрыто грешное тело автора: будь справедлив, а он хочет только быть благодарным за уважение к французскому языку» [9]. Благодушный сват русских поэтов французскому обществу и литературе Ал. И. Тургенев здесь исхищал у князя Элима благоприятный отзыв, готовый появиться из-под пера знаменитейшего из французских критиков. Почему? Подождем отвечать: быть может ответит все дальнейшее. Но на благоприятные французские отзывы кн. Элиму везло, и когда в 1846 г., уже после его смерти, вышла его антология «Les poètes russes traduits en vers français» (2 тома), первый ее том открывался венком дружеских стихотворений, возложенным на его могилу. В поэтической деятельности Э. Мещерского самая достойная часть—это его переводы русских поэтов (в «Boréales» и в «антологии»). Охватывая до пятидесяти русских поэтов—от Ломоносова до Тютчева, Бенедиктова и Мятлева, они давали французскому читателю некоторую возможность судить о всей русской поэзии за сто лет. В «Les poètes russes» была даже сделана попытка снабдить стихи краткими очерками об их авторах.

Но если всмотреться в «антологию» князя Элима, подбор переводимого покажет, что у переводчика «умысел другой» тут был: «хозяин» еще какую-то «музыку любил». Из двух стихотворений Жуковского в «Les poètes russes» одно—«Певец во стане русских воинов» (1812); из Батюшкова дана всего одна пьеса—«Переход через Рейн»; из Пушкина переведено пять стихотворений, в их числе: «Бородинская годовщина», «Пир Петра Первого», «Делибаш»; из Языкова—одно: «Песнь Баяна»; из Хомякова—всего два: «Россия» и «Киев». Все это—стихи патриотического или военно-исторического содержания. Случаен ли этот подбор? Наоборот; он вполне соответствует французской прозе князя Элима, а его проза вполне соответствует тому дополнительному (а, в сущности, главному) официальному назначению, которое он получил в июле 1833 г., когда по желанию министра народного просвещения С. С. Уварова был назначен парижским «корреспондентом» этого министерства. Прямою его задачей было собирать сведения «о ходе и направлении современного просвещения во Франции»; но важнее была другая задача: пользуясь тем, что он был французский писатель, вхожий в литературные салоны и кабинеты, кн. Элим обязан был давать отпор, в стихах и прозе, нападкам на императора Николая I и его империю. «Гетеанец» Уваров недурно придумал назначить апологетом Николая I этого гетеанца с отроческих лет. Пост этот Мещерский занимал официально до 1840 г. Выбор Уварова был подсказан брошюрой Э. Мещерского «Lettres d'un Russe, adressées à m.m. les redacteurs de La Revue Européenne, ci-devant du Correspondant», изданной в Ницце в 1832 г. без имени автора. Эти «Письма русского» были откликом на статьи, направленные против русского правительства в «Correspondant» в год польского восстания; в этом же 1831 г. Мещерский поместил первую свою отповедь в том же самом «Correspondant» (№ 10); продолжение печаталось в видном парижском органе «La Revue Européenne». Уваров, давно метивший в министры, внимательно следил за всеми русскими откликами на польское восстание: он снизошел даже до перевода «Клеветникам России» нелюбимого им Пушкина, как только сообразил, что может своим французским переводом прибавить несколько николаевских червонцев к своему политическому капитальцу; «Письма русского» были замечены им. В отдельном издании они были дополнены: кн. Элим явился в них апологетом николаевой политики в Польше, апологетом русского солдата как столпа монархической верности и геройства, апологетом верноподданнических добродетелей «русского народа»; он разбавил эту апологетику другим материалом—разглагольствованиями о Пушкине, о баснописце Крылове, о Загоскине. Как умно это было сделано, видно из привлечения к делу Загоскина. Его роман «Юрий Милославский» был в двойном смысле литературной новинкой: в 1830 г. он вышел в России, а в 1831 г. уже появился по-французски в переводе Софии Конрад. Мещерский, без всякой предвзятости, имел право говорить о нем. Но стоит вспомнить содержание романа: борьба русских с поляками, сатирическое высмеивание поляков как фанфаронов и фальстафов, прославление героизма и доблести русских, чтобы понять, что эта литературная тема в 1831 г., в эпоху польского восстания против русских, являлась политическою темою. Таким образом и Загоскин появился в «Письмах русского» не спроста. Апологетика вышла литературна и не аляповата—недаром кн. Элим со вкусом писал по-французски. Была впрочем и клякса: эпиграф князь Элим взял... у князя Шаховского из комедии «Пустодомы». Книжка произвела шум. Вяземский послал ее престарелому

И. И. Дмитриеву: «Это—письма молодого кн. Мещерского, сына синодального, и письма несколько синодские, а, с другой стороны, много ребяческого жара и болтовни, много самохвальства, не только патриотического, которое извинительно и даже увлекательно, когда оно поддержано дарованием, но много самохвальства личного и вовсе неприличного. Признаюсь, излишний патриотизм и в самом эпиграфе. Выходя на бой с Европою, смешно взять Шаховского герольдом своим, смешно иметь союзником себе и m-r Masclet (переводчика басен Крылова.—*С. Д.*). С ними далеко не уйдешь и никого не испугаешь. Впрочем, книгу всю прочесть можно с любопытством и с желанием автору более зрелости в мыслях, ибо благонамеренность одна в подобных случаях недостаточна». Но бывший министр Александра I не совсем согласился с Вяземским: его отзыв ближе к тому суждению, которое кн. Элим и его апологетики вызывали в официальных петербургских кругах: «Отчасти однакож я не без удовольствия читал ее: люблю, когда наш вступается за наших. Сыны новой Франции столь же недоброхотны и еще более невежды, как и их деды, когда им доводится говорить о России, несмотря на то, что и прежде, и ныне они копышутся в ней, как домашние» [10].

Такие отзывы доставили кн. Элиму место корреспондента Уварова в Париже. Они же заставили Ал. И. Тургенева говорить о «русском вонючем тулупе, которым прикрыто грешное тело автора».

«Корреспондент министерства народного просвещения» кн. Элим захотел, «для пользы службы», привлечь к делу и старика Гете, давно уже бывшего в могиле. У Мещерского связи с Веймаром, где оставалась Мария Павловна, не ослабевали. В год своей смерти он воспевал еще ее в стихах, преподнеся ей оду на рождение принца Карла-Августа [11]. В 1835 г. кн. Элим почел нужным поведать о своих связях с Веймаром и вывести отсюда все, согласные с его должностью, поучения на страницах читаемого всею Европою «Revue Universelle». Это—поучительнейший и совершенно неизвестный памятник русского официального гетеанства сверху; это—прямое продолжение уваровской речи 1833 г.

С первых же строк князь Элим раскрывает свои карты: Франция шумна, многоголоса, бойка; пять только лет отделяют ее от баррикад; Германия—тиха, покорна, безмятежна: поедемте в Веймар! Вот его призыв-приглашение к французам, к русским, ко всей Европе:

«Если вам придет фантазия дать отдохнуть вашей голове от всего этого великого шума, который нас окружает в Париже, шума улиц и клубов, телеграфов и бирж, журналов и книг, политики и литературы, философических и религиозных сект,—облекайтесь в вашу блузу артиста и берите вашу палку или устраивайтесь в дилижанс или, еще лучше, пусть щелкает кнут почтальона пред вашей английской каретой, и направляйтесь к Рейну, отправляйтесь повидать Германию. Там вы найдете также движение, но это движение—умственное».

«Дух поднимается на крыльях фантазии и парит в сферах творчества и мысли. Ум вопрошает бога: почему он создал мир? Ум обращается к насекомому, к стебельку травы, к атому, спрашивая, каким образом их создал бог. Ум [l'esprit] создает систему за системой; разрушает, чтоб создавать; создает, чтоб разрушать; он утверждает и он отрицает; он созерцает и он испытывает; он измеряет и он исследует; он ползает и он летает; он всегда идет вперед».



DE LA

LITTÉRATURE RUSSE.

DISCOURS

PRONONCÉ

A L'ATHÉNÉE DE MARSEILLE,

Dans la Séance du 26 Juin 1830,

PAR

LE PRINCE ELIM MESTCHERSKY,

GENTILHOMME DE LA CHAMBRE DE S. M. L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, ATTACHÉ A LA LÉGATION PRÈS S. M. LE ROI DE SARDAIGNE, CHEVALIER DE L'ORDRE DU FAUCON-BLANC.

MARSEILLE,
TYPOGRAPHIE DE FEISSAT AINÉ ET DEMONCHY,
RUE CANEBIÈRE, N° 19.

JUILLET 1830.

Титульный лист отдельного издания речи „О русской литературе", произнесенной Элимом Мещерским в марсельском „Атенее" 26 июня 1830 г. Гете брал 2 сентября 1830 г. эту книгу из Веймарской библиотеки
Landesbibliothek, Веймар

Вот сколько движения и борьбы производит—по князю Элиму—в Германии «дух», «ум» (l'esprit). Он—страшный «революционер», пред его «движениями»—ничто все парижские баррикады 1830 г. и тем более ничто то эхо баррикад, которое и в 1835 г. слышится еще то в парламенте, то в печати, то в обществе. Князь ставит немцев в пример французам: хотите «движений», «борьбы», «шуму»—следуйте примеру немцев: «Несмотря на то, что дух [или ум, l'esprit] идет вперед, сердце остается неизменным, чувство, нравы, национальный характер не изменяются; теории не овладевают людьми; страсти не овладевают народом; идеал не реализуется; мысль не приводит к действию».

Все движение «духа» остается в тех самых пределах, в каких оставался либерализм Репетилова: «Шумим, братец, шумим!»—«Шумите вы?—и только?» У Чацкого это «только»—укор; у Элима Мещерского—величайшая похвала. Только раз немцы «пошумели» не по-репетиловски: «Одна идея облеклась в плоть и вошла в общественную жизнь. Это был Лютер». Это конечно был большой грех немцев, но они давно уже покрыли его добрым поведением: «С этой первой большой революцией, которая, вероятно, будет и последней, Германия замкнулась опять в себе и жила воображением и аффектацией. Рассудок, неустанно тяготеющий к чувству, несомненная ось немецкого народа,—вот Германия».

Лечиться от революционных болезней Франции и Европе нужно у Германии: «Вы найдете отдых, которого ищете, как только начнете дышать этой атмосферой любви, благоденствия, благодушия, которая окружает немецкий народ: добрые качества его сердца сладки, как благовоние. Эти качества находят выражение в одном немецком слове: «Gemüth». Это слово,—

поясняет князь Элим,—непереводимо: по-французски Gemüth—равно уму, душе, сердцу или оно, вернее, включает все эти понятия». Итак, Германия реакции 20—30-х годов, сонная и унылая, оказывается страной обетованной. Француз, больной революцией и либерализмом, должен поехать в Дрезден «преклонить колена пред Мадонной Рафаэля», должен «посетить Берлин, чтобы... видеть короля, довольного своим народом, и народ, довольный своим королем», но, главное, он должен посетить «небольшой городок, расположенный на маленькой реке».

«Остерегайтесь попасть туда в момент озабоченности или предубежденья. Если это несчастье с вами случится, возвращайтесь скорее вспять, потому что этот городок—булыжник, скрывающий бриллианты. Этот город в течение полувека был столицей германского просвещения, был пьедесталом, который поддерживал стольких великих людей и явил их изумленной Германии. Этот город—Веймар.

Было время, когда герцогский двор саксен-веймарский походил на старинный портик, посвященный Минерве. Веймар звали Афинами Германии. Философы, поэты, художники и писатели толпились вокруг герцогини Амалии, женщины высокого ума и большого сердца. Это была фея, открывавшая и притягивавшая к себе гениев. Это была немецкая Медичи, но соперничала она с итальянской только добродетелями. В ее скромной вилле Тифурт собирались Гердер, Виланд, Шиллер, Иффланд и мн. др. Их возвышенные мысли, их стихи делались всемирными, их величественные или веселые речи раздавались под густою тенью деревьев, под которыми змеился Ильм, сладостно журча. В это же время, в нескольких лье оттуда, в Иенском университете профессорствовали другие люди, прославившие и поднявшие немецкую науку на высоту, которой не достигал ни один народ: это были Шеллинг, Фр. Шлегель и другие. Скипетр просвещения перешел от Франции к Германии. Родником, откуда начался этот поток науки и литературы, разлившийся вдруг по всему миру, был Веймар. Водоем, принявший воды этого родника, был герцогский двор».

«Корреспондент русского министерства народного просвещения» не оставил без надлежащего комментария поэтическую картину гетеанца князя Элима: он расставил все точки над i.

«В то время,—поясняет служащий С. С. Уварова,—как на левом берегу Рейна [читай: во Франции] все нивелировали, равняли [читай: делали Великую революцию], на правом—возвышали. Что бы там ни говорили, просвещение—естественный враг равенства: оно всегда восходит, а не спускается. Это—пирамида, которая, как бы ни была она широка в основании, постепенно суживается и кончается одной точкой. И чтоб еще ни говорили, двор—уже по одному тому, что он соединяет общественные верхи,—есть тот фокус, который притягивает к себе все самое подлинное и чистое, что есть на высотах ума. Только орлы посещают вершины».

Ни один из русских официальных гетеанцев не обнажал социально-политических корней своего гетеанства с такою показательною ясностью, как князь Элим. Уваров противопоставлял в своей речи 1833 г. Гете Вольтеру, «аристократизм» Гете—вольтерову угодничеству «черни», но сказать о дворе то, что сказал Мещерский, и он не решился. Очень характерно, что в рассуждении кн. Элима «Веймар»—больше, чем «Гете»: «двор»—водоем, а Гете и все другие из писателей—лишь ручьи, впадающие в этот водоем. Гете—не больше веймарского придворного «фокуса», вобравшего

в себя все литературно-философские лучи, но он больше каждого из этих отдельных лучей:

«Выше стольких слав, с которыми соединено имя Веймара, вырисовывается Гете со своими гигантскими пропорциями. Гете был олицетворением всего умственного движения эпохи. Целая вселенная отразилась в его душе. Его вместительный череп вместил всю науку во всем безбрежном развитии, которое она имела. В его божественных чертах вмещена вся красота форм, которые приняла литература. Он похож на статую Мемнона: он—тоже гранитный колосс, издававший гармонические звуки. С какой бы стороны ни освещало его солнце, Гете отзывался аккордами тонкими и нежными. Лучи востока душистым ветерком принесли ему «Диван» индусов (!—*С. Д.*), полуденные лучи создали ему «Римские элегии», всю эту Италию, Грецию, которая была перенесена в Германию; лучи Запада оживили в нем высокие создания французской сцены (князь Элим делает комплимент французам: Гете-драматург, оказывается, всего только воскресший Корнель с Расином.—*С. Д.*). И, наконец, светило Севера, он вобрал в себя всю германскую поэзию, все прошлое, все настоящее немецкой жизни от «Геца фон Берлихингена» и «Фауста» до «Вертера» и «Вильгельма Мейстера». Новое солнце, он имел только спутников; могучий из могущественных, он был провозглашен королем, и литературная республика в Германии превращается в абсолютную монархию. (Читатель сам уличит князя Элима в плагиате у Уварова.—*С. Д.*)

Шеллинг, который долгое время был в философии то же, что Гете—во всем, сказал своей аудитории, повещая, что этот человек больше не существует: «Господа, Гете умер, мы—одиноки».

Шеллинг процитирован: но цитата эта должна быть подтверждена другой, более надежной цитатой.

«Господин Уваров, который подготовляет мыслящую Россию (la Russie intellectuelle) к благородной будущности и который был другом Гете (qui fut l'ami de Goethe), говорит об этом в таких выражениях: «Германия, теряя этого знаменитого мужа, потеряла в нем единственного и последнего из своих литературных монархов,—монарха, вознесенного на щит и по законному праву гения, и по единодушному согласию соотечественников».

Кн. Элим процитировал своего начальника, отослал, в примечании, читателя к его речи: «Voyez la notice sur Goethe, lue...» и т. д. и пояснил читателю: «Г. Уваров—теперь министр народного просвещения». В сущности, все свое изложение «корреспондент» вел к этой цитате из «министра»: цитата венчает и выпад против революционной «нивелировки», и торжество по поводу превращения «литературной республики в Германии в абсолютную монархию».

Последняя фраза передает суть речи Уварова: если б кн. Элим продолжил свою цитату, там бы мы тотчас прочли: «но монарха решительно не конституционного и не любившего слышать о литературной хартии». Плагиаты и цитаты эти были из числа тех, за которые авторы не преследуют плагиаторов и хвалят цитаторов.

После цитаты из министра кн. Элим еще раз решил поставить все точки над i:

«Да, визитные карточки этого верховного первосвященника «ноократии» (de la noocratie) [12] хранили следующие слова: «фон Гете, действительный тайный советник его королевского высочества великого герцога Саксен-Веймарского».

«В том, что Гений воздал царствующему дому Веймара верноподданнический долг, отбросивший бессмертный блеск на этот двор и на этот город,—в том нет ничего удивительного. Гете понимал, что право ума и право социальное никогда не должны быть смешиваемы, что в политике первое должно оставаться подчиненным второму. Противники Гете обвиняют его в куртизанстве; это значит—они презирают его. Гете давал торжественный пример должного уважения к социальному порядку».

Весь этот комментарий к визитной карточке Гете кажется назидательной репликой в сторону русского «Гете»,—в сторону Пушкина, не склонного «воздавать верноподданнический долг» царствующему дому Петербурга: это говорилось в 1835 г., когда отношения Пушкина к Николаю I и его двору (включая и Уварова) стали особенно натянуты. Пример Гете должен был вразумлять писателей, не склонных «право ума» подчинять «социальному праву» Николая I.

«Итак,—продолжает Мещерский,—Гете был другом принца, чья мать была герцогиня Амалия. Их души были созданы для того, чтоб взаимно ценить друг друга. Карл-Август, наследовавший военную доблесть принца Бернарда, знаменитого полководца, происходившего от ветви Эрнестины Саксонской,—Карл-Август мог протянуть свою царственную руку Гете, а Гете принять ее с гордостью: эта рука вынула шпагу и призывала германское отечество к независимости в то время, когда победитель народов и королей давил Германию копытами своей белой лошади. Свои владения и свою особу Карл-Август приносил в жертву за свободу мира в ту эпоху, когда Пруссия, борясь совсем одна со звездой Наполеона, готовилась к славным похоронам, в ту эпоху, когда Россия не возглашала еще зова к освобождению.

«После битвы при Иене город Веймар был свидетелем сцены, которую историк перескажет с нежностью. В то время как все бежало перед французской армией, надвигавшейся на Веймар, герцогиня Луиза, супруга Карла-Августа, не покинула дворца. Она знала чувства Наполеона к герцогу и предвидела, что гнев императора отдаст город грабежу. Она ожидала удара, как железный шпиц ждет грома. Женщины, дети, старики—все собрались во дворце и разместились со своим скарбом в обширных помещениях герцогской резиденции. Великодушная герцогиня оживляла одних, ободряла верность других и не страшилась Аттилы. Наполеон явился. Достоинство и мужество герцогини изумили его и смирили его гнев. Герцогство было пощажено. Некогда, в подобном случае, женщины Вейнсберга унесли на своих плечах мужей. Женщина Веймара унесла свое государство.

Три могилы отмечены тремя именами: Гете, Карл-Август, Луиза... Путешественник, поезжай в Веймар, склонись перед этими пирамидами Саксонии».

Князь Элим не без ловкости сплел один венок из легенды и возложил его на три гробницы: двух веймарских монархов—политического и литературного—и одной монархини, сделав ее нравственной победительницей Наполеона. Но прошлое есть прошлое, а надо быть апологетом настоящего, и «корреспондент» легко берется за это: опять все начинается с Гете. Гете сказал:

Liegt dir Gestern klar und offen,
Wirkst du Heute kräftig treu,
Kannst auch auf ein Morgen hoffen
Das nicht minder glücklich sey.

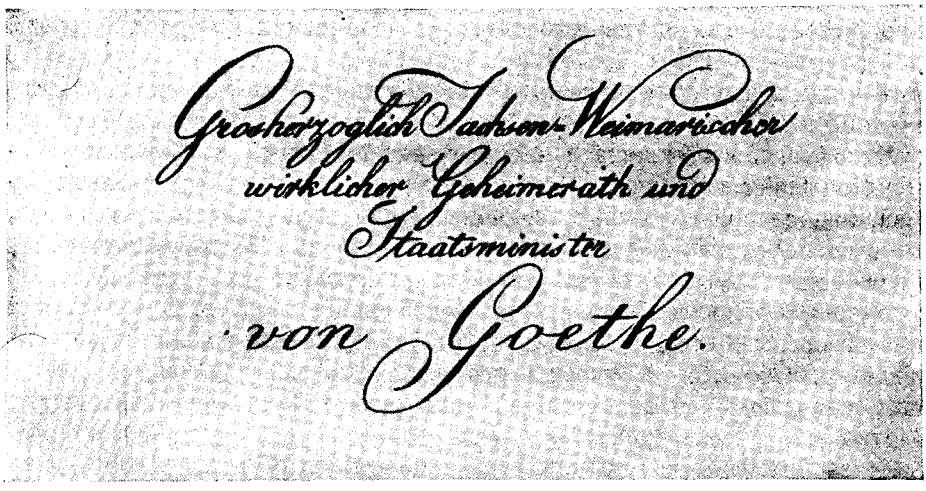
(Если вчерашний день лежит пред тобою ясный и открытый,
Сегодня ты можешь быть сильным и свободным,
Можешь надеяться также и на завтра,
Которое будет для тебя не менее счастливым).

«Если прошлое Веймара было блестяще и лучезарно, то его настоящее еще прекрасно, а будущее кажется чистым и счастливым. Дочь русских царей, великая княгиня Мария, и ее набожный супруг заботятся о благосостоянии этой исторической страны. Они—ангелы-хранители Веймара. Благоговение смыкает мне уста; похвалы живущим похожи на лесть; а то, что я хотел бы сказать, походило бы на нее еще больше, хотя я говорил бы только правду. Путешественник, спроси веймарцев; они оправдают мое молчание».

Таково настоящее Веймара: там уже нет Гете, но там не меньше величия, так как остался «фокус», притягивающий и собирающий лучи всякого величия, остался двор, а в центре его—Мария Павловна (князь Элим, подобно Гете, не мог придумать для ее супруга менее скромного эпитета, чем «набожный»).

«Но я хочу вам рассказать, как маленький городок предлагает вам все преимущества столицы, кроме одной скуки.

Герцогский двор сохранил все привычки старого времени (доброго, дореволюционного, доконституционного, старого времени Людовиков!—*С. Д.*)—это Версаль в миниатюре. Он собирает все, что есть в Веймаре, и все самое утонченное, что посылает ему Европа. Расположенный на больших дорогах Германии, Веймар принял у своего очага одного за другим всех знаменитостей двух веков и всех стран. Это—волшебный фонарь, на экране которого прошли все головы, увенчанные короной или славой, от Наполеона и Александра до Байрона и Ж.-Ж. Ампера, этого апостола северной литературы и немца среди французов; и их еще много пройдет, не сомневайтесь в этом. Мало городов во Франции обладают столь избранным обществом. Кажется что про женщин Веймара сложена немецкая



Визитная карточка Гете-министра
Текст карточки: „Действительный тайный советник и государственный министр великого герцогства Саксен-Веймарского фон Гете"
Институт Русской Литературы, Ленинград

пословица: «В Саксонии каждое дерево приносит красивую девушку». Древние почитали красоту атрибутом гения. Веймар в таком случае классическая страна.

Наслаждение было смотреть на грациозный полет голубей, выпархивающих из-под крыльев орла-Гете и вьющихся вокруг него. Это была картина, достойная пера певца Гретхен. Голова этого второго Юпитера Олимпийского господствовала над столькими нежными женщинами, которых XVIII век сделал богинями. В Веймаре было множество невиданных нигде празднеств. Вообразите себе бесчисленные кадрили, представляющие персонажей драм и поэм, наиболее прославленных в Германии; вообразите себе Гете, распределяющего роли, пишущего стихи на случай, направляющего шествие; вообразите себе сына Гете, играющего Мефистофеля, и детей Шиллера, появляющихся в группах».

Князь Элим, давний обитатель Веймара, многое мог бы вспомнить из придворных празднеств, но вспомнил он именно то, что требовалось «корреспонденту»: известный нам «Maskenzug» в честь Марии Федоровны.

«Дух Гете проник в общество Веймара. Каждый взял от него свою долю; судите, богаты ли в этом городе просвещением. Этот нравственный метампсихоз был предназначен этой избранной стране. Увы, увы! О том, что зовут beau monde в других столицах, не скажешь этого. В Веймаре мир изящества есть в то же время мир искусства и науки. Предместье Сен-Жермен, этот малый Париж просвещенья, выпустило недавно литературный журнал с произведениями на немецком, французском, английском и итальянском языках: все сотрудники этого журнала носят газ и ленты, они—дочери министров и важных баронов, им 16—18 лет. Юные иностранцы, слышавшие мерные строфы «Миньоны», произносимые этими прекрасными устами, теряют охоту итти к гондольеру за октавами Тассо. И многие из тех, что ускользнули из Оксфорда (а ими изобилует Веймар), просвещаясь, как гости Орфея, изучают теперь немецкий язык, как не изучали свою латынь, и появляются в герцогском дворце».

Князь Элим «забыл меру»: недаром он все-таки романтик, хоть и с денежным пособием от Уварова: у него выходит, что «дух Гете» так оказался проникновенен, что... заставил английских дворянских недорослей выучить немецкие вокабулы.

«Так как я взял на себя роль чичероне в этом музее гармоничных воспоминаний и любопытных вещей, я должен добавить, что в Веймаре есть все, чтобы сделать пребывание в нем особенно приятным. Публичная библиотека обладает драгоценными рукописями, между прочим—библиею Лютера, написанной его рукой. В кабинете для чтения, достойном Парижа, имеются редкие книги, лучшие журналы Европы. Театр, в котором под руководством Иффланда и Гете зрели лучшие артисты Германии, соперничает и до сих пор с театрами больших городов. В нем ставятся иногда оперы Россини по-итальянски, и Гуммель находится во главе оркестра. Общества и учреждения литературные и научные достойны внимания ученых и артистов. Из них назову Географический институт Бертуха».

Князь Элим почувствовал, что в конце концов речь его сбилась на зазыв путеводителя, и поспешил закончить: «В конце концов нужно бы написать целую книгу, еслиб захотели восстановить то, что я пропустил, или если бы захотели рассказать о другом городе герцогства, связанном с Лютером так, как Веймар—с Гете».

«Гете был настоящим микрокосмом; он заключил в себе целый мир; он сделал из него храм. Веймар был храмом Гете. В сфере интеллектуальной ничто не прошло без того, чтобы Гете не поставил на нем своего имени. В течение многих лет ни одно событие общественное, философское, литературное не вошло в историю без того, чтобы имя Веймара не повторялось, как эхо. Веймар! Рай...» [13]

Я привел весь текст статьи Мещерского. Он стоит того. Это вершина русского официального гетеанства. Все его социальные корни, политические устремленья тут обнажены; вся литературная монтировка налицо; согласованность с Уваровым, основным идеологом правительственного гетеанства, неоспорима. Уваров мнил себя классиком, и речь его претендовала быть oratio academica; Мещерский мнил себя романтиком, и речь его порывиста, хаотична, лирична. Но содержание там и тут одно и то же: оказывается Гете в литературе—такой же монарх без страха и упрека, как Николай Павлович в политике; он столь же антиконституционен, как Николай самодержавен; он столь же враждебен всякой революции, как палач декабристов. Одним из доводов «либералистов» против абсолютной монархии и монархов было утвержденье, что они душат гениев, принижают искусство, теснят свободу науки. Уваров и Мещерский ловят на лету это блуждающее обвинение дворянско-буржуазного либерализма, объединяющего собой и буржуазных революционеров, и романтиков, и философствующих утопистов, ловят и парируют резко и веско: Гете был гений, Гете был великий художник, Гете был великий ученый, каких нет в мире,—и смотрите: он был верноподданным своего герцога, он ненавидел революцию, он презирал демократию, он считал за честь именоваться тайным советником маленького царька, он был глубоко почтителен к самодержцам не малым, в том числе и всероссийским. Чтобы звучать веско, это возражение требовало нарочитого гетепочитания и гетепрославления: нужно было всячески подчеркнуть величие Гете как гения, чтобы тем разительнее представить благонамеренное смирение его как верноподданного и как приверженца существующего феодально-монархического строя. Уваров и Мещерский это именно и делают; гиперболизм их восхваления Гете (у одного—классически-«величавый», у другого—романтически-«приподнятый») при всей своей риторичности сплошь политически целесообразен с точки зрения крепостническо-дворянской России. Но одного Гете им мало; нужен еще и Веймар. Это превосходно удалось кн. Элиму: Гете у него—лишь самый яркий из веймарцев, но центр всего—Веймар: герцогский двор, высшее общество, феодально-абсолютистское правительство и государство. Все, что говорит Мещерский, сводится к апологетике правящей аристократии и двора: двор привлек писателей, двор дал им возможность явить себя в творчестве, двор явил гармонию власти и мысли, социального иерархизма и культуры; одним словом, двор есть фокус, сосредоточие всего бытия—культурного и политического.

Кн. Элим—реставратор; Веймар для него—Версаль эпохи короля-Солнца. Пусть революции уже сокрушили этот Версаль подстриженных деревьев и подстриженных стихов, голодных масс и бриллиантовых кавалеров,—кн. Элим уверяет Францию, что это—ошибка: такой Версаль существует. Это—Веймар Гете, Карла-Августа и Марии Павловны: он так культурен, блестящ, ярок (подите, убедитесь сами!), что кто же может возражать против, не возражая тем самым против великого Гете, против мирового поэта и ученого?

Из всех возможных выпадов справа против буржуазной Франции Людовика-Филиппа с ее конституционализмом и либерализмом кажется только этот один мог еще иметь видимость какой-либо убедительности: Гете и Веймар оставались единственным козырем в безнадежно проигрываемой игре абсолютистов-аристократов. Веймар и прошлого, и сегодняшнего дня противопоставлялся Парижу Великой революции, а Гете в самом деле был так велик, что его олимпийством на минуту можно было заслонить (но конечно не прикрыть) надвигавшиеся на Францию, а с нею и на Европу огни революции 1848 года.

Для дворянской России гетеанство кн. Элима (а все его французские статьи и издания свободно пропускались через границу и читались в России) имело самый живой смысл. В 1835 г., когда он писал про Гете, разыгрывался конфликт с правительством не у одного Пушкина. Вся народившаяся и нарождающаяся молодая поэзия и литература—Белинский, Лермонтов, Герцен, Тургенев, Достоевский, Некрасов—переходила в прямую оппозицию правительству. Правительство это сознавало. Весь смысл деятельности Уварова как министра народного просвещения в том и состоял, чтобы на основе организующей социально-политико-философской формулы «православие—самодержавие—народность» создать новую правительственную интеллигенцию, противопоставив ее оторвавшейся от правительства интеллигенции декабристов, формирующихся западников, намечающихся петрашевцев. Опыт Николая I с Пушкиным, с его «приручением» и «перевоспитанием» в духе правительственной идеологии, явно не удался. Приходилось в этом сознаться, но не отказаться от более обширного опыта с целым поколением, которому надлежало пройти через воспитательные горнила уваровских гимназий, университетов, журналов, цензур. Гете и Веймар давал великолепный образец для такого опыта. Амалиям, Луизам, Карлам-Августам, даже Мариям Павловнам с их министрами удалось в течение полувека приручить, сделать правительственными величайших поэтов и мыслителей своей страны, удалось около них создать веймарскую интеллигенцию, послушную правительству и действительно просвещенную. Почему же то, что удалось Марии Павловне с канцлером Мюллером, не могло удасться Николаю Павловичу с министром Уваровым в масштабе несравненно большем, но и со средствами тоже неизмеримо большими? Гетеанство и веймарианство входило самым прочным образом в программу Уварова-министра, и не могло не входить. Даже в борьбе своей с Пушкиным и он, и Николай I могли опереться на Гете: Николай I был не глупей, не хуже Карла-Августа; почему же Пушкин с ним не уживался, а Гете с Карлом-Августом отлично ужился? Давление громоздкой юпитерской фигуры звездоносца Гете на весах суда общественного—русского и европейского—должно было перетянуть легкую подвижность неустойчивой фигурки Пушкина, и дело решено было бы в пользу Николая I при «благородных свидетелях» в его пользу—Гете и Карле-Августе.

В князе Мещерском Уваров нашел отличного ученика и сотрудника. Был даже какой-то проект распространить деятельность кн. Элима и на Россию, отнюдь не отрывая его от деятельности в Европе. Летом 1836 г.—после своего «Веймара»—Мещерский приехал в Россию и затевал какое-то издание. Н. В. Кукольник очень сбивчиво и сумбурно встревожился по этому поводу в своем дневнике: «Мещерский приехал из Парижа и затевает в Петербурге Revue русских произведений для русских во француз-



ЭЛИМ МЕЩЕРСКИЙ
Портрет маслом неизвестного художника (30-е годы XIX века)
Институт Русской Литературы, Ленинград

ских переводах!» Кукольник иронизирует: «Очень кстати! Неужели он надеется, что в Европе будут читать его статьи? Нет, не надеется. Там, в России? да! Наши вельможи не могут читать по-русски; не варит желудок» [14].

Кукольник ошибался: в Европе Элима Мещерского читали, а в Париже так и перечитывали; он хотел, чтоб его читали больше и в России. Предприятие князя Элима почему-то не осуществилось. Он ограничился Европою.

В истории русского гетеанства князь Элим—одна из примечательных фигур. Это—эпилог и итог русского правительственного гетеанства и его политических и социальных чаяний.

«Правительственная интеллигенция» не осуществилась. Провалилось и правительственное гетеанство. Но оно имело целую толпу приверженцев, больших и маленьких. С ним нам и предстоит познакомиться.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ф. Ф. Вигель, Записки, ч. V, изд. «Р. А.». М., 1892, стр. 99.

[2] Le prince Elim Mestcherski, Weimar.—«Revue universelle». Troisième année. Tome V, Bruxelles, 1836, page 334. Переводом этой статьи Э. Мещерского я обязан проф. Г. С. Виноградову.

[3] «W. A.», III Abt., B. X, S. 68, 180, 150, 202; B. XI, S. 31; B. XII, S. 68, 95.

[4] Пушкин, Соч., т. V, стр. 31.

[5] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 297.

[6] Elise Keudell, Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Weimar, 1931, S. 338. Запись № 2149.

[7] С. Шевырев, Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин.—«О. З.» 1839, т. III, стр. 116. Оттилия получила от Мещерского вероятно перевод Вульферта: «Der Berggefangene von A. Puschkin, S.-Ptsb. 1823», а может быть и известное контрафакционное издание того же перевода вместе с русским текстом, сделанное в 1824 г. Е. Ольдекопом.

[8] А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, стр. 23.

[9] *Письмо от 2/14 января* 1839, № 824, «О. А.», т. IV, стр. 62.

[10] «Р. А.» 1868, стр. 621—622; «Старина и новизна», т. II, стр. 157. Обе цитаты из «О. А.», т. IV, П., стр. 697.

[11] «À LL. A. A. Impériales et Royales M-me la Grande Duchesse Marie et Messeigneurs le Grand-Duc et le Prince héréditaire de Saxe-Weimar, à l'occasion de la naissance du prince Charles-Auguste». Paris, 1844.

[12] Примечание Э. Мещерского: «Ноократия (Noocratie)—власть разума. Это слово было создано г. Лерминье в его курсе сравнительного законоведения». (Nove—по-гречески: разум.—*С. Д.*)

[13] Le prince Elim Mestcherski, Weimar.—«Revue universelle» 1835, т. V, pp. 329—334.

[14] «Баян» 1888, № 10, стр. 90. Цитата из «О. А.», т. IV, стр. 715.

Наиболее подробные сведения о кн. Э. П. Мещерском даны в русской историографии В. И Саитовым в примечаниях к «Остафьевскому архиву» (том III, стр. 695—698). Но его характеристика Мещерского, как видно из сопоставления с предлагаемыми читателю страницами нашей работы, страдает решительным апологетизмом и определенным социальным привкусом. Вот что пишет Саитов: «Мещерский, много лет живший во Франции, очень любил эту страну и в совершенстве знал ее язык и литературу, представители которой относились к нему с большой симпатией. Кроме общности интересов этому способствовали и личные качества Мещерского, отличавшегося оригинальным живым умом и благородством характера. Однако, любовь к Франции не могла заглушить в Мещерском врожденного патриотизма и приверженности к православию, доказательством чего служит литературная деятельность его, обращенная почти исключительно на ознакомление Франции с Россией и на распространение во французском обществе правильных понятий «о нашем отечестве» (стр. 696). Эти «правильные понятия» были оправданием крепостнически-автократического строя николаевской империи. За распространение этих «понятий» Мещерский получал вознаграждение от Николая I.

III. РУССКАЯ ЗНАТЬ И РУССКАЯ РЕАКЦИЯ ВОКРУГ ГЕТЕ

„ДЯДЮШКА СЕНАТОР" В СНОШЕНИЯХ С ГЕТЕ. — ПОЭТ-ДИПЛОМАТ И ГЕТЕ. — ВСТРЕЧА ГЕТЕ С АДМИРАЛОМ А. С. ШИШКОВЫМ. — ГЕТЕ—ЧИТАТЕЛЬ И КРИТИК ШИШКОВА. — ГЕТЕ ЗА РУССКОЙ ГРАММАТИКОЙ И СЛОВАРЕМ. — „ХОЛОП ВЕНЧАННОГО СОЛДАТА" И ГЕТЕ. — ВЕЙМАРСКИЙ ПРИЮТ КОЦЕБУ. — ГЕТЕ — ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМИССИОНЕР РУССКОЙ АРИСТОКРАТИИ. — ГР. В. Н. ПАНИН И ГР. В. П. ОРЛОВ-ДАВЫДОВ У ГЕТЕ. — НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ ГЕТЕ — В. А. КАЗАДАЕВ. — РУССКИЕ ТУРИСТЫ У ГЕТЕ. — СИЯТЕЛЬНЫЙ КРИТИК „РАЗБОЙНИКОВ". — ГЕТЕ И КН. А. Я. ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ. — ПОРТРЕТ ГЕТЕ РАБОТЫ О. А. КИПРЕНСКОГО.

Официальное причисление Гете к сонму лиц, благонадежных с точки зрения русского правительства, совершилось в 1808 г. Некоторые знакомства Гете, заключенные им в русском официальном мире еще с 1807 г., подготавливали такое «причисление».

В 1807 г. Гете проводил лето на водах в Карлсбаде и тут встретился с двумя русскими дипломатами, пожелавшими вступить в приязнь с европейской знаменитостью. Это были Лев Александрович Яковлев (1766—1839), впоследствии посланник в Штутгарте (1809) и при короле Вестфальском (1810—1812), и Василий Васильевич Ханыков (1759—1829), посол в Дрездене.

Яковлева современный читатель знает под псевдонимом «Сенатор». Он живет на страницах «Былого и дум» Герцена, Ханыков же безвестен.

Дядюшка Герцена, Лев Александрович Яковлев, «был по характеру человек добрый и любивший рассеяния; он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее,—несмотря даже на то, что все события с 1789 до 1815 гг. не только прошли возле, но зацеплялись за него. Граф Воронцов (Семен Романович, русский посол в Лондоне.—*С. Д.*) посылал его к лорду Гренвилю (английский министр иностранных дел.—*С. Д.*), чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он был в Париже во время коронации Наполеона. В 1811 г. Наполеон велел его остановить и задержать в Касселе, где он был послом «при царе Ереме», как выражался мой отец в минуты досады (при короле Иерониме, брате Наполеона.—*С. Д.*). Словом, он был налицо при всех огромных происшествиях последнего времени, но как-то странно, не так, как следует... Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где нет двора. Не зная законов и русского судопроизводства, он попал в Сенат, сделался членом опекунского совета, начальником Марьинской больницы, начальником Александровского института и все исполнял с рвением, которое вряд было бы нужно, со строптивостью, которая вредила, с честностью, которую никто не замечал. Он никогда не бывал дома. Он заезжал в день две четверки здоровых лошадей: одну утром, одну после обеда. Сверх Сената, который он никогда не забывал, опекунского совета, в котором бывал два раза в неделю, сверх больниц и института он не пропускал почти ни один французский спектакль и ездил раза три в английский клуб. Скучать ему было некогда, он всегда был занят, рассеян, он все ехал куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на рессорах по миру оберток и переплетов. Зато он семидесяти пяти лет был здоров, как молодой человек, являлся на всех больших балах и обедах, на всех торжественных собраниях и годовых актах все равно каких: агрономических или медицинских, страхового от огня общества или общества естествоиспытателей... да, сверх того, за то же, может, сохранил до старости долю человеческого сердца и некоторую теплоту» [1]

Что прибавить к этой блистательной зарисовке?

В нее отлично укладывается первая же запись дневника Гете, отмечающая его карлсбадские встречи с Яковлевым: 1 июня он разговаривал с Гете «о том, как путешествующие гонимы ходом современной войны туда и сюда» [2]. Наполеон мешал русскому барину с паспортом дипломата приятно вояжировать и пить карлсбадские воды,—и он пожаловался веймарскому министру на свою «гонимость». Гете отмечает свои прогулки и пикники с будущим «сенатором»: «Гулял с Яковлевым на лугу» (6 июня); «Обед-пикник в «Золотом Щите», большое общество дам и мужчин, в особенности французы и русские, Роганы, Яковлевы» (22 июня); «На лугу и по аллее с Яковлевым, готским принцем, г-жей фон Вертер, и затем на концерт» (8 авг.); «Рано утром пришел г. Яковлев, возвратившийся из Францесбруна» (29 авг.); «С Яковлевым у Больцы», у графа, владельца отеля «Золотой Щит» (2 сент.) [3]. Хронология записей показывает, что Гете провел с Яковлевым целый сезон в Карлсбаде. Было ли это только знакомство «на водах», кончающееся с последним стаканом минеральной воды, вместе выпитым у источника? Нет,—и это повидимому потому, что у «дядюшки сенатора» был один общий интерес с Гете. Вот что мы находим в тех же карлсбадских записях Гете: 26 июня: «Табакерка Яковлева и резная работа на халцедоне». 8 июля: «У Яковлева. Замечательный китайский ковер с ландшафтами, фигурами и цветами, все части которого вытканы или вывязаны по отдельности и соединены вместе. Я вспомнил подобные древние ковры в Магдебурге, на хорах собора». 31 августа: «У Яковлева, пересмотрел его резные камни» [4]. Барин-дипломат путешествовал, не разлучаясь со своей драгоценной коллекцией табакерок и камней, с художественными раритетами своей обстановки, и Гете, отличавшийся страстью к камеям и любовью к коллекционированию, нашел общий с Яковлевым предмет увлечения. Коллекции Яковлева художественностью самих предметов и тонким вкусом их подбора произвели на Гете такое сильное впечатление, что он уделил им большое место, подводя годовой итог своим художественным впечатлениям. Говоря, что в этом, 1807 г. ему есть «много, что сказать об изобразительных искусствах, о теоретическом их постижении и практическом упражнении в них», Гете к числу важных фактов такого рода относит и то, что «Яковлев показывал недавно вырезанные в Риме камеи: умное использование в них кусков халцедона и оникса заслуживает большой похвалы. Среди других достопримечательностей у него был старый китайский ковер, на котором по отдельности сделанные фигуры объединены гармонирующим фоном в одну картину. Я вспомнил, что подобные, из ранней германской поры, я видел в соборе в Магдебурге» [5].

Водные разговоры сменились у Гете с Яковлевым сношениями коллекционеров-любителей гемм и камей. 30 декабря 1809 г. Яковлев послал Гете художественную гранатовую табакерку, доселе хранящуюся в доме Гете. Гете отвечал Яковлеву любезнейшим письмом от 5 февраля 1810 г. и послал ему в отдаренье кусок слоистого халцедона как прекрасный материал для камеи [6].

Благожелательствуя Яковлеву, переведенному из Дрездена на дипломатический пост в Кассель, Гете писал (22 апреля 1810 г.) туда Рейнгардту, послу Наполеона: «Ради меня окажите ему [Яковлеву] дружеский прием; он всегда в высшей степени мило ко мне относится и еще недавно преподнес мне табакерку из породы, весьма для меня интересной» [7]. Яковлев

с отменной любезностью решил, что на халцедоне, подаренном Гете, должен быть иссечен профиль дарителя. «Передайте мой поклон господину Яковлеву,—поручал Гёте наполеонову послу 7 октября 1810 г.,—я осведомлен об его милом намерении заказать в Риме резную камею с моим профилем для своего собрания. Подходящей гравюры не имеется, однако я посылаю Вам с почтой медальон, вылепленный г. фон Кюгельгеном,—на этот раз лучшее, что я знаю. Если это не то же самое, что Вы привезли из Гамбурга, он, может быть, этим удовлетворится» [8].

Дипломаты Александра и Наполеона расточали знаки внимания к Гете: русский хлопотал о камее, французский подыскивал для нее оригинал, а Гете благосклонно поручал второму передать первому наиболее подходя-



СЕНАТОР Л. А. ЯКОВЛЕВ
Миниатюра неизвестного художника (начало XIX века)
Исторический Музей, Москва

щее изображение для резчика. 28 апреля 1811 г. Яковлев послал в Рим резчику Николаю Морелли наказ: «Я вам послал гипсовый снимок с портрета одного великого немецкого писателя, который мне хотелось бы увидеть изображенным в виде камеи для кольца». Чем был тогда Гете для европейского общества, повидимому очень недурно понимал «дядюшка-сенатор», когда наставлял итальянца-резчика: «Больше всего старайтесь уловить сходство; так как этот писатель очень знаменит, то его портрет может вам доставить другие заказы в том же роде» [9]. 10 января 1812 г. Гете уже благодарил Яковлева за лестный подарок: за свой профиль работы Н. Морелли [10].

После отъезда Яковлева из Касселя, от «царя-Еремы», Гете уже не пришлось с ним встречаться, хотя русский дипломат-коллекционер в 1815 г. еще раз появился на Венском конгрессе.

Отзывов Гете о Яковлеве-дипломате и политическом деятеле мы не знаем: для него он был любезный causeur в международном обществе модного курорта и замечательный коллекционер. Но внимание Яковлева к Гете—

одно из первых русских официозных вниманий, направленных на великого писателя: такие большие и маленькие русские официозные встречи, знакомства и приязни с Гете закрепляли русское официальное внимание, а потом и признание Гете, о котором выше было говорено.

Продолжительнее было знакомство Гете с другим русским дипломатом, также завязавшееся на карлсбадских водах,—с Вас. Вас. Ханыковым.

Это был довольно неподвижный «дипломат»: двадцать семь лет (1802—1829) посольствовал он в Дрездене, сидя в нем сиднем, как в своей вотчине. Целая эпоха мировой истории прошла перед ним: каких-каких только «племен, наречий, состояний» не переплеснули в Дрезден наполеоновские войны. В этих больших событиях на долю Ханыкова выпадали лишь маленькие дела: то он заключает с саксонским двором трактат о возвращении русских дезертиров из бывшего герцогства Варшавского, то подписывает конвенцию с Саксен-Веймаром об уничтожении пошлин, взимавшихся в герцогстве и в России с имуществ, вывозимых из одного государства в другое. Этих малых дел было достаточно для получения больших наград, и уже в 1819 г. Ханыков был действительным тайным советником. Маленькие германские дворы с крошечными дипломатическими заботами были отличным поприщем для таких дипломатов-сибаритов, остроумцев и коллекционеров, какими были Яковлев и Ханыков.

При Екатерине II—преображенский офицер, при Александре I и Николае I—дипломат, Ханыков при всех императорах и королях славился как любезник и остроумец. Слава эта даже ужалила его «окогченной летуньей»—эпиграммой:

Пуд самолюбия, полфунта острых слов—
Вот все, чем славится Василий Ханыков.

Он славился и своими французскими стихами. Он их не печатал, а читал по салонам, а может быть даже перелагал на музыку. «Однажды,—рассказывает П. А. Вяземский про гр. Разумовскую,—забрала она за живое стихотворческое и русское самолюбие Нелединского. Пропев романс Ханыкова: «Quand sur les ailes des plaisirs» («Когда на крыльях удовольствия»), графиня сказала Нелединскому: «Вот никак не передать этих слов на русский язык». На другой день привез он ей свой прелестный перевод» [11]. Французское стихотворство Ханыкова казалось обитательницам аристократических салонов вершиною, недоступной для плебейского русского языка. Польщенный такими отзывами Ханыков писал стихи до старости, и всего за два года до его смерти А. И. Тургенев писал из Дрездена брату-декабристу: «Был у Ханыкова. Он читал мне свое послание на французском к какой-то даме об изящных художествах, коими теперь услаждается жизнь его. Стихи хороши; но грустно видеть старика, отжившего век на стихах» [12].

Из русских стихов Ханыкова стансы «На смерть брата» попали в «Аониды» Карамзина.

Через три года после встречи с Гете в Карлсбаде Ханыкова узнал известный генерал гр. П. Х. Граббе и зарисовал его такими штрихами: «Небольшого роста, сгорбленный, может быть, летами, рябой и неприятного выражения лица, он с успехом находил в разговоре не только приличное, даже отборное слово, но искал его и в это время языком шевелил передние поддельные свои зубы. Вежливость его была постоянна, но чрезмерностью своею затруднительна. Ханыков любил и знал хорошо не только

иностранную, но и русскую литературу и сам писал удачные стихи на русском языке. Он показал мне впоследствии свой перевод стихов Шиллера «Die Statuen in Paris», очень хороший» [13]. Ханыкову принадлежал и первый по времени русский перевод «Песни о колоколе».

П. А. Вяземский и Д. Н. Свербеев говорят об отменном любезничестве и острословии Ханыкова, но что-то помалкивают об его стихах. А вот Гете и стихи его счел отменными. Первую отметку о Ханыкове в его дневнике находим 9 июня 1807 г.: «В 6 часов к источнику; затем к Невбрунну. Ханыков, русский посланник в Дрездене»; а 31 июля поэт-дипломат уже читал свои стихи Гете и заслужил такой отзыв, которому позавидовали бы многие известнейшие поэты Европы: «К завтраку у генерала Ханыкова, который прочел свои очень приятные (sehr angenehmen) французские стихотворения. Большей частью это envois на случай о человеческих и общественных отношениях, о судьбе и о страстях, написанные с большим вкусом, тактом и искусством. Так как это обращено к действительно существующим лицам, а в отдельных происшествиях всегда есть нечто пикантное (etwas picantes), то выступают при этом очень красивые и удачные мотивы» [14]. Отзыв Гете достаточно благоприятен, чтобы заинтересоваться французскими стихами Ханыкова и поискать их в каких-нибудь рукописных сборниках. Отзыв А. И. Тургенева об одном из подобных envois Ханыкова гораздо умереннее. Надо впрочем вспомнить, что в отзыве своем Гете варьирует свою любимую мысль, что хорошо и истинно лишь то стихотворение, которое писано «на случай», т. е. в основе которого лежит подлинный, действительный факт, событие, пережитое автором. В стихах Ханыкова виделось Гете следование этой аксиоме поэтического творчества, и быть может потому великий поэт был так снисходителен к стихотворным опытам дипломата.

В сентябре 1810 г. Гете встречался с Ханыковым в Дрездене и дважды отметил беседы с ним, при чем почему-то стал титуловать его «графом» [15].

В 1813 г. на Ханыкова была возложена новая обязанность—состоять при Марии Павловне, а с 1815 г.—представлять Россию еще и при дворах ганноверском и ольденбургском. Эта новая веймарская должность особенно часто сталкивала Ханыкова с Гете и его семьей. Между ними установились, очевидно прочные светские отношения. Было бы скучно приводить эти придворно-обеденные записи Гете. Вот две-три для примера. 13 ноября 1813 г.: «Двор у ее высочества принцессы Ольденбургской (Екатерины Павловны.—*С. Д.*). Ханыков, Гагарин, Арсеньев, Волконский» (кн. Петр Михайлович.—*С. Д.*); 16 февраля 1816 г.: «Празднество у Ханыкова по случаю дня рождения наследной великой герцогини» (Марии Павловны.—*С. Д.*); 7 октября 1816 г.: «Дети [Август Гете с женой Оттилией] обедали у Ханыкова». Две отметки выделяются из этой серии. 1 июня 1816 г. Гете записывает: «Надв. сов. Мейер, известие о ханыковских Poussains»—это разговор с другом-художником о картинах знаменитого Ник. Пуссена из собрания Ханыкова,—а 20 мая 1819 г. Гете внес в дневник: «Долгая беседа с генералом графом (sic!—*С. Д.*) Ханыковым, который посетил меня». Предмет беседы неизвестен [16].

7 августа 1819 г. Гете получил от Ханыкова ценный подарок—бронзовую статую. Он любовался ею в тот же вечер вместе с художником Мейером. Сохранился черновик письма Гете к Ханыкову от 12 августа: «Ваше превосходительство! Перед отъездом в Иену свидетельствую Вам еще раз мою самую искреннюю привязанность. Весьма сомнительные, но к сожале-

нию теперь ставшие ежедневными высказывания прилагаю тут же; можно только сказать, что последствий предвидеть никак невозможно. Я не осмелюсь также проститься, не высказав повторно моей самой признательной благодарности за великолепный подарок, которым Вы меня осчастливили. Мой друг Мейер уже несколько вечеров также наслаждается со мною в проникновенном восхищении. Да отплатится дарящему подобным же удовольствием».

К сожалению остаются неизвестными эти чьи-то «высказывания», которые Гете, получив очевидно на прочтение от русского дипломата, возвращал ему при письме с аттестацией «сомнительных».

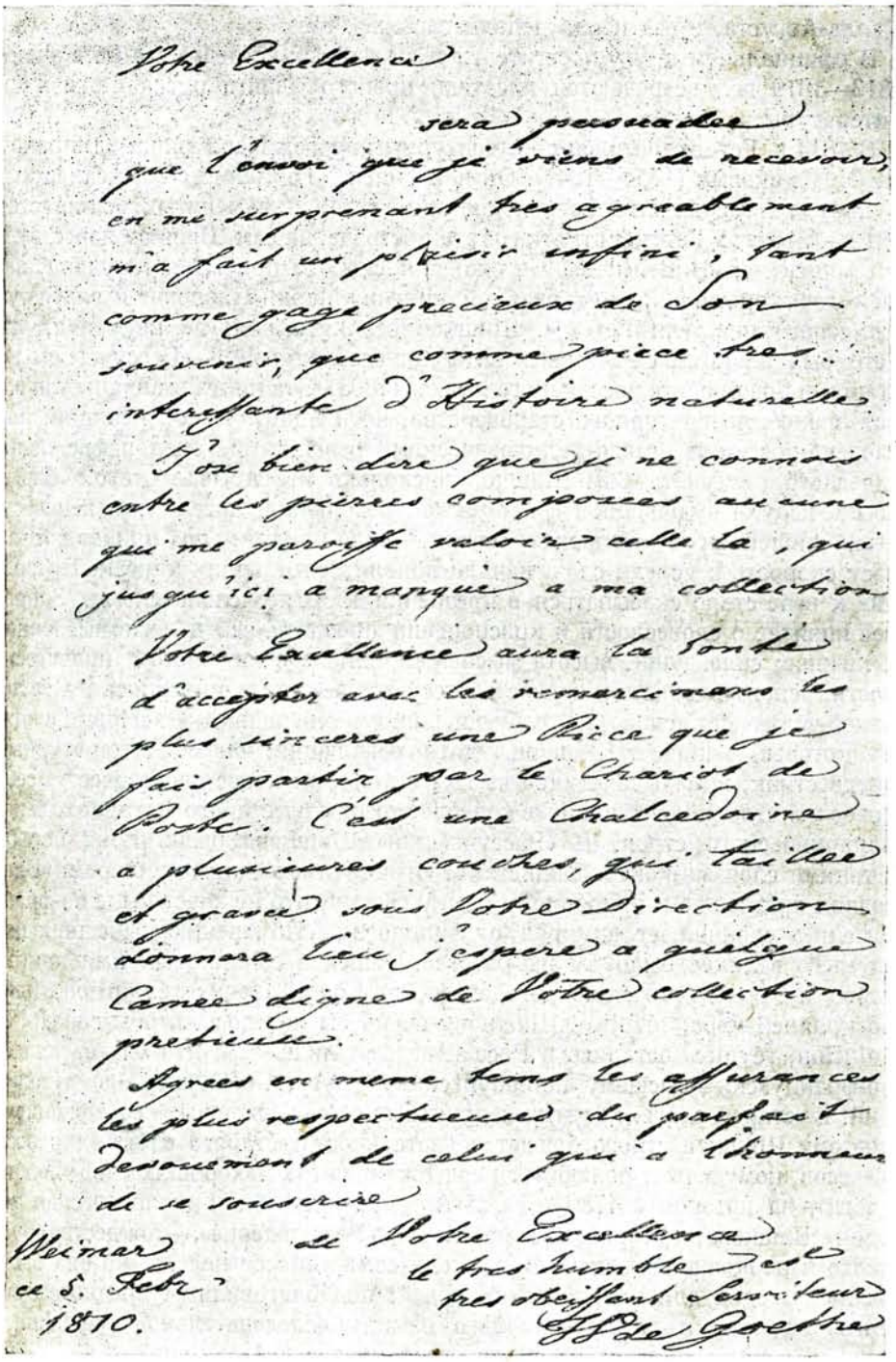
Ханыков попал и в «итог» этого года, подведенный Гете: «Дома, как и в Иене, я получил много приятного от мимолетно появлявшихся лиц и от остававшихся более продолжительно. Назову графа (!—*С. Д.*) Ханыкова и Бомбелля и затем более старых и новых друзей, встречи с которыми были поучительны» [17].

Все эти подарки и письма, все эти отметы о приемах у Ханыкова, о беседах с ним у герцога и Екатерины Павловны Ольденбургской или Марии Павловны Веймарской являются свидетельствами предупредительного внимания русской дипломатии к Гете. В те годы, когда Гете обедывал у Ханыкова на торжественных приемах в русском посольстве или вместе с ним приглашаем был к русским великим княгиням, он давно уже был «за штатом» веймарской правящей бюрократии и как экс-министр не имел права на внимание дипломатов могущественнейшей державы своего времени. Русская дипломатия однако многому научилась у французской: Александр I когда-то учился у Наполеона награждать Гете орденами. Ханыкову вероятно случалось слышать рассказ о том, как французские дипломаты докладывали Гете о проезде и привете Наполеона раньше, чем веймарскому герцогу, и он хорошо научился у них дипломатически «ласкать» Гете: он знал, что отношение Гете к России и ее правительству заслуживает большего внимания со стороны русского посланника, чем отношение к ней Карла-Августа. Со временем Ханыкова сменили в Веймаре Струве, гр. Санти, но лица менялись, а гетеанская политика русских дипломатов оставалась неизменна: ласкать Гете, но не очень заботиться о распространении в России его сочинений.

В Ханыкове ярко скрещиваются две линии русского гетеанства: он—читатель Гете (а может быть и переводчик: переводил же он Шиллера), он—поэт, ищущий одобрения славного немецкого поэта, но он же и дипломат, аккредитованный русским правительством столько же при великом поэте, сколько при великом герцоге.

Здесь уместно упомянуть и еще об одном русском дипломате, который, будучи в Германии, интересовался деятельностью Гете, хотя повидимому и не был знаком с ним. Это кн. П. Б. Козловский (1789—1840), в 1818—1820 гг. представитель России в Бадене и Виртемберге. Этот приятель кн. П. А. Вяземского, сотрудник А. С. Пушкина по «Современнику», остроумец и математик, знаток Ювенала и литературный старовер, писывал стихи и, по словам В. И. Саитова, «пробовал заниматься переводами из Гете» [18]. Нам не удалось отыскать следов этих «проб» и личного знакомства Козловского с Гете, по существу очень вероятного—и во время его посланничества, и во время последующих (1821—1832) скитаний по Европе.

В такой же узел связывала жизнь многие другие нити в 1813 г., когда



Votre Excellence

sera persuadee
que l'envoi que je viens de recevoir,
en me surprenant tres agreablement
m'a fait un plaisir infini, tant
comme gage precieux de Son
souvenir, que comme piece tres
interessante d'Histoire naturelle.

J'ose bien dire que je ne connois
entre les pierres composees aucune
qui me paroisse valoir celle la, qui
jusqu'ici a manque a ma collection.

Votre Excellence aura la bonté
d'accepter avec les remercimens les
plus sinceres une Piece que je
fais partir par le Chariot de
Poste. C'est une Chalcedoine
a plusieures couches, qui taillee
et gravee sous Votre Direction
donnera lieu j'espere a quelque
Camee digne de Votre collection
pretieuse.

Agrees en meme tems les assurances
les plus respectueuses du parfait
devouement de celui qui a l'honneur
de se souscrire

de Votre Excellence
le tres humble et
tres obeissant Serviteur
J. W. de Goethe

Weimar
ce 5. Febr.
1810.

Автограф письма Гете к сенатору Л. А. Яковлеву от 5 февраля 1810 г.
Центрархив, Москва

и Наполеон, и Александр I побывали в Веймаре, когда, по выражению Карла-Августа, и «ад и рай делали глазки» Гете.

В официальном кругу посетителей и случайных встречных с Гете эпохи 1813—1819 гг. встречаются писатели правого фланга русской жизни и литературы.

В 1814 г. Гете встретился с литературным врагом Карамзина, адмиралом А. С. Шишковым (1754—1841). Он находился в Германии с Александром I в качестве государственного секретаря, автора знаменитых манифестов 1812—1815 гг. У Гете нет отметки об этой встрече, но сам Шишков повествует в «Записках»: «В Веймаре, где ожидали скорого прибытия государя, зашел я на короткое время к великой княгине Марии Павловне и видел тут известного писателя Гете» [19]. Шишков вероятно никогда не узнал, что Гете был знаком с самым знаменитым из его сочинений—«Рассуждением о старом и новом слоге российского языка» (1803). Эта книга вышла не только под знаком литературного староверства, но и политической реакции: под словено-росскими псевдо-филологическими вещаниями горел пафос политического памфлета. Сам Шишков нисколько не скрывал этого. «Следы языка и духа чудовищной французской революции, доселе нам неизвестные,—пишет он в «Записках» своих,—мало-помалу, но прибавляя по часу скорость и успехи свои, начали появляться в наших книгах. Презрение к вере стало сказываться в презрении к языку словенскому. Здоровое понятие о словесности и красноречии превратилось в легкомысленное и ложное; сила души, высота мыслей, приличие слов, чистота нравственности, основательность и зрелость рассудка, все сие приносилось в жертву какой-то легкости слова, не требующей ни ума, ни знаний» [20]. «Новый слог», на который нападает Шишков,—дитя революции: он ее литературный предвестник, вкрадывающийся всюду; он опасен: новое слово несет в себе новое понятие, а новое понятие колеблет твердыню старого патриархально-монархического строя. В «Рассуждении» Шишкова очень ярка борьба с такими словами-контрабандистами. Ограничимся одним примером: «Благодаря презрению к природному языку своему, кто не знает ныне по-французски?» спрашивает адмирал от филологии. «По мнению нынешних писателей, великое было бы невежество, нашед в сочиняемых ими книгах слово п е р е в о р о т, не догадаться, что оное значит révolution, или, по крайней мере, révolte». Шишкову очень бы хотелось, чтобы слова «révolution, révolte» остались в России ведомы лишь тем, кто читает только по-французски—высшему петербургскому кругу, не охочему до революций. В «старом слоге» нет этих неприятных слов с «ужасным» содержанием; поэтому Шишков строго блюдет обязательность «старого слога» для всех классов, кому может полюбиться содержание этих нехороших слов «нового слога», на котором с 1789 года заговорила история. Филологическая теория Шишкова, которой посвящено его «Рассуждение»,—тождество русского и церковно-славянского языков—сама по себе нелепа, но она была очень выгодна для политических целей: под благовидным предлогом защиты красоты и чистоты родного языка последовательно проводилась защита неприкосновенности всего строя крепостной России.

Вот характерная история знакомства Гете с «Рассуждением» Шишкова.

27 января 1804 г., т. е. очень скоро по выходе в свет этой книги, Гете, ведавший тогда редакцией «Иенской Всеобщей Литературной Газеты», писал в Иену своему помощнику проф. Генриху-Карлу Эйхштедту: «Пользуясь случаем, я сегодня же отправляю предназначавшуюся на завтра

Monsieur

Le nouvel an, Monsieur, n'auroit pu me saluer par un meilleur augure, que par celui de Votre envoi précieux. Je me vois en même temps honoré de Votre souvenir amical, que je chérirai comme je dois, et d'un beau travail de l'art moderne qui me flatte personellement.

J'aurois souhaitté que Vous eussiez été témoin du plaisir que j'ai exprimé a mes amis en leur faisant voir le bijou que je tiens de Votre bonté.

Je ne cherche pas de peindre ce contentement par beaucoup de paroles, d'autant moins que Vous n'auriez pu, Monsieur, me donner une telle marque de Votre bienveillance si Vous ne sentiez pas profondement que j'en suis digne par un attachement inviolable, et par la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur de me souscrire

de Votre Excellence

le très humble et très obéissant Serviteur

de Goethe

Weimar
ce 10. Jan.
1812.

Автограф письма Гете к сенатору Л. А. Яковлеву от 10 января 1812 г.
Центрархив, Москва

посылку. Она содержит... (Гете перечисляет пересылаемое в редакцию.— *С. Д.*)... е) русскую книгу с французской рецензией на нее. Приложена записка тайного советника Фойгта, и я предоставляю Вам ближайшее попечение о предложенных им мерах предосторожности. Впрочем сочинение кажется мне обозримым при помощи рецензии: то, что в нем говорится о ценности русских духовных писаний, летописей (Annalen), хроник и т. д., совпадает с тем, что мы знаем от Шлецера, прочие же рассуждения вполне достойны языкового патриота (Sprachpatrioten)» [21].

Гете точно и метко отделил в «Рассуждении» Шишкова камешки науки от цемента политического памфлетизма: он хорошо знал Шлецера и его работы по древней русской истории. Еще 25 сентября 1802 г. он отметил в дневнике: «Русская хроника Нестора» [22]. В июле 1803 г. он взял из Веймарской библиотеки три книги—древние русские летописи в переводе И. Б. Шлейха («Des heiligen Nestors und der Fortsetzer desselben älteste Jahrbücher der Russischen Geschichte v. J. 758 bis z. J. 1203». Nach der in slawon. Sprache... gedr. Ausg. übers. v. J. B. Schleich. Lpz. 1774) и в позднейшем переводе и объяснении знаменитого Шлецера («Nestor. Russische Annalen... In ihrer slawon. Grundsprache verglichen, übers. u. erklärt v. August-Ludwig Schlözer. T. I—II. Göttingen, 1802») и рассказ самого Шлецера о своей жизни и научной работе в России («Schlözers, A. L. öffentliches und privates Leben, von ihm selbst beschr... I Fragm. Aufenthalt u. Dienste in Russland, 1761—1765. Göttingen. 1802»). Эти книги Гете держал у себя целый год (июль 1803—4 июля 1804): знак, что он—аккуратнейший по части возвращения книг в библиотеку—отнесся к ним с пристальным вниманием [23]. Показателем интереса к этому чтению является и запись в дневнике от 25 ноября 1803 г.: «Г-ну Вульпиусу, по поводу разбора (einer Recension) Нестора» [24]. Краткость записи не позволяет хорошенько разгадать ее: собирался ли сам Гете дать отзыв о «Несторе» Шлецера? Или предлагал сделать это библиотекарю Вульпиусу? Или просто отметил нечто, что сказал или хотел сказать ему по поводу чьей-то рецензии на эту книгу?

Как бы то ни было, но в руках Гете были два немецких перевода нашей начальной летописи в то время, когда он читал французскую рецензию на Шишкова и критиковал его «Рассуждение». Отметим тут же, что в сентябре 1804 г. Гете опять взял из библиотеки те же три книги Шлейха и Шлецера и продержал их год и четыре месяца. На этот раз интерес его к начальной русской истории еще углубился: ему потребовались для занятий немецко-русский и русско-немецкий словарь и русская грамматика. 6 октября он взял из библиотеки труды Johann'a Heym'a: «Deutsch-Russisches u. Russ.-Deutsch. Wörterbuch. T. I—II. Riga. 1801» и «Russische Sprachlehre für Deutsche. Riga. 1804» [25] и держал их у себя больше года. Эта единственная попытка Гете ознакомиться с русским языком связана таким образом с его чтением и изучением древнерусских летописей, занимавших его с перерывом два с половиной года.

Немудрено, что Гете сумел критически разобраться в «Рассуждении» Шишкова: то, что в нем говорилось о древнерусской литературе, показалось Гете ослабленным повторением Шлецера, а то, что было в нем от самого Шишкова, Гете иронически расценил как «рассуждения, вполне достойные языкового патриота». Почему же посылка книги Шишкова, к мысли и содержанию которой Гете отнесся совершенно отрицательно, заставляла осторожного редактора советовать своему помощнику при пе-

чатании отзыва на нее «принять близко какие-то меры предосторожности», намеченные в сопроводительном письме веймарского министра Фойгта?

Причина совершенно ясна: Гете понял, что книга Шишкова только одним краем касается науки, на деле же это—политическое сочинение, вышедшее из влиятельных и важных кругов петербургской знати, толпящейся вокруг трона. Раздражать эти круги (кто знает, насколько сочувствовал или не сочувствовал им Александр I?) было бы невыгодно для Веймара, как раз в это время налаживавшего сватовство наследного принца к Марии Павловне, и Гете предусмотрительно послал своему помощнику соответствующее внушение, прибавив к нему и особую записку Фойгта. Записка конечно имела в виду не только рецензию на Шишкова, но и вообще весь литературный материал о России, поступавший в газету: министр давал редакции «Иенской Газеты» инструкцию для надлежащего, угодного русскому двору обращения с этим рискованным материалом. Инструкция была тем своевременнее, что с этим же письмом Гете посылал кроме рецензии на Шишкова еще какие-то русские «заметки» для газеты и подчеркивал своему помощнику, что «Газету» читают в Петербурге, при дворе. Мы уже знаем, что ее читала императрица Елизавета Алексеевна.

Гете знаком был и с другим классическим произведением русской политико-мистической реакции: он читал трактат А. С. Стурдзы (1791—1854) «Размышления об учении и духе православной церкви».

Это тот самый Стурдза, политический деятель и писатель русский и французский, которого теперь знают только по злой песенке Пушкина:

Я вкруг Стурдзы хожу,
Вкруг библического,
Я на Стурдзу гляжу
Монархического.

Но в первой четверти XIX столетия он был известен всей Европе и России. В 1817 г. родная сестра А. С. Стурдзы, Роксандра Скарлатовна, фрейлина Елизаветы Алексеевны, выйдя замуж за гр. Эдлинга, поселилась в Веймаре. Александр I был с ней в переписке; она в значительной степени руководила его мистическими знакомствами: свела его с Юнгом Штиллингом и г-жей Крюденер. Она же добилась от императора средств на издание трактата своего брата, и в 1816 г. в Веймаре были изданы его «Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'église orthodoxe». О том, что это была за книга, лучше всего судить по отзыву историографа «государства российского». Монархист и православный, Карамзин, пред которым Стурдза благоговел, не усомнился назвать это издание Александра I «мистической вздорологией» [26]. Гете получил книгу в 1817 г., вероятно от Р. С. Эдлинг, и прочел ее с большим вниманием; в его дневнике столь пространный отзыв—редкость: «Для себя—«Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'église orthodoxe» par Alex. de Stourdza»,—значительная, хорошо написанная книга. Удивительно, что она появляется в год реформации и нападает на католицизм с той стороны, с которой он еще больше уязвим, чем с протестантской точки зрения. Католики уверяют, что вернулись к простоте первой церкви, греки же утверждают, что они в ней всегда оставались: вследствие этого отпадают аргументы католиков, основанные на их приоритете и древности» [27].

Гете разошелся с Карамзиным: то, что для второго—«мистическая вздорология», для первого—«значительная, хорошо написанная книга». Но

надо понять Гете. Он читал книгу Стурдзы в пору трехсотлетнего юбилея реформации: в протестантизме он с особою охотой хотел тогда видеть живую, творческую историческую силу. Она казалась ему особенно желанна как противодействие католической реакции времени реставрации. В стихотворении, написанном на 31 октября 1817 г., Гете с протестантизмом вероисповедным готов был, теряя остроту своего зрения, связать свой собственный протестантизм мысли, утверждая, что готов «как всегда, протестовать в искусстве и в науке».

Под знамя юбилея реформации вместе с Гете готово было стать все, что не принимало тошнотворной реакции Священного Союза. Известно, что празднование юбилея реформации в Вартбурге, устроенное студентами и профессорами и закончившееся сожжением реакционных книг, вызвало сильные протесты Пруссии и Австрии и принесло не мало неприятностей Карлу-Августу. В тесноте европейской реакции становилось так душно, что Гете рад был всякому слову, критикующему одну из могущественнейших сил реакции: католицизм. Такое слово почудилось ему и в книге Стурдзы. Гете не понял, что конфессиональный враг католицизма Стурдза был еще более злым врагом—и конфессиональным, и политическим—протестантства и что его «Considérations» заслуживали участи «Немецкой истории» Коцебу: сгореть в костре, зажженном иенскими студентами. В Стурдзе увидел Гете только критика католицизма и счел, что и этот грязный ручей подает воду на мельницу протестантизма. Специфического запаха мистического ханжества, который учуял Карамзин, Гете не почувствовал.

Свою ошибку Гете должен был почувствовать в следующем же году. Стурдза «библический и монархический» был еще и «дипломатический»: он еще 18-летним юношей начал службу при русском министерстве иностранных дел и в 1818 г. отправился с министром гр. И. А. Каподистрией на Аахенский конгресс. По дороге он занялся вольным политическим наблюдательством, о котором сам же рассказал много лет спустя: «Я имел много случаев усмотреть и изведать направление умов в странах, коих словесность и политические связи мне были известны... По всей Германии кипел дух мятежа и ропота, возбуждаемый кичением учености во всех вместилищах высших наук. Университеты со всем вспомогательным войском журналистов, профессоров и студентов сделались рассадниками не только образования юношества, но и преобразования политического... Дух либерализма... овладел университетами Германии, утвердив тайное сообщество с недовольными всех стран Европы. Наставники и писатели внушали молодым людям, возвратившимся из похода, что они напрасно проливали кровь драгоценную: заслуги их не уважены, и отечество утратило случай к возрождению. Далее, простирая ядовитые уроки, они поселяли в умах уверенность в том, что все средства, даже самые преступные, позволительны для благой цели; что выспренные замыслы оправдывают все роды беззаконий и даже вероломное убийство. Сим гнусным учением ожесточив сердца и изострив кинжалы юных безумцев, лжемудрые наставники, подобные Фолленіусу, Деветту и Лудену (профессор Иенского университета, издатель «Немезиды» и «Конституционного архива», знакомец Гете.—*С. Д.*) готовили везде сильное потрясение, из коего долженствовало возникнуть их первенство в общежитии. Исполняя долг присяги и службы, я представил государю замечания о внутреннем положении Германии» [28]. Это был извет на всю Германию литературную, ученую, университетскую, донос на всех и каждого, кто был причастен к какому

КАРЛ ЗАНД УБИВАЕТ КОЦЕБУ
Рисунок акварелью неизвестного художника (срисован неизвестным русским в Либаве в ноябре 1835 г.)
Институт Русской Литературы, Ленинград



бы то ни было движению мысли в науке, искусстве, литературе и школе. Александр I извет принял, он был отпечатан в количестве 50 экземпляров и тайно разослан по всем большим и малым немецким кабинетам и дворам, которые прочли его не без кислой мины за русское вмешательство во внутренние дела Германии, но приняли к сведению и кое-где даже озаботились соответствующими мерами. Когда один из экземпляров этой стурдзовой записки «Sur l'état actuel de l'Allemagne» попал в Петербург, а из рук какого-то весьма высокопоставленного лица перешел в руки довольно высокопоставленного А. И. Тургенева, бывшего со Стурдзой в хороших отношениях, он с негодованием писал Вяземскому: «Меня так и обдало инквизицией, хотя и нигде безбожное сие слово не упоминается. Но дух ее может зародиться в началах, коими руководствуется автор. И какое невежество относительно главного предмета, о котором распространяется добрый Стурдза,—университетов немецких! И следовательно, какая дерзость говорить о том, чего не знаешь, писать приговор тысячелетним установлениям, коих отблеск отражается во всех умах европейских» [29]. Но Стурдзу ждала не только келейная критика. Его записка, вынырнув из тихих омутов дипломатии, была кем-то отпечатана в Брюсселе с полным именем составителя и пущена в продажу. Она возбудила величайшее негодование в Германии. По скромному выражению самого благочестивого автора, «клеветы, ругательства, превратные толки, неуместные личности посыпались градом на русского чиновника, исполнившего долг свой. Вышел в свет немецкий перевод сей записки, и вопли раздраженных демагогов оглашали высшие училища и частные беседы» [30]. Единственным хвалителем Стурдзы оказался в Германии русский шпион, драматург Август Коцебу (1761—1819), поместивший в своем журнале «Litterarisches Wochenblatt» статью с комплиментами Стурдзе и злыми издевками по адресу немецких студентов. Негодование на Стурдзу было так велико, что, опасаясь за свою жизнь, ему пришлось бежать из Германии, и 17 марта 1819 г. Вяземский из Варшавы спрашивал у Тургенева: «Правда ли, что Стурдза едет в Грецию, как говорят газеты? Впрочем, ему в самом деле в Европе теперь никуда показаться нельзя, как разве в Константинополе или Петербурге. Нет, теперь трудно врать в Европе или лгать; есть какое-то всеобщее судилище невидимое, но явное: как раз отрежет язык en effigie или наденет дурацкий колпак» [31]. Стурдза догадался последовать совету Вяземского: бежал в Петербург, а затем в свое имение и целый год отсиживался там. 23 марта н. ст. 1819 г. хвалитель Стурдзы Август Коцебу был заколот

в Мангейме бывшим студентом Карлом Зандом. «Студенты,—комментировал это убийство А. И. Тургенев,—оставив бедного Стурдзу, яко мыслящую машину, уходили того, который завел эту машину»[32]. Карамзин также ставил в связь статью Стурдзы со смертью Коцебу: «Занд услужил Стурдзе. Многие говорят теперь «Стурдза прав». Не я» [33].

Вот в немногих словах история доноса Стурдзы на немецкое просвещение. Вся Германия клокотала против Стурдзы в конце 1818—в начале 1819 г., а он находил себе в это время тихий приют в тихом Веймаре, под крылом своей сестры, русской фрейлины, и ее мужа, веймарского министра и гофмаршала Эдлинга. Это отсиживание Стурдзы в Веймаре поразительно: веймарский «двор муз» ласкал человека, которого общегерманское общественное мнение обрекало на остракизм, которому, по мнению Вяземского, во всей Европе только и было места, что у султана в Стамбуле да у Аракчеева в Петербурге. Один этот факт должен был бы заставить историков литературы пересмотреть все традиционные сказания о передовом «афинизме» Веймара и его царственных «покровителей» искусств и науки. Веймарское покровительство Шиллеру, певцу «Разбойников», всем известно; историческая справедливость требует, чтобы было известно и веймарское покровительство русско-молдавскому доносителю на немецкое просвещение. «Двор муз» благосклонствовал не ему одному: в эти же годы в Веймаре, недалеко от дома Гете, притулился и сам Август Коцебу: ему тоже безопаснее всего жилось тогда в Веймаре. Он был под прямой защитой русского посольства и русско-веймарского двора Марии Павловны—Карла-Августа. Состоявший в России при Екатерине II и Павле на государственной службе, Коцебу, переехав в Германию, официально числился «состоящим при русском министерстве иностранных дел». «Если бы я как писатель поставил себе целью желания толпы и старался бы о том, чтоб удовлетворить их, —говорил Гете Эккерману в 1830 г.,— то я рассказывал бы разные историйки и дурачил бы всех, как покойный Коцебу» [34].

Гете очень хорошо знал о той систематической литературной ненависти, которую питал к нему Коцебу, и сам питал к нему немногим более благосклонное чувство, но позволял себе выражать его лишь в келейных отзывах эпиграмматического характера (одна из «Invectiven», помеченная февралем 1816 г.). Когда иенская молодежь жгла на костре реакционную «Немецкую историю» Коцебу, Гете порадовался этому в стихах, написанных 18 октября 1817 г. в Эйзенахе (напечатаны после смерти Гете), но сам меньше всего хотел подлить масла в огонь этого костра вольности. В 1819 г. к Гете вернулся его юношеский «Прометей», который считался потерянным. Старый поэт не удержался от соблазна—послать копию с этого вольнолюбивого произведения своей юности другу Цельтеру, но брал с него слово держать «Прометея» в цепях: отнюдь не пускать его на простор печатного слова. «Он явился бы желанным Евангелием для нашей революционной молодежи, а высокие комиссии в Берлине и Майнце сделали бы строгие лица при виде моих юношеских мечтаний». «Он считал нужным принять эту предосторожность,—сочувственно поясняет Бельшовский,—несмотря на то, что главная и самая опасная часть драмы, монолог Прометея, в котором тот восстает против «олимпийских богов», уже с 1785 г. была в печати» [35]. Через много лет после убийства Коцебу Гете объяснил, почему он был убит: «Ненависть никому не вредит, но презрение губит людей. Коцебу давно ненавидели, но для того, чтобы студент по-

кушался на его жизнь с кинжалом в руках, требовалось, чтоб известные журналы сделали его имя презренным» [36]. Сам Гете не сделал ничего, чтоб это имя сделалось «презренным» для Германии: в Веймаре оно было именем заслуженного драматурга, чьи пьесы не сходили со сцены придворного театра, руководимого Гете, оно было именем чиновного лица, состоящего при императорском российском министерстве иностранных дел: как же можно было делать его «презренным»? Это было бы еще более неблагоразумным, чем давать своего «Прометея» в евангелисты революционной молодежи. Гете был великий литературный политик, и не сделал ни той, ни другой дипломатической ошибки. Дипломатом выказал себя Гете и по отношению к Стурдзе. Гете узнал Стурдзу лично во время его веймарского отсиживания. Записка Стурдзы вряд ли внушала Гете особые симпатии, хотя он и сам не был поклонником ни свободы печати, «ни многого из того, что происходило» тогда в германских университетах, но Стурдза был русский дипломат, вхожий в петербургские и веймарский дворцы, но записка его издана была впервые как официальное отношение русского правительства к германским дворам, и этого было достаточно, чтобы Гете был сугубо сдержан в своих отзывах о Стурдзе. К тому же он был братом давней знакомицы Гете, фрейлины Эдлинг, был принят у Марии Павловны,—и этого было довольно, чтоб Гете считал общение с ним обязательным для себя.

6 января 1819 г. он помечает: «Граф Стурдза. Обедал один. Диктовал некоторые письма» и т. д.

Придав Стурдзе не принадлежавший ему титул графа, Гете ни словом не обмолвился, о чем он беседовал с посетившим его «графом», а прямо перешел к следующему эпизоду своего писательского дня.

18 января—в день, когда Гете впервые получил «Мир как воля и представление» Шопенгауэра,—он не забывает записать: «Насмешливое извещение в «Berliner Zeitung» о книге Стурдзы». Это след внимания Гете к страстной полемике, направленной против доноса Стурдзы «Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne», но он попрежнему в стороне от нее.

Сводя воедино итоги всего 1819 г., Гете почел должным внести в свою летопись: «При спокойном в остальном течении жизни, приехала ее величество русская царствующая императрица; в это время я виделся с графом Стурдзой и статским советником Келером» [37].



КАЗНЬ КАРЛА ЗАНДА

Рисунок акварелью неизвестного художника (срисован неизвестным русским в Либаве в ноябре 1835 г.)

Институт Русской Литературы, Ленинград

Приезд Елизаветы Алексеевны, у которой сестра Стурдзы была любимой фрейлиной, еще плотнее прикрыл Стурдзу защитительным щитом от всех покушений немецких студентов и «либералистов». С отъездом Елизаветы Алексеевны Стурдзе стало боязно и в Веймаре (студенческая Иена была под боком), и уже 21 февраля во «Всеобщей Газете» (№ 52) появилась заметка: «По слухам, Стурдза отправился в обратное путешествие в Петербург из Веймара, где он до сих пор был. Он якобы сказал: «Климат Германии мне не подходит». При его проезде через Дрезден случилось как раз, что студенты чествовали проф. Круга за его сочинение против Стурдзы» [38].

Через месяц (23 марта н. ст.) был убит Коцебу. Прочтя весть об его смерти, Вяземский писал Тургеневу: «Я на месте Стурдзы не покойно бы спал».[39]. А 12 апреля ст. ст. он извещал из Варшавы того же приятеля: «Здесь Стурдза, укрывающийся в Варшаве от германских кинжалов. Он и Шмальц были обреченными жертвами, по крайней мере как он мне сказывал» [40]. Таким образом собеседник Гете отыскал четвертое место в Европе, где чувствовал себя в безопасности: к гетевскому Веймару, аракчеевскому Петербургу и падишахскому Константинополю прибавилась столица шпицрутенного Константина Павловича.

На это-то веймарско-варшавское спасение Стурдзы Пушкин и выкрикнул на всю Россию свою знаменитую эпиграмму:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу,
А впрочем ....!

Охранительный союз русского самодержавия с веймарским меценатством с ясностью проявился в этом эпизоде со Стурдзой. В борьбе Стурдзы с немецким просвещением Гете не был (вряд ли нужно и упоминать об этом) и быть не мог на его стороне. Но как характерно для его веймарско-русской позиции, что в то время, как вся молодая Германия презирала и оплевывала Стурдзу, он мирно с ним встречался и при дворе, и у себя дома, и ни одним словом не принял участия во всегерманском протесте. Пушкин, Вяземский и Тургенев горячей и кровней вступились за немецкое просвещение, чем величайший его представитель. Впрочем они не были ни царедворцами, ни дипломатами, а Гете был дважды царедворец: и веймарский, и русский, и оттого был дважды дипломат. Величайшее же искусство дипломатов—молчать или говорить лишь затем, чтобы скрывать свои мысли. Гете обладал им в совершенстве. Русскому же правительству большего невозможно было и желать от него. Поведение Гете в деле со Стурдзой и с Коцебу было поведением добросовестного союзника, который молчанием подает во всеуслышание знак согласия на ту политику своего союзника, с которой не должен был бы согласиться, еслиб позволил себе заговорить.

Уверенность в благонадежности Гете вместе с пиететом пред его талантом и ученостью заставляла верхние слои дворянства российского обращаться к нему с такими просьбами, с которыми не все решались обращаться к Вольтеру, столь же знаменитому, но далеко не столь благонадежному. Вот что писал сам Гете тому же профессору Эйхштедту в Иену 11 мая 1814 г.: «Граф Орлов-Денисов (Василий Васильевич.—*С. Д.*), командир

гвардейского казачьего полка и генерал-адъютант его величества императора, ищет человека, который может быть воспитателем его детей. У него три сына, старшему из которых семь лет. На него прежде всего следует обратить внимание. Математические, как теоретические, так и практические, познания требуются прежде всего, а также необходимо и все то, что относится до образования знатных молодых людей. Но так как нельзя ожидать, чтоб все это было посильно одному лицу, то намереваются пригласить нескольких. Приглашаемый будет жить на всем готовом и вполне считаться членом семьи и, кроме того, получать значительное вознаграждение. В настоящее время семья живет в Петербурге; если же граф выйдет в отставку, то будет жить внутри России. Насколько я могу судить, граф принадлежит к гуманнейшим и благомыслящим людям; его жена, которая до сих пор занималась с детьми, должна быть превосходной дамой»[41]. В письме к Марии Павловне от 24 мая Гете пишет: «Граф Орлов-Денисов просил меня сперва устно, потом письменно в promemoria рекомендовать ему нужного человека». Гете очень озабочен исполнением поручения адъютанта Александра I и сообщает Марии Павловне, что наметил в наставники Орловым-Денисовым проф. Линднера [42]. «Лестное» поручение отыскивать преподавателей для семилетнего генерал-адъютантского сына заставило Гете даже потревожить знаменитого исследователя поэм Гомера Фр.-Авг. Вольфа, прося и от него соответствующих рекомендаций. Дело тянулось несколько месяцев, в Веймаре сохранилась целая папка всяких бумаг, накопившихся у Гете в связи с «почетным» поручением казачьего генерала, но кончилось оно, кажется, ничем: судя по одному письму Гете, генерал был не очень тароват на оплату профессоров, удостоенных чести преподавать семилетнему графчику [43].

Как когда-то в Ферней к Вольтеру, молодых русских аристократов «вывозили» теперь к Гете.

Таков был визит к Гете молодого графа Вл. П. Орлова-Давыдова (1809—1892). Это был наследник фамилии екатерининских Орловых, по матери родной внук гр. Вл. Гр. Орлова (1743—1831), самого образованного из этой гвардейской семьи и потому сразу произведенного из заграничных школьников в «директоры Академии Наук». В конце 20-х годов внук странствовал по Западной Европе и посетил (предположительно в 1829 г.) Гете в Веймаре. Дедушка узнал об этом и похвалил: «Радуюсь, что великая княгиня Мария Павловна приняла тебя милостиво, по доброте ее всегдашней я сего ожидал. Ладно, что познакомился с г. Гете, с человеком, который исполнен природных дарований и приобретенных знаний» [44].

Вот и еще подобный случай. Сын руководителя внешней политики при Павле и Александре, гр. Н. П. Панина, а впоследствии сам один из столпов реакционной политики Николая I и Александра II, Виктор Никитич Панин (1800—1877) отправился в 1824 г. за границу, в дипломаты, в Мадрид. Ехал он туда не спеша, занятый тем, чтоб «и Европу посмотреть, и себя показать». В Веймаре ему удалось хорошо показать себя. 13 ноября 1824 г. опальный граф-отец Н. П. Панин писал своей дочери: «Письмо, которое я получил от сестры, содержит следующий отрывок: «Граф Нессельроде сказал мне на днях, что Виктор имел в Веймаре большой успех. Гете был на обеде у великой княгини. Его находят букой и грубоватым (bourru et grossier), но он так был поражен разговором Вашего сына,—быть может, и тем, что он с такой легкостью говорит по-немецки,—что, выйдя из-за стола, он просил, чтоб ему представили Виктора» [45].

Такая высочайшая милость Гете к молодому человеку, впервые вывезенному в дипломатический свет, была столь высока, что министр иностранных дел считал долгом довести ее до сведения своего опального коллеги, зная, как обрадует его этой вестью.

14 сентября 1824 г. Гете принял молодого Панина: «Граф Панин, привезший книгу от тайного советника Лодера из Москвы» [46].

Русские случайные и неслучайные заезжане в Веймар непременно являлись к Гете. Посетить Гете считалось не только долгом придворной вежливости или дипломатической учтивости, но и признаком хорошего тона, и блеснуть в каком-нибудь петербургском или московском салоне словцом, схваченным на лету из разговора с Гете, было в 20—30-х годах так же модно, как полвека назад похвалиться знакомством с Вольтером. Русские посетители Гете заезжали к нему из похвальной ревности не отстать от Европы, из желания «в просвещении стать с веком на равне»,—или по крайней мере в имитации просвещения. Список русских посетителей Гете —и прежде всего посетителей официальных и официозных—будет расти по мере самого интереса к теме. Тот, кто мог бы перечесть все груды изданных и особенно неизданных записок и писем, относящихся к 1813—1832 гг., нашел бы несомненно многих еще неизвестных нам посетителей. Еще больше могло бы назвать их устное предание, во время не записанное, а теперь уже замолкшее. Вот один из следов его. Скончавшийся в 1932 г. московский старожил В. М. Голицын по моей просьбе записал рассказ об одном из таких русских заезжан к Гете. Это—Владимир Александрович Казадаев, единственное печатное упоминание о котором я нашел лишь в «Предварительном списке» к «Словарю русских писателей и ученых» С. А. Венгерова как об «авторе рассказов из русской истории и переводчике» (М., 1870—1880) [47]. Это был случайный гость в области литературы и неслучайный странствователь по ступеням бюрократического восхождения.

Вот что сообщил о нем В. М. Голицын: «В. А. Казадаев жил в Москве в 80-х годах и ежедневно обедал в Английском клубе, рядом с которым жил в меблированных комнатах. Он мне передавал, что в 1829 или 1830 году он был в Веймаре и посетил Гете, который принял его у себя в доме и, посадив его, сам все время ходил по комнате, заложив руку за спину. Разговор был самый будничный. Одет он был в длинный сюртук, походящий на пальто и на халат. Он был высокого роста, держался прямо и выглядел моложе своих лет, 80 с лишком. Казадаев, когда жил в Москве, был уже очень стар, но бодрый, живой, веселый, обладавший прекрасной памятью. В царствование Николая I, в последние его годы, Казадаев был последовательно губернатором в Курске и в Туле. Он прекрасно перевел с английского или французского арабские сказки «1001 ночь». Перевод его был напечатан (М., 1877.—*С. Д.*) ...Труд этот он не продавал, а дарил своим знакомым». Казадаев умер в глубокой старости в конце 80-х годов: вероятно последний из русских посетителей Гете [48].

Я уверен, что устное—уже угасшее теперь—предание могло бы назвать не мало имен таких официозных посетителей Гете с литературными склонностями. Еще больше оно могло бы назвать посетителей нелитературных. Русские посетители в 1820—1830-х гг. зачастили в Веймар.

Иные из них доставляли Гете удовольствие, как тот, чье посещение он отметил 22 марта 1823 г.

Утром он послал записку художнику Мейеру: «Г. Сорэ (воспитатель сына Марии Павловны.—*С. Д.*) известил меня об одном петербургском

путешественнике, привезшем мне кое-что от Келлера; вместе с тем и литографии, о которых отлично отзываются. Они придут ко мне в половине первого. Может быть вы удосужитесь притти на полчаса; хорошо было бы, если бы Вы также могли высказать суждение об этих работах» [49]. Мейер повидимому не пришел, но Сорэ явился с петербуржцем, и Гете охотно отметил в дневнике, что заезжий гость «показывал русские литографированные виды Петербурга и костюмы различных народностей. Также восхищался некоторыми русскими минералами и с большой похвалой говорил о художнике-литографе Орловском. Обедали втроем» [50]. Этот безвестный русский из Петербурга настолько заинтересовал Гете литографиями А. О. Орловского (1777—1832) и своей беседой, что поэт оставил его обедать. Но часто случалось, что посещения русских набивали Гете изрядную оскомину и чрез это попадали в его дневник. Какое-то безыменное русское посещение 1813 г. он занес в дневник с недоумением: «странный русский» (27 окт.). 27 апреля 1830 г. Гете не без иронии отметил, что побывал у него некий «молодой русский в сопровождении водившего его итальянского капельмейстера». Перед этим, 19-го числа, Гете даже принес Эккерману жалобу на русских туристов, зараженных обычною туристическою болезнью—упрямо посещать все достопримечательности и столь же упрямо не уделять им ни доли умственного внимания: «Гете рассказывал о посещении двух русских, которые были у него сегодня. «Вообще,—сказал он,—они прекрасные люди, но один был относительно меня нелюбезен· за все время визита он не произнес ни одного слова. Он вошел, молча поклонился, за все время и рта не открыл и через полчаса ушел с молчаливым поклоном. Он кажется приходил единственно затем, чтобы посмотреть и понаблюдать меня. Я сидел насупротив их, и он не сводил с меня глаз. Это мне надоело, и я пустился болтать всякие глупости, какие только приходили в голову. Кажется, я стал толковать о Соединенных северо-американских штатах и говорил легкомысленно, без разбора и то, что знал, и то, чего не знал. Но обоим иностранцам это кажется понравилось, потому что они ушли повидимому довольные» [51].

Впрочем Гете мог здесь ошибаться, за «нелюбезность» принимая просто робость: мы увидим, как безмолствовали перед Гете даже такие русские посетители, которым было что ему сказать и которые были заочно с ним уже знакомы.

Из пестрой толпы «не робевших» перед Гете русских посетителей (конечно из круга знати) небесполезно отметить—правда, не веймарскую, а курортную (Карлсбад, 1806)—встречу Гете с гр. Николаем Путятиным (1745—1830), российским камергером, давно и безвыездно жившим за границей, в какой-то придворной «опале». «По обычаю князя,—не без иронии рассказывает сам Гете,—мы тотчас же вступили в глубокие рассуждения о небесных и земных вещах; мы коснулись также «Разбойников» Шиллера, и князь выразился следующим образом: «Будь я богом, и имей я намерение создать мир, и еслиб я в это мгновение предвидел, что «Разбойники» Шиллера будут написаны, то я не создал бы мира»... Вот отвращение, которое хватило через край, и его почти нельзя себе объяснить», замыкал Гете рассказ [52]. Отвращение действительно «хватило через край», но объяснить его не трудно: нелюбовь самого тайного советника Гете к революционной драме Шиллера по социально-политическому своему происхождению не далека от отвращения русского вельможи, напуганного революцией, поднесшей, как известно, Шиллеру достоинство «гражданина Французской республики».

Разговор с Путятиным—не только любопытный курьез. Он позволяет подслушать, о чем могли разговаривать русские официальные и официозные гетеанцы с Гете. У этих посетителей, сиявших только своими титулами и «бриллиантовыми знаками» на груди, находилась все-таки общая почва для разговоров с человеком, на весь мир сиявшим светом своего гения. Этой общей почвой была унылая плоскость его политического воззрения, прочная каменность его придворно-бюрократического бытия и быта. Девять десятых официозных посетителей Гете невозможно представить в кабинете Байрона или в комнате Бетховена: таких посетителей за версты отгоняли бы оттуда ирония первого, гнев второго. Но у Гете для них была открыта дверь. Они не могли найти за нею ни гнева, ни иронии. Они входили в жилище, где могли дышать тем же социальным воздухом, что и в их дворцах и усадьбах, а великое различие интеллектуальных запахов там и тут не смущало их: чтобы его ощутить, нужно было обладать слишком острым умственным обонянием. Они этим не страдали.

Лето 1822 г. Гете проводил в Мариенбаде на водах. Курортный листок отметил тогда же и другого посетителя вод: «Его сиятельство князь Александр Лобанов-Ростовский, флигель-адъютант русского императора, полковник, из Петербурга, живет в доме гр. Клебельсберга» [53].

Князю Александру Яковлевичу было тогда всего 34 года (1788—1866 г.). Его биография—одна из типичнейших биографий русского аристократа «дней александровых прекрасного начала» и громкой середины. Все в ней было: и школьные годы у иезуитов, в знаменитом пансионе аббата Николя, и пребывание в «архивных юношах» первого призыва, не-философического (1802—1805), и бегство из Архива министерства иностранных дел в корнеты, в кавалергардский полк, и участие во второй войне с Наполеоном, и в турецкой кампании, и кавалерийское ремонтерство в 1812 г., и командование полками в 1813—1815 гг., и участие во втором вступлении в Париж в 1815 г., и дальнейшие военно-служебные успехи: адъютантство у кн. П. Волконского, а потом флигель-адъютантство у Александра I. Все это обыкновенно и дюжинно.

Гораздо любопытней финал этой блистательно начатой карьеры: отставка при Николае I, в 1828 г., в самый год турецкой войны, и полное замыкание в интересы иного рода, замыкание, продолжавшееся вплоть до смерти в 1866 г. Кн. Лобанов был наместным «великим мастером» в самом крупном из русских масонских объединений конца 10-х годов—в союзе «Астреи». В одном из первых параграфов устава этого объединения было сказано, что ложи, в него входящие, «обязуются не иметь в предмете работ изыскания сверхъестественных таинств, не следовать правилам так наз. иллюминатов и мистиков, ниже алхимистов, убегать всех подобных несообразностей с естественным и положительным законом и, наконец, не стараться о восстановлении древних рыцарских орденов». Это был один из крупных масонов-рационалистов. Он был действительным членом польских лож в Варшаве и Кракове [54].

С флигель-адъютантом Скалозубом флигель-адъютант кн. Лобанов не мог бы приятельствовать: он был книголюб, коллекционер, пылал какой-то архивно-книжной страстью к двум прекрасным особам в истории: к русской княжне Анне Ярославовне, вышедшей замуж за французского короля Генриха I, и к Марии Стюарт. По архивам и антикварам всей Европы он собирал все, что могло относиться к жизни и эпохе этой дочери Ярослава, сидевшей на французском троне,—и сборы эти пошли не совсем прахом:

он издал книгу «Recueil de pièces historiques sur Anne ou Agnès, épouse de Henri I, roi de France» (Paris, 1825). Когда эта страсть к Анне была насыщена, он воспылал еще более сильною и продолжительною страстью к Марии Стюарт: еще упорнее разыскивал он малейшие следы, оставшиеся от нее,—и их набралось столько, что понадобилось несколько томов, чтобы вместить «Lettres inédites de Marie Stuart» (Paris, 1839), «Lettres, instructions et mémoires de Marie Stuart» (Лондон, 1844—1845, 7 томов), с дополнением к ним, изданным в Париже в 1859 г.; бывший «архивный юноша» увлекался по-юношески: он собрал до 800 портретов этой королевы («Notice sur la collection des portraits de Marie Stuart appartenant au prince A. Lobanoff». S.-Ptsb., 1856). Он собирал все это не только из «романтической» любви к «прекрасным королевам», но и из чувства монархиста-легитимиста, каким он был: он любил Париж эпохи реставрации, подолгу в нем живал и с благосклонностью был принимаем Карлом X. Свою «стюартовскую» коллекцию он завещал Эрмитажу. Публичная Библиотека получила его собрание портретов Петра I. Но он собирал и многое другое. Страстный библиограф, член парижской «Société des Bibliophiles Français» и в то же время, вопреки своей карьере, любитель моря, основатель и командор яхт-клуба в Петербурге, он соединил обе эти страсти в одну: с ревностью принялся собирать коллекцию географических карт и планов всех времен и народов. Это заменяло ему его несостоявшееся мореходство. Коллекция его и знания в этом деле сделали его членом Географического общества в Петербурге.

Он встретился с Гете в Карлсбаде у целебного источника. 5 июля 1822 г. Гете отметил первый его визит: «Посетил князь Лобанов-Ростовский». В течение июля они часто встречались: повидимому встречи доставляли обоюдное удовольствие. 7 июля Гете был у Лобанова и застал у него давнего своего знакомца, веймарского военного Г. К. Зеебаха (1786—1841) и баварского посла при саксонском дворе гр. Фр.-Хр. Люксбурга. На другой день Гете был зван на обед к Лобанову. 10 июля Гете опять обедал у него вместе с тем же Люксбургом, офицером Варденбергом и русским камергером Барклаем де Толли. Эти два обеда под ряд, выходящие из церемониала торжественных обедов,—хороший знак, что Гете было приятно общество и хлебосольство Лобанова. Затем князь на неделю уехал в Карлсбад, но 19 июля Гете опять уже записал: «У князя Лобанова, вернувшегося из Карлсбада. Часы Брегет. Показывал новую карту Европейской Турции на 15 листах. Annaire pour l'année 1822». Запись показывает, что Гете входит в коллекционерские интересы Лобанова. 21 июля Гете был вместе с Лобановым на обеде у гр. Люксбурга, а 30 июля внес запись: «Русская книга от Лобанова». Это был прощальный подарок: Гете уехал из Мариенбада, и 1 августа уже писал герцогу из Егера, почти пограничного городка Богемии. Какую книгу Лобанов подарил Гете, легко узнать из его собственноручного «списка приобретенных книг за 1822 г.»: «Евангелие от Матфия на русском языке, дидотовским шрифтом, изданное кн. Лобановым-Ростовским. Paris 1821. 8°. Подарок издателя» [55]. В гетевской отмете виден библиофил: Didot (Дидо) была знаменитая парижская типографская и издательская фирма; Фирмэн Дидо (1764—1836) один из первых применил на практике печатание стереотипом. Издание Лобанова обратило на себя внимание Гете именно с типографской стороны.

Книга с надписью издателя «À son Excellence Monsieur Goethe de la part de l'Éditeur» доселе сохранилась в библиотеке Гете.

Из Егера Гете поделился своим впечатлением от нового русского знакомого с герцогом Карлом-Августом и герцогиней Луизой: «Моим приятным соседом был русский князь Лобанов-Ростовский. Это—молодой человек, горящий жизнью, адъютант императора; он рано начал скитаться в походах, путешествиях, миссиях, посольствах и оттого утратил здоровье, которое подобало бы его возрасту. Хотя он кавалерист, но он, при решительном пристрастии к морю, стремится попытать счастья и на волнах. Все относящееся к морю и морскому делу его страстно занимает. Он обладает обширной коллекцией карт и планов, каталог которой он взялся приводить в порядок на досуге курортной жизни. Он привез с собою все заполненные карточки в пакетиках: по ним можно судить о большом объеме его коллекции... Я также видел у него карманные и настольные часы работы Брегета в Париже: они безусловно превосходят все, что только существует в этом роде» [56]. Письмо написано не без симпатии к Лобанову-Ростовскому и не без сочувствия коллекционера к коллекционеру.

В следующем, 1823, году Гете опять встретился в Мариенбаде с Лобановым-Ростовским. Это было последнее мариенбадское лето Гете, время его «последней любви»—к Ульрике фон Левецов.

Первое известие о новой встрече с Лобановым находится в письме Гете к сыну от 4 июля: «Меня посетил князь Лобанов-Ростовский».

12 июля Гете записал в дневнике: «Князь Лобанов и его художник» [57].

Этот художник был Орест Адамович Кипренский (1783—1836), занесенный в курортные списки с таким титулом: «Господин Кипринский (von Kiprinsky), императорский русский советник Академии художеств, из Санкт-Петербурга» [58]. На самом деле Кипренский не из Петербурга прибыл, а в Петербург возвращался после длительного (1816—1823) пребывания за границей, где пережил столько за эти семь лет, что хватило бы на целую жизнь: он испытал шумный успех в Италии, приведший его к высшей награде, какая может там выпасть иностранному художнику: к предложению написать свой собственный портрет для знаменитого собрания автопортретов славных художников в Уффициях; он пережил целый роман в Риме, по преданию, закончившийся трагедией, которая заставила его бежать в Париж; ему довелось испить полную чашу похвал как художнику и осуждений как человеку; он переживал начало заката своего таланта, не верил этому, начинал ненавидеть чужие края и рвался на родину. Гете недаром отметил, что князь Лобанов пришел к нему «со своим художником». Кипренский пользовался в то время материальною поддержкою князя и выполнял его заказы. Князь привел его к Гете с тем, чтобы условиться о писании портрета с великого своего знакомца. Мысль об этом принадлежала князю, а не Кипренскому. Несколькими днями раньше, по желанию того же Лобанова, Кипренский сделал в Мариенбаде же рисунок со знаменитого слависта-ученого Иосифа Добровского. Рисунок содержит собственноручную помету Кипренского: «Marienbad, 4 Julie 1823», а на обороте его находится надпись об его происхождении: «Портрет Иосифа Добровского, рисованный с натуры Кипренским и подаренный Академии Наук кн. А. Я. Лобановым-Ростовским в 1860 г. Непременный секретарь К. Веселовский» [59].

Совершенно так же, как рисунок с Добровского, Лобанов заказал Кипренскому работу с Гете, с которым сблизился. Сеансы начались со следующего же дня. 13 июля Гете записал: «В 11 часов русский художник

ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ
Эскиз карандашом к автопортрету (1828 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва



рисовал (zeichnete) мой портрет. Разговор с ним о современном римском искусстве и художниках, в частности о немецких. Также о Париже и о тамошних обстоятельствах. Полдень—для себя. Художник еще раз». 14 июля—третий сеанс (считая, что 12-го их было два): «русский художник продолжал рисовать» (zeichnete fort). 15-го—четвертый сеанс в присутствии заказчика: «Кипринский, живописец, тут же князь Лобанов». 16 июля князь покидает Мариенбад, а художника оставляет доканчивать работу: «русский художник. Князь Лобанов уехал в Карлсбад»,—это пятый сеанс, а на следующий день, 17-го, шестой: «русский художник после 11 час.». 18 июля—на седьмом, утреннем сеансе, по словам Гете, «продолжалась работа над портретом или, точнее, последний был закончен». Этим седьмым сеансом закончилась работа над портретом. Но в тот же день, по словам дневника Гете, «после обеда художник пришел еще раз и набросал фигуру, сидящую за столом, в правой руке перо, левая не видна» [60].

Дошедший до нас след этой работы Кипренского—гравюра Гревдона—довольно близко подходит к этому описанию самого Гете: это как раз «фигура, сидящая за столом, в правой руке перо», но—вопреки описанию—левая рука на гравюре видна: четыре пальца этой руки положил Гете на край стола, пятый, большой, придержан им на самом ребре крышки стола.

9 августа Гете писал из Мариенбада своему приятелю, ученому физику и рисовальщику, Хр.-Л. Шульцу (см. о нем в главе о Тургеневе): «Я много часов позировал русскому художнику, учившемуся в Риме и в Париже, который хорошо мыслил и искусно работал; ему посчастливилось удовлетворить каждого, в том числе и великого герцога, которого нелегко

удовлетворить чем-нибудь в этом роде. Он думает направиться в Берлин и прозывается Кипринским» [61]. Письмо это не оставляет сомнения, что эту основную работу Кипренского, потребовавшую семи сеансов, видели в Веймаре еще в то время, когда Гете продолжал лечиться в Мариенбаде: иначе была бы непонятна фраза, что портрет, рисованный Кипренским, удовлетворил «каждого, в том числе и великого герцога»,—речь тут явно идет о веймарцах—друзьях Гете. Но никакого следа этого портрета не отыскивается доселе. Лобанов-Ростовский умер в 1866 г. бездетным. О художественных достоинствах работы Кипренского речь идет в другом месте. Здесь же должно отметить большое сходство (при всей романтичности творческого порыва, в котором изображен Гете) и отсутствие той неприятной официальности, которая так мертвит многие поздние портреты Гете.

Портрет Кипренского—памятник дружеского внимания к Гете кн. Лобанова-Ростовского.

В библиотеке Гете некогда хранился и другой памятник июльских встреч 1823 г. В «Списке приобретенных книг за июль» читаем: «Catalogue des cartes géographiques, topographiques et marines de la Bibliothèque du prince Alexandre Lobanoff de Rostoff. Paris. 1823»—с пометой: «от князя» [62]. В течение года князь довел до конца начатую на глазах Гете и при явном его сочувствии работу по каталогизации своей картографической коллекции и успел издать ее библиографическое описание. Каталогизация и каталоголюбие были также страстью князя: он собирал между прочим и коллекцию каталогов всех картинных галлерей Европы. Коллекционерство свое Лобанов завершил чудачеством: он увлекся собиранием тростей и палок, принадлежавших разным знаменитостям. Не просил ли он и Гете о пополнении этой своей коллекции?

Сколько знаем, больше ему не приходилось встречаться с Гете.

Русские официальные и официозные посетители Гете, часто и много видевшие его в 1810—1820 гг., не нашли в себе ни малейшей охоты рассказать о своих встречах. Гете был внимательнее к ним, чем они к нему: он прилежно и регулярно отмечал в дневнике своем их посещения. Лобанов-Ростовский и тут оказался с «не общим выраженьем»: он ничего не написал о Гете, но ему мы обязаны одним из лучших—как превосходно показывает это далее А. М. Эфрос—портретов Гете. Характерно для официозного гетелюбия, что его хватило на то, чтоб заказать портрет великого поэта, но не достало на то, чтоб сохранить и передать в его руки тех, кто способен более понимать и Гете, и художника, его написавшего [63].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. И. Герцен, Былое и думы, т. I. ГИЗ, 1931, стр. 25—27.

[2] «W. A.», III Abt., B. III, S. 218.

[3] Там же, S. 221, 228, 230, 236, 255, 266, 267, 269.

[4] Там же, S. 230, 236, 267.

[5] «Tag- und Jahres-Hefte». Там же, B. XXXVI, S. 389.

[6] Французский текст и перевод письма Гете к Яковлеву от 5 февраля 1810 г. см. ниже в работе А. Г. Габричевского, Автографы Гете в СССР. Чистовой текст напечатан впервые В. Нечаевой, Письма Гете («Красный Архив», 1923, III, 307). «W. A.», (IV Abt., B. XXX, S. 129) дает черновик, писанный самим Гете.

[7] «W. A.», IV Abt., B. XXI, S. 245.

[8] Там же, S. 395.

[9] В. Нечаева, стр. 309.

[10] Французский текст и перевод письма Гете к Яковлеву от 10 января 1812 г. см. ниже в работе А. Г. Габричевского «Автографы Гете в СССР». Чистовой текст напечатан впервые В. Нечаевой (см. выше). «W. A.» (IV Abt., B. XXII, S. 4) дает черновик. В архиве Гете хранятся три письма к нему Яковлева: от 18/30 XII, 1809 (Штутгарт), от 14/26 II 1810 (Штутгарт) и от 8/20 XII 1811 (Кассель).

[11] П. А. Вяземский, Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 230.

[12] «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу». Лейпциг, 1872 г., стр. 87.

[13] «Р. А.» 1873, кн. I, стр. 847—848.

[14] «W. A.», III Abt., B. III, S. 222, 250.

[15] Там же, B. IV, S. 154—155.

[16] Там же, B. V, S. 83, 207; B. VI, S. 258; B. V, S. 237; B. VII, S. 49.

[17] Там же, IV Abt., B. XXXI, S. 261; I Abt., B. XXXVI, S. 155.

[18] «О. А.», т. III, п., стр. 552.

[19] «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова». Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. Berlin, 1870, т. I, стр. 303.

[20] Там же, т. II, стр. 4—5.

[21] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 35.

[22] «W. A.», III Abt., B. III, S. 63.

[23] Elise Keudell, Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Weimar, 1931, S. 56.

[24] «W. A.», III Abt., B. III, S. 88.

[25] El. Keudell, S. 60—61. Шлецера и Шлейха Гете на этот раз держал у себя с 19 сент. 1804 г. по 25 янв. 1806; словарь Гейма—с 4 окт. 1804 г. по 3 апреля 1806; грамматику его же—с 6 окт. 1804 г. по 18 янв. 1806.

[26] «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». Под ред. Я. К. Грота и П. А. Плетнева, 1866, стр. 190.

[27] Запись 15 апреля 1817 г. «W. A.», III Abt., B. VI, S. 37.

[28] «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1864, кн. II, стр. 81—86. Цитата из «О. А.», т. I, стр. 552—553.

[29] Письмо от 11 дек. 1818 г. из Петербурга.—«О. А.», т. I, стр. 169—170.

[30] Там же, стр. 553—554.

[31] Там же, стр. 201.

[32] Письмо от 2 апр. 1819 г.—«О. А.», т. I, стр. 209.

[33] Письмо к П. А. Вяземскому от 9 апр. 1819 г. «Старина и новизна», кн. I, 1899, стр. 75.

[34] Экк., т. II, стр. 295. Этот отзыв Гете о Коцебу повторяет его отрывок «Коцебу» («W. A.», I Abt., B. XXXVI, S. 283).

[35] Бельш., т. II, стр. 419.

[36] Экк., т. II, стр. 312.

[37] «W. A.», III Abt., B. VII, S. 2, 7; I Abt., B. XXXVI, S. 148. Генрих-Карл-Эрнст Кёлер (1765—1838)—петербургский академик, директор кабинета античных древностей.

[38] Там же, III Abt., B. VII, S. 272. Вильгельм Круг (1770—1842),—популярный профессор философии в Кенигсберге (преемник Канта) и потом в Лейпциге, имевший у студенческой молодежи репутацию защитника свободомыслия и просвещения.

[39] «О. А.», т. I, стр. 206.

[40] Там же, стр. 215.

[41] «W. A.», IV Abt., B. XXIV, S. 263—265.

[42] Там же, S. 289—291.

[43] «W. A.», III Abt., B. V, S. 108, 110, 170, 351; IV Abt., B. XXIV, S. 292—293; в письме к Риделю от 30 мая 1814 г. Гете пишет: «Я решил просить господина графа, чтоб он сделал одолжение освободить меня от данного поручения». Причиной этого—неуверенность Гете-комиссионера, что генерал-адъютант хорошо оплатит услуги рекомендуемого преподавателя: «Мало надежды на вознаграждение, а если будет только благодарность, то это—слишком большой риск (grosses Risico)».

[44] «Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова. Составлен внуком его гр. Владимиром Орловым-Давыдовым». СПБ, 1878, т. II, стр. 335.

[45] А. Брикнер, Материалы для жизнеописания гр. Н. П. Панина (1770—1837), т. VIII, СПБ, 1892, стр. 246.—П. И. Бартенев рассказывал («Р. А.», 1911, № 7, стр. 449—451), будто «Гете получал из Москвы, с Бол. Никитской, значительную плату от графа Орлова, взявшись наблюдать, как шло в Иене обучение его внука, графа Виктора Никитича Панина». Это—апокриф: Виктор Панин воспитывался дома, в усадьбе Дугине, под наблюдением отца и гувернера Бютгера и в 1819 г. выдержал экзамен при Моск. у-те, после чего тотчас поступил на службу в коллегию

иностранных дел (П. М. Майков, в «Р. Б. С.», том «Павел преподобный—Петр (Илейка)». СПБ., 1902, стр. 179). Апокриф сложился вероятно как отголосок многомесячных хлопот Гете по приисканию преподавателя для детей другого Орлова—гр. В. П. Орлова-Денисова (см. выше). Общий тон сообщений Бартенева о Гете отличается заметным недружелюбием.

[46] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 268.

[47] Том I, Лгр., 1915, стр. 338.

[48] Письма Вл. М. Голицына, ко мне от 28/XII и 7/IX 1931 г.

[49] «W. A.», IV Abt., B. XXXVI, S. 313.

[50] Там же, III Abt., B. IX, S. 26—27.

[51] Эккк, т. II, стр. 289—230.

[52] Эккк, т. I, стр. 265—266. Слова Гете Эккерману прямо повторяют запись дневника от 5/VII 1806 («W. A.», III Abt., B. III, S. 134—135). Гете и в дальнейшем (1813 г.). встречался с Путятиным.

[53] «W. A.», III Abt., B. VIII, S. 376.

[54] А. Н. Пыпин, Общественное движение в России при Александре I. Изд. 5, П., 1918, стр. 334—337.

[55] «W. A.», III Abt., B. VIII, S. 214, 215, 217, 218, 211, 321.

[56] Там же, IV Abt., B. XXXVI, S. 101—102. 3 сентября, уже из Веймара, Гете писал Марии Павловне: «Беру на себя смелость приложить достопримечательную тетрадь (Heft), которою я обязан любезности одного высокочтимого соседа в Мариенбаде. Исписанный лист дает предварительные сведения; что касается меня, то, увы, это пояснительное введение не уясняет мне дальнейшего» (там же, S. 138). Предположение веймарского издания, что Гете посылал Марии Павловне евангелие, полученное от Лобанова-Ростовского, опровергается фактом нахождения в библиотеке Гете этого подарка Лобанова, но что бы ни передавал Гете Марии Павловне, «высокочтимый сосед» был несомненно Лобанов.

[57] «W. A.», IV Abt., B. XXXVII, S. 118; III Abt., B. IX, S. 76.

[58] Там же, стр. 365.

[59] Бар. Н. Н. Врангель, Орест Адамович Кипренский в частных собраниях. Изд. О-ва защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. П., 1912, стр. 61, по каталогу № 80 (репродукция там же). Врангель передает надпись Кипренского: «Marienbad 4... 1823», но «Juli» читается совершенно ясно.

[60] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 76—79.

[61] Там же, IV Abt., B. XXXVII, S. 178. Впервые в русской литературе уделено было внимание этой работе Кипренского П. Д. Эттингером в его заметке «Гете в изображении Кипренского» («Художеств. Жизнь» 1920, № 2, январь-февраль, стр. 45—47). Н. Н. Врангелю и Н. П. Собко («Р. Б. С.», т. «Ибак-Ключарев», СПБ, 1897) этот портрет Гете остался неизвестен. Записи Гете в «Дневнике» остались однако неизвестны П. Д. Эттингеру. Подробно о работе Кипренского см. ниже в статье А. М. Эфроса.

[62] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 328.

[63] К позднейшим полуофициозным посещениям Гете нужно отнести визит Авраама Сергеевича Норова (1795—1869), впоследствии, в 1854—1858 годах, бывшего министром иностранных дел. Участник войны 1812 года, он под Бородиным лишился ноги. Это давало право Вяземскому, бывшему у него товарищем министра, сказать про него: «Он не имеет блестящих способностей Уварова, но... чище и благороднее душою и тверже на одной ноге своей, нежели тот был на двух» (Сочин., том X, стр. 145). С 1813 г. Норов начал печатать стихи и переводы с итальянского в альманахах и журналах. Пушкин, бывший с ним на «ты» и пользовавшийся книгами из его великолепной библиотеки, упомянул о ней в рецензии на «Северную Лиру» 1827 г., но лишь затем, чтоб «заметить, что г-ну Абраму Норову не должно бы переводить Данте». В 1821 г. Норов совершил первое путешествие по Европе. В 1830—1840 гг. он приобрел себе известность путешествиями по Азии и Африке; переизданные в 1853—1854 гг. в пяти томах, «Путешествия» доставили ему кресло академика. В 1827 г., когда Россия совместно с Англией и Францией действовала против турок за освобождение Греции, Норов, знаток европейских языков, был прикомандирован к начальнику русской эскадры, адмиралу Синявину. После Наваринской победы русская эскадра возвратилась в Балтийское море, а Норову довелось попасть в Веймар. 31 октября Гете записал в дневнике: «Статский советник Норов, офицер эскадры, которая возвратилась в Россию. Потерял в битве под Москвою левую ногу» («W. A.», III Abt., B. XI, S. 130). Запись показывает, что Норов-писатель остался неведом Гете; он был ему интересен, как участник Бородина и как свидетель новейшей войны с турками, за течением которой Гете пристально следил.

IV. НА ТРОПЕ К ГЕТЕ

К. Н. БАТЮШКОВ В ВЕЙМАРЕ В 1813 ГОДУ. — ОТКРЫТИЕ ГЕРМАНИИ В ЛИТЕРАТУРЕ. — ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КНИГА РУССКОГО ОФИЦЕРА — В ДАР ГЕТЕ. — НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ Ф. Н. ГЛИНКИ К ГЕТЕ. — РУССКИЙ „АНАКСАГОР" У ГЕТЕ. — Н. И. ГРЕЧ В ГОСТЯХ У ГЕТЕ. — РУССКИЙ ЧИНОВНИК В ДОМЕ ГЕТЕ. — ВСТРЕЧА ГРЕЧА С ИОГАННОЙ ШОПЕНГАУЭР. — ДВА АРЗАМАСЦА — Д. Н. БЛУДОВ И Ф. Ф. ВИГЕЛЬ — В ВЕЙМАРЕ. — ЦЕННОСТЬ ЗАРИСОВКИ ВИГЕЛЯ. — ГЕТЕ — ЧИТАТЕЛЬ ГР. Д. И. ХВОСТОВА. — ПИСЬМО ГР. ХВОСТОВА К ГЕТЕ. — СТИХОТВОРНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ХВОСТОВА К ГЕТЕ. — ГЕТЕ В ЖИЗНЕННОЙ СУДЬБЕ ЕЛИСАВЕТЫ КУЛЬМАН. — ГЕТЕ И КАРОЛИНА ПАВЛОВА. — ПАЛОМНИЧЕСТВО КНИГ И СТИХОВ.

Наполеоновские войны привели в Германию много русской молодежи в военных мундирах, но со штатскими, даже с литературными наклонностями. До войны, до похода в Германию, они были поклонниками французской poésie légère, читателями, а то и переводчиками Парни, Грекура, Грессе и стихотворного Вольтера. Война с Наполеоном потребовала от них патриотического бегства от французского языка и литературы, пребывание в Германии указало им, куда удобнее всего бежать из литературной Франции. Германия Виланда, Шиллера, Гете была перед ними.

В Веймаре легче всего было открыть эту Германию.

Ее и открыл там себе К. Н. Батюшков, до похода 1813 г. бывший прилежным читателем, переводчиком и подражателем французских и итальянских поэтов. Офицер из штаба Н. Н. Раевского, 30 октбря 1813 г. он писал своему другу, поэту Н. И. Гнедичу: «Мы теперь в Веймаре дней с десять; живем покойно, но скучно. Общества нет. Немцы любят русских, только не мой хозяин, который меня отравляет ежедневно дурным супом и вареными яблоками. Этому помочь невозможно; ни у меня, ни у товарищей нет ни копейки денег в ожидании жалованья. В отчизне Гете, Виланда и других ученых я скитаюсь, как скиф. Бываю в театре изредка. Зала недурна, но бедно освещена. В ней играют комедии, драмы, оперы и трагедии, последние—очень недурно, к моему удивлению. «Дон Карлос» мне очень понравился и я примирился с Шиллером. Характер дон Карлоса и королевы прекрасны. О комедии и опере ни слова. Драмы играются редко по причине дороговизны кофея и съестных припасов; ибо ты помнишь, что всякая драма начинается завтраком в первом действии и кончится ужином. Здесь лучше всего мне нравится дворец герцога и английский сад, в котором я часто гуляю, несмотря на дурную погоду. Здесь Гете мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте; здесь Виланд обдумывал план Оберона и летал мыслью в области воображения; под сими вязами и кипарисами великие творцы Германии любили отдыхать от трудов своих; под сими вязами наши офицеры бегают теперь за девками. Всему есть время. Гете я видел мельком в театре. Ты знаешь мою новую страсть к немецкой литературе. Я схожу с ума на Фоссовой «Луизе»; надобно читать ее в оригинале и здесь, в Германии. Книги вообще дороги, особливо для нас, бедняков, хотя здесь фабрика книг. Третьего дня приехала в Веймар великая княгиня Мария Павловна. Я был ей представлен с малым числом русских офицеров, здесь находящихся. Она со всеми говорила и очаровала нас своей приветливостью, и к общему удивлению—на русском языке, на котором она изъясняется лучше, нежели наши великолепные петербургские дамы» [1].

Было бы трудно лучше Батюшкова передать, чем был для русского офицера Веймар в 1813 г.: все в одной куче—и русские офицеры в театре Гете, и благоговейные припоминания русского читателя о Гете как об авторе «Вертера», и неизменный «Оберон», и мещанские драмы, которых нельзя давать на сцене по крайней бедности веймарского театра, и не

стерпимый для русских помещичьих желудков бюргерский суп, и гоньба за девками по аллеям парка, и восторг от открытия давно открытой Америки немецкой литературы! Целая картина в нескольких строках.

У Батюшкова почтения к литературной славе Веймара не меньше, чем у Карамзина, когда он приехал туда в 1789 г., но знания Гете у него не больше: как и Карамзин, он знает Гете только по «Вертеру», а в 1813 г.— уже пять лет, как был в продаже «Фауст». Биографию Гете Батюшков знает хуже Карамзина: Гете «не мечтал» в Веймаре о «Вертере», так как роман написан до переезда его в Веймар. Из других веймарцев русский поэт знает, как и Карамзин, «Оберона» Виланда, но с Шиллером он или мало знаком, или весь еще во власти французских симпатий,—и только «Дон Карлос», виденный в постановке Гете, заставляет его примириться с автором. Батюшков отмечает случайную встречу с Гете в театре, но у него нет еще живого, благодарно-читательского или, тем паче, писательского побуждения—пойти поискать неслучайных встреч с Гете (что конечно было очень легко устроить через ту же обязательную Марию Павловну). Очень показательно отношение Батюшкова к любимому детищу Гете—веймарскому театру. Ему, привыкшему к роскоши императорских театров Петербурга и Москвы, не хочется даже упоминать о веймарских операх и комедиях; он дает насмешливое объяснение редким постановкам драм в Веймаре: герцогский театр, по его мнению, беднее домашнего театра любого саратовского барина. Но исполнение трагедий вызывает его одобрение. Батюшков не знал, почему оно стояло высоко в Веймаре, не знал, что вдохновителем и учителем веймарской трагедии был сам Гете. Батюшков открыл в Веймаре Америку немецкой литературы, но в ней поспешил он «сойти с ума» не от Шиллера, не от Гете, а от «Фоссовой Луизы». Как трудно давался Гете даже первым поэтам чужой северной страны!

Превосходно показана в письме Батюшкова и Мария Павловна: она так приняла русских офицеров, что они тотчас же почувствовали, что не выезжали из Петербурга, даже не выходили из Зимнего дворца, а только перешли из залы очень большой, где принимала их Мария Федоровна, в залу поменьше, где приняла их Мария Павловна. Они были обворожены этой единой петербургско-веймарской придворной дипломатией.

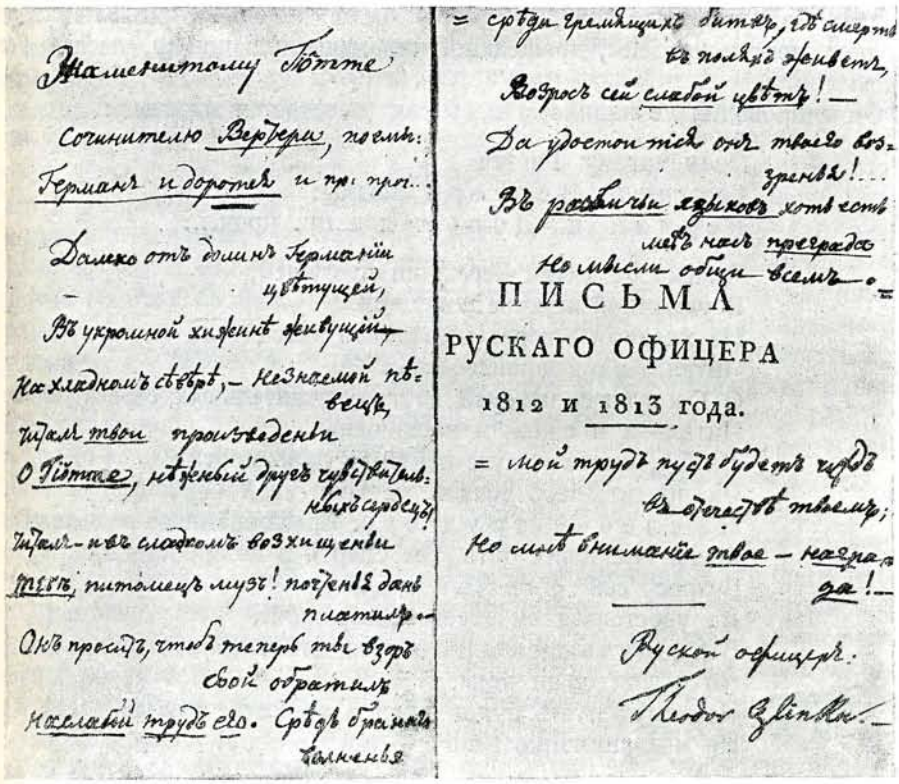
Впечатления Батюшкова были устойчивы. Почти через месяц (10 ноября) он писал родным то же самое: «Мы теперь в Веймаре более трех недель живем праздно, между тем как генерал (Н. Н. Раевский, отец пушкинских друзей.—*С. Д.*) лечится. Здесь были обе великие княгини— Мария Павловна и Екатерина Павловна, и мы обеим имели счастье представляться. Знаешь ли ты мою новую страсть? Немецкий язык. Я ныне, живучи в Германии, выучился говорить по-немецки и читаю все немецкие книги; не удивляйся тому. Веймар есть отчизна Гете, сочинителя «Вертера», славного Шиллера и Виланда; здесь прекрасная библиотека, театр и английский сад, в котором часто гуляю» [2].

Свою «новую страсть» Батюшков приурочивает к Веймару и указывает на источники ее питания: прекрасную библиотеку и театр.

Через четыре года в своих «Мыслях о литературе» (1817 г.) Батюшков уже прямо заявляет: «Не надобно любителю изящного отставать от словесности. Те, которые не читали Виланда, Гете, Шиллера и даже Канта, похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж и что Москва сожжена—до сих пор сомневаются» [3].

На примере Батюшкова легко видеть, какое значение имел поход в Германию для переключения русского литературного внимания с французской литературы на немецкую. Случайно попав в Веймар, французо- и итальянолюбивый поэт выезжает из него проповедником немецкой культуры в объеме от Виланда до Канта.

В числе тех русских военных, которые наводнили Веймар в 1813 г., было не мало людей с культурной тягой к Гете. Возможно, что многие из



Достославному Гёте

Сочинителю Вертера, поэме:
Германия и дороте и пр. пр. пр...

Далеко отъ долинъ Германіи
цвѣтущей,
Въ укромной хижинѣ живущій
На хладномъ сѣверѣ, — Незнакомецъ къ
вамъ,
Читалъ твои произведенія
О Гётте, нѣжный другъ чувствительныхъ
сердецъ!
Читалъ — и въ сладкомъ восхищеніи
Тебѣ, питомецъ музъ! почтенія дань
платилъ...
Онъ проситъ, чтобъ теперь ты взоръ
Свой обратилъ
На малый трудъ его. Сквозь брани
тѣлненья

= сквозь гремящихъ битвъ, гдѣ смерть
въ полѣ зрѣетъ,
Возрасъ сей слабой цвѣтъ! —
Да удостоится онъ твоего воз-
зрѣнія! ...
Въ разныхъ языковъ хотя есть
между нами преграда
Но мысли общи всѣмъ. =

ПИСЬМА
РУССКАГО ОФИЦЕРА
1812 и 1813 года.

= Мой трудъ пусть будетъ чудъ
въ отечествѣ твоемъ;
Но имя вниманія твое — награ-
да! —

Русской офицеръ.
Ѳедоръ Глинка. —

Стихотворное обращение к Гете Федора Глинки, написанное на экземпляре его книги „Письма русского офицера", преподнесенной им в дар Гете в 1814 году
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

них стучались и в дверь его дома. Вот один такой случай, память о котором сохранилась. Батюшков вздохнул, что по безденежью не может покупать книг, хотя Веймар и Германия—«фабрика книг». Другой русский офицер—какой-то Челыков—в такой же тоске по книгам пошел к Гете, и 22 февраля 1814 г. Гете послал записку библиотекарю Вульпиусу: «Русский бригадный адъютант Челыков (Tschellikow), живущий у Луденус, желает пользоваться герцогской библиотекой. Гете» [4].

В эту же пору из русской офицерско-литературной среды вышло характерное стихотворное приветствие Гете, оставшееся доселе неизвестным.

В библиотеке Гете доныне (1932 г.) хранится книга «Письма русского офицера о войне отечественной 1812-го и о заграничной 1813-го года. Сочинения Федора Глинки. Москва, 1814 года».

Эта книга Федора Николаевича Глинки (1786—1880) была одной из самых читаемых книг в России 1812—1816 гг.; это было патриотическое

чтение не только московских гостиных, где модны стали патриотизм и русский язык, но и захолустных усадеб и купеческих подворий. Менее всего книга Глинки могла быть интересна Гете: он в эпоху 1813—1814 гг. был в стороне от всяческого, тем более от глинкинского наивного патриотизма. Мало того: он был в стороне от германского «освободительного движения» 1813 г. и не числился ни в каких списках героев и вождей противо-французского движения 1813 г. Но у Гете была громозвучная слава величайшего немецкого писателя, которая на девять десятых была славою автора «Вертера», и этого было довольно, чтобы русский офицер, поэт и прозаик, прошедший карамзинскую школу, послал Гете свою книгу.

Он сопроводил ее надписью в стихах (печатается впервые):

Знаменитому Гиотте
Сочинителю В е р т е р а, поэмы:
Г е р м а н и Д о р о т е я и пр. проч....

Далеко от долин Германии цветущей,
В укромной хижине живущий,
На хладном севере,—незнаемой певец
Читал т в о и произведеньи
О Г и о т т е, нежный друг чувствительных сердец!
Читал—*и в сладком восхищеньи*
Т е б е, питомец муз! почтенья дань платил.
Он просит, чтоб теперь ты взор свой обратил
Н а с л а б о й т р у д е г о. Средь бранного волненья,
Среди гремящих битв, где смерть в полях живет,
Возрос сей с л а б о й ц в е т! —
Да удостоится он твоего воззренья!..
В р а з л и ч ь и я з ы к о в хоть есть меж нас п р е г р а д а,
Но мысли общи всем.
Мой труд пусть будет чужд в отечестве твоем;
Но мне внимание т в о е — н а г р а д а!

Руской офицер:
Theodor Glinka.

Весь Гете умещается для Глинки в карамзинскую формулу «нежный друг чувствительных сердец», и понятно почему: в титуле Гете Глинка помещает только то, что «чувствительно», и то, что «идиллично»: «Вертера» (с выщерблением всего, что в нем есть от «бури и натиска») и «Германа и Доротею». Это—Гете, вставленный в узенькую розовую рамочку сентиментализма, сделанную руками признательного читателя из средне- и мелкопоместных усадеб и небогатых особняков окраинной Москвы. И ранний «Гец», и поздний «Фауст» для такого тихонького читателя—книги за семью печатями.

Неизвестно, при каких обстоятельствах книга Глинки со стихами вошла в дом Гете, но самая мысль—этим подарком засвидетельствовать благоговение пред ним—родилась в той же атмосфере открытия уже открытой немецкой Америки, какую так хорошо передал Батюшков.

К числу полувоенных, полулитературных посетителей Гете этого времени принадлежит и Николай Иванович Кривцов (1791—1843). Впоследствии он так сблизился с кругом Карамзина, Жуковского, Вяземского

и трех Пушкиных—Василия и Сергея Львовичей и Александра Сергеевича, что Вяземский выразился о нем: «Он не был записан в Арзамасском штате, но был приятелем почти всех арзамасцев». За границу он попал по военной, а не по литературной дорожке. Раненый при Бородине, взятый в плен французами, прославившийся на всю Европу тем, что в оставленной Наполеоном Москве отстоял французский госпиталь от истребления казаками, он вновь вернулся в армию, и в сражении под Кульмом (18 августа 1813 г.) ему оторвало левую ногу. Кривцов остался за границей сперва лечиться, потом набираться европейского просвещения и парижского лоска. Он имел успех в парижском обществе: обедал у Бенжамена Констана, посещал madame де Сталь, любопытствовал заглянуть и к сентиментальной г-же Жанлис, знавал и Талейрана, но искал встреч и с Александром Гумбольдтом. Это был двойник Александра Тургенева, но без его добродушия и сердечности. Если верно, что человек есть дробь, у которой числителем то, что он есть в действительности, а знаменателем то, что он о себе думает, то знаменатель у Кривцова был так велик, что он умел им импонировать людям значительным в европейской культуре и общественности. В либеральных кругах Парижа он был признан европейским comme il faut, но, конституционалист и либерал, он отлично умел ладить с реставрированными королями, а у главного реставратора—Александра I—умел получать аудиенции и пособия не только на леченье, но и на уплату долгов (25000 рублей). Ему так хорошо жилось за границей, что он оставался там до 1816 года и только 13 июня тронулся восвояси. 26 июня он проезжал через Веймар. Конечно он пожелал представиться европейской знаменитости. Гете его принял, но избалованный ласками реставраторов и реставрированных, он остался недоволен приемом Гете. Он отметил это в своем дневнике. М. О. Гершензон в своей хронике «Декабрист Кривцов и его братья» (М., 1914) не почел любопытным привести эту запись Кривцова и ограничился следующими строками от себя: «Видел он и Гете: проездом через Веймар он посетил немецкого поэта, но был им принят холодно. Кривцов не отнес эту холодность на свой счет: «другого приема,—пишет он,—и нельзя было ждать от царедворца-ученого»,—т. е. тем хуже для Гете» (стр. 13). Либерал, долги которого выплачивал русский император, был недоволен царедворством Гете! Но повидимому Гете мало нашел любопытного в Кривцове. В дневнике его находим только такую запись: «26 июня... Обед с Августом [сыном]. Г. Кривцов» (B. V, S. 246). Даже для лаконизма Гете это слишком лаконично: Гете не отметил даже чина Кривцова, даже того, что он русский офицер, участник Бородина и Кульма: обычные отметы Гете при записи подобных посетителей. Знаменателю Кривцова действительно должно было быть обидно.

А. С. Пушкин польстил Кривцову, обозвав его в своем послании именем Анаксагора, греческого философа, приговоренного к изгнанию из Афин за безбожие. Заезд к Гете русского Анаксагора с царскими субсидиями не удался, но он был сделан не только по адрес-календарю европейской культуры, где значилось: быть в 10-х годах в Европе и не видеть Гете—это все равно, что быть в Риме и не видеть папы. Заезд был сделан несомненно еще и по справочному указателю русского двора, которому Кривцов следовал не менее прилежно, чем европейскому адрес-календарю. В Россию вернулся он с репутацией чуть-чуть не якобинца, но уже в 1820 году, по словам Карамзина, «вышел из полку либералистов». Скоро он получил губернаторство в Туле.

Официальное признание Гете двором и знатью облегчило пути к нему для тех, кто хотел почтить стихами, лицезреть или посетить автора «Вертера». Знание Гете могло исчерпываться «Вертером» и «Германом и Доротеей», но для тех, кто одной ногой стоял в официозности, а другой—в литературе, Гете в 10-х годах был уже такою «persona grata», что обойти ее в своем вояже было невозможно, почти неприлично.

В этом отношении очень характерно посещение Н. И. Греча (1787—1867). Он посетил Гете в 1817 г.

В своих «Воспоминаниях юности» он называет первые полтора десятилетия XIX в. «прекраснейшим временем, каким когда-либо наслаждался свет», и одною из отличительнейших черт этого времени он считает то, что «Германия восстала после бедствий войны: науки, литература возникли в ней с новой силой; образовались новые школы, новые учения; живы были и Клопшток, и Фосс, и Шиллер, и Гердер». Гете в этом перечне отсутствует. Повидимому в тогдашних литературных сочувствиях Греча он не занимал видного места, хотя, говоря о своем приятеле Крюковском, авторе патриотической трагедии «Пожарский», Греч с сочувствием упоминает: «Клопшток, Шиллер, Гете были его обыкновенным чтением» [5]. Греч же был тогда не в отсталых фалангах литературы. Он был издателем «Сына Отечества», начатого в 1812 г. как патриотический орган, но к концу 10-х годов превратившегося в лучший русский литературный журнал с либеральным направлением. Еще по масонской ложе «Избранного Михаила» Греч был знаком и даже близок с будущими декабристами: Н. А. Бестужевым, М. К. и В. К. Кюхельбекерами, Г. С. Батенковым; в то же время к Гречу благоволили и «арзамасцы». Посылая А. Тургеневу свою статью о Вольтере, направленную против консервативного «Вестника Европы», Вяземский поручает: «Посылаю тебе сыноотечественную штуку. Прочтите ее в арзамасском ареопаге, и если она того стоит, отдайте ее Гречу» [6]. Это—обычный путь странствия либеральных статей и стихов Вяземского; путь этот пресекался частыми цензурными шлагбаумами [7]. Жуковский, Батюшков, Пушкин, Баратынский были сотрудниками «Сына Отечества». С декабристской стороны в нем участвовали Рылеев, А. и Н. Бестужевы, Кюхельбекер, Никита Муравьев, Корнилович, Батенков. Вяземскому не удалось, как предполагал он, печатать в журнале Греча польско-русские опыты конституционного законодательства, но тем не менее конституционные мотивы были в нем очень заметны. В 1818 г. пушкинский наставник проф. Куницын поместил в «Сыне Отечества» свою статью «О конституции». Один из крупнейших памятников политической мысли декабристов—«Опыт теории налогов» Н. И. Тургенева (1818), напечатанный в типографии Н. Греча,—нашел в его журнале сочувственный отклик. С 1817 г. Греч делается в России пропагандистом самой передовой системы обучения—ланкастерской, той самой, от которой чаяла стольких бед свояченица Фамусова:

И впрямь с ума сойдешь от этих от одних
От пансионов, школ, лицеев... как бишь их?
Да... от ланкарточных взаимных обучений.

Александр I недалеко ушел от этой свояченицы: когда в 1820 г. случилось известное возмущение Семеновского полка в Петербурге, он писал кн. И. Васильчикову: «Следите бдительно за Гречем и за людьми, находившимися в его школе, будь то солдаты или маленькие девочки.

Признаюсь, что я гляжу на них с тревогою... я уверен, что настоящие виновники найдутся вне полка, среди таких людей, как Греч или Каразин» [8]. Так велик был в 1820 г. у старухи Хлестовой и Александра I страх перед либерализмом Николая Ивановича Греча и его солдатскими школами взаимного обучения.

Страх можно было бы сильно поумерить, если бы Хлестова с Александром I были поприлежнее к чтению. В 1817 г. они могли бы прочесть в том же «Сыне Отечества» гречево «Обозрение литературы за 1815 и 1816 гг.»



Н. И. ГРЕЧ
Гравюра акватинтой Бушарди (Париж, 1817)
Институт Русской Литературы, Ленинград

(ч. 35, стр. 3—22, 55—67) и утешиться: гнилому Западу с его свободой предпочиталось здесь российское благополучие под попечительной опекой мудрого начальства. Это «Обозрение» вызвало атаку Н. И. Тургенева в «Арзамасе», занесенную и в его дневник: «Первое слово, вылившееся с пера его, было—цензура». Для книгопечатания Греч жаждет свободы, но лишь «благоразумной свободы». «Давно уже,—замечает Тургенев,—прямодушные люди не верят словам, сопровождаемым эпитетом благоразумия, и под благоразумным поведением разумеют тонкое, часто подлое поведение, под благоразумным человеком разумеют эгоиста, под благоразумием цензуры—благоразумие полиции. Мы не имеем нужды в очках г-на Греча» [9]. Тургенев оказался политически зорок: он нашел в молодом либерале ту главную черту—«благоразумие»,—которая так точно очертила всю личность позднейшего Греча—соратника Булгарина и издателя «Северной Пчелы». «Благоразумное поведение» Греча действительно в полной мере оказалось «подлым поведением».

Но то, что в 1817 г. было примечено Н. И. Тургеневым, оставалось не примечено в Грече ни справа, ни слева: как для Александра I, так и для

П. Вяземского,—он был «либералист». «Либералистом»—как в свадебную медовую поездку—пустился он и за границу в 1817 г. На старости лет сам Греч вспоминал про ту пору: «Я был в то время отъявленным либералом, напитавшись этого духа в краткое время пребывания моего во Франции (в 1817 г.)» [10].

Тогда же Греч попал в Германию. Он пожил и на родине Гете, но Франкфурт-на-Майне ему «не мог понравиться дипломатическим и купеческим гением своих обитателей»: он же был тогда либерал! «28 сентября 1817 г.,—рассказывает Греч,—сел я в коляску свою и пустился к востоку». Он ехал тем самым путем, каким когда-то молодой Гете направлялся из Франкфурта в Веймар.

«Около обеда приехал я в Веймар и остановился в трактире Слона. У меня было двое знакомых в этом городе: секретарь великой княгини Марии Павловны, бывший мой сослуживец Карл Иванович Отто, и Коцебу, с которым я познакомился в Петербурге в 1812 г. Принарядившись, пошел я с наемным слугою бродить по городу. Отто я не застал: он уехал в загородний дом Бельведер. У Коцебу, который был нездоров, оставил я карточку. Веймар, исключая дворец и сад великого герцога, построен довольно неправильно и некрасиво. Один только дом в два этажа, сооруженный в простом и благородном вкусе, с красивым портиком, обратил на себя мое внимание. «Это чей дом?» спросил я. «Его превосходительства господина тайного советника фон Гете!» отвечал слуга. Великий Гете—фон и тайный советник! Это дико, подумал я; но только в ушах иностранца: нет великого человека для наемных лакеев и камердинеров! Потом указали мне дом наследников Виланда: он ветх и угрожает падением. Семейство знаменитого поэта было бы в нищете, если бы не помогала ему великая герцогиня. В трактире Слона обедал я в обществе одного иенского профессора и двух молодых прусских офицеров, бывших его учеников. Беседа была занимательная и приятная, я скоро с ним познакомился: науки, искусства, литература связывают между собой людей разных наций может быть еще скорее и тверже, нежели язык связывает земляков. После обеда приказал я нанять коляску и готовился ехать в Бельведер для свидания с Оттом. Вдруг подходит ко мне молодой человек в реномистском [11] сюртуке, со снурками, в красной, обложенной галуном фуражке, с хлыстиком в руке и с пребольшой собакой. Нетрудно было узнать иенского студента, но как я удивился, когда он заговорил со мной по-русски! «Вы не узнаете меня, Н. И.?—сказал он.—Я Август Коцебу, учился в петербургской гимназии и очень вас помню. Батюшка крайне сожалеет, что сам по болезни своей не может навестить вас, и просит вас пожаловать к нему вечером». Я поблагодарил его за уведомление и пригласил ехать со мною. На коротком пути в Бельведер, не далее как от Адмиралтейства до Невского монастыря, мы раза три платили Chaussé-Geld, Thor-Geld, Brücken-Geld [12]. Отто, вовсе меня не ожидавший и даже не знавший, что я в Германии, очень мне обрадовался и поехал с нами обратно в Веймар.

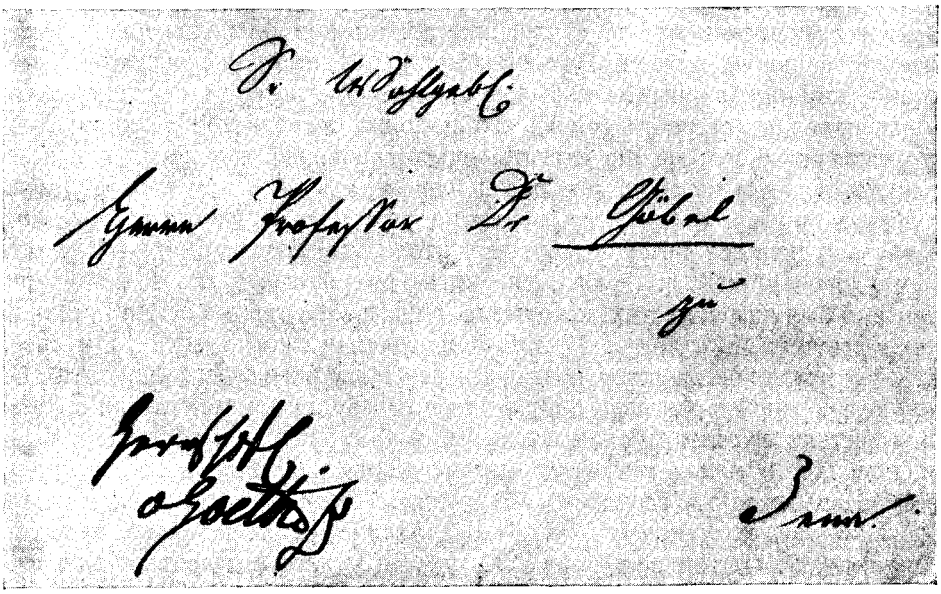
«Не пойдете ли вы к Гете?» спросил он у меня. «Нет,—отвечал я,—он меня не знает и мне не хотелось бы навязывать ему неинтересное для него знакомство, да и не знаю, как войти к такому человеку».—«Это ничего не стоит,—сказал Отто,—он меня принимает очень хорошо. Пойдемте». Случай был благоприятный. Я отправился. Внутреннее устройство дома не уступает изящной наружности. Прекрасное, смело построенное крыльцо ведет в верхний этаж, где живет Гете. Сначала сказали нам, что он не

принимает. Я отправил к нему, по совету Отто, визитную карточку, с изъявлением сожаления, что не буду иметь счастия видеть его, ибо сего же вечера должен выехать из Веймара. Визитная карточка, напечатанная великолепно у Дидота, с громким титулом почетного библиотекаря императорской библиотеки, произвела желанное действие. Слуги засуетились. В переднюю комнату вышла, чтоб позанять нас на время приготовлений к приему, женщина-автор, лет 45 отроду, как я узнал впоследствии—Иоганна Шопенгауэр, принадлежащая к числу самых ревностных почитательниц гениального Гете. Неприятным провинциальным диалектом (какой провинции, не мог я решить) беседовала она с господином Отто о приветных удовольствиях златокудрой осени, прекращающей на время полет таинственных гениев по романтическим областям воздушного мира. Вскоре пригласили нас во внутренние покои: они расположены и украшены с большим вкусом. Почтенный старец принял нас учтиво и церемонно, как придворный. Он был в простом светлосером сюртуке; покачивающаяся от старости голова его покрыта серебристой сединой; лицо его выразительное, можно сказать—прекрасное. Он пригласил нас в гостиную, посадил на софу и спросил у меня, откуда я приехал. «С Гиршграбена», сказал я (так называется та улица во Франкфурте-на-Майне, в которой родился Гете). «Итак, вы читали мою биографию?»—«С истинным удовольствием, и не раз: сперва в Петербурге, а потом во Франкфурте, и был на тех местах, которые вы описываете; тщетно искал Гретхен!» (Имя девушки, в которую Гете был влюблен в первой молодости своей и потом предал бессмертию, назвав ее именем героиню своего Фауста) [13]. Он вступил со мной в разговор о Франции и Швейцарии, рассказывал о своем путешествии по этим странам и повел в свой кабинет, где поставлена была прекрасная, в малом виде сделанная панорама швейцарских гор, подаренная ему великим герцогом веймарским. Потом расспрашивал о петербургских своих знакомых—Н. М. Карамзине, С. С. Уварове, генерале Клингере. Г. Отто в разговоре осведомился у него о здоровьи сына его, человека лет 25. «Не поэт ли он?» спросил я у Гете. «Нет,—отвечал улыбаясь почтенный старец.—Он натура практическая!» [14] Побеседовав с ним около часу, мы расстались. Я искренне благодарил доброго Отто за это знакомство: черты лица великого поэта никогда не изгладятся из моей памяти. Я не принадлежу к числу заветных его чтителей; признаюсь, что не вижу в Фаусте того, что видят другие, что не понимаю величия Вильгельма Мейстера; но в то же время не знаю ничего превосходнее его элегий, его Вертера!» [15]

Оказывается, Греч в 1817 г. читал Гете много больше других русских читателей: ему известны и «Ученические годы Вильгельма Мейстера», и «Фауст», и автобиография, но все это ему достаточно чуждо. Понятен ему Гете песен и «Вертера». Греч—это типичный читатель из служилой бюргерски-дворянской прослойки: ему доступно то самое в Гете, к чему лежало сердце такого же немецкого читателя. Но слава Гете была так уже велика и даже громоздка, что Греч, которому не нужен был «Фауст», не мог обойтись без визита к Гете и почел себя счастливым от приема знаменитым писателем. Беседа была в достаточной степени принужденна, но учтива, любезна, благосклонна. Крайне любопытна история приема. Греча повез к Гете—с некоторым маленьким понуждением—официальный русский чиновник при веймарском дворе—статский советник Отто, и на смущение Греча, как бы не обеспокоить Гете посещением, он с само-

уверенностью, граничащею с нахальством, ответил: «Это ничего не стоит».

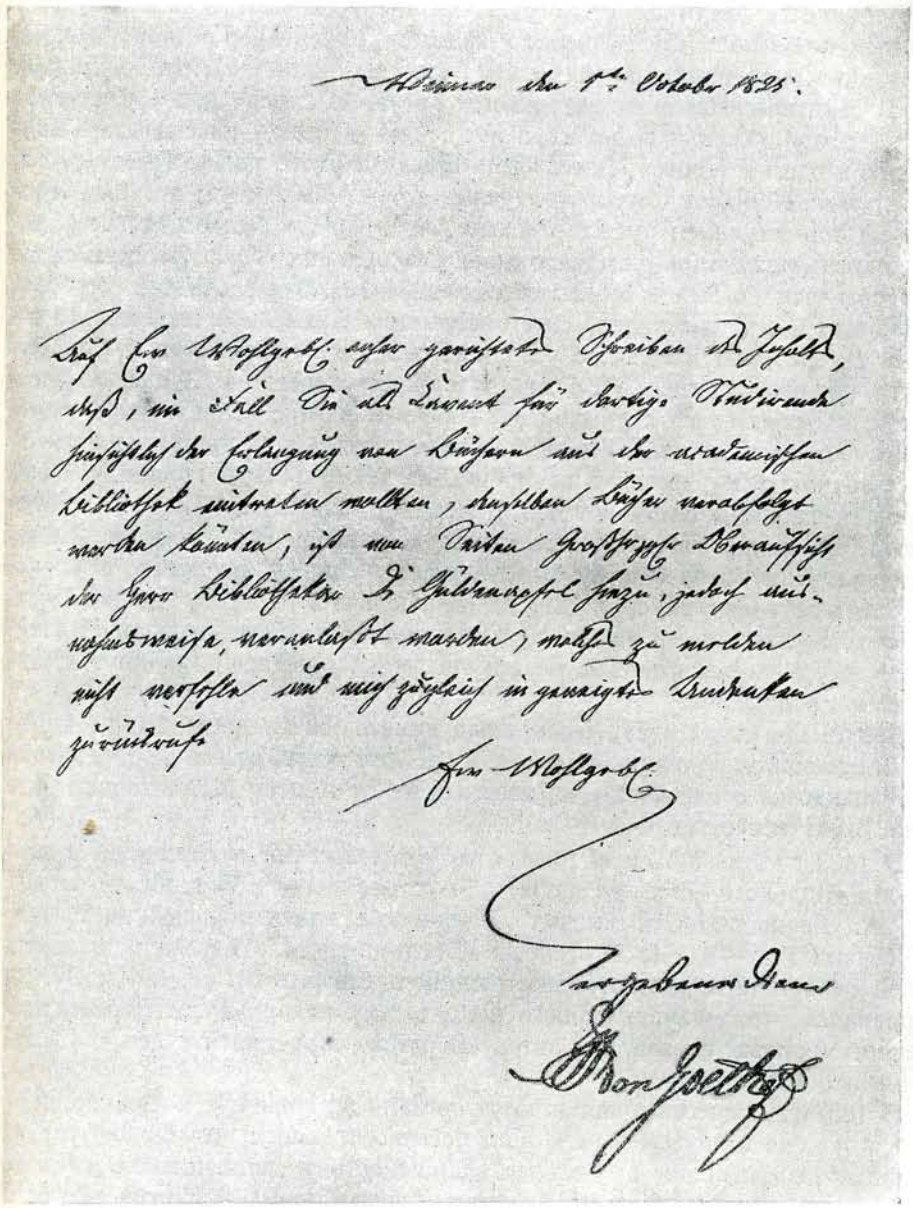
Секретарь Марии Павловны, ведавший ее финансовыми делами, принимавший от Гете отчеты и счета по его учреждениям, содержимым на ее средства, он считал жилище и время Гете в полном своем распоряжении. Однако лакей русско-веймарской Марии Павловны слишком понадеялся на свое право камердинера. Гете отказал в приеме. Из рассказа Греча следует, будто его ничего не значащий бумажный «титул» «почетного библиотекаря императорской библиотеки» открыл ему доступ к великому писателю. Можно счесть это за хвастовство. Но это правда. Вот что вписал



Надпись на обороте письма Августа Гете к профессору К. Х. Гебелю от 1 октября 1825 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

Гете в свой дневник 7 октября об этом посещении: «Вечером советник Отто с одним проезжим петербуржцем. Греч, Bibliothècaire d'honneur». Гете внес в запись «титул» Греча по-французски, взяв его прямо с визитной карточки [16]. Чинопочитание, уважение ко всем степеням (даже чисто декоративным) бюрократического иерархизма, особенно веймарского и русского, было такою социальною добродетелью или, на другой взгляд, болезнью Гете, что пустому «чину» Греча он тотчас же поспешил отворить двери своего дома.

Чтобы занять столь официозного гостя до прихода хозяина, очевидно застигнутого в домашнем виде, был выслан в гостиную друг дома—«женщина-автор лет 45». Это была мать знаменитого философа, Иоганна-Генриетта Шопенгауэр (рожд. Трозинер, 1766—1838), с 1806 г. поселившаяся в Веймаре и действительно принадлежавшая к кругу людей, близких к Гете, и особенно к его невестке Оттилии, с которой была на «ты». Она была видная романистка с широким кругом читателей, еще при жизни дождавшаяся полного собрания сочинений (Sämtliche Schriften, 24 тома 1830—1831 гг. Лейпциг—Франкфурт), что не представляет редкости в наше



Автограф письма Августа Гете к профессору К. Х. Гебелю от 1 октября 1825 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

время, но что встречалось очень редко в ту эпоху. Иоганна была женщина большого ума и характера, в общении с которой находили удовольствие поэты и художники—Виланд, Тик, Зах. Вернер, Кюгельген, Шадов. В Веймаре ее гостиная была одним из центров умственного и художественного общения. Греч отнесся к Иоганне Шопенгауэр с явной иронией.

Предмет предварительной беседы был поэтико-сентиментальный. Он мало заинтересовал положительного Греча [17]. Отвел душу в Веймаре он не с этой дамой и не с Гете, а вот с кем. «Потом,—рассказывает он,—пошел я один к Коцебу. Здесь была беседа другого рода». Греч был знаком с Авг. Коцебу в Петербурге, перевел его «Леонтину»; по этому переводу автор выучился русскому языку. Авг. Коцебу был отцом бесчисленного числа романов и драм, настолько наводнивших собою русскую сцену, что создался особый термин «коцебятина». Карамзин, Андрей Тургенев, Жуковский, как мы знаем, свое знакомство с немецкой литературой начали с увлечения Коцебу, с усердных переводов «коцебятины». Это был театр нарождающегося в России и торжествующего на Западе «бюргерства», изгнавшего со сцены богов, героев и царей, позволивший новому классу смеяться, как привык он смеяться, плакать, как привык он плакать: достаточно грубо, достаточно упрощенно, но здорово и громко. Громкие слезы и громкий смех—вот театр Коцебу, вызывавший насмешки Гете-поэта, но и требовавший постоянных постановок Гете-режиссера и директора. Для Греча Коцебу был писатель по плечу, по мерке, по вкусу. Его литературные вкусы в 1817 г. были как раз те, что у Андрея Тургенева и Жуковского на двадцать лет раньше: из Гете—только «Вертер», из Коцебу—целый годовой репертуар драм и годовой же круг чтения романов и повестей.

Беседа Греча с Коцебу была, надо думать, очень жива. Жаль, что он не рассказал о ней подробно, а еще пуще того жаль, что он не остановился на «анекдотах о Германии», слышанных им от Коцебу, дни которого тогда уже были отмерены [18].

В 1823 г. Греч читал «Отрывок из воспоминаний о Германии» в заседании «Вольного общества любителей словесности» в Петербурге, в зале Д. А. Державиной, и вызвал иронические замечания действительного любителя Гете—А. И. Тургенева: «Воспоминания о Германии в памяти моей не остались, хотя путешественник и говорил о Гете и Коцебу. Но признался, что «Фауст» первого никогда ему не нравился. Впрочем, потешил Уварова, сказав, что автор «Вертера» справлялся о нем, о Карамзине и о Клингере» [19].

В 1837 г. Греч совершил вторую поездку за границу. В Веймар он не заглянул, но в другом городе Гете побывал и нашел, что Франкфурт «во многом переменился к лучшему. Опрятность и миловидность главных частей его удивительны. Как приятна глазам улица Гиршграбен (место рождения Гете), в которой помещается картинная галлерея!» [20]

В следующую же заграничную поездку—в 1844 г.—Гречу было не до Веймара: он явился в Париж официальным адвокатом Николая I против книги Кюстина, а русские и полурусские дамы получили визитные карточки: «M-r Gretch, premier espion de sa Majesté l'Empereur de la Russie» [21] (Господин Греч, первый шпион Его Величества Императора Всероссийского).

В 1818 г., в самом начале июня, в Веймар заглянули, совершая заграничный вояж, два «арзамасца»—«Кассандра»—Д. Н. Блудов (1785—1864) и «Ивиков Журавль»—Ф. Ф. Вигель (1786—1856). Это были арзамасцы

уже без «Арзамаса». Этот веселый и остроумный кружок дворян-карамзинистов, стилистических нововеров из придворно-служилых и усадебно-литературных кругов, собрался впервые в октябре 1815 г., года два прооствоумничал, прошутил с шумом и весельем, наплодив целую литературу шуток и эпиграмм, но не выдержал напора новых преддекабрьских запросов и настроений, родившихся в той же социальной среде, не пошел за Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым, звавшими его на декабрьскую дорогу, и, исчерпав свое полемико-литературное содержание, в 1818 г. «тихо, неприметно заснул вечным сном» [22]. Блудов и Вигель занимали в «Арзамасе» особое место. Памфлет первого «Видение в какой-то ограде» явился первым толчком к основанию «Арзамаса», направленного против «Беседы» адмирала А. С. Шишкова: в кругу арзамасцев у Блудова была слава безошибочного судьи всего изящного (впрочем отрицаемая Пушкиным). У Вигеля была репутация остроумца с проперченным словом. Немецкая литературная струя вливалась в «Арзамас» через Жуковского. Эта немецкая струя в литературных сочувствиях была гораздо сильнее у Вигеля, чем у Блудова, тяготевшего к французскому XVII и XVIII вв. Даже прозвище Вигеля—«Ивиков Журавль»—было взято из заглавия баллады Шиллера, переведенной Жуковским. Еще до 1812 г. Вигель был усердным посетителем немецкого театра в Петербурге и стыдил петербургское общество за пренебрежение к нему: «Три четверти петербургской публики из одних афишек только знали, что дают на немецком театре; а чего на нем не давали? Число драматических писателей в последнее двадцатипятилетие в Германии чрезвычайно расплодилось, и каждый из них был отменно плодовит... И все это у нас играли... Источник такого богатства был у нас под носом, и никто не думал черпать из него; никто не спешил ознакомиться с гениальными творениями Лессинга, Шиллера и Гете. Таков был век. Мы, вслед за французами, почитали аристотелево правило о трех единствах на сцене нашею драматическою верою, тогда как в творческой гордости своей немцы совершенно пренебрегали им. Французы, наши наставники, приучили нас видеть в немцах одно смешное, а мы насчет сих последних охотно разделяли мнение их... В хорошем обществе кто бы осмелился быть защитником немецкой литературы, немецкого театра? Сами молодые немцы, в нем отлично принятые, Палены, Бенкендорфы, Шепинги, если не образом мыслей, то манерами были еще более французы, чем мы... Названия играемых трагедий или драм—«Минна фон Барнгельм», «Гец фон Берлихинген», «Доктор Фауст»—казались уродливы, чудовищны. И что это за Мефистофель? И как можно чорта пустить на сцену? Это то же, что пьяного сапожника представить в гостиную знатной модницы. Все это казалось неприличием, отвратительною неблагопристойностью» [23]. 1813 год, переселив на время этих критиков немецкого театра в Германию, заставил их, как видно на примере другого арзамасца—«Ахилла» Батюшкова, пересмотреть свой приговор: именно трагедии Шиллера и др. на веймарской сцене и вызвали его похвальный отзыв. Вигель приехал в Веймар с редким для русского зрителя знакомством с театром Лессинга-Шиллера-Гете. Во время пребывания Вигеля и Блудова Гете не было в Веймаре, но была Мария Павловна, и Вигель нарисовал достаточно сочными красками, разведенными впрочем на елее благонамеренной лести, картину русской придворной полувотчины.

«Имя Веймара известно всем состояниям в России, везде произносится оно в ней с любовью и почтением, в этом городе более тридцати лет живет...»

Гете?—Нет: «...великая княгиня, еще более русская по сердцу и по чувствам, чем по имени. Покоряясь судьбе, живет она вдали от России, которая осталась ее любимой мечтой. Она часто осуществляется перед нею проезжими русскими; все они смело идут к ней на поклонение. Блудовы обязаны были явиться к Марии Павловне... Мне же хотелось и можно бы было, и даже следовало ей представиться; да со мной мундира не было. Но и в этом случае какой церемониал соблюдается при маленьком дворе! С почтением и за советами пошли мы с Блудовым к находившемуся там кн. А. Б. Куракину [24]. Он остановился в Веймаре на все лето, в ожидании прибытия осенью вдовствующей императрицы, которая в старости последний раз хотела еще взглянуть на родину. Достопочтенный старец... рассказал, как поступить в деле представления. В тот же день великая княгиня прислала придворную карету свою за Анной Андреевной (женой Блудова.—*С. Д.*), приняла ее у себя просто и предложила ложу свою в театр. Не имея права вступить в нее, я пошел в него за свои деньги, нашел, что очень хорош, но что играли в нем, пусть не спрашивают: совестно сказать, не помню. Это точно непростительно: Веймар почитался немецкими Афинами; Шиллер, Гете, Виланд, Гердер долго жили в сем городке под покровительством старой герцогини Луизы; следственно и на сцене кроме изящного ничего быть не могло. Поименованных писателей не было уже на свете; один Гете был жив, и тот находился в отсутствии. Чиновник посольства или поверенный в делах Струве предложил Блудову итти осматривать его жилище; я не сопровождал их: такая набожность к знаменитости в моем мнении не столь высокой, еще живой, чужеземной, показалась мне непонятною и неумеренною.

Наши путешественники очень хорошо знают теперь, что все эти немецкие великокняжеские резиденции точно то же, ни более, ни менее, чем *загородние увеселительные места наших царей*. *Народонаселением и тогда* Веймар был богаче Царского села, но пространством и наполовину не мог с ним сравняться. Из наших комнат в гостинице Слона, на площади в середине города, везде не в дальнем расстоянии можно было видеть выезд из него: дома были тесно между собою построены, но не высоки и не красивы».

В дворцовом парке Вигель «видел продолговатую без купола греко-российскую церковь нашу, и на другой день, который был воскресенье, я пошел в нее. Более всего хотелось мне взглянуть на великую княгиню. Во время обедни обыкновенно замечала она все новые лица, после того расспрашивала о них и подзывала к себе. Я не намерен был представляться и старался так стать, чтобы мне ее хорошо, а ей меня совсем не видать было. Из малого числа присутствовавших приметил я только одну, мне после столь знакомую, княгиню Мещерскую, которая два года как тут поселилась: это была Катерина Ивановна, жена синодального обер-прокурора, сестра министра Чернышева и мать русско-французского писателя князя Элима. После обедни Блудовы переоделись, нарядились и поехали представляться к великогерцогскому двору, после чего получили приглашение к обеду. По возвращении их я с любопытством обо всем расспрашивал, и мне не отказано было в удовлетворении. Королевские повадки герцогини Луизы, подобострастие придворных, коим умела она окружить себя, и по заочности мне понравились; жаль только, что не на более возвышенной сцене поставлена она была. Сестры ее, русская Наталия Алексеевна (первая жена Павла I.—*С. Д.*), прусская вдовству-

ющая королева, уже покойная, и маркграфиня Баденская, мать императрицы Елизаветы Алексеевны, так же, как и она, на самом краю поддерживали еще величие владетельных особ, когда в целой Европе готово оно было рушиться. После изображения свекрови приятно мне было слышать о любезности невестки, не менее исполненной достоинства, также о похвалах, которые невольно расточала она отечеству своему, даже блеску и белизне наших снегов. О их мужьях упомянуто было мало; впрочем известно, что один был старый почтенный воин времен Фридриха, а ныне царствующий сын и наследник его—предобрейший простяк» [25].

В рассказе Вигеля нет Гете, но страница, посвященная этому рассказу, должна быть в работе о русских отношениях Гете: редко кому из русских писателей удавалось с такой прочностью перекинуть мост между Веймаром и Царским селом:

Своя провинция! в отечестве с друзьями!

В столице Марии Павловны—все, как у императрицы-maman в Павловске, вплоть до православной церкви в парке, вплоть до кн. Куракина, будто в Гатчине дожидающегося приезда царицы, вплоть до постоянной веймарской жительницы кн. Мещерской, воспитывающей сынка в павловско-веймарских придворных преданиях, вплоть до этикета, который, вопреки ожиданиям Вигеля, в веймарском микро-дворе оказался столь щепетильно-чопорным, что—к явной досаде честолюбивого и ласкательного Филиппа Филипповича—ему так и не пришлось «представиться» Марии Павловне, ни даже посидеть в ее ложе. Вигель всегда едок: это его полудостоинство-полунедостаток как автора «Записок» в набросанной им веймарской идиллии является просто достоинством. О герцогинях он льстиво распространился (благо все они оказались родственницами Павлу I и его сыновьям), а о герцогах он выразился кратко, но крепко: прославленнейший гетеанцами всех калибров и времен Карл-Август оказался у него просто прусским воякой фридриховских времен, а Карл-Фридрих, муж Марии Павловны, и того проще—«предобрейшим простяком». Это—великолепный по точности перевод той «сердечной доброты», которую Гете учтиво разыскивал в этом умственно-ограниченном князьке.

В рассказе Вигеля есть и еще один ценный штрих, с постоянством повторяющийся во всех дальнейших русских посещениях Гете: русский «поверенный в делах» с величайшей готовностью вызывается быть гидом по дому Гете, он даже понуждает русских приезжих к этому посещению. В его глазах это такая же их обязанность, как посетить Марию Павловну. У русских «поверенных в делах», сколько их ни было при жизни Гете, это—верное чувство: кто и что же в Европе было в первой четверти века примечательнее Гете и его жилища, «властителя дум»? И в то же время ничего не могло быть поучительнее для русских литераторов, чем посещение дома величайшего, но и благонамереннейшего из верноподданных микроскопического Карла-Августа.

У Вигеля была и осталась слава злеца. Таким он были в Веймаре. Он—единственный из русских туристов начала XIX в., который сознательно не переступил порога гетева дома. В этом отношении Вигель выпадает из общего потока. В конце 10-х годов Гете был уже необъезжаемою достопримечательностью даже для тех, кто—искренне или неискренне—не чувствовал к нему особого влечения как к писателю.

Официальная прижизненная канонизация Гете в лике «благонамеренных», посмертно лучше всего выраженная Элимом Мещерским, толкала к нему всех, кто хотел и на себя обратить хоть один лучик литературной славы или придворно-министерской благонамеренности Гете.

Слава Гете в двух своих аспектах захватила наконец и самого знаменитого—с конца!—из русских поэтов—графа Дмитрия Ивановича Хвостова. Можно набрать целый том анекдотических, полуанекдотических и вовсе не анекдотических сказаний о том, как он искал себе читателей и каким ревностным был самому себе издателем, книгопродавцем, комиссионером и покупателем. Нет ни одной книги по русской литературе начала XIX ст., ни одних мемуаров этой эпохи без страницы, полустраницы, строки об этом искателе читателей и снабдителе своими стихами всего грамотного и полуграмотного Петербурга—от императрицы до приказчика книжной лавки. Но пределы самораспространительства графа Хвостова оказывается были еще шире.

Вот что читаем в дневнике Гете от 18 апреля 1819 г.: «Отдал Веллеру, вместе с распоряжениями, книги для академической библиотеки, как то: «Поэтические сочинения» («Die Poëtischen Werke») графа Хвостова, 4 тома 8° и «Trattato del Circolo» графа Томасси, 1 том 4°» [26].

«Академическая библиотека»—это библиотека Иенского университета, а приобретение, которое она удостоилась получить из рук Гете,—это «Полное собрание стихотворений гр. Хвостова» в четырех частях, изданное им в 1817—1818 гг. Неизвестно, сам ли великий самораспространитель своей поэтической славы прислал Гете свои творения, или кто-нибудь оказал ему эту услугу, но только они были в руках великого писателя. Имя Хвостова сделалось известно Гете раньше имен Жуковского, Батюшкова, Пушкина.

Хвостову этого было мало: его томы были на русском языке, а Гете по-русски не знал, и Хвостов решил притти ему на помощь в деле ознакомления со своею музою. У него был сын Александр (1796—1870)—«пакостнейшее творение графа Дмитрия Ивановича Хвостова», по определению Вяземского, и этот сын в 1822 г. отправлялся служить при саксонском дворе. По приказу отца он посетил в Веймаре Гете, и когда Хвостов получил от сына письмо об этом посещении, он послал Гете свои стихи в немецком переводе при следующем письме на дурном французском языке:

«Милостивый государь! Заслуженная слава Ваших бессмертных творений и благосклонность, которую изволили Вы засвидетельствовать моему сыну, графу Александру Хвостову, камер-юнкеру русского двора, во время его пребывания в Веймаре с его превосходительством г. Ханыковым, при коем находится он в Дрездене в качестве кавалера посольства, побуждают меня засвидетельствовать Вам по этому случаю совершенную признательность и просить Вас принять несколько экземпляров последних моих произведений. Так как я не имею счастья читать Ваши ученые произведения в оригинале, ибо не владею немецким языком, то и просил я славного г-на Раупаха перевести мои стихи на Ваш язык. Перевод, как меня уверяют, очень хорош и в то же время верен. Я буду счастлив, М. Г., если Вы удостоите принять несколько цветков семидесятилетней северной музы, имею честь быть с совершенным почтением Ваш послушный слуга гр. Хвостов» [27].

Хвостов выбрал себе действительно первоклассного переводчика: это был известный немецкий драматург Эрнст-Вениамин Раупах (1784—1852). С 1804 г. он жил в России: в 1816—1818 гг. был профессором немецкой



ПУШКИН и Д. И. ХВОСТОВ
Карикатура неизвестного художника из альбома И. И. Челищева (Петербург, 1830—1831)
Институт Русской Литературы, Ленинград

литературы в Главном педагогическом институте и с 1819 г. читал всеобщую историю в Петербургском университете, откуда был в 1823 г. изгнан Магницким по внушению мистико-реакционной клики. Один из видных немецких драматургов 1810—1820 гг., он хорошо знал русский язык и историю. Немногие из русских поэтов имели такого прекрасного переводчика-поэта, какого получил Хвостов для своих виршей. Но что-нибудь из двух: если перевод был «очень хорош», тогда конечно он был не верен: и Гете, вместо виршей Хвостова, читал стихи Раупаха; если же он был действительно «верен», то он не мог быть «хорош»: тогда Гете действительно читал стихотворения Хвостова.

Визит Хвостова-сынка не отмечен в дневнике Гете.

Гр. Д. И. Хвостов и в дальнейшем не лишал Гете удовольствия знакомиться с творениями своей плодовитой музы.

В 1822 г. он сложил оду «На прибытие великой княгини Марии Павловны 1822 г., ноября 26 дня». В ней он не отстал от других: воспел всю веймарско-музо-придворную идиллию и—признаться ли?—воспел ее не хуже, или немногим хуже других:

К нам гостья с Ильмы берегов
Ведет утехи за собою,
Средь бурь зефиры ей зимою
Пути готовят из цветов.

Это—интродукция, а вот обращение к Марии Павловне:

В лавровых рощах обитаешь,
Где Муз германских славный сад,
Где солнце изливает рано
Свой чистый благодатный луч
. . . . . .

Чудесных в мире соловьев
В Веймаре часто ты слыхала
И нежный слух свой услаждала
Бессмертным голосом певцов.
Я, севера поэт, могу ли петь зимою,
Пусть наши соловьи поют тебе весною.
Благодаренья дань неся к твоим стопам,
Не смею вслед итти я веймарским певцам.

Скромно. Очень скромно. Еще скромнее—два авторских примечания к стихотворению:

1) «Стихи на прибытие вел. кн. Марии Павловны были сочинены и напечатаны с переводом на немецкий язык известного поэта, бывшего тогда здесь профессором, Раупаха в конце 1822 г. и напечатаны в «Соревнователе» и особливою книжкою.

2) Автор российских стихов, не зная по-немецки, не может к сожалению достойно похвалить знаменитых Шиллера, Гете и других; но по славе сих писателей и по переводам, которые он имел случайность видеть, отдает полную справедливость превосходным дарованиям великих мужей»[28]. Этот раупаховский перевод стихов к Марии Павловне «особливою книжкою»: «Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Grossfürstin Maria Pawlowna, Erbgrossherzogin von Weimar, bei Ihrer Ankunft in Petersburg. S.-Petersb. 1822» доныне хранится в библиотеках Гете.

Скромное знакомство с «превосходными дарованиями» Гете не помешало Хвостову озаботиться и на этот раз, чтобы и Гете дана была возможность хоть скромного знакомства с лирой графа: для чего было заказывать Раупаху немецкий перевод стихов к Марии Павловне, как не для того, чтобы стихи были прочтены в Веймаре при двух дворах: герцогском и гетевском?

В 1824 г. Хвостов дал такой «Совет юным питомцам муз» (послание 1-е):

Какой является богатый сад, священный
Среди различных стран Европы просвещенной.
Там выше звезд сокол, там соловей в лесах,
Тоскует горлица о друге на кустах,
Поют пернатые согласным духом, хором,
Величие Творца вселенной перед взором,
Там Попе, Камоэнс, Торквато и Мильтон,
Там Гете с Шиллером, там Галлер и Байрон,—
Все вдохновенные небесной свыше силой,
Свой разливая огнь, поют и за могилой [29].

«Юным питомцам муз» граф предоставлял выбирать между «соколом» и «горлицей»—«Попе» и «Гете».

В том же 1824 г. Хвостов воспел известное петербургское наводнение.

И Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов—

иронизировал Пушкин.

Но и у книг есть не только своя судьба, но и своя ирония: сочинений Пушкина Гете не читал, а вот «Наводнение» Хвостова в его библиотеке

хранится и поныне: «Epistel an N. N. über die Überschwemmung Petersburgs am 7 November 1824. Von Grafen Chwostow. St. Petersburg. 1825».

И по смерти Гете Хвостов потревожил его своими стихами, написав обращение к «Славному германскому поэту Гете, скончавшемуся в марте месяце 1832 г. в г. Веймаре».

С богатым вымыслом, с природой неразлучный,
О Гете, голос твой прелестный, нежный, звучный
Умолк и перестал вселенну восхищать!
Умолкли на горах гремящие перуны,
Вдруг лиры золотой окаменели струны,—
К ним приложила смерть безмолвия печать!
Увы! Сокрылся бард в обитель привидений.
Но Гете жив, он жив—не умирает гений [30].

Самый энергичный из русских поэтов добился своего: Гете читал графа Д. И. Хвостова раньше всех других русских поэтов, и читал в переводе, принадлежащем прекрасному немецкому поэту. Это—один из курьезов истории русской и немецкой литературы, но и он не без смысла: он хороший показатель того, как в начале 20-х годов высоко стояла в России слава Гете: не знавший по-немецки Хвостов для собственной известности заставил Гете читать свои стихи и родительской властью командировал к нему сына. В предисловии к V тому «Собрания сочинений», изданному в 1830 г., Хвостов имел некоторое право похвастаться: «Что касается достоинства издаваемых мною стихотворений... некоторые из них заслужили похвалу на Парнассе германском и французском» [31].

Есть случай, когда мнением Гете определялась вся судьба поэтического дарования.

Я говорю об Елисавете Кульман (1808—1825)—о поэте с самой странной биографией и судьбой. Она никому у нас теперь неизвестна, кроме немногих специалистов по александровской литературной эпохе, но в 1820—1830 гг. у нее была вспыхнувшая бенгальским огнем слава чуть ли не гения. Российская Академия в 1832 г. издала ее «Пиитические опыты» в трех томах, а в 1839 г. повторила в более полном виде «Полное собрание русских, немецких и итальянских стихотворений Елисаветы Кульман» в четырех томах. Ей посвящал стихи Кюхельбекер; А. Тимофеев написал пьесу из ее жизни под названием «Фантазия» (1835 г.). Она пользовалась славою классика в немецкой литературе [32]: меньше чем в двадцать лет после ее смерти полное собрание ее немецких стихотворений выдержало пять изданий. Появлялись (с 1847 г.) и издания ее итальянских стихотворений в Италии, где она также приобрела репутацию, близкую к званью классика. Русские издания, предпринятые Академией, ясно исходили из той же веры в «классицизм» Е. Кульман. Вера эта оказалась посрамленной: русскую Елисавету Кульман ждало полное забвение.

В этой девушке из русско-немецкого семейства были черты исключительной одаренности. Формальный итог проявлений этой одаренности беспримерен: на ее памятнике (она умерла 17 лет от чахотки) значилось полатыни: «Первая русская, учившаяся по-гречески, знавшая одиннадцать языков, говорившая на восьми, и, несмотря на юные годы свои, была отличною писательницей» [33]. Одиннадцать языков, усвоенных в 17 лет жизни! Это обещало второго полиглота Меццофанти. Она писала оригинальные стихи на трех языках. «Тринадцати лет она уже перевела Анакреона в прозе

на пяти языках, а белыми стихами—на трех любимых его языках: русском, немецком и итальянском » [34]. Это известие, сообщаемое ее наставником и биографом, немецким педагогом Карлом Гроссгейнрихом, поразительно, но не тем, что 13-летняя девочка из русско-немецкой офицерской семьи переводит Анакреона. Ее родными языками были русский и немецкий: оба знала ее мать. На каком же языке стала она сочинять? Она пыталась писать по-русски, но «наставник Елисаветы (Гроссгейнрих говорит о себе в третьем лице), не будучи в то время столь сведущ в русском языке, чтобы судить о слоге в ее сочинениях, попросил ее сначала писать по-немецки, так как для нее все равно было, на каком бы из обоих языков она ни писала» [35]. Чудовищное признание! Наставник ломал естественный росток поэтического дарования девочки Кульман и продолжал это делать до конца. Он воспитывал в ней филолого-поэтического вундеркинда, и воспитал: Анакреон на пяти языках понадобился конечно только для этого вундеркиндовского шика. Таких опытов с Е. Кульман педант Гроссгейнрих проделал множество. Об иных из них нельзя слышать без негодования. Девочка начала писать по его воле немецкие стихи, но начала их по-своему: без рифм, как бы стихийно выходя на дорогу «белых» и свободных стихов Гете и Шиллера и на близкие ей темы из мира природы. «Наставник» заставил ее писать с рифмами. Изумителен по педантизму выбор писателей, коим руководствовал Елисавету «наставник»: Маттисон, Геснер, Галлер, Клопшток, и ни звука из Шиллера и Гете. Он признавал Гете «для себя», но в ученьи и преподавании у него—«Клопштоки», точь в точь как у русских «профессоров-школяров» (выражение Гоголя) 20-х гг.: Пушкин—«про себя», а Державин и Ломоносов—для учеников. Когда наставник «позволил» наконец Кульман писать русские стихи, он задавал ей поистине чудовищные задачи: это «профессор-школяр» Победоносцев воспитывал Лермонтова. Он ей приказал воскресить древнегреческую поэтессу Коринну, от которой не осталось ни одного стиха, и бедная девочка до того «окориннилась» в лжеэллинизме, что даже похвалялась: «Со временем в Беотии не останется уголка, которого я не означила бы в сочинениях Коринны» [36]. Она сочиняла по географической карте. Под влиянием «наставника» она «пожелала подарить отечеству три эпопеи, а именно: Владимира, Иоанна, покорителя Казани, и Петра Великого», при чем в ее «воображении герои времен Владимира и покорения Казани представлялись гораздо величественнее, нежели в эпопеях Хераскова» [37]. В 1824 г. бедная девушка мечтала соперничать с «Россиадой» и «Петридой», принялась перекладывать Киршу Данилова в вирши, которыми умиляла «наставника»:

Жил Богуслай могучий
В Новограде великом
Лет девяносто девять,
И умер в день рожденья
К печали величайшей
Живущих в многолюдном
Первопрестольном граде
Всея земли славянской, и т. д.

Русские стихи Кульман — это не право ее на звание «классика», а право ее учителя на позорное звание педанта—губителя дарований. Можно легко понять, почему Российская академия, возглавляемая дряхлым

адмиралом Шишковым, с такой охотой издавала «творения девицы Кульман»: от русских ее стихов пахнет затхлым запахом «Беседы любителей русского слова».

И тем не менее в девочке был огонек настоящего поэтического дарования. В русских стихах ее он завален грудой хлама, наваленного ее «наставником», или почти задушен нарочитостью «задания», как в ее «Стихотворениях Коринны». В немецких стихах, с которых она начала, и в итальянских, которые она выпевала на языке, ею особенно любимом за его музыкальность, этот огонек—сколько ни дует на него тупой «наставник», горит. Ее стихи всегда вызывают на языке два «если бы»: если бы не встречать ей на своем пути тупого «наставника» и не быть вундеркиндом и если бы пожить ей подольше!

«Полное собрание сочинений Е. Кульман» (в особенности в его русской части)—одна из самых необычных книг в истории литературы. Но поэтическая одаренность Е. Кульман, ее бескорыстная и трогательная любовь к поэзии, ее страстное, поистине исключительное влечение к ней—вне всякого сомнения. Однако мать ее «обращала мысли Елисаветы на необходимость приискать занятие, которым бы она могла со временем снискивать себе необходимый кусок хлеба,—рассказывает Гроссгейнрих.—Елисавета была рождена для искусства, и, несмотря на то, мать ее считала обязанностью твердить ей только о способах снискания себе необходимого в жизни». «Наставник» решил бороться с этим внушением, но так, чтобы убедить и мать в том, что сила поэтического дарования Елисаветы так велика, что оно должно быть ее жизненным призванием. Боясь «безусловно объявлять, что Елизавета рождена быть поэтом», он желал «спросить совета у других и для того обратился к посредникам, которые казались ему непогрешительными». Этот «непогрешимый» был Гете. (Вторым был Жан-Поль Рихтер.) Выбор нас не должен удивлять: как педант не пользуясь Гете в школьном научении, Гроссгейнрих склонялся перед его громоздким авторитетом, обязательным для всех в Германии и в России. Гете предстояло решить поэтическую и жизненную судьбу неизвестной ему девочки из петербургского захолустья. «Один из товарищей его («наставника».—*С.Д.*) находился в то время врачем в Веймаре и по семейным связям был вхож к Гете. Наставник, просмотрев все написанные в то время немецкие стихотворения Елисаветы, выбрал из них тридцать, отличавшихся содержанием или отделкою, присовокупил к ним шесть итальянских и четыре французских, составил из всего род альбома и отослал к своему приятелю с просьбою показать Гете». Ответ Гете, скоро пришедший, Гроссгейнрих огласил в виде сюрприза на именинах девушки в присутствии ее матери, родственников и гостей.

«Я исполнил твое поручение в точности,—писал ему веймарский приятель.—Когда, с известною тетрадью в кармане, в первый раз пришел к Гете, он был занят, и я мог только засвидетельствовать ему свое почтение и тотчас же удалился. При выходе моем подошел ко мне пожилой слуга и сказал: «Если у вас есть какая-нибудь надобность или дело, то приходите часом раньше, тогда барин мой для отдыха прохаживается по комнате». Я пришел в другой раз через три дня; старый слуга, который верно поджидал меня, тотчас пошел доложить обо мне и, возвращаясь, сказал: «В добрый час, сударь».

Гете был очень весел, и я не медля приступил к делу. Вместо введения я слово в слово пересказал все то, что ты писал ко мне о твоей удивитель-

ной ученице, а между тем вынул из кармана рукопись и подал Гете, который взял ее с улыбкой. Он бегло просмотрел всю тетрадь не читая, потом отдал ее мне и, садясь и меня пригласив сесть возле себя, сказал:

— Пожалуйста, читайте вслух!

Читая, я несколько раз украдкой на него поглядывал, чтобы видеть выражение лица. Он очень внимательно слушал и по временам делал маленькое движение губами в местах, которые поражали его, как мне показалось. Потом к этим движениям присоединилась улыбка, которая часто долго не сходила у него с лица. При чтении «Журавля» у него вырвалось полувосклицание, но без слов; когда я читал «Поток», он слушал с напряженным вниманием, и тут, когда я кончил, он сказал: «Смело придумано!» После «Пещеры» он вскричал: «Превосходно!», взял у меня тетрадь и сам стал читать. «Молния» заслужила всю его похвалу, кивание головы и повторенное восклицание: «Превосходно!»

Теперь очередь пришла итальянским стихам. Он прочел их громким голосом и с особенным ударением. «Сколько лет сочинительнице?»—«Тринадцать», отвечал я. «Жаль, что она бедна,—сказал он с чувством,—а может быть и это ей полезно!» После некоторого молчания: «Есть и французские стихи?» Первые три стихотворения он прочел про себя, последнее громко.

Тогда, обратившись ко мне, он сказал: «Объявите молодой писательнице от моего имени, от имени Гете, что я пророчу ей со временем почетное место в литературе, на каком бы из известных ей языков она ни вздумала писать».

Тут голос Елисаветы, не раз изменявшийся во время чтения, был прерван ручьем слез: она зарыдала... Она ощущала смесь радости с печалью; радость о том, что ее талант был признан и заслужил похвалы первого поэта Европы, и печаль об очевидной невозможности посвятить себя исключительно поэзии.

Но под влиянием отзыва Гете мать воскликнула: «Как будто вдохновением с неба приходит мне мысль, которая устраняет все затруднения. Для снискания себе пропитания приготовляйся к званию воспитательницы; свободное же от трудов время посвящай своей любимой поэзии». Елисавета улыбнулась сквозь слезы... Весь вечер только и было речи, что о первом поэте Германии» [38].

Гете решил участь Елисаветы Кульман.

Через несколько лет Гете случилось быть судьей над работой и другой, также русско-немецкой поэтессы—Каролины Карловны Яниш (1810—1893, впоследствии Павловой). «Немецкие переводы Каролины доставлены были в рукописи Гете (известным переводчиком русских поэтов на английский язык Джоном Боурингом). Стихи Каролины он одобрил и послал ей ласковое письмо. Эти переводы Каролины Яниш были изданы за границей отдельно под заглавием: «Karoline von Janisch. Das Nordlicht. Proben der neuern russischen Literatur. Erste Lieferung. Dresden und Leipzig. 1833». Больше всего в этой книге переводов из Пушкина; в конце приложено несколько оригинальных стихотворений Каролины» [39].

Эпизод с Кульман (а также и с Яниш)—pendant к эпизоду с Хвостовым: в обоих случаях русские поэты ищут суда Гете: один, чтобы этим судом—предполагается, благоприятным—опровергнуть десятки и сотни обвинительных приговоров, услышанных им от русских читателей, писателей и критиков; другой для того, чтобы безапелляционно утвердить свое право на путь поэта. Поэты остаются в России, но их поэзия стран-

ствует в Веймар, в дом Гете. Это—яркие свидетельства гетепочитания в русской литературе 1820—1830 гг. Паломничество книг совершалось в его дом, когда не могли паломничать их авторы.

Эти два последних эпизода крепко связаны с русским официальным показом Гете как образцового поэта, удостоившегося высочайших признаний: к нему невозбранен и одобрительный путь, личный или письменный (Глинка, Хвостов, Гроссгейнрих, К. Павлова), для подданных русского монарха.

Эта официальная признанность и показность Гете ярко отражается даже и на тех русских посещениях Гете, которые были следствием действительного и длительного интеллектуального влечения к миру его поэзии и интереса к его необычайной личности.

Бесспорные следы этого отражения хранит и история встреч с Гете В. А. Жуковского и А. И. Тургенева.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К. Н. Батюшков, Сочинения. Изд. 5-е. СПБ., 1887, стр. 477—478.

[2] Там же, стр. 424—425.

[3] Там же, стр. 398.

[4] «W. A.», IV Abt., B. XXIV, S. 171.

[5] Н. И. Греч, Записки о моей жизни. М.-Л., MCXXX, стр. 249, 286.

[6] «О. А.», т. I, стр. 208.

[7] Там же, напр. стр. 340: «Грозный Яценко запретил и твоего «Медведя»,—пишет Тургенев Вяземскому про его варшавскую «шутку», в которой увидели сатиру на Константина Павловича.—Греч уже напечатал его и на обвертке журнала; но из текста Яценко его вымарал. Что делать и кому жаловаться?» (29/X 1819); стр. 345: «Академия Российская жаловалась на рецензию Греча, и Главное училищное правление положило сделать цензору и ему выговор, что и сделано от министерства» (5/XI, 1819), и др.

[8] В. к. Николай Михайлович, Император Александр I. СПБ., 1912, т. II, стр. 524.

[9] Арх. Т., т. V, стр. 17—20.

[10] «Записки», стр. 687.

[11] От слова Renomist—забияка, буян; смысл эпитета: «в сюртуке студента-буяна, бурша».

[12] Сборы шоссейный, заставный, мостовый.

[13] «Биография», о которой говорит Гете,—это его «Поэзия и Правда. Из моей жизни». Первые три ее тома вышли в 1811, 1812, 1814 гг. История любви Гете к Гретхен (фамилия ее доселе не установлена биографами) находится в пятой книге автобиографии (вошла в т. II, изданный в 1812 г.). Об упоминаемом далее ген. Клингере см. в главе о Кюхельбекере.

[14] Юлиус-Август Гете (1789—1830)—единственный из оставшихся в живых сын Гете и Христианы Вульпиус, нежно любимый отцом. Гете радовался склонности сына к естествознанию и тщательно руководил его образованием, в котором близкое участие принимал Ример. Август Гете учился в университетах в Гейдельберге и Иене. В 1810 г. отец определил его на государственную службу, указывая герцогу на «чисто практическую натуру» сына. С 1815 г. Август—в чине камер-юнкера—сделался помощником отца по делам заведываемых им научных и художественных учреждений, беря на себя практическую хозяйственную сторону дела. После смерти Христианы Гете называл Августа «помощником, советчиком, единственным устойчивым пунктом в беспорядке». С 1824 г. Август сделался блюстителем рукописей и изданий Гете. Дневники Гете свидетельствуют о его близости к сыну, но в разговорах они редко задевали вопросы литературы и искусства. Как раз в год посещения Греча Август Гете сочетался браком с Оттилией Погвиш (см. Dr. Julius Zeitler, «Goethe-Handbuch», B. II, Stuttgart, 1917, S. 7—10).

[15] «Поездка во Францию, Германию и Швейцарию 1817 г. Письма к А. Е. Измайлову». Сочинения Николая Греча, изд. А. Смирдина. СПБ., 1855, т. II, стр. 484—491.

[16] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 119.

[17] Встречу с Гречем Иоганна Шопенгауэр никак не отметила в своей обширной переписке, обработанной проф. Г. Г. Губеном: «Damals in Weimar». Erinnerungen und Briefe von und an Johanna Schopenhauer. Gesammelt und herausgegeben von H. H. Houben. 2-e Auflage, Rembrandt-Verlag, Berlin, 1829.

[18] О сыне Коцебу—Августе, встретившемся с Гречем, ничего не знаем. Из других его сыновей Оттон-Евстафий (1787—1846) был известный кругосветный путешественник, офицер русской службы. Другой, Вильгельм, был русским посланником в Карлсруэ, Берне и Дрездене и писательствовал по-немецки и по-русски. Третий, Павел (1801—1884), был генерал русской службы, возведенный в графское достоинство и бывший в конце жизни варшавским генерал-губернатором. В 1818 г. Гете читал сочинение Морица Коцебу «Reise nach Persien mit der Russ. Kais. Gesandtschaft i. J. 1817». Weimar 1819 г. (E. K e u d e l l, Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek, S. 190).

[19] Письмо к П. А. Вяземскому от 25/V 1823.—«О. А.», т. II, стр. 326.

[20] Н и к о л а й Г р е ч, Путевые письма из Англии, Германии и Франции, ч. II. СПБ, 1839, стр. 208.

[21] «О. А.», т. IV, стр. 274.

[22] В и г е л ь, Записки, изд. 1928 г., т. II, стр. 113.

[23] Т а м ж е, т. I, стр. 327—328.

[24] Кн. Алдр. Борис. Куракин (1752—1818)—один из любимцев Павла I, посол при Наполеоне I перед самой войной 1812 г., лично знавший Гете. Встретясь с Куракиным в Веймаре непосредственно после занятия Москвы Наполеоном, Гете поразился в русском после «веселости и благодушию после такого пожара и других бедствий». («W. A.», IV Abt., B. XXIII, S. 151; письмо к Рейнгардту). Куракин умер в 1818 г. в Веймаре.

[25] Ф. Ф. В и г е л ь, Записки, т. V, изд. «Р. А.». М., 1892, гл. VII «Путешествие за границу», стр. 98—100. В новом издании под ред. С. Штрайха (1828) эпизод этот по непонятной причине выброшен.

[26] «W. A.», III Abt., B. VII, S. 38. Хр.-Эрнст-Фр. Веллер (1790—1854) был библиотекарем Иенского университета.

[27] «О. А.», т. I, стр. 290. Письмо гр. Д. И. Хвостова печатается по фотографии с французского подлинника, хранящегося в Веймарском архиве. Вторая половина письма была напечатана в статье П. О. М о р о з о в а, Граф Д. И. Хвостов.—«Р. С.» 1892, кн. 6, стр. 584.

[28] «Разные стихотворения графа Хвостова, сочиненные после полного собрания», т. V. СПБ, 1827, стр. 10—11, 266.

[29] Гр. Д. И. Х в о с т о в, Полное собрание сочинений, т. II. СПБ, 1829, стр. 149—150.

[30] Гр. Д. И. Х в о с т о в, Стихотворения, т. VII. СПБ, 1834, стр. 225 (отдел «Надгробия» и 275 (примечания). Первый стих этого «Надгробия» заимствован из известных надписей Андрея Тургенева и Жуковского.

[31] Полн. собр. соч., т. V. СПБ, 1830, стр. 111, «Предисловие».

[32] Уже в 1846 г. она была издана вместе с Л. Уландом в серии классиков: «Familienbibliothek der Deutschen Klassiker. Antologie aus den Gedichten von Elisabeth Kulmann und Ludwig Uhland».

[33] К. Г р о с с г е й н р и х, Елисавета Кульман и ее стихотворения. Перевод с немецкого Марии и Екатерины Бурнашевых. Санкт-Петербург. Печатано в типографии Карла Крайя. Стр. IV+134, 1849, стр. 146. Все цитаты взяты из этой редкой книги, принадлежащей перу руководителя Е. Кульман; сочинение это имеет значение первоисточника для ее биографии и лежит в основе всех статей о ней. Оно служило и вступительной статьей к пяти первым немецким изданиям ее стихов.

[34] Т а м ж е, стр. 54.

[35] Т а м ж е, стр. 98.

[36] Т а м ж е, стр. 84.

[37] Т а м ж е, стр. 100.

[38] Т а м ж е, стр. 57—59.

[39] В. Б р ю с о в, Материалы для биографии Каролины Павловой (Каролина Павлова, Собр. соч., т. I. М., 1915, стр. XX—XXI). Письмо Гете к К. К. Яниш (Павловой) в печати неизвестно; упоминания о ней в дневнике Гете отсутствуют. В «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаева (под ред. Иванова-Разумника. «Academia». Л., 1928 г., стр. 289) находим сообщение, нуждающееся в серьезной проверке: «Через пять минут (после знакомства) я узнал от г-жи Павловой, что она пользовалась большим вниманием Алекс. Гумбольдта и Гете, и что последний написал ей несколько строк в альбом... Затем был принесен альбом с этими драгоценными строками». О личном свидании Гете с К. Павловой нет никаких известий в литературе о Гете.

Глава четвертая

А. И. ТУРГЕНЕВ И ГЕТЕ

ПОЛУЭМИГРАЦИЯ А. И. ТУРГЕНЕВА.—СТАРЕЙШАЯ ГЕТЕАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ: ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ ТУРГЕНЕВСКИЙ КРУЖОК.—АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ И „ВЕРТЕР".—ГЕТЕАНСКИЕ СИМПАТИИ АНДРЕЯ И НИКОЛАЯ ТУРГЕНЕВЫХ.—ЗНАКОМЕЦ ГЕТЕ ТОБЛЕР В СЕМЬЕ ТУРГЕНЕВЫХ.—ПОЕЗДКИ ТУРГЕНЕВА В ВЕЙМАР В 1826, 1827 И 1829 ГГ. ПО НЕИЗДАННЫМ ЕГО ДНЕВНИКАМ.—ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГЕТЕАНСТВА А. ТУРГЕНЕВА.—ОТХОД А. ТУРГЕНЕВА ОТ ГЕТЕ.—НЕКРОЛОГ А. ТУРГЕНЕВА, ПИСАННЫЙ КАНЦЛЕРОМ МЮЛЛЕРОМ.

«Ты—энциклопедический паровик», обзывал Вяземский Александра Ивановича Тургенева[1]. И это верно: он был «паровиком»—до такой степени он был жив, подвижен, неустанен в своих скитаниях за границей, в своих безудержных поисках интересных встреч и знакомств с людьми, памятниками, ландшафтами и идеями.

«Он старался ничего не пропустить,—вспоминала о Тургеневе его парижская приятельница, жена писателя, Виргиния Ансло,—бывало, когда два лектора в двух разных городах почти одновременно должны читать свои сообщения, он успевает попасть и на то, и на другое, летя сломя голову от дверей одного университета к другому в почтовой карете»[2]. Немудрено, что он обладал пестрейшей «энциклопедичностью» знаний и полузнаний, мыслей и домыслов, сведений и наслышек, цитат и воспоминаний: ее было довольно, чтобы вести умный разговор в любом европейском салоне или кабинете, а любознательности и любопытства к жизни и современности было у Тургенева так много, что и в самых письмах его, писанных тысячами, Пушкин находил и ценил «живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, бульварных, академических, салонных, кабинетных движений»[3]. Пушкин недаром так ценил его письма: европейская современность была представлена в его «Современнике» одним современником—А. И. Тургеневым.

«Он был умственный космополит: ни в каком участке человеческих познаний не был он, что называется, дома, но ни в каком участке не был он и совершенно лишним». На острый глазок старого приятеля, «в нем встречались и немецкий педантизм, и французское любезное легкомыслие: все это на чисто русском грунте»[4]. При несомненном уме, не глубоком и не сильном, но впечатлительном и емком, Тургенев рожден был быть собеседником: жадная живость ума делала его отзывчивым и переимчивым современником тех разных «современностей», о которых говорит Пушкин, а переимчивость и емкость ума обеспечивала ему немалый запас умных или остроумных реплик и для разговора о романтизме с Шатобрианом, и для прений о междучелюстной кости с Кювье. Пусть Тургеневу в этих разговорах принадлежали лишь реплики, но и для того, чтоб удачно подавать их Шеллингу, Вальтер Скотту и Гумбольдту, нужно было обладать подлинным умом, значительной образованностью и острым чувством современности. Неудивительно, что беседу и переписку с Тургеневым ценили те, чей литературный или научный гений ценила Европа.

На стихотворном «портрете», снятом с Тургенева дружеской, но мало умелой рукой, есть такие штрихи:

Он пишет сжато, коротко,
А чувствует глубоко.
Влюблен в писателей с умом,
И, странствуя всеместно,

Со всей Европою знаком,
Все знает, что известно.
У Вальтер Скотта он живал,
С Кювье он подружился,
У Гете гостем пировал,
У Гумбольдта учился;
С Шатобрианом вечерком
У Рекамье прелестной
Всем знаменитостям знаком,
И гость везде любезный,
И с Ла Мартином он езжал,
Знавал друзей Байрона.

Все это правда. Ни один русский писатель не мог бы похвалиться таким числом европейских знакомств, как А. И. Тургенев. Широкие европейские связи Герцена и И. С. Тургенева известны, но они малы и тесны в сравнении со связями А. И. Тургенева. Европа 20—40-х годов ему была своя. Он в молодости учился у Шлёцера, Герена и Бутервека в Геттингене, а в зрелых годах слушал лекции и приятельствовал с Кювье и Ал. Гумбольдтом. «Поехали мы к Дагеру и видели новый способ снятия видов», сообщает он приятелю: это значит, он в 1839 г. был в лаборатории отца фотографии при самом ее рождении [5]. Он хорошо был знаком с целой плеядой европейских историков разных школ и направлений: с Савиньи, Нибуром, Вильменем, Мишле, Гизо, Ог. Тьери, Сен-При, Барантом и мн. др., но знавал он и такого «делателя» истории, как Талейран. Он близок был с либеральным Бенжаменом Констаном, но встречался и с таким столпом католической реакции, как Лакордер. Барон Гаккстгаузен, «открывший» общину в России, был в числе его знакомцев. С Шеллингом он был в дружбе и в переписке, но знавал и Кузена, и Дежерандо. Во французской поэзии, романе, критике, что ни славное в 20—40-х годах имя, то знакомцы, друзья, корреспонденты А. Тургенева: Шатобриан, Ксавье де Местр, Арно, Нодье, Ламартин, А. Мюссе, Сент-Бев, Жирарден, Евг. Сю, Бальзак, Мериме... Какой перечень имен! Он равен нескольким важнейшим главам в истории французской литературы XIX ст. «Недаром судьба свела тебя со Стендалем,—писал Тургеневу Вяземский,—в вас есть много сходства» [6]. Стендаль служил ему чичероне при обозрении Рима. Но Тургенев знал целые живые главы и в других современных литературах: встречался в Париже с Генрихом Гейне, посещал Тика и Шлегеля, дружил с Мицкевичем, гостил в Абботсфорде у Вальтера Скотта. Он ловил из первых рук и живые предания об умерших «властителях дум» Европы: он встречался с ветхим Бонштеттеном, другом Вольтера и поклонником Руссо, он был как родной принят в семье философа Якоби, он действительно «знавал друзей Байрона», он собеседничал с дочерью мадам де Сталь и верно, что

На бале в Риме танцовал
С сестрой Наполеона.

Этот список европейских дружб, приятельств, знакомств и собеседований страдал бы неполнотой, если б не включал славнейших артистов эпохи: художников звука—Шопена и Листа, художников краски—Ораса Верне, П. Корнелиуса, Овербека. «Сейчас получаю подарок от Давида:

статуэтку сидячего Тика,— делился он с Вяземским радостью.—Удивительное сходство! Жаль, что ты не навестил его рабочей: вся знаменитая современность в лицах!»[7] Так «вся знаменитая современность»—в письмах Тургенева.

За границей Тургенев сватает французам Вяземского, Боратынского, Пушкина, он заочно знакомит Шеллинга с Чаадаевым. В журнале Гизо «Revue francaise» устраивает он статьи Вяземского. «Ламартин просит у меня стихов Пушкина в прозе,—спешит он порадовать приятеля,—я заказал гр. Шувалову перевести»[8]. «Архивы роя» в Ватикане, по всей Франции и Германии, извлекает он оттуда ценнейшие документы для русской истории, сватая ее русским и иностранным ученым. Точно так же русскому читателю сватает он европейскую литературу и культуру 20—40-х годов.: он спешит делиться с ним и письмом Вальтера Скотта к Гете, и описанием гетева дома в Веймаре, и всем пестрым калейдоскопом европейских литературных и научных новостей, открытий, мод, увлечений. Про А. И. Тургенева можно сказать, что в спертом воздухе николаевской казармы он был маленькой форточкой в Европу, чрез которую доносился до русского читателя «и говор народа, и стук колеса» европейской жизни. Недаром все лучшие русские журналы этих лет наперебой стремились залучиться письмами А. Тургенева, и они последовательно появлялись в «Московском Телеграфе» (1827), «Европейце» (1832), «Московском Наблюдателе» (1835), «Современнике» (1836—1842), «Москвитянине» (1845), и недаром николаевская цензура так ретиво пыталась покрепче притворить эту форточку.

Мог ли этот «энциклопедический паровик» миновать Веймар?

Свой путь туда Тургенев намечал еще в ранней юности. Его знакомство с Гете подсказано ему всей историей его «Lehrjahre».

А. И. Тургенев (1784—1845) был идейный выкормыш самого раннего гнезда русских гетеанцев—московского, так называемого второго «Тургеневского кружка», сменившего в самом конце XVIII ст. первый тургеневский кружок—масонский, также в значительной степени опиравшийся на германскую мысль и литературу и имевший свои живые связи с Германией. Душою этого второго кружка был старший брат Александра Ивановича Андрей (1781—1803). Он и его друзья слыли в кругу молодежи из университета и университетского благородного пансиона за «записных немцев» (выражение С. П. Жихарева): это были самые прилежные в России и несомненно самые чуткие тогда читатели и почитатели Шиллера и Гете. В 1836 г. А. И. Тургенев из Веймара, из кабинета Гете, «желал напомнить друзьям русской литературы, коей некогда Москва и в ней университет были средоточием, о том влиянии, которое веймарская афинская деятельность имела и на нашу московскую словесность. Несколько молодых людей, большей частью университетских воспитанников, получали почти все, что в изящной словесности выходило в Германии, переводили повести и драматические сочинения Коцебу, пересаживали, как умели, на русскую почву цветы поэзии Виланда, Шиллера, Гете, и почти весь тогдашний немецкий театр был переведен ими; многое принято было на театре московском. Корифеями сего общества был Мерзляков, Андрей Тургенев. Дружба последнего с Жуковским не была бесплодна для юного гения»[9].

Андрей Тургенев—этот Станкевич молодого тургеневского кружка и их «дружеского Литературного общества»—проложил с в о ю литературную дорожку в Германию: он знал не только Коцебу и Виланда, но и Гете,

и, говоря о любви Андрея Тургенева к немецким писателям, его приятель так и начинает: он «любит страстно Гете...» Остальные немцы идут потом[10]. Несмотря на то, что «Вертер» был уже переведен и трижды (в 1781, 1794, 1796 гг.) издан в России, Андрей Тургенев в 1799 г. сел за перевод романа, привлекши к делу Жуковского и Мерзлякова. В своем дневнике Андрей Тургенев отмечает: «Вертера с письма от июня 6-го числа начал переводить мая 24-го, 1799 года в университете, в своей комнате в 10-м часу в исходе ввечеру... Переведши одно письмо перестал, и Мерзляков тоже, потому что услышали, что уже в Петербурге переведено снова»[11]. Однако любовь к «Вертеру» превозмогла это соображение, и 19 августа 1799 г. Андрей Тургенев писал Жуковскому: «Наконец мы решились с Мерзляковым переводить «Вертера» и сперва принимаемся за первую часть»[12]. Почему Андрею Тургеневу понадобился делать уже сделанное дело, он сам объяснил Жуковскому в 1802 г.: «Мое состояние очень походит на то, которое описано в «Вертере» в том письме, которое ты переводил»[13]. Переводить «Вертера» для Андрея Тургенева значило писать собственную исповедь. По этой же причине четверть века спустя сядет за новый перевод «Вертера» другой русский вертерьянец—юноша Н. М. Рожалин. Из неоконченного перевода трех друзей увидело свет только ранее (1798) переведенное Андреем Тургеневым «Письмо к другу»[14]. Гетеанство Андрея Тургенева и его кружка было вертерьянство их возраста, стиля, эпохи, класса. «Вертер» был настольной их книгой.

Андрей Тургенев подарил любимую книгу Жуковскому; на экземпляре «Leiden des jungen Werthers» von Goethe. Leipzig. Ausgeg. Georg-Joachim Göschen. 1787» он написал:

«Свободным Гением натуры вдохновенный,
Он в пламенных чертах ее изображал;
И в чувстве сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим не покоренный.

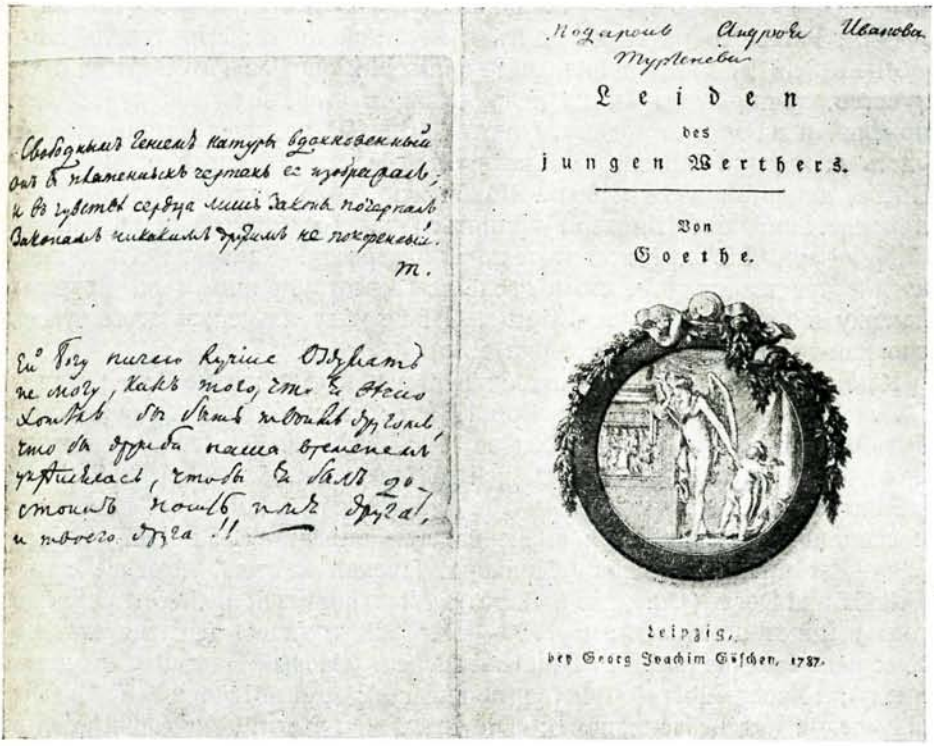
Т.

Ей богу ничего лучше вздумать не могу, как того, что я вечно хотел бы быть твоим другом, чтобы дружба наша временем укрепилась, чтобы я был достоин носить имя друга, и твоего друга!!»[15]

Эта надпись в целом—прекрасный памятник самого раннего русского вертерьянства, и эти стихи—первое русское стихотворное приветствие, обращенное к Гете.

Жуковский через 20 с лишком лет в своей «Надписи к портрету Гете» дал лишь парафразу этих стихов рано угасшего юноши, одного из первых русских Вертеров. «Вертер» долго жил в чувствах младших Тургеневых—Александра и Николая. В 1819 г. в Петербурге шла на театре пародия Дюваля и Рошфора: «Werther, ou les égarements d'un coeur sensible». Любопытный Ал. Тургенев посмотрел ее и даже посмеялся изрядно, но тут же и покаялся: «Сколько ни весело было мне смеяться над дурачествами Вертера, но я право не рад, что запачкал душу и воображение свое этими шутками и разочаровал себя, может быть, надолго для чтения настоящего «Вертера», которого почитаю прекраснейшим произведением ума и опытности человеческого сердца. Я его помню местами наизусть, между тем как все забыто мною, что прельщало молодое сердце»[16]. Это писал 35-летний помощник государственного секретаря, директор департамента духовных дел: так силен в нем был вертерьянский заряд молодости. Совершенно

так же отнесся к пародии на «Вертера» младший Тургенев—Николай, тогда уже автор «Опыта теории налогов» и один из главарей «Союза Благоденствия». «Я смеялся,—записал он в дневнике 18 октября 1819 г.,—но вообще осталось во мне чувство неприятное: mauvaise plaisanterie, la farce dégoûtante! (плохая шутка, безвкусный фарс!)... Я не помню пьесы, которая бы оставила во мне столь неприятное, отвратительное впечатление. Желал бы иметь жар и красноречие Руссо, чтобы показать всю гадость таких бессмысленных шуток и варварство публики, забавляющейся карикатурою Вертера, естьли впрочем эта публика знает настоящего



Книга Гете „Leiden des jungen Werthers", подаренная Андреем Тургеневым В. А. Жуковскому в 1799 г. Слева—надпись Андрея Тургенева; надпись на титуле—рукою В. А. Жуковского
Институт Русской Литературы, Ленинград

Вертера, и естьли она достойна пера Руссо» [17]. Вертер так прочно вошел в мысль и чувство Тургеневых и их друзей, что даже отразился в их живом словаре: «Тебе в припадке романтизма весело надуваться,—упрекал Вяземский, отнюдь не Вертер, а Онегин 10—20-х годов, Александра Тургенева,—ты вертерничаешь изо всей мочи, а на поверку ветренничаешь» [18]. Получив от опального Пушкина письмо, Вяземский пишет тому же приятелю: «Я получил от него письмо после катастрофы, где он мне о ней говорит, но совсем не в вертеровом духе»[19].

Все это чувствовалось и говорилось в конце 10-х, в начале 20-х годов XIX ст.; молодыми же людьми в самом конце XVIII, в начале XIX ст. все это переживалось с удесятеренной силой.

В руках Андрея Тургенева и его сверстников был весь изданный тогда Гете: «Пришел и увидел у Мерзлякова Göthe 2-ую часть, стал перебирать

ее», записывает Андрей Тургенев в 1799 г.; через год—16 марта 1800 г.—он восторгается «Эгмонтом»: «Чтение гетева «Эгмонта» открыло во мне некоторые новые чувства. Он изображен так живо, с такой истиной и натуральностью, так близко к натуре человеческой, что я как будто бы знал его, наслаждался его обхождением и жил с ним» [20]. Чтение драм Гете и Шиллера освобождает эту молодежь от обаяния господствующей на сцене придворной французской и русской ложноклассической трагедии: «немецкие трагедии,—решает глава кружка,—преимущественны перед французскими, где действуют государи и пр., которые не могут так сблизиться с нами» [21]. Эти отпрыски старых дворянских гнезд ценят в поэтах «бури и натиска» новый реализм «мещанских драм» и трагедий с участием народных масс. Но их тянет опять к заветной книге: «Почитавши стихов Göthe в Schiller's Musenalmanach, принялся я опять за его Вертера. Какое чувство, точно будто бы из неприятной, пустой, холодной чужой земли приехал я на милую родину. Опять Göthe, Göthe, пред которым надобно пасть на колени! Опять тот же великий, любезный, важный, одним словом, Göthe, каков он должен быть. Какой жар, сила, чувство натуры! Тоже и после эпиграмм Шиллера приняться за его Карлоса, Раз[бойников], Cab[ale] und Liebe. Как питательно, интересно! Какое приятное теперь во мне чувство от того, что я после всего этого принялся за Вертера и нахожу в нем все, что есть Göthe. Я не могу изъяснить этого чувства: оно как-то согревает и утешает меня» [22].

Какие стихи Гете прочел Андрей Тургенев в «Альманахе Муз» Шиллера? Он сделал свою запись 26 ноября 1799 г.; стало быть в его руках могли быть выпуски этого «Альманаха» за 1796—1799 гг. Вот какие вклады сделал туда Гете: в 1796—«Der Besuch» («Посещение»); «Nähe des Geliebten» («Близость любимого»); «Meeresstille und glückliche Fahrt» («Тишь на море и счастливое плавание») и «Венецианские эпиграммы»; в 1797—«Mignon» («So lasst mich scheinen») («Миньона. Пускай кажусь, пока не стану»); «Alexis und Dora» («Алексис и Дора»); «Vier Jahreszeiten» («Четыре времени года») (цикл эпиграмм); в 1798—«Der Schatzgräber» («Кладоискатель»); «Der neue Pausias und sein Blumenmädchen» («Новый Павсий и его цветочница»); «Nachgefühl» («Чувство прошлого»); «An Mignon» («К Миньоне. Над рекой над небосклоном»); «Die Braut von Korinth» («Коринфская невеста»); «Der Gott und die Bajadere» («Бог и баядера»); «Der Zauberlehrling» («Ученик чародея»); в 1799—«Der Edelknabe und die Müllerin» («Паж и мельничиха»); «Amintas» («Аминт»); «Euphrosyne» («Ефросина»). Какой бы из годов «Альманаха Муз» ни был в руках Андрея Тургенева, но по этому перечню видно, что перед ним были лучшие перлы лирики Гете второго периода, в которых с особой яркостью и силой играл, сиял, обдавал космическим теплом его солнечный гений. Пред московским юношей был Гете, славящий жизнь, природу, любовь, Гете совершеннейшей классической формы,—и от всего этого цветения, солнца и синего неба Андрей Тургенев испытал чувство «неприятной, пустой, холодной, чужой земли». «Милой родиной» оказался опять «Вертер», только «Вертер».

Гетеанство этих усадебно-антресольных юношей среднего дворянского круга было, это должно повторить, вертерьянством.

Все, что в произведениях Шиллера и Гете расценивалось в Германии как политический протест или как новое социальное чаяние, для этих первых русских гетеанцев-кружковцев было не очень доходчиво: им понятнее была литературно-формальная направленность первых произведений Гете

и Шиллера против старой ложноклассической традиции да близок был не мятежный, а метущийся во внутренних чувствах герой первого романа Гете, в котором они видели самих себя.

Александр Ив. Тургенев воспитался не только под влиянием этих гетеанских чувств и чтений своего старшего брата, но и под влиянием живого предания о Гете. Воспитателем Андрея и Александра Тургеневых был женевец Георг-Кристоф Тоблер (Tobler, 1757—1812), родственник Лафатера, переписывавшегося с Ив. П. Тургеневым и Карамзиным. Он вошел в семью Тургеневых еще до 1792 г., когда И. П. Тургеневу приказано было Екатериной II—в связи с делом Н. И. Новикова—переселиться со своей семьей на безвыездное житье в симбирское поместье—в Тургенево. Все время ссылки (1792—1796) Тоблер провел с Тургеневыми и жил у них некоторое время и по возвращении их в Москву. В 1827 г. Александр Тургенев писал из Цюриха брату Николаю: «Мысль моя летала в минувшем, которое ближе моему сердцу. Я думал о Лафатере, коего любил батюшка, думал о родственнике Лафатера Тоблере, который был не столько учителем, сколько другом нашим, т. е. брата Андрея, ибо я еще не знал цену ему; но сохранил все его письма к брату, которого он любил и расставшись с ним»[25]. Тоблер был знакомец Гете. Весною 1781 г. он явился к Гете из Женевы и вручил ему рекомендательное письмо от Лафатера. Гете дружески отозвался о нем Лафатеру: «Тоблер очень мил: я могу быть с ним откровенен. Кнебель (друг Гете.—*С. Д.*) дал ему квартиру. Тебе также хорошо будет, что через него будешь слышать о нас. Минутами он очень живо напоминает мне тебя, в особенности когда он становится весел и шутлив» (7 мая). Через полтора месяца Гете опять писал Лафатеру о Тоблере, сообщая, что ему «у нас так хорошо, как только может быть при его обстоятельствах». 2 августа Гете записал себе для памяти: «С Тоблером при случае об истории». Повидимому Гете интересовался переводческими трудами Тоблера («Агамемнон» Эсхила), а любитель классической филологии Кнебель покровительствовал ему. В ноябре Тоблер покинул Веймар. «Кнебеля нет здесь,—писал Гете Лафатеру 14 ноября,—и эту зиму он проведет со своими. Это—причина того, что Тоблер так долго медлил. Он теперь приехал к тебе и в состоянии рассказать тебе о нас больше, чем я мог бы во многих письмах». Дополнительно Гете развивал ту же мысль в письме от 3 декабря 1781 г.: «Тоблер перенесет тебя к нам ближе, чем это сделали бы многочисленные письма. Никогда не бываешь в состоянии написать о себе другу то, что ему было бы всего интереснее, потому что сам не знаешь, что кому интересно» [24].

Сообщения Тоблера должны в глазах Гете заменить его дружеские письма к Лафатеру; знак, что к Тоблеру была известная доверенность, предполагающая и бесспорную симпатию, а тот факт, что Тоблер жил у другого друга Гете—Кнебеля, еще более удостоверяет, что швейцарец вошел в веймарский круг Гете.

В конце 80-х годов Тоблер отправился в Россию.

Такой человек мог внушить своим русским питомцам и их сверстникам не только интерес к поэзии Гете, но и тягу к личному общению с поэтом. Это так и было. Когда в 1802 г. Ал. И. Тургенев собирался в Германию, приятель его брата, некий И. Ф. Журавлев, человек небогатый, писал ему с отчаянием: «Щастлив тот, кто имеет случай там побывать. Щастливым называл я тебя, что имеешь надежду жить в блаженной ученой республике; я провожал тебя мыслями; не смел шептать тебе на ухо, чтобы

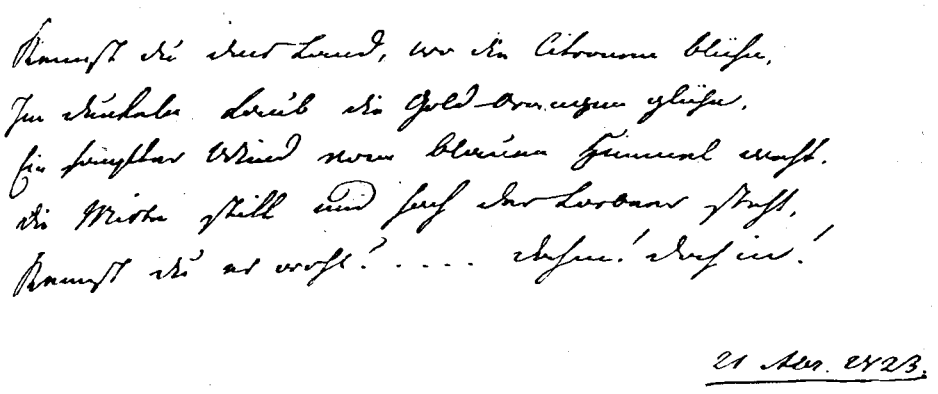
ты и меня с собою взял, считая невозможным; наконец предлагал тебе с радостью и некоторым сомнением, ожидая отказ. Мой друг! Щастие тебе благоприятствует; обстоятельства посылают тебя в любезную страну; мы вместе некогда мечтали быть и в ней неразлучными; вместе энтузиазмом горели пожить несколько в Германии, называя ее щастливою; теперь все восхитительные мечты твои сбываются, а я остаюсь. Сжалься, возьми и меня с собой; я службу оставлю и готов заменить одного из твоих лакеев, лишь бы только быть с тобою, быть в блаженной Германии» [25]. Это—вопль настоящей «тоски по чужбине», по прекрасному выражению П. А. Вяземского [26], по чужбине любимых поэтов и мыслителей, которая мнится тоскующему второй родиной, более родной, чем первая.

Если бы не заставы и карантины, наставленные Павлом I, эта молодежь вырвалась бы к Гете в Веймар раньше всех.

Александр Тургенев сам был охвачен этой тоской в 1802 г., когда, «архивный юноша» первого призыва, он получал уже чины в архиве Министерства иностранных дел и когда «службу вдруг оставил» и поехал учиться в Геттинген. С дороги, из Лейпцига, рассказывая Жуковскому о сильном впечатлении, произведенном на него представлением «Орлеанской Девы», Ал. Тургенев делится с другом заветным планом: «Из Геттингена съездим мы в Веймар, где живут теперь Шиллер, Гете, Виланд, Гердер» [27]. Однако план этот не осуществился. В Геттингене процветали науки исторические, и сам Тургенев так увлекся научными занятиями и лекциями Шлёцера, что последний добивался даже принятия Тургенева в адъюнкты Петербургской Академии Наук. Тем не менее любовь к Гете в нем не умалилась: он и у Шлёцера вел оживленные беседы о Гете, а 19/31 марта 1803 г. «госпитировал у Эйхгорна в Litterair-Geschichte и слышал описание его характеров и творений Лафатера и Гете»[28], и его попрежнему тянет в Веймар [29].

Вернувшись в Россию, опять поступив на службу и достигнув «степеней известных», А. Тургенев остается ревностным читателем Гете. В «Арзамасе» он вместе с Жуковским и Уваровым был представителем «немецкой стороны» в противоположность французолюбивому Вяземскому. Имя Гете пестрит в переписке Тургенева 10—20-х годов. В 1825 г. А. Тургенев с негодованием встретил мнение А. А. Бестужева («Полярная Звезда» 1825 г.), будто русские журналы «вряд ли уступают иностранным» и будто немцы давно уже живут только переводами из журнала Г. Ольдекопа, петербургского немца-цензора: «И я должен был прочесть этот приговор немцам в такую минуту, когда предо мной лежат классические их журналы с глубокомысленными и блистательными рассуждениями о всех предметах словесности и просвещения! Я бы мог указать ему на любую журнальную статью, в которой больше ума и даже вкуса, нежели во всех отечественных наших бреднях и хвастовствах» [30]. Как прилежно читал Тургенев Гете, видно из следующего эпизода: рассказывая не читавшему по-немецки Вяземскому о трагедиях Раупаха, Тургенев пишет: «Раупах, может быть, теперь из лучших поэтов, если не лучший в Германии, ибо Гете не принадлежит уже нашему веку, по крайней мере, по своей поэзии. Он теперь вдался в естественную историю и выдает журнал по сей части, в первой части коего описано его первое знакомство с Шиллером—единственное отступление от общего предмета журнала, но есть и стихи, достойные прежнего Гете, хотя не много» [31]. Вряд ли в Петербурге, кроме ученых немцев из Академии, кто-нибудь еще выписывал и читал сборник

Гете «Zur Morphologie» (1817—1823), где были напечатаны (ч. 1, стр. 90—96) воспоминания Гете о Шиллере («Glückliches Ereigniss»): до такой степени со всем без исключения знакомился А. Тургенев из того, что выходило из-под пера Гете. Столь же прилежным читателем Гете был и обремененный делами Н. И. Тургенев. В его дневниках (1816—1821 гг.) нередки записи о чтениях Гете и статей о нем: в 1816 г., 7 ноября, половина 12-го ночи: «Теперь возвратился и развернул Гете (Dichtung und Wahrheit)»; в 1817 г., 23 января: «Göthe, Dichtung und Wahrheit» (сделан ряд выписок из третьего тома); 4 февраля: «По вечеру читал Гете»; в 1818 г. 25 февраля: «Ну, пора спать и читать в (предположительно «Isis», журнал Окена.— *С. Д.)* разбор из Edinburg Review Göthe»; в 1821 г., 27 октября: «Я по вечерам читаю теперь «Ch. Lacreteble Assamblée Constituante» и «Фауста» Гете» [32]. Гете часто на языке у братьев Тургеневых. Он дает им и формулы для их негодования, возбуждаемого аракчеевским режимом 20-х годов: их томит желание бежать «под небо Шиллера и Гете» от эпохи шпицрутенов.



Эпиграф из Гете („Kennst du das Land") к тринадцатой книге дневника Николая Тургенева
Запись от 21 августа 1823 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

Записав в дневнике своем сцену появления в Государственном Совете Аракчеева и холопского раболепства пред ним всего Совета, Н. Тургенев заключает ее воплем: «Dahin, dahin, wo die Zitronen blühen!» [33]

Это же восклицание он ставит эпиграфом ко всей 13-й книге своего дневника (1821—1824), наполненной негодованием на дворянское крепостничество и холопство пред аракчеевским капралом. То же «Dahin, dahin» повторяет и благодушный Ал. Ив., которому также стало невтерпеж от аракчеевства.

Характерно, что своей тягой в Германию А. И. Тургенев заразил в какой-то степени и французолюбца Вяземского. «Тебе, советам твоим, дружбе твоей поручаю указывать мне, где и как бросить свой страннический посох,—писал ему Вяземский еще в 1815 г.—Признаюсь тебе, что желание мое и сам рассудок манит меня в Германию ко двору или веймарскому или тому, где будет царствовать великая княгиня» (Екатерина Павловна). Вяземский непрочь был служить при литературном веймарском дворике [34].

14-е декабря застало братьев Тургеневых за границей. С родной чужбины на родину-чужбину Н. И. Тургенев мог возвратиться только через 30 с лишком лет. Александр Иванович эмигрантом не сделался, но полуэмигрантом он был до конца своей жизни: на родине он лишь гащивал,

на чужбине он жил и если загащивался в империи Николая I долго, то испытывал острую тоску по чужбине. «Как меня ни кормят здесь русской стариной,—писал он Вяземскому из Москвы в 1840 г.,—а я все в лес смотрю. Волею или неволею я принадлежу России, ее истории, ее внутренней жизни, ее коммеражам, ее порокам и бедствиям, ее славе и доблести. Я весь русский, но... не могу продолжать письма» [35]. Это «но» хорошо чувствовали охранители николаевской казармы и в 1843 г. пригласили А. Тургенева дать Бенкендорфу «некоторые объяснения» по поводу его полуэмиграции во Францию, Италию и Германию [36].

В первом же году своей полуэмиграции, в 1826 г., Тургенев и удовлетворил свою старую тягу в Веймар. В неизданном дневнике А. И. Тургенева находится запись:

«16 марта. Утро в Эрфурте.

Веймар. Нем[ецкие] Афины. В 12-м часу утра явился к великой княгине. В 2 часа прислала за мной карету, отдала письмо к императрице, говорила о России, об императоре со слезами. «Поведение братьев достойно незабвенного»—лучшего ни о ком сказать нельзя, и опять слезы блеснули в глазах ее.—Поручила поклониться Кар[амзиным]—уверена, что они не переменились ни в чувствах, ни в образе мыслей. Вот что удержал в памяти, смотря на милые черты ее, изображающие глубокую горесть, ум и душу высокую!—Поклон от гр. Эглофштейн Плещеевой» [37].

Свой первый шаг в Веймаре Тургенев, несмотря на свою полуэмиграцию, направил к Марии Павловне. Мария Павловна встретила его как верноподданного и повела разговор о преддекабрьских династических контраверзах, прикрыв их вуалью сентиментального умиления пред «самопожертвованием» Константина Павловича и «рыцарством» Николая Павловича. Тема разговора Тургенева с Марией Павловной—декабрьские события—наводит на предположение, что в разговоре могла итти речь и о брате Тургенева, декабристе. Александр Иванович искал средств для его политической реабилитации и мог надеяться найти в Марии Павловне нужного ходатая пред Николаем.

16 марта Гете была подана такая записка: «Русский действительный статский советник и помощник государственного секретаря А. Тургенев по дороге из Лондона в Петербург пробудет в Веймаре только несколько часов. Тургенев, друг юности Жуковского, мечтает о счастьи хоть раз в жизни увидеть г. тайного советника Гете. Веймар, 16 марта 1826 г.» [38].

Гете дал это счастье старому русскому гетеанцу, отметив в дневнике с обычной лаконичностью, не распространяющейся только на чины и титулы: «Г. А. Тургенев, русский императорский статский советник и помощник государственного секретаря» [39].

В дневнике Тургенев записал:

«Был у Гете. На пороге—Salve. Издает полные сочинения; сказал о занятиях своих по нат[уральной] ист[ории]: «Они нашли меня, не я набрел на них». В книжной лавке нет ничего нового. Желал видеть веймарский Вестминстер, St. Jacobs Kirche, где над Гердером свет, любовь [жизнь] сияют незаходимою славою, где (в) Бозе [пропуск у Тургенева] ожидают награды полезным трудам своим и где над Шиллером—нет памятника! Здесь и Лука Кранах и Музеус. Сия [пропуск у Тургенева] была заперта, и я издали поклонился праху их!—Вся Германия читает Шиллера—и прах его сиротствует. Приписывают это не холодности Германии, но обстоятельствам, в коих была Германия в год его кончины. Речка Ильм. Струи ее журчат бессмертием. Стихи Шиллера на Ильм» [40].

О живом Гете А. Тургенев сказал меньше, чем о покойных: Гердере, на могиле которого он не разобрал одного слова в эпитафии: «Licht, Liebe, Leben», и Шиллере, о посмертной судьбе которого он погоревал. Вероятно уже в это первое свидание Гете поразил Тургенева безукоризненной строгостью своего туалета и манер. В 1840 г. по поводу словесно-неряшливого публичного чтения Погодина о древней Руси Тургенев вспомнил Гете: «Не позволено... профессору пред публикой являться в шлафроке салонного разговора. Гете и запросто всегда выходил в сюртуке к своим посетителям» [41]. Судя по тому, что в своей записке Тургенев сослался на Жуковского, уже известного Гете, можно предположить, что короткий разговор Гете с Тургеневым не миновал этого поэта и придворного педагога.

В январе 1827 г. в Дрездене, в обществе поэтов и художников, А. Тургеневу довелось присутствовать при любопытном споре о Гете. Он записал этот вечер в дневник под 14 января, а на другой день—15-го—включил эту запись в письмо к поэту И. И. Козлову, оставив у себя в бумагах «Выписку из письма к Козлову от 3/15 января». Эта «Выписка» быстро перекочевала из Петербурга, где жил Козлов, в Москву, и уже в феврале русский читатель мог ее прочесть в «Московском Телеграфе» в отделе: «IV. Современные летописи. Иностранная переписка. «Письма из Дрездена» (№ 4, февраль, стр. 341—350; подпись «Э. А.» («Эолова арфа»). Быстрота, с какою частное письмо превратилось в статью для публики, свидетельствует о том живейшем интересе, с которым встречались письма А. Тургенева в мире литературном и издательском. Но и быстрота превращения записи дневника в письмо к приятелю—хороший показатель литературных приемов Тургенева: его письмо к Козлову Н. А. Полевой мог напечатать в своем журнале с ничтожнейшею редакторской правкой; это «письмо» было совершенно законченным стилистически и отточенным литературным произведением настоящего мастера: вся работа писателя произошла на стадии переработки записи дневника в письмо к приятелю.

Я привожу здесь этот рассказ о гетеанском споре по неизданной «Выписке из письма к Козлову» [42].

«Мы были на литературной вечеринке у здешней живописицы и литераторши m-lle Winkel, где собирается вся ученая, пишущая и поэтическая братия. Мы слышали журналиста Кинда, который нападал на Гете за то, что он сюжет для Германа и Доротеи украл у какого-то современного журналиста, слово в слово описавшего в Рейнском журнале анекдот, служащий основанием сочинению Гете. Все восстали против несправедливости нападения, как будто бы Гете имел нужду скрывать заимствованную быль (factum), которую он возвысил, украсил, сотворил снова в своей прекрасной поэзии. С равною справедливостью можно бы обличать в покраже мрамора для Венеры Фидиаса или создателя Аполлона. Тут дело не в глыбе мрамора, а в формах и в выражении божественности идеальной! Так же как Корреджио не краскам обязан своей Мадонной, так и Доротея Гете—вся хотя и в Натуре, но Гетем созданной, им идеализированной. Скорее Корреджио мог найти вдохновение для изображения своей Мадонны в богодухновенных песнях церковных, нежели Гете в журналах современных своего Германа. Слушая крошку-Кинда, который важничал, читая нам свои исторические документы против Гете, я невольно вспомнил Крылова:

Ай, Моська! Знать она сильна,
Что лает на слона!

Вместе с тем вспомнил и стихи Шиллера и применил их к Гете:

Und was er bildet, was er schafft,
Das dankt er seiner Dichterkraft!

а не повести о французских эмигрантах на Рейне. Но этой вылазке обязаны мы ответом антиквария Беттихера, который, выслушав Кинда, сел на его место и рассказал сам анекдот, коего он сам был свидетелем в Веймаре, у герцогини. В разговоре Гете с Гердером последний однажды сказал ему, что конечно он заимствовал содержание Германа и Доротеи из анекдотов о французских эмигрантах в 1792 г. Тут Гете с жаром ответил Гердеру, что он почти все сочинения свои брал из натуры и из истории, следовательно из других, но что именно простой сюжет этой идиллии он ни от кого не заимствовал, а сам изобрел. И в этом можно ему верить, ибо не нужно большого творческого труда, чтобы выдумать происшествие, которое, конечно с большим или меньшим изменением, не раз могло случиться во время похождений эмигрантов французских на Рейне и во всей Германии. Теперь и здесь, и в других местах Германии какой-то д у х б р а н и против Гете распространился, но враги так мелки, что их едва и замечают в борьбе с гигантом; а они, несмотря на то, продолжают гомозиться, забывая, чем Гете обязана Германия и что он истинный, верный представитель не одной только Поэзии Немецкой, но и всей Германской с и в и л и з а ц и и. Он живое выражение всей их интеллектуальной национальности, более нежели Шекспир английской, а Вольтер—французской, ибо он выражает немцев и в поэзии, и в учености, и в чувстве, и в философии, действуя на них, а через них и на всю европейскую литературу; служить вместе и верным, всеобъемлющим зеркалом Германизма, коего он сам есть создание; между тем как Шекспир создал вкус и народность англичан в поэзии, а Вольтер образовал век свой и французов, а не ими образован. Я не понижаю и не возвышаю Гете, а ставлю его на его место в Германии, в сравнении с местом, занимаемым Шекспиром в Англии и Вольтером во Франции» [43].

Тургенев никогда не высказывал своего взгляда на Гете с такою полнотою, как в этом письме. Это в своем роде апология Гете, несмотря на заявление автора, что он не «возвышает» Гете, и очень характерно, что она вызвана защитой «Германа и Доротеи», этой бюргерской идиллии, в которой Гете дальше всего ушел и от весенне-бурного вертерьянства и от «томлений духа» Фауста, которыми бывало увлекался А. Тургенев.

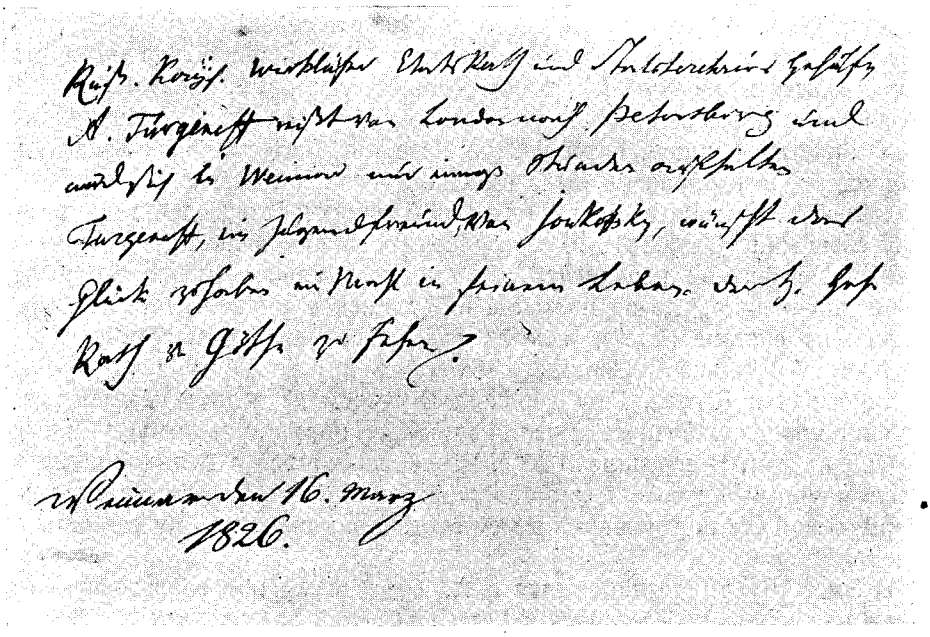
Любопытна одна из записей его дрезденского дневника (после «30 генваря»; твердой даты нет). Он читал тогда книгу Д. Стюарта и сделал между прочим такое замечание: «Не одно зрение, как Аддисон и Reyd и другие полагали, но и все другие чувства наши, коими постигаем, доставляют материалы воображению: благоухание цветов, пение соловья в роще; даже вкус—Kennst du das Land, wo die Citronen blühen? В этой пьесе Гете кажется все чувства спорят о преимуществе обогатить, украсить воображение. Д. Стев[арт], не зная немцев, напомнил Томсона: «The wonders of the torrid Zone» (Чудеса знойной области) в его «Лете». Не Томсон ли в сих прекрасных стихах передал вдохновенье свое и Гете?

Bear me, Pomone! to thy citron growes:
To where the lemon' and the piersing lime
With the deep orange, glorios thro the green,
Thier lighter glories blend.

(Перенеси меня, Помона, туда, где растут лимоны, туда, где померанец и персик, прекрасные среди зелени, сочетаются с густыми апельсинными деревьями в их лучезарном великолепии).

Тургенев ставил вопрос о литературном источнике знаменитой любимой им строфы Гете[44].

В конце лета 1827 г. Тургенев выехал из Парижа в Эмс с поручением к Гете от Марка-Антуана Жюльена (Jullien de Paris, 1775—1848). Это был



Автограф записки А. И. Тургенева к Гете от 16 марта 1826 г.
Goethe- und Schiller-Archiv

выдающийся писатель, ученый (физик), публицист, педагог и поэт. Он был одним из основателей известных либеральных изданий «Constitutionnel» и «Revue Encyclopedique», читавшихся по всей Европе; и Тургенев, и Вяземский были прилежными читателями обоих изданий. «Московский Телеграф» часто печатал выдержки из «Revue», даже А. Бестужев считал это «обозрение» «сносным». Небезызвестен был Жюльен и как поэт, в особенности как автор «La France en 1825, ou mes regrêts et mes espérances»; собрание его стихов под таким же заглавием в 1825 г. вышло уже вторым изданием. Но у Тургенева был еще особый интерес к этому французу: Жюльен был переводчиком «Истории» Карамзина. В 1818 г. была объявлена в Париже подписка на «Историю», и Тургенев осведомлял Вяземского, что «французы перевели уже почти 7-й том, но не знают еще, чем платить; парижские французы (и Жюльен в их числе) выдают первый том». Французское предприятие вызвало тревогу Каченовского, давнего про-

тивника Карамзина, и он в 1819 г. в своем «Вестнике Европы» напал на «Предисловие» к «Истории», уже напечатанное Жюльеном и другими переводчиками. Однако и радость карамзинистов, и тревога Каченовского были преждевременны: во Франции не нашлось охотников читать «Историю государства российского», и предприятие не состоялось[45]. В 1825 г., когда А. Тургенев попал с братом Николаем в Париж, он завязал знакомство с Жюльеном, был вместе с ним на заседании филотехнического общества и из всего заседания запомнил лишь либеральный стих Жюльена: «La pouvoir absolu n'est jamais légetime»[46]. Жюльен вручил Тургеневу для передачи Гете письмо и пакет [47].

В Эмсе Тургенев взял и еще поручение к Гете от старого знакомого и корреспондента Гете Хр.-Лудв.-Фр. Шульца (1781—1834). По образованию будучи юристом, он увлекся естественными науками, был директором фарфоровой фабрики и как-то ухитрился связать свою работу с гетевским излюбленным «Учением о цветах». Шульца хватало на то, чтоб перекладывать на музыку стихи Гете, штудировать Платона, изучать химию и оптику и заниматься рисованием. Этот страстный поклонник «Учения о цветах»—книги, которою, как известно, Гете гордился больше, чем «Фаустом», и которая не была признана учеными,—сделался, едва ли не ради любви его к «Farbenlehre», одним из близких к Гете людей. Гете прислал ему свою книгу, а в 1816 г. состоялось их личное знакомство, поддерживаемое деятельной перепиской. Увлечение Шульца «Учением о цветах» было так велико, что он поставил в Берлинском университете оптические опыты по системе Гете и излагал отдельные параграфы «Farbenlehre» в стихах. У Шульца в Берлине собирались друзья Гете: Цельтер, Раух, Тик; бывал и Гегель. Гете дорожил Шульцем не только как последователем в корне ошибочного «Учения о цветах», но и как политическим единомышленником. В середине 1820 г. Шульц поселился в Вецларе и обратил свой научный интерес к архитектуре: он изучал памятники римлян в Германии. Гете поддерживал в нем этот, столь сродный ему самому интерес [48].

В Эмсе Шульц познакомился с А. Тургеневым и воспользовался случаем письменно побеседовать с Гете о римской архитектуре в Германии. В своем письме в Веймар от 2 августа Шульц писал: «Вероятно любезные графини Эглофштейн и их достойная мать распространили обо мне в высшем кругу, особенно среди русских высокопоставленных особ, слух, что Вы благоволите ко мне, и так как Ваше дорогое имя пользуется величайшим уважением, то и я, вовсе незаслуженно, удостаиваюсь чести, которая принадлежит только Вам. На-днях является ко мне господин Тургенев, русский действительный статский советник, с которым я познакомился и которого уважаю, и предлагает захватить завтра эти строки к Вам» [49].

Утром 6 августа Тургенев был уже в Веймаре, и Гете в этот день записал в дневнике: «Русский статский советник Тургенев, привезший письма и пакеты от г. Жюльена из Парижа и от ст. сов. Шульца из Эмса» [50].

Гете был болен, и Тургенев не был принят им, а только вручил письма его домашним.

Вот что читаем в неизданном дневнике Тургенева:

«4 в Франкфурте.... Выехал в 9-м часу вечера, пробыв 12 часов. 5 поутру в Фульде: церкви. Проехал Эйзенах; ввечеру видел издали, при свете луны, Вартбург. Проехал Готу ночью. Поутру 6-го в Эрфурте—и к 9 часам

в Веймаре. Гете, канцлер Мюллер. Священник Ясновский. Гофмаршал Бьелке. Парк. Бельведер. Вел. княгиня. Обед, вечер в парке. Дом городской и загородный Гете. Оранжерея. Парк поутру. Журнал [оставлено место, ничем не заполненное]. Статья Гагерна об Александре. Рукопись Карам[зина] для Гете. Библиотека и альбумы. Портреты и бюсты. Гете и Ал. Л. Нарышкин. Письмо к[н]. Волх[онской]. Ильма. Гете и современники уже как потомство. Медаль его. Герцог и супруга его. Наследный принц и М[арии] П[авловны] младшая дочь: характер ее. Пособие артистам и ученым. Незабудки в оранжерее сорванные. Выехал в 4 час. попол[удни]» [51].

Подробнее о веймарских впечатлениях А. И. писал брату Николаю (письмо от 7 августа): «Поутру просидел у меня более 2 часов канцлер Мюллер, друг Гете, которого я принял за Штруве (русский поверенный в делах в Веймаре.—*С. Д.*), поверив Никите, и в сем заблуждении и расстался с ним». Обедал Тургенев у Марии Павловны, тотчас же приславшей за ним, как только узнала о его прибытии, гофмаршала с коляской.

«Приняла ласково,—сообщает Тургенев брату,—и, выспросив о здоровьи кн. Волх[онской], много говорила о Карамзине. И муж, и милая дочь ее 15 лет, о которой рассказывают здесь чудеса по уму и характеру, были очень ласковы. Я обедал во фраке, но в башмаках; другие и в сапогах, и в костюмах довольно странных. И за обедом, и после много говорили; но перед прощанием в. к. еще подошла и сказала, чтоб еще что-нибудь поговорил с нею о Кар[амзине]. Я рассказал ей, как он рассердился за пенсию. Узнав, что я желаю видеть оранжерею и ботанический сад, она послала со мною гофм[аршала]. И садовник все показал мне» [52].

По этому письму получается впечатление, что при веймарском дворе больше говорили о Карамзине, чем о Гете. Но вот что писал тогда же А. И. Тургенев И. И. Дмитриеву: «Желал бы передать вам разговор мой с в. к. Марией Павловной, который обворожил меня. От России перешли мы к Германии и ее ученым, от Геттингена к Иене, от Гете к Карамзину и с ним опять возвратились в Россию, и я желал бы вечно слушать эту порфироносную музу. В. к. Анна Павловна говорила с чувством о Москве и о певце во стане русских воинов» [53]. Русско-веймарская пропорция литературных любезностей была соблюдена.

«После обеда узнал ошибку [относительно канцлера Мюллера],—продолжает А. И.,—и по его приглашению пошел к нему. Он возил меня по всему парку, показывал загородный дом Гете, где он писал свою Ифигению, потом привез и в городской сад его и показал места, им любимые, рассказывая о нем анекдоты и знакомя меня с гросс-герцогом. Уговорил меня завтра и ему, и старой герцогине представиться, сам ходил для этого к гофмаршалу и пришел ко мне с ответом уже в 10-м часу вечера и просидел до 12-го с тем, чтобы завтра в 7-м часу опять возвратиться итти со мной гулять в библиотеку. Прочел мне статью Гагерна, своего друга, о имп. Александре в периодич. сочинении «Der Einsiedler». Гете был у меня с визитом, по крайней мере я нашел его карту». Карточку Гете завез вероятно его сын Август; сам Гете не выходил из дому из-за простуды [54], как видно из записи канцлера Мюллера.

8 августа Мюллер занес в дневник: «Я застал Гете в постели, простуженного, однако бодрого. Я рассказывал ему про ст. сов. Тургенева,—он—много о «Globe». Что такое неприязненность, как не подчеркивание слабых сторон?» [55] Последняя фраза—вероятно подлинные слова Гете

из разговора с Мюллером—относится к Ж.-Ж. Амперу, чье письмо к мадам Рекамье о посещении Веймара помимо воли автора появилось в парижском «Globe»: оно было неприятно Гете между прочим и указанием, что у Гете есть «наивное сознание своей славы». Однако и приезд Тургенева повидимому не заинтересовал Гете.

День 7 августа Тургенев посвятил осмотру достопримечательностей Веймара, связанных с Гете и другими писателями. Его чичероне был канцлер Мюллер. «В 7 ч. утра явился ко мне уже канцлер Мюллер и повел в парк и в окрестности города, опять показывал сад и домик загородный Гете, который мы видели вчера уже в сумерки. Мы толковали о многом и о многих. Я слушал его с удовольствием, ибо он говорил о немецком Платоне, Якоби, и о Иоганне Мюллере, и о Гумбольдтах, и пр., всех знавал и со многими был в дружеской связи. Я и не знал, что он первое лицо здесь и у ворот моих дожидался его уже фурьер от гр.-герцога. Веймар со своими садами и парками, в самый город входящими, нравится мне отсутствием всякой популярности. За несколько шагов от центра города вы уже в парке; поднимитесь на гору и другая гора и деревья заслоняют от вас все городские здания. Кажется, как будто находитесь в отдалении и от шума городского. Ильма не река, а ручей, пробивается сквозь кустарники; но журчание этого ручейка слышно будет в веках. Гете, Виланд, Шиллер к нему прислушивались. Они топтали берега его и мечтали под тению его кущей. Гете, кажется, живет и теперь с потомством: о нем говорят уже как о воспоминании, с почтением, которое питают к великому и вместе давно минувшему. Показывают его жилище, как святыню. 1-й час. Мюллер принес мне в подарок медаль в честь Гете, герцогом и герцогинею выбитую, с их тремя изображениями и стихи свои на сей случай... и выписку из бумаг его [Якоби], несколько мыслей Якоби, нигде не напечатанных. Старый герцог и герцогиня приглашают меня завтра к себе обедать, а сегодня, по болезни герцога, принять не могут; но я вряд ли останусь. Мюллер водил меня в библиотеку... Но для меня примечательнее книг были бюсты и портреты веймарских ученых: Гете, Шиллер и Виланд во всех видах. Из русских только один А. Л. Нарышкин. Я не упоминаю о Петре Великом: ибо он пойдет в ряду с полубогами. Мюллер выпросил у меня записку Карамзина для Гете, который собирает рукописи славных людей и желал иметь его. Я дал одну из 3-х сот со мной путешествующих и именно ту, где он приглашает тебя и меня на именинный обед» [56]. Непоседливый Ал. Ив. на следующий день уехал из Веймара, так и не повидав Гете, но уже 9 августа писал брату Николаю из Дрездена, что около 25-го «выедет или в Лейпциг или в Веймар навстречу Жуковскому к юбилею празднику Гете, хотя дорога до Веймара и скучна». Однако не «выехал» и упустил случай вместе с Жуковским и Рейтерном провести три дня с Гете, о чем сильно пожалел, так как Гете был «необыкновенно любезен и как отец» с Жуковским: «он зажился три дня в Веймаре в беседе с Гете, от которого и я получил милое слово чрез канцлера Мюллера, который писал ко мне». «Гете незаменим», заключал свое сетование Александр Иванович [57].

Вторая веймарская поездка Тургенева может служить прекрасной иллюстрацией сложных литературно-политических отношений между дворами веймарским и петербургским, о которых выше было много говорено. Двор Марии Павловны умел всасывать в себя литературных или окололитературных посетителей Веймара, так что они и не замечали, как из



А. И. ТУРГЕНЕВ

Портрет сепией А. Кестнера (Рим, 14 февраля 1833 г.)

Под портретом стихи Кестнера:

Den Freund so wie den Dichter
Soll dieses Bild erfreuen
Wer viel gewohnt zu schützen
Weiss vieles zu verzeihen
Er fühle was beseelt
Und dichte, was ihm fehlt

Kestner, Rom, 14 Februar 1833

Институт Русской Литературы, Ленинград

паломников к Гете превращались в восторженных верноподданных ее русско-веймарского высочества.

Из высказываний А. Тургенева о Гете, предшествовавших его третьей поездке в Веймар, упомянем только одно. Когда-то А. И. Тургенев, подобно Пушкину, чуть ли не как личное оскорбление рассматривал получение им придворного звания камергера. Чинопочитание и орденолюбие Гете поэтому не пользовалось его симпатией, и он не без иронии писал брату-декабристу, что «нашел» в одном журнале «единственное замечание на новый отрывок Гете, что автор имеет теперь уже п я т ь орденов! Пусть говорят об этом, если хотят, в биографии тех государей, кои давали ордена сии, ибо это им некоторую честь делает: но что та грудь, где билось сердце Вертера, украшена датским Слоном! Тут можно бы по справедливости сказать: Слона-то я и не приметил» [58].

В 1829 г. А. И. Тургенев прожил в Веймаре десять дней (3—13 мая), но на долю Гете из них пришлось немного. Тургенев жил в Веймаре в свое удовольствие, в каком-то непрерывном придворно-литературном празднике и со свойственной ему жадностью к жизни отдался калейдоскопу впечатлений придворных, политических, мемориально-литературных, эстетических, театральных, гастрономических—всяческих. Свидание с Гете было только поворотом этого калейдоскопа, самым ярким, но не самым продолжительным. Тургенев чувствовал себя в Веймаре на положении гастролера в провинции: на столичной сцене актер играет вторые роли, его знают, но не замечают, даже слегка косятся на него, но когда он на время перекочевывает на глухую провинциальную сцену, он оказывается в центре внимания, ему честь и место, за ним ухаживают, он—гастролер.

Тургенев не без удовольствия записал свое веймарское гастролерство. Вот этот—впервые представляемый—калейдоскоп имен, лиц, книг, обедов, разговоров, визитов, пустяков, спектаклей, восхищений и легких порханий по людям и идеям:

«В Эрфурт приехал ночью и ждал часа два отправления; в Веймар, где пишу, приехал в 6 час. утра, 3 мая. Остановился в почтовом трактире: Alexanders Hof. Был у гр. Санти, с ним у Бьелке, у гофмаршала, в церкви и один у канцлера Мюллера, коего ожидаю к себе... Был у священника, но он в Дрездене на похоронах Ханыкова. Получил от Ник[олая] письмо №1 от 22 апреля (среда—утро). Был уже и на кладбище, где могилы украшены цветами; но кресты и надгробья не достойны немецких Афин. На могиле Вольфа, знаменитого актера, нашел жену его, с цветами. Получил приглашение на обед и на вечер к вел. княгине. У меня сидел канцлер Мюллер: долго говорил о В[альтер] Скотте, о Гете, который желает знать подробности о первом. Бьелке был у меня.

Обедал. За столом говорили об Англии, Веллингтоне, Грее, об эмансипации. После обеда с княжной о том же: Фицтум мешался в разговоры длинными рассказами. О смерти Ханыкова и его сочинениях и опять об Англии. Обедал у вел. княгини. Герцог. Дочь его, будущая, вероятно, королева Пруссии. Министр финансов Герсдорф, Фицтум, Бьелке и другие. Сидел подле герцога; говорили опять об Ханыкове и об эмансипации. После обеда представил меня принцессе Августе. Очень забавно говорила об Англии, но Фицтум мешал ей говорить, а мне слушать ее своими претенциозными речами. В 5 часов разошлись. Был с визитом у многоречивого Фицтума, слушал его о России и о государе, и о надеждах его на него. В 7 часов опять во дворец на вечер. Много дам. Предлагали мне играть

с герцогом в карты, но я отказался за неуменьем. Вел. княг[иня] позвала к себе и посадила подле себя и дам своих. Опять говорили об Англии, велик[ом герцоге?—*С. Д.*] Кумберл[андско]м, княгине Ливен, о Штейне. Просидела с нами до 9 часов и во все время почти меня расспрашивала о В. Скотте и о других. Сказала, что Гете думает, что В. Скотт писал «Историю Наполеона» *по заказу прав[ительст]ва англ[ийско]го. Я разуверил* ее. Разговор и знакомство с мин. фин. Герсдорфом.

Сегодня, т. е. 4 мая, был у Моса, гофмаршала вдовству[ющей] герц[огини], пригласившей меня к себе в 12 час. Разговор о Штейне. Портрет Каподистрии, писанный d'Egloffstein и дурно выгравированный. О Веймаре и о его влиянии на Германию, о пок[ойном] герцоге. От нее к Мюллеру. О поэте гр. Платене и о его неблагодарности другу Гете, Кнебелю, которого одурачил, приняв его благодеяния. Гете, который ему обязан первым знакомством своим в Франк[фурте] с герцогом, не читает более сочинений Платена. Гете пригласил меня к себе в час. Мюллер показывал мне ящик с письмами Гете, Шиллера, Гердера, Виланда, кои герцог велел ему описать и хранить, а герцогиня разрешила напечатать некоторые. Никто еще, кроме герцогини, не читал их. Мюллер прочтет мне лучшие, кои не могут быть напечатаны, но в коих—«в с я д у ш а с л ы ш н а»—и душа 4-х душ, каковы Гете, Гердер, Шиллер, Виланд!—Был у герцогини; говорил об эман[сипации], о Кумберландском, о Грее, Ландсдовне, Кларанском, Эссекском и пр.—умная женщина» [59].

Рассказ Тургенева порхает, летит и спешит до того, что, спутавшись, отрываемый кем-то от дневника, он дважды рассказал об одном и том же обеде у Марии Павловны: иначе приходилось бы думать, читая эту его запись, что он дважды в день пообедал при дворе и с одними и теми же разговорами. Его появление в Веймаре произвело маленький и приятный переполох; говорливому и любезному гостю, только что набравшемуся самых свежих новостей в Лондоне, в салоне княгини Ливен, где собирался «скептический причет» дипломатов, не давали покоя, требуя рассказов о такой европейской знаменитости, как Вальтер Скотт. Он с охотою спешит удовлетворить захолустное любопытство проселочных герцогинь и уездных герцогов и не устает повторять им по нескольку раз все политические сплетни, все столичные новости по части литературы,—и немудрено, что этот уездный «двор» в восторге от него: не знает, где посадить и чем потчевать. Но и Гете—как дано уже знать Тургеневу—ждет своей порции лондонских вестей. В вихре придворных плезиров в записи Тургенева там и сям мелькают примечательнейшие сведения о Гете. Эпизод о Платене и Кнебеле оценят специалисты-гетеведы. Александр Иванович ловит на лету все эти сведения о Гете, но он не успевает сосредоточиться на чем-нибудь более устойчивом и связном, как сосредоточивался он в Дрездене, записывая разговоры о Гете на вечеринке m-lle Винкель: легко ли написать что-нибудь путное под щебет такой «дамы приятной во всех отношениях», какой была Мария Павловна!

Но вот наконец 4-го же числа А. И. попадает к Гете: «У Гете. О Вальтер Скотте, о его «Истории Наполеона», в коей много нового и для Гете: «Jch habe viel von dieser Zeit verschl[ossen], (Многое об этом времени я замкнул в себе), и нашел в сей истории и новое и ц е л о е, и то, как англичане видят вещи и Наполеона и свои отношения к нему». Велел кланяться Жуковскому и сказал от души несколько слов о нем. Спрашивал о Пиле и о других; о романах Вальтер Скотта и особливо о «Девице Пертской» [60].

Запись драгоценна: она сохраняет подлинные слова Гете, наполовину даже на его языке. Визит А. И. Тургенева был наполнен разговором о Вальтер Скотте, его романах, его «Истории Наполеона» и об английских деятелях современности.

Про это свидание 4 мая Гете так и записал в дневнике: «Русский статский советник Тургенев, возвращающийся из Англии и Шотландии, с рассказами о многих, с кем он познакомился. Он был уже у нас несколько лет тому назад с г. Жуковским»[61]. Память изменила Гете: Тургенев не был у него с Жуковским ни в 1821, ни в 1827 году. Вероятно визит Тургенева в 1826 г., когда он рекомендовался другом Жуковского, слился в слабеющей памяти Гете с посещением Жуковского в 1827 г.; но могло быть и так, что с этим сентябрьским посещением Жуковского слился у Гете августовский визит Тургенева в том же году; он тогда был в доме Гете, но не был им принят по болезни.

А. И. Тургенев был лично знаком с Вальтер Скоттом: в 1828 г. он посетил его в замке Абботсфорде, был с ним в переписке и от него самого знал историю его заочного знакомства с Гете. Своей связью со знаменитым романистом Гете дорожил и обрадовался, когда в 1827 г. получил от него большое дружеское послание. Гете был прилежным читателем и горячим почитателем Вальтер Скотта, признавая в нем великий талант и многообъемлющую натуру. Он находил, что у Вальтер Скотта, как у редкого из певцов, «в полном распоряжении весь объем голоса от самых высоких до самых низких нот», и отмечал в нем «всеобъемлющее знание реального мира». Понятен совершенно исключительный интерес, проявленный Гете к «Истории Наполеона» Вальтер Скотта: его любимый писатель писал об его любимом историческом герое. Он получил экземпляр этой книги от самого Вальтер Скотта, который писал Гете: «Я позволил себе поручить гг. Трейтеллю и Вюрену предложить Вам свой опыт жизнеописания того замечательного человека, который в течение столь многих лет оказывал такое страшное влияние на порабощенный им мир». Гете ожидал книгу с нетерпением: «Я слышал об этой книге много противоречивых и страстных отзывов, а потому уверен заранее, что книга во всяком случае замечательна». Ознакомившись с книгой, Гете выразил о ней мнение, которое в передаче Марии Павловны дошло до Тургенева в том виде, что Вальтер Скотт писал по заказу английского правительства с целью развенчать Наполеона. Теперь Тургенев, недавно видевшийся с Вальтер Скоттом, был перед Гете: великий поэт высказал перед ним свое мнение об «Истории Наполеона» и оно оказалось более выгодным для Вальтер Скотта, чем переданное августейшими устами. Реплики Александра Ивановича были вероятно повторением говоренного Марии Павловне. В 1830 г. Гете развивал перед Сорэ мысль, высказанную Тургеневу, что в книге Вальтер Скотта интересно «и то, как англичане видят вещи и Наполеона и свои отношения к нему». «Можно упрекнуть автора за большие неточности и за большую партийность,— говорил тогда Гете,—но именно оба эти недостатка и придают для меня особую ценность его сочинению... Книга В. Скотта, именно в ненависти к Наполеону и французам, служит верным представителем и истолкователем английского народного мнения и английского национального чувства. Его книгу никоим образом нельзя считать документом для французской истории: она документ английской истории».

Но если «Историю Наполеона» Гете принимал с оговорками, то о «Пертской красавице» Вальтер Скотта, о которой толковал с Тургеневым, отзы-

вался восторженно: «Вот это так написано! вот это так рука! Какая уверенность в плане, и в подробностях нет ни штриха, который не вел бы к цели. И какие подробности, как в разговорах, так и в описаниях! И то и другое превосходно. Его сцены и положения можно поставить наравне с картинами Теньера; в распорядке целого они обнаруживают высоту искусства; отдельные фигуры дышат правдой; все до мелочей отделано с любовью... В «Пертской красавице» нет ни одного слабого места, где бы чувствовалось, что у него не хватило знания или таланта». К этому обсуждению высоких достоинств «Пертской красавицы» Гете не раз возвращался в беседах с Эккерманом[62].

Таким образом своим живым рассказом о Вальтер Скотте Тургенев удовлетворял живому интересу Гете. Столь же интересен был для Гете и рассказ его об английских политических деятелях во главе со знаменитым Робертом Пилем-младшим (1788—1850), с которым Тургенев встречался в салоне княгини Ливен.

Беседа Тургенева с Гете не ограничилась однако темами, попавшими в дневник.

9 сентября 1829 г. Тургенев коротко писал Жуковскому: «Путешествие мое по Германии и Бельгии занимало меня. Я видел много нового и необыкновенного. В Бонне слышал Нибура, Шлегеля, оставил первому 12-й том Карамзина, ибо он все знает—и по-русски. В Дюссельдорфе гулял, обедал в Пемпельфорте, у сына Якоби, и был принят как родной. В Веймаре впервые в жизни насладился беседою Гете за бутылкою вина и осыпаем острым огнем Гете-сатирика над философами берлинскими»[63]. Сам Жуковский писал об этом визите Тургенева: «Я получил от Тургенева письмо; он мне рассказывает, между прочим, о Гете, с которым он провел восхитительный час»[64].

Гете язвительно нападал при Тургеневе на учеников Гегеля: именно их нужно разуметь под «философами берлинскими». Гегель посетил Гете в октябре 1827 г. и вел с ним разговор о диалектике, очень кратко и сбивчиво записанный Эккерманом; такие вопросы были вне осведомленности этого собеседника Гете. Повидимому Гете был тогда не против идеалистической гегелевской диалектики самой по себе, но резко нападал на злоупотребления ею и радовался, по его словам, что сам «занимался изучением природы», а не философией, выражая уверенность, «что многие диалектические болезни получают благодетельное целение в изучении природы». Но благосклонный более или менее к самому Гегелю, хотя так и не усвоивший его построений и метода, Гете язвительно нападал на маленьких ортодоксальных гегельянцев Берлина, которые казались ему вероятно схоластическими «Вагнерами» и «учениками» из его «Фауста». Тургенев мог тут только слушать и ценить «сатиризм» Гете, но не возражать и вряд ли даже подавать реплики: так далек он был от Гегеля и философии»[65].

В то же свиданье Гете пожаловался Тургеневу на талантливого писателя Ж.-Ж. Ампера, о котором уже была речь. В 1833 г. Тургенев, прочтя его книгу «Littérature et voyages» (Paris, 1833), где был перепечатан его рассказ о посещении Веймара, писал Вяземскому: «О Гете—интересно, но я помню, что старик на него жаловался, прочитав статью его в Глобе о Веймаре»[66].

Вот все, что мы знаем об этом свидании А. И. Тургенева с Гете.

Вернемся к веймарским впечатлениям А. И. Тургенева, отраженным в его дневнике. Вечером 4-го он был в театре:

«Герцог прислал лакея свести меня в театр. Давали раупахову пьесу «Die Schleichhändler» (Контрабандисты), в которой роль «Till, der Zoll-assistent» (Тилля, таможенного чиновника) актер Ларош играл очень удачно и совершенно в характере и с манерами самого Раупаха. Публика немногочисленна, театр не огромен, но это колыбель прекраснейшего в немецкой драматургии. Здесь Гете, Шиллер выводили на сцену свои бессмертные лица, здесь произнесены в первый раз слова его о мимическом искусстве, столько раз мною повторенные: und wer des etc. Но прежний театр сгорел и на том же месте построен нынешний, немного побольше старого и вмещающий до 1200 зрителей. Тут был и герцог—во фраке, как простой гражданин, менее в своей ложе важничающий, нежели Тюфякин в Большом каменном театре. Оркестр хорош. Он принадлежит к капелле герцога.

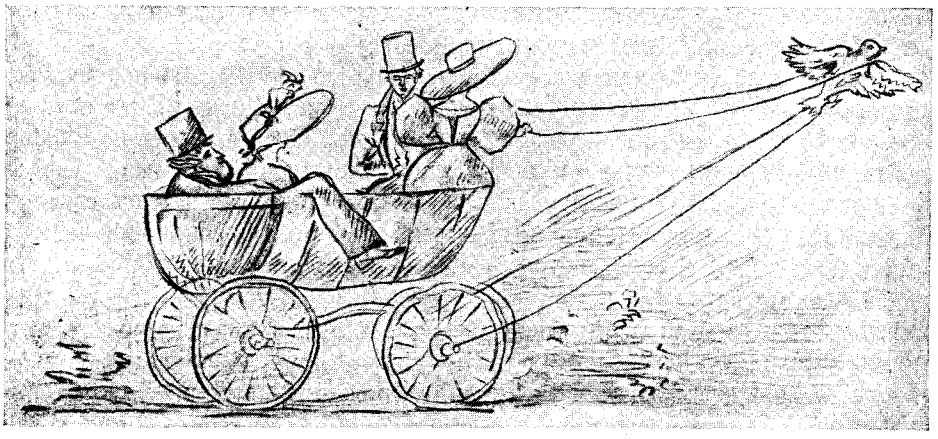
Вечер провел у Санти; с mad. Virlier говорил о гр. Разумовской, о Каподистрии, и я вздохнул благодарным сердцем по первой и возвратился в 10 час. в свой трактир; на улицах все уже тихо и никого не встретил и пешком, не только в экипажах. Только огонек светился в верхних светлицах. Жители, выходя в 8 часов из театра, желали уже себе доброй ночи, которой пора мне пожелать и самому себе»[67].

5 мая А. И. «гулял с Мосом в саду, в Römisches Haus, был в садике Гете, обедал у герцога: об имп[ератриц]е Марии, о свидании (?—*С. Д.*) и опять в театр, где играли «La reine de Golconde». Герцог говорил об истории веймарского театра». 6 мая Тургенев посетил загородную герцогскую виллу Тифурт; о ней он, как увидим, писал в пушкинском «Современнике». 7 мая—опять обед при дворе, опять расспросы о Вальтер Скотте, опять «вечер у великой княгини» с просмотром «новейших книг с видами Рейна, Гишпании, Италии», с «разговором об имп. Елисавете, о ее училищах, коих не показала вел. княгине, об имп[ераторе] Ал[ександре], отдавшем сумму театральным сиротам, и снова слезы». В результате: «уговорила остаться еще на несколько дней здесь». Эти «несколько дней» имеют мало отношения к Гете. Привожу только интереснейшее в историко-литературном и бытовом отношении. 9-го Тургенев «был у обедни, где кроме вел. кн. и Эглофшт[ейн] были: Томсон, Грим, две женщины и два или три лакея, кажется, русских. Пели изрядно. После об[едни] вел. кн. хвалила мне нашего священника. Познакомился у Мюллера с девицей Якоби, внучкою философа, показывала письмо его к ней—малолетней тогда, и рассказала разрыв его с Штольбергом—за недоверенность при перемене религии и с Фоссом за жестокость с Штольбергом. Пемпельфорт все еще принадлежит Якоби—отцу ее». В этот же день Тургенев «просматривал» книгу о друге Гете кн. Амалии Голицыной (см. выше) и интересовался сыном ее, католическим миссионером в Америке. 10 мая отметка: «у m-lle Fritsch—рисунки Гете. Гулял под мостом на месте, называемом: Der Stern. Вечер: с принцессой: о Тальме, о франц., англ. литерат. С великой княгиней о Дежерандо, его Visiteur du pauvre, о филантр[опических] общ[ест]вах в Париже и Лондоне. «Sie haben uns vortreffliche Vorlesung gehalten» (Вы прочли нам превосходную лекцию). О Штейне опять—благодарила за выписку из Герца»[68].

11 мая А. И. Тургенев был у канцлера Мюллера, рассматривал его альбом и внес в дневник «выписки из альбума Мюллера». Под благоговейно-восторженными по отношению к немецким Афинам строками Жуковского (см. их в главе V) и немецкого поэта Маттисона А. И. Тур-

генев написал: «Le bonheur est dans la vertu qui aime et dans la science qui éclaire; c'est surtout dans mes rapports avec les heureux de Weimar que j'ai senti la vérité de cette observation» (Счастье—в добродетели, которая любит, и в науке, которая просвещает: в моих сношениях со счастливцами Веймара я особенно почувствовал истину этого наблюдения)[69].

Эти записи характерны. Мюллер был канцлером, дипломатом, но, сам немного поэт, он отлично умел ладить с литераторами, полулитераторами и просто любителями литературы, посещавшими Веймар. В нем жила действительная любовь к литературе и действительное, не только придворно-дипломатическое преклонение перед Гете. Для канцлера Веймарского



А. И. ТУРГЕНЕВ ПУТЕШЕСТВУЕТ
Карикатура неизвестного художника
Институт Русской Литературы, Ленинград

государства, где писательство Гете и европейское паломничество к нему было важною областью политики, эти свойства Мюллера были большим достоинством. Он был ходячий комментарий к жизни и творчеству Гете, но комментарий, исполненный дипломатической ловкости и веймарского патриотизма. Никто больше Мюллера не поработал для создания культа Гете,—и никто, тем самым, столько не посодействовал укреплению легенды о вседовольном олимпийстве Гете, создавшемся на чахлой почве веймарского социально-политического микроорганизма, будто бы превратившегося в благословенную Аттику.

В тот же день, 11-го, А. И. Тургенев вновь посетил Гете. У Гете нет отметки об этом посещении. В дневнике Александра Ивановича скупо отмечено: «Прощался с Гете», но на следующий день, 12-го, он, описывая свое прощание с герцогом, обмолвился: «Веселый разговор при грустном прощании с принцем о Раупахе, о неудачном посещении Гете»[70]. В чем была эта неудача—неизвестно.

11 мая Тургенев встретился с новыми русскими приезжими к Гете. Это была княгиня Зинаида Александровна Волконская с сыном А. Н. Волконским и с двумя московскими любомудрами—С. П. Шевыревым и Н. М. Рожалиным. 12 мая они были приняты Гете (см. главу «Московские любомудры у Гете»). А. И. отметил в дневнике: «Кн. Зенеида о брате. Письма из Сибири. Поступок братьев с к[нязем] Сергием». Это—сухие вехи интересного разговора о декабристах: «брат»—Н. И. Тургенев; «письма

из Сибири»—конечно от деверя «княгини Зенеиды», декабриста С. Г. Волконского и его жены Марии Николаевны (урожд. Раевской); «братья» «князя Сергия»—муж «Зенеиды», кн. Никита Г. Волконский, и деверь ее—Николай Гр. Репнин (Волконский), знакомец Гете.

После свидания с З. А. Волконской Тургенев был во дворце, и ему, приятелю Жуковского, занимавшегося воспитанием русского наследника, «великая княгиня говорила о трудности воспитания сына, что для малого государства еще труднее воспитывать, чем для большого; но согласилась со мною, что часть учебная здесь легче и обильнее достигается. Советовала познакомиться с Швейцером, бывш. иенским профессором, а теперь здесь министром. Приезд кн. Мещерского». Это—знакомый нам князь Элим, тогда только готовившийся еще к роли официального российского гетеанца. Гете принял его 15 мая.

12 мая Тургенев побывал у рекомендованного ему Швейцера, но зашел и к Мюллеру: «У Мюллера читал письма Гердера о Риме, о Гете его же—и выписал место, где он называет Гете ангелом. Письма Гете—из Веймара и Италии—оба к герцогине и к герцогу; письма матери Гете и жены Гердера к ним же. Обедал: герцог 4 раза говорил то, что о себе писать совестно. У меня был Бьелке от в[еликой] к[нягини] и еще раз расспрашивал. После обеда прощался». После театра А. И. «простился с Зенеидой».

«13 мая в 3 часа утра встал, в 4¼ выехал в Дрезден» [71].

Итог этой третьей веймарской поездки А. И. Тургенева: десять дней придворной жизни—и среди них два свидания с Гете, удачное и неудачное, и ряд разговоров, чтений и экскурсий, связанных с ним.

Веймарский «фон»—двор, знать, министры и пр.—на зарисовке Тургенева застит фигуру Гете. Но весь секрет картины—«Веймарские Афины»—в том и состоит, что от Гете (и от мемориальных, уже музейных, Виланда, Гердера, Шиллера) идет то искусственное освещение in modo classico, которое позволяет видеть что-то «афинское» в этом уездном придворном бездельи, в этом «городке в табакерке» старых сентиментальных сказочек. Еслиб убрать рефлектор, каким являлся Гете, то тотчас же исчезла бы вся литературно-показательная позолота с этого дворика. Тургенев очень тщательно записывал все, что видел и слышал в течение десяти дней при дворе Марии Павловны (гораздо подробнее, чем виденное и слышанное у Гете), но из всего записанного нельзя отметить ни одного слова, ни одного факта, который порадовал бы «лица необщим выраженьем»: все необыкновенно тускло и скудно, но все тщится золотить себя мнимою литературностью. Смешно читать, как ex professio каждая принцесса и придворный пристают к Тургеневу с расспросами о Вальтер Скотте: так «принято», так «в традиции» говорить о литературе, что даже наконец и тупой Карл-Фридрих, встретясь 7 мая с Тургеневым на прогулке, «спросил о Вальтер Скотте». Если отнять от общества Марии Павловны лоск этой литературности поневоле, это политико-профессиональное сватанье всех заезжих чужеземцев с веймарскими—живыми и музейными—генералами от пера и чернильницы, то от «двора муз» повеет тою же позолоченной пошлостью, какою веяло на Пушкина от двора Николая Павловича, не видевшего проку ни в какой литературе. Между тем разговором о Вальтер Скотте, который Гете вел с Тургеневым, и теми разговорчиками о нем же, которыми докучали ему придворные, общего лишь то, что там и тут упоминалось имя одного и того же английского писателя. Но как характерно для «двора муз», что он натаскивал себя на

разговор на ту же, недоступную ему тему, которая была живым интересом великого писателя!

Действительному интересу к Гете и его творчеству А. И. Тургенев мог бы поучить любого из «высокопоставленных» веймарских гетеанцев, с которыми прожил десять дней.

Отклик Тургенева на смерть Гете нам не известен, но и в 30-х годах он остается прилежным его читателем. Цитаты из Гете часты на устах Тургенева. В заграничных странствованиях Гете часто вспоминается ему. В Милане, глядя на бюст Монти, он поражен сходством его с Гете; в Венеции он тужит, что «Гетевых эпиграмм на Венецию нельзя уже теперь во всем применить к ней: с тех пор многого не стало, многое смолкло»; в Риме, присутствуя при огромном успехе «Последнего дня Помпеи» Брюллова, он радуется, что «с этим художником можно рассуждать об его искусстве, и он читает Плиния и просит дать ему Гете «Farbenlehre», чтобы писать пожар и молнию»; побывав в студии Овербека, он пишет: «Картина его—историческая поэма, начертанная с неподражаемым совершенством, но еще только в рисунке и в малом виде; это Dichtung und Wahrheit Гете, который сначала, по собственному чувству и следуя своему гению, превозносил характер немецко-итальянской старинной школы, но после, попавшись в Италии в руки Анжелики Кауфман, Майера, Тишбейна и пр. и испорченный ими, порочил христианско-немецкое вдохновение живописцев этой школы. Художники-немцы жалеют, что ему не удалось видеть их теперешних произведений» [72]. О даровании Гете Тургенев по-прежнему самого высокого мнения. Вот только один-два примера из числа многих, которые можно бы привести. Прочтя, как аттестует Artaud лично знакомого ему Шатобриана: «Chef de la littérature de l'Europe», он иронически задает вопрос: «Не Гете ли был его лейтенантом в Германии?» Как многие русские читатели 30-х годов (в их числе был и Лермонтов), Тургенев заинтересовался гражданской поэзией А. Барбье и в 1833 г. писал Вяземскому: «Посылаю тебе «Il Pianto», poème твоего protegé—Aug. Barbier, а кстати и «Ямбы» его, кои ты уже знаешь. В «Пиянто» хотел он писать в стихах, как Гете в бессмертных своих эпиграммах, Италию; но далеко кулику... Он корячится, как Гуго, но ниже своего предмета, или своих предметов» [73].

Однако год от году больше Тургенев становится читателем-критиком сочинений Гете, особенно посмертных. Из Женевы он пишет приятелю: «Обрыскаю окрестности Лемана с Эбелем и с Гете, коего путешествие по Швейцарии нашел в одной из 5-ти частей, после смерти его изданных. Издатели не пожалели и этого покойника! Сколько мелочи! Но в Эфрозине он опять почти Гете; 3-го дня в виду Монблана, на берегу озера при захождении солнца читал я стихи из этой пьесы:

Auch von des höchsten Gebirgs beeisten zackigen Gipfeln,
Schwindet Purpur und Glanz scheidender Sonne hinweg.
(Вот уже с горных вершин, ледяных, зубчатых, уходят
Гаснущий пурпур и блеск солнца прощальных лучей).

Вместе с этой поэзией вот какая проза передана потомству: «Donnerstag, den 19-ten. Mit Einpacken beschäftigt. Verschiedene Spaziérgänge» (Четверг, 19-го. С укладкою покончено. Разные прогулки). От этого пустословия голова устает более, нежели от исторических загадок поэзии Данта или от вашего тройственного и вольного подражания певцу во стане: «Надо вам поврать, непременно поврать надо» [74].

В 1836 г. он поехал опять в Веймар. Это было свидание со всем, что осталось от Гете: с его семьей, с его друзьями, с его домом, с его бумагами, с его реликвиями,—оно было особенно памятно для Тургенева, и он рассказал о нем лучше и несравненно полнее, чем о свиданиях с живым Гете.

Он сблизился в этот приезд с семьей Гете, как еще в 1827 г. сблизился с канцлером Мюллером. 3 июля 1836 г. он оповещал Вяземского из Москвы: «В Веймаре пробыл шесть суток. Великая княгиня осыпала меня ласками. Там не нашел я гравированного портрета сына Гете, но заказал живописцу, который для отца Гете писал всех его приятелей и самого сына. Он принес ко мне в минуту отъезда сверток с портретом Гете-сына, и он готов для тебя. Жена Гете присылала мне другой, маленький, посмотреть, но уверяют, что мой большой лучше. Я осматривал гетевы сокровища и списал письмо к нему Вальтер Скотта, но все... (Точки в подлиннике.—*С. Д.*). Скажи Жуковскому, что весь Веймар, а из Дрездена Тик, коего слышал в переводе Шекспира, и дряхлый, но все еще поэт Тидге, ему кланяются» [75]. Свои воспоминания о Веймаре и обо всем, что жило там от Гете и во имя Гете, А. И. Тургенев приберег для пушкинского «Современника». «Отрывок из записной книжки путешественника» попал в пятую книжку журнала, вышедшую уже после смерти поэта, но Пушкин читал его и готовил к печати. Тургенев дорабатывал этот «Отрывок» к печати в преддуэльные дни и беседовал с Пушкиным о немецком поэте; так 22 января 1837 г. встречаем запись в дневнике А-дра Ив-ча: «Зашел к Пушкину: о Шатобриане и о Гете». 23-го отмета: «кончил переписку веймарского дня, прибавил только 15 англичан к Гете и ответ его в стихах и после обеда отдал и прочел бумагу Вяземскому... Оттуда к Щербатов[ой]. Там с Лаваль и хозяйкой о Гете и Шиллере» [76].

Вот рассказ А. И. Тургенева о Веймаре, высоко оцененный Пушкиным и его друзьями (с сокращениями):

«21/9 июня 1836 г. Веймар.

Поутру отправился я с канцлером Мюллером в Тифурт, где я бывал некогда с мечтами и воспоминаниями, с грустью по умершем брате... Мы вошли во двор скромного, сельского домика, где в продолжение более 40 лет расцветал цвет германской словесности: где живал каждое лето Виланд, где Гердер, Гете, Шиллер, Кнебель собирались м ы с л и т ь в с л у х п р и д в о р е, во услышание всей Европы и потомства; водворять в Германии владычество 18 века, поэзии, философии, прагматической истории человечества и в беседах своих, в сей академии возрожденного германизма, воскрешать древнюю Грецию, изменяя и возвышая ее христианскою философиею. Паганизм Виланда не чуждался ни библейской поэзии Гердера и «идей» его о судьбе человечества, ни шиллеровой религии сердца христианского, ни хладных сомнений всеобъемлющего, но не всепостигшего гения Гете—Мефистофеля.

В этом домике все просто, как гениальное сознание, все миниатюрно, но в миниатюрном отражается великое и возвышенное.

Тифурт—святыня германского гения, ковчег народного просвещения.—Поэзия, влиянием своим на современников Гердера, Шиллера и Гете, созидала историю, приготовляла будущее Германии и сообщала новые элементы для всей европейской литературы, для Байрона и Вортсворта, для исторического ума Гизо и Фориеля (о нем сказал кто-то: c'est le plus

allemand des savants Français), для души, которая все поняла и все угадала, и все угаданное и постигнутое в Германии передала Франции и Европе, для души Сталь; наконец, для нашего Жуковского, которого, кажется, Шиллер и Гете, Грей и Вортсворт, Гердер и Виланд ожидали, дабы воскликнуть в пророческом и братском сочувствии:

Мы все в одну сольемся душу!

И слились в душе Жуковского...

Веймарский мой cicerone Мюллер был и сам два года одним из собеседников сих корифеев немецкой словесности и его часто приглашали в круг их. Виланд был одним из старейших членов тифуртской беседы и написал здесь большую часть своих сочинений. Гете провел здесь лучшую часть поэтической и долговременной жизни своей.

Мюллер водил меня по всем комнатам и в каждой показал мне все предметы, все бесценные безделки, кои напоминают герцогиню [77] и друзей ее. По стенам и во всех уголках,—так что нет ни одного незанятого местечка,—ландшафты, портреты, напоминающие тогдашнюю эпоху, тогдашний мир веймарский и тифуртское житье-бытье...

Наконец Мюллер описал мне весь прежний тифуртский быт, всю старину, указал место, где собиралось общество, где беседовала герцогиня наедине с мудрецами своими.

Оттуда провел он меня в парк, в беседку, где она проводила с ними послеобеденное время, иногда приносили туда и обед. Мы взглянули на памятники Виланду, Гердеру, дяде нынешнего герцога, умершему на поле сражения противу французов, в саксонской службе: Гете дал идею для памятника, и сочинил надпись.

Перед вами аллея в гору, на вершине коей какая-то статуя.

Мы перешли мостик через неумолкающую Ильму. Здесь часто останавливались, разговаривали, мечтали поэты-философы Веймара. Гете разыгрывал на берегу Ильмы и на самом мостике одну из пьес своих:

Klein bist du und unbedeutend unter Germaniens Flüssen,
Aber du hast gehört manches unsterblich' Lied.

(Мал ты и вовсе ничтожен средь рек и потоков германских,
Но услыхал один песню бессмертную ты).

В рассказах и воспоминаниях о прошедшем мы обошли весь парк и возвратились в Веймар.

Я успел пробежать в прекрасно устроенном музее несколько литературных и политических журналов. В 6 часов зашел ко мне Мюллер и мы отправились в дом Гете, где уже ожидал нас Крейтор [78]. Я вошел в святилище с благоговением: у самого входа на полу приветствие древних: «Salve». Гете видел эту надпись в Помпее. Кабинет Гете о трех окнах, низкий и без всяких украшений. Посреди комнаты круглый стол простого некрашеного дерева, по стенам такие же шкафы с выдвижными ящиками, в них бумаги, минералы, монеты и всякая всячина. На простых креслах подушка, под креслами для ног сидевшего—другая. У стены еще стол, на котором Гете писал стоя; он наполнен черновыми бумагами, многие из них диктованы Гете секретарю его. Мне позволили взять три лоскута с помарками и с исправлениями рукой Гете; эти лоскутки в числе драгоценнейших моих аутографов и хранятся с письмами Шатобриана, Але-

ксандра Гумбольдта, Баланша, Кювье, Бонштеттена, Иоанна Мюллера, Шлёцера, Вальтер Скотта и т. д.

В альбуме нашел я имена посетителей этой святыни и русские стихи к Гете:

На Гете

Вот храм, где Гений жил, где Музы ликовали
И Грации цветы так щедро рассыпали!
Послушный сердцу одному
Страны далекой житель,
Войдя в твою обитель,
Бросает сей цветок к бессмертному венцу.

В. Ф. [79]

В том же альбуме отыскал я несколько милых имен: 25 августа 1833 г. был здесь и Жуковский.

В этом кабинете висят два слепка с портрета Наполеона. Мюллер рассказал мне историю одного из них. Сын Гете был страстный энтузиаст Наполеона; он собирал все его портреты и в 1813 году купил и принес к отцу и этот слепок. Гете повесил его в своем кабинете; в день Лейпцигской битвы этот слепок сам собою упал со стены и расшибся. Гете снова повесил его на стене, надписав на нем следующий стих из луканової «Фарсалии»—с переменою одного только слова: Scilicet immenso superest ex nomine multum. (В оригинале: nihil).

Гете не хотел всего отнять у Наполеона, который все отнимал у других [80].

Мы вошли в спальню Гете, это не комната, а каморка, или чулан с одним окном. Здесь его кровать, без занавеса, и кресла с подушкой, на коей он скончался. Ветхое одеяло, коего Гете не хотел заменить другим, накрывает его постель. Вид из этой комнаты, как и из кабинета, в сад. До самой кончины Гете был в памяти, незадолго перед кончиной, заметив, что в кабинете его окна были полузанавешены, он сказал своим приближенным: «Licht, mehr Licht! (Свету, больше свету!) Это были последние слова его и как бы завет великого просветителя Германии потомству.

Кончина Гете напоминает и другую, также в Веймаре, и последние слова его современника Гердера. Поэт-историк в тоске смертной сказал плачущему сыну: «Gieb mir einen grossen Gedanken, dass ich mir erquicke» (Освежи меня великою мыслию). Гердер в сию великую минуту признавал господство мысли над тлением. Просьба умирающего отца к сыну была и символом веры его в бессмертие: он исповедывал его, когда уже дух его парил к своему источнику.

В другой раз, также в минуты борения со смертью, Гете, увидев на полу записку, упавшую со стола его, сказал с жаром: «поднимите, это записка, это рука Шиллера! Как можно ронять ее!» Казалось, что душа его в ту минуту была занята последнею мыслью о друге, с коим вскоре она должна была соединиться.

В верхнем кабинете Гете, который можно назвать музеем, перебирали мы собрание писем его корреспондентов: между ними письма Вальтер Скотта, Байрона. Я списал письмо первого от 9 июля 1827 года; я слыхал о нем (в 1828 г.) от самого Вальтер Скотта, когда он мне рассказывал историю своего заочного знакомства с Гете [81].

Гете любил собирать и в свободное время иногда пересматривать портреты своих приятелей: в портфеле нашли мы более 200. В другом портфеле собственноручные рисунки Гете карандашом (другое сходство с на-

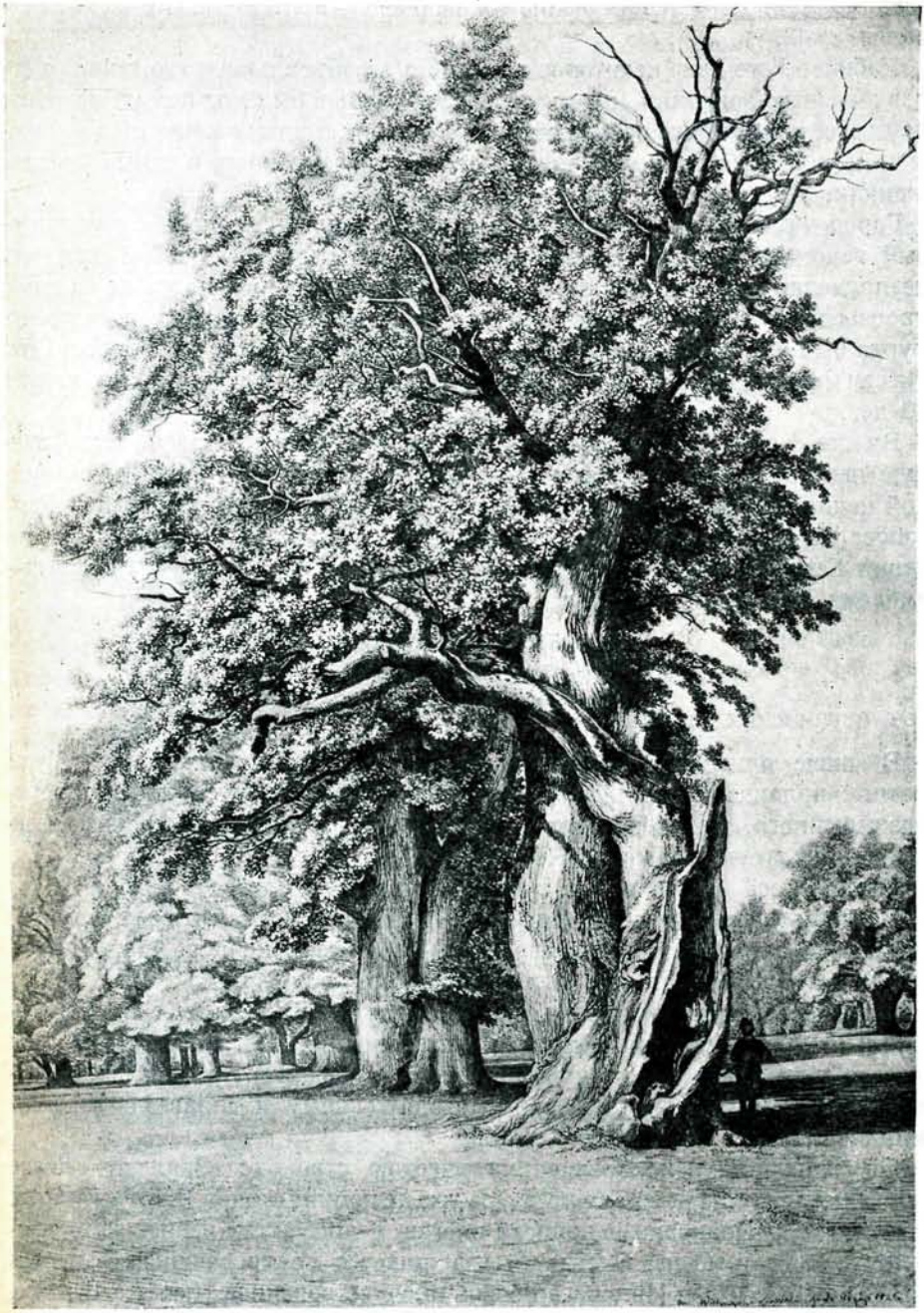


Рисунок Г. Рейтерна „Лес в Виллингсгаузене в августе 1826 г.“, преподнесенный им в дар Гете 6 сентября 1827 г.

Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

шим Ж[уковским]). Большею частью ландшафты, виды тех мест, кои ему нравились в его странствии по Германии и Италии. Тут и дерево, нарисованное для Гете нашим воином-живописцем Рейтерном: он часто любовался им [82].

Кабинет Гете дает некоторое понятие о всеобъемлющем его гении, о его разнородных занятиях и вкусах. Нумизматика была одною из любимых наук его, и вы видите редкое собрание древних и новых монет (одной шведской королевы Христины более 20). Все сии сокровища в самых простых ящиках.

Город Франкфурт (на Майне), место рождения Гете, поднес ему лавровый венок из золота; к нему приложен был лишний, особый листочек, не приделанный к венку: этот листочек был эмблемою надежды на новое произведение Гете, тогда еще полного жизни. Другой подарок города Франкфурта был кубок серебряный и при нем 48 бутылок вина—ровесника Гете. На сем кубке стихи его. Кубок сей поднесен Гете в 1819 г., когда ему минуло 70 лет.

Вместе с сими дарами от соотчичей видели мы и прекрасно выработанную печать из зеленого камня, на коем вырезана змея кольцом с немецкой надписью, выражающею характер гетевой деятельности: «Ohne Rast, sonder Hast» (Без отдыха, но и без спеха), августа 28, 1831 г. (день рождения Гете). На ручке вырезаны розы—символ Англии, дубовый венок—эмблема Германии, а вокруг

From friends in England
To the German master

(От английских друзей—германскому учителю).

В числе признавших Гете своим наставником имена: Томаса Мура, певца «ирландских мелодий», Соути Лауреата, Вортсворта, простотою возвышенного, Вальтер Скотта—некогда the great unknown и знаменитейших издателей разных «Reviews».

Подарок сей получил Гете в 1831 г. от 19-ти друзей из Англии [83].

В альбуме Гете к именам посетителей присоединил я и свое и написал на память четыре стиха переводчика Вертера, покойного брата Андрея, на 16-летнем возрасте им к портрету Гете написанных».

Далее Александр Иванович напомнил русскому читателю «о том влиянии, какое веймарская афинская деятельность» Гете, Шиллера, Виланда «имела и на нашу московскую словесность», давшую русской поэзии Жуковского. Мы уже знакомы с этим трогательным и справедливым напоминанием.

Он закончил свой отрывок элегическою строкою: «Заключу словами спутника поэта: «Где время то?» Но кто не помнит стихов Жуковского?» [84].

Александр Иванович и написал элегию в прозе: так вернее всего определить его «отрывок». Элегия всегда пишется по пословице: «De mortuis nil nisi bene», и Ал. Ив. сказал очень прочувствованное «bene» о Веймаре, о его писателях и властителях. Оно имело бы цену только как доброе излияние чувств доброго «карамзиниста», еслиб в нем Тургеневу не удалось сделать большего: во-первых, сохранить для нас несколько веймарских преданий, не лишенных цены для биографа Гете, во-вторых, передать ту атмосферу первых лет после смерти Гете, в которой складывался уже тогда веймарский «культ Гете», и в-третьих, сделать более трудное: Тургенев так описывает дом и комнаты Гете, что в них чувствуется присут-

ствие самого их хозяина. Невидимый, но живой образ Гете вызывается самым описанием мелочей его домашней обстановки. Это немалое мастерство и немаловажная заслуга писателя. Для русского же читателя 30-х годов это была отличная рекомендация живого Гете как европейского деятеля, связанного и с русской культурой.

На одно место в этой элегии следует обратить внимание: оно резко выдается из общего ее поминально-благоговейного тона. Вот как—уже лично от себя—отзывается Тургенев в 1836 г. о Гете: это—писатель «холодных сомнений». Это, «конечно, гений» и «всеобъемлющий»; тут Тургенев согласен и с Жуковским («всезрящей мыслию над миром он носился»), и с Боратынским («крылатою мыслию он мир облетел»), но на дальнейшие утверждения их: «на все отозвался он сердцем своим» (Боратынский), «и в мире все постигнул он» (Жуковский) Тургенев отвечает решительным «нет»: «всеобъемлющий, но не все постигший гений Гете—Мефистофеля».

Итак, теперь, во второй половине 30-х годов, Гете для Тургенева не Вертер и даже не Фауст, он—Мефистофель.

В 40-х годах он еще крепче стоит на этом. Он холоднее и реже отзывается о Гете в своих письмах, хотя попрежнему читает его и следит за книгами о нем. В 1840 г. он из Берлина пишет Вяземскому, которого когда-то так завлекал и в Веймар, и в книги Гете: «Я видел и слышал «Фауста», «Götz-Berlichingen», «Torquato Tasso» Гете и «Натана Мудрого» Лессинга. «Фауст» произвел на меня тяжкое ощущение. Нет, я бы не написал его. То-есть, не написал бы, если бы имел гений Гете. Оставаясь при моем страхе божием и любви к добрым людям, коим должно оберегать бога христианства и коих должно сберегать от дьявола и всех дел его, т. е. от гения Гете в «Фаусте» [85].

Этим отрицанием величайшего создания Гете заканчивается долголетнее «гетеанство» А. И. Тургенева и выказывается его социальная подоснова. Весь поверхностный либерализм брата декабриста, охваченного тщетным и страстным желанием «примирить» брата с правительством Николая I, «доказать» российским охранителям «невинность» Николая Тургенева и преданность его российскому престолу, оборачивается тут своим идиллико-феодальным лцом. Понять Гете как «Прометея» Тургенев разумеется не смог, как не смог прочесть и «Фауста» глазами восстающего против феодализма «мятежника». Но важно отметить, что «Фауст» отрицался Тургеневым не только из «страха божия»—таких отрицателей «Фауста» было множество и в Германии, и в России, и в Европе,—но из «любви к добрым людям». Это возражение, даже нападение на «Фауста», с точки зрения «любви к добрым людям», связано с переменой, происходившей в Тургеневе уже с половины 30-х годов. Тургенев так и умер, не уяснив себе, в чем она состояла. Он попытался намекнуть на нее Вяземскому: «Теперь все затихло в сердце и вокруг меня... Зато теперь душа вслед за умом устремляется к идеям высшего разряда, благо масс, и еслиб не смешно было признаться, то сказал бы—благо всего рода человеческого объемлющим. Это не космополитизм, а что-то иное, чего сам себе объяснить не умею» [86]. Тургенев не сумел объяснить, но умел доказать свою любовь к «массам»—самым несчастным из всех несчастных «масс» николаевской России: он, по словам Вяземского, «сделался в Москве ходатаем, заступником, попечителем несчастных, пересылаемых в Сибирь. Острог и Воробьевы горы (откуда отправляли в Сибирь партии арестантов.—*С. Д.*) были театром его мирных и человеколюбивых подвигов, а иногда и скромных,

но благочестивых побед, когда удавалось ему спасти или по крайней мере облегчить участь того или другого несчастного. Смерть неожиданно застигла его в исполнении усиленных и добровольно принятых им обязанностей» [87].

Веймар помянул А. И. Тургенева посмертным словом. Оно принадлежало канцлеру Мюллеру.

Тургенев поддерживал с ним дружеские отношения. Они были в переписке. Так по дневнику Тургенева видно, что в 1827 г. он получил от Мюллера письмо в Берн, в Швейцарию (23 сентября). 14 октября 1837 г. Мюллер писал Жуковскому, что «провел с Тургеневым прекрасные дни на юбилейных празднествах в Геттингене» [88].

В 1841 г. Тургенев встретился с канцлером Мюллером в Париже и был его чичероне по парижским литературным салонам, отплатив ему тем же за веймарское чичеронство. «Я представил его Рекамье и многим другим,—сообщает Тургенев Вяземскому,—хотя и король, и принцесса Орлеанская ухаживают за ним. В воскресенье мы слушали вместе записки Шатобриана в Аббатстве, где он (Мюллер) очень понравился. Он привез любопытную книгу о Гете, которую куплю в Германии» [89].

О смерти А. И. Тургенева Мюллер узнал от Жуковского (5/I 1846). Старый друг Тургенева, говоря о нем, советовал Мюллеру написать его некролог. Мюллер с живостью ухватился за эту мысль, и уже 17 января Жуковский сообщил ему нужные «биографические сведения о Тургеневе и характеризовал его как человека, предоставляя остальное дружескому перу». Мюллер написал некролог и выслал его Жуковскому в рукописи. Жуковский послал ему свои замечания, касавшиеся характера «Арзамаса», отношений А. Тургенева к кн. А. Голицыну и к брату Тургенева Сергею [90]. Все эти замечания были приняты Мюллером, и написанный им некролог появился в «Beilage zur «Allgemeinen Zeitung» (1846, № 157 от 6 июня, SS. 1249—1250) под заглавием: «Alexander Iwanowitsch Tourgueneff». В Тургеневе, утверждал Мюллер, «Россия потеряла одного из благороднейших своих сограждан, а духовная область гуманности и науки—одного из своих вернейших союзников. Редко соединяются в одном человеке такая горячая любовь к родине с таким космополитическим сердцем, с таким умом, открытым для понимания всего чисто человеческого, в какой бы стране оно не проявилось; такое неутомимое стремление к источникам знания и всем элементам цивилизации с такой теплотой, как в Тургеневе» [91].

А. И. Тургенев занимает одно из виднейших мест в галлерее русских гетеанцев: он вышел из самого раннего гнезда русского гетеанства, всю жизнь был прилежным читателем (но не всегда почитателем) Гете и явился в Веймар представителем двух русских литературных эпох: приехал туда еще с преданиями «Арзамаса», а писал о своей поездке в журнале Пушкина.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо от 31 окт. 1832 г.—«О. А.», т. III, стр. 213.

[2] M-me Ancelot, Un salon de Paris 1824 à 1864. Paris, 1866. Эту цитату из воспоминаний Маргариты-Луизы-Виргинии Ансло (1792—1875) беру у А. К. Виноградова «Мериме в письмах к Соболевскому». М., 1928, стр. 23.

[3] Пушк., соч., т. V, стр. 168 (заметка 1836 г.).

[4] П. А. Вяземский, Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 175.

[5] «О. А.», т. IV, стр. 65.

[6] «О. А.», т. III, стр. 233.
[7] «О. А.», т. IV, стр. 70.
[8] «О. А.», т. III, стр. 30.
[9] «Отрывок из записной книжки путешественника». — «С.» 1837, т. V, стр. 304—305.
[10] Вес., стр. 52. «Сели за стол,— описывает поэт-провинциал Г. Каменев свое посещение семьи И. П. Тургенева,— в продолжение коего говорил я с детьми его о немецких авторах. Старший любит страстно Гете, Коцебу, Шиллера и Шписа, он много переводит из них». (П. Загарин, Жуковский и его произведения, изд. II. М., 1883 г., стр. 28.)
[11] Арх. Т., т. II, стр. 44.
[12] Вес., стр. 53.
[13] Там же.
[14] «Приятное и полезное препровождение времени» 1798, ч. XIX, стр. 107.
[15] Печатается с подлинника—по экземпляру «Вертера», хранящемуся в собрании А. Ф. Онегина в Институте Русской Литературы Академии Наук СССР.
[16] А. Тургенев Вяземскому 7 окт. 1819 г.—«О. А.», т. I, стр. 324.
[17] Арх. Т., т. V, стр. 218.
[18] Письмо от 1 окт. 1823 г.—«О. А.», т. II, стр. 354.
[19] Письмо от 25 июля 1824 г.—«О. А.», т. III, стр. 61.
[20] Арх. Т., т. II, стр. 81—82.
[21] Там же, стр. 82.
[22] Там же, стр. 81—82. Запись от 26 ноября 1799 г.
[23] Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872, стр. 152.
[24] «W. A.», IV Abt., B. V, S. 123, 150, 216, 229; III Abt, B. I, S. 128, 131, 138.
[25] Арх. Т., т. II, стр. 37.
[26] «Здесь Шимановская и альбом ее, исписанный руками Benjamin Constant, Humboldt, Томаса Мура, Гете, пуще прежнего растравил тоску мою по чужбине». Вяземский — А. Тургеневу 12 ноября 1827 г. — «О. А.», т. III, стр. 167.
[27] Арх. Т., т. II, стр. 263. Письмо от 18 сент.
[28] Арх. Т., т. II, стр. 185, 205. Записи дневника от 18/30 янв. и 19/31 марта 1803 г.
[29] Там же, стр. 269. Письмо к Жуковскому от 4 янв. 1803 г.
[30] Письмо Вяземскому от 28 мая.—«О. А.», т. III, стр. 129—130.
[31] Письмо от 27 ноября 1818 г.—«О. А.», т. I, стр. 155.
[32] Арх. Т., т. V, стр. 6, 73, 76, 117, 169, 302.
[33] Там же, стр. 335. Запись от 13 дек. 1822 г.


Goethe's
goldner
Jubeltag.

Титульный лист экземпляра книги „Goethe's goldner Jubeltag", подаренной канцлером Мюллером В. А. Жуковскому

Внизу дарственная надпись Мюллера: „Herrn *Hofrath* von Joukowsky zu freundlicher Erinnerung an den Herausgeber. F. von Müller. Ems, 1 August, 1826" (Господину советнику Жуковскому на дружескую память об издателе. Ф. фон Мюллер. Эмс, 1 августа 1826)

Институт Русской Литературы, Ленинград

[34] «О. А.», т. I, стр. 26.

[35] «О. А.», т. IV, стр. 105.

[36] Там же, стр. 249.

[37] Из журналов А. Тургенева, тетрадь № 4—№ 5, л. 3—4 (Ленинград, Институт Русской Литературы Академии Наук СССР). Гр. Каролина Эглофштейн (1789—1868)—фрейлина Марии Павловны, бывавшая с нею в Петербурге и имевшая круг петербургских знакомых. С Гете она была в дружеских отношениях: несколько его мелких стихотворений посвящены ей. Обладая способностями к музыке, написала несколько песен. Была в переписке с Клингером (см. в главе о Кюхельбекере). Плещеева—может быть фрейлина Наталия Федотовна Плещеева (1768—1855), с 1826 г.—статс-дама; или—вторая жена арзамасца («Черный Вран») и приятеля Жуковского, А-дра А-сеевича Плещеева (1775—1827), камергера и чтеца Марии Федоровны.

[38] Печатаем перевод, сделанный по фотографии с собственноручного подлинника записки А. И. Тургенева, хранящейся в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре. Записка впервые напечатана в «W. A.», III Abt., B. X, S. 334.

[39] Там же, стр. 172.

[40] Из журнала А. Тургенева, тетрадь № 4, л. 3—4. Шиллер был похоронен в общем склепе, где останки его затерялись. Как раз в год посещения А. И. Тургенева, но в более позднее время, была начата расчистка кладбища, и череп Шиллера был опознан Гете. В ночь с 25 на 26 сентября Гете написал известные стихи: «Bei Betrachtung von Schillers Schädel». (При созерцании шиллерова черепа). Шиллер был «перепогребен» в герцогском склепе.

[41] А. Тургенев—Вяземскому 28 марта 1840.—«О. А.», т. IV, стр. 104.

[42] В своей работе «Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев» акад. В. М. Истрин пишет про него: «Для писательства у него не было наклонности» и «А. И. не стал ни писателем, ни литератором» (Арх. Т., т. II, стр. 4, 9). Однако И. И. Дмитриев и А. С. Пушкин признавали в А. И. Тургеневе настоящее писательское дарование. Первый писал Тургеневу: «Вы... одарены всеми способностями автора» (Соч. И. И. Дмитриева под ред. А. А. Флоридова. СПБ., 1893, т. II, стр. 223), а Пушкин дал о нем блистательный отзыв: «Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражения, служат лучшим доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом про себя, когда следовало бы ему писать про других» (Пушк., Соч., 1836, т. V, стр. 168).

[43] Тереза-Эмилия Винкель (1784—1867), у которой произошло литературное собрание, занималась музыкой, живописью и литературой. В 1809 г. она переехала в Веймар, и Гете встречал ее у Иоганны Шопенгауэр, слушал ее игру на арфе и смотрел ее картины. В Дрездене она занималась главным образом копированием старых мастеров. Как писательница выпустила «Beiträge für Kind's Harfe» (Allg. Deutsch. Biogr., B. XLIII, Lpz., 1898, S. 431—432). На Гете нападал в этот вечер Иоганн-Фридрих Кинд (1768—1843), поэт и писатель, юрист по образованию, автор романтических новелл («Natalia», «Leben und Liebe», «Tulpen» и др.), драматических произведений, оперных либретто и др. Гете одобрительно отзывался о либретто Кинда к «Волшебному стрелку» Вебера (Эккк., т. II, стр. 99). В 1817—1826 гг. Кинд редактировал вместе с Винкель «Abendzeitung» в Дрездене.

[44] Журн. Тург., тетрадь № 5, л. 29.—Тургенев читал книгу известного шотландского философа Дэгальта Стюарта: «Philosophical Essays» (1810), в которой есть ряд статей по эстетике. Джемс Томсон (1700—1748)—английский поэт, автор описательной поэмы «Времена года». Жуковский переводил Томсона.

[45] «О. А.», т. I, стр. 179, 565.

[46] «О. А.», т. III, стр. 134. Можно подивиться скудости и неполноте сведений, которыми поясняется имя Jullien в Вейм. издании: «М.-А. Жюльен, французский медик, физик и т. д. Его книга «La France en 1825. Paris» («W. A.», III Abt., B. XI, S. 335)—вот и все. А то, что он был издателем двух европейски известных прогрессивных изданий, из которых «Revue Encyclopédique» немало писало о Гете и читалось им, то, что он был видный политический деятель,—все это комментаторы Веймарского издания не нашли нужным сообщить читателям.

[47] 11 декабря 1828 г. П. Мериме писал своему другу А. Стафферу, переводчику гетевых драм, посетившему Гете в Веймаре в мае 1827 г.: «Вот обстоятельство, значительно уменьшающее ценность догадливости [Гете] относительно автора «Guzla»—ведь я послал ему в подарок один экземпляр этой книги с надписью и полной фамилией через посредство одного моего русского знакомца, дорога которого лежала через Веймар. Он [Гете] приписал себе заслугу открытия, чтобы казаться

гением проницательности». (А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, стр. 46.) «La Guzla» вышла в свет в издании Левро в Страсбурге в июле 1827 г. Из русских, посетивших Веймар, в этом году и перед тем бывших в Париже, знаем по дневнику Гете лишь троих: кн. Э. П. Мещерского, Жуковского, Ал. Тургенева. Мещерский, посетивший Гете в марте, не мог быть передатчиком книги, вышедшей в июле. Жуковский провел в Париже май и июнь, а в июле уже лечился в Эмсе. Вероятным передатчиком «Guzla» Гете мог бы быть А. И. Тургенев: даже еслиб он не был знаком с 1827 г. с Мериме лично: один из французских друзей Тургенева, общих у него с Мериме, мог бы «организовать» эту оказию к Гете. Из других русских в дневнике Гете осенью и в начале зимы 1827 г. именуется в качестве посетителя А. А. Перовский (Погорельский), но о знакомстве его с Мериме или другими парижскими литераторами нам ничего не известно. А. К. Виноградов высказал предположение, что передатчиком письма Мериме был Н. А. Мельгунов. Однако имя его не упоминается в дневнике Гете.

[48] «Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schulz». Hgg. und einl. v. H. Düntzer. Lpz., 1853, S. 3—130.

[49] Т а м ж е, стр. 352. Упоминаемые графини Эглофштейн—уже известная нам фрейлина Марии Павловны Каролина, ее сестры Юлия (1792—1869) и Августа (1796—1862) и их мать Генриетта (1773—1864). Это была одна из самых близких к Гете семей в Веймаре. Мать, Генриетта, ради дочерей разведшаяся с мужем, чужим ей по мировоззрению, поселилась в Веймаре с конца XVIII ст. и прочно вошла в постоянный круг друзей Гете, еженедельно с 1801 года собиравшихся в его доме. В 1804 г. она вступила во второй брак и должна была отдаться жизни в тесном семейном кругу. Ее мемуары доселе неизданы. Юлия была придворной дамой у герцогини Луизы. У нее были способности к живописи, обратившие на себя внимание Гете. Ею написан большой его портрет. Младшая дочь, болезненная Августа, писала стихи, изданные после ее смерти в Веймаре: «Aus einem Tagebuche» (1864). Об Эглофштейнах см. еще в главе, посвященной Жуковскому.

[50] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 94.

[51] Дневник А. Тург., тетрадь № 5, л. 104 об. Об Ясновском см. главу первую. Фридрих-Вильгельм Бьелке—с 1817 г. гофмаршал Марии Павловны.

[52] Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Leipzig, 1872, стр. 62.

[53] «Р. А.» 1867, стр. 668. П. И. Бартенев произвольно датирует это письмо 1825 годом; но 1) Тургенев только в 1826 г. впервые посетил Веймар и 2) только в 1827 г. записана у него в дневнике продолжительная беседа с Марией Павловной о Карамзине.

[54] Письма А. Тург. к Н. Тург., стр. 64.

[55] М ü l l e r, S. 197. «Globe»—известное парижское издание, постоянным читателем которого был Гете. В газете сотрудничали Виктор Гюго, Сент-Бев, Гизо, Кузен, Пьер Леру, Ремюза и др. «Я причисляю Le Globe к самым интересным газетам и не могу без него обойтись», сказал Гете Эккерману 1 июня 1828 г. (Э к к., т. I, стр. 231). Жан-Жак Ампер (Amper, 1800—1864)—сын знаменитого математика, историк литературы, критик, профессор Сорбонны и Collège de France, сотрудничал в «Globe». Он был знаком с А. И. Тургеневым.

[56] Письма А. Тург. к Н. Тург., стр. 64—65.

[57] Т а м ж е, стр. 114.

[58] Т а м ж е, стр. 79. Письмо от 29 января 1828 г. из Парижа.

[59] Журн. А. Тургенева № 8, л. 47 об.—48 об.—У нас нет места для подробного комментария, которого требовал бы этот отрывок. Остановимся лишь на некоторых именах: Санти—гр. Вас. Алдр. Санти (1778—1841), русский поверенный в делах в Веймаре. Он занимал эту должность с 1828 г. по смерть. О Ханыкове см. в главе III, § 3. Вольф—Пий Александр Вольф (1782—1828), известный актер и драматург; юношей он отправился в Веймар к Гете, чтоб от него принять посвящение в литературу и театр, и сделался актером Веймарского театра, играл роли Тассо и Ореста («Ифигения в Тавриде») в пьесах Гете. В 1808 г. его заметил Тальма и подружился с ним. В 1815 г. перешел в Берлинский театр. Умер в Веймаре 28 августа 1828 г. Гете высоко ценил его талант. Жена Вольфа, урожд. Анна-Амалия Беккер,—артистка Веймарского театра, исполнительница ролей Ифигении, Джульетты и др., выступавшая вместе с мужем. Принцесса Августа—дочь Марии Павловны, впоследствии императрица германская. Эмансипация, о которой идет речь,—так наз. «уничтожение невольничества» в колониях; с одним из видных деятелей этого движения, В Вильберфорсом, Тургенев был лично знаком. Княгиня Ливен—кн. Дарья Христ. Ливен (1786—1857), родная сестра шефа жандармов Бенкендорфа, жена русского посла в Лондоне кн. Х.-А. Ливена (1774—1838); по злому замечанию Вигеля, она «при муже исполняла должность посла и советника и сочиняла депеши»; у нее

был влиятельный дипломатический салон. Штейн—бар. Генр.-Фр.-Карл Штейн (1756—1831), прусский государственный деятель, враг Наполеона, в 1812 г. приехавший в Россию по приглашению Александра I. В 1814—1815 гг. Н. И. Тургенев служил при Штейне в «Центральной правительственной комиссии», действовавшей во время заграничного похода русских войск. Гр. Август Платен (1796—1835),—известный немецкий поэт и драматург. В своих «Газелах» (1821) был под влиянием «Дивана» Гете, так же как и в «Венецианских сонетах». Из его драм известны «Смерть Марата», «Беренгар» и др. В беседах с Эккерманом Гете высказал ряд суждений о личности и сочинениях Платена. «Он обладает многими блестящими качествами, но ему недостает любви,—сказал Гете 25 декабря 1825 г.—Он столь же мало любит своих читателей и товарищей по поэзии, как и самого себя... Еще на-днях читал я стихи Платена и не мог не признать его богатого таланта. Но, повторяю, ему недостает любви, а потому он никогда не будет иметь того влияния, какое должен бы иметь» (т. I, стр. 220). Про пьесы Платена Гете высказался 30 марта 1824 г.: «Они весьма остроумны и в некоторых отношениях превосходны, но им недостает известного удельного веса, известной серьезности содержания. Они не такого рода, чтоб возбуждать в душе читателя глубокое и долго остающееся впечатление; скорее они только легко и торопливо затрагивают наши внутренние струны» (т. I, стр. 113). Суждения эти близки к отзыву, услышанному Тургеневым от канцлера Мюллера.— Упоминаемый в связи с Платеном Кнебель—Карл-Людвиг ф. Кнебель (1744—1834), прусский офицер, с 1774 г. воспитатель принца Константина, брата Карла-Августа. В декабре этого года Кнебель прибыл во Франкфурт в свите принцев Карла-Августа и Константина. Любитель литературы, почитатель «Вертера», он посетил Гете и устроил его представление веймарским принцам. В следующем году Гете по приглашению Карла-Августа переселился в Веймар. Кнебель, ушедший впоследствии от военно-придворной жизни и предавшийся занятиям классической филологией, был одним из самых близких к Гете людей.

[60] Журнал А. Тургенева № 8, л. 48 об.

[61] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 62—63.

[62] Э к к., т. II, стр. 19, 21, 221, 91—92.

[63] «Письма к В. А. Жуковскому разных лиц».—«Р. С.» 1903, № 8, стр. 440.

[64] Е. В. П е т у х о в, Памяти Гоголя и Жуковского. Юрьев, 1903, стр. 92—93. Письмо к проф. Карлу Моргенштерну.

[65] Э к к., т. II, стр. 55. Об отношении Гете к философии см. главу «Московские любомудры у Гете».

[66] «Арх. Т.», т. VI, стр. 328.

[67] Журнал А. Тургенева № 8, л. 48 об. Упоминаются: Раупах (см. в гл. «Официальные гетеанцы»); Тюфякин—кн. Петр Ив-ч (1769—1845), в 1812—1816 гг. вице-директор, в 1816—1821 гг. директор императорских театров; Разумовская—графиня Генриетта, рожд. бар. Мальсен (1790—1827), первая жена гр. Григ. Кирилл. Разумовского (1758—1837), минералога, знакомца Гете. Знакомство ее в Петербурге (1806—1816) с братьями Тургеневыми обратилось в дружбу. С 1816 г. Разумовская жила в Париже, в ее салон были вхожи представители литературы и искусства.

[68] Журнал А. Тургенева № 8, лл. 49—50 об. Из упоминаемых: Фридрих-Генрих Якоби (1743—1819)—известный философ, противник Канта и трансцендентального идеализма; Гете познакомился с Фр. Якоби в 1774 г. и гостил в его имении Пемпельфорте близ Дюссельдорфа. Друг Гете, гр. Штольберг, под влиянием кн. Ад. Голицыной перешел в католичество (см. гл. I). Якоби близко знал и Штольберга, и Голицыну. Фосс, Иоганн-Генрих (1751—1826)—немецкий поэт, автор идиллии «Луиза», переводчик Гомера. Дежерандо—Marie-Joseph Degérando (1772—1842)—французский философ, моралист, педагог и социальный мыслитель; лично знаком был с А. И. Тургеневым. Разговор шел об его книге «Le visiteur du pauvre» (1820, 3-е изд. 1826), очень популярном в свое время филантропическом сочинении. Вопросами общественной благотворительности А. И. Тургенев очень интересовался и впоследствии был близок с известным д-ром Ф. П. Гаазом. Графиня Констанца Фритш (Frietsch, 1786—1858)—фрейлина Марии Павловны.

[69] Журнал А. Тургенева № 8, л. 51.

[70] Т а м ж е, л. 51 об.

[71] Т а м ж е.

[72] Арх. Т., т. VII, стр. 110, 112, 127, 155. Письма к Вяземскому 1832—1833 гг.

[73] Т а м ж е, стр. 232, 241.

[74] Письмо из Женевы к Вяземскому от 24/2 июля 1833 г.—Арх. Т., т. VI, стр. 242. Тургенев читал «Путешествие по Швейцарии 1797 года», редактированное Эккерманом

для посмертного издания. Элегия «Euphrasyne» включена в «Путешествие». Из курьезов тургеневской «гетеаны» нужно отметить, что один из его портретов был написан Кестнером, сыном соперника Гете по любви к Шарлотте: «Портрет мой Брюллова удался: но сын Шарлотты Вертеровой, Chargé d'af. Кестнер списал другой с меня, и я похож в нем на Д. П. Татищева. Это прицлю тебе» (1833, 13 января; Арх. Т., т. VI, стр. 145).

[75] «О. А.», т. III, стр. 319. Неизвестно, почему Вяземский так желал иметь портрет незнакомого ему Августа Гете.

[76] П. Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина, 3-е изд. ГИЗ. Л., 1928, стр. 289.

[77] Амалию, мать Карла-Августа.

[78] Крейтер (Friedrich-Theod. Kräuter, 1790—1856)—личный секретарь Гете; с 1818 г. один из библиотекарей Веймарской библиотеки.

[79] Печатаем эти стихи по копии, сообщенной нам дирекцией Гете-Шиллеровского архива в Веймаре (1932). У Тургенева подпись «В. Э.» и нет заглавия. Среди русских имен ближайших посетителей—«Le colonel au service de Russie Manitschuroff, 14 Fevr. 1833» (генерал русской службы Мансуров (?) 14 февр. 1833)—вероятно генерал-адъютант Александр Павлович Мансуров (1788—1880).

[80] Стих римского поэта Лукана гласит: «От великого имени не остается ничего (nihil)». Гете, заменив слово nihil словом multum, дал другое значение стиху: «Многое остается от великого имени».

[81] «Однажды добродушный и гостеприимный хозяин Абботсфорда показывал мне мраморный бюст, подаренный ему Байроном, стоявший в его библиотеке на деревянном пьедестале, внутри коего хранилась прежде его переписка со знаменитыми современниками. Дочь В. Скотта подошла ко мне и просила не спрашивать у отца ее о бумагах, в пьедестале хранящихся. «Воспоминание о них,—сказала она,—огорчит батюшку, ибо один из посетителей, коему также показывал он свои сокровища, украл из пьедестала письма Байрона». (Примечание А. И. Тургенева.)

[82] См. воспроизведение этого рисунка в тексте. О Рейтерне см. в главе о Жуковском.

[83] См. в гл. «Московские любомудры», в параграфе, посвященном А. И. Кошелеву.

[84] «Отрывок из записной книжки путешественника».—«С.» 1837, т. V, стр. 294—305.

[85] «О. А.», т. IV, стр. 120.

[86] Письмо от 26 июля 1833 г.—Арх. Т., т. VI, стр. 268.

[87] П. А. Вяземский, Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 182.

[88] «Briefe des Kanzlers Friedrich von Müller an Wasily Andrejewitsch Jukowsky». Hgg. v. Adelheid von Schorn.—«Deutsche Rundschau» 1904, Heft 11, S. 284.

[89] «О. А.», т. IV, стр. 133.

[90] Е. В. Петухов, Письма В. А. Жуковского к канцлеру Фридриху фон Мюллеру. Новый сборник статей по славяноведению. Составл. и изд. учениками В. И. Ламанского. СПБ, 1905, стр. 340—341.

[91] Beilage zur «Allgemeinen Zeitung» 1846, № 157 от 6/VI, S. 1249—1250.

Канцлер Мюллер дал в своем некрологе довольно полный очерк деятельности А. И. Тургенева, коснувшись и его государственной службы, и работы в Библейском обществе, и трудов по обследованию европейских архивов с целью собирания памятников, относящихся к русской истории. С особым вниманием он остановился на взглядах Тургенева на крепостное право. «Уничтожение крепостного права», пишет веймарский канцлер на основании, очевидно, личных бесед с Тургеневым, реяло перед ним как высокая святая цель, которой он приносил великодушные «жертвы в имениях своей семьи, побуждая к тому всех своих друзей». Мюллер имеет в виду те перемены, которые внесли в положение своих крестьян братья А. и Н. Тургеневы. Об одной из таких перемен А. Тургенев писал Вяземскому 18 сентября 1818 г.: «Брат возвратился из деревни. Он привел там в действо либерализм свой: уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших, уменьшив через то доходы наши. Но поступил справедливо, следовательно и согласно с нашею пользою» («О. А.», т. I, стр. 121). «С каким ликованием»,—вспоминает Мюллер,—«приветствовал он указ от 2/IV 1842 г., уполномачивавший дворянство к уничтожению крепостного права при помощи свободных договоров, заключаемых с обеих сторон. Этот закон казался ему утренней зарей будущего, соответствовавшего самым горячим его желаниям». Конец некролога посвящен деятельности Тургенева по облегчению участи сидящих в тюрьмах и отсылаемых в Сибирь. Сам Тургенев писал 5 октября 1836 г. Вяземскому из Москвы: «Я доволен своей поездкой. Много начал и надеюсь хорошо кончить. Жил с каторжанами больше нежели кто приговаривает на каторгу, и слава богу» («О. А.», т. IV, стр. 331). В некрологе Мюллера содержится и несколько верных черт для характеристики А. Тургенева, как посла русской литературы при столицах европейской образованности.

Глава пятая

ЖУКОВСКИЙ И ГЕТЕ

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ЖУКОВСКОГО ЗА ГРАНИЦУ.—„ПРИДВОРНАЯ АРКАДИЯ".—ИСТОРИЯ ГЕТЕАНСТВА ЖУКОВСКОГО.—ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ СБОРНИКОВ ПО НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.—ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ ГЕТЕ В БЕРЛИНЕ И ШТУТГАРТЕ.—СВИДАНИЕ С ГЕТЕ В ИЕНЕ В 1821 Г.—ОБМЕН ПИСЬМАМИ С ГЕТЕ.—ВТОРАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ В 1826—1827 ГГ.—ПРЕБЫВАНИЕ В ЭМСЕ И ДРЕЗДЕНЕ.—ХУДОЖНИК КАРУС.—ПРЕБЫВАНИЕ В ВЕЙМАРЕ.—НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ К ГЕТЕ.—ПРОЩАНИЕ С ГЕТЕ.—ПОДАРОК ГЕТЕ ЖУКОВСКОМУ.—ПЕРО ГЕТЕ, ПОДАРЕННОЕ ПУШКИНУ.—М. ШИМАНОВСКАЯ И ЕЕ ПИСЬМО К КАНЦЛЕРУ МЮЛЛЕРУ.—А. ПЕРОВСКИЙ И ГР. А. К. ТОЛСТОЙ В ВЕЙМАРЕ.—ПИСЬМА КАНЦЛЕРА МЮЛЛЕРА.—ГР. МИХ. Ю. ВЬЕЛЬГОРСКИЙ В ВЕЙМАРЕ.—ЕГО НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО К ЖУКОВСКОМУ.—ПОЗДНЕЙШИЕ ПОЕЗДКИ ЖУКОВСКОГО В ВЕЙМАР.—ДРУЖБА С КАНЦЛЕРОМ МЮЛЛЕРОМ.—МЮЛЛЕР—ЧИТАТЕЛЬ ЖУКОВСКОГО.—ВЕЙМАРСКИЙ ПРИЮТ ОТ РЕВОЛЮЦИЙ.—ЭПИЛОГ ГЕТЕАНСТВА ЖУКОВСКОГО.

К началу 1820-х годов Жуковский имел два звания—придворное и литературное: он был преподавателем русского языка у великой княгини Александры Федоровны, жены в. к. Николая Павловича, и был, по собственному своему определению, «родителем на Руси немецкого романтизма и поэтическим дядькой чертей и ведьм немецких и английских».

Оба эти звания начинали уже возбуждать нападки ближайших друзей Жуковского: они опасались за независимость и человека, и поэта.

Товарищей мечты досужной,
Волшебниц, леших и духов,
Запас домашних привидений
И своекоштных мертвецов [1],—

обильнейший сентиментально-романтический запас, скопленный поэтом Жуковским к 1820 г., начинал казаться его друзьям и читателям чрезмерным, приторным, приевшимся. По поводу «потусторонности» сюжетов Жуковского острый и язвительный арзамасец Вяземский, отдавая должное таланту поэта («один Жуковский умеет доить и стричь этого духовного козла, от коего нет ни молока, ни шерсти») [2], признавал, что в этом же лежит и причина недостатков его поэзии: «однообразие выкроек, форм, оборотов» [3]. «Жуковский слишком уже мистицизмует, то-есть слишком часто обманываться не надобно: под этим туманом не таится свет мысли... Поэт должен выливать свою душу в разнообразных сосудах» [4].

Придворное звание Жуковского не менее тревожило его друзей. Политическая сонливость и безучастность Жуковского приводила либерала Вяземского в отчаяние: «В нем нет капли конституционной крови!» [5] воскликнул он еще в 1818 г. Говоря о придворных занятиях Жуковского, Вяземский писал: «Его голова крепче Филаткиной, если устоит против этой картечи порабощения и чванства. А я думаю о нем с сокрушенным сердцем, пеплом осыпаю его голову и плачу над его разверстою могилой, если не раздастся голос жизни в каких-нибудь новых стихах» [6]. Но «голоса жизни» не раздавалось, и Вяземский, сердясь, именовал Жуковского «придворным певчим» [7].

3 октября 1820 г. Жуковский выехал из Дерпта, направляясь в чужие края. Путешествие за границу—хотя и в свите вел. кн. Александры Федоровны—должно было, по мнению друзей, впустить Жуковскому в легкие свободного европейского воздуху и вернуть его к поэзии. Жуковский и сам верил в силу путешествия и, отъезжая, писал А. П. Елагиной: «Наконец некоторые желания сбываются: увижу прекрасные страны, в которых иногда бегало воображение, но, признаюсь, не думаю увидать их в том очаровании, какое дала бы им первая молодость, товарищ еще необразу-

В. А. ЖУКОВСКИЙ
Рисунок карандашом неизвестного художника
(10-е годы XIX века)
Институт Русской Литературы, Ленинград



мившейся надежды. Жизнь изменилась, и все, что теперь ни увидишь, представится ограниченным в круге. Но все путешествие оживит и расширит душу. Надеюсь, что оно пробудит и давно уснувшую поэзию».

В числе заветных своих желаний Жуковский объявляет Елагиной: «Буду видеть и шиллеровы и гетевы трагедии», а объясняя свой маршрут, пишет: «...из Дрездена через Веймар (Гете) в Кассель, из Касселя во Франкфурт» [8]. Встреча с Гете задумана была поэтом еще в России.

С надеждой отпустив Жуковского за границу, Вяземский выразил однако опасение, что «путешествие не проветрит его» и «он перенесет свою Аркадию во дворец, возвратится с тем же беспечием, с тем же, смею сказать, отсутствием мужества, достойного его желания... Я вижу его отсюда: жмет немытую руку Гуфеланда, сравнивает ее с запачканной рукой Эверса и говорит: «О, сладкий жар во грудь мою проник!..» [9]

Жуковский действительно застрял в Берлине с великой княгиней на восемь месяцев и очутился там в прусской придворной «Аркадии», даже подружился с наследным принцем. Вяземский напрасно агитировал его из Петербурга: «посвяти пламень свой правде и брось служение идолов. Благородное негодование—вот современное вдохновение! При виде народов, которых тащут на убиение в жертву каких-то отвлеченных понятий чистого самодержавия, какая лира не отгрянет сама: месть! месть! Ради бога, не убаюкивай независимости своей на розах потсдамских, ни на розах гатчинских... В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знаться с ними... Воспользуйся разрешением твоим от петербургских оков, столкнись с мнением европейским; может быть это пробудит в тебе новый источник» [10].

Жуковский не откликнулся на этот призыв, «союза с царями не разорвал»: наоборот, настолько укрепил его при молодом дворе будущего Николая I и его супруги, что прусские коронованные «аркадийцы», завидовавшие более привольной «Аркадии» русского самодержавия, заискивали впоследствии

в воспитателе наследника русского престола. Не послушался Жуковский Вяземского и по второму пункту: не «столкнулся с мнением европейским». Вяземский-либерал разумел под этим «мнением» конституционалистов, политических писателей Парижа: «конституционной крови» в Жуковском так ни капли и не прибавилось. Но «розы потсдамские» по соседству с великой прусской казармой оказались слишком удушливы и для него: его потянуло если не к поэзии, то к поэтам, и он попытался заключить с ними личный союз.

Вяземский предвидел без ошибки: Жуковский в Берлине действительно «сдружился со стариком Гуфеландом» [11] и 3 ноября 1820 г. записал в дневнике: «Я провел прекрасный вечер. Гуфеланд привлекательный старик... Был разговор о Гете (которому, как говорят, сделался удар,—но это известие неверно). Он знал его в молодости и говорит, что никогда не встречал человека, в котором бы физическое и моральное было в таком совершенстве и гармонии, как в нем. Его кто-то прекрасно теперь назвал—О л и м п и й с к и м Ю п и т е р о м б е з б о р о д ы. Говорил и о Шиллере. Бюсты обоих у него в гостиной. Бюст сорокалетнего Гете: удивительно прекрасный профиль—это работа Тика» [12].

Вот первая, заочная, встреча Жуковского с живым Гете. Ей предшествовали долголетние встречи с его произведениями. Первым из них был конечно «Вертер». Еще в ранней молодости Жуковский, как знаем, принимал участие в переводе «Вертера», предпринятом Андреем Тургеневым. Но в эти годы Жуковский более начитан был во французской и английской поэзии, чем в немецкой. До 1808 г. он переводил Грея, Лафонтена, Флориана и откровенно признавался, что «немецкая литература мало знакома ему» [13]. В 1806 г. он делает первые попытки переложений из Шиллера.

1808 год—важная дата в биографии Жуковского и в истории его гетеанства. В этом году он сделался редактором «Вестника Европы» и тогда же сделал вольное переложение того самого стихотворения Гете «Meine Göttin», которое когда-то Гердер декламировал Карамзину в Веймаре. Жуковский и как редактор уделил большое внимание великому поэту: на титульном листе ноябрьской-декабрьской книжки «Вестника Европы» был помещен портрет Гете, а в тексте «Письмо из Веймара» с рассказом о встрече Александра I и Наполеона с Гете в Веймаре. Русскому читателю сообщалось: «После театра был дан при дворе бал, который император Александр открыл с королевой Вестфальской. Наполеон между тем разговаривал с герцогиней, Виландом и Гете. Последний за несколько дней перед тем завтракал у императора: он очаровал его разговором и почитает его величайшим из гениев. И Гете понравился Наполеону, который, говоря о нем, назвал его: «un homme comme il faut». Для гетелюбия Жуковского характерно помещение этой заметки: русский читатель «Вертера» и «Клавиго» призывался ею порадоваться той чести, которой удостоился их автор от Наполеона. Сам того не ведая, Жуковский поместил комплимент литературной политике Наполеона, дав читателю материал для менее лестного вывода об Александре I.

С 1808 г. до отъезда за границу Жуковским было переведено одиннадцать стихотворений Гете, в их числе «Миньона», «Лесной царь», посвящение к «Фаусту»: оно произвело на Жуковского такое впечатление, что он дважды вплел его в ткань своего творчества: оно послужило посвящением к «Двенадцати спящим девам» (1810—1817) и оно же тремя октавами влилось

в стихотворение «Цвет завета» (1819) [14]. Это все ширящееся внедрение свое в Гете Жуковский заключил известным своим обращением «К портрету Гете» (1819):

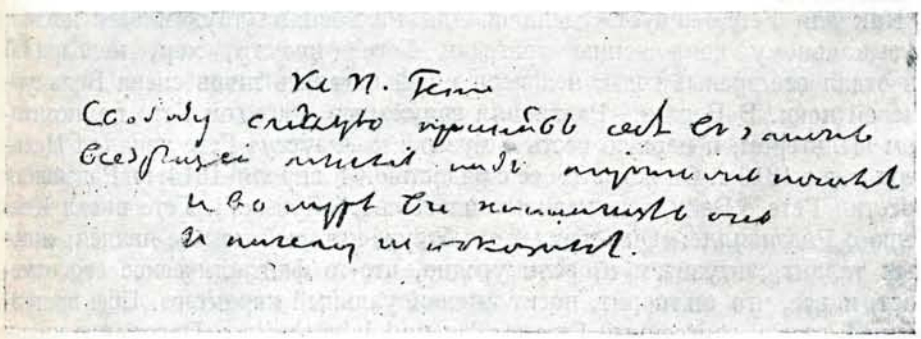
Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился,
И в мире все постигнул он
И ничему не покорился.

Однако осуществленная гетеана Жуковского меньше той, которая была намечена поэтом. В начале 1817 г. он предлагал арзамасцу Д. В. Дашкову «выдавать ежегодно по 2 книжки», из которых одна должна «вся состоять из одних русских сочинений», а другая должна дать «...собрание переводов образцовых немецких писателей, также в стихах и прозе». За немецкою частью хлопот немного: «материалы готовы, садиться и переводить». Переводы намечены из Гердера, Шиллера, Тика, Ла-Мотт-Фуке, Шлегеля, Якоби, Жан-Поль-Рихтера и др. Гете занимает в перечне Жуковского первое место: им начинается список и он представлен наибольшим числом произведений: «Проза. Гете: Römischer Carnewal. Märchen. Отрывки: Reisen nach Italien. Werther's Briefe über die Schweiz. Aus meinem Leben. У меня он полный», добавляет Жуковский. Уже в 1817 г. в его библиотеке было все, что тогда было издано из сочинений Гете. В первую книжку он хотел дать из Гете «Der Wanderer», а Дашков должен был перевести «Märchen» из Гете. «Для второй книжки хочется перевести «Hermann und Dorothea» [15]. Выбор Жуковского свидетельствует об его отличном знакомстве с сочинениями Гете: если бы издание Жуковского осуществилось, он уже в 1817—1818 гг. познакомил бы русских читателей, хотя и в отрывках, с такими произведениями Гете, которые они узнали лишь много десятилетий спустя в издании Гербеля (1878—1880 гг.), но издание не было осуществлено. Однако и то, что Жуковский успел дать русскому читателю до 1820 г., заставило юношу Пушкина еще в 1817 г. послать Жуковскому—

Штабс-капитану, Гете, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!

В поэтическом титуле переимчивого поэта Гете таким образом блистал уже в 1817 г. наравне с Греем, которому Жуковский обязан началом своей известности.

У сентименталиста Жуковского не могло быть много точек соприкосновения с Гете: он легче и обильнее усваивал Шиллера,—но интерес



Автограф четверостишия В. А. Жуковского „К портрету Гете" (1819 г.)
Публичная Библиотека, Ленинград

к поэзии и личности Гете не покидал его всю жизнь. Тому свидетельство—его дневники, и в частности берлинский дневник 1820 г. Пребывание в Берлине служит Жуковскому как бы «введением в Гете»: он знакомится со многими его знакомцами и глубже погружается в изучение его сочинений.

Бюст Тика был для Жуковского как бы пластической иллюстрацией к словам Гуфеланда о гармонии морального и физического в Гете. Жуковский только омолодил Гете: когда его изваял Хр.-Ф. Тик (1776—1851), брат поэта, в 1801 г., ему было не 40 лет, а 52 года. На этом бюсте Гете многое навеяно знаменитым бюстом Триппеля, многое взято от его Гете-Аполлона, но Тик заставил идеализованного Аполлона несколько постареть,—несколько притомиться «трудами и днями». По словам самого Гете, его домашние «питали к этому бюсту род любви, граничащей с суеверием» [16]. Сам Гете разделял эту их любовь.

С Берлина начинаются встречи и знакомства Жуковского с целой фалангой поэтов и писателей романтиков: с Де-ла-Мотт-Фуке, с Беттиной фон Арним, Э.-Т.-А. Гофманом, Жан-Поль Рихтером и др., из которых многие знали Гете. Еще важнее встречи Жуковского с прямыми старыми друзьями Гете. Нельзя не досадовать на Жуковского за характер его дневника и не согласиться с Вяземским, что «часто отметки его—просто колья, которые путешественник втыкает в землю, чтобы означить пройденный путь, если придется на него возвратиться, или заголовки, которые записывает он для памяти, чтобы после на досуге, развить и пополнить» [17]. Жуковский ничего однако не «развил» впоследствии и не «пополнил». Приходится довольствоваться тем, что есть.

5 мая Жуковский «обедал у графа Брюля» (Карл-Фридрих-Мориц Брюль, 1772—1837), давнего знакомца и корреспондента Гете. Это был театральный деятель гетевской школы: еще в 1798 г. он начал под руководством Гете работать при герцогском театре в Веймаре. Жуковский делился с ним мыслью о посещении Гете: Брюль послал с ним письмо великому поэту.

Того же 5 мая Жуковский записал: «вечер у принцессы Радзивилл: Humboldt, m-me Humboldt, m-lle Kleist, Stegemann. Рисунки Фауста. Шёлер» [18]. Вот опять вечер, где несомненно говорили о Гете. Вильгельм Гумбольдт (1767—1831), знаменитый филолог, был другом Гете: поэт делился с ним своими творческими замыслами и так высоко ценил его и его брата Александра, знаменитого путешественника, что признался Эккерману в «великой выгоде» для собственного развития от того, что «на его глазах началась деятельность братьев Гумбольдтов» [19]. Хозяин дома—князь Антон Радзивилл (1775—1833) был автор музыки к «Фаусту».

Как для Гете, «Фауст» сделался для Радзивилла трудом всей жизни: музыкальному воплощению трагедии Гете (оркестр, хор, мелодрама) он отдал все зрелые годы; недовершонной осталась лишь сцена Вальпургиевой ночи. В Берлине Радзивилл сдружился с другом Гете, композитором Цельтером, и первую весть о музыке к «Фаусту» Гете узнал от Цельтера еще в 1810 г. Он встретил ее с радостью. 1 апреля 1814 г. Радзивилл посетил Гете в Веймаре и познакомил со своей музыкой. Гете писал Кнебелю о Радзивилле: «Он—первый трубадур, который ко мне явился; сильный талант, энтузиазм и, если угодно, что-то фантастическое его отмечает, и все, что он творит, носит индивидуальный характер». Еще восторженней отзыв, занесенный Гете в «Tag- und Jahreshefte»: «Посещение князя Радзивилла возбудило трудно удовлетворимое желание: его гениальная композиция к «Фаусту», счастливо и нас увлекающая за собой, оставляет

нам лишь отдаленную надежду увидеть это редкое произведение, поставленным на театре» [20]. С тех пор сценическое воплощение своего «Фауста» Гете соединял неразрывно с музыкой Радзивилла и принял непосредственное участие в его работе. «Нельзя было обойтись без некоторых перемен в тексте, и с согласия самого поэта иные сцены получили большее развитие». К числу их принадлежит сцена в церкви. «Некоторые хоры сам Гете дополнил для музыканта: он же переделал сцену в саду, так что она сделалась удобною для музыкальной обработки». В характеристике современника, русского слушателя 30-х годов, «целое и части, все в этом творении дышит глубокою поэзиею. Музыкант пользовался всеми новейшими пособиями музыки, но нигде не употреблял их во зло. Многие нумера (где требовали того слова) отличаются дикостью стиля; но это не стукотня Белини, а гайденовские и бетховенские диссонансы, имеющие свою высокую красоту, мотивы разнообразные, оригинальные, инструментовка богатая» [21]. Радзивилл был в переписке с Гете, а Цельтер постоянно осведомлял Гете со своей стороны о работе Радзивилла и о попытках постановки сцен из «Фауста» с его музыкой.

16 мая Жуковский записал: «Вечер у Радзивилла. За столом с Вольфом и Цельтером» [22]. Это—памятка об исполнении отрывков из музыки Радзивилла к «Фаусту». Три исполнителя названы дневником: сам Радзивилл был отличный виолончелист; Вольф—это известный уже нам Пий-Александр Вольф (1782—1828), талантливый актер, выученик Гете по веймарскому театру, с 1815 г. перешедший на берлинскую сцену, исполнитель гетевского репертуара, и Карл-Фридрих Цельтер (1758—1832)—композитор, переложивший на музыку многие песни Гете, один из его ближайших друзей, к которому обращены были в течение многих лет самые интимные письма Гете. Лучшего проводника к Гете Жуковскому было не найти.

Выбравшись из Берлина в конце мая, Жуковский в странствии по Германии встретился еще с одним другом и корреспондентом Гете и кажется сблизился с ним больше, чем с другими. Это был Сульпиций Буассере (1783—1854), страстный поклонник и знаток средневекового искусства и старонемецкой живописи, вместе со своим братом Мельхиором (1786—1831) собравший прекрасную коллекцию картин этой школы. Гете признавал, что Буассере удалось привлечь вновь его внимание к средневековому готическому искусству, совсем было упавшее после итальянского путешествия. К Буассере Жуковский явился с рекомендацией Каролины Гумбольдт, жены знаменитого филолога. Ее отзыв свидетельствует о высокой оценке, какую наш поэт нашел в берлинском кружке друзей Гете. Г-жа Гумбольдт аттестует Жуковского Буассере как вдумчивого путешественника, с глубоким и благодарным вниманием воспринимающего все, что есть в Германии прекрасного. «Он совершенно по-особому схватил правду и искренность, которую выражают старонемецкие и нидерландские картины. Вообще вы познакомитесь в нем с интересным и образованным человеком, который необычно полюбил Германию».

В первый раз Жуковский посетил Буассере в Штутгарте 3 октября. 4-го Жуковский подробно осматривал собрание картин Буассере, набросал схему происходившего разговора: «Мнение Кановы о картинах вдали и вблизи; дать списать живописцу; Гете о природе». Сближение с Буассере (5 октября он был у Жуковского и они толковали о немецкой поэзии, 6-го Жуковский дважды побывал у него) было так значительно, что

художник 6 октября предварил о нем Гете письмом как о скором посетителе Веймара и рекомендовал его в теплых выражениях [23].

А между тем у Гете была маленькая причина для недовольства Жуковским. Граф Брюль, вручивший Жуковскому в Берлине письмо для передачи Гете, писал ему: «Г-н Жуковский, учитель русского языка и лектор нашей любезной великой княгини Александры, надеюсь, передал Вам мое письмо, в котором я давал Вам обстоятельный отчет об освящении нового дома и об успехе пролога» [24]. Гете отвечал Брюлю 22 октября из Иены: «Ваше почтенное письмо очень обрадовало меня, так как я давно ничего о Вас не слышал, потому что г. Жуковский не передал мне Вашего письма; а теперь из Штутгарта мне рекомендуют его как прекраснейшего человека, желающего на возвратном пути познакомиться со мною. Возможно, что он не был здесь с их императорскими высочествами (т. е. с Николаем Павловичем и его женой.—*С. Д.*), или принял письмо, которое Вы ему дали с собою, за обычное рекомендательное письмо» [25].

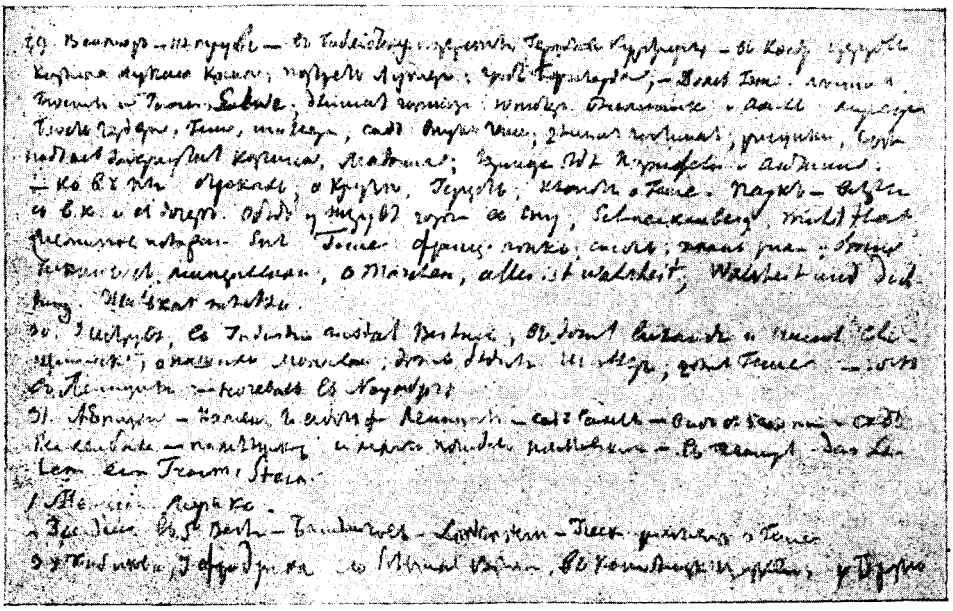
Письмо Брюля к Гете странствовало с Жуковским по Германии с конца мая по конец октября. Штутгартская рекомендация была от Буассере. Он писал про Жуковского: «Этот талантливый человек обладает живым пониманием искусства и поэзии и всего того, что немцы внесли в нее. Он не только знает произведения Ваши и Шиллера, но многие из них перевел на русский язык.

Его знакомство стало для меня столь ценным, что я не могу отказать себе в том, чтобы обратить на этого человека Ваше внимание и приготовить ему дружественный привет, потому что, если только Вы с ним сойдетесь, для Вас не будет недостатка в удовольствии» [26].

Веймарская запись дневника Жуковского 1821 г. необыкновенно сжата и отрывиста:

«29 [октября]. Веймар. Штруве... Дом Гете: лестницы; бюсты и гипсы; Salve; длинная горница: Юпитер Олимпийский и Ахилл; музеум. Бюсты Шиллера, Гердера, Гете, древних и новых. Сад. Внук Гете. Длинная гостиная; рисунки; софа; над нею задернутая картина Les noces d'Aldobrandini; Мадонна. Горница, где портфели и антики» [27]. Жуковский не застал Гете: он был в Иене, но ему показали дом и сад. Он расставил свои «колья» по всему дому: запомнил «антики», слепки со статуй, привезенные Гете из Италии, в их числе Юпитера, о котором Гете писал из Рима в самый день Рождества 1786 г.: «Я не мог удержаться, чтобы не приобрести себе колоссальную голову Юпитера. Она стоит против моей кровати, хорошо освещенная, чтобы я мог обращать к ней мои утренние молитвы» [28]; отметил слова «Salve», приветственно начертанные на пороге, по примеру тех предпорожных приветствий, которые Гете видел в Помпее; заметил завешенную от солнца «Альдобрандинскую свадьбу», копию с античной картины, сделанную Мейером для Гете в 1797 г., и т. д. Из дома Гете Жуковский отправился во дворец: «К великой княгине: о греках, о Круге; наследный принц; хлопоты о Гете. Парк. Встреча с великою княгинею и ее дочерью. Обед у Штруве» [29]. «Хлопоты о Гете»—это старание с помощью Марии Павловны увидеть Гете. Они увенчались успехом; следующие «колья» ведут к Гете в Иену: «Дорога в Иену. Schneckenberg, Mühltal. Живописное положение Иены. Гете; французский язык; стол; план Рима; бюст; о Märchen; alles ist Wahrheit; Wahrheit und Dichtung («О сказке; все правда; правда и поэзия»—заглавие автобиографии Гете.—*С. Д.*). Жалкая помеха» [30].

В своем письме к Александре Федоровне Жуковский немного помогает разобраться в этих скупых вехах: «Плавание по Рейну было не так удачно: пасмурная осенняя погода затуманила для меня красоту рейнских берегов. Но я не раскаиваюсь, что их видел: они прекрасны и после Швейцарии. Из Франкфурта через Веймар и Лейпциг поехал я в Дрезден. От спеху не мог пробыть в Веймаре более одного дня; там имел счастье представиться великой княгине Марии Павловне, которая приняла меня с очаровательною милостью, и ее же милости обязан я свиданием с Гете: он находился в Иене, и, чтобы я имел время к нему съездить, ее высочеству угодно было прислать мне коляску, и я в тот же день видел поэта. Но свидание мое



Автограф записи в дневнике В. А. Жуковского от 29 октября 1821 г. с упоминанием о посещении Гете
Публичная Библиотека, Ленинград

с ним было похоже на плавание мое по Рейну: оно было туманное, хотя он принял меня с ласкою» [31].

В краткой записи Жуковского о свидании с Гете есть пометка: «французский язык». С этой пометкой связана одна из «туманностей» этого свиданья. Вот что читаем об этом в книге «Neue Bilder aus der Petersburger Gesellschaft» («Новые картины из петербургского общества»), изданной Юлием-Вильгельмом Экхардтом, лично знавшим Жуковского: «В Дрездене, Веймаре, в Швейцарии—знатному русскому поэту всюду открыты были двери всех замечательных людей, с кем он желал познакомиться; всегда веровавший в сверхчувственное, о чем философии и не снилось, Жуковский с Юстином Кернером заключил союз дружбы. Менее удачно вышло его посещение Гете, чего Жуковский задолго напряженно ожидал. По обычаю большого света, из всех иностранных языков самым употребительным был французский, и на этом языке он представился «величайшему лирику Запада». Жуковский тотчас же заметил затруднительность для Гете объясняться по-французски. И ему, добросердечному и утонченно-светскому человеку, показалось, что он только лишь ответил желанию своего нового,

им высоко ценимого знакомца, начав через некоторое время говорить по-немецки. Но Гете, кажется, принял это за оскорбление и был после того так натянут и односложен, что русский гость возвращался от него несколько разочарованным» [32].

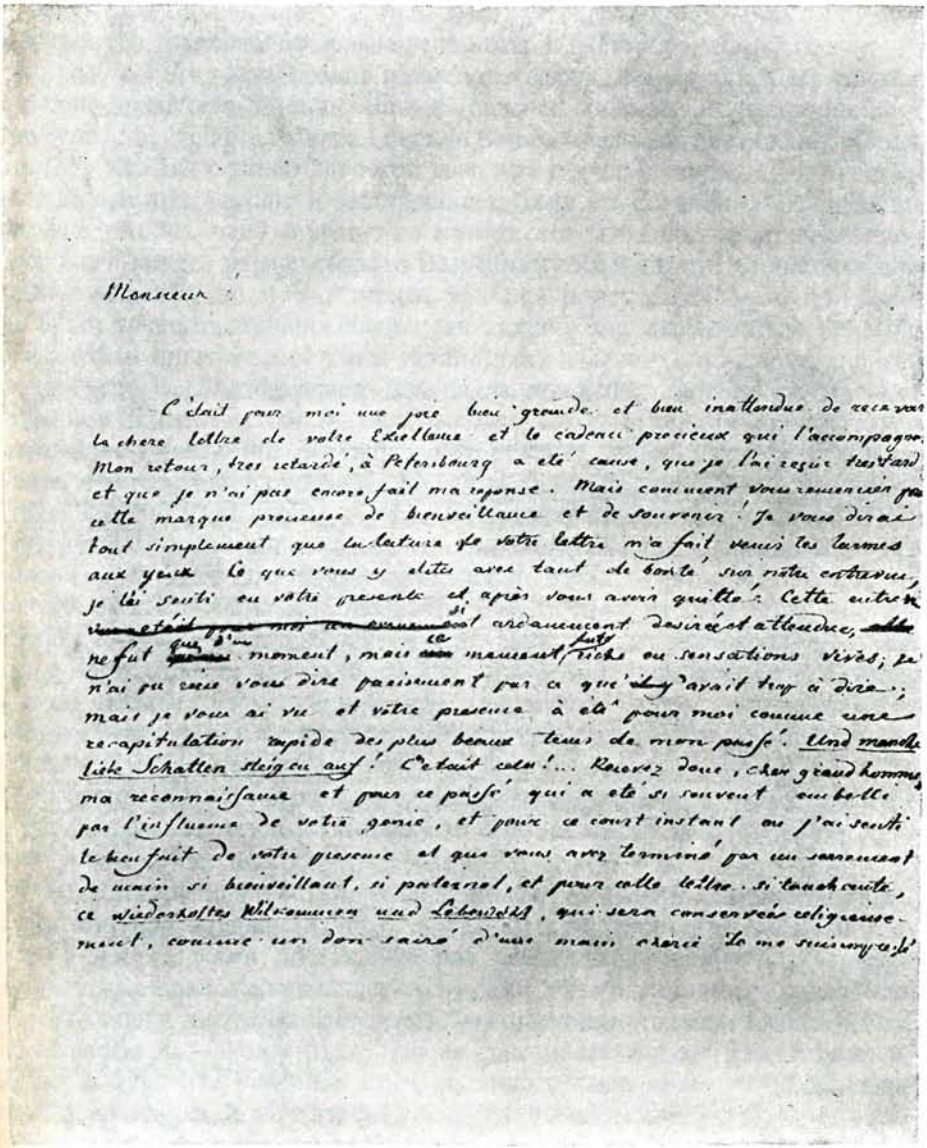
30 октября Жуковский был еще в Веймаре: «У Штруве... Дом бедный Шиллера; дом Гете», а 2 ноября в Дрездене был у Л. Тика и беседовал с ним о Гете [33].

Гете отметил посещение Жуковского: «29... под вечер г. Жуковский из Петербурга с г. Струве; рекомендован графом Брюлем и Буассере» [34].

Но впервые услышал Гете о Жуковском не от них, а несомненно от Марии Павловны, знавшей поэта по придворным встречам в Павловске и Петергофе, а в 1820 г. о Жуковском беседовал с Гете Кюхельбекер, рассказывая ему о переводах «Лесного царя» и «Миньоны»; как увидим, Кюхельбекер даже переслал Гете один из переводов Жуковского.

Гете писал Буассере: «Ожидаемый русский друг явился вслед за «Тремя святыми королями». К сожалению он не мог остаться у меня так же долго, как они. Когда он прибыл в Веймар, я был еще в Иене, и наша любезная наследная великая герцогиня исполнила его желание видеть меня, предоставив ему коляску четверней. Он посетил меня с русским поверенным в делах г. Струве, без доклада, когда уже надвигалась ночь, а я был занят совсем другими делами. Я постарался сделаться весь внимание, памятуя Вашу рекомендацию. Однако ведь всегда проходит некоторое время, пока почувствуешь друг друга, и, по правде, мне было жаль с ним расстаться. Через час они уехали, и только после их отъезда припомнилось мне, что я должен был бы спросить и сказать. Думаю написать ему несколько теплых слов и что-нибудь послать; хочу положить начало отношениям, чтоб чаще получать вести друг о друге, что при наших связях очень легко» [35]. Гете исполнил свое намерение и 15 ноября писал Жуковскому: «Ваше превосходительство вероятно почувствовали при отъезде из Иены, как мне было больно, что Вы не продлили Вашего короткого пребывания. Когда неожиданно явившийся, быстро овладевший Вашей дружбой человек столь же быстро удаляется,—начинаешь раздумывать, что бы мог ему сказать, о чем спросить, что ему сообщить. Не стану говорить, что все это я ощутил вдвойне и втройне, когда Вы и Ваш милый спутник покинули меня вечером в моем уединении; пока примите этот листок как повторение моего «добро пожаловать» и «прости». Я желал бы, чтобы память обо мне оставалась у Вас свежа и чтобы Вы при случае поручили меня благоволению и милости прекрасной принцессы (Fürstin), прелестный образ которой у меня ежедневно перед глазами: олицетворение великого дарования в соединении с небесной добротой и кротостью, он производит на меня самое благотворное влияние. Кончаю. Пусть это письмо скорее достигнет до Вас при посредстве высоких путешественников, которым да сопутствует счастье в их дальнейшем пути. Дружески преданный И.-В. фон Гете».

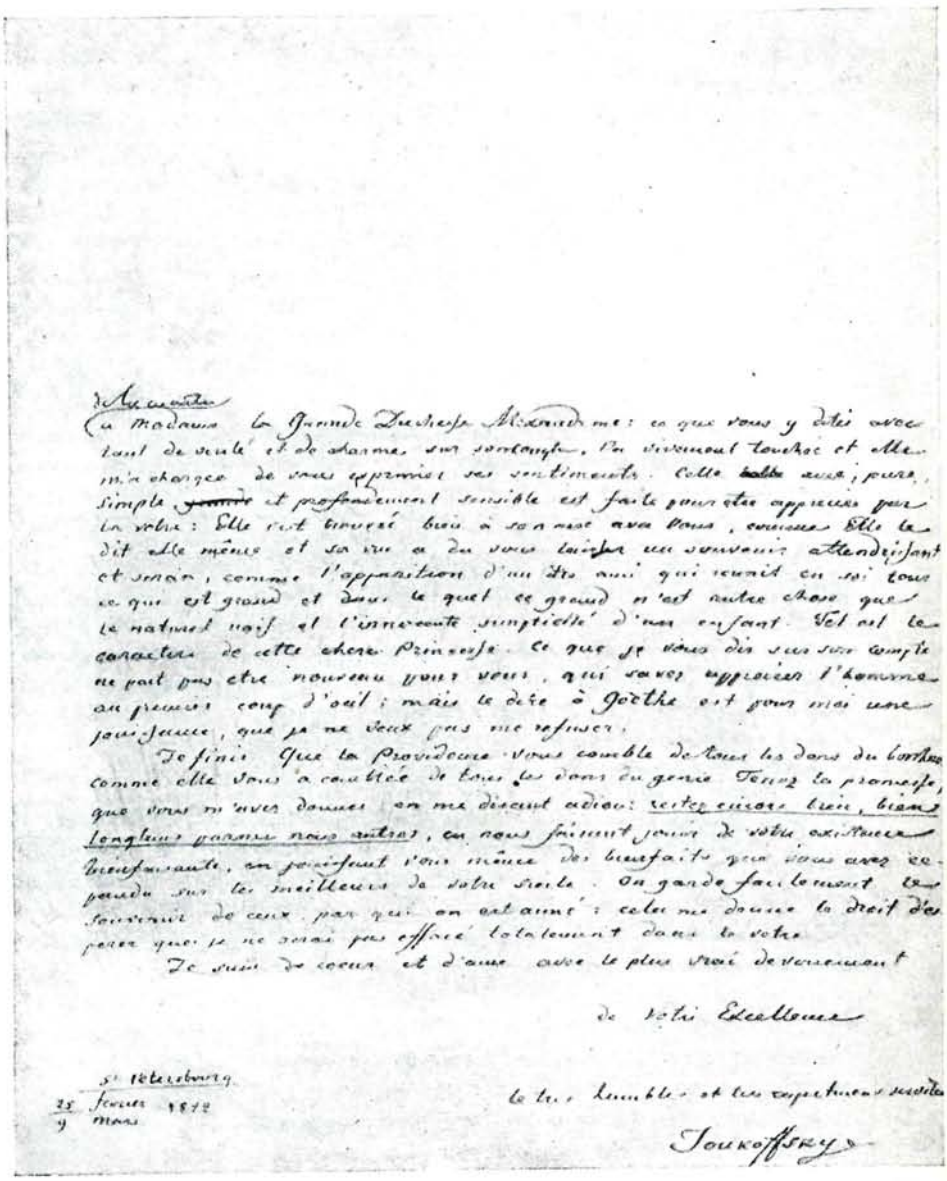
Письмо это, на тонкой с золотым обрезом бумаге в четверть листа, писанное чьим-то изящным, каллиграфическим почерком и только подписанное Гете собственноручно («Treu ergeben I. W. von Goethe»), составлено с явным расчетом на показ его Александре Федоровне: в первой части в нем царит Жуковский, во второй—его ученица, и письмо в этой части—образец придворно-поэтической лести Гете—написано так, что можно подумать, что Гете только и жив незримым, но созерцаемым им присутствием идеальнейшей из принцесс и ее «небесных» дарований. А между тем Гете



Monsieur !

C'était pour moi une joie bien grande et bien inattendue de recevoir la chere lettre de votre Excellence et le cadeau precieux qui l'accompagne. Mon retour, tres retardé, à Petersbourg a eté cause, que je l'ai reçue tres tard et que je n'ai pas encore fait ma reponse. Mais comment vous remercier par cette marque precieuse de bienveillance et de souvenir ! Je vous dirai tout simplement que la lecture de votre lettre m'a fait venir les larmes aux yeux. Ce que vous y dites avec tant de bonté sur notre entrevue, je l'ai senti en votre presence et après vous avoir quitté. Cette entrevue ~~n'a été pour moi un evenement~~ si ardemment desirée et attendue, ~~elle~~ ne fut ~~[illegible]~~ que d'un moment, mais ~~un~~ ce moment fut riche en sensations vives ; je n'ai pu rien vous dire pacisement par ce que ~~il y~~ j'avait trop à dire ; mais je vous ai vu et votre presence à eté pour moi comme une recapitulation rapide des plus beaux tems de mon passé. Und manche liebe Schatten steigen auf ! C'etait cela !... Recevez donc, cher grand homme, ma reconnaissance et pour ce passé qui a eté si souvent embelli par l'influence de votre genie, et pour ce court instant ou j'ai senti le bienfait de votre presence et que vous avez terminé par un serrement de main si bienveillant, si paternel, et pour cette lettre si touchante, ce wiederholtes Wilkommen und Lebewohl, qui sera conservée religieusement, comme un don sacré d'une main chérie. Je me suis imposé

Первая страница чернового автографа письма В. А. Жуковского к Гете от 25 февраля (9 марта) 1822 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград



Вторая страница чернового автографа письма В. А. Жуковского к Гете от 25 февраля (9 марта) 1822 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

говорит просто-напросто о бюсте Александры Федоровны, который, как находящийся в его комнатах, он не мог не иметь «ежедневно перед глазами» [36].

Жуковский отвечал Гете только 9 марта (н. с.) 1822 г.

«Дорогое письмо Вашего превосходительства для меня было большой и неожиданной радостью, так же как драгоценный подарок, сопровождавший его. Запоздалое возвращение мое в Петербург было причиною, что я получил его очень поздно и еще не отвечал. Но как благодарить Вас за такой драгоценный знак Вашей благосклонности и воспоминания? Скажу просто, что когда я читал письмо Ваше, у меня на глазах навернулись слезы. То, что Вы с такой добротой говорите о нашем свидании, я чувствовал в Вашем присутствии и расставшись с Вами. Это желанное, ожидаемое свидание длилось одну минуту, но минута эта была богата живыми ощущениями; я ничего не мог сказать Вам потому именно, что слишком много хотелось сказать, но я Вас видел, и Ваше присутствие было для меня как будто трепетом лучших дней моей жизни, und manche liebe Schatten steigen auf (и много милых теней встало): так и было! Примите же, дорогой великий человек, благодарность мою за это прошлое, так часто украшенное влияниями Вашего гения, и за то мгновение, в которое я почувствовал благодеяние Вашего присутствия и которое Вы довершили таким дружеским, отеческим рукопожатием, за трогательное письмо, с повторенными Willkommen und Lebewohl, которое свято сохранится как священный дар милой руки. Я поспешил показать его великой княгине Александре Федоровне. То, что Вы об ней сказали так верно и так прекрасно, глубоко ее тронуло. Она поручила мне выразить Вам ее чувства. Эта душа, чистая, простая, глубоко чувствующая, может быть понята Вашею душой. Ей было с Вами хорошо, она сама это сказала; а Вам, конечно, взгляд на нее оставил светлое воспоминание как появление друга, заключающего в себе все великое, и в котором это величие есть не иное что, как природная чистота и простая невинность ребенка. Таков характер этой милой великой княгини. Вам не ново то, что говорю об ней; Вы при первом взгляде умеете оценить человека, но сказать это Гете есть наслаждение, в котором не хочу себе отказать.

Кончаю. Да ниспошлет Вам провидение все дары гения. Сдержите слово, данное мне при прощании: б у д ь т е д о л г о, о ч е н ь д о л г о п о с р е д и н а с, с нами; доставляйте нам наслаждение вашим благодетельным присутствием и наслаждайтесь сами благодеяниями, разлитыми Вами на лучших людей Вашего века. Легко вспоминать тех, кто нас любит; поэтому имею право надеяться, что не совсем исчезну из Вашей памяти. Сердцем и душою с истинной преданностью остаюсь Вашего превосходительства покорный и почтительный слуга Жуковский» [37].

Какой «драгоценный подарок» получил Жуковский от Гете, нам выяснить не удалось. На письмо Жуковского Гете не ответил.

В 1822 г. Гете углубил свое знакомство с русским поэтом знакомством с его поэзией. В «Списке приобретенных книг», аккуратно ведшемся Гете, находим в июне этого года запись: «Specimens of the Russian poets. Lond. 1821» [38]. Это—известный сборник Джона Боуринга: «Российская антология. Specimens of the Russian poets: with preliminary remarks and biographical notices, transl. by John Bowring. L. 1821.» В 1823 г. вышел ее второй том. Боуринг дал переводы из Ломоносова, Державина, Хемницера, Богдановича, Кострова, Боброва,Карамзина, Дмитриева, Нелединского-Мелец-

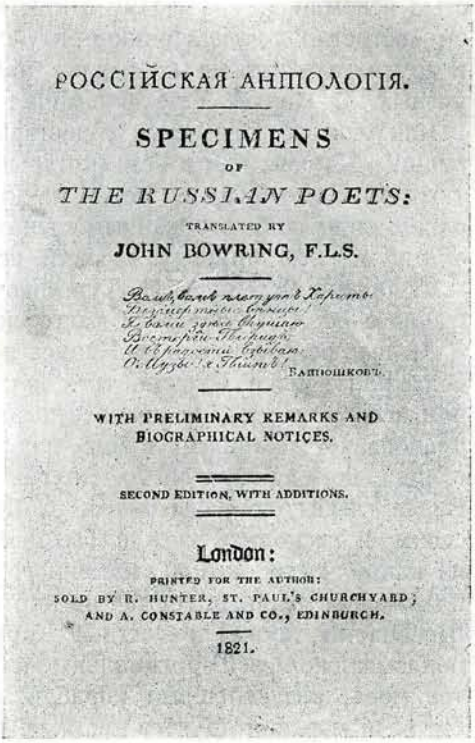
кого, И. Долгорукова, Мерзлякова, Воейкова, Батюшкова, Д. Давыдова, Вяземского и обошел почему-то Пушкина. Жуковский представлен в I томе четырьмя стихотворениями: «Пловцом» (1811 г., «The mariner»), «Эоловой арфой» (1814), «Весенним чувством» (1816, «Song») и «Тоской по милом» (1808, «Romance»), заимствованной из Шиллера. Во II томе помещены «Певец во стане русских воинов» (1812), «Светлана» (1810—1812), переименованная в «Catherine», «Теон и Эсхин» (1814) и «Певец» (1811). Каковы бы ни были качества переводов Боуринга (сам Гете ценил его перевод «Сербских песен»), его подбор из Жуковского был достаточно полон, знакомя и с его лирикой, и с двумя лучшими балладами, и со столь характерной для его мировоззрения элегией «Теон и Эсхин», и с прославленным патриотическим «Певцом». Боуринг был единственным, как приходится думать, источником знакомства Гете с русскими поэтами. Другая русская антология—Emile Dupré de Saint Maure'a: «Antologie russe, suivie de poésies originales», изданная в Париже в 1823 г., где был представлен на ряду с Жуковским и Пушкин, повидимому осталась Гете неизвестна, так же как и более поздняя антология Héguin de Guerle: «Les veillés russes» (Paris, 1829); о них нет упоминаний в его письмах, дневнике, «списках приобретенных книг» и нет их в числе читанных Гете книг из веймарской библиотеки. «Specimens» Боуринга (1821) доселе (1932) хранятся среди книг Гете в Веймаре.

Гете признавал, что Боурингу обязан он своим знакомством с русскими поэтами и в частности с Жуковским. В своей хвалебной рецензии на новую антологию Боуринга «Serbian popular poetry, translated by John Bowring, London (1827)» Гете писал: «Г. Боуринг таким же образом еще в 1821 г. подарил нас русской антологией, и это побудило нас ближе познакомиться с отдаленными восточными талантами, от которых отчуждает нас мало известный язык. Таким образом не только возымели для нас более живое значение некоторые славные имена, но мы могли ближе узнать человека, который давно сроднился с нами в любви и приязни: г-на Жуковского. Он любезно почтил нас милыми стихотворениями, и теперь мы имели возможность полюбить и оценить его в более широких границах его творчества» [39]. Гете писал для публики (рецензия помещена в «Kunst und Alterthum» 1827 г.), и «мы» и «нас» здесь значит «я» и «меня».

Между 1821—1827 гг. Жуковским не было переведено ни одного стихотворения Гете. Памятником его внимания к Гете является письмо к И. И. Дмитриеву от 11/23 февраля 1823 г. Посылая старому поэту портрет Гете, Жуковский принес маленькую исповедь: «Принося Вашему высокопревосходительству этот подарок, я плачу долг благодарности: Ваши стихи «Размышление по случаю грома», переведенные из Гете, были первые, выученные мною наизусть в русском классе, и первые же мною написанные стихи были их подражанием. И так мне прилично подарить Вас портретом Гете. Вы мой учитель в поэзии. Я видел Гете и могу поручиться Вам за совершенное сходство портрета с оригиналом» [40].

Весною 1826 г. Жуковский вновь поехал за границу—лечиться и готовиться к новой придворной должности: быть воспитателем наследника престола. Он пробыл за границей до октября 1827 г. Это было путешествие не поэта, а человека, переучивающегося с азов для новой практической должности. В Эмсе, где Жуковский лечился, он встретился с веймарским канцлером фон Мюллером. Памятником их разговоров о Гете остался подарок Мюллера (теперь в Онегинском собрании в Институте Русской

Титульный лист „Российской антологии" Боуринга
С экземпляра, хранящегося в личной библиотеке Гете
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар



РОССІЙСКАЯ АНѲОЛОГІЯ.

SPECIMENS
OF
THE RUSSIAN POETS:
TRANSLATED BY
JOHN BOWRING, F.L.S.

Вамъ вамъ плещутъ в Ѳиваидѣ
Вдохновенные Гомеры!
Вамъ зари Авзонія
Восторги Петрарки
И Сладкогласна Сирена
О Музы! и Тибулъ!

БАТЮШКОВЪ.

WITH PRELIMINARY REMARKS AND
BIOGRAPHICAL NOTICES.

SECOND EDITION, WITH ADDITIONS.

London:
PRINTED FOR THE AUTHOR:
SOLD BY R. HUNTER, ST. PAUL'S CHURCHYARD;
AND A. CONSTABLE AND CO., EDINBURGH.

1821.

Литературы): книга «Goethes Jubeltag. Weimar 1826 г.» На этой книге, посвященной 50-летию пребывания Гете в Веймаре (1775—1825), торжественно отпразднованному 7 ноября 1825 г., Мюллер, издатель книги, надписал: «Herrn Hofrath von Joukowsky zu freundlicher Erinnerung an den Herausgeber F. von Müller. Ems, 1 August, 1826» (Господину надворному советнику Жуковскому на дружескую память об издателе. Ф. фон Мюллер. Эмс. 1 авг. 1826).

Переучиваясь, Жуковский безвыездно засел в Дрездене, где одновременно жил и А. И. Тургенев, и оба они были частыми посетителями литературного салона престарелой поэтессы гр. Ел. Рекке (р. 1756 г.), которая издавна знавала Гете. К ней заходил Л. Тик, и у нее пелись и читались стихи Гете. В Дрездене Жуковский часто встречался с очень полюбившимися ему художниками—Фридрихом и Карусом. Каспар-Давид Фридрих (Friedrich, 1774—1840), профессор дрезденской Академии художеств, привлекал Жуковского сюжетами своих романтических картин: его специальностью был меланхолический ландшафт, луна, море, ночь, кладбище. Жуковский покупал его картины. Примечательнее была личность Каруса (Карл-Густав Карус, 1789—1869). Он совмещал в себе выдающегося ученого и живописца. В философии близкий к Шеллингу, Карус был одним из влиятельнейших ученых в области анатомии и физиологии. Русские шеллингианцы учились из его книг анатомии и физиологии. «В этих книгах,—говорит В. Ф. Одоевский,—глубокая и положительная ученость соединяется с тем поэтическим элементом, благодаря которому Карус умел соединить в себе качества физиолога первой величины, опытного врача, оригинального живописца и литератора» [41]. В глазах самого Гете Карус принадлежал к немногочисленной кучке передовых ученых. Гете с благодарно-

стью вспоминал, что своему открытию междучелюстной кости у человека он «встретил сомышленников в Земмеринге, Окене, д'Альтоне, Карусе и других замечательных людях», при яростном противлении большинства ученых. О Карусе Гете «упоминал с чувством удивления» [42].

Как ученых Одоевский сопоставлял Каруса и Гете: «Признаемся, мы видим в Карусе, как в Гете (который также был и поэтом, и естествоиспытателем), зарю будущей новой науки, которая... не будет ограничиваться одним каким-либо оторванным членом природы, но заключит в живом своем организме всю природу во всей всеобщности» [43].

28 января 1827 г. А. И. Тургенев записал в неизданном дневнике посещение с В. А. Жуковским мастерских Фридриха и Каруса:

«Сейчас возвратились от Каруса и Фридриха—и первый мне едва ли не более понравился. Картина трех волхвов, путеводимых звездою, на пустынном небе сияющею, но уже освещенном тем незаходимым светом, который прообразует светоносца в мир прошедшего. Еще не свет полного, яркого солнца, но уже заря оного. Другая картина—моря, льдинами покрытого. Видел глыбы, громады оного, на которых тюлени наслаждаются бытием своим, и несколько кусков Treibholz (наносного леса.—*С. Д.*), кто знает из какой части океана занесенного!—вода зеленая разных отливов и от плавающих ледяных громад на картину смотреть холодно! Виды и зелень Швейцарии также прелестны! Карус и Док[то]р мед[ицины]! Фридрих показывал нам свои оригинальные картины, и у него видел льдинами покрытое море, раздавившими корабль, на коем уже нет признаков жизни. Но вода морская другого цвета, и льдины Фрид[риха] иначе образованы. Две картины для Жуковского—смерть и жизнь на кладбище. На одном кладбище изображены сельские надгробные памятники, и около них вьются цветы и зеленеет густая, полная жизни и соков трава; на другой—глубокий снег покрывает кладбище; сухое дерево напоминает ту же смерть и недалеко сугроб раскопан для могилы и лежат заступы, полузанесенные снегом! Все жило, все цвело, чтоб после умереть» [44].

У Каруса Жуковский приобрел тогда картину.

Июль и август 1827 г. Жуковский провел в Эмсе, лечась водами. Оттуда он собирался съехаться с А. И. Тургеневым в Веймаре ко дню рождения Гете, но это не состоялось, и Жуковский тронулся из Эмса с другим знакомцем Гете—с художником Рейтерном, своим будущим тестем, с которым познакомился в Эмсе же в 1826 г.

Рейтерн—любопытная страница из истории русских отношений Гете, и мы должны немного на ней задержаться.

Гергард (в русском усвоении—Евграф) Романович Рейтерн (1794—1865), уроженец Лифляндии, в ранней юности учился в Дерптском университете и прилежно занимался рисованием у проф. Зенфа, но увлекся военной карьерой и 19-летним юношей попал в Германию, участвуя в «освободительном походе» против Наполеона, сражался под Дрезденом, под Кульмом и в «битве народов» под Лейпцигом потерял правую руку. Судьба столкнула юношу-офицера с Гете в 1814 г., весною. Его лицо и фигура запомнились Гете, и в 1815 г. (27/IX) он из Гейдельберга писал жене в Веймар: «Русские движутся тремя колоннами... Раз они так торопятся, они скоро будут впереди, на что я надеюсь, чтобы обратный путь совершить через Вюрцбург. В Эрфурт я не могу больше приехать. Тяжело лишать себя стольких родственников, знакомых и друзей». И вдруг эти невеселые сообщения из круга военной сумятицы прерываются у Гете вопросом:

«Не вспоминается ли тебе прекрасный русский с одною рукой? Он встретил меня вчера во дворце; мы оба обрадовались встрече. Он проедет через Веймар»[45]. По рассказу детей Рейтерна, встреча их отца с Гете «была знаменательна. Гете был необыкновенно мил, отечески-сердечен, утро сияло. Рейтерн решился попросить Гете высказаться, что он думает и чувствует среди окружающей природы (встреча произошла в саду). Гете согласился. Рейтерн не помнит точно слов, но ему самому тут впервые открылись глаза на окружающее, на царящий в нем закон» [46].

Рейтерн впервые почувствовал себя не офицером, а художником. Гете позвал Рейтерна в Веймар, юноша посетил его, Гете был ласков, но не таков, по записи дневника Рейтерна, «как в то утро, в прекрасной стране, под свободным божьим небом» [47].

Рейтерн, пользуясь пребыванием за границей, утолял, где мог, в картинных галлереях и музеях, свое влечение к живописи и преодолел самое трудное: научился рисовать л е в о й рукой. В 1817 г. его отпустили из Петербурга в отпуск за границу, и он изучал искусство в Берлине. В 1818 г. он опять увиделся с Гете в Веймаре. 2 мая Гете отметил: «Г. фон Рейтерн, перед отъездом в Швейцарию и Италию» [48].

В 1819 г. Рейтерн наконец получил отставку, женился и сделался художником, одной ногой стоявшим в России, другой в Германии. В его семье говорили по-немецки; после попыток жить в России он окончательно обосновался в Германии, в Виллингсгаузене. Ему приходилось много лечиться. Он находился под покровительством императрицы Елизаветы Алексеевны и получал от нее пенсию. Быть художником-профессионалом он не считал возможным.

В 1826 г. он встретился на леченьи в Эмсе с Жуковским и очаровал его своими акварелями. Рейтерн занимался в это время у пейзажиста Родена в Касселе, но со смертью Елизаветы Алексеевны его живописание оказалось без материальной поддержки. Жуковский нашел ему новую меценатку в лице Александры Федоровны, представив ей несколько рисунков Рейтерна. Поэт, увлеченный «Аркадией» рейтерновского художества (он писал ландшафты и идиллические сцены из гессенской народной жизни), завидным образом устроил ему судьбу: ему было назначено из Петербурга постоянное денежное содержание, «позволено» Николаем Павловичем проживать беспрепятственно за границей, а искусством заниматься оставлено на его усмотрение: чем хочет и как хочет. Ни один русский художник не имел таких привилегий. Тем с большей благодарностью встретил Рейтерн опять в Эмсе в 1827 г. своего «старого милого философа» и познакомился с его другом А. И. Тургеневым [49]. Жуковский, сам не расставшийся с рисовальным альбомом, обрадовался такому спутнику по Германии.

31 августа они с Рейтерном были во Франкфурте, на родине Гете, и осматривали город с мыслями о «Фаусте» и его творце: «Дом Гете; герб 3 лиры, двор, колодезь, мансарды, Гретхен. Окрестности Франкфурта»[50]. 1 сентября, в пути, Жуковский читал «Елену, только что появившуюся тогда классико-романтическую фантасмагорию, интермедию к Фаусту» Гете. 3 сентября путники прибыли в Веймар, и 4-го Жуковский по обычаю расставил «колья» целого дня: «Веймар. Поутру к принцу Филиппстальскому. К Гете. Крыльцо с поворотом. Собака. В прихожей: Юпитер du Capitole, Pallas de Velletri. В гостиной Aldobrandini, рисунки. Стол с портфелями. Голова Юноны колоссальная. Барон Швейцер, внук Вольфганг. У принца. У m-elle Sylvestre. Вечер дома» [51].

Жуковский еще раз возвращается к тем «realia» дома Гете, которые поразили его и в 1821 г. Жуковский заметил теперь и «Веллетрийскую Палладу» (Гете посетил богатейшее собрание древностей Борджиа в Веллетрии, по пути в Неаполь, 22 февраля 1787 г.), и Юнону; о ней в начале января 1786 г. Гете писал из Рима: «В утеху себе я вчера поставил в зале отливок колоссальной головы Юноны, оригинал которой стоит в Вилла Лудовизи. Это была моя первая страсть в Риме, и наконец я ею обладаю. Никакие слова не могут дать о ней понятие: это точно песнь Гомера»[52]. Любимой женщине, г-же ф. Штейн, он писал тогда же: «У тебя только одна соперница: это—колоссальная голова Юноны»[53]. В «personalia» этого дня—несколько имен, требующих пояснения. Жуковский был у Гете в сопровождении веймарского министра Христ.-Вильг. Швейцера (1781—1856), ученого юриста, и опять приметил «внука Гете», на этот раз назвав его: это был младший, любимец Гете, названный в честь деда Вольфгангом (1820—1883), впоследствии доктор прав, камергер, дипломат—официально, поэт и философ—неофициально. «Вельфхен»—частое действующее лицо в дневниках деда и в записях посетителей, и дед относился к его деятельности—шалостям и проказам—с величайшим снисхождением. Перед вечером Жуковский посетил m-elle Sylvestre. Это довольно примечательное лицо русской гетеаны. А. И. Тургенев встретился с m-lle Sylvestre в Женеве в 1833 г. и писал Вяземскому: «Если m-lle Sylvestre приедет с Уваровой в П-бург, то познакомься с ней: умна, добра, учена и воспитывала дочерей вел. кн. Марии Павловны; знавала Гете; услаждала последние дни Бонштетена, переправляла его сочинения и теперь занимается астрономией. Уваров мог бы от детей взять ее в Академию и выспросить ее о Гете для своей академической некрологии. Жуковский знает ее коротко»[54].

M-lle Sylvestre поехала в Россию не в Академию, а наставницей к детям Уварова, но по дороге, с рекомендацией А. И. Тургенева, побывала у Шеллинга, беседовала с ним и прислала такое любопытное письмо о Шеллинге, что очарованный им А. Тургенев переслал его в копии Вяземскому со строгим наказом дать читать Чаадаеву[55].

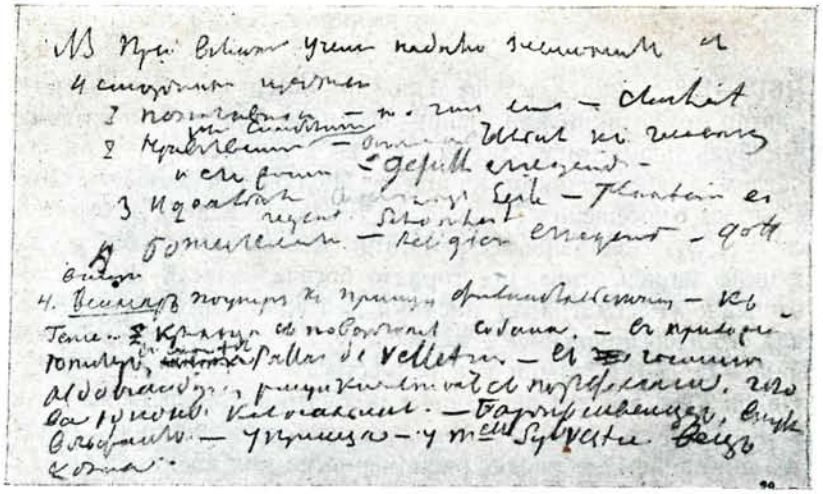
Запись 4-го числа ничего не говорит о самом Гете кроме обидно лаконичного «К Гете», а между тем на этот раз Жуковский застал Гете: в дневнике своем Гете пометил: «ф. Рейтерн и Жуковский, тут же г. ф. Швейцер, надворный советник Мейер»[56].

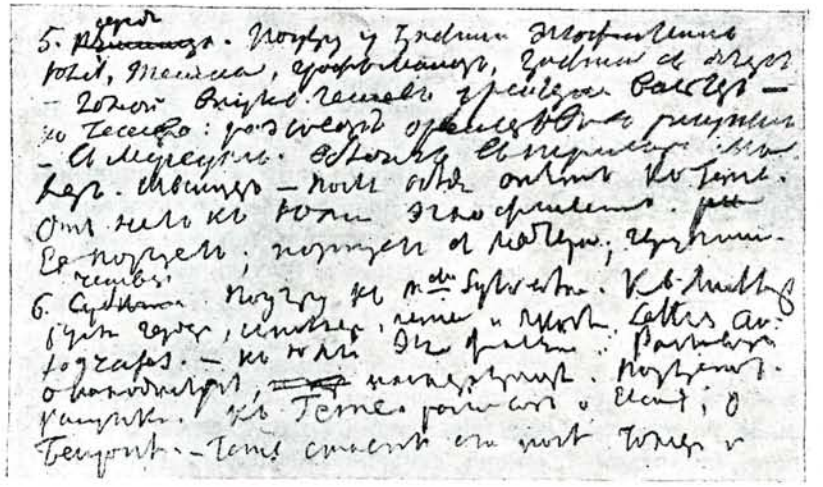
5 сентября Жуковский записал: «Поутру у графини Эглофштейн: Юлия, тетка, граф майор, графиня с дочерью. Домой. Внук гетев у Рейтерна Вальтер. К Гете: разговор о рейтер[н]овых рисунках. В музеум. Обедал в трактире. Миллер. Швейцер. После обеда опять к Гете. От него к Юлии Эглофштейн. Ее портрет, портрет ее матери; герцогини»[57].

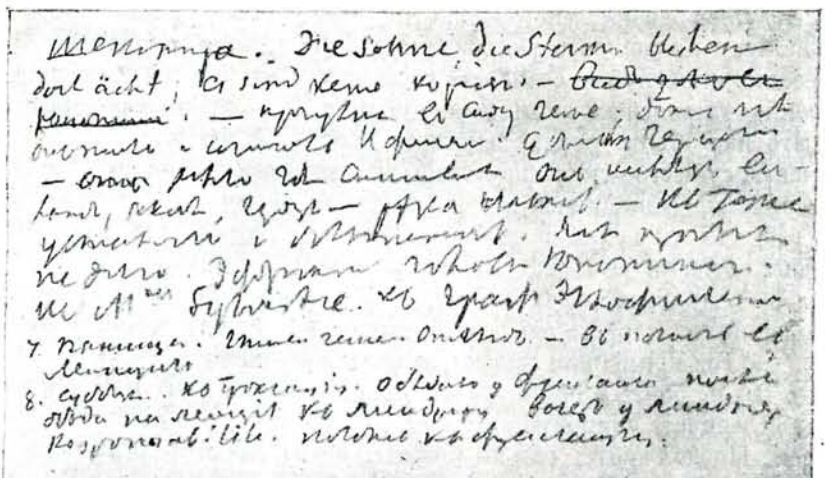
Жуковский начал свой день с посещения уже знакомой нам придворной семьи Эглофштейн, очень близкой к Гете.

Через Каролину Эглофштейн, фрейлину Марии Павловны, Гете не раз сносился с Петербургом, а ее сестра Юлия была не бездарная художница. С октября 1826 г. до июля 1827 г. Гете не отказывался, с большими перерывами, позировать ей для портрета, на котором изображен у колонны, во фраке, с приспущенным плащом, со свитком и лавровым венком в левой руке[58]. Сестры Эглофштейн, случалось, дежурили при больном Гете. Он ценил их остроумие и живость мысли и чувства.

Вернувшись от Эглофштейн, где, сомнения нет, беседа шла о Гете, Жуковский застал старшего гетева внука в беседе с Рейтерном: 9-летний маль-







Автографы записей в дневнике В. А. Жуковского от 4, 5 и 6 сентября 1827 г. с описаниями посещений Гете
Публичная Библиотека, Ленинград

чик (1818—1885)—впоследствии барон и камергер, сбразованный музыкант, автор композиций для пения—вероятно был послан из дома Гете с каким-нибудь поручением. Затем следуют два посещения Гете, разделенные обедом и посещениями канцлера Мюллера и министра Швейцера. После второго посещения Жуковский посещает Юлию Эглофштейн, знакомясь с ее художественными работами, и заканчивает вечер во дворце.

Немецкие записи этого дня гораздо богаче записей Жуковского. Сам Гете записал: «Рассматривал рисунки Рейтерна. Он сам с г. Жуковским. Похвала его необыкновенному мастерству. Дальнейшие цели (очевидно—Рейтерна.—*С. Д.*) в жизни и в искусстве» [59].

В записи Гете все его внимание как будто устремлено на Рейтерна, а не на Жуковского. Канцлер Мюллер, наоборот, построил свою запись так, что внимание Гете падает равномерно на них обоих:

«В это утро Гете был так радостно тронут посещением Жуковского и Рейтерна, что я еще никогда не видал его более любезным, приветливым и общительным. Все, что он мог доставить этим друзьям приятного, сердечного, ободряющего в суждении, в намеке, в поощрении, в любви,—все это он дал им ощутить или высказал прямо... Обрадованный тем, что я уговорил друзей остаться здесь подольше, он сказал: «Я так распорядился своим временем, что для друзей его у меня всегда хватит» [60].

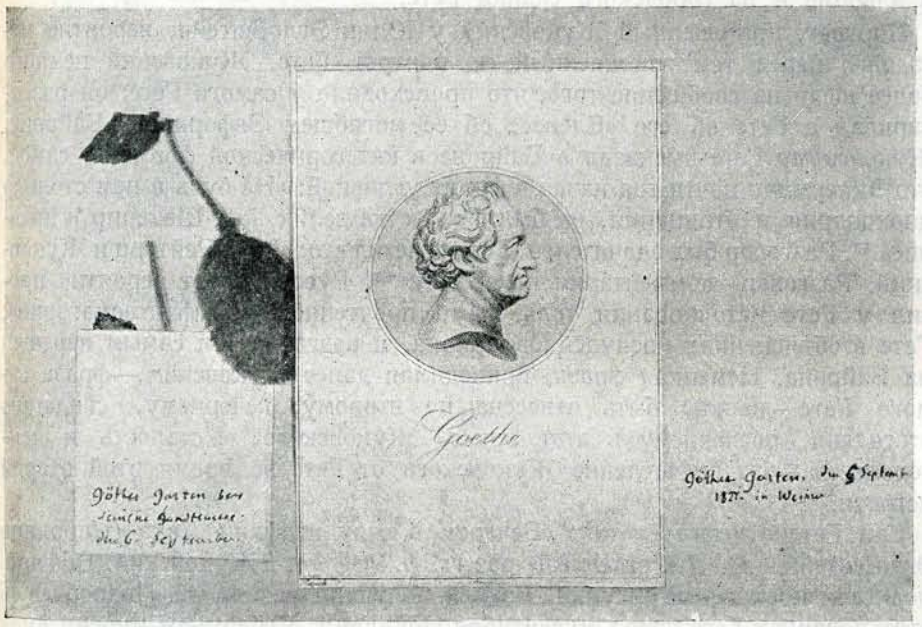
Запись Мюллера очень ценна: прилежный и постоянный свидетель «трудов и дней» Гете, приливов и отливов его общительности и отзывчивости, он дает в этих словах прочное свидетельство, что двукратное в этот день свидание Гете с русским поэтом и русско-немецким художником было не простою любезностью со стороны Гете, а его действительною потребностью.

С ярким восторгом описывает этот счастливый для себя день сам Рейтерн в письме к жене; письмо написано как отчет обо всем пребывании в Веймаре, но вероятнее всего оно может быть отнесено именно к 5 сентября. «Он меня не только успокоил,—говорит Рейтерн о Гете,—нет, поднял: меня самого наполнило изумление пред тем, что было правильного в моем неясном устремлении к искусству. Он указал мне путь художника для всей моей будущей жизни; мне обещан им несомненный успех, если только я так же буду продолжать видеть природу. Я как бы воспламенен в душе и внезапно стал глубже сознавать свою цель. Великолепный старец был совершенно откровенен, внимателен, общителен и неописуемо любезен, но так, что нас объял трепет, действительность ли это или сон, или какое-то высшее существо снизошло, чтобы нас возвести в свои светлые области, и мы радостно удивляемся и в неописуемом напряжении хотели бы охватить все, что мы видим и слышим. О моих работах Гете выразился следующим образом: «Во всех Ваших рисунках не нахожу ничего, что Вы могли бы устранить, во всем—ясно созерцаемая природа, верное чувство ее, восприятие характерного и прекрасного. Всюду чутье композиции, а там, где Вы применили краски, я вижу насыщенные цвета, и прекрасно то, что Вы не боитесь брать их так ярко, как являет их нам природа. Вы всегда созерцаете природу как образ, как картину (als Bild); это я нахожу во всем. Продолжайте, только пишите, и Вы увидите тогда, что Вы это можете. Все Вам будет тогда легко и Вы будете творить, как Вы вряд ли теперь можете поверить. Пишите и Вы будете творить». Жуковский был совершенно взволнован тем признанием, какое мои работы нашли у Гете, и вместе со мною испытывал счастье найти такого судью и покровителя» [61].

Этот малоизвестный отрывок письма Рейтерна очень ценен для понимания суждений Гете о живописи. Это—страстный призыв великого природолюбца к небоязни перед нею, к ученичеству у ней как у смелого мастера формы и колорита, к «насыщенному цвету», к яркости и смелости восприятия. Гете точно намечает пути, по которым впоследствии, особенно у французов, пошла новая живопись и по которым конечно не удалось пойти Рейтерну.

Запись дневника Гете за этот же день (5 сентября) еще раз отмечает «повторение [разговоров] о рейтерновских рисунках» [62].

Третий день общения с Гете—6 сентября—Жуковский записал так:



Страница из альбома В. А. Жуковского
В центре—гравюра с барельефа Гете; сбоку—листья, взятые В. А. Жуковским из сада Гете 6 сентября 1827 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

«Поутру к m-elle Sylvestre. К Миллеру. Бумаги Гердера, Шиллера, Гете и Якоби. Lettres autographes. К Юлии Эглофштейн. Разговор о Каподистрия, императрице. Портрет. Рисунки. К Гете. Разговор о Елене, о Байроне. Гете ставит его подле Гомера и Шекспира. Die Sonne; die Sterne bleiben doch echt; es sind keine Copien (Солнце; звезды остаются неподдельны; это—не копии). Прогулка по саду Гете; дом, где он писал и сочинял Ифигению. Домик герцога. Место, где сиживали он, Шиллер, Виланд, Якоби, Гердер. Река Ильм. К Гете. Усталость и деятельность. Мы пробыли недолго. Эффект головы Юнониной. К m-elle Sylvestre. К графине Эглофштейн»[63]. Опять два свидания с Гете в один день. Первому, при посредстве канцлера Мюллера, предшествует знакомство Жуковского с автографическими достопамятностями Веймара. Жуковский в это утро умножил число их. В альбом канцлеру Мюллеру он вписал: «Der Augenblick deutet auf das Ungefähr, aber die Jahrhunderte auf Gott. Zum Andenken auf ein kurzes Zusammen lange Freundschaft d. 6 Sept. 1827. Weimar.» [64]

(«Мгновение говорит лишь о случайном, столетия—о боге. На память о кратком «вместе» долгой дружбы. 6 сент. 1827. Веймар»). Жуковский высказал мысль, много раз в течение жизни повторенную им в прозе и в стихах. Но в Веймаре, в альбоме друга Гете, она быть может имела особый смысл: не возражение ли это на знаменитую стержневую мысль «Фауста»: «Остановись, мгновенье: ты прекрасно!» «Нет,—возражает Жуковский,—мгновенье не может быть прекрасно: оно говорит только о случайном, а речь веков—не о прекрасном, а о боге».

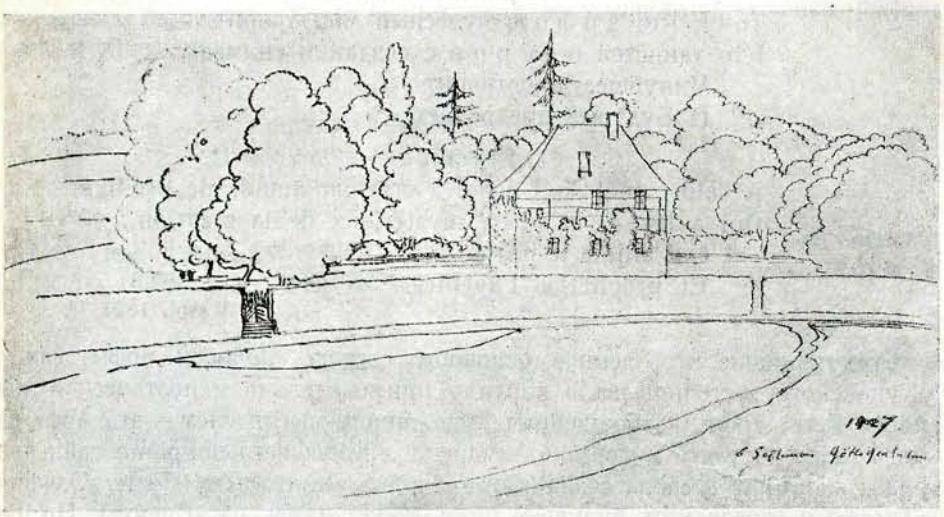
В саду загородного домика Гете Жуковский сорвал несколько листочков и сохранил их у себя в альбоме, надписав под ними: «Goethes Garten bey seinem Landhause, den 6 September». Несколько листочков сберег он в альбоме и из городского садика Гете.

Портрет, примеченный Жуковским у Юлии Эглофштейн, вероятно незадолго перед тем законченный ею портрет Гете. Жуковский немного более щедр на сообщение того, что происходило у самого Гете: он разговаривал с Гете об его «Елене», об ее погибшем Эвфорионе—Байроне. Жуковскому Гете высказал о Байроне в категорической форме то самое, что Эккерману почти год назад в форме условной: «Не будь в нем столько ипохондрии и отрицания, он был бы так же велик, как Шекспир и древние» [65]. Разговор был значителен. Гете отметил его: «Г. ф. Рейтерн и Жуковский. Разговор—комментарии на «Елену» [66]. Русский поэт вероятно просил у Гете истолкования только что прочтенной им «фантасмагории»; Гете в объяснениях коснулся Эвфориона, и разговор тем самым перешел на Байрона. Немецкая фраза, приводимая далее Жуковским,—фраза самого Гете—должна быть отнесена ко второму, вечернему, свиданию этого дня, последнему в этот приезд Жуковского. «Усталость и деятельность»—вот впечатление Жуковского от Гете во время этой второй встречи.

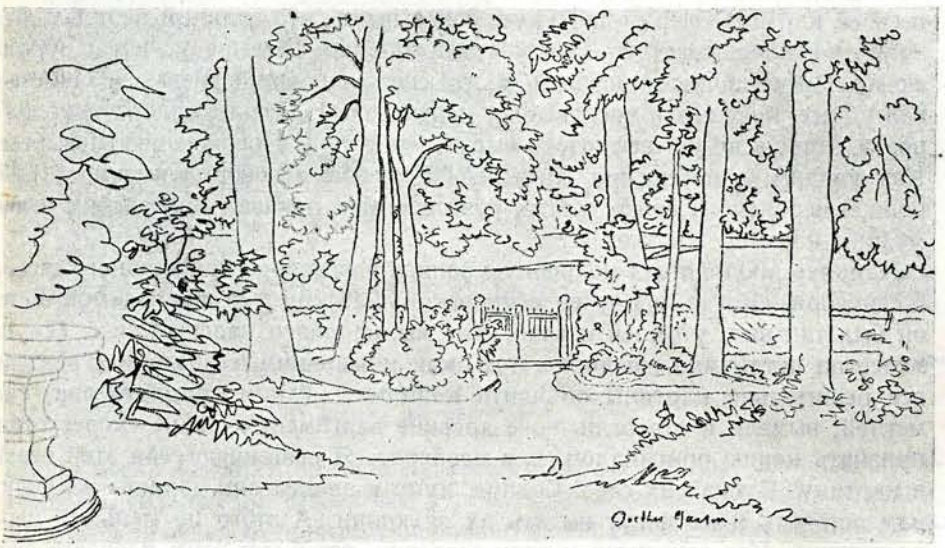
Сам Гете отметил ее так: «Вечером в саду графиня Лина (Каролина Эглофштейн.—*С. Д.*), затем еще раз гг. ф. Рейтерн и Жуковский. Оба преподнесли прекрасные рисунки. Взамен получили медали» [67]. Подробнее об этих подарках Гете писал 30 сентября Иог.-Генр. Мейеру: «Я многим имел возможность насладиться и многое получил в собственность. Г. ф. Рейтерн оставил прекрасный сильный рисунок леса; замечательная картина Каруса выражает восхищенному взору всю романтику, так же как «Геркулес и Телеф» в совершенстве передает классическое» [68].

В Веймаре доныне сохраняются в Доме Гете оба подарка: рисунок Рейтерна, изображающий, по его собственноручной подписи, лес в Виллингсгаузене, где он жил, и картина Каруса, подаренная Жуковским [69].

Вот что изобразил Карус.—Балкон готического здания—один из тех балконов, что в старых соборах и ратушах таятся в лесу тянущихся вверх колонн и остроконечных сводов. Колонны балкона увиты виноградом. На балконе, на особом возвышении, стул готического же рисунка. На спинку его одним концом наброшен чей-то плащ, он спускается на сиденье, покрывает его свободными сложными извивами, скрывая все ножки, падает на возвышенье. К стулу прислонена высокая арфа. Кто-то только что был на балконе, играл на арфе, оставил свой плащ—и ушел. А сквозь струны арфы сияет полная луна, на небе—ни облачка. Высокие шпили готического собора и еще какого-то здания и крыши домов залиты лунным светом.



Загородный домик Гете
Рисунок пером В. А. Жуковского, сделанный 6 сентября 1827 г. в Веймаре
Внизу рукою Жуковского: „1827. 6 September. Göthes Gartenhaus"
Публичная Библиотека, Ленинград



Сад Гете
Рисунок пером В. А. Жуковского, сделанный 6 сентября 1827 г. в Веймаре
Внизу рукою Жуковского: „Goethes Garten"
Публичная Библиотека, Ленинград

На картине Каруса Жуковский сделал надпись:

Приношение
Тому, кто а р ф о ю чудесный мир творит,
Кто таинства п о к р о в с создания снимает,
Минувшее животворит
И Будущее предрекает!

Offrande
A celui, dont la L y r e a crée un monde de prodiges,
Qui a levé le v o i l e mystérieux de la création,
Qui anime le passé
Et prophétise l'avenir.

5 sept. 1827 [70].

Стихотворение это, верное основному строю «Эоловой арфы» самого Жуковского, истолковывало картину применительно к поэтической личности Гете: арфа, изображенная художником-мыслителем,—это арфа самого Гете, могучего художника-мудреца, снимающего покров с тайн природы, властного в своих созданиях оживлять «минувшее» («Гец», «Эгмонт», «Тассо») и «предрекать будущее» (быть может намек на «Елену»). Но Шевырев, которому в 1829 г. картину Каруса показывал сам Гете, относил ее символику к Байрону: это—элегия по нем, вдохновленная той элегией-дифирамбом, которую пропел ему Гете в своей «Елене». «Мысль» картины «взята из «Елены», утверждал Шевырев в 1829 г., а в 1838 г. подтверждал: «Это была память о Байроне» [71]. Слова самого Гете, что Карус выразил в своей картине «всю романтику», показывают, что великий поэт в толковании полюбившейся ему картины был ближе к Шевыреву, чем к Жуковскому. Представляется вероятным, что свое толкование Шевырев заимствовал у Гете: показывая московскому переводчику «Елены» подарок русского поэта, Гете легко мог высказать мысль, близкую к утверждению Шевырева. Как увидим, в посещение Шевырева Гете много говорил именно о Байроне и вероятно в связи с этим разговором и показал московским любомудрам картину Каруса.

Канцлер Мюллер дал подробную запись разговоров прощального вечера 6 сентября. «Когда под вечер Жуковский, Рейтерн и я, мы посетили Гете, он был так вял, утомлен и слаб, что мы не долго задержались. Тем не менее он остроумно говорил о том, как иные мнимые знатоки стремятся все решительно картины объявить копиями: «Таким способом они, как метлой, вымели и отвергли даже древние пергаменты. Я же скорее готов признать копию оригиналом, чем наоборот. Я возвышаю себя этой верой в картину. Пускай их себе. Солнце, луну и звезды они должны же будут нам оставить и не могут выдать их за копии. А этого по меньшей мере достаточно. Кто относится к делу серьезно, тот будет этим удовлетворен. Надо только не давать сбивать себя с толку. Надо стараться всегда как можно больше развивать и укреплять собственное свое суждение» [72]. Таким образом немецкие слова в записи Жуковского—обрывок целой речи Гете, сохраненной канцлером Мюллером.

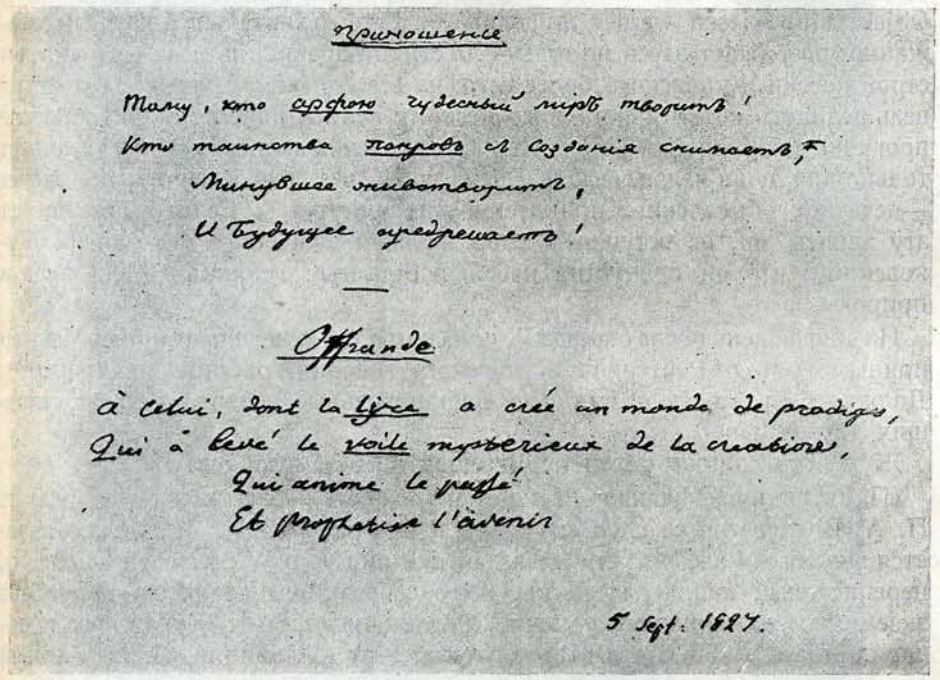
На следующий день, 7-го, Жуковский записал: «Чтение Гете. Отъезд. В полночь в Лейпциге» [73].

Он не записал главного, что он сделал в это последнее веймарское утро: он простился с Гете в стихах. Он пересмотрел в них всю свою поэтическую судьбу и не без горечи пороптал на нее, что она судила ему слишком позд-

нюю встречу с Гете-поэтом и с Гете-человеком: более ранняя встреча,— важное признание в устах «пудренного Оссиана» [74],—могла бы направить его поэзию на другую, более солнечную дорогу, вдали от туманов, романтики и пиэтизма:

Творец великих вдохновений,
Я сохраню в душе моей
Очарование мгновений,
Столь счастливых в близи твоей!... и пр.

Гете пробудил уснувшее поэтическое вдохновение Жуковского: за 1825—1827 гг. он написал всего 3—4 заказных стихотворения, и


Приношеніе

Тому, кто арфою чудесный міръ творитъ!
Кто таинства покровъ съ созданія снимаетъ,
Минувшее животворитъ,
И будущее предрешаетъ!

—

Offrande

à celui, dont la lyre a crée un monde de prodiges,
Qui a levé le voile mystérieux de la création,
Qui anime le passé
Et prophétise l'avenir

5 Sept. 1827.

Автограф стихотворного обращения В. А. Жуковского к Гете на русском и французском языках на обороте картины Карла Каруса, подаренной Жуковским Гете
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

вдруг, после плохих куплетов на выпуск институток, это сильное стихотворение. Жуковский тут же сам перевел свое обращение к Гете по-немецки. Этот свой перевод Жуковский надписал: «Dem guten grossen Manne» (Доброму великому человеку) и передал его рано утром канцлеру Мюллеру для вручения Гете [75]. Поручение Жуковского Мюллер, пришедший в восторг от стихов нашего поэта, исполнил в тот же день, но был недоволен встречей, оказанной Гете этому подарку русского певца: «Слишком холодно, по-моему, принял Гете великолепное прощальное стихотворение Жуковского, хотя нашел в нем нечто восточное, глубокое, иератическое (Priesterliches)». Мюллер даже склонен приписать это полуравнодушие Гете стороннему вмешательству: «Он был сегодня совсем другой, чем позавчера. Тут могло действовать присутствие Мейера, пред которым он как бы избегает выказывать свои чувства. Мейер мне пока-

зался сегодня Мефистофелем, таким холодным, таким мироненавистником, лишенным любви». Но дело было конечно не в Мейере, что показал далее и сам добрый канцлер, огорченный за Жуковского. «Стихотворение баварского короля, которое король переслал мне из Фульды, показалось Гете слишком субъективным; не дело поэзии (es sei gar nicht poetisch) так трагично передавать прошедшее, вместо того чтобы признать настоящее и найти в нем чистое наслаждение; не следует поэту убивать прошедшее ради возможности воспеть его. Прошедшее надо изображать так, как оно изображается в «Римских элегиях». Однажды гр. Лебен высказал ему по случаю дня его рождения, что он только после его смерти по-настоящему сумеет выразить ему свою хвалу. Потому-то, что люди не умеют оживить, оценить настоящего, они и вожделеют будущего и кокетничают с прошлым. И Жуковскому надлежало бы более обратиться к объекту (mehr aufs Objekt hingewiesen werden müssen)» [76]. Гете решительно, хотя и сдержанно, возражает здесь не только на стихотворение, но и на весь уклад и строй поэзии Жуковского, более того: на все его мироощущение. Это отповедь великого объективиста мистическому субъективисту. В 1821 г., после прогулки в берлинском Thiergarten'e, Жуковский записал: «Мир существует только для души человеческой. Бог и душа—вот два существа; все прочее —печатное объявление, приклеенное на минуту» [77]. Если б Гете прочел эту запись, он, не вступая в спор о «двух существах», указал бы Жуковскому, что он пропустил небольшое третье: великий Objekt мира и природы.

На другой день после отъезда Жуковского Гете отметил: «Канцлер Мюллер принес кое-что от Рейтерна и Жуковского, говорил и расспрашивал о них» [78]. Должно быть это были какие-то дополнительные подарки Гете от уехавших друзей.

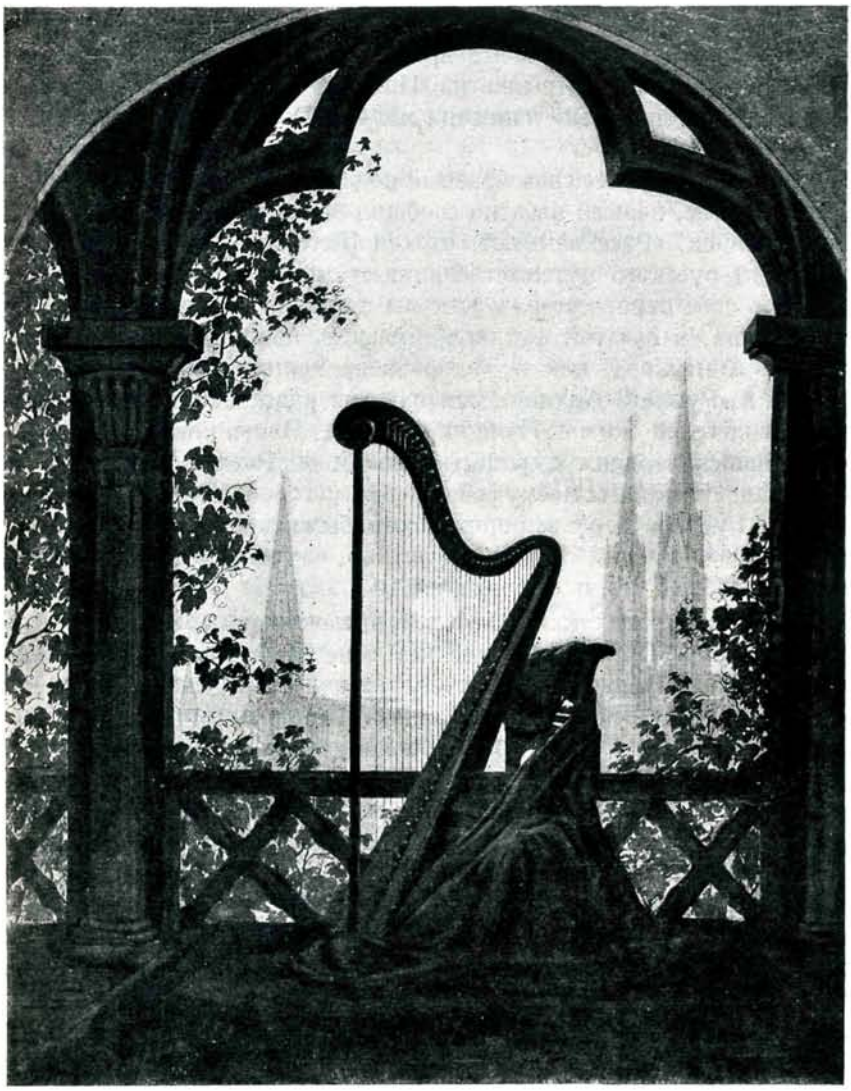
Жуковский также уехал из Веймара не без подарков.

«Памятником свидания Жуковского с Гете,—рассказывал в 1900 г. П. А. Висковатов со слов его друга и биографа К. К. Зейдлица,—является экземпляр элегии Гете («Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen...»), переписанный каллиграфически, но с собственной подписью Гете. Этот экземпляр, находящийся у меня, Зейдлиц получил от Жуковского и подарил его мне». По словам Висковатова, этот «экземпляр «Мариенбадской элегии» в некоторых незначительных частностях разнится от печатного. Есть и поправки, но сделаны ли они рукою Гете, трудно сказать. Во всяком случае рукописный экземпляр мой носит признаки раннего, еще не вполне исправленного списка. Он был Жуковскому подарен, должно быть в 1827 году... Доходила ли беседа поэтов до сообщения интимных пережитых ими в жизни эпизодов, конечно нельзя сказать, но характерно, что Гете дарит Жуковскому, еще не забывшему утраты Маши Протасовой-Мойер (умершей в 1823 г.) элегию свою, относящуюся к последнему эпизоду горячей любви его к г-же Левецов (тоже в 1823 г.) со знаменательным эпиграфом

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen was ich leide.

(И если человек в страданьях нем,
Мне бог дает поведать, как я стражду).

Это могло относиться к обоим поэтам, потому что оба свое горе изливали в стихотворных произведениях, и Гете не одну только упомянутую «эле-



Картина Карла Каруса, подаренная В. А. Жуковским Гете 6 сентября 1827 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

гию» посвятил предмету поздней страсти своей... Этот подарок свидетельствует о некоторой интимности отношений...

Поэты говорили конечно и о произведениях литературы и может быть о планах новых задуманных произведений. К. К. Зейдлиц рассказывал, что Жуковский беседовал с Гете между прочим и о баснях, о «Рейнеке Лис» и о «Батрахомиомахии». Сообщение Зейдлица о том, что Жуковский говорил с Гете о «Войне мышей и лягушек», находит некоторое подтверждение в том, что Жуковский в это время вообще начинает интересоваться гекзаметром и переводит отрывки из «Илиады» тоже в 1827 г. Так что, если «Война мышей и лягушек» написана им в 1831 г., то задумана она была раньше» [79].

Жуковский вез от Гете своеобразный подарок и для Пушкина: перо Гете.

Сколько знаем, первый печатно сообщил об этом подарке Гете Пушкину П. В. Анненков. «Рассказывают, что он [Гете] послал Пушкину поклон через одного русского путешественника и препроводил с ним в подарок собственное свое перо, которое, как мы слышали, многие видели в кабинете Пушкина, в богатом футляре, имевшем надпись: «подарок Гете» [80]. Сообщение Анненкова, как и ряд разновременных сообщений о том же Бартенева в «Русском Архиве», основано на рассказе одного из достовернейших свидетелей жизни Пушкина—П. В. Нащокина: «Великий Гете, разговорившись с одним путешественником об России и слыша о Пушкине, сказал: «Передайте моему собрату вот мое перо». Пером этим он только что писал. Гусиное перо великого поэта было доставлено Пушкину. Он сделал для него красный сафьянный футляр, над которым было [надписано] напечатано: Перо Гете, и дорожил им».

Последний из русских исследователей, писавших о «пере Гете», М. А. Цявловский, писал в 1925 г.: «У нас нет оснований сомневаться в правдивости сообщения Нащокина» [81]. Между тем вопрос решен был еще в 1910 г. с выходом тома Va веймарского издания. Там, в примечании к стихотворению Гете: «Goethes Feder an...», написанному в 1826 г., был опубликован отрывок из французского письма известной польской пианистки Марии Шимановской (1790—1831) к веймарскому канцлеру Мюллеру из Петербурга от 16/28 июня 1828 г.: «M-r de Joukofsky a apporté un cadeau à m-r Puschkin, Poète Russe, une plume avec laquelle m-r de Goethe avait écrit» (Жуковский привез г. Пушкину, русскому поэту, в подарок перо, которым писал Гете). Другой отрывок из этого же письма Шимановской был напечатан в IV томе веймарского издания, в примечании к стихотворению Гете: «An den Dichter Adam Mickiewitz»: «M-r Mitzkieviez donnerait la moitié de sa vie pour en obtenir une» (Г. Мицкевич отдал бы половину своей жизни, чтобы получить подобное) [82]. Сообщение Марии Шимановской не может возбуждать сомнения ни с какой стороны: она лично знала всех тех лиц, которые связаны с этим ее сообщением: Гете, Жуковского, Пушкина, Мицкевича. С Гете она встретилась впервые в Мариенбаде летом 1823 г. и очаровала его своей вдохновенной игрой, своим умом, красотой и личным обаянием. Там же, в Мариенбаде, он написал ей стихотворение «Aussohnung» («Примирение»), составившее третью часть знаменитой «Трилогии Страсти» («Trilogie der Leidenschaft»). Осенью 1823 г. Шимановская посетила Гете в Веймаре и усилила то впечатление, которое оставила после Мариенбада: она, рассказывал Гете Эккерману, «возбудила во мне своими чарующими мелодиями отзвук тех юношески-блаженных дней» [83]. Обаяние, навеянное Шимановской, не покидало Гете никогда:

она сумела внушить Гете чувство, занимающее середину между любовью к исключительному артисту и утаиваемой от самого себя привязанностью к прекрасной женщине. Гете получал от нее письма и подарки [84].

В 1827 г. Шимановская вернулась в Россию и жила до кончины в Петербурге, где появилась впервые в 1822 г. и тогда же получила звание первой пианистки императриц. С Жуковским Шимановская была лично знакома. «Как мог ты не быть знаком с Шимановской и ее сестрой?—журил в 1822 г. Вяземский А. Тургенева в специальном письме из Москвы.—Они премилые. Познакомься с ними и влюбись. Я даю ей письмо и к Жуковскому. Научи ее, как его доставить, если он уже взобрался на Павловскую голубятню. Вчера у меня был для нее и Дмитриева московско-бригадирско-помещичий вечер: пляски и песни цыганские. Были и Кривцовы, и твой брат» [85]. С рекомендацией Вяземского, познакомившегося с ней в Варшаве, Шимановская вошла в круг литературных и светских его приятелей. Можно даже предполагать, что именно эта рекомендация Шимановской Жуковскому на его «Павловскую голубятню», т. е. во дворец Марии Федоровны в Павловск, и привела польскую пианистку к императорскому двору. Вяземский собирал в альбом Шимановской автографы русских поэтов и посвятил ему особую статью в «Московском Телеграфе» [86]. У Шимановской в Петербурге, на ее музыкальных вечерах, собирались представители высшего общества и литературы. В их числе бывал Пушкин. Сохранилась его французская записка к Шимановской: «С радостью спешу выразить свое согласие на Ваше милое приглашение. Окольным путем я имел известия о кн. Вяземском: он в данный момент должен находиться у княгини. Примите, сударыня, и т. д. А. Пушкин». Для определения времени знакомства Шимановской с Пушкиным важна одна дата: 1 марта 1828 г. Пушкин записал ей в альбом три стиха из только начатого тогда «Каменного гостя»[87]. С Мицкевичем Шимановская была в дружбе; в 1834 г., уже после ее смерти, Мицкевич женился на ее дочери Целине.

Все эти данные заставляют принять без всякого сомнения сообщение Шимановской, что Пушкин получил от Жуковского перо Гете: Шимановская знала это от самих Жуковского и Пушкина, а писала об этом человеку, ближе всех знавшему веймарские дела Гете и другу Жуковского: наш поэт, посетивший Гете в сентябре 1827 г., и был тот «русский путешественник», о котором рассказывал правдивый Нащокин.

Из его рассказа выходит, что Гете решил сделать подарок «своему собрату», «слыша о Пушкине». Это очень осторожное и потому верное выражение. О Пушкине Гете действительно слышал, но вряд ли его читал даже в той малой степени, какую давали возможность появившиеся до 1827 г. крайне немногочисленные переводы Пушкина на европейские языки. Боуринг, как мы знаем, обошел его своим вниманием; других антологий или переводов Пушкина не было в руках Гете (по крайней мере до 1827 г.). Бартенев делал предположение, что Гете мог знать Пушкина в переводах Каролины Павловой [88], но это лишь слабая догадка. В руках Оттилии Гете несомненно был «Кавказский пленник» в немецком переводе, но читал ли его сам Гете, остается неизвестным. Несомненно одно: Гете читал статью Элима Мещерского «О русской литературе», в которой видное место уделено было Пушкину. Но слышать от Жуковского о Пушкине Гете конечно мог: обидная краткость дневника Жуковского, где целое посещение великого веймарского поэта объемлется иной раз одним словом «Гете», допускает полную вероятность того, что такой разговор о Пуш-

кине не удостоился отметки даже при помощи самого маленького из сухих кольев [89].

Впечатление, вынесенное Жуковским из поездки в Веймар, было сильно. 8 сентября, под свежим впечатлением его рассказа, А. И. Тургенев писал из Лейпцига брату Николаю: «В полночь приехал Жуковский... Он зажился три дня в Веймаре в беседе с Гете, от которого и я получил милое слово чрез канцлера Мюллера, который писал ко мне. Жуковский жалеет, что меня не было с ним у Гете. Он был необыкновенно любезен и как отец с ним; ибо он говорит, что Гете и Шиллер образовали его, а с нами он рос и мужался с нами, Тургеневыми, и душевное и умственное образование получил с нами, начиная с брата Андрея; что только в чужих краях укрепилась душа его, между прочим, и твоими письмами, и что здесь началось его европейское образование, и я жалею, что не был с ним в Веймаре, хотя и много бы лишился, что приобрел в Лейпциге; но Гете— незаменим. Вот стихи Жуковского, оставленные им Гете» [90].

А канцлер Мюллер, сватавший к Гете всех русских посетителей-писателей, писал Жуковскому:

«Ваши прекрасные, исполненные благоговения, прощальные слова к Гете были ему очень радостны и тронули его. Он часто вспоминает о Вас с неизменным расположением и уважением, часто осведомляется у меня, нет ли вестей о Вас, и, подобно мне, сожалеет, когда их нет. Он бодр духом и телом. Через несколько дней появится третий выпуск его сочинений, и в нем много нового. Он непрерывно работает над второю частью «Фауста»; она распадается на 5 отделений; из них третьим нужно считать «Елену». Гете поручает мне передать Вам сердечный привет» [91].

Гете в последнее пятилетие своей жизни осведомлялся о Жуковском всякий раз, как его навещал кто-нибудь из русских, но интересовал его не столько поэт, сколько воспитатель будущего русского императора. Некогда сам почти «воспитатель» при Карле-Августе, он интересовался «положением» Жуковского при дворе. Зависимость провинциального веймарского двора от большого и богатого двора петербургского делали этот интерес Гете вполне понятным. Недаром Жуковского ласкали и при более независимом и состоятельном прусском дворе и сам прусский кронпринц «приятельствовал» с русским придворным педагогом. Со слов А. И. Кошелева, П. И. Бартенев передавал даже, будто «король прусский сам заискивал в Жуковском для укрепления своего малого значения при русском дворе» [92]. Гете не было конечно нужды «заискивать» перед Жуковским, но большой интерес к его придворно-педагогической деятельности и положению у Гете несомненны, и не раз русские посетители, не склонные к чинам и дворам, поражались этою чертою в Гете, и поражались неприятно.

Жуковский с Рейтерн уехали из Веймара, одинаково очарованные Гете. Но след этого очарования у каждого оказался различен.

Жуковский до конца жизни сохранил интерес к личности и творчеству Гете и, хотя больше не виделся с ним, но получал известия о нем от канцлера Мюллера и сделался впоследствии нередким гостем Веймара и семьи Гете. Как поэт же Жуковский не получил от свидания с Гете нового толчка к творческому вниманию к его поэзии: в 1829 г. он перевел три четверостишия из Гете (в числе их столь характерные для Гете: «Wer nicht das Auge sonnenhaft»), в 1833 г. пересказал басню «Орел и голубка», а в 1848 г. написал статью «Две сцены из Фауста», характерную только как

МАРИЯ ШИМАНОВСКАЯ
Миниатюра Никола Жак
Собрание Ф. Червяковского, Варшава



свидетельство воззрений самого Жуковского,—вот и все. Читательское же внимание Жуковского к Гете было неослабно.

С Рейтерном же было совсем другое: он был в самых живых сношениях с Гете до самой его смерти и делился с ним своей творческой работой, считая его советы и любовь к своему искусству лучшим возбудителем творческой энергии, а его суд—лучшим из критериев успеха.

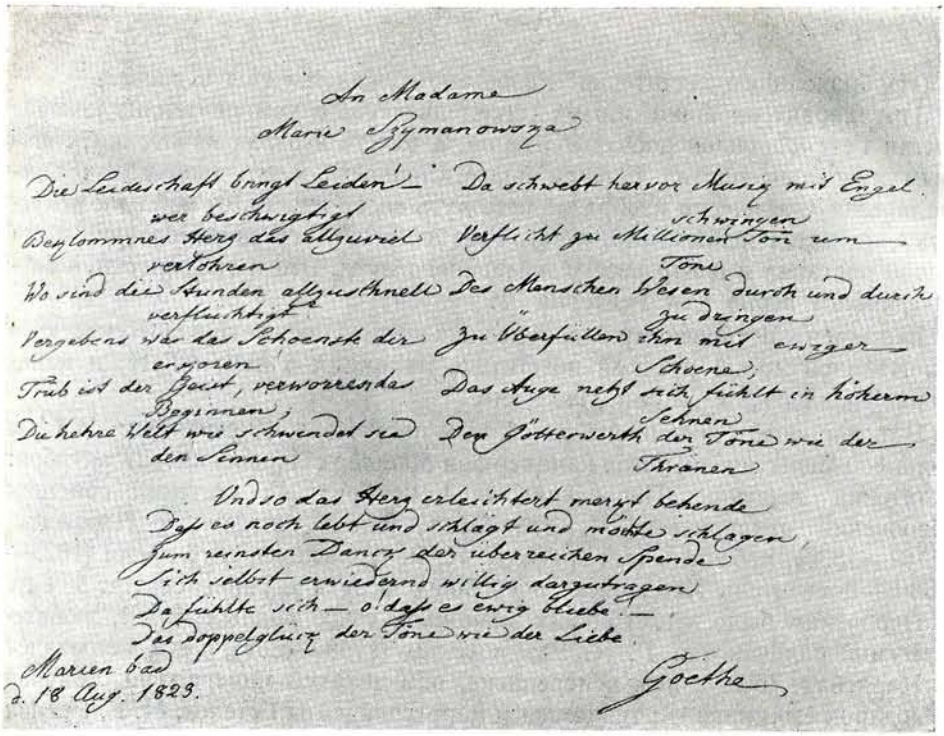
В конце 1828 г. он послал Гете целый портфель со своими рисунками, акварелями и гравюрами, и Гете тотчас же отозвался на присыл: «Созерцание этих превосходнейших художественных произведений доставило мне великое наслаждение» [93]. Это была не лесть, а правда, и Гете делился этим наслаждением со всеми, кто у него бывал: рисунки Рейтерна гостили у него больше полугода, и в его дневниках за январь—май 1829 г. очень часты отметы: «показывал рисунки Рейтерна»—то принцессе Августе, то Римеру, то Эккерману, то другим посетителям [94]. Возвращая уже в июне 1829 г. портфель с рисунками Рейтерну, Гете писал в высшей степени приятные для художника вещи: «Великая правдивость, верная трактовка частей, изящная согласованность целого,—все это чувствовалось и замечалось всеми. Вы должны чувствовать себя совершенно удовлетворенным, видя как то, что Вы писали лично для себя в воспоминание милых дней, связанных с известными местами, вызывает и у всех самый желанный для художника интерес. Присоедините к этому, что я, быть может как более опытный любитель искусства, нахожу Вашу трактовку свободной и достойной восхищения. Но что значат слова там, где Вы в известном смысле невозможное воплотили в действительность?» Такое решительное одобрение Гете встречали не только рисунки и акварели Рейтерна, в которых он был опытен и умел, но и гравюры, которыми стал заниматься недавно. Они также удостоились похвалы Гете, занимавшегося, как известно, некогда гравированием. Он ободрил художника: «Ваша рука останется всегда тою же, и Вы быстро овладеете техникой и химическими средствами, которые должны притти к Вам на помощь» [95]. В таких ободрениях Рейтерн справедливо видел небывало высокую оценку его искусства и тем сильнее тянулся к Гете. В 1830 г. он решил переселиться на время в Рос-

сию. Ему, по хлопотам Жуковского, увеличили пенсию, и он вспомнил, что был все-таки русским художником, что его искусство гессенской идиллии материально базируется на деньгах, получаемых из России. Он два года прожил в России, оставив семью в Германии, и вошел в Петербурге в круг русских художников: К. Брюллова, пейзажиста М. Воробьева, знаменитого гравера Уткина, возобновил старое знакомство с Ф. Толстым. Но, уезжая в Россию, он не мог не заехать в Веймар, и пробыл там, общаясь с Гете, целую неделю (19—26 мая 1830 г.). Гете опять восторгался его работами и показывал их друзьям. 22 мая Гете записал в дневнике: «Говорили с ним [Рейтерном] об его прекрасном таланте». Обсуждая какую-то работу Рейтерна, Гете «указывал на богатство и значительность переднего плана». Вечером Гете показывал и объяснял его рисунки приглашенным друзьям [96].

23 мая 1830 г. Рейтерн сделал набросок с Гете. Собственноручная надпись Рейтерна на этом рисунке объясняет его источники: «Nach einer Handzeichnung in Aquarell von J. Stiller und eigener Erinnerung. Weimar, den 23 Mai 1830. 81 Jahralt» (По собственноручному акварельному рисунку И. Штиллера и по собственному воспоминанию. Веймар, 23 мая 1830 г. В возрасте 81 года). Рейтерн не писал, стало быть, с натуры. В основу рисунка он положил копию со знаменитого портрета Гете работы Иосифа Штиллера (1829): Гете ошибочно считал ее за принадлежащую самому Штиллеру, на самом деле ее сделал художник Фридрих Дюрк [97]. Эту копию Рейтерн поправил по собственному впечатлению от лица и фигуры Гете. Подправка больше всего коснулась глаз.

В 1831 г. Рейтерн опять прислал Гете целый портфель своих работ, и опять они вызвали лестные одобрения Гете. Среди них особенно нравилась Гете акварель «Три крестьянки, продающие корзины»: «молодой крестьянин рассматривает корзины на базаре; две женщины сидя и здоровая девушка стоя с удовольствием смотрят на красивого молодца». На этот раз Рейтерн обратился к Гете с особой просьбой: он прислал ему «богатый, сделанный золотом и яркими красками рисунок, изображающий рамку, в которой оставлено пустое место. Наверху нарисовано здание в готическом стиле, по обеим сторонам разнообразные арабески»[98]. В арабесках размещены были ландшафты; «правая сторона отображала его [Рейтерна] собственную жизнь, поля военных подвигов, ранения, вплоть до играющих детей. Вся рамка в целом должна была дать символическое изображение природы, искусства, фантазии»[99]. Художник желал, чтобы на оставленном в средине пустом месте Гете написал ему что-нибудь на память. Но Гете так пленился изяществом работы и так боялся «сделать клякс», что решительно отказался исполнить просьбу, несмотря на настояния художника, его жены, Эккермана, даже великой герцогини. Правда, он написал было жене больного художника: «Я ощущал страх пред заполнением моим писаньем пустого места между великолепными арабесками..., так как никогда нельзя себя считать застрахованным от несчастья и промаха пера. Наконец я набрался мужества, и надеюсь, что это удастся»[100]. Но «мужества» хватило только на это письмо: место в аллегорической рейтерновой рамке осталось незаполненным, а Гете просто-напросто прислал художнику прекрасное стихотворение, начинавшееся словами:

Gebieldetes fürwahr genug!
Bedurft es noch der Worte?



An Madame
Marie Szymanowska

Die Leidenschaft bringt Leiden! — wer beschwigtigt
Beklommnes Herz das allzuviel verlohren
Wo sind die Stunden allzusthnell verflüchtigt?
Vergebens war das Schoenste dir erkoren
Trüb ist der Geist, verworren das Beginnen,
Die hehre Welt wie schwendet sie den Sinnen

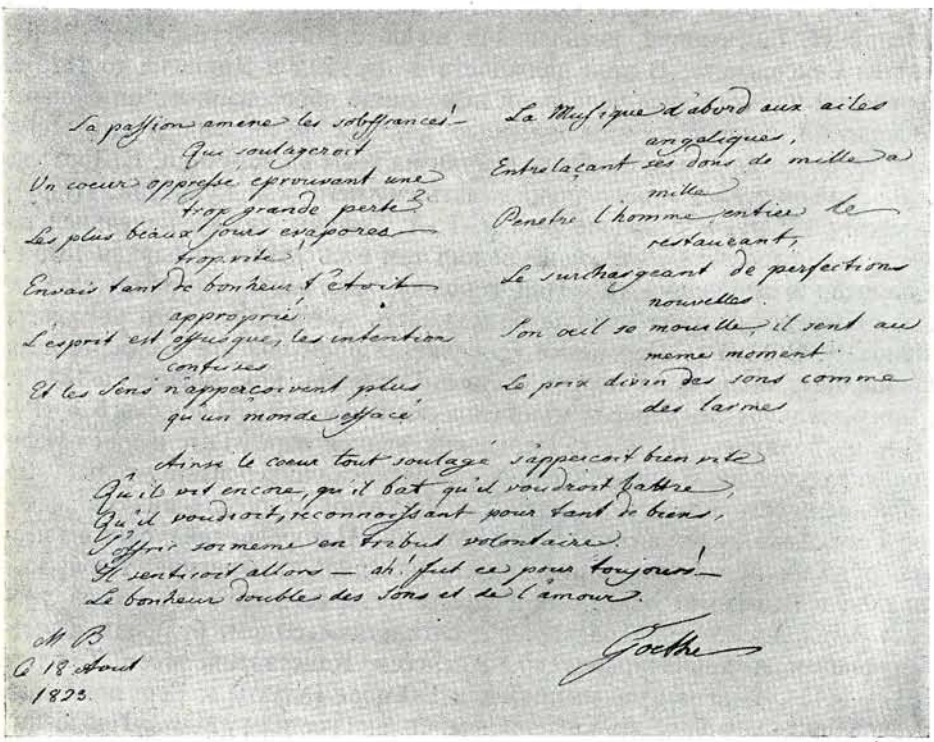
Da schwebt hervor Musik mit Engel schwingen
Verflicht zu Millionen Ton um Tone
Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen
Zu Überfüllen ihn mit ewiger Schoene;
Das Auge netzt sich fühlt in höherm Sehnen
Den Götterwerth der Töne wie der Thränen

Und so das Herz erleichtert merkt behende
Dass es noch lebt und schlägt und möchte schlagen,
Zum reinsten Danck der überreichen Spende
Sich selbst erwiedernd willig darzutragen
Da fühlte sich — o! dass es ewig bliebe! —
Das doppelglück der Töne wie der Liebe.

Marien bad
d. 18 Aug. 1823.

Goethe

Автограф стихотворения Гете „К Марии Шимановской“ на немецком языке. Мариенбад, 18 августа 1823 г. Музей Мицкевича, Париж



La passion amene les souffrances! — Qui soulageroit
Un coeur oppressé eprouvant une trop grande perte?
Les plus beaux jours evapores trop vite
Envais tant de bonheur t'etoit approprié
L'esprit est offusque, les intentions confuses
Et les Sens n'apperçoivent plus qu'un monde effacé

La Musique d'abord aux ailes angeliques,
Entrelaçant ses dons de mille a mille
Penetre l'homme entier le restaurant,
Le surchargeant de perfections nouvelles.
Son oeil se mouille, il sent au meme moment
Le prix divin des sons comme des larmes

Ainsi le coeur tout soulagé s'appercoit bien vite
Qu'il vit encore, qu'il bat qu'il voudroit battre,
Qu'il voudroit, reconnoissant pour tant de biens,
S'offrir soi meme en tribut volontaire.
Il sentiroit allors — ah! fut ce pour toujours! —
Le bonheur double des Sons et de l'amour.

M B
le 18 Aout
1823.

Goethe

Автограф стихотворения Гете „К Марии Шимановской“ на французском языке. Мариенбад, 18 августа 1823 г. Музей Мицкевича, Париж

(Изображенного достаточно! Разве оно нуждается еще в слове?)

Этот характернейший эпизод свидетельствует о том почтении, которое питал Гете к каждой работе Рейтерна, а вместе и о том почитании, которым художник платил Гете за благосклонность к его творчеству. Символически-графически изобразив весь путь своей жизни, от войны к искусству, он хотел непременно, чтобы Гете закрепил его своим словом, и это слово поставил в центр своего жизненного пути. Это и графически, и биографически верно для Рейтерна [101].

Вернемся к Жуковскому. Через несколько дней после отъезда Жуковского из Веймара новый русский посетитель напомнил о нем и Гете, и канцлеру Мюллеру, и Марии Павловне.

Вот три записи дневника Гете об этом посетителе. 19 сентября: «В 1 час г-жа фон Мюнхгаузен, потом канцлер фон Мюллер с Перовским», 27 октября: «статский советник Перовский» и 3 ноября: «Г. статский советник Перовский откланяться» [102]. Это был Алексей Алексеевич Перовский (1787—1836), побочный сын графа А. К. Разумовского, в то время (1825—1830)—попечитель Харьковского учебного округа и университета. У Гете с Перовским было много общих знакомых: с его родным дядей, любителем минералогии гр. Г. К. Разумовским (1759—1837), Гете встречался в Карлсбаде, был с ним в переписке, обменивался минералами, получал в подарок его книги [103]; знакомцы и корреспонденты Гете кн. Н. Г. Репнин и С. С. Уваров были женаты на его единокровных сестрах; наконец с его отцом, министром народного просвещения (1810—1816) А. Г. Разумовским, Гете был в сношениях через посредство Уварова. Перовский был не впервые в Германии: он участвовал в 1813 г. в сражениях при Дрездене и Кульме, а после Лейпцигской битвы был назначен старшим адъютантом при Н. Г. Репнине, назначенном на пост генерал-губернатора королевства Саксонского. В этой должности он пробыл в Дрездене до 1815 г. Перовский приехал туда человеком недюжинно образованным: он окончил Московский университет со степенью доктора философии и словесных наук и прочел даже три пробных лекции на темы из ботаники. В Дрездене Перовский окунулся во все, что могла дать ему немецкая культура. Вторую половину 1813 г. в Дрездене жил Э.-Т.-А. Гофман, служа капельмейстером в драматическом театре; он прожил там весь 1814 г. и начало 1815 г. и написал в это время «Золотой горшок», «Автомат», «Элексир сатаны» и др. «Перовский имел полную возможность знать даровитого романиста лично» [104]. В 1825 г. Перовский был уже автором повести «Лафертовская маковница», вызвавшей лестный отзыв Пушкина, который еще в 1820 г. с признательностью отнесся к критическим заметкам Перовского о «Руслане и Людмиле». В 1827 г. Перовский явился перед Гете и как официальное русское лицо—попечитель Харьковского университета, только что избравшего Гете в почетные члены, и как один из родственников знакомой Гете семьи Разумовских, и как «Антоний Погорельский», один из первых русских прозаиков, выросших на немецкой литературе. Перовский приехал в Веймар не один: с ним вместе путешествовала его сестра, графиня Анна Алексеевна Толстая, с десятилетним сыном, будущим известным поэтом и драматургом, гр. Алексеем Константиновичем Толстым (1817—1875). Долгое пребывание их в Веймаре (визиты к Гете помечены: 19 сентября—3 ноября) объясняется тем, что они гостили у Марии Павловны. Маленький граф Алексей Толстой, когда ему исполнилось 8 лет, был представлен наследнику Александру Николаевичу и сделался товарищем

его игр. Мария Павловна ни в чем не желала отставать от своего брата, и «в Веймаре Толстой представлен был будущему великому герцогу Карлу-Александру и играл в дворцовом парке как с ним, так и с другими детьми»[105].

О первом свидании Гете с другом Жуковского сохранилась запись канцлера Мюллера: «19 сентября, среда. Я был с Перовским у Гете, который среди разговора заметил: «Уже само по себе частое участие в церковных процессиях дает в католических странах детям известное образование и нравственный уклад (Bildung und Sitte) [106]. Это странное утверждение Гете не стоит ли в связи с разговорами о путешествии Перовского с сестрой и племянником по Италии и с толками о воспитании будущего русского поэта? У Мюллера есть и еще запись, относящаяся к Перовскому: «27 сентября. Перовский: о завещании его отца (умер в 1822 г.—*С. Д.*) и о том, как за свое великодушие он впервые был так оценен императором Александром» [107].

Будущий автор «Дон Жуана» был представлен автору «Фауста». В те годы Алексей Толстой был уже поэтом: по собственному его признанию, его первые опыты в поэзии относились к шестилетнему возрасту (1823—1824). В феврале 1825 г. А. Перовский в письме благодарил уже своего племянника за басню про льва и мышь и две песни, которые поэт ему прислал [108].

Много десятилетий спустя Алексей Толстой вспоминал свою встречу с Гете: «В одно из наших пребываний в Веймаре дядя взял меня к Гете, к которому я по инстинкту проникся величайшим почтением благодаря тому, что я слышал, как говорили о нем. От этого посещения у меня сохранились в памяти величественные черты Гете и то, что я сидел у него на коленях» [109]. По преданию, сообщаемому биографом А. Толстого, Гете «подарил мальчику кусок мамонтова клыка с собственноручно нацарапанным на последнем изображением фрегата» [110].



А. А. ПЕРОВСКИЙ (АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ)
Миниатюра неизвестного художника
Третьяковская Галлерея, Москва

Свидание с Гете—одно из зерен того раннего и постоянного интереса к нему, который дал столько ростков в творчестве Алексея Толстого: он был превосходным переводчиком Гете, дав русской литературе непревзойденные переводы «Коринфской невесты» и «Бога и баядеры», и с нескрываемой силой отдавался в собственном творчестве переживанию центральных мотивов Гете: «Дон Жуана» А. Толстого не существовало бы, если б не было «Фауста». Связи с Веймаром А. Толстой сохранил навсегда: он гащивал там в свои зрелые годы. 30 января 1868 г. на сцене гетевского театра в Веймаре была с большим успехом сыграна его трагедия «Смерть Иоанна Грозного» в переводе К. Павловой. В том же году он прочел Карлу-Александру другую свою трагедию—«Царь Федор Иоаннович», запрещенную в России для сценического исполнения, и герцог выразил желание увидеть и ее на веймарской сцене. Однако постановка ее и там не состоялась.

Поездка Перовского в Веймар была в духе поездок Жуковского: «Антоний Погорельский», русский романтик-прозаик, ехал к Гете, Алексей Перовский, попечитель Харьковского учебного округа и член высшего петербургского околодворцового круга, ехал к Марии Павловне.

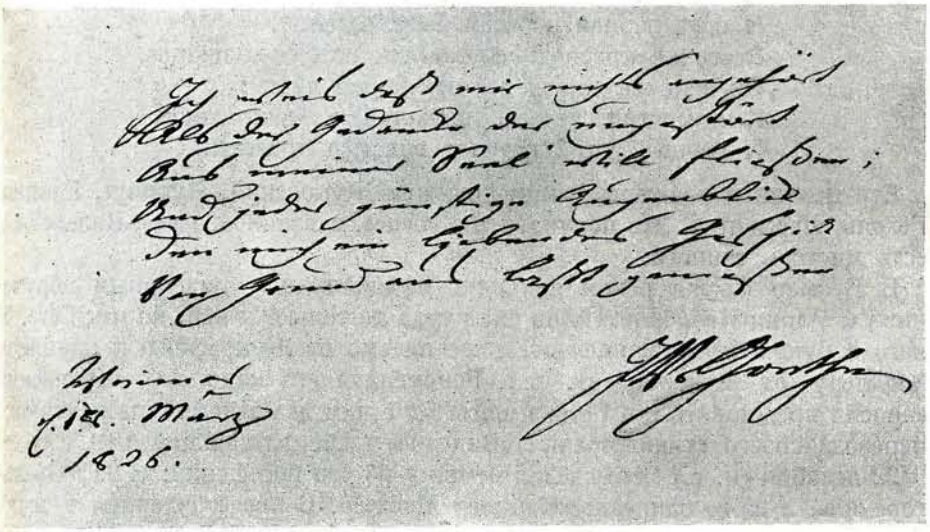
В следующем 1828 г. с особой яркостью обнаружился этот двойственный, литературно-придворный характер отношений Жуковского и круга его петербургских друзей к Веймару.

14 июня умер Карл-Август, 24 октября умерла Мария Федоровна.

О смерти Карла-Августа канцлер Мюллер писал Жуковскому: «Что я Вам могу сказать о жестокой скорби, которую причинила нам всем неожиданная кончина нашего возлюбленного повелителя? Вы сами ощутили ее, и Ваша струна, которую я тревожу, дрожит от того же самого! Мы исполнили горестное, тяжкое поручение: передать ужасную весть Гете. Глубоко потрясенный, он воскликнул: «Я не должен его пережить!» Потом он успокоился, и теперь горячо старается собрать все, что может послужить к прославлению памяти достославного повелителя... Придворный живописец Штиллер из Мюнхена, специально присланный королем, недавно написал здесь несравненно прекрасный и схожий портрет Гете, с которого я быть может скоро пошлю Вам литографию» [111].

Смерть Марии Федоровны вызывает в Мюллере совершенно те же по тону и по выражению сожаления, что и смерть его собственного «повелителя»: умерла «повелительница», общая у него с Жуковским. «Я пользуюсь случаем отсылки этого печальнейшего курьера, высокочтимый друг,—пишет он Жуковскому,—чтобы подать признак жизни, чтобы послать Вам сердечный привет мой, Гете и благородной графини Эглофштейн. С лета что мы пережили!» Мюллер как верноподданный Николая I перечисляет в списке пережитого не только смерть Карла-Августа, но и «случайности кровавой опасной войны» (попросту, неудачи Николая I в турецкой войне), и смерть Константина Бенкендорфа, брата шефа жандармов и «друга юности» самого Мюллера, и восклицает с сугубым потрясением: «И теперь эта невероятно внезапная кончина высокочтимой императрицы-матери! Какой ужасный удар для всех, для нашей великой герцогини особенно,—и это тогда, когда она только была вознаграждена за многие заботы радостным известием о взятии Варны! В глубочайшей скорби несет достойнейшая княгиня свою невознаградимую потерю, с такой же покорностью и смирением, как раньше потерю своего царственного брата. Это не пройдет даром для ее здоровья. Кроме семейных, она никого не видит.

Гете удалился после смерти своего царственного друга в Дорнбург в 5 часах отсюда, на Заале, в романтический замок великодушного незабвенного герцога. Там он укрепил себя, возобновив занятия ботаникой и геологией. Он оставался там недоступен для всех, кроме близких друзей, до середины сентября. Двенадцать превосходных писем получил я от него за это время—чудесную память высокого духа, сражающегося со скорбью и побеждающего ее новой своей деятельностью. Один листок из альбома, что он послал близкому другу, я прилагаю здесь. Мы в ближайшем же году можем ожидать продолжения «Метаморфозы растений» как плода тихой дорнбургской жизни. Он приветствует Вас самым сердечным образом... Гете только что получил от Вимана из Берлина превосходный бюст Вашей всемилостивой императрицы и невыразимо этим утешен» [112].



Автограф стихотворения Гете „Eigenthum", подаренный канцлером Ф. фон Мюллером В. А. Жуковскому
В. А. Жуковский вклеил этот автограф в свой альбом
Публичная Библиотека, Ленинград

Письмо это—великолепный образец русско-веймарских литературно-придворных отношений. Комментарием к нему может служить все сказанное в главе «Гете в политике Александра I и Николая I». Оно важно и для истории «гетеанства» Жуковского. Веймарский канцлер дает ему подробный отчет о «трудах и днях» Гете и делится реликвией слагающегося культа Гете. «Листок» из альбома, посланный в письме, Жуковский вклеил в свой собственный альбом, а на другой странице поместил гравюру с барельефа Гете и листочки, сорванные в его саду. На листке было написано Гете его стихотворение «Eigenthum» [113].

В связи с кончиной Марии Федоровны появился в Веймаре в декабре 1828 г. один из самых близких друзей Жуковского, гр. Михаил Юрьевич Вьельгорский (1788—1856). Он был влиятельный царедворец, но «употребляем» был Николаем I, благоволившим к нему, лишь по тем делам, где нужно было показать, что и Петербург—в Европе, что и в Аничковом дворце живут европейцы: Вьельгорский ведал «императорским покровительством» заезжим иностранным артистам, художникам, ученым, он

устраивал им приемы, меценатствовал по поручению Николая I и по собственному влечению к искусствам. В некоторых отношениях это был второй Владимир Одоевский. Он был одарен блестящими музыкальными способностями: артисты видели в нем, как в Зинаиде Волконской, артиста, талантливого композитора и исполнителя. Шуман назвал его «гениальным дилетантом». Но инвентарь его интересов этим не ограничивался: в нем еще значились масонство, философия, медицина, литература, теология, лингвистика и даже гастрономия. Вяземский, близко его знавший, отлично помянул его в своих «Поминках» (конечно по заповеди «de mortuis nil nisi bene»).

До невозможности он был разнообразен;
В нем с зрелой осенью еще цвела весна;
Но многострунный мир был общим строем связан,
И нота верная во всем была слышна.
Всего прекрасного поклонник иль сподвижник,
Он в книге жизни все перебирал листы:
Был мистик, теозоф, пожалуй чернокнижник,
И нежный трубадур под властью красоты.

Его ценили и уважали, с ним дружили Жуковский, Пушкин, Глинка, Гоголь, Лермонтов. Это порука, что в «bene», сказанном о нем Вяземским, есть много истинного.

В Веймар Вьельгорский явился с официальным придворным поручением к Марии Павловне. Но он ехал туда не только к ней, но и к Гете. У него в руках было рекомендательное письмо от Жуковского к канцлеру Мюллеру (от 22 ноября ст. ст.). Рекомендуя его канцлеру, Жуковский «просил представить его Гете» и посылал с ним два экземпляра немецкого перевода своего стихотворения «Видение» («Die Erscheinung») [114].

22 декабря (н. с.) Гете сделал отметку об его посещении: «Граф Вьельгорский», а 25-го записал: «Канцлер Мюллер. С представлением о знаке благоволения для графа Вьельгорского». Последняя помета означает, что Вьельгорский по представлению Мюллера получил от Марии Павловны золотую табакерку с именем «Мария» [115].

14/26 декабря гр. М. Вьельгорский послал письмо Жуковскому с отчетом о своих впечатлениях. Оно печатается здесь впервые:

После многих неприятных встретившихся препятствий на дороге при переправе рек приехал я наконец в Веймар 7/19 декабря. В Берлине остановился на одни сутки, чтоб починить карету, обедал у короля и провел весьма скучный вечер у Алопеуса, которого милая жена в Италии. Он же утешается бюстом Зонтаг, что меня немало удивило.

Здоровье В[еликой] К[нягини] лучше, нежели ожидать было можно. Лучше даже, нежели в Павловском, где у ней была какая-то опухоль, совсем теперь исчезнувшая. Сам доктор Швабе того же мнения. Грусть ее тихая, покорная, нет в ней ничего сжимающего. Много и часто слезы она проливала, вслушиваясь в мои рассказы. Несколько раз говорила о твоем письме, которое ее очень тронуло. Часто бывал я с канцлером, в котором нашел умного и любезного человека. Я для него перевел б у к в а л ь н о и написал твое «Видение». Несколько раз был я у Гете, и сам ты вообразить можешь, какое для меня было наслаждение слушать сего великого мужа, которого кажется умел я снискать благорасположение. Он необыкновенно был в д у х е, особливо в последнее свидание, так что и меня возбудил:

с расширенным сердцем я его оставил. Мало времени мне оставалось для свидания с ними, и я намерен на возвратном пути пробыть здесь две недели по крайней мере (дабы погреться). Была речь и о тебе. Тебя многие помнят и помнят, как должно. Обними нежно Оську, через три дня буду на минуту со своими! Вицтум тебе привезет книжку, может быть и две. Пиши ко мне в Брюссель на имя Гурьева. К. К. сердечный поклон.

Веймар, 14/26 декабря [116].

Письмо Вьельгорского типично-двойственно: друг литераторов, «гениальный дилетант» в музыке, тонкий знаток поэзии, он полон впечатления



М. Ю. ВЬЕЛЬГОРСКИЙ
Рисунок карандашом неизвестного художника (1844 г.)
Институт Русской Литературы, Ленинград

от Гете, но, верный слуга царского дома, он первую половину письма уделяет Марии Павловне и ее горю: корреспондент знает, что точно так же написал бы ему из Веймара и адресат, будь он на месте Вьельгорского. Единство отношений к Гете А. Тургенева, Жуковского, Перовского, Вьельгорского несомненно: они искренние паломники к Гете, но они столь же искренние соучастники придворного круга Марии Павловны [117].

Лето 1832 г. Жуковский проводил за границей и, в связи с кончиной Гете, отдался чтению его произведений и воспоминаниям о нем—своим и

чужим. С 16 августа Жуковский живет в Висбадене, часто видится с Рейтерном и его семьей: чтение Гете и разговоры о нем делаются особенно оживленны. Особенно увлекается Жуковский «Итальянским путешествием». Характерна запись 22 августа: «Вейльбах. Гроза. Ввечеру чтение Гете: грот св. Розалии близ Палермо. О архитектуре, о материалах искусства. О исчислении времени в Италии. О ролях женщин в итальянских драматических пьесах. Ясность и живость. Нет ничего лишнего. Обо всем собственная мысль. Eigenthümlichkeit, Fasslichkeit und Bild (своеобразие, ясность, образность)—характер гетева слога. Краткость и легкий порядок в изложении; скрытая, но ощутительная мысль» [118]. Далее к «Итальянскому путешествию» присоединяются другие сочинения Гете,—и все они находят заведомый мыслительный отклик в Жуковском, что бы он ни читал: статью о Леонардо да Винчи, отрывки из «Aus meinem Leben» или «Hermann und Dorothea». Жуковский изучает в то же время трактат Дидро о живописи в переводе Гете [119].

В дальнейшем странствовании с Рейтерном по Германии память о Гете сопутствует Жуковскому: во Франкфурте 3 сентября у него происходит «разговор о Гете с книгопродавцем К. Югелем», а 8 сентября Жуковский с Рейтерном «рассматривали Фауста гетева и корнелиусова»—знаменитые гравюры Петра Корнелиуса (1787—1867). 10/IX в Гейдельберге внимание поэта останавливает «старинный дом с лестницей винтом, описанный в «Götz von Berlichingen». Прогулка на развалины. Рейн в блеске; туман; свечи на окнах; месяц за горою. Гете и разговор о назначении души» [120].

В странствованиях следующего 1833 г. Гете опять как бы сопутствует Жуковскому и на этот раз ведет его в Веймар. 23 августа Жуковский записывает: «Ночевал в Готе, Hôtel der Moor. Рисунки гетевы. Гравюры Рафаэля. Рембрандтовы рисунки. Подарки Гамбурга. В кабинет; бедность и Geschmacklosigkeit (отсутствие вкуса). Разделение часов. Портрет Наполеона. Бюст императрицы и венцы. Mehr Licht. Спальня. Библиотека, манускрипты. К m-lle Pogwisch. Альма и Вольфганг. К великой княгине. Spiegel с дочерью. Бьелке. Санти с женою. Вечер у великой княгини. Обозрение дворца» [121].

24 августа Жуковский в обычную свою сухую запись внес подлинные слова Гете, слышанные от кого-то из его близких:

«Переезд из Готы в Веймар. Приезд в 3-м часу. Остановился в Erbprinz. К канцлеру Мюллеру. С ним к Бьелке, к Фицтуму. В театр Jeanne d'Arc. После театра к Санти. Кудрявский. Анекдоты о Гете. «Nie in einem schlechten Theater sich zu langweilen, nie ein Kompliment zu sagen ohne es aufrichtig gedacht zu haben.—Von solchen Dingen spreche ich nur mit Gott». (Никогда не скучать в дурном театре, никогда не говорить комплимента, если по совести искренне не можешь его сказать.—О таких вещах я беседую только с богом) [122].

25 августа Жуковский посетил жилища Гете и Шиллера: «Поутру с Крейтором в библиотеку. Бюст Гете Давида. Ошибка. Перспектива. Шиллер. О привязанности Гете к Шиллеру. Виландово письмо о Гете к Якоби. Письма отца и матери (очевидно родителей Гете.—*С. Д.*). В башню. Альбомы дам XVI века. В доме Гете. Комната медалей средних веков; бронзы; слепок с шиллерова черепа (история, как он найден). Смерть Шиллера в 1804 г., погребение: в 1815; соединение скелета; черепа; бюст Данек[ер]а; портреты; вход по билетам; шиллеров слуга. Два зуба. Череп Вандика» [123].

На другой день «поутру» был Жуковский «у канцлера Мюллера», и они беседовали «о гетевском Фаусте». В тот же день Жуковский уехал из Веймара, 29 сентября в Берлине сделал пометку: «Рисунки Гете Рейтерну»[124].

В 1834—1836 гг. Жуковский не был в Веймаре и не обменивался письмами с веймарцами.

Первый прервал молчание канцлер Мюллер. 14 октября 1837 г. он написал примечательное письмо Жуковскому:

«Память о Вас, драгоценный человек, в течение долгих лет, протекших с последнего свидания с Вами в 1833 г., не исчезла, хотя никакой видимый знак взаимного памятования не ознаменовал ее. В тихом веймарском круге я жил только в прошлом, и взор мой часто с томлением обращался в былое, а Вы, в величии высшего призвания, сеяли богатые семена для будущего, и еще недавно неизмеримые молитвы возлетали в двух частях света, чтобы благословить будущего властителя на его будущее призвание.

Тургенев, с которым я провел прекрасные дни на юбилейном празднестве в Геттингене, должен был и мог сообщить мне много радостного о Вас. Но все это могло не уменьшить, а только усилить желание видеть Вас. После того большого и ответственного путешествия, думается, маленькая поездка по Германии должна бы явиться для Вас приятным отдыхом, нужным для Вашего здоровья.

Я посылаю Вам при этом весьма редкий медальон—лучшее изображение «великого доброго человека», которого Вы так искренне чтите, в уверенности, что он будет Вам приятен. И кто же более Вас достоин им владеть? Я сочинил песню с музыкой, которая удалась, и представил ее в масонскую ложу по случаю посмертного торжества в честь Гете. Да, есть утешение помнить:

Орел задевает крылом прах
И затем парит к солнцу...

Я очень рекомендую Вам новое издание сочинений Гете, 4 тома in 4°, с 12 гравюрами на стали, Котта; Вы найдете здесь 103 нигде не напечатанных еще отрывка в стихах и прозе, между которыми несравненный фрагмент «Вечный жид». Я очень желаю, чтоб это новое прекрасное издание распространилось в Петербурге. К пасхе думаю я издать переписку Гете с Кнебелем и гр. Рейнгардтом, в 4 томах in 8°; она содержит много высокого; позднее последуют мои «Десять лет из жизни Гете, 1776—1786», план которых в минувшую зиму я уже читал нашей герцогине в ее литературном кружке.

Тургенев рассказывал мне много о Вашем (sic!) журнале «Современник» и о других цветах Вашей музы. Кто же бы теперь не желал научиться по-русски! Но и переводчик скоро отыщется, как только мы будем иметь оригинал.

А теперь еще раз—сердечное прости! Гений всего прекрасного и доброго будь безотлучен от Вас! Позвольте мне скоро узнать, что Вы меня дружески помните. Ваш Ф. Мюллер»[125].

Письмо Мюллера продолжает гетевскую традицию—чтить в Жуковском воспитателя будущего императора, но в нем же есть и искреннее чувство привязанности к русскому гетелюбивому поэту, в характере и личности которого Мюллер нашел много созвучного себе самому.

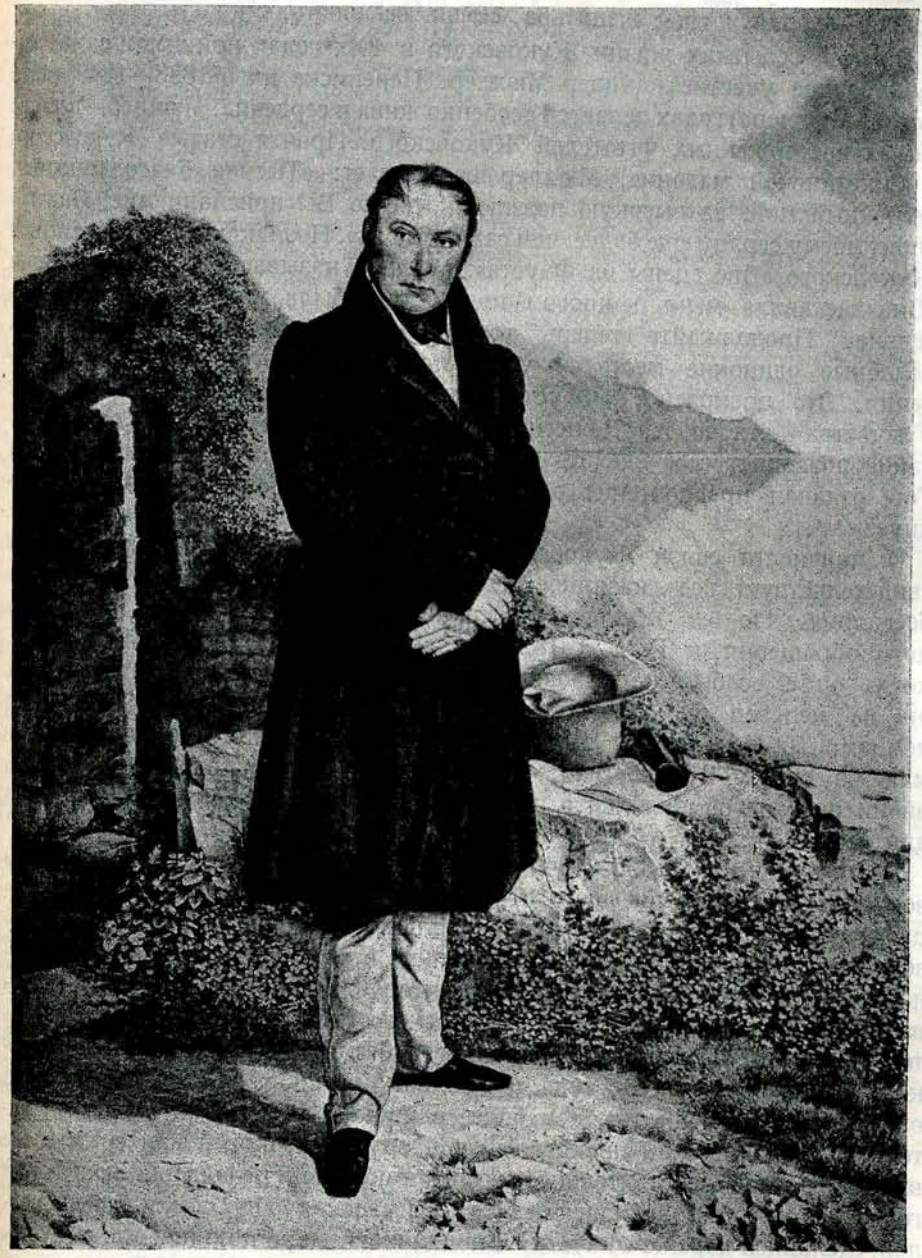
В следующем 1838 г. Жуковский действительно поехал в Германию; вместо той идиллической поездки, о которой мечтал Мюллер, ему опять

пришлось сопровождать наследника. Еще в Берлине начались его гетеанские впечатления: 31 мая «в Singacademie» он слушал хорошо ему известную музыку А. Радзивилла к «Фаусту», а 1 июня провел вечер у «Ольферса с Клейстом, Форстером, Тиком, Вертером и Штегманном»; они толковали «о актах в гетевском Фаусте» (т. е. о попытке Л. Тика уложить I часть трагедии в правильные акты) [126].

Великий князь поехал в Веймар, к тетушке Марии Павловне, и Жуковский 6 сентября записывает на ходу: «Weimar. До самого выезда из Эрфурта прекрасные виды. Было темно, когда приехали в Веймар. Мысли о Гете и Шиллере дают особую прелесть этим местам» [127]. Отметки Жуковского в это пребывание в Веймаре—отметки старого, преданного гетеанца, которому дорога каждая мелочь жизни и даже домашнего обихода Гете. 8 сентября Жуковский отмечает «первое посещение гетева дома». 9-го он опять там: «В доме Гете... Разговор с Эккерманом и Крейтором. Описание смерти Гете. Маленькие его комнаты. Застоявшийся воздух в горницах. Судно. Прелестный календарь в футляре. 22 марта. Бюст императрицы. Пирамида из папки: Sinnlichkeit зеленый цвет, Verstand голубой, Vernunft желтый, Fantasie красный. Поэмы и Tagebuch. Пролитые чернила. Гетевы рисунки. Его внук Вольфганг. Рисунок красками пирамиды. Знакомство с Шорном» [128]. 13 сентября Жуковский вновь посетил дом Гете вместе с наследником; 14-го отметил «посещение гетевой гробницы», а 15-го «рисовал в кабинете Гете» [129].

В 1839 г. Жуковский замыслил издавать у Смирдина «Библиотеку романов». Главная переводчица, А. П. Елагина, писала своему дяде-редактору: «Что касается библиотеки романов, то тут мир бесконечный, лишь бы только можно было уговориться с Смирдиным. Гете, один Гете чего стоит! Иван (Киреевский.—*С. Д.)* будет переводить Вильгельма Мейстера прозу, а вы стихи, то и будет к о н. Нужно все его романы: Wilhelm Meister's Lehr- und Wanderjahre, Walwerwandschaft, Dichtung und Wahrheit, Werther, переведенный у меня. Затем Jean Paul один или два романа. С итальянского не переведены у нас Манцони «Обрученные» [130]. Жуковский намечал дать русскому читателю германский цикл романов, с Гете во главе [131], в противовес французским романам Бальзака, Ж. Занд, Гюго и др., возобладавшим в русских журналах конца 30-х и 40-х годов. Это был подбор, направленный п р о т и в социального французского романа, которым в эту эпоху зачитывались Белинский и Достоевский, и очень типично, что Белинский в 1847 г. передавал Некрасову, что Тургенев «гетевский роман «Средства» (вместо «Сродство») не советует переводить для «Отечественных Записок» [132]. Предприятие Жуковского не осуществилось.

В последний раз Жуковский посетил Веймар в 1840 г. У него были самые тесные связи с друзьями и былыми собеседниками Гете. 26 марта Жуковский внес в дневник: «Пребывание в Веймаре... к Мюллеру. К его невестке, у которой я крестил». Итак, старая дружеская связь с добродушным, как он сам, канцлером до того окрепла у Жуковского, что он покумился с его сыном. 27-го Жуковский записал: «Пребывание в Веймаре. Утром у меня Штернберг (портрет), Шорны и Миллер. В Музеум: рисунки Карстенса. Осматривал горницы Шиллера, Виланда, Гердера и Гете... Маски Шиллера, Гете, Наполеона, Карла XII, Кромвеля, герцога Веймарского, Фридриха II, Иосифа II, Гуммеля. Голова мадонны. В гетев дом» [133].



В. А. ЖУКОВСКИЙ
Акварельный портрет Г. Рейтерна (1834 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва

Старого поэта влекло под кровлю Гете. Он уже усвоил ее своему «сердечному воображению».

Больше Жуковский в Веймаре не бывал. Начался новый период его жизни—вторая жизнь: женитьба, семья, оседлость, старость.

Во всех событиях жизни Жуковского в 40-х годах принимал самое сочувственное участие канцлер Мюллер. Переписка их в 1838—1849 (дата смерти Мюллера) годах делается особенно жива и сердечна. Мюллер—в числе самых восторженных читателей Жуковского. Прочтя статью Жуковского о Сикстинской мадонне, Мюллер восклицает: «Тысяча благодарностей, бесценный мой, за высокую поэзию, которую Вы прислали мне! Она говорит моему сердцу еще более, чем сам Рафаэль». Познакомившись со статьей Жуковского «Две сцены из Фауста», Мюллер называет ее замечательной: «Она заставила меня о многом подумать и была мне воистину поучительна. Продолжайте теперь точно так же развивать и разъяснять подобные одинокие места «Фауста» по примеру этого Вашего рассуждения. Это прекрасно: «Фауст»—неистощимый источник размышления и чувства для людей Вашего духа и сердца». И только одно замечание позволяет себе сделать друг Гете: «Я должен Вам сообщить, что Гете отдавал предпочтение ретчевым рисункам пред рисунками Корнелиуса» [134].

О прочности связи Жуковского с домом и городом Гете достаточно свидетельствует все сказанное: его любовь к Гете и к его достоянию бесспорна. Но ее Жуковский хранил про себя. Своего стихотворного обращения к Гете в 1827 г. он не напечатал. В 40-х годах, когда он с особым напряжением отдался переводческой деятельности, он не перевел ни одной строки Гете, охотно обращаясь к другим немцам: Ла-Мотт-Фуке, Шамиссо, Рюккерту. В тех очерках и письмах из своих путешествий, которыми он иногда одарял журналы, он ни разу не обмолвился о посещениях Веймара: все это было только для себя.

Для Жуковского 1830—1840-х гг. сам Гете сделался идеальным образом поэта-мудреца, ушедшего от «бурь и натисков» современности, отрицающего весь пыл ее запросов, социальных и политических, стал образом олимпийца, покоющегося неподвижно в своем небесном и земном монархизме. А город Гете—в pendant к этому реально никогда не существовавшему олимпийцу—в глазах Жуковского сделался вожделенным приютом политической тишины, социального безмятежья и эстетического покоя. Жуковского тянуло туда тем больше и сильнее, чем дальше уходил он сам от современности, чем более одиноким делался он в русской литературе. Веймарский прекрасный сон ему был нужен как средство не видеть грозной действительности надвигающихся революций конца 40-х годов. От этого ему веймарский быт и веймарские люди, как канцлер Мюллер, сделались дороже «Фауста» и подлинного мира поэзии Гете. «Фауста» он не понимал: об этом свидетельствует как раз та его статейка, которую так восторженно принял Мюллер, а творчество Гете в целом сделалось ему чуждо совершенно: он в 40-х годах ни разу и не обратился к нему как переводчик.

Он начал в 1808 г. переводами из Гете, а кончил через 40 лет мечтой о старосветском рае, называемом Веймаром.

Живое знамя литературного гетеанства в 1820—1840-х гг. было в России в других руках.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо к А. Л. Нарышкину (1820).—«Ж.», т. III, стр. 44.
[2] Вяземский—А. Тургеневу, 17/III 1819.—«О. А.», т. I, стр. 203.
[3] Вяземский—А. Тургеневу, 1/V 1819.—«О. А.», т. I, стр. 222.
[4] Вяземский—А. Тургеневу, 5/IX 1819.—«О. А.», т. I, стр. 305.
[5] Вяземский—А. Тургеневу, 20/X 1818.—«О. А.», т. I, стр. 132.
[6] Вяземский—А. Тургеневу, 20/VI 1819.—«О. А.», т. I, стр. 255.
[7] Там же, стр. 213.
[8] И. А. Бычков, Неизданные письма Жуковского к А. П. Елагиной и А. П. Зонтаг. СПБ, 1912, стр. 5—6.
[9] Вяземский — А. Тургеневу, 18/XII 1820. — «О. А.», т. II, стр. 120—121. Христоф.-Вильгельм Гуфеланд (1762—1836) — бывший профессор Иенского университета, был лейб-медиком прусского короля. Его дочь была за известным реакционным писателем А. С. Струдзой, знакомым Жуковского (см. о нем гл. III, § 3). Лоренц Эверс (1742—1830)—профессор богословия в Дерптском университете. В 1815 г. Жуковский обратился к нему с посланием, в котором писал между прочим:

Могу ль забыть священное мгновенье,
Когда, мой брат, к руке твоей святой
Я прикоснуть дерзнул уста с лобзаньем. («Ж»., т. II, стр. 92).

Эверс был любим студентами, пользовался общим уважением. Жуковский писал о нем А. П. Киреевской: «Эверс, осьмидесятилетний старик, есть человек единственный в своем роде: он живет для добра, и со всем этим—простота младенца».
[10] 15/27 III 1821.—«Р. А.», 1900, № 2, стр. 181—182.
[11] Письмо к Тургеневу 18/VII 1820.—«О. А.», т. I., стр. 120—121.
[12] «Дн.», стр. 89.
[13] Вес., стр. 21.
[14] Эти строфы «Фауста» в «Цвете завета» (2-я, 3-я, 8-я) не попали в счет акад. Алдр. Н. Веселовского и оттого общее число переводов Жуковского из Гете равно у него 13, а не 14, как должно (стр. 303).
[15] В. А. Жуковский, Соч., изд. 1878 г., т. VI, стр. 439—443.
[16] «Propyl.», S. 44, Taf. 84. Жуковский видел именно первый тиковский бюст; 2-й был изваян Тиком в июне—августе 1820 г.; слепок с этого бюста еще не мог быть в руках Гуфеланда.
[17] П. А. Вяземский, Соч., т. VII. СПБ, 1882, стр. 481.
[18] «Дн.», стр. 118. Шёлер—вероятно дипломат Рейнгольд-Отто Schöler (1772—1840), 27 лет проведший в России.
[19] Экк., т. I, стр. 206. О жене В. Гумбольдта—Каролине (урожд. ф. Дахреден) см. далее.
[20] G. Karpeles, Goethe in Polen, Berl., 1890, S. 29—32.
[21] «О музыке князя Антона Радзивиллова на «Фауста» Гете».—«Литерат. прибавления к «Русск. Инв.» на 1837 г., № 12, стр. 111—113. Эта безыменная статья, имеющая задачей подготовить петербургского слушателя к концерту Ромберга, где должны были исполняться отрывки из «Фауста» Радзивилла, изобличает в авторе не только просвещенного музыканта, но и отличного знатока «Фауста» и прекрасного писателя. Не будет кажется ошибкой указать как на ее автора на кн. В. Ф. Одоевского: только в нем одном в Петербурге 30-х годов соединялись все эти достоинства. Он был ревностным сотрудником «Литер. приб. к «Р. И.», перешедших именно в 1837 г. к А. А. Краевскому, и часто печатался там безыменно. Самое противопоставление имен Гайдна и Бетховена модному тогда Беллини характерно для Одоевского, страстного почитателя немецкой классической музыки. Заметка изобличает философического гетеанца. В дополнение к ней в № 14 «Лит. прибавлений» была помещена «Напечатанная в собрании сочинений Гете сцена, которую он прибавил к Фаусту для музыки кн. Радзивилла» (стр. 132—133).
[22] «Дн.», стр. 100.
[23] «Briefwechsel Sulpitz Boisserée», Stuttgart, 1862, B. I, S. 394.—«Дн.», стр. 160.
[24] «W. A.», III Abt., B. XXXV, S. 351.
[25] Там же, S. 153.
[26] «Briefwechsel Sulpiz Boisserée», Stuttgart, 1862, B. II, S. 821.
[27] «Дн.», стр. 166.—И. Г. Струве (1763—1828)—русский поверенный в делах в Веймаре, частый собеседник Гете; его брат Генрих Струве (1772—1851), русский посланник при Ганзейском союзе, известный минералог, был также знаком с Гете. (См. письмо Гете к нему от 16 авг. 1823 г. из Мариенбада. «W. A.», IV Abt., B. XXXVII, SS. 168—169).

[28] «Итал. путеш.», 4 янв. 1787. Гете—Вейнберг, т. VI, стр. 93.

[29] «Дн.», стр. 166.—Круг—или Вильгельм-Траугот Круг (1770—1842)—популярный среди студентов профессор философии в Кенигсберге и после в Лейпциге (см. в главе III, § 3), или известный русский академик, историк и археолог Ф. И. Круг (1764—1844).

[30] «Дн.», стр. 167.

[31] «Письма В. А. Жуковского к вел. кн. Александре Федоровне из первого его заграничного путешествия в 1821 г.». Сообщил И. А. Бычков.—«Р. С.» 1902, № 5, стр. 357.

[32] Julius-Wilh. Eckardt, Neue Bilder aus der Petersburger Gesellschaft. 2 unveränd. Aufl. Lpz. Verlag v. Dunker u. Humboldt, 1874, S. 133—134.

[33] «Дн.», стр. 168.

[34] «W. A.», III Abt., B. VIII, стр. 130.

[35] Там же, IV Abt., B. XXXV, S. 175. «Три святые короля»—известная легенда о трех восточных волхвах-королях, принесших дары новорожденному Христу; в Кельне показывают их апокрифические гробницы. Буассере, знаток средневековья, очевидно послал Гете текст этой легенды или какой-нибудь снимок с изображения трех королей.

[36] Письмо впервые напечатано: «Goethe-Jahrbuch», hgg. v. L. Geiger, B. IV. Frankf. a/M., 1883, S. 177; «W. A.», IV Abt., B. XXXV, S. 172—173. Автограф в 1885 г. принадлежал сыну поэта, Павлу В. Жуковскому. Центральное место письма—сожаление о том, что не сказано то, о чем хотелось сказать,—взято Гете из вышеприведенного письма его к С. Буассере. О бюсте Александры Федоровны см. гл. II, § 3.

[37] «Р. А.» 1870, стр. 1817—1820: «Сохранилось в черновом подлиннике».

[38] «W. A.», III Abt., B. VIII, S. 320.

[39] «W. A.», I Abt., B. XL, S. 311. «Славные имена, о которых говорит Гете,—Ломоносов, Державин, Карамзин, издавна известные в Германии. Из Державина Гете читал оду «Бог» в латинском переводе Станислава Черского. В библиотеке Гете доныне (1932) хранится экземпляр этого перевода: «De Deo carmen rossicum illustris Derzavini latinis elegis explicuit Stanislaus Czerski. Iteratis 1819, typis Vilnae». На экземпляре надпись переводчика: «Clarissimo viro Göthe D. Czerski. MDCCCXIX». Отметим, что Гете интересовался не только напевами (см. гл. I), но и «словами» русских народных песен. В его библиотеке сохранились до наших дней экземпляры «Древних российских стихотворений Кирши Данилова», в издании К. Ф. Калайдовича (М., 1818 г.), снабженном нотами, и немецкий перевод русских песен, сделанный чешским поэтом и собирателем песен Францем Челаковским: «Widerhall russischer Lieder von Franz-Ladislaus Celakowsky, Prag, 1829, 8°. См. также: Otokar Fischer», F.-L. Celakowsky's Übersetzungen für Göthe («Germanoslavica», 1931—1932, Heft 3, S. 408—431).

[40] В. А. Жуковский, Соч., 7-е изд. СПБ, 1878, т. VI, стр. 430. «Размышление по случаю грома»—подражание Дмитриева стихотворению Гете «Grenzen der Menschheit» («Границы человечества», 1778—1781). Первые стихи Жуковского, подражающие «Размышлению», неизвестны.

[41] Кн. В. Ф. Одоевский, Русские ночи. Под ред. С. А. Цветкова. К-во «Путь». М., 1913, стр. 175. С благодарностью вспоминает Одоевский об услуге, оказанной Карусом всему поколению русских любомудров: Карус с его физиологией послужил одним из мостов, приведших Одоевского с товарищами от занятий метафизикой к изучению физики и химии (там же, стр. 9).

[42] Экк., т. II, стр. 293: разговор с Сорэ 2 авг. 1830; т. I, стр. 299, запись 1. II. 1827 г.

[43] Рецензия на книгу Каруса: «Основания краниоскопии. Перев. с нем. А. Кашина». СПБ, 1844. Принадлежность рецензии Одоевскому установлена П. Н. Сакулиным (Сак., т. I, стр. 488—489).

[44] Журн. А. Тургенева № 5 (б. Пушкинск. дома № 8), л. 24 об.

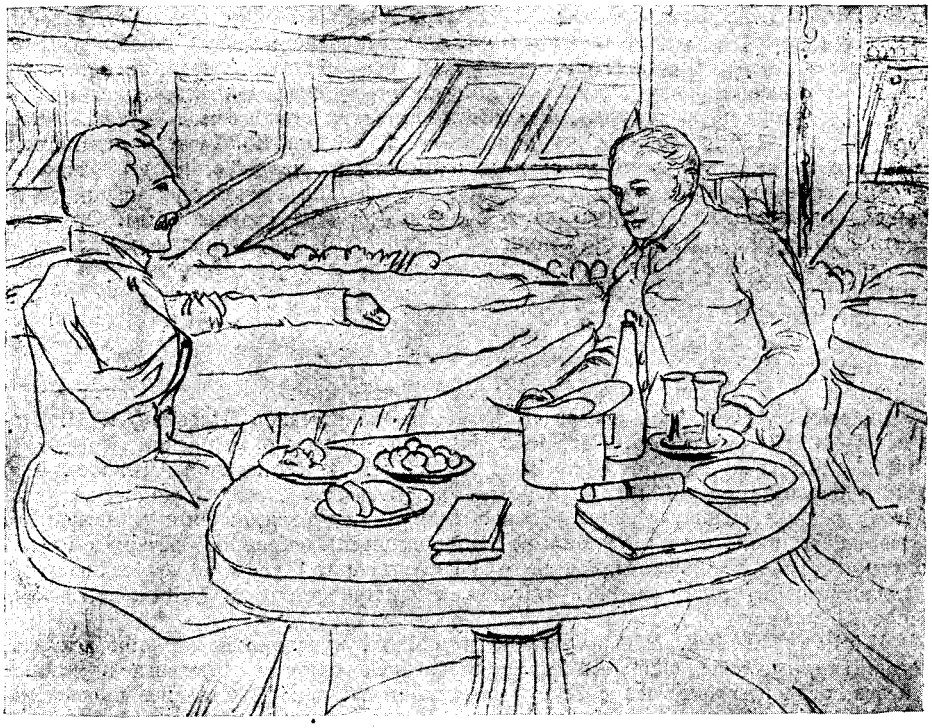
[45] «W. A.», IV Abt., B. XXVI, S. 86—89.

[46] «Gerhardt von Reutern. Ein Lebensbild, dargestellt von seinen Kindern». St.-Petersburg, 1894, SS. 26—27.

[47] Там же, S. 29.

[48] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 204. В записи Гете от 6 янв. 1818 г. читается: «Russischer Garde-Lieutenant von Reuter» (B. VI, S. 155). Если, вслед за редакцией веймарского издания, счесть это «von Reuter» за описку вместо «Reutern» (см. там же, S. 309), то Рейтерн был у Гете в этом году не один, а два раза. Биограф Рейтерна (см. выше: «Gerhardt von Reutern») полагает, что в это январское посещение Рейтерн, по просьбе гр. Ф. П. Толстого, доставил Гете некоторые из его барельефов на темы из «Одиссеи» (см. об этом гл. VI, § 1).

[49] «Gerhardt von Reutern», S. 49. Жуковский был знаком и с самыми ранними его рисунками, виденными в Дерпте у пр. Занфа.
[50] «Дн.», стр. 202.
[51] «Дн.», стр. 203.
[52] «Итал. путешеств.» Гете—Вейнберг, т. VI, стр. 109, 91, 95.
[53] Бельш., т. II, стр. 6.
[54] «Арх. Т.», т. VI, стр. 247.
[55] Там же, стр. 347—348.
[56] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 105.
[57] «Дн.», стр. 203.
[58] «Propyl.», S. 77, Taf. 147—149.
[59] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 106.
[60] Müller, S. 206.
[61] «Gerhardt von Reutern», S. 51—52.
[62] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 106.



В. А. ЖУКОВСКИЙ И Г. Р. РЕЙТЕРН НА ПАРОХОДЕ НА РЕЙНЕ
Рисунок карандашом В. Жуковского
Под рисунком рукою Жуковского: „Victoria" 31 Jul.—12 Aug. [1840 г.]
Публичная Библиотека, Ленинград

[63] «Дн.», стр. 203—204. О загородном домике Гете, о Тифуртском малом дворце, об Ильме и пр. см. описание А. И. Тургенева (тл. IV).
[64] Журнал А. И. Тургенева, № 8 (б. Пушкин. дома № 308), л. 51.
[65] Экк., т. I, стр. 235.
[66] «W. A.», III Abt., B. XI, стр. 106.
[67] Там же.
[68] Там же, IV Abt., B. XLIII, стр. 94.
[69] Оба произведения воспроизводятся впервые.
[70] Печатается по фотографическому снимку с подлинника, хранящегося в Архиве Гете и Шиллера в Веймаре.—Стихотворение Жуковского «Приношение» издается впервые: оно не вошло ни в одно из изданий его сочинений и не было известно

его биографам и исследователям (Загарин, Лев Поливанов) Архангельский, Алдр. Веселовский и др.). Странным образом, они воспроизводили французский перевод «Приношения», сделанный самим же Жуковским, и ни разу не упомянули о русском его оригинале. Французский перевод они заимствовали у Шевырева. В своей актовой речи 1853 г. «О значении Жуковского в русской жизни и поэзии» он писал: «Карус в Дрездене сделал красками рисунок, изображающий романтическое местоположение: на балконе стояла арфа, освещенная лучами месяца; за нею пустое кресло, на которое наброшен был богатыми складками плащ. Ландшафт имел отношение к смерти Байрона. Жуковский подарил эту картину Гете 5 сентября 1827 г. и подписал под нею по-французски». Далее Шевырев приводит напечатанный выше текст со следующими отличиями: 1) он не разбит у него на строки, соответствующие отдельным стихам русского оригинала, 2) вместо «Lyre» у Шевырева «la harpe», вместо «levé»—«soulevé», вместо «qui anime le passé»—«qui donne la vie aux passé». «Я помню эту картину,—заканчивал Шевырев,—в гостиной Гете, в 1829 г.». («Речи и отчет, произнесенные в торжеств. собрании Имп. Московск. у-та... 12 января 1853 г.», М., 1853, стр. 73—74). Эту французскую надпись перепечатали из речи Шевырева П. Загарин («В. А. Жуковский и его произведения», 2-е изд. М., 1883, стр. 241) и акад. Алдр. Веселовский («В. А. Жуковский». П., 1918, стр. 323—324). Описание самой акварели Каруса у Шевырева грешит неточностями. Оно основано на двух ранних записях Шевырева: в 1829-г. Шевырев писал Елагиной, что Жуковский подарил Гете «картину, изображающую арфу у стула, на котором кто-то сидел и исчез, оставив плащ свой. Луна ударяет по струнам. Эта мысль взята из его Елены». («Р. А.» 1879, книга I, стр. 139). По его же описанию 1838 г., картина уже «представляла комнату с видом на поле и небо; в комнате никого не было, но все означало, что был кто-то недавно: стоял стул, у стула арфа, на стул кинут плащ, кем-то недавно оставленный. Луна светила в окно и освещала струны арфы. Это была память о Байроне» («О. З.» 1839, книга III, стр. 117). Ни в письме к Елагиной, ни в дневнике 1838 г. Шевырев не приводит ни русского, ни французского текста «Приношения».

[71] См. примеч. 70.

[72] Müller, S. 207.

[73] «Дн.», стр. 204.

[74] Шутливое прозвище, данное Жуковскому Вяземским.

[75] Впервые русский текст стихов «К Гете» был напечатан в «Письмах А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу», Lpz. 1872, стр. 115. Немецкий авторский перевод напечатан у Müller'a: «Goethes letzte liter. Thätigkeit. Verhältniss zum Auslande». Jena, 1832, и перепечатан у Müller'a, S. 207—208. В переводе стихи Жуковского приобрели местами бóльшую силу: «Творец великих вдохновений» превратился в «творца великих откровений» (Offenbarungen), скромное «вечернее сиянье» из строк «Твое вечернее сиянье не о закате говорит») усилено до «великолепно-пламенеющего вечернего солнца»—«nicht vom Untergange spricht Deine herrlich flammende Abendsonne» и т. д.

[76] Müller, S. 208. Мейер—старый друг Гете, художник и историк искусства Иоганн-Генрих Мейер (1759—1832). Стихи баварского короля Людвига I, мецената и поэта, переписывавшегося с Гете,—«Nachruf an Weimar» («Последнее прости Веймару»).

[77] «Ж»., т. XII, стр. 158.

[78] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 107.

[79] П. А. Висковатов, «Война мышей и лягушек».—«Годовой отчет гимназии и реального училища д-ра Видемана за 1900/1901 г.». СПБ, 1904, 8—10. Эпизод о Гете и Жуковском автор выделил из этой статьи в отдельную заметку: «Об отношениях Жуковского и Гете» («Литературный Вестник» 1902, т. IV, кн. V, стр. 6—9). Зейдлиц относил получение Жуковским «элегии» от Гете к 1821 г., к свиданию их в Карлсбаде. Этого не могло быть уже по одному тому, что «Мариенбадская элегия» написана только в 1823 г. Ноябрьскую встречу в Веймаре в 1821 г. и Гете, и Жуковский называют первым своим свиданием, и потому встреча их летом 1821 г. на водах лишена вероятия.

[80] «Материалы для биографии А. С. Пушкина». СПБ, 1855, стр. 185.

[81] «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 гг.». Вступит. статьи и примеч. М. Цявловского. М., 1925, стр. 43, 112. По верному мнению М. Цявловского, отметка Соболевского: «Не видывал», относящаяся к этому месту записей Бартенева, «не может служить опровержением рассказа Нащокина и других лиц» (там же, стр. 112—113). Упоминания Бартенева о пере: «Р. А.» 1909, № 8, стр. 565; 1911, № 7, стр. 449—450.

[82] «W. A.», I Abt., B.Va; S. 166; B. IV, S. 185.

[83] Экк., т. II, стр. 380.

[84] Записи дневников Гете: 1823, 1824, 1828 гг. («W. A.», III Abt., B. IX, S. 93—96, 100, 109, 129, 133—140, 179, 198; B. XIII (Agenda), S. 243—244. Подбор отзывов Гете о Шимановской см. у Bied., B. III, S. 14—18, 28, 36—37. Автографы немецкого и французского текста стихотворения «Aussöhnung» и письма Гете к Шимановской от 19 августа 1823 г. воспроизведены в I томе юбил. издания Собр. соч. Гете в 13 томах (М., 1932), стр. 510. Об отношениях Гете и Шимановской см. G. Karpeles, Goethe in Polen, Berlin 1890, гл. IV, стр. 37—54, и статью Berthe Witt, Goethe und Szymanowska («Die Deutsche Frau» 1931, Heft 16).

[85] «O. A.», B. II, S. 255.

[86] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. II, стр. 62—66.

[87] П. Эттингер, Пушкин и Мария Шимановская.—«Красная Нива» 1929, № 24, стр. 12.

[88] «Что именно знал Гете из произведений Пушкина (в немецкой передаче которых участвовала К. К. Павлова), не знаем».—«Р. А.» 1911, № 7, стр. 450.

[89] Вопрос о «пере Гете» обычно связывается с посвящением Пушкину стихотворения: Goethes Feder an *_*.

Was ich mich sonst erkühnt,
Jeder würde froh mich lieben,
Hätt ich treu und frei geschrieben
All' das Lob, das Du verdienst.

(Что себе ни разрешу,
Буду я для всех любезно,
Коль хвалу тебе я честно,
По заслугам напишу.—Перев. С. Шервинского.)

Первый, кто связал это стихотворение о «пере Гете», говорящем комплимент кому-то, с пером Гете, подаренным Пушкину, был Отто Гарнак. В своей статье «Отношения Гете к русским писателям» (1890) он писал: «Я не могу удержаться от того, чтобы не указать здесь (при изложении, по Анненкову, истории получения Пушкиным пера Гете) на маленькое стихотворение Гете «по поводу», написанное в 1826 г., т. е. в том же самом году, как и пушкинская «Сцена из Фауста»,—стихотворение, про которое остается неизвестным, с чем оно связано. Напрашивается догадка, что эти слова сопровождали посланный Пушкину подарок» (Otto Harnack, Goethes Beziehungen zu russischen Schriftstellern.—«Zeitschrift für Vergl. Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur» 1890, III Band, IV u. V Heft, S. 271).

Догадка Гарнака построена на двух посылках: 1) Гете узнал от кого-то о том, что Пушкин написал «Сцену из Фауста», и в благодарность послал ему свое перо вместе с специально для него написанным стихотворением, 2) стихотворение Гете «Goethes Feder an *_*» иначе остается необъяснимым. Что объяснения ему пока нет, это верно, но история с Пушкиным вряд ли объясняет его. Шимановская ни слова не упоминает о том, что вместе с пером вручено было Пушкину стихотворное обращение Гете; ни слова не упоминает об этом и Нащокин: вряд ли бы они умолчали об этом более ценном даре Гете, еслиб действительно он был послан Пушкину. Данные, извлекаемые из самого стихотворения,—не в пользу пушкинской гипотезы. Стихотворение написано в 1826 г. (июль), перо послано в 1827 г. (сентябрь); если возможно еще верить, что Гете, побеседовав с Жуковским о Пушкине, так им заинтересовался, что решил подарить ему свое перо и тут же написал сопроводительные стихи, то как объяснить, что он в 1826 г. вдруг почему-то написал эти стихи (из русских литературных посетителей у него в этом году был лишь А. Тургенев, не занесший в свой дневник разговора ни о Пушкине, ни о «Сцене из Фауста») и решил послать перо, но в течение больше чем года не пересылал в Россию ни того, ни другого, имея много придворных оказий для всяких пересылок? Самое содержание стихотворения вовсе не говорит, что «перо Гете» держит свою речь к поэту: такую речь «перо» могло держать к любому знакомцу или знакомке или даже к любому незнакомцу или незнакомке Гете. Четверостишие Гете—обычный мадригал, адресатом которого мог быть кто угодно. Во всяком случае несомненно, что Жуковский не привез Пушкину этого «четверостишия» вместе с пером, вернувшись из своего заграничного путешествия 1826—1827 гг.

[90] «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу». Lpz., 1872, S. 114—115.

[91] Bied., B. III, S. 239. Молодой Грильпарцер, вовсе неизвестный Гете, так выразился о своей встрече с ним: «Сначала он мне показался Юпитером, потом—отцом».

[92] «Р. А.» 1904, № 6, обложка.
[93] Письмо к Рейтерну от 29/XII 1828.—«W. A.», IV Abt., B. XLV, S. 95.
[94] Там же, III Abt., B. XII, S. 10, 13, 16, 18, 20, 22, 46, 75.
[95] Там же, IV Abt., B. XLV, S. 282—283. Письмо от 3/VI 1829.
[96] Там же, III Abt., B. XII, S. 245—246.
[97] «Propyl.», S. 80.
[98] Экк., т. II, стр. 360.
[99] «Gerhardt v. Reutern», S. 57—59.
[100] Письмо к Шарлотте Ф. Рейтерн 11/VII 1831.—«W. A.», IV Abt., B. XLIX, S. 5.
[101] Этот столь понравившийся Гете рисунок Рейтерна в 1899 г. был на выставке его рисунков в Петербурге. В настоящее время след его потерян. После смерти Гете Рейтерн с уверенностью и успехом продолжал свой путь, несомненно выпрямленный встречей и общением с Гете. Вернувшись в Германию, он переселился в Дюссельдорф и стал заниматься у лучшего колориста дюссельдорфской школы—Гильденбрандта. В 1835 г. он был Петербургской академией художеств признан «назначенным» за портрет Жуковского (который в 1841 г. сделался его зятем) и за «Две картины из семейной жизни» и в том же году получил звание академика («Список русск. художников к юбилейному справочнику Имп. Академии Художеств. Состав. С. Н. Кондаков», ч. II, стр. 166). В 1837 г. Рейтерн был сделан «живописцем императорского семейства» с небывалым правом—не писать этого «семейства», а «жить по своему усмотрению за границею, с сохранением при себе до окончания воспитания и сыновей своих». В 40-х годах он получил известность и как живописец маслом: ее ему дали две картины «Жертвоприношение Авраама» и «Мадонна». Он пережил и Жуковского, и свою дочь и умер в 1865 г. Похоронен во Франкфуртена-Майне («Р. Б. С.», том Рейтерн—Рольцберг. СПБ, 1913. Статья П. Майкова).
[102] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 112, 129, 132.
[103] В библиотеке Гете доныне (1932) сохранилась его книга: «Coup d'œuil, geognostique sur le nord de l'Europe en général et particulièrement de la Russie. Paris, 1819. Письмо Г. К. Разумовского к Гете появится в отдельном издании моей работы.
[104] А. И. Кирпичников, Антон Погорельский. Эпизод из истории русского романтизма, в «Очерках по истории новой русской литературы», т. I, 2-е изд. М., 1903, стр. 96.
[105] А. А. Кондратьев, Гр. А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества. СПБ, 1912, стр. 15—16.
[106] Müller, стр. 212.
[107] Там же.
[108] А. Кондратьев, стр. 8—9.
[109] «Автобиография». Полн. собр. соч. гр. А. К. Толстого. СПБ, 1888, т. I, стр. X.
[110] А. Кондратьев, стр. 10.
[111] Schorn, стр. 282—283.
[112] Schorn, стр. 283—284. Шорн датирует это письмо «1-м октября»: дата решительно невозможная: Мария Федоровна умерла 22 октября по ст. ст. (3 ноября по нов. ст.).
[113] См. об этом автографе в статье А. Г. Габричевского «Автографы Гете в СССР». Приведенное письмо Мюллера решает вопрос о времени получения Жуковским этого автографа. «Иллюстрацией к отзыву Гете о Жуковском» (см. выше), как хотелось думать А. Веселовскому (Вес., стр. 323), он быть не мог. Он получен Жуковским в 1828 г.
[114] Е. В. Петухов, Письма В. А. Жуковского к канцлеру Фридриху фон Мюллеру. «Новый сборник статей по славяноведению. Составлен и издан учениками В. И. Ламанского». СПБ, 1905, стр. 338.
[115] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 318, 320, 353.
[116] С подлинника из собрания А. Ф. Онегина (Институт Новой Литературы Академии Наук СССР. «Видение»—стихотворение Жуковского:

Блеском утра озаренный,
Светоносный, окрыленный
Ангел встретился со мной... и т. д.

(1828; «Ж»., т. III, стр. 75). «Оська»—гр. Иосиф М. Вьельгорский, сын корреспондента Жуковского, рано умерший юноша, друг Гоголя. «К. К.»—Мердер, воспитатель наследника Александра Николаевича. Фицтум—веймарский гофмаршал.
[117] В дневнике Гете от 17 апреля 1828 г. находим такую запись: «Граф Вьельгорский, русский офицер, присланный сюда для поздравления» (подразумевается, Марии Павловны.—*С. Д.*). («W. A.», III Abt., B. XI, S. 206). Из вышеизложенного

ясно, что под этим «Вьельгорским» не может разуметься граф Михаил Юрьевич: он ехал в Веймар с письмом Жуковского, в котором поэт только еще просил канцлера представить Вьельгорского Гете: они, значит, не были еще знакомы. Предполагаем, что под Вьельгорским записи 17 апреля надо подразумевать младшего брата—графа Матвея Юрьевича (1794—1866), известного виолончелиста. В 1826 г. он вышел в отставку полковником и через год был «пожалован» в камергеры. В качестве придворного он и мог быть послан с каким-то поздравлением к Марии Павловне.

[118] «Дн.», стр. 229.

[119] «Дн.», стр. 229—230.

[120] «Дн.», стр. 233.

[121] «Mehr Licht!» (Больше свету!)—знаменитое предсмертное восклицание Гете. M-lle Pogwisch—вероятно родственница Оттилии Гете (урожд. Погвиш). Волфганг—внук Гете. Бьелке и Шпигель—гофмаршалы веймарского двора. Гр. Санти—Васил. А-др. (1788—1841), в 1828—1841 гг. русский поверенный в делах в Веймаре.

[122] «Дн.», стр. 310. Кудрявский, по предположению И. А. Бычкова, правитель канцелярии министерства иностр. дел. Ем. Афан. Кудрявский.

[123] «Дн.», стр. 310. Фридрих Крейтер—библиотекарь; у Гете занимал место секретаря и архивариуса. О бюсте Давида см. гл. VII, стр. 64. О черепе Шиллера см. гл. IV.

[124] «Дн.», стр. 310—311.

[125] Schorn, стр. 284. Мюллер говорит об известном путешествии наследника, будущего Александра II, по России вместе с Жуковским и А. А. Кавелиным в 1837 г.

[126] «Дн.», стр. 378. У дипломата Игн.-Франца Ольферса (1793—1871), любителя литературы, Жуковский провел вечер со скульптором Тиком, поэтом и историком Фридрихом Ферстером (1791—1868), с Генр.-Августом Вертером (1772—1859), министром иностранных дел, и Фр.-Августом Штегманном, поэтом и государственным деятелем. Всех этих лиц Жуковский знал уже много лет. Это все были члены того придворно-литературного кружка, в который Жуковский попал еще в первый приезд свой в Берлин, в 1820 году. 4—16 июля 1822 г. Жуковский писал наследному принцу, будущему королю Фридриху-Вильгельму IV: «Я вспоминаю Берлин с признательностью и даже как бы с тоской по родине. Там оставил я друзей, которых буду нежно любить всю жизнь, особенно семейство Клейст. Можно ли чувствовать себя более «дома», чем я себя чувствовал у них?» (А. А. Фомин, Поэт и король или история одной дружбы, СПБ, 1913 г., стр. 11). Из семьи умершего поэта Генриха Клейста (1777—1811) Жуковский особенно подружился с его сестрой. Два письма Марии Клейст (1829 года) к Жуковскому хранятся в Онегинском собрании. Там же находятся письма к Жуковскому упомянутого выше Ольферса (M. Hofmann, Le musée Pouchkine d'Alexandre Onéguine à Paris, Paris, 1926, p. 76, 80).

[127] «Дн.», стр. 408.

[128] «Дн.», стр. 409. 22 марта—день смерти Гете. Календарь был оставлен на этом числе. И. К. Шорн (1793—1842)—историк искусств, директор Института изящных искусств в Веймаре. О «пирамиде из папки» см. гл. VII, § 2.

[129] «Дн.», стр. 410. Жуковский сблизился в этот приезд с Эккерманом, который подарил ему лист из II части «Фауста», написанный собственноручно Гете (стихи 1391—1424 I акта) (Goethe-Jahrbuch, Hgg. v. L. Geiger, B. IV, Frankf. a/M. 1883, S. 179).

[130] Роман Манцони «Обрученные» был произведением итальянца, но высоко ценился Гете. В поездку 1838 г. Жуковский посетил А. Манцони и вел с ним «разговор о Гете, о Байроне, о тенденции нынешней поэзии». Оба писателя высказались против этой «тенденции» как революционной.

[131] «Уткинский сборник» под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904, стр. 66. Под «Вертером», «переведенным у меня», А. П. Елагина разумеет перевод Н. М. Рожалина (см. гл. VII, § 1).

[132] «Письма В. Г. Белинского» под ред. Е. А. Ляцкого, т. III, 1914, стр. 817. Роман Гете однако был напечатан в «О. З.» (1847 г.).

[133] «Дн.», стр. 523. Из упоминаемых здесь лиц: Унгерн-Штернберг (1806—1868), романист; Асм. Я. Карсенс (1754—1798), живописец; Иог.-Непомук Гуммель (1778—1837), знаменитый пианист и композитор, концертировавший в 1822 г. в Петербурге и Москве; он умер в Веймаре, занимая должность герцогского капельмейстера.

[134] Schorn, S. 287. Указание на ретчевы рисунки вызвано тем, что Жуковский в своей статье толкует один из рисунков Корнелиуса к «Фаусту».

Глава шестая

ЛЮДИ 14 ДЕКАБРЯ И ГЕТЕ

I. КЮХЕЛЬБЕКЕР И ГЕТЕ

„ГЕРМАНИЗМ" В РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР. — ПОЕЗДКА КЮХЕЛЬБЕКЕРА ЗА ГРАНИЦУ В 1820 Г. — ЗНАКОМСТВО С Л. ТИКОМ. — КЮХЕЛЬБЕКЕР У ГЕТЕ. — БЕСЕДА С ГЕТЕ О Ф. М. КЛИНГЕРЕ, Ф. П. ТОЛСТОМ И В. А. ЖУКОВСКОМ. — ГЕТЕ И Ф. П. ТОЛСТОЙ. — НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО Ф. П. ТОЛСТОГО К ГЕТЕ. — ПОДАРОК ГЕТЕ КЮХЕЛЬБЕКЕРУ. — НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО И СТИХИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА К ГЕТЕ. — ГЕТЕ В СТИХОТВОРЕНИИ „НИЦЦА". — КЮХЕЛЬБЕКЕР О ГЕТЕ В „МНЕМОЗИНЕ". — ДЕКАБРИСТ В. А. МУСИН-ПУШКИН В ВЕЙМАРЕ У ГЕТЕ. — ДЕКАБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ. — ИНТЕРЕС ГЕТЕ К МЕЖДУЦАРСТВИЮ И ВОССТАНИЮ В ДЕКАБРЕ 1825 Г. — ГЕТЕ — ЧИТАТЕЛЬ „ДОНЕСЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ". — ДЕКАБРИСТЫ — ЧИТАТЕЛИ ГЕТЕ: А. БЕСТУЖЕВ, А. ОДОЕВСКИЙ, БАР. РОЗЕН, Н. ТУРГЕНЕВ. — КЮХЕЛЬБЕКЕР, ПОЛИТИЧЕСКИЙ УЗНИК И ССЫЛЬНЫЙ, О ГЕТЕ. — БОРЬБА С ГЕТЕ В ТЮРЬМЕ И ССЫЛКЕ.

Еще в лицее, среди многих «слав», относящихся к неисчерпаемой «кюхельбекериаде», у ее героя была слава, не вмещающаяся в эту «ирои-комическую поэму»: слава любителя и знатока германской поэзии. «Клопштока, Шиллера и Гёльти [1],—вспоминал Пушкин про Дельвига,—прочел он с одним из своих товарищей, живым лексиконом и вдохновенным комментарием» [2].

Этот товарищ был Кюхельбекер; при зоркой меткости и веской силе своих эпитетов, Пушкин сказал ему большую похвалу: он в зрелые свои годы признавал за Кюхельбекером живое знание и вдохновенное истолкование немецких поэтов; похвала оказывается еще более веской, если вспомнить ту дружескую, но неизменную иронию, с которой Пушкин отзывался о трудах и днях Кюхельбекера.

В среде лицейских поэтов, между которыми порхали легкие имена Парни, Грекура и Вольтера-стихотворца, Кюхельбекер первый произнес имена германских поэтов, но примечательно, что Пушкин упомянул Шиллера и промолчал о Гете—оттого ли, что Шиллер легче усваивался после Парни, или оттого, что сам Кюхельбекер был «вдохновенным комментарием» Шиллера чаще, чем Гете. Но сам Кюхельбекер уже тогда знал и изучал Гете.

По выходе из лицея он напечатал в петербургском «Conservateur Impartial» статью «Coup d'oeil sur l'état actuel de la litérature russe» (1817). В ней он выделяет в русской поэзии «германическое направление», идущее от Жуковского: германская поэзия «доселе неуважаемая» выше и глубже французской. Появление этого «германического» течения в русской поэзии он приравнивает к настоящему перевороту—«la révolution»: «Жуковский не только переменяет внешнюю форму нашей поэзии, но даже дает ей совершенно другие свойства. Принявши образцами своими великих гениев, в недавние времена прославивших Германию, он дал гармонический дух русскому языку, ближайший к нашему национальному духу, как тот свободному и независимому» [3]. Через много лет сибирский изгнанник Кюхельбекер писал Жуковскому с юношеской восторженностью: «Смею считать себя одним из не совсем недостойных представителей того периода нашей словесности, который, по самой строгой справедливости, должен бы называться вашим именем, потому что вы первые нам, неопытным тогда юношам, и в том числе и Пушкину, отворили дверь в святилище всего истинно прекрасного и заставили изучать образцы великих иностранных поэтов. Никто из ваших преемников никогда не передавал ни Шиллера, ни Гете, ни Байрона в таком совершенстве, как вы» [4]. Самого себя Кюхельбекер признавал учеником Жуковского по «германическому направлению» лирики. Критика 20-х годов также готова была признать



В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Рисунок карандашом, сделанный А. С. Пушкиным на полях черновых набросков „Евгения Онегина" (Михайловское, 1826 г.)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

это его ученичество. Его дружеское прозвище «Тевтон-Кюхля» указывало не на одну его кровную, но и на поэтическую родину. В рукописном наследии Кюхельбекера сохранился след его работы над Гете. В 1819 г. вышел в свет сборник Гете «West-Östlicher Divan»—книга лирики с прозаическими пояснениями. Кюхельбекер не только читал, но изучал ее: он составил подробный конспект прозаической части этой книги.

В 1820 г. Кюхельбекер попал за границу и мог лицом к лицу встретиться с излюбленными им «германистами»—поэтами. Он ехал в Германию секретарем «благополучнейшего» и ленивейшего вельможи трех царствований—А. Л. Нарышкина (1760—1826). Имея самые высшие придворные и не придворные звания—обер-гофмаршал, обер-камергер, действительный тайный советник, «канцлер всех российских орденов», которыми он был осыпан Екатериной, Павлом и Александром, Нарышкин был директором театров в течение двадцати лет (1799—1819): театр был тогда по придворному ведомству. Все должности этого избалованнейшего царедворца не уводили его за порог дворца. Он мог бы быть отличным посланником при скептическом дворе Вольтера: был богат, образован, остроумен, любил музыку, собирал картины, благосклонствовал к литературе, получал шутливо-почтительные послания от Жуковского—все права на посланничество в Ферней. Но Фернея уже не существовало, и, бросив театральное директорство в 1819 г. и отправившись от скуки в чужие края, Нарышкин непременул посетить другой литературный двор—дом Гете в Веймаре. Как и подобало посланнику к литературным дворам, он искал себе в секретари поэта: за отказом Дельвига взял Кюхельбекера. Восторженный и несуразный в житейских делах секретарь некоторое время занимал собою скучающего вельможу, которому прискучила сухая церемониальность и холодная ампирность двора и потому нравилась и развлекала романтичность секретаря-поэта. Пушкин послал вслед Кюхельбекеру дельное пожелание: «Желаю ему... в канцелярии Нарышкина духа смиренномудрия и терпения» [5]. Известно, что Кюхельбекер проявил другой «дух»—вольный, и после чтения поэта в Париже о русской поэзии ему пришлось расстаться с меценатом.

В Дрездене Кюхельбекер увидел Л. Тика: он встретился с ним, сопутствуя Нарышкину, у старой поэтессы Елизаветы von der Recke, той самой,

у которой позднее бывали А. И. Тургенев и Жуковский. Уже без Нарышкина явился Кюхельбекер к Л. Тику и о встрече рассказал Дельвигу: «У Тика я был сегодня поутру; он человек чрезвычайно занимательный и достойный примечания по своему образу мыслей. Сначала я упомянул о сочинениях покойного Новалиса, Тиком изданных, и жалел, что Новалис при большом даровании, при необыкновенно пылком воображении не старался быть ясным и совершенно утонул в мистических тонкостях. Тик спокойно и тихо объявил мне, что Новалис ясен, и не счел нужным подтвердить то доказательством» [6]. Далее разговор шел о Виланде и Клопштоке.

Кюхельбекер не заметил лаконического сарказма в ответе Тика: «Новалис ясен», но А. И. Тургенев, другой «германист» русский, заметил и, нападая на статью Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии», напечатанную в той же книжке «Мнемозины», писал Вяземскому: «Кюхельбекера читал, и с досадою; утешил он меня только невинностью своего рассказа о разговоре его с Тиком о Новалисе. Он признался ему, что не понял Новалиса, а Тик добродушно отвечал ему: «А я понял». Довольно для Кюхельбекера, но зачем же признаваться в глупости?» [7]

После не совсем удачного посещения главы романтической школы Кюхельбекер предстал пред его антиподом—Гете. И Кюхельбекер, и Гете в один и тот же день сделали записи об их встрече. Гете записал под 10/22 ноября 1820 г.: «Молодой петербуржец фон Кюхельбекер в свите (in Gefolg) князя Нарышкина» [8]. Все характерно в этой записи. Нарышкин, как и подобало «послу»-вельможе, был так пышен и внушителен, что Гете наградил его титулом, ему не принадлежавшим, а «молодого петербуржца», снабдив привелигированным «von», поместил «в свиту» этого «князя». В Веймаре Нарышкин произвел повидимому большое впечатление: по крайней мере в 1827 г. А. И. Тургенев нашел в Веймарской библиотеке только два портрета русских «знаменитых» людей: один был Петр Великий, другой—А. Л. Нарышкин.

Кюхельбекер в тот же день писал Дельвигу: «Вчера вечером приехали мы в Веймар, в Веймар, где некогда жили великие: Гете, Шиллер, Гердер, Виланд; один Гете пережил друзей своих.—Я видел бессмертного; я принес ему поклон от Клингера.—Гете росту среднего, его черные глаза живы, пламенны, исполнены вдохновения.—Я его себе представлял исполином даже по наружности, но ошибся.—Он в разговоре своем медленен: голос тих и приятен; долго я не мог вообразить, что передо мною гигант Гете; говоря с ним об его творениях, я однажды даже просто его назвал в третьем лице по имени.—Гете знает нашего Толстого из работ его и любит в нем великого художника. Казалось, ему было приятно, что Жуковский познакомил русских с некоторыми его немецкими стихотворениями.—О нашем разговоре не много могу сказать вам, друзья мои; я был у него не долго, надеюсь, что он завтра несколько будет доступнее, а я смелее» [9].

Клингер, Толстой, Жуковский—вот предметы разговора Гете с Кюхельбекером.

Клингер (1753—1831) был двуликим Янусом, одно лицо которого (Фридрих-Максимилиан), обращенное к Германии, было лицо знаменитого писателя эпохи «бури и натиска», другое (Федор Иванович), обращенное к России, было каменным лицом сурового генерала екатерининой, павловой, александровой службы. Сам Янус жил в Петербурге и начальствовал над Первым кадетским корпусом (1801—1820).

Клингер был земляк и старинный друг Гете. Гете высоко ценил Клингера как замечательного романиста, дважды писавшего на родную для Гете тему: «Жизнь и деяния Фауста и путешествие его во ад» и «Восточный Фауст», как мощного драматурга, первая драма которого «Sturm und Drang» (1776) дала название целому периоду немецкой литературы, включившему в себя и «Геца», и «Вертера». В «Правде и поэзии» Гете признавал, что «в сочинениях Клингера выказываются... прямодушное чувство, живое воображение, счастливая наблюдательность разнообразных проявлений человеческой природы... Его дети и девушки милы и просты, юноши исполнены горячего пыла, мужчины умны и честны; в ясности юмора, счастливой изобразительности нет недостатка». Сколько редких достоинств в одном писателе! И только один полунедостаток: все это имело бы «еще больше цены, если бы к его ясной и веской шутливости не примешивался иногда оттенок горечи». Впрочем вряд ли это и полунедостаток: «это придает ему его собственную оригинальность». Но Гете не меньше ценит Клингера как человека: «всем, чем он обладал, был он обязан исключительно себе самому... Такая стойкость твердого характера»,—продолжает Гете, намекнув, что Клингер равно враждебно относился и к Канту, и к идеям французской революции,—«делается тем более достойною уважения, если он остается несокрушимым общественной и деятельною жизнью и если, относясь к окружающим его событиям резким, даже насильственным образом, он, действуя во-время, наивернее достигает цели. Это именно видим мы в Клингере» [10]. Прервем тут Гете и поясним, как Клингер «действовал во-время»: «на ловлю счастья и чинов» он в 1780 г. приехал в Россию и очень скоро устроился чтецом при наследнике престола, а браком сочетался с побочной дочерью екатеринина фаворита, гр. Г. Орлова, Елизаветой Алексеевой. При Павле I Клингер шел в гору: Павел неизменно благоволил к нему, но когда, по словам Августа Коцебу, убийца Павла «князь Зубов спросил у генерала Клингера: «Qu'est ce qu'on dit du changement?» (Что говорят о перевороте?)—«Mon prince,—отвечал Клингер в противность стольким прямодушным и твердым правилам в его сочинениях,—on dit, que vous avez été un des Romains» (Князь, говорят, что вы были один из римлян) [11]. «Он успел,—продолжает Гете,—самым твердым и честным путем возвыситься до значительных должностей». В самом деле, Клингер дослужился до чина генерал-лейтенанта, в 1801—1820 гг. был директором Первого кадетского корпуса, в 1803—1819 гг. сверх того—главноначальствующим Пажеского корпуса, а в 1803—1817 гг. был еще и попечителем Дерптского учебного округа, будучи назначен на этот пост по желанию самого Александра I, признавшего его за «человека открытого, энергичного» [12]. Но дальше, хваля своего земляка за то, что он «умел удержаться» в этих должностях, Гете ошибся. В 1817 г. Клингер был уволен из попечителей, по мнению Карамзина, за то, что был признан «вольномыслящим» в религии [13], а вернее за то, что Янус неудачно повернулся к правительствующим ханжам не той своей стороной, какой надо: не выбритой генеральской ланитой, а щекой вольнодумца «бури и натиска». И как раз в год приезда Кюхельбекера в Веймар Клингер вышел в чистую отставку. Он «пользовался милостями своих высочайших покровителей,—продолжает Гете,—но никогда при этом не забывал своих старых друзей».

Тут Гете был прав: петербургский гость и передавал ему привет не забывающего друга.

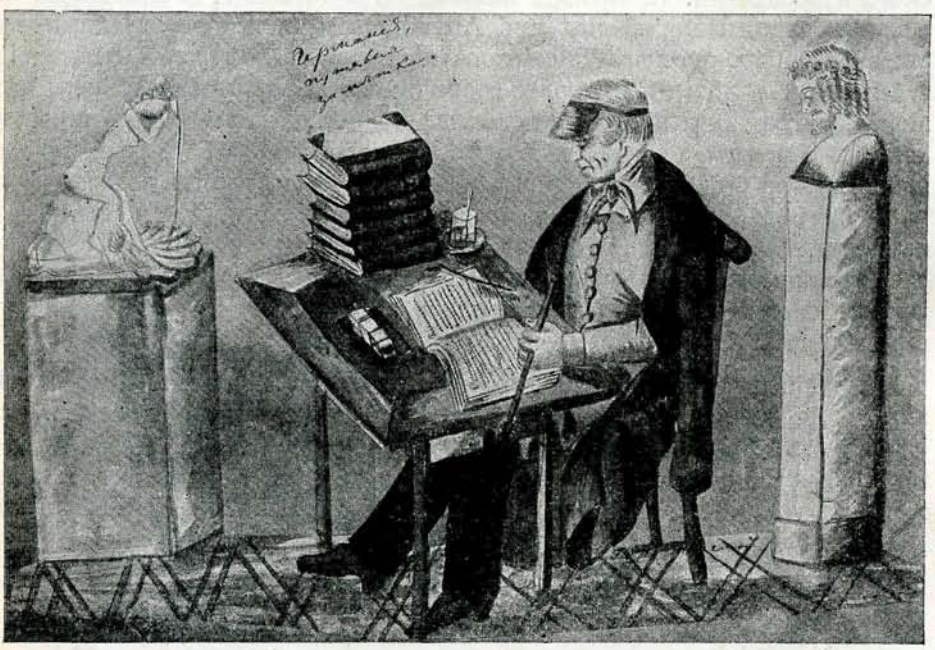
Еслиб Кюхельбекер виделся с Гете года на четыре позже, он вероятно не с такою охотою передавал бы Гете этот поклон. Он мог бы тогда, со слов Рылеева (которого не знал еще в 1820 г.), воспитанника Клингера по корпусу, рассказать Гете, как часто и беспощадно пороли там мальчиков по приказу автора «Жизни Фауста»: именно Клингер, у которого, по словам Гете, «Эмиль» Руссо был главною и основною книгою» [14], ввел в корпусе особенно жестокие телесные наказания. Мог бы тогда Кюхельбекер передать Гете и другой рассказ про Клингера, другого будущего декабриста, бар. А. Е. Розена: «Глубокомысленный ученый писатель, скептик, знаменитый классический писатель Германии», Клингер был «плохой директор: угрюмый в обращении, скупой на слова, медленный в походе, почему прозвали его «белым медведем». Дежурным по корпусу приходилось рапортовать ему до пробития вечерней зори. Строго было приказано входить к нему без доклада, осторожно, без шуму, отпирать и запирать за собою двери, коих было до полдюжины до его кабинета. Всякий раз заставал его с трубкой с длинным чубуком, в белом халате с колпаком, полулежачего в вольтеровских креслах, с закинутым пюпитром и с пером в руке. Может статься, он сочинял тогда своих «Братьев-близнецов», приписывавшихся одно время гениальному Гете. Бывало, медленно повернет голову и продолжает писать» [15].

Не был знаком еще в 1820 г. Кюхельбекер и с третьим воспитанником Клингера—Фаддеем Булгариным, а передать рассказ этого воспитанника было бы еще поучительнее, чем рассказы будущих декабристов: «Ни одна душа в корпусе не видела его улыбки. Он был строг в наказаниях и не прощал никогда. Он только тогда обращался с вопросом к кадетам, когда хотел узнать, наказаны ли они по его требованию.—Вам розги дали?—спрашивал он обыкновенно.—Дали,—отвечал кадет.—Вам крепко дали?—Крепко.—Хорошо! Этим оканчивалась беседа... Клингер, будучи попечителем Дерптского учебного округа и членом комиссии училищ при министерстве народного просвещения, сам предложил, чтобы сочинения его были запрещены в России... По собственным его словам, он жил т е л о м в России, а д у ш о ю в Германии... Говоря о человечестве, он отделял от него русских, и я сам слышал, как он однажды сказал: «die Menschen und die Russen» [16]. Для «людей» (für die Menschen)—романы и трагедии «бури и натиска», для «русских» (für die Russen)—розги аракчеевского засола. Еслиб романтические очки не мешали Кюхельбекеру знать все это про Клингера еще в 1820 г., какой богатый реальный комментарий мог бы он представить тогда Гете в ответ на его хвалы таланту, твердости характера и жизненным успехам Клингера, на хвалы, которые, нет сомнения, слышал тогда Кюхельбекер от Гете в ответ на переданный поклон!

Второй, о ком шла тогда беседа, был наш известный медальер и скульптор, впоследствии вице-президент Академии Художеств, гр. Федор Петрович Толстой (1783—1873), человек совсем иного склада, чем Клингер.

Он удостоился даже попасть в «Алфавит декабристов». Вот что читаем там о нем: «По показанию Пестеля и других, Толстой был членом и председателем Коренной думы и находился на совещании оной в 1820 г., где держал сторону республиканского правления. При допросе об оном в комиссии отвечал отрицательно, говоря, что он принадлежал к благотворительному обществу и об означенном собрании ничего не знает. Со времени же уничтожения Союза, он не принадлежал к тайным обществам».

Гете был большой любитель медальерного искусства (как и вообще пластики) и тщательно собирал коллекцию медалей. 4 февраля 1804 г. он писал В. Ф. Вольцогену: «Моя коллекция бронзовых и медных медалей, начиная с половины XV в., очень разрослась, так что простирается до 1000 экземпляров. В России, начиная с Петра Великого, а может быть и раньше, очень любили увековечивать события посредством медалей... Вы доставите мне особенное удовольствие, если добудете мне некоторые медали работы выдающихся петербургских мастеров. Если не ошибаюсь, там существует нечто в роде Академии медальеров» [17]. Гете не совсем ошибался: «Академии медальеров» в Петербурге не было, но при Академии Художеств был медальерный класс, а в нем как раз в это самое время



Ф. П. ТОЛСТОЙ, ПИШУЩИЙ СВОИ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Акварель М. Ф. Каменской (дочери Ф. П. Толстого)
Собрание И. И. Рыбакова, Ленинград

был учеником мичман гр. Ф. Толстой. Уже в 1806 г. он обратил внимание знатоков своими работами. Барельефы на темы из «Одиссеи» прославили его. В 1809 г. граф-мичман, к ужасу аристократических родственников, определился медальером в Монетный департамент.

В 1818 г. Гете познакомился с работами Ф. П. Толстого. Он обнаружил к ним яркий, сильный интерес.

6 января этого года Гете записал в дневнике: «Русский гвардии-лейтенант фон Рейтер (von Reuter), показывавший художественную работу графа Толстого» (Kunstwerk des Grafen Tolstoi) [18]. Эта «художественная работа» русского скульптора так увлекла Гете своим эллинистическим духом и тонким изяществом исполнения, что Гете пожелал ее иметь у себя, и 18 мая не удержался от просьбы к Уварову: «Я видел,—писал он своему «другу»,—в гипсовом отливе художественную работу графа Ф. Толстого наподобие медали; она привела меня в восхищение. Если бы

Вы могли прислать мне что-нибудь из работ этого замечательного человека, а также сообщить сведения о его жизни и художественной деятельности, Вы бы меня много этим обязали» [19]. «Друг» Уваров, со своим лжеэллинизмом совершенно равнодушный к подлинному мастерству Ф. Толстого, еле-еле собрался 29 августа послать Гете один из гипсовых медальонов Толстого, «касающихся событий последней войны», а на пытливые вопросы Гете о самом художнике отвечал буквально одной фразой: «Граф Толстой—молодой человек из хорошей фамилии, но от обедневшей ее ветви, и живет исключительно для искусства» [20]. Гете был рад и этому. Он придавал большое значение работе Толстого, грезившего и мечтавшего в том же античном мире, который стал навсегда дорог Гете после итальянского путешествия. 12 октября пометил он в дневнике: «Рецензия на барельеф Толстого для «Kunst und Alterthum» [21], и вскоре эта хвалебная статья о работе русского скульптора появилась в журнале Гете (том II, ч. 1-я, стр. 177—181). О ней долго спорили: кто ее автор—Гете или его друг Мейер, художник и историк искусства? Вопрос решается теперь в пользу авторства Мейера, но участие в этом авторстве самого Гете также несомненно: Мейер был рупором его высокого мнения о Толстом. Подводя итог 1818 г., Гете писал: «Барельефы Толстого, из которых я знал лишь немногие, были присланы мне благожелательным художником чрез посредство проезжавшего курьера» [22]. Но жажда Гете все еще не была утолена. О том, как счастлив был этой жаждой сам русский художник, говорит его письмо к Гете, впервые здесь печатаемое:

Von meinem Freunde dem Baron Reuter erfahre ich, dass Ew. Excellenz einige meiner kleinen Arbeiten für nicht ganz werthlos halten. Das Urtheil des Ersten Kenners in Europa kann nicht anders als höchst wichtig für mich sein, und ich nehme mir die Freiheit Ihnen hiebei einige meine Abdrücke vorzulegen, und Sie gehorsamst um Ihre belehrende Kritik zu bitten.

Mit unbeschränkter Hochachtung habe ich die Ehre zu sein.

Ew. Excellenz
ganz ergebener Diener
Graf Theodor Tolstoi

d. 27 Dez. 1819.

(От моего друга, барона Рейтера, узнаю я, что Ваше превосходительство считаете некоторые из моих небольших работ за не совсем ничтожные. Суждение первого знатока в Европе не может не быть для меня в высокой степени важным, и я беру на себя смелость представить при сем некоторые мои отливки, и покорнейше просить Вашей наставляющей критики.

С беспредельным высокопочитанием имею честь быть

Вашего превосходительства
покорнейший слуга
граф Федор Толстой.

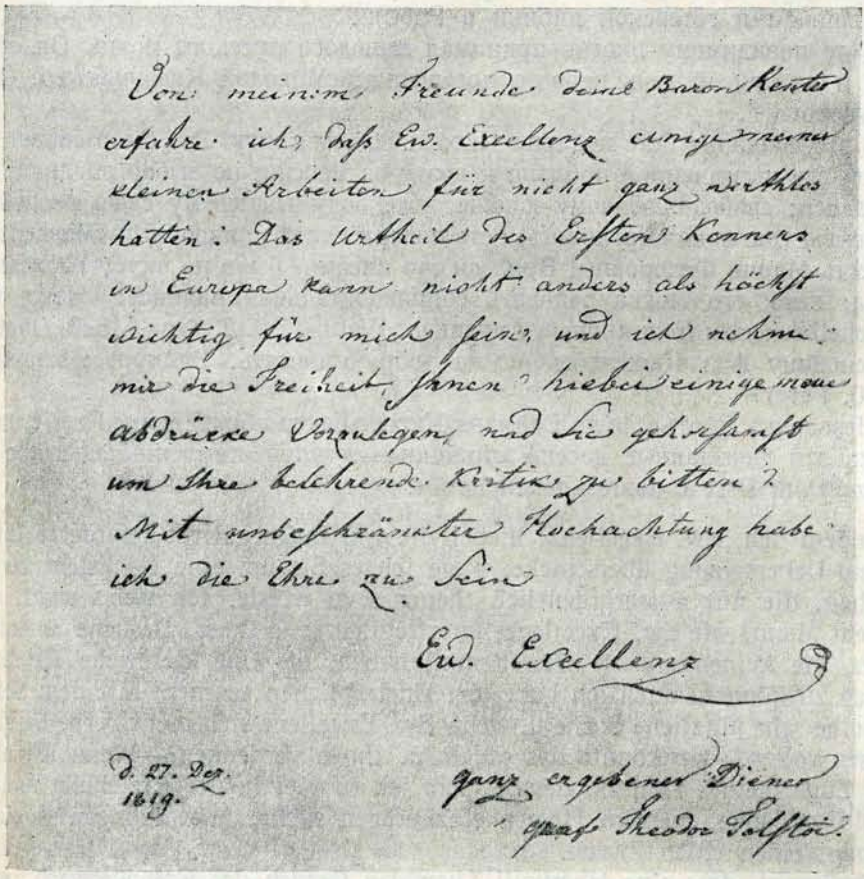
27 декабря 1819) [23]

Это письмо вручил Гете упомянутый в нем барон Рейтер. Повысив его в титуле и прибавив к его фамилии «н», Гете отметил его посещение 10 февраля 1820 г.: «Граф Рейтерн, прибывший из Петербурга и привезший с собою некоторые барельефы графа Толстого» [24].

В годовом «итоге» Гете с полным удовлетворением запечатлел: «В качестве образцов современной пластики я получил полное собрание

(vollständige Sammlung) медальонов, которые гр. Толстой вырезал на меди в память великой освободительной войны. Насколько эта работа достойна высоких похвал, было подробно разобрано веймарскими любителями художеств в «Kunst und Alterthum» [25]. Гете имел в виду статью «Медальоны гр. Ф. Толстого» (Band II, Heft III, S. 187—190), подписанную буквами W[eimarer] K[unst-] F[reunde].

Эта вторая веймарская статья давала высокую оценку творчеству Толстого, но самой лучшей оценкой его работы был тот исключительный интерес, который был проявлен к ней Гете; великий мастер формы, ценитель



Автограф письма Ф. П. Толстого к Гете от 27 декабря 1819 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

античной пластики, поняв и полюбив искусство русского эллиниста-медальера, тем самым высоко его оценил.

Дочь Ф. П. Толстого Е. Ф. Юнге передает, как отец ей «рассказывал, что, когда он послал Гете свои барельефы из Одиссеи, поэт между прочим заметил: «У графа Толстого должны быть очень маленькие руки и ноги; я это заключаю из того, что они очень малы у всех его фигур» [26].

Посещение Кюхельбекера было как раз в 1820 г., когда Гете стал обладателем большой коллекции работ Ф. Толстого, и потому разговор о нем должен был быть особенно жив; называя нашего художника «великим», Кюхельбекер вероятно передавал подлинный отзыв Гете, согласный с при-

веденными выше его откликами на творчество русского скульптора. Также вероятно, что Гете показывал Кюхельбекеру работы Толстого; он всегда это делал, когда речь шла о его любимых художниках; великому пластику мало было говорить, ему надо было еще видеть и заставлять других смотреть.

Наиболее близка Кюхельбекеру была конечно беседа с Гете о Жуковском. Он лучше, чем кто-либо, мог ввести Гете в поэтическое дело Жуковского—насаждение в русской поэзии германизма, прежде всего веймарского, шиллеро-гетевского. Считавший себя тогда учеником и последователем Жуковского, Кюхельбекер знакомил Гете с его переводами, этими первоцветами гетевской лирики в России.

Гете повидимому охотно принимал молодого русского поэта. Он отметил и на другой день первого посещения: «Молодой Кюхельбекер. Обед вчетвером» [27].

В это свидание Гете подарил Кюхельбекеру книгу. Это было свидетельством его несомненной приязни к поэту из России, но выбор подарка был неудачен: свободолюбивому юноше, уже обдумывавшему свою республиканскую трагедию «Аргивяне», Гете подарил свой придворный «Maskenzug» в честь Марии Федоровны! Вряд ли это писание было по вкусу Кюхельбекера; зато его могла радовать сопроводительная надпись: «Herrn von Küchelbecker zu freundlichem Andenken. Weimar, d. 23 Nov. 1820. Goethe» (Господину фон Кюхельбекеру на добрую память. Веймар. 23 ноября 1820. Гете) [28].

Незадолго до отъезда из Веймара Кюхельбекер обратился к Гете с письмом: эти неизданные доселе страницы—лучший памятник веймарских отношений Гете с поэтом-декабристом:

Indem ich, Ew. Excellenz, hiebei die von Ihnen gütigst geforderte Interlineal-Uebersetzung überschicke, wage ich es Sie um eine Nachsicht zu ersuchen, die mir ausserordentlich theuer seyn würde. Ich weiss wohl, wie einem Mann, wie Ew. Excellenz, unerträglich seyn muss, Besuche anzunehmen, die keinen andern Beweggrund haben, als eine kleinliche Eitelkeit sagen zu können: auch ich habe den Unsterblichen gesehen! Mit dem Sehen ist eine sehr nützliche Sache u. wenn Ew. Excellenz sich nicht gerne besehen lassen wollen,—wer könnte das tadeln u. Ihnen verdenken?—Wenn ich aber die Züge meines Lehrers, dessen, dem ich so viel in der Erziehung meiner Seele verdänke, meinem Herzen einzuprägen suche, habe ich gewiss einen reinen, einen edlen Zweck.

Sadi sagt, dass eine Handvoll Thon den Geruch der Rosen erwarb, weil sie eine Nachbarin der Rosen gewesen war.

Meine Bitte: dürfte ich Sie vor meiner Abreise, noch mit e i n e m Besuche beschweren?—

Ihr, Sie gewiss fühlender Bewunderer,
von Küchelbecker.

(Ваше превосходительство, пересылая при сем благосклонно потребованный Вами дословный перевод, я отваживаюсь просить Вас о снисхождении, которое было бы мне чрезвычайно дорого. Я хорошо знаю, как несносно должно быть такому человеку, как Ваше превосходительство, принимать посещения тех, у кого нет других побудительных причин, кроме маленького тщеславия—иметь право сказать: «и я также видел бессмертного». Еслиб Ваше превосходительство не весьма охотно изволили раз-

решить свидеться с Вами и тому, кому свидание это было бы очень полезно,— кто мог бы порицать это и осудить Вас? Но если я ищу запечатлеть в моем сердце черты моего учителя, того, кому я столь многим обязан в воспитании моей души, то у меня, без сомнения,—чистая, благородная цель.

Сади говорит, что горсть глины приобрела благоухание роз оттого, что была соседкой роз.

Моя просьба: смею ли я перед моим отъездом обременить Вас еще одним посещением?

Ваш верно чувствующий Вас почитатель
фон Кюхельбекер).

На обороте письма Кюхельбекер сделал для Гете дословный перевод переведенного Жуковским (1816) знаменитого «Арфиста» («Harfenspieler»), извлеченного из «Годов учения Вильгельма Мейстера»:

Wer Tränen auf Brod sein nicht (hat fallen lassen*)
Кто слез на хлеб свой не ронял,
Wer bei Bett, wie bei Grabe
Кто близ одра, как близ могилы,
In Nacht schlaflos nicht geschluchzt hat,
В ночи, бессонный, не рыдал:
Der euch nicht kennt, höhere Mächte!
Тот вас не знает, вышние Силы!

* * *

Auf (ins) Leben wir geworfen von Euch!
На жизнь мы брошены от вас!
Und ihr selbst, zulassend **) bekannt werden uns mit Schuld
И вы ж, дав знаться нам с виною,
Dem Schmerze übergebt uns,
Страданью выдаете нас,
Schuld verfolgt mit Strafe!
Вину преследуете мздою!

*) im Russischen ein Wort.

**) eher möchte: дав, wohl noch—nachdem ihr zugelassen habt, heissen.

[*) по-русски одно слово.

**) «дав» скорее могло бы еще значить: «когда вы приказали»][29].

Воспроизведенное здесь письмо Кюхельбекера носит на первой странице вверху помету чьей-то рукой: слева—«I», справа—«v. Küchelbecker». Продолжением этого письма является, нужно думать, другой листок, сохранившийся в Гете-Шиллеровском архиве и также доныне остававшийся неизвестным. На нем помета тою же рукою: «II». На двух внутренних страницах (левая была плохо посыпана песком и оттого чернила отпечатались на правой страничке) почтового листа написано следующее:

Das Versmaass ist elegisch.—[Размер стихов элегический].

An Prometheus.

К Промефею.

O Prometheus, unter Sängern des Landes von Tuiskon! Erschaffer
O Промефей меж певцов земли Туискона! Создатель
Leichter mächtiger Geister, in denen unsterbliches Leben!

Легких, могущих духов, в коих бессмертная жизнь!
Du ihnen erzähltest alle Saiten der Herzen, erzähltest das Weltall.
Ты им поведал все струны сердец, поведал вселенну.
Ich sehe: sie aus deiner ewigblühenden Seele
Вижу: они из твоей вечноцветущей души
Im Schwarme auffliegen und plötzlich im heiligen triumphierenden Chor
Роем взвились и вдруг священным торжественным хором
Alle umringen mich. Starker, Göttlicher, du,
Все окружили меня. Сильный, божественный—ты,
Dein Pyritheus, dein Schiller und Herder, der Weise, der Sänger,
Твой Пирифой, твой Шиллер и Гердер, мудрец, песнопевец,
Mit Zauberfüssen Lyra Seele meine ihr entbrantet.
Чарами сладостных лир душу мою вы зажгли.
Der liederliebende Stamm der Slaven wird hören mit Liebe
Песнолюбивое племя славян услышит с любовью
Die Harfe, welche du in klar-heiligen Stunden
Арфу, которую ты—в светло-святые часы
Du mir gabst und ich durch dich werde unsterblich.
Ты мне вручил, и я—*тобою* буду бессмертен.
O, nehme an dann, Prometheus, alles mein Bestes zur Gabe
О прийми ж, Промефей, все мое лучшее в дар
Nicht Bewunderung blos, sondern Liebe und Töne einfache
Не удивленье одно—но любовь и звуки простые
Furchtsamer noch, aber durch dich kühn gestimmter Saiten!
Робких еще, но тобой смело настроенных струн!

Кюхельбекер.

Hiebei die Adresse des Dresdner Uebersetzer, von dem ich Ew. Excellenz die Ehre hatte zu erwähnen.

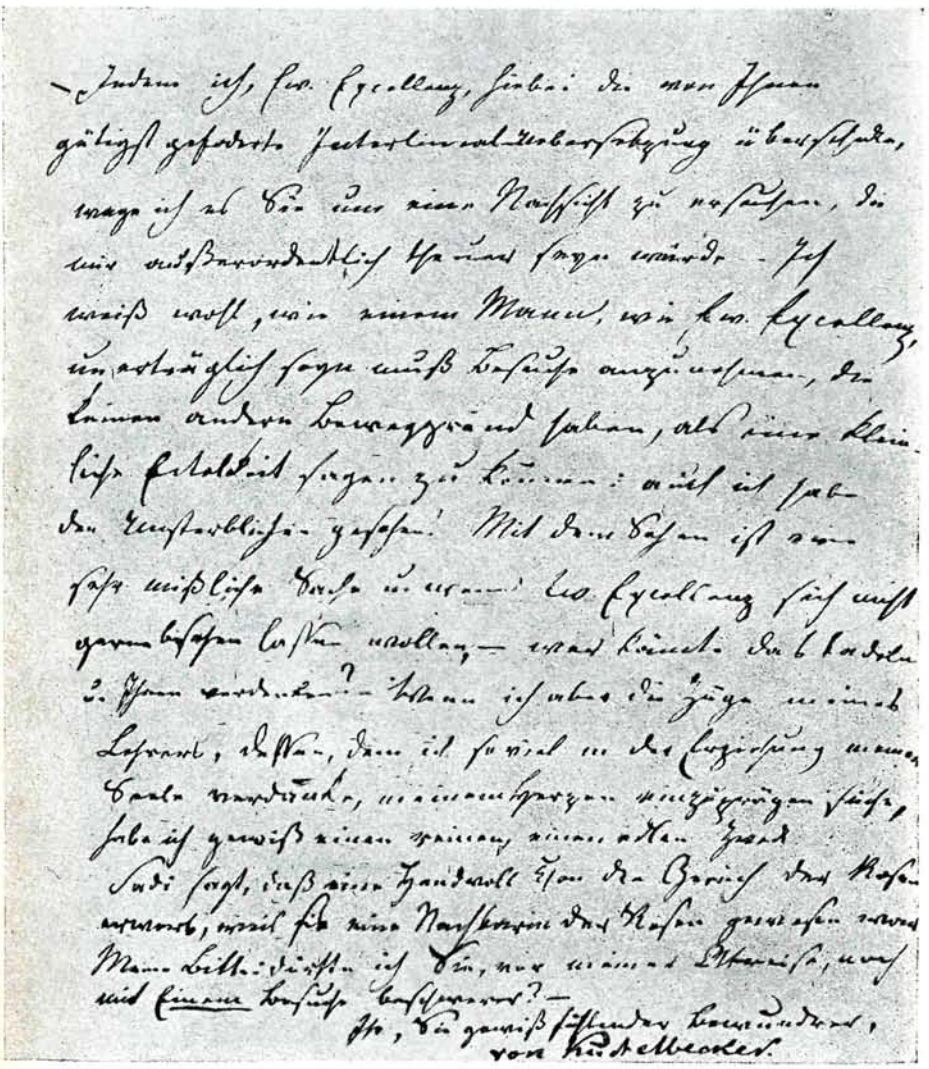
Küchelbecker.

[При сем адрес того из дрезденских переводчиков, о котором я имел честь упоминать Вашему превосходительству] [30].

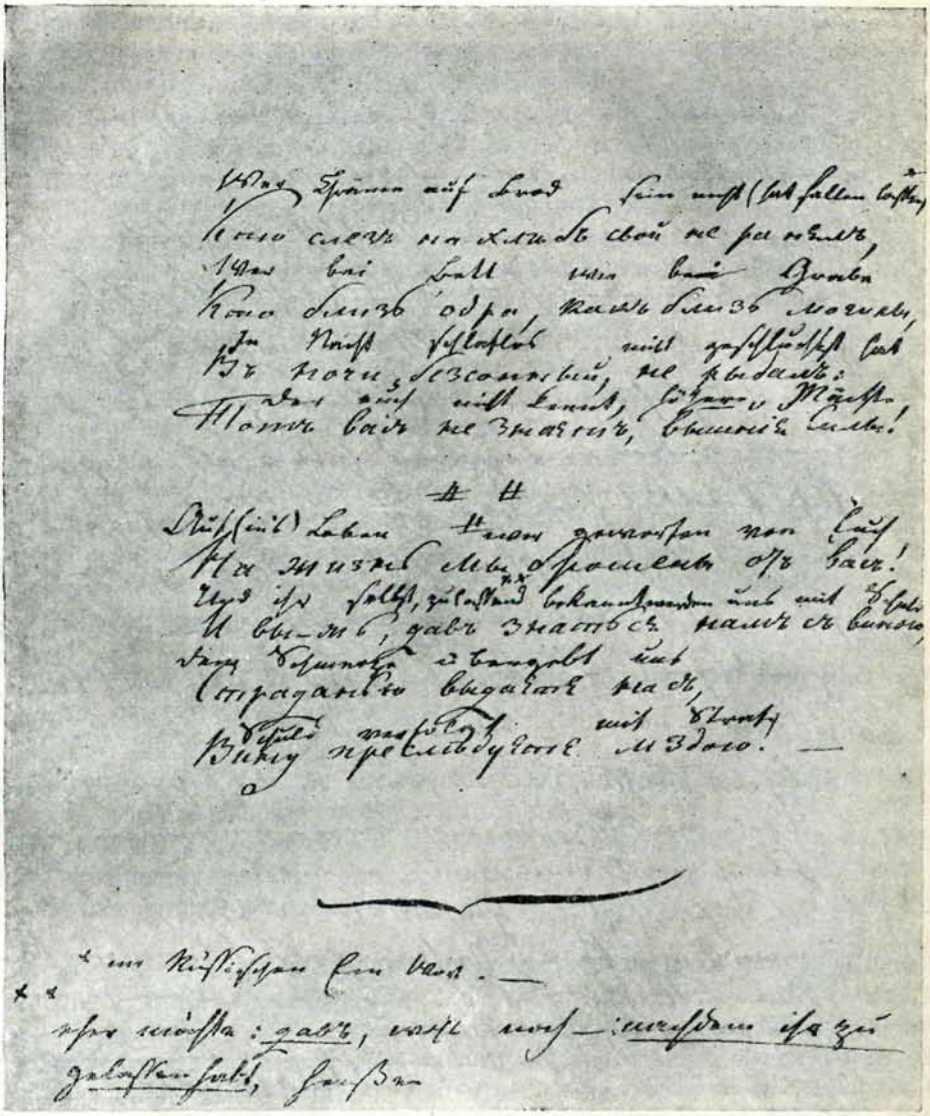
Во всей литературе русского гетеанства нет более страстного и пламенного изъявления любви и приверженности к великому немецкому поэту, чем этот эллинизированный дифирамб Кюхельбекера в честь Прометея-Гете.

С внешней стороны это—памятник властительного влияния поэтики и символики Гете. Кюхельбекер с трогательной заботливостью верного ученика спешит особой надпиской предварить Гете, что размер русских стихов, которые предстоит ему прочесть в переводе,—«элегический»: он рад обрадовать своего учителя тем, что перенял от него и сделал опыт пересадки в русскую поэзию его любимого стихотворного размера—элегических дистихов, которыми написаны «Римские элегии», «Эвфросина», «Венецианские эпиграммы». Но не только размер—самая лирическая тема, самая разработка ее в полифонии элегии, самый образ Прометея—все здесь от Гете.

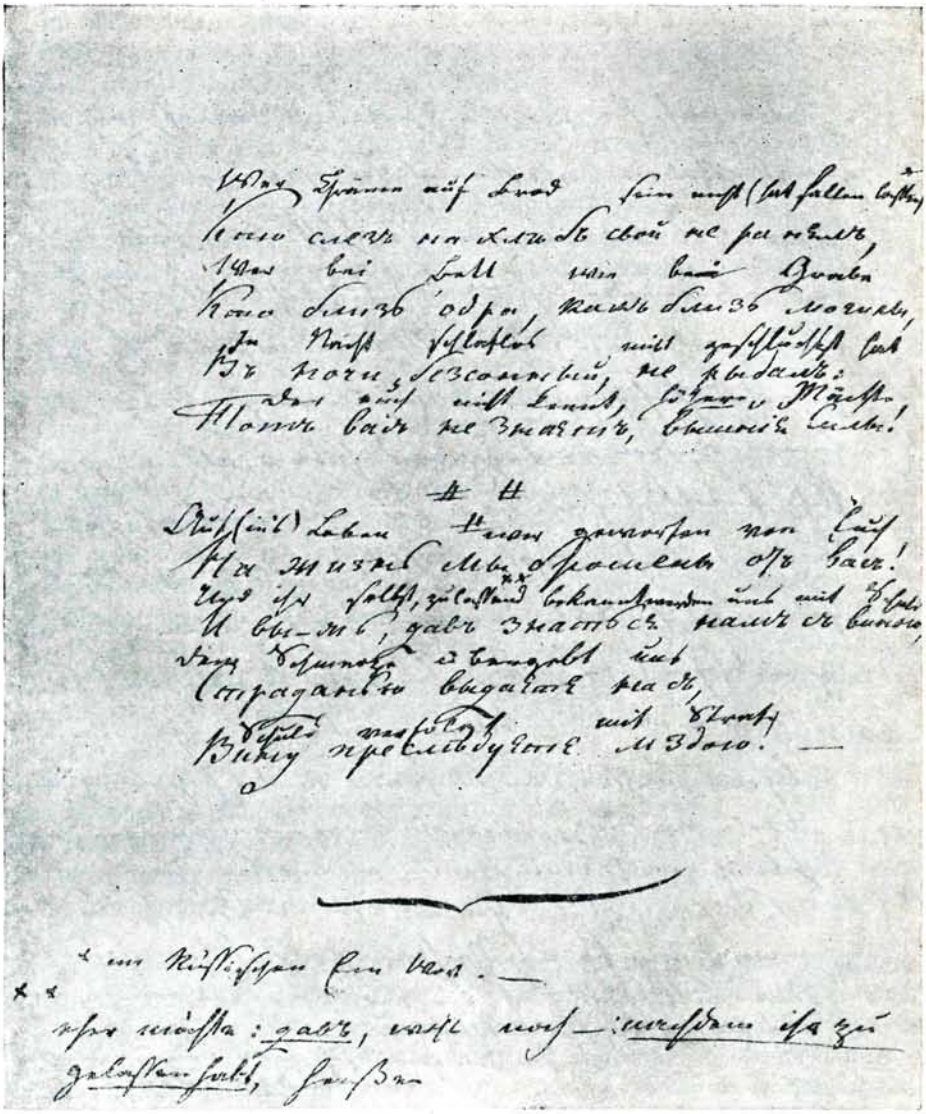
С внутренней стороны—это поэтическое родословное древо Кюхельбекера и вместе с тем—это его «credo». «Credo» звучит решительно и торжественно: Гете—полубог, Прометей, среди всех других певцов, и ему усвояются все черты божества: у него—«вечноцветущая душа», он обладает всеведеньем—ему ведомы «все струны сердец», он может «поведать вселенну», он—«Starker, Göttlicher» («Сильный, Божественный»—с большой



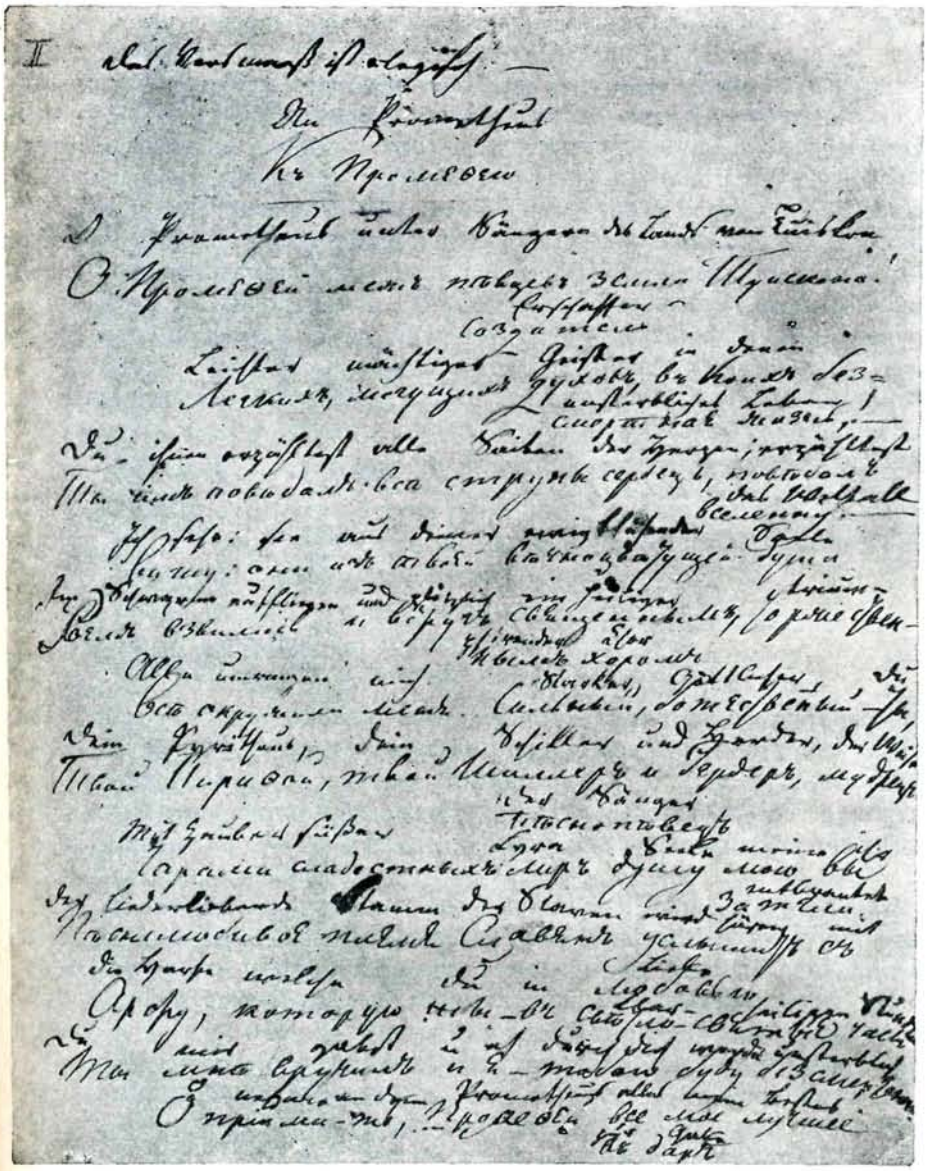
Автограф письма В. К. Кюхельбекера к Гете от конца 1820 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар



Переведенное В. А. Жуковским стихотворение Гете „Арфист" с подстрочным немецким переводом В. К. Кюхельбекера, написанное им на обороте письма к Гете
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар



Переведенное В. А. Жуковским стихотворение Гете „Арфист" с подстрочным немецким переводом В. К. Кюхельбекера, написанное им на обороте письма к Гете
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар



Первая страница автографа стихотворения В. К. Кюхельбекера „К Промефею" с немецким подстрочным переводом

Стихотворение это Кюхельбекер прислал Гете вместе с письмом

Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

буквы). Ему близки, но не равны «Пирифой-Шиллер» и «мудрец-песнопевец»—Гердер. Это все веймарцы, но Виланда нет среди них,—и никого нет из германцев не-веймарских: ни одного романтика. Кюхельбекер явно восстает на обычный, всеми и всюду принятый символ поклонения Гете. Каждым звуком, строкой, заглавием, образом своего дифирамба он провозглашает: нет, Гете—не Юпитер, не олимпиец, не монарх неба, пред которым коснеет и каменеет все небесное и земное, как и он сам коснеет и каменеет в своем холодном олимпийстве,—нет, Гете—божественный мятежник, дерзкий противоборец, враг олимпийцев и друг людей. Он Прометей, своим пламенем зажигающий огни поэзии, освещающий ими вселенную и животворящий сердца. В бесчисленных хвалах, обращенных в прозе и в стихах к Гете-старцу, мы не помним ни одной, где бы осмелился кто-нибудь величать его не как Юпитера, а как Прометея: Гете для всех—от Эккермана до Николая I, от поэта Мальтица до любомудра Шевырева, для всех—олимпиец и Юпитер, лишь для одного декабриста Кюхельбекера он—колебатель Олимпа, Прометей. Поэт-декабрист подчеркивает свое исповедание веры самой формой его: это—благодарственный гимн и вместе с тем посвятительная молитва своему божеству-мятежнику:

«О прийми ж, Прометей, все мое лучшее в дар»...

Свое собственное песнотворчество Кюхельбекер рассматривает как дар—наследие этого Прометея-Гете. Он обязан и прометеидам: Шиллеру, Гердеру, но прямое преемство он признает только от Гете:

Песнолюбивое племя славян услышит с любовью
Арфу, которую ты в светло-святые часы
Ты мне вручил и я—тобою буду бессмертен.

«Ты», еще раз «ты», «тобою»—ученику всего кажется недостаточно для того, чтобы запечатлеть пред учителем эту радость преданнейшего ученичества и благодарящего преемства. Читая эти «ты» и «тобою», не забудем, что это—не риторические обращения через посредство книги, а живая речь письма, повторяющая и закрепляющая еще более живую речь непосредственного личного общения.

Стихи «К Прометею» являются решающими для вопроса о «литературном подданстве» Кюхельбекера начала 20-х годов: он был, как никто из русских поэтов, привержен и предан Гете, но это была преданность не Гете-Юпитеру, а Гете-Прометею. Формулу этого исповедания веры в Гете составил не просто поэт, но поэт-декабрист. В этом ее большое значение и для истории русского гетеанства, и для биографии Кюхельбекера. Редко кто был так искренен и последователен в своей революционности, как Кюхельбекер: революционером он остался и в своем гетеанстве; в 20-х годах он пытается утвердить революционное «прометейство» Гете в отмену общепризнанного «олимпийства», а в 30-х и 40-х годах, не удовлетворенный этой попыткой, подвергает существеннейшей переоценке личность и творчество Гете и выносит ему суровый приговор: Кюхельбекер никогда не принимал «олимпийства» Гете как явления положительного. В этом отношении к нему совершенно близок только один из русских посетителей Гете—гр. А. Г. Строганов—человек декабристских чувств и настроений, и более или менее приближается разночинец из любомудров Н. М. Рожалин.

Возвращаемся к веймарскому письму Кюхельбекера. Гете внял трогательной просьбе русского поэта о последнем свидании, выраженной в этом почти влюбленном письме, и 15/27 ноября появилась новая отметка в днев-

нике Гете: «Молодой г. фон Кюхельбекер показал голову юноши, вырезанную на адуларии» (полевом шпате.—*С. Д.*) [31].

Возможно, что этот показ Кюхельбекером какой-то камеи вызван был продолжением разговора о Ф. Толстом. Для Гете—великого ценителя камей и гемм—характерно, что именно эту деталь последней встречи с Кюхельбекером он занес в свой дневник.

17/29 ноября Кюхельбекер писал матери из Веймара: «В Веймаре я познакомился с великим Гете; он был ко мне очень милостив и, казалось, весьма интересовался русской литературой. Он хорошо помнит папа Брейткопф, расспрашивал о нем с большим участием и подарил мне одно из новейших своих произведений» [32].

У Гете с будущим декабристом нашлись общие знакомые. Это была семья Брейткопф. В Лейпциге, студентом (1765—1768), Гете часто посещал культурный купеческий дом основателей доселе существующей нотоиздательской фирмы. О знакомстве этом Гете рассказывает в «Правде и поэзии»: «Отец Брейткопф изобрел или усовершенствовал печатание нот. Он позволил мне пользоваться прекрасною библиотекою... Равным образом, нашел я там хорошие гравюры на меди, изображавшие разные древности, и продолжал свои занятия и в этой области». Оба сына Брейткопфа были товарищами Гете по Лейпцигскому университету. «Старший был,—по словам Гете,—любитель и знаток музыки. Второй сын—добрая, верная душа, тоже музыкант, не мало содействовал оживлению концертов, которые у них часто устраивались. Оба они, равно как и их родители и сестры, благоволили ко мне. Мы часто занимались вместе; старший сын положил на музыку некоторые из моих песен... Я извлек лучшие из них и поместил их между моими прочими мелкими стихотворениями» [33].

«Второй сын» этой семьи, о котором так тепло отозвался Гете в 1812 т., переселился в Россию и стал мужем влиятельной и важной Анны Ивановны Брейткопф (1747—1823), начальницы петербургского и московского училищ ордена св. Екатерины, близкой к императрице Марии Федоровне. Анна Ивановна состояла в родстве с Кюхельбекерами, была приятельницей Иустины Яковлевны, матери декабриста. «Папа Брейткопф», старый лейпцигский товарищ Гете, преподавал в ее же институте немецкий язык и арифметику. Он умер в начале 30-х годов. С их дочерьми Кюхельбекер был дружен. Одной из них, Эмилии, он посвятил стихотворение (1838—1839), а при вести об ее кончине записал 9 октября 1845 г.: «Еще один ангел возвратился в свою отчизну небесную» [34]. Отметим, что, несмотря на все неудобства и неприятности, которые могло причинять этой чинной монархической семье, бывшей на виду у двора, знакомство с политически-неблагонадежным Кюхельбекером, она не прерывала своих сношений с ним и помогала ему.

Тем приятнее было Кюхельбекеру написать матери, а через нее Брейткопфам (свои письма к матери Кюхельбекер адресовал на имя благонадежнейшей maman Брейткопф), что Гете—великий товарищ «папа Брейткопф»—«помнит его».

У Кюхельбекера мог бы найтись и еще один вероятный общий знакомец с Гете: его собственный отец, Карл Кюхельбекер (1748—1809). Он, почти погодок Гете, учился одновременно с ним в Лейпцигском университете, кончил его агрономом и, подобно «папа Брейткопфу», отправился в Россию и занял место, связанное со двором: сделался управляющим Павловска, имения Павла Петровича и Марии Федоровны.

Посещения Кюхельбекера Гете отнес к заметным и отрадным фактам своей жизни за 1820 год, отметив в «Tag- und Jahreshefte»: «Dr. Кюхельбекер из Петербурга, фон Квандт с супругой, фон Арним и художник Руль своими интереснейшими беседами внесли много разнообразия в наше общество» [35]. Запись очень лестна для будущего декабриста: он попал в ней в избранное общество историка и теоретика искусств Иогана-Готлиба Квандта (1787—1859), известного поэта-романтика, собирателя народных песен Лудвига-Иоахима Арнима (1781—1831) и художника Лудвига-Сигизмунда Руля (1794—1887). Беседа с юношей поэтом поставлена Гете в ряд с разговорами с известными представителями немецкой культуры. Кюхельбекер пришелся по душе Гете.

Из веймарского затишья Кюхельбекер попал в Париж, где прочел лекцию о русской литературе, вызвавшую вмешательство русского посольства и разрыв Кюхельбекера с Нарышкиным. 1 марта 1821 г. он приехал в Ниццу и сделался свидетелем пьемонтской революции (март—апрель 1821 г.). Он отозвался на виденное и пережитое стихотворением «Ницца». В нем сплетены два живых чувства и впечатления: от Прометея-Гете и от народного восстания. Стихотворение напутствуется эпиграфом из Гете: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?»—и первые строфы все пронизаны солнцем итальянского путешествия Гете, огнем его «Римских элегий» и тем томлением по югу, солнцу и воле, которое так часто ощущали и переживали в «Песне Миньоны» не один Кюхельбекер, но и декабрист Н. Тургенев, и его брат. I, III и IV строфы «Ниццы»— это вариации на «Песню Миньоны», «разыгранные перстами» верного ученика.

Лишь в VI строфе от чар поэзии Прометея-Гете, воскрешенных югом, переходит поэт-декабрист к впечатлениям революции. Н. А. Полевой был прав, когда, печатая в 1826 г. в «Московском Телеграфе» стихотворение Кюхельбекера и снимая, из цензурных соображений, заглавие «Ницца», заменил его заглавием «К Гете»: содержание стихотворения дает к этому основания [36].

В 1824 г. Кюхельбекер сделался вместе с кн. В. Ф. Одоевским издателем «Мнемозины» и в первой ее книжке, в ряду других выдержек из путевых писем, поместил свое письмо о посещении Веймара. Во второй книжке напечатал он статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», вызвавшую немалое волнение в литературных кругах. Еще в конце 1822 г. Дельвиг сетовал на своего друга: «Ах, Кюхельбекер! сколько перемен с тобой в 2-3 года»[37], и в числе этих «перемен» была и та, что Кюхельбекер примкнул к «архаистам», искателям литературной новизны в словесной старине: в Библии, в народной поэзии, в поэтах XVIII столетия. «Элегия и послание у нас вытеснили оду,—жаловался Кюхельбекер в своей статье, утверждая, что из русской лирики исчезли «сила, свобода, вдохновение... Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях». Виновник этого пан-элегизма—Жуковский. От преклонения Кюхельбекер перешел теперь к нападению на первого из русских «германистов». «Жуковский первый у нас стал подражать н о в е й ш и м немцам, преимущественно Шиллеру... Будем благодарны Жуковскому, что он освободил нас из-под ига французской словесности и от управления нами по законам Ла-Гарпова Лицея и Боттева Курса [38], но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он

владел и вдесятеро большим перед нами дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества».

В «Обозрении российской словесности 1824 года» сам Кюхельбекер именует себя «германо-россом» [39]. Это—очень точное определение его литературной позиции времен «Мнемозины»: поле своего поэтического германизма он усердно засевает теперь не только русскими, но и «российскими» семенами, черпая их не только из закромов народной поэзии, но и из кошниц Державина и С. Ширинского-Шихматова. Нива архаического славизма должна была покрыть у Кюхельбекера поле былого германизма.

Но означал ли этот поход на Шиллера—Жуковского вместе с тем и поход на Гете? Отнюдь нет. Кюхельбекер нападал на элегию вообще, но готов признать, что она прекрасна, «когда свежестью, игривой пестротою цветов, которыми осыпает предмет свой, на миг приводит в забвение ничтожность его. Последнему требованию менее или более удовлетворяют элегии древних и элегии Гете, названные им Римскими». «Существует ли в сем смысле (в смысле самобытного национального рождения.—*С. Д.*) романтическая поэзия между немцами?» спрашивает строгий критик и отвечает: «Исключая Гете, и то только в немногих его творениях, они всегда и во всяком случае были учениками французов, римлян, англичан». Гете всюду выделен из недугующих современной поэзии: он здоровый среди больных. В конце статьи находим прямой апофеоз ему: «Если уже подражать, не худо знать, кто из иностранных писателей прямо достоин подражания? Между тем наши живые каталоги... обыкновенно ставят на одну доску: словесности греческую и латинскую, английскую и немецкую; великого Гете и недозрелого Шиллера...» Чтоб судить, как велик для Кюхельбекера Гете, надо продолжить чтение его параллелей, обратив внимание на то, к кому приравнивает он Гете и к кому—Шиллера: «исполина между исполинами Гомера и ученика его Виргилия; роскошного, громкого Пиндара—и прозаического стихотворителя Горация; достойного наследника древних трагиков Расина—и Вольтера, который чужд был в истинной поэзии; огромного Шекспира—и однообразного Байрона» [40].

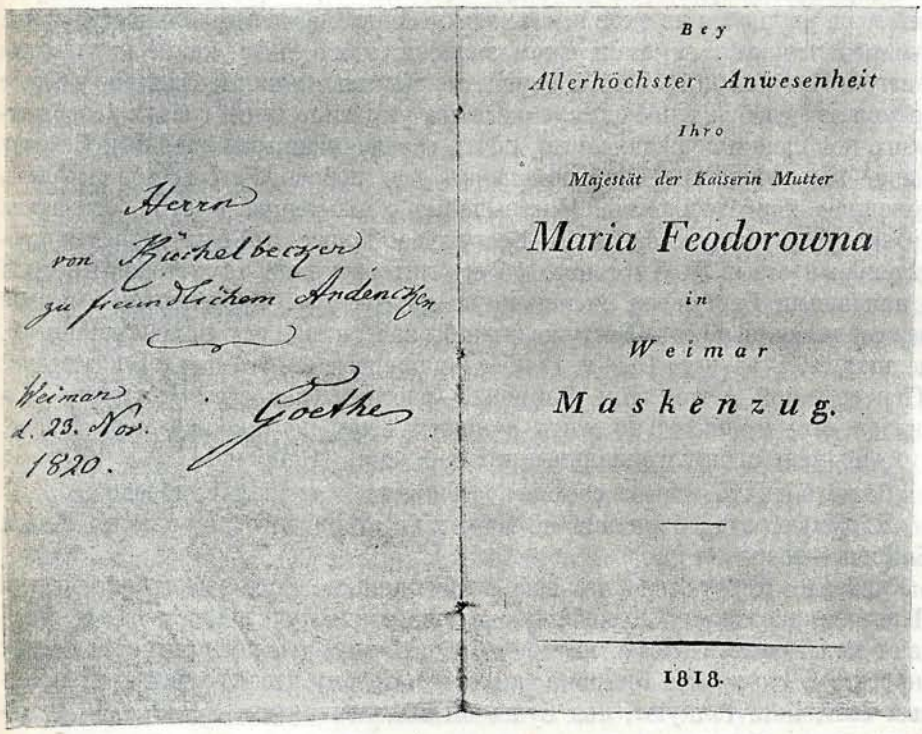
Известно, сколько нападок на Кюхельбекера вызвала эта статья. Больше всего досталось ему за «недозрелого Шиллера». Вяземский приписал этот выпад против Шиллера «упоению пивному, тяжелому», а А. И. Тургенев воскликнул: «Недозрелый Шиллер и классический Шихматов! Первый эпитет принадлежит не Кюхельбекеру, а Тику. C'est à peu près son idée sur Schiller, потому что он гетеанианец. Давно такого враля не бывало. Это Бестужев (младший), побывавший в ученой и многомыслящей Германии, но не понявший ее литераторов» [41].

Своим полемистам Кюхельбекер отвечал в следующей книжке «Мнемозины», в «Разговоре с Ф. В. Булгариным». Ответ превратился в апологию Гете. Апологетические свои аксиомы Кюхельбекер излагает по пунктам: «Гете, во-первых, не имеет шиллеровых предрассудков, ибо, рассуждая с французами и о французах (как то: в своих отметках о французских классиках, в разборе Дидеротова сочинения о живописи, в примечаниях к изданной и переведенной им книге Дидерота—«Племянник Рамо»), не помнит, что он немец, старается познакомиться, настроиться с образом мыслей французов, сих природных своих противников, проникнуть во все причины, заставляющие их думать так, а не иначе.

Во-вторых, он всегда забывает себя, а живет и дышет в одних своих героях. В чем могут убедить каждого его Гец, Тассо, Фауст и даже Вертер.

В-третьих—он всегда знает, чего ищет, к чему стремится.

В-четвертых—дивною легкостью Гете переносится из века в век, из одной части света в другую. В «Фаусте» и «Геце» он ударом волшебного жезла воскрешает XV век, Германию императоров Сигизмунда и Максимильяна; в «Германе и Доротее», в «Вильгельме Мейстере» мы видим наших современников, отцов наших, немцев столетий XIX и XVIII всех возрастов, званий и состояний; в «Римских элегиях», в «Венецианских эпиграммах», в путевых отметках об Италии встречаем попеременно современника тибуллова, товарища Рафаэля и Беневута Челини, умного


Herrn
von Küchelbecker
zu freundlichem Andenken

Weimar
d. 23. Nov.
1820.

Goethe

Bey
Allerhöchster Anwesenheit
Ihro
Majestät der Kaiserin Mutter
Maria Feodorowna
in
Weimar
Maskenzug.

1818.

Дарственная надпись Гете В. К. Кюхельбекеру от 23 ноября 1820 г. на экземпляре издания „Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar Maskenzug"
Публичная Библиотека, Ленинград

немецкого ученого и наблюдателя; в «Ифигении» он грек; древний Тевтон в «Вальпургиевой ночи»; поклонник Брамы и Маоде в «Баядере»; в «Диване», сколько возможно европейцу, никогда не бывавшему в Азии,—персиянин» [42].

Через 16 лет, в «Дневнике поселенца», Кюхельбекер нашел верное имя тому своему отношению к Гете, каким был он преисполнен еще долго после поездки в Веймар: это было «царствование Гете» над ним: впоследствии Кюхельбекер так прочно это осознал, что ему показалось даже, будто он «в 1824 году... заставил пасть с собою всю Россию» перед Гете [43].

Это неверно: поколение Кюхельбекера, и особенно ближайший круг его друзей и сверстников—декабристы—признавали тогда другого поэта «властителем своих дум»—Байрона и отнюдь не желали пасть на колени пред Гете.

Литературные симпатии и сочувствия декабристов из области западноевропейских литератур не подвергались еще систематическому изучению, но и те разрозненные сведения, какими можно располагать, не предпринимая специального изучения, дают право утверждать, что эти симпатии и сочувствия были обращены не к Гете. Отзывы о нем очень редки—в противоположность сравнительно частым отзывам о Байроне. Самый успех Пушкина среди декабристов был основан не только на его политических стихотворных выступлениях, но и на свободолюбивом байронизме его первых поэм. Байронические мотивы присущи поэзии Рылеева («Войнаровский»). В Байроне декабристам виделся певец личности, свергающей или по крайней мере рвущейся из оков всяческого деспотизма, певец вольности,—в том неопределенном, и емком, и узком, значении этого слова, какое вкладывали в него и Пушкин, и Рылеев, и другие декабристы. Участие Байрона в борьбе греков за освобождение от турецкого ига украсило его в глазах декабристского поколения гражданскими, почти революционными лаврами. Байрону было—все сочувствие этого поколения, вся любовь, Гете оставалась лишь холодная почтительность. Чрезвычайно характерны в этом отношении литературные сочувствия А. А. Бестужева. Только что был приведен отрицательный отзыв А. Тургенева об его литературной компетенции в связи с нападками Бестужева на немецкую литературу. Тургенев не в первый раз сердился на то, что Бестужев как бы зачеркивал всю немецкую поэзию, не зная ее. В августе 1824 г. Грибоедов впервые встретился с Бестужевым. «Передо мной лежал том Байрона,—рассказывает сам Бестужев,—и я сказал, что утешительно жить в нашем веке, по крайней мере потому, что он умеет ценить гениальные произведения (Байрона)».

«Даже оценять многое свыше достоинства», сказал Грибоедов.

«Я думаю, это обвинение не может касаться авторов, каковы Гете и Байрон,—возразил я».

Грибоедов ответил на это едкой критикой и гетеанцев, и байронистов. Первые «превозносят до небес каждую поэтическую шалость» Гете, «придают каждому его слову, наудачу брошенному, тысячу противоположных значений». Но участь Байрона еще хуже, потому что «его читает весь модный свет, Гете толкуют, как будто он был непонятен, а Байроном восхищаются, не понимая его».

«Этому виной,—ответил Бестужев,—различные способы их выражения. Гете облек мысли чувствами, между тем как Байрон расцветил чувства мыслями. Не всякий дерзнет хвалиться своим умом; но всякий рад сказать, что у него есть сердце, и, замечая, что Гете терзает более его ум, а Байрон чувство, полагает, что легче разгадать последнее, чем первое, хотя и то и другое трудно». В рассуждении Бестужева, при видимом уравнении Гете с Байроном, все-таки чувствуется, что он—на стороне последнего, и Грибоедов решительно возразил против этого: «Вы назвали их обоих великими, и это справедливо; но между ними все превосходство в величии должно отдать Гете: он объясняет своею идеею все человечество; Байрон со всем разнообразием мыслей—только человека». Бестужев попытался спасти первенство Байрона или по крайней мере его равновеликость с Гете указанием на Шекспира: «надеюсь, вы не сделаете этого укора Шекспиру. Каждая пьеса его сохраняет единство какой-нибудь великой мысли, важной для истории страстей человеческих», и т. д. Грибоедов, указав что Шекспир выше Гете, прекратил спор [44]. В споре совершенно ясно, что Бестужев—весь с Байроном, Грибоедов—на стороне Гете (он готовил в это время свой

перевод «Пролога в театре» из «Фауста» для «Полярной Звезды» 1825 г.). Но в это время Бестужев—и тут А. Тургенев был прав—почти и не знал ни Гете, ни других немецких поэтов. Он принялся за чтение их лишь в ссылке, в Якутске. 8 декабря 1828 г. он писал братьям: «Я теперь плотно принялся за германизм, на-днях кончил «Валленштейна» и теперь ломаю голову над «Фаустом». При этом «ломающий голову» не упускает случая покритиковать Гете: «Напрасно, однако ж, мне кажется, или по крайней мере излишне поместил Гете в «Фаусте» некоторые сцены, напр. сцену в погребе с пьяными. Чудеса для Фауста были бы не значащи, а для пьяных смысл его насмешки потерян; цель автора в отношении к читателю не минована, но в отношении к Фаусту это вставка. Или не хотел ли он выставить ему ничтожность земных увеселений?» К этому же времени относятся четыре перевода Бестужева из Гете [45]. Интерес к Гете креп в Бестужеве, и с Кавказа, в 1831 г., он «сестрицу Елену просил о немецких книгах о Гете: очень он желал иметь их» [46].

Таким образом настоящий интерес, а может быть и настоящая любовь к Гете пришли к самому яркому из декабристов-прозаиков уже после декабря 1825 г. В 1824—1825 гг. Бестужев знал и любил только Байрона. Упоминания о чтении Гете редки в письмах и записках декабристов. Какой-то слабый намек на приверженность к Гете находится в письме А. И. Одоевского к отцу (3 октября 1835 г.). Он рассматривал некий портрет Шекспира и сетует: он «не похож на прекрасную гравюру Шекспира, которую я видел у покойного Иоганна Мюллера—одно из моих старых знакомств по Петербургу (известный профессор контрапункта.—*С. Д.*),—гравюру, которую дал ему его друг Гете и которую он завещал мне, или по крайней мере обещал завещать мне после своей смерти» [47]. Декабрист бар. А. Е. Розен в 1832 г. плыл по Байкалу, отправляясь с Петровского завода на поселение: «На третий день поднялась буря. Нас качало и днем и ночью; глаза мои раскраснелись; только отрывками читал я «Goethes Genius»; эта книжка была в моем кармане» [48]. Вероятно можно при специальном обследовании умножить подобные свидетельства о встрече декабристов с Гете в книге, но наперед можно сказать, что их будет немного и они не перевесят свидетельств об умственных их встречах с Пушкиным и Байроном. Пример Николая Тургенева, отличного знатока Гете, не характерен: его любовь к Гете—следование наследственной традиции молодого тургеневского кружка. Не характерны и приведенные примеры: А. Одоевский развивался и читал под прямым влиянием Грибоедова, предпочитавшего Гете Байрону, бар. Розен был вскормленник немецкой культуры остзейского дворянства, видевшего в Гете своего национального поэта. Кюхельбекер одинок среди декабристов в своем гетеанстве. Но и в него должно внести отграничения, и их лучше всего сделать по книжкам «Мнемозины»: чем ближе их выход к декабрю 1825 г., тем ближе Кюхельбекер к Байрону. Во второй книге «Мнемозины» (М., 1824) он просто обозвал Байрона «однообразным». В третьей книге (М., 1824, вторая половина) он повторил это определение, но не только дал Байрону в соседство великих поэтов (Байрон рядом с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным, которого Кюхельбекер признавал за великого поэта, сопоставляя даже с Гомером, Шиллером), но и «прибавил»: Байрон «с Тиртеем, Фемистоклом и Леонидом перейдет без сомнения в дальнейшее потомство» [49]. Байрон прославлен здесь как герой гражданской и национальной свободы, увенчан двойным венцом. Байрон умер в апреле 1824 г., и Кюхельбекер с горячностью

отозвался на его смерть поминальным «песнопением» «Смерть Байрона», дважды напечатав его в течение года: и в «Мнемозине», и отдельной книжкой.

Все это показывает, что на пороге декабря 1825 г. и сам Кюхельбекер вставал «с колен», на которые опустился в 1820 г. перед Гете.

Между посещением Кюхельбекера и восстанием 14 декабря Гете довелось встретиться еще с одним будущим декабристом.

21 мая 1823 г. он отметил в дневнике: «Граф Владимир Мусин-Пушкин» [50].

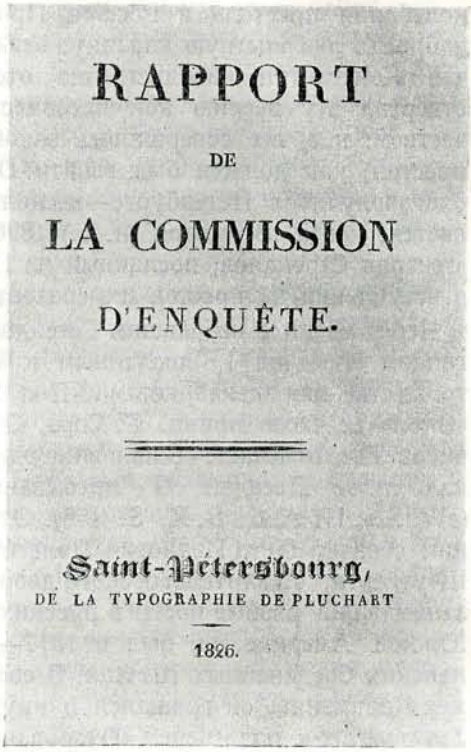
Это был гр. Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин (1798—1854), сын известного археографа, издателя «Слова о полку Игореве». По «алфавиту декабристов», этот блестящий измайловский офицер, адъютант главнокомандующего 1-й армиею гр. Остен-Сакена, «членом Северного общества был с 1825 г. и знал цель общества—введение конституции. От Нарышкина имел он с Титовым поручение завести управу, но, не знав правил насчет приема и выбора людей, оставил сие до времени». За эту причастность к «Северному обществу» Мусин-Пушкин расплатился сравнительно легко: просидев несколько месяцев в Петропавловской крепости под следствием, он отбыл еще месяц крепостного заключения по приговору, а затем переведен был в Петровский пехотный полк (7/VII 1826), а в начале 1829 г.—на Кавказ, в Тифлисский пехотный полк. Пушкину довелось с ним переваливать через Кавказ в 1829 г. В конце этого года Мусин-Пушкин получил отпуск в Москву—первое предзнаменование конца наказания, а 7 ноября 1831 г. был уволен от обязательной военной службы, но под условием жить в Москве и без права выезда за границу. В 1834 г. он был освобожден и от этих ограничений. Он был в приятельских отношениях с кругом писателей (Вяземский, Пушкин, салон Карамзиных) и художников (К. Брюллов) [51].

К Гете Мусин-Пушкин попал так, как попали к нему гр. В. П. Орлов-Давыдов, В. Н. Панин и многие другие молодые аристократы: поехать в Европу и не побывать в Веймаре у Гете считалось уже признаком не совсем хорошего тона.

Кроме двух будущих декабристов Гете успел узнать до 1825 г. и главных действующих лиц справа: он знал и Николая I, и Константина Павловича, и Михаила Павловича, и Бенкендорфа. 19 февраля 1817 г. канцлер Мюллер отметил у себя, что был с «генералом Бенкендорфом у Гете». Поставил Мюллер и две вехи разговора, происходившего тогда у Гете с генералом: «Иркутск в Сибири. Неаполь» [52]. Одна из этих вех—первая—часто служила потом в России при разговорах с Бенкендорфом и о Бенкендорфе.

Александр I скончался 1 декабря (н. с.) 1825 г., через две недели слух об этом дошел до Веймара. 14 декабря (н. с.) Гете внес его в дневник: «Вечером надворный советник Мейер. Сообщает слух о смерти императора Александра». На другой день он записал: «Распространяется известие о смерти императора Александра. Днем—молодые герцоги. От наследной великой герцогини несчастие еще скрыто». В этот же день Гете получил письменное извещение от Карла-Августа, что известие точно: Александр умер. Гете со строгою тщательностью отмечает все новые и новые известия о том же. Он делится ими и обсуждает их с ближайшими друзьями: 16-го: «За обедом д-р Эккерман. Канцлер фон Мюллер: становятся более известны обстоятельства смерти императора Александра»; 17-го: «Дальнейшее о смерти императора... Вечером надв. сов. Мейер; обсуждали печальное

Титульный лист официального издания следственного дела о декабристах (СПБ, 1826)
С экземпляра, хранящегося в личной библиотеке Гете
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар


RAPPORT
DE
LA COMMISSION
D'ENQUÊTE.
Saint-Pétersbourg,
DE LA TYPOGRAPHIE DE PLUCHART
1826.

известие». В тот же день Гете получил второе письмо от Карла-Августа [53]. Это все—памятки глубокого интереса старого, опытного царедворца к происшествию, случившемуся при главном дворе; смена властелина может и в ту и в другую сторону отразиться на маленьком дворе, зависящем во многом от главного. 18 декабря о смерти Александра I сказали наконец и Марии Павловне, и при Веймарском дворе был объявлен двухмесячный траур по Александре I. 22 декабря царедворец Гете писал царедворцу Уварову: «Нас соединяет сейчас общий траур» [54]. Это сказано как нельзя более верно, и Гете этим лишний раз признал, что он был связан с русским двором не менее, чем с веймарским.

Но веймарскому дворику, вместе с Гете, не пришлось на этот раз спокойно носить свой траур в течение восьми недель.

29 декабря (или 17-го по ст. ст.)—через три недели после декабрьского восстания—Гете записал не без тревоги, вызванной посещением мужа Марии Павловны: «Наследный герцог. Подробности о смерти императора; также нечто об ее последствиях... Колеблющиеся слухи о престолонаследии в России» [55]. В этот же день Гете беседовал с канцлером Мюллером и был им недоволен. «Он критиковал меня за то,—рассказывает Мюллер,—что я назвал отречение Константина от престола неподлежащим сомнению; он был вообще, по меньшей мере, замкнут». Тогда же Гете высказал мысль: «В политике люди мечутся с одного бока на другой, как на одре болезни, в надежде лечь лучше» [56]. Очевидно, в глазах Гете, надежда эта—пустая. На следующий день Гете опять виделся с Мюллером и беседовал все о том же: «Последние русские новости; продолжающаяся неизвестность относительно престолонаследия» [57]. Последние записи показывают, что легитимист и царедворец был в некоторой тревоге по поводу

колебания престола в России. Простодушный Мюллер одним штрихом набросал любопытную картину: веймарский канцлер стоял за ту версию, что Константин насильственно отстранен Николаем. Легитимист Гете отвергал эту версию как несовместимую с исправным верноподданничеством: нет, все совершилось законным порядком. Николай взошел на престол, как должен был взойти. Однако неизвестность—так ли уж все благополучно в Петербурге—несколько томит Гете, и он явно успокаивается, когда 18 января (н. с.) 1826 г. отмечает у себя в дневнике, что «генерал Стрекалов, посланный из Петербурга ко двору, привез известие о вступлении на престол императора Николая» [58].

Через месяц с небольшим Гете довелось познакомиться и еще с одним гонцом Николая I, посланным к немецким родственникам с вестью о торжестве над декабристами. Под 26 февраля читаем в дневнике Гете: «Около 12 часов принц. Г. Сорэ. Статский советник Полетика», а 28-го числа Гете отмечает: «В половине одиннадцатого великая герцогиня. Показал атлас Лесажа. О пребывании статского советника Полетики» («W. A.», III Abt., B. X, S. 166). Это был не статский, а тайный советник сенатор Петр Иванович Полетика (1778—1843), возвращавшийся из Штутгарта, от виртембергского двора. Видный дипломат, последовательно занимавший разные посты в русских посольствах в Европе, Северной и Южной Америке, он был в 1817—1822 гг. послом при Североамериканских Соединенных Штатах. В свои наезды в Петербург, давний знакомец Карамзина, он вращался в кругу Жуковского, Вяземского, братьев Тургеневых и под именем «Очарованного челна» был избран в «Арзамас». С 1822 г. он поселился в Петербурге, пользуясь любовью верхнего круга русских писателей как блестящий собеседник, наблюдатель жизни двух полушарий и человек верной и острой исторической памяти. Внеся в свой дневник несколько записей из рассказов Полетики, Пушкин признался там же: «Я очень люблю Полетику» (2 июня 1834 г.). Полетика и сам был писатель: его сочинение «Aperçu de la situation interieure des Etats-Unis d'Amerique et de leurs rapports politiques avec l'Europe» в отрывках было помещено в «Journal de St. Petersbourg» 1825 г. и в «Литературной газете» 1830 г., а полностью вышло по-английски в Лондоне и в Америке.

Свиданию Гете с Полетикой предшествовало посещение наследного принца, а два дня спустя Гете вел разговор о Полетике с великой герцогиней: вероятно обсуждались не только маленькие виртембергские новости, но и крупные петербургские события, с известиями о которых послан был в Штутгарт видный дипломат, гостивший на перепутьи у Марии Павловны. Герцогине Гете показывал историко-генеалогический и географический атлас А. Лесажа (A. Lesage. «Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique». Paris, 1814): рассматривание этого любимого атласа Гете стояло, надо думать, в связи с политическими сообщениями и дипломатическими рассказами Полетики, которые впоследствии так любил Пушкин.

В декабрьских и позднейших записях великого писателя поразительно одно: Гете молчит о самом событии 14 декабря. Что он о нем осведомлен, не может быть сомнений: мы только что видели, как к Гете стекались—даже от самого герцога—все известия о смерти Александра; Гете всегда был в курсе всех дипломатических и придворных новостей, проникавших в Веймар. Молчит Гете конечно оттого, что все декабрьское событие инте-

ресует его почти исключительно в плане различного рода веймарско-русских дворцовых взаимоотношений и менее всего как революционный акт. Он молча ждет, когда кто-то там, в Петербурге, управится со всей этой мятежной дрязгой, и когда с нею «управился» давно знакомый Гете Николай Павлович,—для Гете исчерпан весь интерес события. Ни в его дневнике, ни в записях аккуратного Мюллера, ни в разговорах Эккермана нет и следа интереса Гете к 14 декабря как к новой странице в истории России, как к первому революционному выступлению против самодержавия.

Только в июле 1826 г., очевидно в связи с процессом декабристов, Гете вновь заинтересовался русскими делами. 23 июля он—по записи дневника—«ближе знакомится с историей болезни императора Александра»: опять чисто придворный интерес царедворца! На другой день казни декабристов (14/26 VII) он отметил: «Вечером д-р Эккерман; в газетах—о течении русского заговора, согласно данным следствия» [59]. Гете читал «донесение следственной комиссии», писанное Д. Н. Блудовым: экземпляр «донесения», на французском языке,—«Rapport de la Commission d'enquète». Saint-Petersbourg, 1826—доныне (1932 г.) сохранился среди книг личной библиотеки Гете в Веймаре. Вероятно это был дар Николая Павловича через Марию Павловну. В этом «Донесении» прочел Гете и об участии в декабрьском восстании его былого гостя «д-ра Кюхельбекера», величавшего его «Прометеем» в то время, когда осторожный министр-поэт под секретом давал читать друзьям давно уже известного «Прометея» своей юности.

А Кюхельбекер помнил Гете; продолжая веймарское свидание, он разговаривал с ним... во сне: «Сегодня у меня были самые живые и, можно сказать, умные сны: я толковал о самых занимательных предметах и с кем же? С Гете, Пушкиным и Дельвигом. Зачем это было не наяву!» [60] Он записал это 25 апреля 1832 г., сидя в Свеаборгской крепости и не зная, что с Гете уже никому нельзя было разговаривать наяву: он умер 22 марта этого года. В тюрьме он часто вспоминал Гете-человека и сопоставлял с его жизнью свою: в его глазах они оба были поэты, а все остальное было неважно. В крепостной скуке и одиночестве такие сопоставления приносят ему утешение: «Чтобы не забыть: в известии о (Вальтер) Скотте упоминается, что в детстве он был охотник рассказывать своим товарищам сказки, которые он сам выдумывал. Это у него общее с Гете и (осмелюсь ли после таких людей называть себя?) со мною». В мрачный зимний день он записывает: «Гете в одной из римских эпиграмм называет мух, помешавших спать ему, вдохновительницами (Musageten); моим вдохновителем с понедельника было ненастье, от которого в моей конуре так было темно, что я не мог внести с доски в тетрадь окончания второй песни поэмы моей, а потому поневоле должен был выхаживать новые стихи». И через два года он продолжает находить какое-то утешение в приравнивании своих безрадостных «трудов и дней» к жизни и труду Гете: «Сегодня со мною было то, что Гете рассказывает про себя, а именно: когда излагал я моему доброму пастору план «Ивана купеческого сына», главная идея во мне самом развилась полнее и определеннее». «Известие о посмертных сочинениях Гете очень занимательно,—записывает он в 1834 г.,—особенно по выпискам из последнего тома «Dichtung und Wahrheit». Я сошелся в мыслях с Гете: и я лучшие свои произведения, напр. «Ижорского», считаю более произведением природы, нежели искусства». Его занимала мысль:

«нельзя ли самозванца превратить в русского Фауста». В этом же 1834 г. Кюхельбекер получил в тюрьму «несколько томов Гете» [61].

В «дневниках узника и поселенца» имя Гете примешивается во всех литературных суждениях Кюхельбекера. Рассуждая об юморе, он высказывает острую мысль, что юмор—вездесущ: «Он даже может служить началом, стихиею трагической басни, тому доказательство Гете в «Фаусте». Перечитывая державинскую антологию, он находит в его стихах «что-то восточное, что-то напоминающее» «Ost-Westlicher Divan» Гете». Таких примеров можно бы привести несколько. Он продолжает высоко ценить художественную сторону дарования Гете [62].

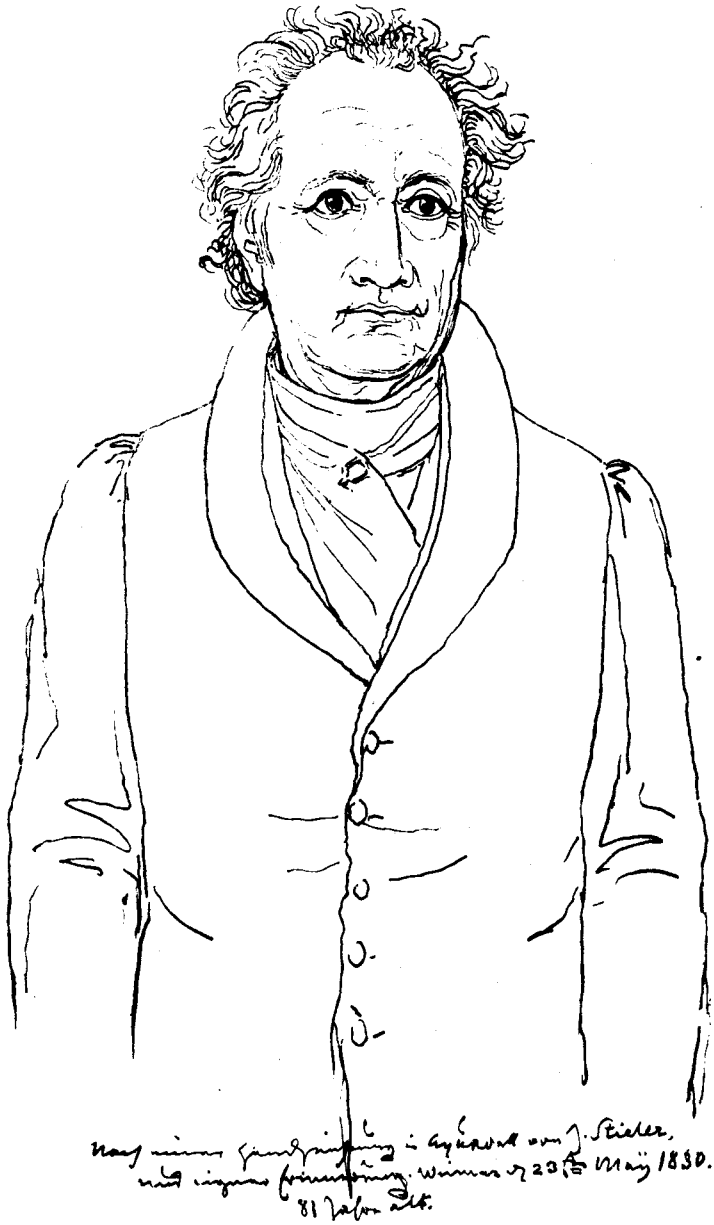
Но к самому Гете в «узнике» и «поселенце» Кюхельбекере нет уже и тени верноподданничества. Наоборот Гете так называемого «олимпийского» периода почти враждебен декабристу. Если он и любит что-нибудь в нем, то даже не «Фауста», а «мученика мятежного»—«Вертера». 9 сентября 1834 г. он записывает: «Читаю «Вертера». Несмотря на многое, искренне признаюсь, что это творение Гете предпочитаю иным из его позднейших: в «Вертере» теплота непритворная, есть кое-что, называемое немцами: exentrisch, но по крайней мере нет холодной чопорности, притворной простоты и бесстыдного эгоизма, встречающихся в его записках, Wilhelm Meisters Wanderjahre etc».

Впечатление от перечитываемого «Вертера» так сильно, что уже седеющий «мятежник и поэт» вновь на другой день обращается к юношеской книге Гете: «Поэтической жизни в «Вертере» пропасть; но от Гете—автора «Вертера», до Гете—сочинителя напр. «Эпименида» расстояние не меньшее, чем от Вертера до его благоразумных друзей: не стану спрашивать, кто из них лучше; но без сомнения «Вертер» и автор его привлекательнее чинного автора «Эпименида» и людей, которые в жизни то, что автор «Эпименида» в поэзии. Жаль только, что Вертер слишком много хнычет» [63].

Эту запись пишет не просто поэт, скинувший бремя владычества Гете, ее пишет декабрист. «Вертеру», созданию эпохи «бури и натиска», Кюхельбекер противопоставляет здесь «Пробуждение Эпименида»—писание эпохи реакции. Это драматическое произведение Гете было написано в 1814 г. по заказу директора Берлинского театра: прусский король желал, чтобы ко дню въезда в Берлин короля и императора Александра была представлена специальная пьеса, прославляющая победу союзников над Наполеоном. Гете весьма мало улыбалось прославлять победителей Наполеона, так как, подобно другим европейским умеренным буржуа, он сочувствовал гораздо больше Наполеону, чем «освободительным» войнам 1813—1815 гг., но все-таки он не почел возможным отказаться от «высочайшего» заказа и сочинил пьесу, в которой, пользуясь символико-аллегорической формой, оставил Наполеона в стороне, а, по мнению Ф. П. Шиллера, дал даже «завуалированную сатиру» на победителей. Тем не менее пьеса получилась достаточно официозной, а в эпилоге даже и нарочито официальной: недаром она и успех имела только официальный. Олицетворенную «Веру» Гете заставил возглашать в конце пьесы:

Погибель, кровь и смерть везде царили,
И я уже ждала конца всего,

но—пришли цари, победили Наполеона, и «Вера» оказалась спасена. В уста «Вере» и «Любви» Гете и вкладывает натянутые хвалы царям-победителям.



ГЕТЕ

Рисунок пером Г. Рейтерна, 1830 г.

Надпись на рисунке, сделанная рукой Рейтерна: „Nach einer Handzeichnung in Aquarell von J. Stieler und eigner Erinnerung. Weimar 23 May 1830. 81 Jahre alt"

Частное собрание, Ленинград

Воспроизводится впервые

Декабрист в своем отзыве делит всех читателей Гете и даже самого поэта на две половины: на тех, кто с юным и живым Вертером, и на тех, кто с дряхлым «Эпименидом», несмотря на свое «пробуждение», осужденным на поэтическую и социальную смерть. Впрочем у декабриста есть существенная поправка и к «Вертеру: «Жаль только что Вертер слишком много хнычет». Поправка эта несомненно сделана рукой того, кто никогда не «хныкал», боролся с элегическим хныканьем в поэзии, а 14 декабря на Сенатской площади хоть плохо, но стрелял в одного из тех, кто восхваляется в «Эпимениде».

Эпилогом отношения декабриста Кюхельбекера к Гете может служить его признание в «Дневнике поселенца» от 27 марта 1840 г.:

«Когда раз разочаруешься насчет кого бы то ни было, трудно даже быть справедливым к этому лицу. Царствование Гете кончилось над моею душою, и что ни говорил в его пользу Гезлитт (в «Rev. Britt.» [64]), мне невозможно опять пасть ниц перед своим бывшим идеалом, как то падал я в 1824 году и как то заставил пасть со мною всю Россию. Я дал им золотого тельца, они по сию пору поклоняются ему и поют ему гимны, из которых один глупее другого; только я уже в тельце не вижу бога» [65].

Можно добавить: ни Юпитера, которого не видел никогда в Гете, ни Прометея, которого видел некогда.

Поэт-декабрист верно передал здесь историю своего отношения к Гете. Он ошибся только в одном: и в 1824 г. не «заставил» он преклониться пред Гете «всю Россию», и в 40-х годах, когда он писал эти строки, в России Белинского и Герцена не было идолопоклонников пред Гете; его лишь читали, переводили, критиковали, а гимны ему спело другое поколение—немного помоложе того, к которому принадлежал сам Кюхельбекер, и постарше того, которое в 40-х годах переживало свои Wanderjahre,—поколение 20-х годов и начала 30-х: московские любомудры-шеллингианцы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Людвиг Гёльти (1748—1776)—поэт геттингенской народно-романтической школы.

[2] П у ш., Соч., т. V, стр. 356.

[3] Цитирую статью Кюхельбекера по русскому ее переводу в «Вестнике Европы» 1817, № 17—18, стр. 154—155.

[4] Письмо от 21 декабря 1845 г.—Н. Д у б р о в и н, Жуковский и его отношения к декабристам.—«Р. С.», т. CX, стр. 94.

[5] Письмо к Дельвигу от 23 марта 1820 г.—П и с ь м а П., т. I, стр. 16.

[6] «Отрывок из путешествия по Германии. Дрезден».—«Мнемозина», издав. кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером, ч. II. М., 1824, стр. 61.

[7] Письмо от 5 августа 1824 г.—«О. А.», т. III, стр. 69.

[8] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 251.

[9] «Мнемозина», ч. I, стр. 89.

[10] «Правда и поэзия», книга XIV; Гете—Вейнберг, кн. VIII, стр. 378—379.—Отзыв старого Гете о сочинениях Клингера не схож с мнением не старого Гете. По рассказу Иоганна Фалька, «однажды пришел Клингер к Гете, вытащил большой пакет с рукописями и прочитал ему из них». Чтение скоро пресеклось возгласом Гете: «Что за проклятие, что ты снова взялся писать! Пусть это выносит дьявол!»—вскочил со стула и выбежал вон» (J o h a n n e s F a l k, Goethe aus näherm persönlichen Umgange dargestellt. Dritte Auflage. F.-A. Brockhaus. Lpz., 1856, S. 117—118).

[11] Записки Августа Коцебу. «Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников». 2-е изд. СПБ, 1908, стр. 404.

[12] Мемуары кн. А. Чарторижского, т. I, стр. 290.

[13] «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». 1866, стр. 204.

[14] Гете—Вейнберг, кн. VIII, стр. 378.

[15] Бар. А. Е. Розен, Записки декабриста. СПБ, 1907, стр. 11—12.

[16] Ф. Булгарин, Воспоминания, ч. I. СПБ, 1846, стр. 276, 272—274.

[17] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 49. В национальном Гетевском музее в Веймаре доныне (1932) хранятся семь русских медалей, принадлежавших Гете, выбитых при Екатерине II (1787 г., с изображением императрицы; 1772 г., выбитая в честь И. И. Бецкого), Павле (большая золотая медаль с его портретом), Александре (две с изображением Александра, одна с изображением Петра I и Александра I, 1810 г.), Николае (серебряная медаль на столетие Академии Наук, 1826 г.).

[18] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 155. Как было уже указано (гл. V), Веймарское издание считает ошибкой Гете начертание: «Reuter»: поправляет его на «Reutern», подразумевая под последним известного художника Герхардта Рейтерна, и называет его передатчиком Гете барельефов Толстого. Дальнейшее показывает однако, что в деле ознакомления Гете с творчеством Ф. П. Толстого видное участие принял и барон Рейтер (Reuter), друг скульптора; на него указывает и письмо Ф. П. Толстого.

[19] «W. A.», IV Abt., B. XXIX, S. 176.

[20] Schmid, S. 159.

[21] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 252.

[22] «W. A.», I Abt., B. XXXVI, S. 147.

[23] Печатается по фотографической копии с подлинника, хранящегося в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре.—В Веймарском издании, в примечаниях к дневнику Гете, было напечатано полстроки («das Urtheil des Ersten Kenners in Europa») из этого письма (III Abt., B. VII, S. 304).

[24] «W. A.», III Abt., B. VII, S. 136 и 137.

[25] «W. A.», I Abt., B. XXXVI, S. 167.

[26] Е. Ф. Юнге (урожд. гр. Толстая), Воспоминания (1843—1860). М. (без года). Изд. «Сфинкс», стр. 121.

В 1827 г. собрание Гете обогатилось еще одним произведением Ф. П. Толстого: медалью по случаю столетия Петербургской Академии Наук. На одной ее стороне изображен профиль Николая I, на другой—Минерва, увенчивающая герму с двойным изображением Петра I и Александра I.

[27] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 151.

[28] Книга эта хранится в Государственной Публичной Библиотеке в Ленинграде.

[29] Печатается по фотографии с подлинника, хранящегося в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре.

[30] Печатается по фотографии с подлинника, хранящегося в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре. Писано без помарок, за единственным исключением: в последней строке стихотворения было сперва: «kuhn durch dich» вместо «durch dich Kuhn». В известном прежде тексте встречается лишь одно разночтение сравнительно с печатаемым теперь по автографу: вместо стиха «Ты мне вручил, и я тобою буду бессмертен» в известном доселе тексте читалось: «Подал юноше мне—и тобою буду бессмертен». («Поэты-декабристы». Сборник под ред. Ю. Н. Верховского. М.-Л., 1926, стр. 245—246). Дата Верховского—1821 г.—неверна.

Туискон (иначе: Туиско)—имя одного из германских богов; «земля Туискона»—Германия. Пирифой—по греческим мифам, царственный сын Зевса и Дии, за попытку похищения Персефоны наказанный тем, что прирос к скале.

[31] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 252.

[32] «В. К. Кюхельбекер. Очерк его жизни и литерат. деятельности. Письма русских писателей 1817—1825 гг.». Сообщили Ю. В. Косова и М. В. Кюхельбекер.—«Р. С.» 1875, июль, стр. 341—342.

[33] Иоганн-Готлиб Брейткопф изобрел способ печатать ноты с помощью подвижных знаков. «Старший» из братьев Брейткопф—Бернгард-Теодор—издал в 1769 г. сборник песен на слова Гете. Это первое переложение стихов Гете на музыку—начало бесчисленных отражений Гете в музыке.—Гете, Поэзия и правда. Из моей жизни. Книга VIII. Перев. Н. Холодковского. ГИЗ. П.-М., MCMXXIII, ч. II, стр. 90—91. Готфриду Брейткопфу Гете писал в августе 1769 г. из Франкфурта: «Пиши мне по временам, и если брат Бернгард не хочет писать, пусть скажет тебе, что хотел бы передать мне, и присоедини к своему письму» («W. A.», IV Abt., B. I, S. 24).

[34] Дневник В. К. Кюхельбекера. Предисл. Ю. Н. Тынянова. Редакция, введение и примечания В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л., 1929. Изд. «Прибой», стр. 305. Дальше всюду: Кюх., Дн.

[35] «W. A.», I. Abt., B. XXXVI, S. 185.

[36] Подробности об этом стихотворении см. ниже в публикации «Неизданные переводы из Гете».

[37] Сочинения бар. А. А. Дельвига, с биогр. очерком В. В. Майкова. СПБ, 1893, стр. 149.

[38] На вопрос следственной комиссии: «Не слушали ли особых лекций? объяснив в последнем случае, чьим курсом руководствовались вы в изучении наук?» Кюхельбекер ответил 2/IV 1826 г.: «В Москве, в 1824 и в начале 1825 г. анатомию у профессора Лодера (старого друга Гете.—*С. Д.*). Руководствовался я в словесности и эстетике сначала правилами французской школы: Ла Гарпа, Баттё и др., но впоследствии оставил их вовсе и держался преимущественно немцев, особенно же Шеллинга, Шлегеля и Лессинга» («Восстание декабристов. Дела следств. комиссии», т. II, под ред. А. Покровского. М., 1926, стр. 192).

[39] «Обозрение» обнародовано Б. В. Томашевским в сборнике «Литературные портфели» (П., 1923), стр. 74.

[40] «Мнемозина», ч. II, стр. 29—41.

[41] Письма Вяземского Тургеневу от 25 июля и Тургенева Вяземскому от 5 августа 1824 г.—«О. А.», т. III, стр. 62 и 69. Под Бестужевым-младшим Тургенев разумеет А. А. Бестужева-Марлинского.

[42] «Мнемозина», ч. III. М., 1824, стр. 164. В IV части «Мнемозины» (М., 1825) Кюхельбекер поместил «Амур-живописец (подражание Гете)» (стр. 63—65).

[43] Запись 27 марта 1840 г. Кюх., Дн., стр. 252.

[44] А. Бестужев, Знакомство с Грибоедовым (1824).—«О. З.» 1860, кн. X, стр. 630—635.

[45] Через пять дней после приведенного письма Бестужев опять писал братьям: «Я погружен в германизм, и, ради чистого тщеславия, прошу вас сказать Якушкину, что после месяца чтения я могу теперь читать Шиллера и Гете без чьей бы то ни было помощи». М. И. Семевский, Александр Бестужев в Якутске. Неизданные письма его к родным.—«Р. В.» 1870, май, стр. 245—246. Прекрасный перевод А. Бестужева «Всегда и везде» (Immer und überall) помещен в I томе юбил. изд. Гете (стр. 490).

[46] Письмо к матери от 10 января 1831 г. из Дербента. М. Семевский, А. Бестужев на Кавказе.—«Р. В.» 1870, № 6, стр. 507.

[47] Курсив Одоевского. Письмо из Елани. П. Н. Сакулин, А. И. Одоевский в неизданных письмах. Сборник «Декабристы на каторге и в ссылке». М., 1925, стр. 269.

[48] Бар. А. Е. Розен, Записки декабриста. СПБ, 1907, стр. 183.

[49] «Мнемозина», ч. III, стр. 173.

[50] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 51.

[51] «Алфавит декабристов» под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925, стр. 194 и 360.

[52] Müller, S. 21. В дневнике Гете находим следующие записи об А. Х. Бенкендорфе: 19 февраля 1817 г.: «Генерал Бенкендорф и канцлер фон Мюллер» и 12 апреля 1823 г.: «Бюст от генерала Бенкендорфа через Даннекера. Канцлер фон Мюллер, его переславший» («W. A.», B. IV, S. 14; B. IX, S. 35). Любимый слуга Николая I был отличен и веймарским двором: он получил орден Белого Сокола.

[53] «W. A.», III Abt., B. X, S. 135, 136, 330.

[54] «W. A.», IV Abt., B. XL, S. 169.

[55] «W. A.», III Abt., B. X, S. 140.

[56] Müller, S. 180. «Сравнение из Данта», замечает при этом Мюллер

[57] «W. A.», III Abt., B. X, S. 141.

[58] Там же, стр. 150.

[59] Там же, стр. 221.

[60] Кюх., Дн., стр. 50.

[61] Записи от 9/VIII и 15/XII 1832 г.; от 7/VII, 31/X, 30/VI, 27/V 1834 г. Кюх., Дн., стр. 69, 83, 199, 218, 198, 188.

[62] Записи от 8/II 1832 г., 24/XII 1835 г., стр. 41, 223; ср. также записи от 22/IX 1833 г., 8/VII 1834 г. Кюх., Дн., стр. 138, 200.

Последовательный «архаист», Кюхельбекер, намечая для себя сюжеты из старой русской истории, отыскивает форму для их предполагаемого воплощения у Гете: «Смерть Владимирка Галицкого—прекрасный предмет для баллады, а скитания Святослава Ольговича—для исторической картины в роде гетева «Геца фон Берлихингена» (запись 22/IX 1833 г.; «Дн.», стр. 138).

[63] Записи от 9 и 10/IX 1834 г. Кюх., Дн., стр. 210, 211.

[64] Вильям Газлитт (1778—1830)—английский критик, сотрудник парижского «Revue Britanique», одного из виднейших европейских журналов XIX столетия.

[65] Кюх., Дн., стр. 252.

II. АРИСТОКРАТ ДЕКАБРИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ У ГЕТЕ В ВЕЙМАРЕ

„РАЗГОВОР РУССКОГО ГРАФА С.“ С ГЕТЕ.—КРИТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ „ГРАФА С.“ К ЛИЧНОСТИ, ТВОРЧЕСТВУ И ВЕЙМАРСКОМУ БЫТУ ГЕТЕ.—БЕСЕДА ГЕТЕ О БАЙРОНЕ.—ГЕТЕ БЕЗ МАСКИ ОЛИМПИЙЦА.—ОСОБОЕ МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ В ГЕТЕАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ „РАЗГОВОРОМ ГРАФА С.“.—НЕМЕЦКАЯ ПУТАНИЦА ВОКРУГ ЛИЧНОСТИ „ГРАФА С.“.—ГЕТЕ И ГРАФ ГРИГОРИЙ СТРОГАНОВ, ВОСПЕТЫЙ БАЙРОНОМ.—ИСТИННЫЙ АВТОР „РАЗГОВОРА“—ГР. АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СТРОГАНОВ.—ЕГО ЛИЧНОСТЬ И ВЗГЛЯДЫ.—А. Г. СТРОГАНОВ И ВОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ НА УРАЛЬСКИХ ЗАВОДАХ ПЕРЕД ДЕКАБРЕМ 1825 Г.—ЕГО „ЗАПИСКА“ НИКОЛАЮ I.—АВТОР „РАЗГОВОРА“—АВТОР „ЗАПИСКИ“.—ЗНАЧЕНИЕ „РАЗГОВОРА А. СТРОГАНОВА“ ДЛЯ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ ГЕТЕ.

В книге «Разговоры Гете» Бидерманна был помещен разговор Гете «Mit dem russichen Graf S.» (с русским графом С.), датированный «zwischen 1825 und 1832» (между 1825 и 1832 г.). Вот рассказ этого «русского графа С.»:

«Не могу сказать, чтоб я был в настроении воздать должное почитание великому человеку, когда, несколько часов спустя после моего приезда в Веймар, я вручил наши карточки в доме тайного советника Гете. От природы серьезный и—говорю это без стеснения—нелишенный природной гордости, я всегда считал чем-то вроде унижения выказывать почтение людям, которые нам не господа и не благодетели, почтение, относящееся только к их талантам или достоинствам. Со столь же малой охотой мог бы я и сам принимать такое почитание, если бы выделялся еще чем-нибудь, кроме моего положения, которое, впрочем, есть такой же дар случайного счастья, как и великие таланты и дары природы. К тому же сочинения Гете никогда не внушали мне подобного благоговения. Его сильная мысль, его бодрое расположение духа, его глубокий взгляд на человеческую природу часто пробуждали сочувственный отклик в моей груди, но это сочувствие мое было не очень лестно для человечества, и благоволение мое простиралось лишь на немногие из произведений Гете. Большинство же остальных, в особенности столь прославленные «Годы учения и странствий Вильгельма Мейстера», были мне всегда в высшей степени противны. Гете достоин восхищения там, где он весь сосредоточен на постижении своего предмета и сжат в языке, как в «Фаусте»; правда, он сильно напоминает там непревосходимый образец—Шекспира, но все-таки остается большое своеобразие; оно придает явлению Гете мировое значение. Но там, где он распускается: начинает расчленять, разрисовывать, обрамлять,—там все мне становилось противно: и его далеко заходящая холодная удовлетворенность, с какою он сам себе внимает, и его недобросовестная паутина из незначительных нитей мысли, и его золотая чеканка наощупь взятых подражательных чувств. Правда, я слышал, как немцы горячо, в гиперболических выражениях восхваляют как раз то, что мне не нравится, но я хорошо знаком с национальной чувствительностью немцев, чтобы поддаться этому противоречию. Ни один народ в мире не мог бы так наслаждаться остроумным и чувствительным пустословием своих поэтов, и это лучшее доказательство, что все это действительно непереводимо ни на какой другой язык. При таком взгляде на сочинения Гете я, при всем моем уважении к этому высокому духу (Geist), был далек от энтузиазма и восхищения, которым отличалась, как мне часто случалось замечать, особая секта экзальтированных почитателей этого национального божества: в шутку их называли гетевскими воронами, и я имел честь быть рекомендованным Гете главами этой литературной партии. Казалось, они серьезно замышляли из меня, неверующего, сделать прозелита; однако в то время это так плохо им удавалось, что я не очень бы стал унывать, если б Гете каким-либо вежливым

образом отклонил мой визит. Мое дурное настроение было тем сильнее, что немецкий этикет от всех, и особенно от иностранцев, требовал соблюдения церемоний. Это было мне достаточно неприятно, так как я неохотно расставался с моим удобным дорожным костюмом. Моему весельчаку-брату это было легче, и как только мы получили приглашение от Гете, он принялся душиться и бриться так заботливо, будто ему предстоял утренний визит к прекрасной даме. Не без боязни, что веселость Алексея может повлечь за собою неприятность, но отчасти успокоенный его опытностью в хорошем тоне, проехал я с ним на виллу Гете. Нас сопровождал туда тайный советник Б.[1]; он был близок с Гете и, как казалось, сделался, по дружескому его поручению, посредником между восхищающимся любопытством иностранцев и особою поэта, так счастливо отмеченного своим положением в государстве и в обществе.

Встреча при нашем первом посещении была очень формальна и натянута; важность саксонских лакеев и размеренная серьезность нашего хозяина забавно питали веселость моего брата. Личность Гете известна; его почитатели описали ее так полно, что ни одному иностранцу не остается уже что-либо прибавить. Он, точно, человек прекрасно сложенный, с выразительным лицом; что же касается его манер, я нашел их прежде всего немецкими и далекими от того более тонкого и отменного придворного тона, который господствует в высших кругах в моем отечестве.

Алексей нашел, что гордостью преисполнено все существо Гете; я, при более глубоком знакомстве с его произведениями, оспариваю это. Я нашел, что его собственной гордыне противоречила та степень уважения, которую он, при нашем приеме, отдавал рангу русского дворянина. Этот человек, думал я, не может ни себя уважать столь высоко, чтобы этим оправдывалась его гордость, ни к нам испытывать такого почтения, воздаваемого рангу, полученному без всяких заслуг. Последующее показало, что я не ошибся в понимании характера Гете.

Насколько не значуща и ничего не говоряща была наша первая беседа, настолько же замечательна и незабываема была вторая, при моем прощальном посещении. Накануне вечером Гете собрал у себя большое общество явно для того, чтобы дать своим отечественным почитателям возможность увидеть таких редких птиц, как двое русских из Крыма, которые читали его произведения и поняли их. В то время как мы и особенно мой веселый брат Алексей ставили Гете в положение некоей «достопримечательности» для путешественников, он, с большою ловкостью, сделал нас самих предметом любопытства: со всех сторон нас осаждали странными вопросами о нравах и обычаях моего отечества, и мы едва успевали перевести дух, чтобы на них ответить. Русская деспотия (die russische Despotie) со всеми ее тонкостями была предметом их расспросов, и были выложены все спутанные понятия о нашем крепостничестве и о подобном. Я нашел в этом кругу людей весьма образованных (и Гете сам был таковым в высокой степени) только одну точку зрения, с которой они все рассматривали,—и эта точка зрения была ложная; поэтому между мною и обществом возник вежливый спор; в нем я фигурировал, превратно понимаемый чужеземцами, в качестве защитника ненавистного крепостного права, так как я пытался приблизить к их пониманию патриархальный характер русской народной жизни.

Гете при этом держался довольно нейтрально, но был видимо увеселен нашим разговором и, казалось, наслаждался нашим затруднительным положением. Чтобы отомстить ему за эту его уловку, я насильственным

поворотом навел разговор на его сочинения. Я, с некоторой беззастенчивостью, спрашивал его в упор о самых щекотливых вопросах, что сразу дало мне перевес над всем обществом. Я возбудил вопросы, о которых ученые господа в Германии частенько спорят, чтоб великий мастер снизошел их выручить. Мой брат поддерживал меня в этом и кого обижал своей живой манерой, тех же умиротворял своим добродушием.

Как понимать «Западно-восточный Диван», что означает «Фауст», какая философская мысль лежит в основе его произведений,—все это обсуждалось так открыто и безудержно, как если бы Гете был отдален от нас на расстояние в сотни миль. Но он не давал вывести себя из терпения этой откровенностью; она ему была, как я услышал позже, ни в какой мере не нова. Он удовлетворялся тем, что, улыбаясь, отвечал на какую-нибудь двусмысленную фразу и ронял слово присутствовавшему тут профессору из Лейпцига или Иены, имя которого я позабыл. Этот человек главным занятием своей жизни сделал толковать произведения Гете и принимал теперь широкие меры, дабы ответить на наши вопросы. Он предпринимал это с такой затратой непонятных выражений, философически-художественных терминов и ученых общих мест, что всякого другого иностранца это должно бы обескуражить.

Мне представлялось не невозможным, что Гете, ободрявший этого болтуна благосклонной улыбкой, воспользовался им для того, чтоб отвязаться от навязчивого вопрошателя, отстраняя это дело от себя. И точно: орудие для этой цели выбрано было с проницательностью; ибо так же трудно вымолвить слово при трескотне этой диспутирующей машины, как и ответить должным образом: для этого нужно было бы перечесть всю тяжелую груду книг и журналов, дух которых жил в докторе. Так как я ничего не понял из этого его переполаскивания, то попросил его, с видом восхищения, выразить мне смысл его длинной речи по-французски, ибо я не имею счастья быть близко знакомым с немецким языком, вновь обогащенным тысячей слов, похищенных из греческого, латинского и французского, в особенности же техническими терминами берлинской философии. Но ученый комментатор и панегирист ответил наотрез: ни на каком ином языке, кроме немецкого, нельзя рассуждать о великом художнике. Пока я, со всем приличием, насмехался над этим утверждением, Гете покинул комнату; однако я убежден, что из прилегающей он подслушал конец моего разговора с доктором. Я закончил спор заявлением, что невозможно столковаться, ежели спорящие исходят из столь противоположных взглядов,—и насколько убежден г. профессор в том, что чуждые нации не могут судить о гении Гете и об его философско-моральном влиянии на эпоху, настолько же я склонен, вместе с лордом Байроном, думать, что ни у одной нации в мире Гете не находит такого полного непонимания, как у немецкой.

Едва только произнес я это смелое утверждение, как вошел Гете с открытым, но серьезным видом, и пригласил общество перейти в другую комнату ужинать. В его обращении со мной отражалось, казалось, некоторое раздражение на тот злой комплимент, который я высказал немецкому народу, но он посылал мне иногда, как бы украдкой, взгляды, в которых не было никакой злобы. Несмотря на это, разговор уже не мог стать непринужденным, и я удалился с мыслью, что я обидел общество, а особенно хозяина, и национальное чувство обоих.

Однако я скоро разубедился в этом: мне случалось потом разговаривать со многими, по отдельности, из этого общества, и, к моему великому изу-

млению, я нашел, что высказывания такого рода, которые в России, Франции и Англии приняли бы за смертельную обиду, были неприятны вероятно одному только профессору. Все прочие уверяли меня, что в моем утверждении, к сожалению, заключается правда, но каждый при этом исключал из нее себя. Должен признаться, мне приятнее было бы видеть, если б они защищали против иностранцев свои национальные ошибки.

На следующее утро я получил записку, писанную рукой Гете, с моим именем и фамилией: он, в очень вежливых выражениях, приглашал меня на прогулку. Хотя и пораженный этой неожиданной вежливостью, я принял приглашение, и часом позже очутился один в коляске с великим человеком. Было великолепное утро, и крепкий старец казался юношески освеженным всеоживляющею весною. Лицо его озарялось необычной веселостью, и взор сверкал внутренним огнем; эта его живость, при преклонном его возрасте, умерялась только мужественным его спокойствием. Когда он со мною здоровался, он с дружеской приветливостью произнес: «Граф! Вы вчера с такой небрежностью роняли некоторые драгоценности, которые немцы лучше умеют беречь, что возбудили во мне желание ближе познакомиться со столь богатым человеком».—К какому же именно богатству мне отнести ваш интерес, г. тайный советник?—«К вашим идеям», отвечал он. Я поблагодарил с поклоном за комплимент, показавшийся мне недостаточно обоснованным. «Без лести, граф!—продолжал он, не дав мне выразить мою мысль.—У меня было много случаев разбираться в одобрениях, высказываемых людьми посредственными, и потому вы без опасения можете допустить, что я приобрел ловкость распознавать человека самостоятельного по самым неуловимым оттенкам в языке и поведении. Я нахожусь в положении Вольтера: он ни к чему так горячо не стремился, как к признанию со стороны тех, кто отказывал ему в своем одобрении. Вы возразите мне, что вы—не из тех, кто отказывает мне в одобрении; однако даже видимость мнения, противоречащего мнению общественному, правильность которого вы вчера оспаривали,—даже видимость такого мнения показывает мне человека с самостоятельным духом и характером, потому что только такой человек осмелится противоречить там, где все остальные согласны. Предоставляю вам решать, правильно ли мое суждение о вас».

Я возразил, что его суждение слишком льстит мне, на самом деле я без обиняков мог бы согласиться, что во мне была склонность к скромному сомненью вот в чем: в том, чтобы для такого великого человека, наслаждающегося всемирной славой, могло что-нибудь значить мнение какого-то странствующего кавалера, обыкновенного охотника за редкостями.

К этому нашему разговору примкнула в высшей степени интересная беседа об известности, значении и судьбе гетевых произведений. В этой беседе поэт раскрыл предо мной с доброжелательной откровенностью все самые глубокие черты его характера. Все главное, что он сказал тогда, я записал тотчас после прогулки, с намерением некогда обнародовать написанное, если смерть собеседника освободит меня совершенно от обязанности хранить тайну.

Вот в связном виде его слова—рапсодически, сокращенно и верно настолько, насколько удержала их память.

«Слава, любезный граф,—прекрасная пища души: она укрепляет и оживляет дух, освежает душу; слабое человеческое сердце склонно поэтому наслаждаться ею. Но на пути к известности быстро усваивается прене-

брежение ею. Публичное мнение (die öffentliche Meinung) обожествляет людей и хулит богов; оно часто восхваляет ошибки, от которых мы краснеем, и высмеивает добродетели, являющиеся нашею гордостью. Верьте мне: слава почти так же обидна, как дурная репутация. Тридцать лет борюсь я с пресыщенностью, и вы поняли бы это, если бы в течение немногих недель могли понаблюдать, как каждодневно некоторое число иностранцев желает восхищаться мною, а из них многие—как почти все французы и англичане—вовсе не читали моих произведений, и большинство меня не понимает. Смысл и значение моих произведений и моей жизни—это триумф чисто человеческого. Поэтому я никогда от него не освобождаюсь и наслаждаюсь славой, выпадающей на мою долю, но сладчайшим плодом для меня является понимание здорового человека. Поэтому даже противоречие тех, кто понимает чисто человеческое значение искусства, я ценю гораздо выше, чем болезненный энтузиазм экзальтированных поэтов нашего народа, которые душат меня фразами; поэтому я мог признать относительную справедливость вашего утверждения, что Германия меня не поняла. В немецком народе господствует дух чувствительной экзальтации, кажущийся мне странным: искусство и философия стоят оторванно от жизни, в абстрактной форме, далеко от природных источников, которые должны их питать. Я люблю настоящую народную духовную жизнь немцев и охотно блуждаю в ее тайниках, но в постоянном сопровождении здоровой жизненности. Жизнь я ставлю выше искусства, которое ее лишь украшает.

Вы правы: Байрон вполне меня понял, и, мне кажется, я понимаю его. Его суждение я ценю так высоко, как он—мое, но я не имел счастья познакомиться с его мнением во всем его объеме».

Это замечание, высказанное с особым ударением, объяснило мне вполне основной мотив интереса, проявленного Гете к моему разговору. Накануне вечером я обронил несколько слов о Байроне, которые не только свидетельствовали о моем близком знакомстве с таким особенным человеком, но позволяли предполагать, что у меня был случай ближе узнать его мнение о Гете. Действительно, в Венеции имел я счастье неоднократно насладиться дружественной беседой Байрона; после этого мне удалось не без труда отстранить—по крайней мере относительно меня—то предубеждение его против всех русских, которое поддерживалось тогда в нем греческими делами. Как ни странно, не мои лучшие свойства примирили его с моею национальностью, но мой тогдашний характер необузданного сорванца, который с величайшим равнодушием наслаждался жизнью и искусством ради того только, чтобы наслаждаться, не заботясь о расширении своих способностей и знаний. Байрон обращался со мной обыкновенно, как с невоспитанным ребенком, а во время своих капризов и чудачеств—даже с резкостью, но вместе с тем он оказывал мне, не имея причины опасаться от меня двуличия, больше доверия, чем любому из тогдашних своих знакомых, которые часто окружали его из эгоистических побуждений. Наше знакомство было не общением одинаково настроенных поклонников искусства, а общением жадных к жизни bonvivants, которые никогда не насыщаются. Я познакомился благодаря этому со многими особенностями частной жизни Байрона, сообщение которых воспринято было Гете с живейшим интересом и прервало самохарактеристику моего хозяина, чтобы еще больше ее усовершенствовать. У Байрона был обычай: в наши постоянные разговоры о прекрасных женщинах, которых оба мы с жаром пре-

следовали, вплетать промежуточные речи об искусстве,—благодаря этому он вовлек меня в круг своих мнений и сделал то, что я был в состоянии удовлетворить любопытство Гете. Поэтому я сказал ему, что действительно так счастлив, что могу дать ему некоторые разъяснения по поводу мнений Байрона о нем,—и я дал resumé моей беседы с Байроном об искусстве и литературе, в которых Гете часто являлся главной темой; оценку этих суждений Гете мог включить в продолжение своей интересной самохарактеристики. Впрочем я повел себя здесь не вполне откровенно и бескорыстно,—и это из уважения к приличию: оно позволяло мне передать только самое суждение Байрона, но не те выражения, в которых оно было заключено: они большей частью были таковы, что легко могли не понравиться Гете, хотя Байрон и питал к нему большую благожелательность. Так, он говорил часто, с большим юмором и малою почтительностью, о притворстве Гете и однажды выразился о нем: «Он—старый лис, который не покидает своего логовища и проповедует оттуда весьма прилично». Его «Избирательное сродство» и «Страдания Вертера» он называл высмеиванием брака, лучше которого даже услужливый дух его Мефистофеля не мог бы написать; конец обоих романов—вершина иронии. Между тем припоминание высказываний Байрона дало мне такой богатый материал для лестных отзывов, что я, без страха обидеть Гете, мог допустить кое-какие намеки на шероховатости мнений Байрона. Гете так был этим удовлетворен, что с необычной теплотой продолжал разговор и весь день оставался заинтересован одним этим предметом.

Мое понимание его философии я несколько раз успел ему высказать, и, казалось, оно ему особенно понравилось тем, что подкрепление ему он нашел в суждениях Байрона, столь ценимых им. Коснулись при этом многого такого, что Гете никогда не отважился бы повторить. Я высказал ему это мое предположение, и он, смеясь, сознался, что не намерен его отрицать. «Но раз уж мы вступили с вами в откровенную беседу,—сказал он,—хочу вам признаться, что смысл всего, о чем мы говорили, я вложил во вторую часть моего «Фауста», и потому я уверен, что этот финал после моей смерти будет объявлен моими соотечественниками скучнейшим продуктом моей жизни».

И чудо! Через несколько лет после этого разговора попал в мои руки одновременно со второй частью «Фауста» номер видной немецкой газеты; в нем было сказано: «Как физическое явление этой книги пережило физическое существование Гете, так и живущий в ней дух пережил его гений» [2].

«Разговор» написан—или записан—с блеском, какой редко встретишь—а может быть и не встретишь—и на лучших страницах Эккермана: это в полном смысле слова образец литературно-колоквиального искусства. По самому содержанию своему «Разговор» почти беспримерен: Гете дан в двух своих явлениях: в общедоступном и в общенедоступном. «Лукавый царедворец» своего собственного двора, он церемонно принимает двух русских светских европейцев и затем с принужденною вежливостью, которую они находят однако несколько провинциальной, показывает им вечером свой двор, своих придворных, своих литераторов и хвалителей. Показ не имеет успеха: не только ко двору Гете, но и к нему самому в его сане некоронованного самодержца немецкой, а может быть и мировой словесности русские аристократы относятся без малейшего пиэтета, а с иронией умеряемой добродушием молодой веселости. Эту иронию можно бы счесть сочиненной, наигранной манерностью европейских dandy, обеспеченных кре-

постными вотчинами, превышающими территорию Веймарского герцогства. Но это заключение было бы неточно: один из этих dandy оказывается близко знавал дерзновеннейшего из поэтов и dandy новой Европы, самого Байрона, знавал в годы самого напряженного его бунтарства, и в суждениях русского графа прорывается там и сям беспокойный палящий огонь этого великого бунтаря, ненавистного всей Европе реставрационной реакции и «священно-союзного» филистерского благополучия. Устами этого «графа С.» сам Байрон высказывается о Гете, и с такой подлинной «любовью-ненавистью» («odi et amo»)—л ю б о в ь ю к его гению, н е н а в и с т ь ю к его «логовищу»: к феодально-веймарской благополучности,—что в этом «odi et amo» Байрон узнается ex ungue leonem. Гете на другой же день оборачивается к русскому графу другой своей стороной—общенедоступной; какую-то часть своего расположения к Байрону перенеся на его русского знакомца и собеседника, он—один на один, в коляске, на прогулке—делится с ним признаниями поистине изумительными. Он в один миг смывает с себя грим Юпитера, которому поклоняется Веймар и вся королевско-герцогская Германия, и на горе всем апологетам, феодальным и буржуазным, объявляет, что его слава благополучнейшего из смертных ему так же обидна, как дурная репутация, и исповедует, что, вопреки всем апологетам, видящим в нем самом апологета существующего строя, весь «смысл и значение его произведений и жизни—это триумф чисто человеческого»; он резко, подчеркнуто резко, отмежевывается этими и дальнейшими словами от попыток теологов, мистиков и идеалистов всех толков и сект экспроприировать в свою пользу его гений, творчество и жизнь. Он подчеркивает свою близость к Байрону, и все, что он говорит русскому собеседнику,—все, удар за ударом, разрушает—теперь уже полуторавековую—легенду о веймарском вседовольстве Гете своим обществом, средой, положением и олимпийской репутацией. Во всех пяти томах собранных Бидерманном разговоров и высказываний Гете и о Гете нет ни одного места, которое могло бы соперничать с этими страницами по исключительной остроте и необычности этих признаний старого Гете. Это признания Фауста, насильственно произведенного в тайные советники, почти поверившего в то, что он—тайный советник, а не Фауст, и вдруг ощутившего, что Фауст в нем не умирал, а только притаился под мундиром со звездою.

Но если с о д е р ж а н и е «Разговора» Гете «с русским графом С.» исключительно интересно и необычайно важно, то самый тон разговора поистине беспримерен. Все поведение, весь разговорный натиск, все беседные отзывы и отклики «графа С.» производят такое впечатление, будто в среду придворных какого-то церемоннейшего, избалованного всепочитанием короля забежал умный и немного озорной андерсеновский мальчик и воскликнул: «А ведь король-то голый!». Прочтя все разговоры Эккермана, все записи Сорэ, Фалька, Мюллера, Римера, все русские записи, впервые собранные в предлагаемой работе, можно решительно утверждать: с Гете зрелых и преклонных лет никто так не разговаривал. Разве у одного Наполеона был этот же тон совершенной независимости, мыслительной и жизненной свободы, какой был у «графа С.». Он совершенно автономен от гетева владычества над эпохой, всецело независим от его «властительства дум»; он не вдохнул в свои легкие ни одной самомалейшей бациллы гетеанства—все равно какого: гетеанства увлечения, ученичества, единомыслия, или гетеанства моды, поветрия, социально-политической заразительности. И в то же время этот негетеанец отлично осведомлен во всем,

что вышло из-под пера Гете, и в своих суждениях опирается на единомыслие с другим «властителем дум» Европы. По своему независимому, твердо равноправному тону «граф С.» не имеет сотоварища из числа всех собеседников Гете, чьи «разговоры» дошли до нас. Эта беседа, повторяю, явление единственное во всей необъятной гетеане.

Но кто же он, этот необычайный собеседник Гете, подвигнувший его и на необычайную беседу?

Напечатав «Разговор с русским графом С.» в первом издании своего труда, Бидерманн снабдил его таким примечанием: «К сожалению, источники этого отрывка не могут быть указаны. Отрывок находится в копии (Abschrift), где такое указание отсутствует, и восполнить его не удалось, несмотря на все старания. Между тем сообщение это, по беззаботно высказанным мнениям, раздавшимся из полу-Азии, носит на себе, несомненно, печать подлинности, и, с другой стороны, оно так замечательно, что нельзя было, несмотря на этот недостаток, не включить его в наше собрание» [3].

В этом заявлении самое досадное—это отсутствие какого бы то ни было указания на самый тот источник, который был в руках Бидерманна: на эту «копию» или «список», с которого он печатал «Разговор». Откуда он его получил? Какая это была рукопись—русская? немецкая? Каковы были ее палеографические признаки? С какой степенью точности она им воспроизведена в его труде? Ни намека в ответ на эти законнейшие вопросы критика и исследователя Бидерманн не дал.

Перепечатывая «Разговор» через двадцать лет в новом издании «Разговоров», Бидерманн попрежнему должен был признать, что «источник» «Разговора» остается необнаруженным. Тем не менее напечатан теперь «Разговор» уже с более пространным заголовком: «(1825—1830). Graf Alexander Grigorevitsch Stroganoff» [4]. Вот какие основания приводит для этого Бидерманн: «Frl. Adelheid von Schorn сообщила свидетельство издателя «Русского Архива» в Москве, Бартенева: он утверждал, что в числе посетителей Гете были графы Александр и Алексей Григорьевичи Строгановы. Первый, старший, должен быть поэтому автором рассказа. К какому времени относится посещение, твердо установить при всем том невозможно. Один Строганов был в Веймаре в феврале 1823 г., но Гете вследствие нездоровья не мог его принять. Единственной опорой для предположительной датировки является смерть Байрона—19 апреля 1824 г. Остальное неизвестно: «рассказ» этот остается для меня все-таки загадочным» [5]. При всей «загадочности» Бидерманн ввел в указатель имен краткую биографийку рассказчика: «Строганов, Александр Григорьевич, граф (ум. в 1857), русск. государственный деятель, посол в Мадриде 1805—1808, потом в Стокгольме, в Константинополе 1821; потом—в путешествиях» [6].

Можно подивиться, как мало воспользовался Бидерманн тем материалом, который заключен в дневниках Гете, а отчасти даже приведен в его собственном издании. Он ссылается на одно упоминанье о каком-то графе Строганове, который в феврале 1823 г. был в Веймаре, да Гете его из-за болезни не видел. Вот как отмечено это у Гете в дневнике: «18 февраля. Боль в сердце... Через Струве (русский посланник в Веймаре) уведомил о себе Строганов, которого, к сожалению, я не мог видеть» [7].

Во втором томе своей книги Бидерманн мог бы найти очень авторитетное пояснение к этой записи Гете. Под № 2065 у него помещена выписка из записок Мюллера от 10/23 февраля 1823 г.: «С четверга до субботы беспрерывно чередовались улучшения и ухудшения в состоянии здоровья... Он

[Гете] часто повторял сожаление, что лишился посещений Строганова и что приостановил дальнейшую работу над Kunst und Alterthum». Упущенное из-за болезни «посещение Строганова» было для него чем-то важным и интересным, если он приравнял его своим сожалением к прерванной из-за недуга любимой работе. На другой день—23 февраля—Каролина Эглофштейн писала своей сестре Юлии (№ 2067): «Оттилия ухаживает за ним и проводит ночи. Она должна развлекать его и рассказывать ему, как и во дни здоровья. Он жалуется, что не видел Строганова, который выказал такое мужество в Константинополе» (welcher sich in Konstantinopel so brav benahm) [8]. «Строганова» этих двух отрывков Бидерманн считает тем же Александром Григорьевичем, которому усвояет и замечательный «Разговор»: в «указателе», при его имени, даны ссылки и на эти два отрывка, принадлежащие перу лиц, очень близких к Гете.—Но это—грубая ошибка: строка гр. Эглофштейн о константинопольском мужестве Строганова безошибочно указывает, что это был барон (с 1826 г.—граф) Григорий Александрович Строганов (1770—1857), бывший в 1816—1822 гг. русским послом при Оттоманской Порте, отец Александра Григорьевича. Это был человек широко известный в Европе. До Константинополя он был послом в Мадриде (1805—1810) и Стокгольме (1812—1816). Деятельность его в Константинополе обращала на себя внимание Европы—и Гете в том числе,—так как совпала с эпохой греческого движения, а потом восстания, когда Строганову пришлось вести сложную и двупланную политику: Александр I, под влиянием своего министра иностранных дел гр. И. А. Каподистрии (1776—1831), выказывал грекам в разных формах сочувствие к их освободительно-национальным стремлениям, но, «к противочувствиям привычен», в то же время уклонялся от прямой помощи и заверял Порту в том, что, согласно обетам Священного Союза, признает нерушимость ее державных прав. В соответствии с этим Строганову приходилось усиливать то один, то другой, противоположный, регистр своего органа, то извлекать что-то единое из обоих регистров: и содействовать освобождению греков, согласно наказам греческого патриота—русского министра, и удерживать целостность Оттоманской империи по обетам императора. В глазах же народных масс, неискушенных в хитростях дипломатии, в суждении рядовых турок и греков Строганов был врагом Ислама и турок и заступником греков. Положение русского посольства в Константинополе особенно обострилось в 1821 г., когда вспыхнуло греческое восстание на островах и на материке и одновременно Александр Ипсиланти поднял знамя восстания в Молдавии, рядом с русской Бессарабией. 30 апреля 1821 г. был казнен греческий патриарх в Константинополе и произошла резня греков турками. Гр. А. Д. Блудова передавала такой позднейший толк турецких славян о Строганове: «Он был последний русский посол в Константинополе,—говорили о нем славяне еще лет 20 назад,—да еще в такое время, когда сажали послов в Семибашенный замок с тем, чтобы при объявлении войны обезглавить» [9]. Такого именно конца ждал для русской миссии А. И. Тургенев в 1821 г., когда с тревогой писал о своем брате Сергее, состоявшем при Строганове: «Сношения наши с Царьградом прекращены. Ожидаю или скорого свидания с братом, или... (Тургенев не может дописать фразы от ужасного предчувствия.—*С. Д.*). Эта неизвестность так волнует при вести, что русская миссия отбыла из Константинополя». Он же писал Вяземскому: «Ожидают войны... Но теперь сердце как-то обратилось к грекам. Они потеряли последнего заступника в бароне Строганове и в миссии.

С каким чувством смотрели они на отплывающий корабль его? Вот предмет для поэта русского. Байрон Андреевич, перенесись в Перу и скажи нам греческую быль!... Право, ты или Пушкин! Не позволяй перебивать у себя: вперед такого случая не будет» [10]. Политика Александра I в Турции и греческое восстание приковывали к себе внимание и Гете. Год спустя после несостоявшегося посещения Строганова канцлер Мюллер записал политический спор у Гете: «Гете был очень горяч, склонен противоречить. В политике высказывал противление общему, как говорят, настроению против императора Александра и по отношению к грекам... Самым замечательным из того, что он сказал, было то, что он рассматривает современные греческие войны как аналогию и суррогат крестовых походов, с той точки зрения, что они, как и те, способствуют ослаблению мощи османов» [11].

Этот интерес Гете к греческим делам и к войнам России с Турцией впоследствии особенно ярко сказался в 1828—1829 гг., когда он с сочувствием следил за действиями русских войск, о чем свидетельствуют и записи в дневнике, и разговоры с Эккерманом [12]. Понятен поэтому был тот живой интерес, с которым Гете встретил появление в Веймаре того самого русского посла, за действиями которого в Константинополе в 1821 г. Гете следил с живым вниманием, и тем понятнее сожаление Гете, что он не мог видеть этого интересного человека.

Исправим Бидерманна: та биографийка, которую он присоединяет в «указателе» к имени Александра Григорьевича Строганова, в действительности представляет два-три факта из биографии его отца, знаменитого дипломата.

Но в дневнике Гете есть и Александр Григорьевич Строганов, что вовсе упустил из виду ученый немецкий гетеанец.

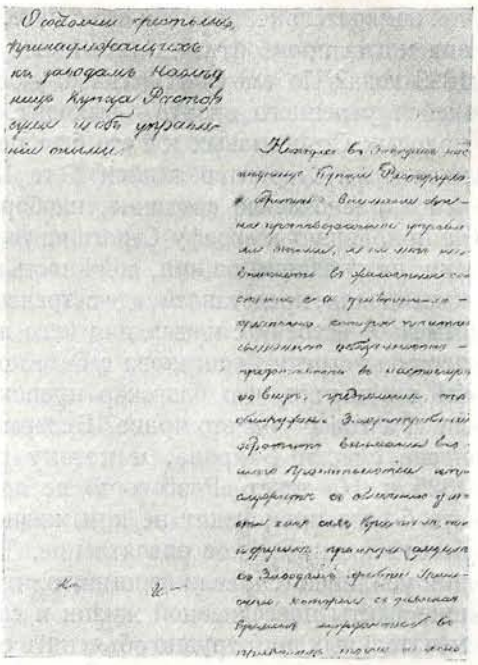
Летом 1823 г. Гете встретился с ним в Мариенбаде и записал его посещение под 30 июля: «Граф Строганов, позднее министр Бюлов» [13]. Что речь здесь идет именно об Александре Григорьевиче Строганове, можно убедиться из «мариенбадского курортного листка», где значится: «Г. барон Строганов, флигель-адъютант русского императора и капитан гвардейского Преображенского полка, с женой, рожденной гр. Кочубей, из С.-Петербурга, живет у Ремер» [14]. Эти указания совершенно точны: Александр Григорьевич Строганов (1795—1891) был тогда не графом, как его отметил Гете, а бароном (графом он сделался с 1826 г.), был штабс-капитаном Преображенского полка и флигель-адъютантом (с 1821 г.) императора; женат он был (с 1820 г.) на графине Наталье Викторовне Кочубей (1800—1855),— той самой, что значится в «дон-жуанском списке» Пушкина, упомянута в его дневнике и как первая его любовь прошла по целой гирлянде его стихотворений; превосходный портрет ее писан О. А. Кипренским. А. Г. Строганов был третьим сыном дипломата. Получив специальное образование в корпусе инженеров путей сообщения, он начал военную службу в гвардейской артиллерийской бригаде и принял участие в наполеоновских войнах: был участник сражений под Дрезденом и Кульмом и вступил с русскими войсками в Париж в 1814 г. Впоследствии, при Николае I, он занимал ряд крупных административных постов: в 1834—1836 гг. был товарищем министра внутренних дел, губернатором в Чернигове, Полтаве, Харькове, управлял министерством внутренних дел в 1839—1841 гг.; в 1849 г. был назначен членом Государственного совета; в 1854 г. получил назначение военным губернатором Петербурга, затем в течение 9 лет занимал пост новороссийского генерал-губернатора. После отставки он жил в Одессе и был избран «почетным гражданином» этого города за хлопоты по преоб-

разованию Ришельевского лицея в университет. На юге он интересовался греко-римскими древностями, во множестве имеющимися на северном побережье Черного моря, и был президентом Одесского общества истории и древностей, давая средства для его изданий. А. Г. Строганов был человеком широко образованным: он читал на нескольких языках, обладал разносторонними научными и литературными интересами и чрезвычайно умножил знаменитую строгановскую семейную библиотеку.

Эту драгоценную библиотеку с униками в различных областях знания, искусства, литературы, с великолепным подбором изданий эпохи Великой французской революции А. Г. Строганов пожертвовал в 1880 г. Томскому университету: это было своеобразное «отдарение» за те богатства, которые в течение столетий Сибирь доставила семье Строгановых. Библиотека Строгановых составляет главное богатство Томского университета [15]. Обладатель огромного состояния, связанного с Уралом и Сибирью, Строганов был любителем минералогии, и на этой почве у него в Мариенбаде же завязались в 1823 г. и продолжались сношения с Гете, следы которых сохранились в дневнике поэта. В этом отношении А. Строганов вероятно напомнил Гете кн. Д. А. Голицына и гр. Г. К. Разумовского, его приятелей «по минералогии». 8 августа 1823 г. Гете записал: «Штадельман—занят был упаковкой минералов для Строганова». Гете посылал ему в обмен минералы из своих собраний и запасов. В 1827 г. продолжались эти минералогические сношения Гете со Строгановым. 28 сентября он записал: «Г. надворный советник Швабе, принесший минералы от графа Строганова». На другой день: «От Serenissimo (от герцога.—*С. Д.*) также прекрасные строгановские минералы для Иены». 3 октября Гете работал над строгановскими минералами: «Составлял каталог на сибирские минералы по этикеткам... Г-ну горному советнику Ленцу в Иену. Извещение о минералах Александра Строганова». Этому Ленцу Гете писал: «С удовольствием сообщаю, что благодаря одолжению гр. Строганова Serenissimus (герцог.—*С. Д.*) получил уже ряд прекрасных сибирских камней. На-днях они будут запакованы и отправлены. Будьте добры, приготовьте диплом почетного члена нашего общества этому господину и пришлите мне при следующей отправке» [16]. Минералогические коллекции Иенского университета были обогащены Строгановым. Но от него же обогащались и собственные коллекции Гете: конечно главным образом Строганову обязан Гете теми изумрудами, бериллами, топазами, гранатами, цирконами, турмалинами и прочими драгоценными камнями, которые и по сей день хранятся в его минералогической коллекции в его веймарском доме [17].

Приведенных упоминаний об А. Г. Строганове в дневниках Гете достаточно, чтоб установить—вопреки Бидерманну—прямое знакомство Гете и неоднолетние (1823—1827) сношения его с Александром Григорьевичем Строгановым.

Это чрезвычайно важно: это доказывает, что именно этот Строганов мог быть тем «русским графом С.», с которым Гете вел свой замечательный разговор. Если вспомнить, что в 1825—1831 гг. графу Александру Григорьевичу было 30—36 лет, то года его вполне соответствуют возрасту примечательного собеседника Гете. Другие «русские графы на С.»—например подходящий по возрасту и по складу умственному и нравственному Самойлов, Николай Александрович (умер в 1841 г.), знакомец П. А. Вяземского, Пушкина, А. И. Тургенева и др., красавец и остроумец,—отсутствуют в дневнике Гете и не известны среди его знакомцев.



Первая страница докладной записки флигель-адъютанта графа А. Г. Строганова о волнениях на заводах купца Расторгуева
Ленинградское отделение Центрархива

Из автобиографических подробностей, вкрапленных в рассказ, налицо две: 1) у рассказчика есть младший брат Алексей и 2) рассказчик встречался с Байроном в Венеции. Первому условию вполне удовлетворяет Александр Строганов: его младшего брата звали Алексеем, в начале 20-х годов он служил при министерстве иностранных дел и носил звание камер-юнкера. Младшего же брата гр. Самойлова звали Михаилом [18]. У нас нет прямых сведений о знакомстве Александра Строганова с Байроном, но нет, с другой стороны, ни фактических, ни биографических, ни хронологических препятствий для такого знакомства. Какой-то след особой осведомленности Байрона о Строгановых даже отыскивается в его сочинениях. В CXLIX строфе первой песни «Дон Жуана» Джулия, чтоб привести мужу неотразимое доказательство своей верности, говорит ему с гневом:

Шесть месяцев вздыхал певец Каццани
У ног моих. «Из всех испанских дам
Лишь непорочны вы»,—граф Корниани
Так говорил.—За что же этот срам?
Граф Строганов писал мне ряд посланий:
Осталась я глуха к его мольбам.

Это—отзвук мадридской дон-жуанской славы гр. Григория Александровича (1805—1810). Биографии гр. Александра Григорьевича не существует: благодаря этому не представляется пока возможным найти в ней точные место и время для его встречи с Байроном, но нет и возражений против нее. Байрон приехал в Венецию в ноябре 1816 г. и с выездами и отлучками в другие места Италии прожил в ней до мая 1819 г. [19]. В эту пору гр. А. Строганову было 21—24 года—тот самый возраст, которым, судя по рассказу, обладал при встречах с Байроном собеседник Гете.

Как выше доказано, прямое знакомство Александра Строганова с Гете—факт, засвидетельствованный дневником Гете. Гораздо труднее найти время

той замечательной встречи его с Гете, которая описана в «Разговоре». Когда она могла произойти—до или после записи Гете о мариенбадской встрече 1823 года? По смыслу рассказа —особенно первой его половины, касающейся утреннего визита,—выходит, что этот принужденный визит двух молодых Строгановых к Гете был первым их знакомством со знаменитым писателем. Характер записи Гете 1823 г. таков, что позволяет думать, что мариенбадское свидание, наоборот, не было первым свиданием: Гете не прибавляет к «графу Строганову» никакого эпитета, ни единого пояснения: ни указания на чин, должность и т. п., ни указания на то, кем он рекомендован, представлен, где встречен и т. п., что Гете делает обычно, когда отмечает встречу с новым для него лицом. Поэтому следовало бы отнести первую встречу Строганова с Гете ко времени до 1823 г. Но это требовало бы допущения, что разговор происходил еще при жизни Байрона. Дает ли «Разговор» на это право? Бидерманн считает, что разговор происходит после смерти Байрона, и потому первой возможной его датой считает 1825 г. Но текст «Разговора» не дает никаких прямых указаний на то, что беседа происходит не при жизни Байрона, хотя скорее выносишь из беседы именно такое впечатление. Трудности хронологического определения усиливаются, если вспомнить, что Гете отмечал в дневнике даже малейшие факты повседневной жизни и самые рядовые посещения ничем не замечательных лиц: трудно объяснить себе, почему же он не записал ни утреннего визита двух молодых Строгановых, ни вечернего, столь живого и острого собрания у него по случаю их приезда, ни, наконец, прогулки с Александром Строгановым в коляске, сопровождавшейся исключительным по содержанию разговором? Гете был, правда, не любитель вносить в дневник рассуждения и высказывания свои и чужие, но, строгий летописец своей повседневности, он постоянно регистрировал все визиты, посещения, прогулки, поездки и т. п., и трудно понять, почему он не зарегистрировал ни одного из трех последовательных внешних фактов, связанных со Строгановыми. Вопрос должно признать нерешенным, как остается нерешенным и происхождение самого текста, сообщенного Бидерманном. Русский (или быть может французский или немецкий) его оригинал мне не удалось разыскать.

Рукописное наследство А. Г. Строганова, сколько знаем, доселе неизвестно и необнародовано.

Сам А. Г. Строганов несколько разъясняет историю текста его «Разговора». Приступая к изложению самой беседы с Гете, ведшейся в коляске, он поясняет: «Все главное, что он сказал тогда, я записал тотчас после прогулки, с намерением некогда обнародовать написанное». Итак, в основе всего «Разговора» лежит первоначальная запись, сделанная в самый день беседы с Гете; запись эта впоследствии дополнена и вправлена в рамку повествовательного характера.

В том, что «Разговор» мог принадлежать именно А. Г. Строганову, не может быть сомнений. Здесь стоит вспомнить и устное, как приходится думать, свидетельство П. И. Бартенева, на которое со слов Аделаиды Шорн ссылается Бидерманн. Эта Шорн—дочь Иоганна-Карла-Людвига Шорна (1793—1842), историка искусства, с 1833 г. заведывавшего художественными учреждениями в Веймаре. Есть указания, что «Жуковский вел переписку» с ним; во всяком случае в письмах своих к канцлеру Мюллеру (1838—1842) он постоянно посылал Шорнам, а после его смерти—жене его (1842—1846) поклоны, интересовался их домашними делами и

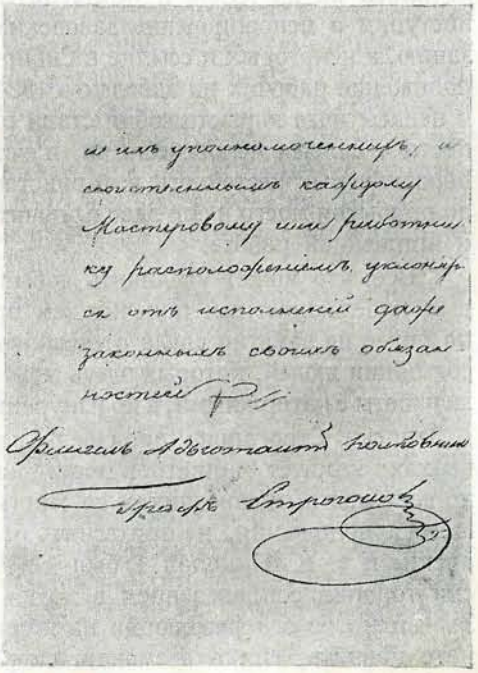
посвящал в такие интимные свои дела, как женитьба [20]. Бартеневское свидетельство находится в полном согласии с рассмотренными выше данными в пользу посещения Гете Александром и Алексеем Строгановыми.

Но есть еще одно, совершенно неожиданное свидетельство в пользу принадлежности «Разговора с Гете» именно гр. А. Г. Строганову.

Я уже отмечал, что по своему тону, по внутренней свободе от какого бы то ни было гетепоклонения «Разговор» не имеет себе равных; по отрицательному же отношению к гетеву «олимпийству» у Строганова есть только один единомышленник: декабрист Кюхельбекер. В Строганове нет и тени приятия Гете во всем его быте и укладе, украшаемом декорациями Олимпа: это конечно потому, что у Строганова есть какая-то близость к самому мятежному поэту Европы—Байрону. Почему этот ненавистник реакционной пошлости и пошлой реакции отметил в Венеции этого русского барченка? Вряд ли за одно то, что с ним можно было говорить о красивых женщинах. Очевидно в Строганове нашел Байрон что-то, хотя бы в малой степени сродное его собственному неприятию Европы Священного Союза, возглавляемого Россией. Байрон не скрывал перед Строгановым своей неприязни к России аракчеевского кнута и однако дружил с этим русским гвардейцем из высшего круга: без сомнения оттого, что видел в нем не сторонника, а противника этого и всяческого кнута. Только такой собеседник Байрона мог так язвительно критиковать реакционную веймарскую придворно-гетеанскую среду и самого Гете, поскольку он был причастен к ней. Кюхельбекер—по этим же основаниям—стремился и в старике Гете утвердить «прометейство», а не «олимпийство».

У них—одно умонастроение, окрашенное в преддекабрьские тона: оттого они оба так резко выделяются из всех русских посетителей Гете.

Строганов был человеком декабристских чувств и настроений. Ему принадлежит почетное место в одной главе «из истории рабочего движения



Последняя страница докладной записки флигель-адъютанта графа А. Г. Строганова о волнениях на заводах купца Расторгуева
Ленинградское отделение Центрархива

эпохи декабристов», открытой исследованиями М. В. Нечкиной. В 1822 г. пронеслась волна рабочих волнений на уральских заводах. Доведенные до отчаяния крепостной эксплоатацией, задержкой или невыдачей заработной платы, вычетами из нее, голоданием, прикрепленностью к заводам, полной бесправностью рабочие бросали работу и всем «скопом уходили в город жаловаться начальству». В марте—ноябре 1822 г. произошло подобное волнение на Кыштымском заводе. Оно перешло к формам рабочего организованного восстания: было создано «рабочее правление» на заводах: «была поставлена агитация—завод втягивал в восстание соседние заводы и деревни»; «агитация шла под лозунгом освобождения крестьян от крепостной зависимости; рабочие запасались оружием и готовились к встрече с правительственными войсками». Чтобы через несколько месяцев покончить с этим восстанием, правительству пришлось послать на Кыштымские заводы $2^1/_2$ тысячи солдат. Однако брожение на заводах не угасало, и напуганный декабрьским восстанием 1825 г. Николай I послал в 1826 г. для расследования «беспорядков на Кыштымских заводах» флигель-адъютанта гр. А. Г. Строганова. Он представил императору замечательную «Записку», в которой суммировал результаты своего расследования. Они все оказались в пользу рабочих. По словам Строганова, владелец заводов, купец Расторгуев, владевший 6880 душами, «не имел никакой другой цели, кроме корыстолюбия и умножения доходов посредством беспримерного угнетения и разорения людей... Участь сих несчастных зависела всегда от произвола и жестокости заводосодержателя, что и было единственною причиною первого расстройства и неповиновения... Заводчик Расторгуев, опасаясь строгой ответственности за беспорядки, коих сам был виною, желал уже, чтобы люди, угнетенные им, обратились в бунтовщиков, не повинующихся гласу законов, дабы чрез то некоторым образом отклонить от себя ответственность. Он не ошибся в предположении своем, ибо суждение екатеринбургского уездного суда и пермского горного правления обратилось не на худое и притеснительное Расторгуева управление, а на поступки и неповиновение заводских людей, которых и подвергли наказанию, а некоторых и ссылке в Сибирь». Яркими чертами рисует Строганов положение рабочих на заводах в 1824—1825 гг.: «Для увеличения доходов и ненасытного корыстолюбия стали работы возлагать без всякой соразмерности с силами человеческими, и вскоре за сим строгая взыскательность обратилась в жестокость и тиранство... Двести и триста ударов палками до прибытия моего в сии заводы почиталось лишь понудительным средством к прилежной работе.

...Все, что может увеличить добывание золота и доходы, корыстолюбивым и безжалостным попечителем придумано, предпринято и исполнено; но нигде не заметно следа отеческого и христианского попечения о благосостоянии людей, которых здесь можно смело сравнить по скудным платам за работы с каторжными, а по изнурениям—с неграми африканских берегов».

Записка Строганова произвела сильное впечатление в петербургских верхах: комитет министров постановил, с санкции Николая I, обратиться ко всем частным заводчикам со строгим предписанием не обострять создавшегося положения, не притеснять рабочих, относиться к ним «по-христиански» и т. д. Николай I был очень взволнован происшедшим и всячески торопил с проведением в жизнь постановления комитета министров. Это видно из его резолюции на журнале комитета: «Согласен, дело в Сенате кончить, елико возможно скорее».

Вот как оценивает записку гр. А. Г. Строганова современный историк пролетариата в России: «Записка А. Г. Строганова—замечательный документ... Бесспорна ее сила, красочность, подчас художественность. Этот документ легко можно использовать для педагогической или агитационной работы—он ярок и убедителен даже для неподготовленного читателя... Строганов в этом документе подчас говорит языком либерального дворянства, он осмеливается в официальной записке, обращенной к высшему начальству, употреблять по отношению к мучителям рабочих такие слова, как «самовластие» и «тиранство», дерзко сравнивает положение рабочих с положением «негров африканских берегов» и каторжников, находя впрочем, что последним лучше, чем рабочим,—на них правительство отпускает большие суммы, чем фабрикант на рабочих. Основная предпосылка рассуждений Строганова—мысль о достоинстве человека, которого он подчеркнуто замечает в крепостном рабочем. Бросаются в глаза ирония и сатирический стиль записки. Екатеринбургский уездный суд осудил приказчика, убившего рабочего: «Какая неимоверная деятельность и неслыханное в Пермской губ. правосудие!—иронизирует Строганов.—Но сколько прежде подобных случаев сокрыто было под общим наименованием скоропостижной смерти? Не для того ли единственно в Соймановском руднике, где нет ни церкви, ни молитвенного дома, ни постоянного жилья для работников, заведено кладбище, на котором хоронят скоропостижно умерших?» На расторгуевские заводы ездили же и прежде ревизоры, почему же они не заметили вопиющих фактов? «Большая часть ревизоров,—отвечает Строганов,—приступая к исполнению возложенных на них обязанностей, обращает все внимание свое или на качества напитков, хранящихся в запасе у каждого приказчика, или на наличность экстраординарной суммы и, судя о состоянии крестьян и управлении заводов по числу откупоренных бутылок шампанского, или запечатанных пучков ассигнаций, из коих отделяется им часть, сообразно с обстоятельствами, оправдывают заводчиков или делают выгодные о его управлении представления» [21].

Сопоставление этой «Записки» с нашим «Разговором» не оставляет сомнения в том, что их автор—одно и то же лицо. Тот, кто в официальном рапорте Николаю I смел позволить себе говорить правду о положении рабочих, и говорить ее с совершенно исключительной в официальных документах иронией по адресу провинциальных «слуг царевых»,—тот мог позволить себе сказать правду и в лицо веймарскому литературному самодержцу, с убийственной иронией по адресу его прислужников. Тот же тон независимого суждения и прямой мыслительной честности, который пленяет в «Разговоре», господствует и в «Записке». У ней тот же литературный блеск и та же убежденность человека декабристских настроений. А. Г. Строганов был один и тот же и на Урале, и в Веймаре, в гостиной Гете и в кабинете Николая Павловича.

Прочтя «Записку», мы понимаем теперь, почему Байрон мог разговаривать и дружить с одним из флигель-адъютантов Александра I, признаваемого им за предателя дела освобождения греков: он мог дружить потому же, почему этот флигель-адъютант после декабрьского «усмирения» и в годы торжества реакции мог писать Николаю I свой честный рапорт в защиту рабочих и в обвинение царских чиновников. Рапорт этот написан как будто рукою уцелевшего декабриста, которому дело раскрепощения крепостных рабочих было так же близко, как Н. Тургеневу дело раскрепощения крепостных крестьян.

«Разговор» Александра Строганова имеет все права на серьезнейшее внимание изучающих Гете. В нем обладаем мы одним из важнейших материалов для пересмотра «олимпийской легенды» о Гете,—пересмотра, который стоит на ближайшей очереди в науке о Гете и который—в этом нет сомнения—приведет к отвержению этой легенды.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Предполагаю, что это был Бьелке, гофмаршал веймарского двора, обычный чичероне русских, вверенных его попечению Марией Павловной.

[2] Bied., B. VIII, Lpz., 1890, S. 213—228, № 1435; во 2-м издании: Bied., B. IV, Lpz., 1910, S. 403—412, № 3010. Перевод М. А. Моисеевой (по 2-му изданию, исправленному).

[3] Bied., B. VIII, S. 407. Бидерманн выражал надежду, что обнародование дневников Гете поможет отыскать «русского графа» с фамилией С. из числа посетителей Гете.

[4] Bied., B. IV, S. 403; B. V, S. 182.

[5] Bied., B. V, S. 182.

[6] Bied., B. V, S. 432.

[7] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 17.

[8] Bied., B. II, S. 616, 618.

[9] «Р. А.» 1879, т. III, стр. 484.

[10] Письма к Вяземскому от 9 и 12 августа.—«О. А.», т. II, стр. 196, 198.

[11] Müller, S. 157.

[12] См. гл. VII, § 1.

[13] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 85; IV Abt., B. XXXVII, S. 157—упоминание об А. Строганове в письме к Августу Гете из Мариенбада от 6/VIII 1823 г.

[14] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 368.

[15] N., *Библиотека гр. Строганова в Томском университете.*—«*Русский библиофил*» 1914, т. II, стр. 5—10; на стр. 10—24 перечни редких изданий с воспроизведениями.

[16] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 89; B. XI, S. 116—119; IV Abt., B. XLIII, S. 98. И. К. Штадельман—камердинер Гете в 1817—1824 гг. Фр.-В. Швабе—лейб-медик в Веймаре. И.-Г. Ленц (1748—1832)—преподаватель минералогии в Иене.

[17] Пользуюсь списком «Sibirische Mineralien», предоставленным мне дирекцией Гётевского национального музея в Веймаре.

[18] Кн. П. В. Долгоруков, Российская родословная книга, часть 2-я. СПБ, 1855, стр. 211. Колено XI (сыновья Григория Александровича Строганова): 31. Сергей. 32. Николай. 33. Александр. 34. Алексей.—В. Руммель и В. Голубцов, Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II, 1887, стр. 354. Из литературы об А-дре Г. Строганове. «Р. Б. С.», том: Смеловский—Суворина. СПБ, 1909, стр. 484—485. «Отчет по Государственному совету за 1891 г.». СПБ, 1892, приложения, стр. 25—28.

[19] The works of Lord Byron. Vol. IV. Letters and Journals. L., 1900, p. 5—389.

[20] Е. В. Петухов, Письма В. А. Жуковского к канцлеру Мюллеру.—«Новый сборник статей по славяноведению». СПБ, 1905, стр. 339—341; Schorn, стр. 285—286.

[21] М. В. Нечкина, Из истории рабочего движения эпохи декабристов.—«История пролетариата СССР». Сборник II. Изд. Комакадемии. М., 1930, стр. 250—263. В «Записке» Г. А. Строганова заслуживает упоминания место, поражающее смелостью социальных сопоставлений: «Работник с семейством, состоящим из малолетних детей .или престарелых и увечных родителей, не пользующийся в сих заводах господским провиантом, за труды свои получает плату весьма недостаточную и на один сухой хлеб, следовательно имеет несравненно менее против производимого правительством пересыльным арестантам 9 и 12-копеечного в сутки содержания» (стр. 263).

Иными словами, Строганов сказал Николаю I, что каторжникам у него живется лучше, чем рабочим! В другом замечании: «ни малолетним детям, ни престарелым и увечным, не могущим исправлять работ, не доставляется никакого содержания»—Строганов пытался провести новую тогда мысль о праве детей и инвалидов труда на социальное обеспечение.

У своих современников Строганов пользовался репутацией человека чести и добра. Верный передатчик общей молвы К. Я. Булгаков называл его «человеком умным, благородным и расположенным к добру». («Р. А.» 1904, кн. I, стр. 407).

Глава седьмая

МОСКОВСКИЕ ЛЮБОМУДРЫ У ГЕТЕ

I. ВЕРТЕР AUS DER STADT MOSKAU

АРХИВНЫЕ ЮНОШИ И ЛЮБОМУДРЫ.—МОСКОВСКИЕ КРУЖКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 20-Х ГОДОВ.—ШЕЛЛИНГИАНСТВО И ГЕТЕАНСТВО ЛЮБОМУДРОВ И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ.—РАЗНОЧИНЕЦ СРЕДИ РЮРИКОВИЧЕЙ.—Н. М. РОЖАЛИН И Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ.—КН. В. Ф. ОДОЕВСКИЙ И ГЕТЕ.—ЛЮБОМУДРЫ И 14-Е ДЕКАБРЯ.—САЛОН З. А. ВОЛКОНСКОЙ И „КРАСНОВОРОТСКАЯ РЕСПУБЛИКА" А. П. ЕЛАГИНОЙ.—ПУШКИН И „МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК".—ОРГАН РУССКОГО ГЕТЕАНСТВА.—ЕГО ПРОГРАММА В СВЯЗИ С ПОСЛЕДЕКАБРЬСКОЙ РЕАКЦИЕЙ.—РОЖАЛИН В „МОСКОВСКОМ ВЕСТНИКЕ".—РОЖАЛИН—ПЕРЕВОДЧИК „ВЕРТЕРА".—РОЖАЛИН У ЖУКОВСКОГО И ЗА ГРАНИЦЕЙ.—ДВА ПИСЬМА РОЖАЛИНА О ПОСЕЩЕНИИ ГЕТЕ.—ГЕТЕ В ЖИЗНИ И ГЕТЕ В СКУЛЬПТУРЕ.—РАЗГОВОРЫ С ГЕТЕ.—НЕДОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ГЕТЕ И РОЖАЛИНЫМ.—РОЖАЛИН О ГЕРМАНИИ, О ГЕТЕ И О ФИЛОСОФИИ.—ПОСЛЕДУЮЩАЯ СУДЬБА МОСКОВСКОГО ВЕРТЕРА.

В самом начале 20-х годов около университета и немецкой философии уже перезнакомились между собою все будущие любомудры, «сок умной молодежи» дворянской Москвы. «Немецкая философия, и в особенности творения Шеллинга нас всех так к себе приковывали,—вспоминал впоследствии А. И. Кошелев,—что все наше время мы посвящали немецким любомудрам. В это время бывали у нас вечерние беседы, продолжавшиеся далеко за полночь. Наш кружок все более и более разрастался и сплотнялся. Главными самыми деятельными участниками в нем были Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин, кн. В. Одоевский, Титов, Шевырев, Мельгунов и я». К половине 20-х годов большинство этих любомудров вступило на службу в Архив Министерства иностранных дел. Архив прослыл средоточием «блестящей» московской молодежи, и звание «архивного юноши сделалось весьма почетным». Но «в это же время,—рассказывает Кошелев,—составилось у нас два общества: одно литературное, другое философское». Первое—известный кружок С. Е. Раича (1792—1855), где кроме любомудров бывали еще Ф. И. Тютчев, Н. В. Путята, Д. П. Ознобишин, А. С. Норов, Андрей Н. Муравьев и др., а почетными гостями являлись лица в роде московского губернатора кн. Д. В. Голицына, министра в отставке И. И. Дмитриева и др. «Другое общество»,—наоборот,—«собиралось тайно, и об его существовании участники никому не говорили». Это был, в тесном смысле слова, «кружок любомудров», насквозь философический. Этот отсев из более широких и емких закромов—архивного и раичевского—выдержали только: кн. В. Ф. Одоевский, Ив. В. Киреевский, А. И. Кошелев и Д. В. Веневитинов, пятым был Николай Матвеевич Рожалин (1805—1834) [1].

Имена четырех первых любомудров широко известны. Рожалин—одна из наименее освещенных фигур в истории русской литературы. Московские любомудры, как и архивные юноши, вербовались из отпрысков старых дворянских фамилий, из рюриковичей с княжескими титулами. Рожалин был по паспорту дворянин, но дед его был киевский бурсак, променявший бурсу на петербургский «гошпиталь»: он учился медицине в Лейпциге и Берлине и, что всего примечательнее, на собственный кошт, вернулся doctor'ом, преподавал materiam medicam в петербургском госпитале и стяжал себе даже научное имя. Отец Рожалина шел уже столбовой медицинской дорогой и в 20-х годах был ординатором в московской Мариинской больнице, где служил вместе с отцом Достоевского [2]. Таким образом Н. М. Рожалин был птенцом одного из первых гнезд русской разночинной интеллигенции. В его умственном облике есть много черт, связывающих его с его родной средой, которая одна в России начала XIX ст.

соприкасалась с научным естествознанием. Кн. В. Одоевский звал его «скептиком». Рожалин в 1824 г. блестяще окончил Московский университет со степенью кандидата. Из него мог выйти замечательный филолог-классик и историк искусства. Он жил уроками и переводами. Он славился как преподаватель. Как рассказывает К. Полевой, в 1825 г. Московский университет присудил золотую медаль «одному князю за диссертацию на тему об эстетическом развитии греков и римлян, хотя все знали, что эту диссертацию писал не сам молодой князь, а по заказу его кандидат Рожалин, славившийся своими способностями» [3].

В кружок Раича и в содружество любомудров Рожалин вошел одной тропой с Дм. В. Веневитиновым: они были близкие друзья. Веневитинов дважды обращался к нему с посланиями, в которых высоко ставил дружбу и личность Рожалина.

Кружок любому́дров собирался, по словам Кошелева, «в двух тесных коморках молодого Фауста», квартировавшего в доме Ланской, по Газетному переулку,—у Вл. Одоевского. «Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окэн, Горрес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения, но всего чаще беседовали о прочитанных нами творениях немецких любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед, христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше евангелия и других священных писаний» [4]. В этой любви к пантеизму Спинозы московские юноши были близки к Гете. Любомудрие—«наука наук»,—выражал Одоевский в «Мнемозине» общее мнение пятерых,—ибо в нем «живая связь всех наук». «Изучению какой-нибудь о с о б е н н о й части должно предшествовать познание в с е о б щ е г о чертежа наук» [5]. С успехами любомудрия московские юноши связывали самое бытие русской культуры: «Причина́ тому, что мы до сих пор и в искусстве, и в науках—только подражатели, есть презрение к любомудрию» [6]. Отсюда и убеждение любомудров в своем призвании: их «свежим, неиспорченным силам поручено быть может охранение и образование столь высокого дела»—насаждения в России философской культуры [7]. С наивностью юности, «безмятежно расцветшей» в стеклянных теплицах дворянской крепостной культуры, любомудры были убеждены в том, что выразил их Фауст из Газетного переулка: «Представьте только Истину во всем свете людям, и они предадутся ей, ибо она родная душе человека». «Сие самое,—поясняет Одоевский,—исполнилось теперь с философией Шеллинга» [8].

Юноши весьма «благоразумно» огородили свое невинное дворянское «любомудрие» тайной: в эпоху Фотия и Аракчеева и крайний идеализм мог казаться деянием противоправительственным. Еще в 1821 г. М. Магницкий подал донос на благонамереннейшего И. И. Давыдова, обвиняя его в следовании «богопротивному учению Шеллинга», основу коего составляют «вольнодумство и разврат»: «веру заменяет она (философия Шеллинга) знанием, таинственные символы—естественными изъяснениями; под видом идеализма проповедует она самый грубый материализм» [9]. Невиннейшее теплично-дворянское содружество любомудров оказывалось противозаконным, тем более, что в 1822 г. последовал указ «об уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ».

Позиция Рожалина в его дружеской философической среде была своеобразна. Вряд ли он разделял до конца все мистические чаяния и идеалистические упования своих друзей. В одной из папок с неизданными рукописями В. Одоевского П. Н. Сакулин нашел отрывок, озаглавленный «Наука инстинкта—ответ Рожалину»—прямой след разногласий между председателем кружка и его членом по важнейшему вопросу сознания. Одоевский старается убедить «скептика», что существует верховное начало человеческой жизни и что есть в человеке «внутреннее чувство». «Это чувство развитое составляет основание нравственности» [10]. Очевидно «скептик» Рожалин в какой-то мере отрицал и то и другое, и власть над



Н. М. РОЖАЛИН
Силуэт работы П. В. Киреевского из альбома А. П. Елагиной
Собрание Беэр, Москва

ним идеалистического любомудрия была более тверда лишь в областях гносеологии и эстетики.

Вера в универсализм философии и сверхуниверсализм системы Шеллинга заставляла любомудров умалять искусство в угоду философии. На это умаление шел—и круче других—даже Д. В. Веневитинов, сам истинный поэт. В своем диалоге «Анаксагор» он подвергает поэтов остракизму из идеальной республики, так как поэты «наслаждаются в собственном своем мире» и «уклоняются от цели всеобщего усовершенствования». «Философия есть истинная поэзия» [11]. «Обилие поэтов,—утверждает поэт,—есть признак легкомыслия народа» [12]. Нельзя быть последовательней! Но у этого поколения молодежи, как у Фауста, не одна, а «две души жили в груди»: одна «душа» жила туманами идеалистической философии, другая—солнечным миром поэзии Гете. Веневитинов сам наметил тот мост, по которому можно было от Шеллинга перейти в запретную область поэзии: «Истинные поэты всех народов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения» [13]. Этот двойной венец поэта и мыслителя сиял, в глазах Веневитинова, только на голове Гете. Ни Байрон, ни Пушкин им не обладали: вероятно они были бы изгнаны из строгой

республики любомудров. В своем известном послании к Пушкину Веневитинов говорит о Гете:

Он наш,—жилец того же света;
Давно блестит его венец,
. . . . . .
Наставник наш, наставник твой...

Последнее неверно: Гете не был наставником Пушкина, но первое верно: Гете был избранником и наставником этой философической молодежи. «Пророк свободы смелой, тоской измученный поэт» Байрон не был властителем ее дум, и, помянув его и А. Шенье в послании к Пушкину, Веневитинов обратился не к ним, а к одному Гете: «наставник наш». Гетеанство Веневитинова общеизвестно: в его собственной лирике есть прямые отзвуки философического лирического волнения, порожденного лирикой Гете, и особенно «Фаустом»; он успел перевести «Земное странствие художника» и «Апофеоз художника» и мечтал перевести «Фауста»; ранняя смерть ограничила этот перевод отрывками.

Веневитинов так же возглавлял гетеанство любомудров, как Одоевский возглавлял их шеллингианство: оба они влияли на сотоварищей в этих двух направлениях. Это предпочтение Гете всем поэтам своего времени, столь решительное у любомудров в 20-х годах, сохранилось у них навсегда. В 1837—1839 гг. В. Одоевский написал свою утопию «4338-й год». Оказывается, в 4338 году один ученый пожалуется: «Вот, например, хоть слово н е м ц ы; сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла», а другой ученый утешит его: «Немцы были народ, обитавший на юг от древней России: это, кажется, доказано». В конце концов потомков этих «немцев» покорили «дейчеры—народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта Гете» [14]. Так, и в 4338 году—по мнению верного любомудра,—когда спорным станет даже самое имя германцев, сохранятся стихи Гете: у времени не поднимется рука на него одного.

Шеллингиански-гетеанский путь любомудров пресекся в своем ровном развертывании только однажды—в 1825 году, в эпоху, когда, по припоминанию А. И. Кошелева, «чуть не все беспрестанно и безумолку осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие»,—конечно молодежь,—«пламенно ее желали». В начале 1825 г. Кошелев встретился у своего родственника М. М. Нарышкина с Рылеевым, Пущиным, Е. Оболенским и другими декабристами и полученный от них политический заряд тотчас передал друзьям. В тот же день они много «толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления». Вследствие этого они «с особенной жадностью налегли на сочинения Бенжамен Констана, Ройэ-Коллара и других французских политических писателей», и на время немецкая философия сошла у них «с первого плана». «Первые известия о 14 декабря» произвели на любомудров «потрясающее впечатление»... Кошелеву даже показалось, «что для России уже наступил великий 1789 год... Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и компанию [нужно бы включить сюда и Гете]—ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали» [15]. Веневитинов даже был ненадолго арестован в связи с сыском по декабрьскому делу.

Но очень скоро политическая вспышка любомудров погасла: она сменилась испугом. В атмосфере после декабрьских страхов они прикрыли свой кружок и сожгли его протоколы. Это было так же естественно, как мало естественна была внезапная страсть к политическому фехтованию. Гетеанцам и шеллингианцам оно было не к лицу. В философии эта дворянская молодежь уходила в слишком густые туманы, чтоб можно было пробиться сквозь них к тому живому историческому делу, которое пытались сделать декабристы: туманы шеллингианства являлись для этого слоя дворянской интеллигенции дымовой завесой, за которой делались как бы «несуществующими» для этих философических дворян те социальные и политические явления русской жизни, которые вызвали политическое выступление декабристов. Гетеанство только укрепляло эту позицию любомудров. Чрезвычайно показательно для их политического лица то, что они противопоставляли Гете Байрону. Байрон был любимым певцом декабристов, Гете пользовался у них несравненно меньшим признанием [16]. Любомудры, наоборот, и до декабря, и особенно после декабря стоят на стороне Гете, а не Байрона. Они чрезвычайно ценят «олимпийство» Гете, его эстетический консерватизм, именуемый объективностью: по их мнению, Байрон—весь в злобах дня и в бореньях чувств, весь в живой и преходящей текучести; Гете—наджизнен, наддневен и весь в неколебимой объективности бытия, не нуждающегося ни в каких переменах и бурях. Более того: Гете космичен. Он почти то же, что природа. Байрон психологичен. Он—почти то же, что случайность мятежа человеческих чувств и действований, а, значит, и случайность революции.

Таков смысл тех обычных в кругу любомудров противопоставлений Гете Байрону, которые нашли себе обширное место на страницах «Московского Вестника», но начались еще ранее. Еще в 1825 г. Рожалин вел в этом духе полемику с Н. А. Полевым. В «Московском Телеграфе» Полевой поддерживал декабристскую традицию освободительного байронизма и резко отмежевался и от Пушкина, когда заприметил в его новых созданиях отход от этой традиции.

Рожалин вместе с Веневитиновым вмешался в спор с Полевым по поводу I главы «Онегина». Полевой неосторожно обронил фразу: «Род, к которому принадлежит роман, есть тот самый, к которому принадлежат поэмы Байрона и Гете» [17]. Сопоставление имен Байрона и Гете с Пушкиным вызвало взрыв споров: с кем же Пушкин—с Байроном или с Гете? Кто он—романтик или классик? Субъективист или объективист? Полевому пришлось уточнять свою мысль [18],—и тут-то напал на него Рожалин в «Вестнике Европы». Он заподозревал у Полевого знание Гете: «Полевой полагал, что «Онегин» написан вроде «Дон Жуана» и «Беппо» и что у Гете есть подобные поэмы», «которых я,—язвительно замечал Рожалин,—к сожалению, не нашел в своем полном издании». «Г. Полевой [в попытке найти определение романтизму и классицизму] выставляет в пример ясного определения слова Ансильона о характере Гете и Шиллера: будто бы в творениях первого отражается вся природа, а в творениях последнего сам Шиллер. Изображать природу!—думал я,—если природа отразилась в творениях Гете, то не должна ли она была отразиться сперва в нем самом? Как мог выразить Шиллер себя самого, как не посредством той же природы?—«Изображая себя, Шиллер дал характер односторонности своим поэмам».—Мне кажется, что причина тому не в предмете творений, но в самом творце. Гете так же отражается в своих поэмах, как и Шиллер: в них виден он сам, а не кто

другой. Если Шиллер односторонен, а Гете нет, то сие потому, что последний получил от природы гений, ей самой равносильный, который в Природе видел самого себя и в бесконечном разнообразии и поэтому для всех идей своих находил в ней явления, для всех чувств своих—живую аллегорию—дар, которого не имел Шиллер в такой высокой с т е п е н и, и потому, это правда, остался ограниченнее в своем взгляде» [19].

В этом полемическом выступлении у Рожалина место Байрона заступает Шиллер. Объективист Гете представлен здесь равным величайшей объективистке—Природе: что Гете, что Природа—одно. Поэтому все, что вне Гете, оказывается стоящим как бы вне природы: ему остается удел шаткости, приблизительности, произвольности, случайности. Таким путем всякое высказывание и каждый поэтический образ Гете приобретают нормативный, императивный характер в противоположность произвольным образам и ни для кого не обязательным высказываниям Шиллера и Байрона.

Рожалин говорит как будто то же самое, что и Полевой, который также ведь признает, что в Гете отражается природа, в Шиллере—лишь он сам; на деле же Рожалин прямо-таки космизирует Гете: не природа в нем отражается, а он сам—гений, «ей самой равносильный». Мир творчества Гете общеобязателен, как мир природы, тогда как идеи и образы Байрона и Шиллера—лишь игра и произвол случайности. Это—крайнее гетеанство, но это же и крайний консерватизм. Гете заполняет всю область человеческого творчества, и всякий бунт против Гете—бунт против природы. Вся наличность олимпийского вседовольства и политического консерватизма Гете делалась общеобязательной при такой равновеликости Гете и природы. «Наставник наш»—Гете—был действительно наставником любомудров в области искусства, и роль этого наставника была схожа с ролью другого «наставника»—Шеллинга—в области философии. «Вседовольство» гетеанского олимпийства помогло им принять последекабрьскую действительность точно так же, как мистическая завеса шеллингианства позволяла им не видеть торжества политической реакции в эпоху капитуляции дворянской интеллигенции перед правительством Николая I.

Пушкин—отличный судья в этом деле. Он, как известно, недолюбливал немецкую философию и не очень горячо относился к Гете, но в эпоху своего «примирения» с николаевской действительностью 30-х годов признал: «влияние ее [немецкой философии] было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения» [20]. Нельзя сказать точнее: Шеллинг и Гете удержали эту московскую дворянскую молодежь от участия в декабрьском восстании и ввели ее в то русло николаевской реакции, в которое Пушкин тщетно нудил себя войти.

После декабрьской вспышки любомудры спокойно и последовательно возвращаются к своей философии и гетеанству. У них уже нет обособленного кружка, но есть два места преимущественных встреч и собеседований: дом кн. З. А. Волконской и дом Авдотьи Петровны Елагиной. В первом больше музицировали и занимались поэзией, во втором больше философствовали и гетеанствовали. Салон кн. З. А. Волконской Вяземский называл «волшебным замком музыкального мира», гостиную А. П. Елагиной, где встречались несколько поколений русской литературы, прозвали «республикой привольной у Красных ворот». Племянница и друг Жуковского, Авдотья Петровна бывала и его эстетическим цензором: он доверялся ее

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ
Акварельный портрет неизвестного художника из альбома А. П. Елагиной
Собрание Беэр, Москва



вкусу, признавая, что у ней «чудное чутье поэзии, да и по-русски пишет она, как никто» [21]. Ее литературные вкусы отразили художественные влечения Жуковского: она была давней читательницей и почитательницей германских поэтов, и в конце 30-х годов мечтала вместе с сыном, Ив. Киреевским, перевести все романы Гете для издания Жуковского, которому не суждено было осуществиться. Она умела быть молодой среди товарищей и друзей своих сыновей и повидимому ближе всех ей был Рожалин, юноша из чуждой среды: он был ей дорог как сын и как новобранец германской философическо-эстетической культуры. Муж Авдотьи Петровны, А. А. Елагин, был человек философски образованный; он был одним из тех русских усадебных европейцев, которые окончательно повернулись лицом к Кенигсбергу Канта и Веймару Гете, отвернувшись от «устарелого» Фернея. Из заграничных противонаполеоновских походов он привез в белевскую усадьбу «Критику чистого разума», потом смененную на сочинения Шеллинга, и на сельском досуге переводил шеллинговы письма о догматизме и критицизме [22]. В литературных своих симпатиях он также был на стороне Германии и непрочь был от меценатства гетелюбивым начинаниям любомудрой молодежи.

Литературное поколение декабристов ушло на виселицу и в Сибирь, и на его место поспешило встать поколение любомудров. Погодинский альманах «Урания», вышедший из раиче-веневитиновского окружения, поспешил в 1826 г. заменить загашенную «Полярную Звезду» Бестужева и Рылеева. Успех «Урании» побудил веневитиновцев приняться за второй— «Гермес», но он должен был стоять еще дальше от современности, чем первый: «Гермес» весь посвящался переводам из классиков. Выбор материала обнаруживал устойчивое веймарианство: Погодин сел за «Геца фон Бер-

лихингена», Веневитинов—за «Эгмонта», Шевырев—за то, что Гете высоко ценил в театре Шиллера,—за «Валленштейнов лагерь» (известно, что многие эпизоды его подсказаны Шиллеру Гете, а кое-что принадлежит перу самого Гете), Рожалин переводил шиллерова «Мизантропа». Предприятие выказывало большой эстетический вкус любомудров, но малую политическую опытность: половина переводимого была нецензурна: «Эгмонту» долго пришлось дожидаться права заговорить по-русски (лишь отрывки, переведенные Веневитиновым, вошли в 1831 г. в его посмертную «Прозу»), а «Валленштейнов лагерь» полностью разрешен был лишь в 1858 г.

В самый разгар работы над «Гермесом», осенью 1826 г., в Москву вернулся Пушкин из своего михайловского изгнания и познакомился с веневитиновскою молодежью. По посланию Веневитинова видно, что молодежь не нашла в нем поклонника и ученика Гете, а по отзывам Пушкина видно, что он, хоть и согласен был с тем, что пред ним «сок умной молодежи», но «сок» этот казался ему слишком насыщенным философической эссенцией. Молодежь стремилась уже не келейно, а печатно и журнально философствовать и гетеанствовать и была настолько практична, что, поняв, что журнал с одним Шеллингом и Гете в переводах, подражаниях и отзвуках не мог бы найти читателей, позвала Пушкина для приманки читателю. Для Пушкина участие в «Московском Вестнике» любомудров было также делом чисто практическим: «Полевой, Погодин, Сушков, Завальевский, кто бы ни издавал журнал, все равно. Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно. Мы слишком ленивы, чтоб переводить, выписывать, объявлять etc., etc.» [23]. Так откровенно писал Пушкин Вяземскому—и в «Московском Вестнике» видел такой «один журнал», а «переводить, выписывать, объявлять» предоставлял Веневитинову с товарищами. Однако «переводить» предпочитали они только из Гете и немцев философических или почти философических, а «объявлять» умели они так плохо, что Пушкин скоро разочаровался в них и в журнале и с 1828 г. являлся в нем скорее случайным гостем, чем главным сотрудником. «Московский Вестник» явился журналом Гете, а не Пушкина, и такой характер гетеанского и философического органа сохранял до тех пор, пока, под единоличной редакцией Погодина, не превратился в складочное место для материалов по русской истории и археологии [24].

Гете явился на первых же страницах своего русского журнала.

Отдел стихов первой части журнала был украшен «монологом Фауста в пещере» («Всевышний дух! ты все, ты все мне дал...») в переводе Веневитинова. В отделе «Наука» помещена статья «Характер Гамлета (из гетева романа—Вильгельм Мейстер, гл. 3 и 13, кн. IV)», переведенная Ш[евыревым]. Это была своеобразная отповедь Полевому: примечание П[огодина] гласило: «В отрывке из путешествия Жуковского, помещенном в первой книжке «Телеграфа», мы прочли мнение Тика и Жуковского о Гамлете. В предлагаемом отрывке читатели узнают мнение Гете о великом произведении Шекспира». Проза третьей части нового журнала открывалась повестью Гете «Вот где был предатель»—переводом Рожалина из первого издания (1821) еще незаконченных тогда «Годов странствования Вильгельма Мейстера». В отделе «Наука» Шевырев дал «Разговор об истине и правдоподобии в искусстве (из Гете)», а в отделе «Смесь» содружество любомудров, столько сил и времени отдавшее дружбе и искусству, спешило сообщить русскому усадебному читателю, что думает Гете «о дружбе» и «об изящном» [25]. Так от «Стихов» до «Смеси» во всех отде-

лах нового журнала засиял усилиями Веневитинова, Рожалина, Шевырева солнечный гений Гете. Очень часто литературный вкус или выбор Гете сказываются в «Московском Вестнике» там, где их и не ожидаешь. Целый ряд заметок о примечательных книжных новинках Запада Рожалин переводит для «Московского Вестника» из «Globe», постоянным читателем которого был Гете, признававшийся Эккерману: «Я причисляю «Globe» к самым интересным газетам и не могу без него обойтись» [26]. В 20-х годах производит в Европе сильное впечатление китайский роман «Ю-Киао-Ли или двоюродные сестры». Сам Гете зачитывается им, признаваясь, что роман «кажется ему в высшей степени замечательным» [27], и Рожалин в том же 1827 г., когда читал его Гете, знакомит с ним русского читателя [28]. В Германии пробуждается интерес к поэзии и философии Индии, так ярко выраженный у Гете его письмами к Уварову, и Рожалин помещает перевод двух статей Герена о Рамайяне и Магабарате [29]. В журнальных заметках Рожалина мелькает имя Гете. Так в рецензии на «Северные Цветы» на 1827 г. он прибегает к сравнениям из Гете: «Картину, такую же очаровательную, какую представляет нам «Герман и Доротея» гетева»; ссылку на «Душеньку» Богдановича, как на пример poésie legère, он парирует указанием: «не мешает знакомиться ни с одной литературой, и из произведений Виланда и Гете найдутся многие, столь же игривые и непринужденно-веселые, как «Душенька» [30]. На этом примере, взятом из работ одного только Рожалина, хорошо видно, до какой степени гетеанство прослаивало и пропитывало весь материал, даваемый журналом. Еще ярче это было заметно на работе Шевырева в «Московском Вестнике», о чем речь будет дальше. Если философическая программа «Московского Вестника» была проникнута шеллинговским идеализмом и была далека от спинозизма, близкого Гете и некогда привлекательного и для любомудров, то его эстетика и поэтика покоились на Гете. Этим объясняется обилие переводов тех отрывков из Гете, где он является теоретизирующим эстетиком. Собственные опыты любомудров в этом роде питаются Гете как источником, хотя в иных случаях и уклоняются на тропу немецких романтиков. В журналистике 20-х годов «Московский Вестник» стоит на твердой и политически очень благонамеренной позиции гетеанства, в то время как гораздо менее благонамеренный «Московский Телеграф» Полевого, сохраняя пиэтет к Гете и знакомя читателей с его произведениями, отстаивает более левые позиции французского романтизма. Возможно, что некоторый гетеанский налет на журнале Полевого появляется не без воздействия конкурирующего журнала любомудров: Полевой дал своим читателям и несколько переводов из Гете, и его портрет, рисованный, так же как портрет «Московского Вестника», русским художником (Г. Афанасьевым).

Д. В. Веневитинов умер 15 марта 1827 г., и его любовь к Гете, которою он заразил друзей по любомудрию, не успела еще надеть на него котомку путника в Веймар.

Первый из любомудров, кто пожелал ее надеть, был его ближайший друг, давний и тесный собеседник Николай Рожалин.

В жизни и личности этого юноши было не мало такого, что —по примеру Андрея Тургенева—делало его гетеанство вертерьянством.

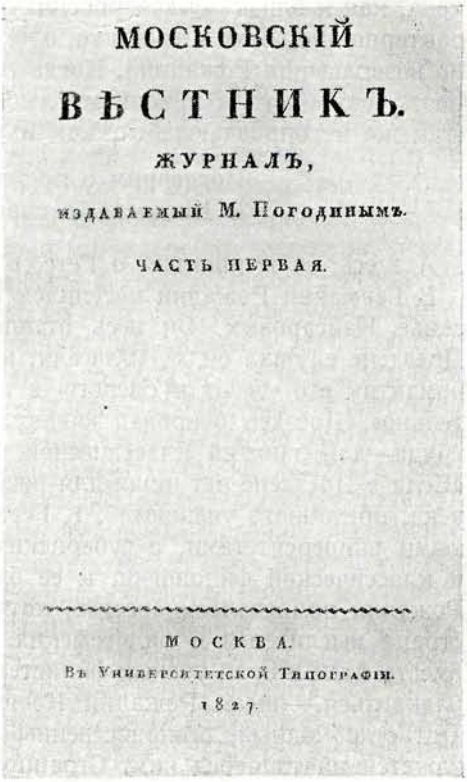
«Вертер» был настольной книгой Рожалина. Гете точно к Рожалину обратился в предисловии к «Вертеру»: «А ты, добрая душа, которая чувствуешь ту же тоску, что он, найди свое утешение в его страданиях и сде-

лай эту книгу своим другом, если, по несчастью или по собственной вине, ты не можешь найти ничего более близкого». Рожалин поступил по совету Гете. «Выбор этой книги,—говорит Колюпанов, сохранивший от Кошелева живое предание о Рожалине,—конечно не случайный: героя несколько напоминал характером и сам Рожалин—впечатлительный, отыскивающий идеальных привязанностей, часто переходивших в разочарование и наполнявших его душу страданием» [31]. Друг Рожалина Ив. Киреевский в письмах 1830 г. к матери вдумчиво подмечал в нем эти вертеровы черты выстраданного одиночества и замкнутости: «Уединение может сделать его не то что мизантропнее, а людебоязненнее, хотя он способен к тому и другому». «Видно у Рожалина были добрые приятели, которые так его ласкали иголочками, потому что мы до сих пор не можем навести его на прежнюю колеину». Только в сердечном тепле елагинского дома и узкого круга друзей Рожалину «жить можно спустя рукава и расстегнувши грудь, не боясь, что приятели в нее воткнут не кинжал (это бы слава богу), а иголку, которую заметишь только по боли» [32]. «Вертер» как своеобразная исповедь, схожая с исповедью «Вертера» другого исповедника, Андрея Тургенева, переживался в одинокой комнате Рожалина, а как создание переводческого искусства вынашивался в «красноворотской республике» Елагиных. Рожалинский перевод «Вертера»—важный памятник русского гетеанства. Между неосуществленным до конца переводом Андрея Тургенева и переводом Рожалина «Вертер» оставался в числе любимейших книг русского читателя: недаром над ним плакала пушкинская Татьяна (глава III, строфа IX). Но он нашел себе и нового читателя, проникая в новую, уже не дворянскую среду: недаром в проселочных гостиницах русских захолустий висели в 20-х годах картинки, изображающие «Историю Шарлотты и Вертера» [33].

Двум созданиям Гете естественнее всего было получить русскую одежду из рук московских юношей-любомудров—«Вертеру» и «Фаусту»: они были Вертерами по возрасту и характеру, Фаустами—по «томлению духа» и философическим чаяниям. Смерть помешала Веневитинову закончить «Фауста», но подождала, пока Рожалин закончит «Вертера» и посетит Гете как московский Вертер.

Перевод «Вертера» нашел издателя в лице А. А. Елагина и вышел в Москве в двух частях (1828—1829 гг.) без имени автора. Перевод имел большой успех, и через год понадобилось его новое издание. Каждое поколение конца XVIII—начала XIX ст. обладало своим «Вертером», и «Вертер» Рожалина принадлежит к числу изящнейших по языку и философической четкости перевода. Рожалин был уже за границей, когда издание его друзей попало ему в руки. Растроганный переводчик писал А. П. Елагиной: «Шевырев показывал мне ваше письмо к нему; там сказано между прочим: «теперь боюсь и спросить, как издание «Вертера» ему нравится». «Вертер» меня очень обрадовал. Издание мне очень нравится. Шевырев мне сказывал, что вы перевели сами некоторые письма, которые были мною пропущены; я избил весь свой экземпляр, чтобы найти, раз сто перечитал их; увы! напрасно, все кажется мое; назовите, ради бога, эти письма». Рожалин просил выслать все, какие есть, плохие отзывы: «не бойтесь огорчить меня: мне это знать нужно». Но плохих отзывов не было [34].

В конце мая 1828 г. Рожалин выехал из Москвы. Он вез с собой пук рекомендаций от кн. З. А. Волконской в европейские столицы. В Петербург он приехал с письмом А. П. Елагиной к Жуковскому. Еще в конце



МОСКОВСКІЙ

ВѢСТНИКЪ.

ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ М. Погодинымъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МОСКВА.

Въ Университетской Типографіи.

1827.

Титульная страница первого номера „Московского Вестника“ 1827 г.

Здесь были напечатаны „Монолог Фаустов в пещере“ в переводе Д. Веневитинова и „Характер Гамлета“ из „Вильгельма Мейстера“ в переводе С. Шевырева

Исторический Музей, Москва

1827 г. она писала ему про Рожалина, что «он знает хорошо по-немецки, французски, латыни, гречески, итальянски; перевел Гете «Эгмонта» и «Вертера» два года тому назад, как только мог бы сам Гете, Heern'a, как бы сам Heern» [35], и добивалась через Жуковского, чтоб Рожалина послали за границу готовиться к профессуре. Теперь она желала, чтобы он получил с помощью Жуковского хорошую подорожную в Веймар. «Мне душевно жаль,—писал ей Жуковский после свидания с Рожалиным,—что он был для меня минутным явлением. Он мне очень понравился. Мы побеседовали дружески. И я очень рад, что узнал его. Ваше приказание исполнено: я дал ему письма в Дрезден, Веймар и Берлин. Буду рад его возвращению и встречу его как старого знакомца» [36].

Трудно было бы найти для Рожалина лучшего напутственника в Веймар, чем знаменитый переводчик «Лесного царя», знакомец Гете, друг канцлера Мюллера. «Удивительный человек!—писал Рожалин Елагиной.—Он выше своей поэзии, а этим, кажется, не мало сказано. Он дал много наставлений на путешествие, письмо к Мюллеру, который кажется познакомит меня с Гете» [37]. Уезжая в чужие края, Рожалин признался А. А. Елагину: «Мне жаль оставить некоторых здешних, но я рад, что уезжаю отсюда: в Германии и Италии надеюсь найти больше тишины и больше мыслей в голове своей; с их запасом приеду к вам, вы им порадуетесь, и мы воротимся к нашим спорам о женщинах, о Гете, о назначении человеческом. Я помню обещание, вам данное, и кажется исполню его: учиться, по крайней мере, будет главною моею целью в путешествии» [38]. Это прощальное письмо характерно и для корреспондента, и для адресата: он пишет к отчиму своих сверстников, пожилому другу декабриста Батен-

кова, как к близкому совопроснику и старшему товарищу, и не менее характерно для эпохи и среды то, о чем собираются они дружески беседовать по возвращении Рожалина. Когда-то Пушкин так же тешил себя и друга-поэта, склонного к немецкому любомудрию, надеждой на тесную беседу (так же не оправдавшейся, как и надежды Рожалина):

Поговорим о прежних днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

А здесь: «о женщинах, о Гете, о назначении человеческом».

В Германии Рожалин поселился в Дрездене преподавателем в русской семье Кайсаровых. Он весь отдался науке, философии, искусству. В Дрездене слушал он А. Шлегеля, но признавался, что философствующий романтик его «бесит и смешит» и вообще «читает не довольно соблазнительно». Дрезден очаровал юношу, искавшего тишины для умственного труда—для занятий классической филологией, древностями и историей: «Если в Дрездене нет пищи для рассеянности, то много пособий для человека, преданного учению» [39]. К Германии, к ее тихим городам со старинными университетами, с губернскими и уездными кафедрами философии и классической филологии, к ее библиотекам и музыкальным ферейнам Рожалин привязался навсегда, хотя вовсе не закрывал глаз на то, что страна мыслителей и философских кафедр на проселочных дорогах есть вместе с тем и край ученых филистеров и самодовольных мещан. «Не могу надивиться,—писал Рожалин Кошелеву,—что всех вас, русских, тянет этот старомодный, безнравственный, пустой Париж и что весь мир вам кажется ничто перед ним. Странно также, что люди, как мы, не могут понять и вкусить моей Германии... Киреевский говорил тебе, что я немцев ненавижу, а Шевырев, что обожаю! Знаете ли, что и то и другое почти правда? Я, точно, не совсем люблю н е м ц е в, хотя и уважаю их за многое, но Г е р м а н и я так согласна со мной во всем, что я не могу вообразить земли, где бы здоровый и больной человек могли жить уединеннее, покойнее, довольнее собой и даже веселей» [40]. Это отношение к немцам и к Германии русский любомудр выразил и Шевыреву: «Бесценная вещь немецкие университеты», писал он ему в 1830 г., но, соглашаясь с Шевыревым, что в немецкой учености есть «какая-то жесткость, сухость, холодная геометричность», остерегал приятеля насчет пошлого мещанства рядовых немецких ученых: «Пуще всего, приедешь в Германию, не сходись сейчас ни с одним профессором: здесь будут тебя мерить не по душе, а 1) по чину, 2) по деньгам, 3) по числу слов, которые знаешь наизусть» [41].

Немецкой науке Рожалин отдался с таким усердием и успехом, что друзья и все, кто знал его, чаяли, что из него выйдет второй Винкельман.

Рожалин прожил целый год в Германии, а подорожная в Веймар, письмо Жуковского к канцлеру Мюллеру, лежала у него втуне. Погруженный в науку, связанный с чужой семьей, в которой давал уроки, стеснительный и все более замыкавшийся в себе, как Вертер после великосветского столкновения, он может быть и не воспользовался бы ею, еслиб не приезд Шевырева и кн. З. А. Волконской. С нею и с Шевыревым вспомнить Веневитинова в Германии—значило ощутить его тягу к Гете и повторить его гетеанские заветы. Шевырев и Волконская просто увезли с собою Рожалина в Веймар, прихватив и его подорожную. От 12 мая 1829 г. уже сохранилась отметка канцлера Мюллера: «Княгиня Зинаида Волконская из Петербурга. Гг. Шевырев и Рожалин, молодые поэты и литераторы из Москвы» [42].

Через 11 дней, 23 мая, из своей заваленной классиками комнаты в Дрездене Рожалин писал А. П. Елагиной:

«Волконские с Шевыревым были у Гете. Что ж, был ли я? спросите вы с досадою. Мне не хотелось представляться ему, но, будучи в Веймаре, жаль было и не видать его; я просил княгиню взять меня с собою в виде лакея, но она заупрямилась и потащила меня в качестве несчастного переводчика Вертера. В этой крайности трусость Шевырева придала мне духу: я отчаянно вооружился наглостью и смело влетел к старику. Он стоял посреди своей гостиной с важным министерским видом, но, увидя нашу гурьбу, сам испугался, и нужно было все искусство княгини, чтобы посадить его в свою тарелку. Впрочем, на этот счет ее предупредили: он всегда бывает очень робок с иностранцами. Мы сидели у него с лишком час. Я мог вдоволь насмотреться на него, ибо меня посадили с ним рядом. Его черты врезались у меня в памяти. Профиль при маленьком особенном издании Вертера чрезвычайно похож, но не выражает и не мог выразить живости его физиогномии; портрет Кипренского также похож, только, думаю, в эдаком положении едва ли кто-нибудь видел голову Гете. Он очень важен, и тотчас можно заметить, что необыкновенно раздражителен. Взгляд его невыносим и даже неприятен, может быть оттого, что темные глаза его обведены какими-то странными светлосерыми кругами и кажутся птичьими. Я видел три бюста его, сделанные в разные времена: один, когда Гете был в Италии, лет тридцати, неописанно хорош. Как идет к нему этот убор кудрей, бывший тогда в моде! Стоит сличить эту голову с бюстом Байрона, который стоит почти рядом, чтобы увидеть, который из двух поэтов был прекраснее и собою, и гением. Другой бюст представляет Гете лет сорока с лишком, и тут совсем другое выражение: та же голова иначе стоит на плечах, те же черты сжались, и во всем лице есть что-то резкое и важное. В третьем он уже старик, похож на теперешнего, но все еще редкая голова. Что ж вам сказать про теперешнего Гете? Он говорил много о Наполеоне, с которым был хорошо знаком, сказал, что он возил его «Вертера» всегда с собою. Но дело не дошло ни до чего важного, ни до чего такого, где бы Гете мог сколько-нибудь обнаружиться. Говорила больше княгиня, чем он: видно было однакож, что он, вопреки здешним общим слухам, сохранил еще довольно свежести ума и много здоровья. Он сам себя лелеет и бережет, а его берегут еще больше: обе герцогини, старуха и наша великая княгиня, бывают у него аккуратно каждую неделю, сам же он почти никуда не выходит. Сказывать ли вам, что он сделал мне честь осведомиться, куда я еду, и обратиться ко мне с некоторыми вопросами, между прочим, переведен ли у нас Байрон, и кем и как? Шевырев не имел этой чести, зато любезничал с его belle-fille, дурной собою, но разговорчивой и любезной, и выгода едва ли не на его стороне. Мы пошли осматривать его антики и бюсты. Гете не провожал нас, но через Мюллера, который, будучи канцлером Веймарского государства, есть вместе и его канцлер, пригласил меня на другой день к себе. Я не отвечал ни да, ни нет; Оттилия, belle-fille de Göthe, повторила мне это приглашение, Мюллер обещал, что Гете будет весьма любезен, и даже сердился за мою нерешимость, но княгиня должна была ехать через несколько часов из Веймара; мы с Шевыревым рассудили, что я без них натоскуюсь один-одинехонек; к тому же мне не хотелось более отсутствовать у Кайсаровых; билет в дилижанс был для меня уже взят; я благодарил за приглашение и на другой день в 2 часа утра поскакал в Лейпциг. Вот вам подробная резенция нашего

свидания с Гете; расскажите об этом Алексею Андреевичу и вашим. Впрочем интересного тут мало. Гораздо важнее знакомство с Мюллером, предобрым кажется человеком, который просил меня, т. е. позволил мне адресоваться к нему во всех случаях, когда буду опять в Веймаре. Разумеется, ежели мои обстоятельства переменятся, то я воспользуюсь его услужливостью и опять вотрусь к Гете»[43].

Читая этот отчет о свидании с Гете, начинаешь понимать, почему один приятель Рожалина называл его «скептиком», а другой боялся за него, что он в своем внутреннем и внешнем уединении «сделается не то что мизантропнее, а людебоязненнее». В его отзывах о Гете чувствуется какая-то полуирония, не невольная, а подчеркнуто-проведенная через все письмо, а самое свидание с великим поэтом, о котором Рожалин мечтал (стоит только вспомнить его надежду после свидания с Жуковским, что канцлер Мюллер «познакомит его с Гете»), представлено им каким-то «свиданием поневоле», на которое Шевырев с Волконской почти влекут своего друга. Письмо к Елагиной начинается почти демонстративным заявлением: «Волконские с Шевыревым были у Гете». Умалчивая о себе, Рожалин не без удовольствия предвидит недовольные расспросы Елагиной:—«Что ж, был ли я? спросите вы с досадою»—и отвечает: «Мне не хотелось представляться ему». Это—ответ юного Вертера, пережившего оскорбительную историю у графа фон Ц. и не желавшего никаких встреч с ненавистным ему отныне светским кругом. Еслиб оскорбленному Вертеру тех дней, с сухими глазами и со лбом, хмурящимся под гнетом одиноких безрадостных мыслей, предложили посетить господина веймарского великогерцогского тайного советника В. фон Гете, он вероятно ответил бы так же, как его московский двойник:

«Мне не хотелось п р е д с т а в л я т ь с я ему»,—не в и д е т ь его, а именно п р е д с т а в л я т ь с я ему, высокой особе из круга «графа фон Ц.». Как у Вертера, и у Рожалина «видно были добрые приятели» из этого круга, которые так его «ласкали иголочками» (слова И. Киреевского), что он испытывал постоянную нелюбовь ко всяким «представлениям» и красился в иронию как в защитный цвет от этих «иголочек». Взглядом обиженного Вертера высматривает он в тайном советнике фон Гете «необыкновенную раздражительность» (которой не испытал), и «неприятность взгляда» (который, как видно из дальнейшего, был к нему вполне благосклонен), и то, что он «очень важен» (хотя тут же правдивый юноша должен признать, что Гете «очень робок с иностранцами»), и то, что старик «сам себя лелеет и бережет» (хотя тут же приведено честным наблюдателем и оправдание этому «самобережению»: 80-летний старец «сохранил еще довольно свежести ума и много здоровья»).

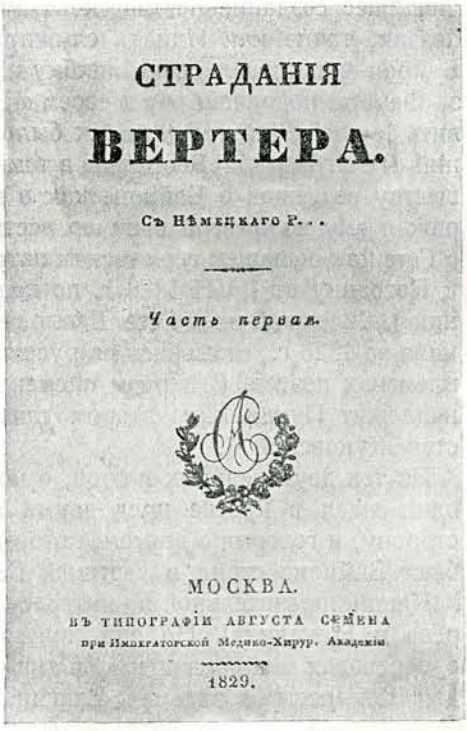
Самое странное в письме конечно то, что Рожалин не желал воспользоваться тем своим преимуществом, которое давало ему наибольшее право на знакомство с Гете без всякого «представления» или, вернее, с «представлением», обеспечивавшим ему внимательность и даже признательность Гете: переводчик «Вертера» желал явиться в дом его автора в качестве... лакея сиятельной княгини Волконской. «Вообразите,—жаловался на Рожалина Шевырев Авдотье Петровне,—не хотел итти к Гете как переводчик Вертера, а просился в лакеи, чтобы в передней его видеть. Княгиня насильно его потащила и избавила всех нас»[44]. Странное желание Рожалина хорошо разъяснено им же самим: он хотел в и д е т ь Гете-п о э т а («будучи в Веймаре, жаль было не видеть его»); «п р е д с т а в л я т ь с я» же Гете означало, в мыслях Рожалина, ожидать, что веймарский министр

благосклонно спустится на одну-две ступеньки к «лекарскому сыну» (хотя и переведшему «Вертера») и скажет два-три снисходительных слова. Этого-то и не хотел московский демократ и скептик и предпочитал сам спуститься еще на несколько ступенек пониже... до той площадки, где находится лакейская и где никакое «п р е д с т а в л е н и е» уже невозможно, а возможно только в и д е т ь министра, встречающего и провожающего сиятельную княгиню. Поняла ли умная и блестящая Волконская грустное и выстраданное при всей своей ироничности вертерьянство одинокого разночинца-любомудра, когда втолкнула его из лакейской в гостиную Гете?

Но переступив порог этой гостиной, московский Вертер поступил точь в точь так, как поступил бы и гетев Вертер, насильно введенный в салон к господину тайному советнику фон Гете: он «отчаянно вооружился наглостью и смело влетел к старику». Это конечно преувеличение: была не «наглость», а «смелость», которой явно недостало «архивному» Шевыреву.

Разговор шел о «Вертере», переведенном Рожалиным, и к разговору о Наполеоне Гете перешел, надо думать, оттого, что «Вертер» был некогда предметом знаменитой беседы между ним и Наполеоном (см. главу II).

Рожалину пришлось отвечать на вопрос Гете: переведен ли Байрон в России и кем? Это вероятно вопрос из более обширного разговора об английском поэте. В Веймаре в те годы часто и оживленно разговаривали о нем. Эккерман записал не мало таких разговоров. Гете не скупо делился своими впечатлениями от читаемых им произведений Байрона, «удивлялся» (подлинное выражение Гете) его гению, обсуждал его судьбу и дорожил почтительной приверженностью, высказываемой ему Байроном, посвятившим ему трагедии «Вернер» и «Сарданапал». Эти разговоры были тем чаще и живее, что под кровлей Гете жила великая почитательница английского


СТРАДАНІЯ

ВЕРТЕРА.

Съ Нѣмецкаго Р...

Часть первая.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА

при Императорской Медико-Хирург. Академіи.

1829.

Титульный лист издания „Вертера" в переводе Н. М. Рожалина (М., 1829)
Институт Русской Литературы, Ленинград

поэта—Оттилия фон Гете, жена его сына. Она хранила как реликвию письмо Байрона к Гете из Генуи, и на пасхе 1826 г. «они очень мило поспорили» с адресатом письма, кому владеть автографом: Оттилия решительно заявляла: «Я не отдам его назад», а Гете «этого вовсе не хотел» [45]. Для разговора с московскими гостями о Байроне была налицо собеседница, умная и одушевленная. А для гостей разговор о Байроне представлял особый интерес. Пред Гете сидели друзья того поэта-юноши, который еще недавно обращался к величайшему поэту России с почтительным полуупреком в том, что стихи его

Хвалебным громом прозвучали

вслед ушедшей из мира тени Байрона, но не встречают хвалой закат другого поэта:

Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья:
К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья.
Их ждет еще один певец.

Этот певец—Гете.

Байрон и Гете! Это, как мы знаем, были два противопоставления, два противочувствия, две противолюбви, боровшиеся между собою в русской поэзии и критике того времени. В эту пору Пушкин перевел взгляд с уединенной вершины Байрона на залитое солнцем плоскогорье Гете и писал в год его смерти: «Байрон, столь оригинальный в Чильд-Гарольде, в Гяуре и в Дон Жуане, делается подражателем, как скоро вступает на поприще драмы. В Manfred'e он подражал Фаусту, заменяя простонародные сцены и обороты другими, по его мнению, благороднейшими. Но Фауст есть величайшее создание поэтического духа, служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности. Байрон чувствовал свою ошибку и впоследствии времени принялся вновь за Фауста, подражая ему в своем «Превращенном уроде» (думая тем исправить le chef-d'œuvre») [46]. Как было указано, одно из важнейших разделений «Телеграфа» и «Вестника» в том и состояло, что «Телеграф» по преимуществу возвещал о Байроне как о владыке романтизма, а «Вестник» возражал ему из номера в номер вестями философическими и поэтическими о Гете как о «нашем германском патриархе» (выражение Пушкина в письме к Погодину от 1/VII 1828 г. по поводу письма Гете в «Московский Вестник»). Сидевший пред Гете Шевырев еще так недавно, в X части этого журнала за 1828 г., отзываясь на русский перевод «Манфреда», говорил о двух племенах поэтов. В первом племени первенствует Гете и к нему же принадлежит Пушкин, во втором главенствует Байрон и к нему же причастен Жуковский [47].

Из тех двух великих поэтов, о которых так горячо спорили в Москве, один сидел в кресле пред двумя из участников спора, державших его сторону, и говорил о другом, который присутствовал безмолвно при беседе: бюст Байрона стоял в гостиной Гете.

Какой поразительной по интересу записи должно было ожидать от Шевырева и Рожалина! Но они ничего не записали, кроме гетева вопроса о переводах Байрона и кроме того отзыва о своей собеседнице, который дан Шевыревым в письме к Елагиной [48].

Была еще и третья тема разговора Гете с Рожалиным. О ней он почему-то не написал Елагиной, но после припомнил ее.

Рожалин мало беседовал с Гете, но только он один удостоился получить через Мюллера приглашение Гете вторично и единолично посетить его. Приглашение было подтверждено Оттилией и повторено канцлером: верный знак, что оно не было только официально-словесною любезностью, а выражало действительное желание Гете еще раз увидеть своего собеседника наедине. «Людебоязнь» приезжего Вертера одержала верх, и он, вероятно к добродушному негодованию канцлера и недоумению Оттилии, не воспользовался лестным настойчивым приглашением.

Гораздо больше, чем о том, что услыхал у Гете, Рожалин рассказал о том, что увидел у него. «Его черты врезались у меня в памяти». Вчитываясь в рассказанное, заключаешь, что Рожалин видел не одного, а двух Гете. Один был почти 80-летний старец, сидевший с ним рядом. Он отлично рассмотрел его глаза: «орлиные очи» (Боратынский) он с некоторой вертеровской иронией назвал просто «птичьими»; не обозначил их сине-карими, а просто «темными», но с и л у их взгляда, остроту их зрения передал верно и ярко: «взгляд его невыносим», как настоящий, настигающий с высоты, орлий взгляд. Рожалин отметил и невыраженную никем «живость его физиогномии»—то удивительное свойство лица Гете, которое делало его юным в старости, аполлоничным у старого Юпитера и вместе с тем могло наводить движущиеся тучи древнего Кронидова раздумья на ликующее чело Аполлона, только что победившего в Италии Пифона своей германской тоски. Правдивость наблюдения Рожалина высока, несмотря на его напускную ироничность: Гете, тысячеустно величаемый и в хвалу, и в хулу «олимпийцем», оказался «очень робок с иностранцами» не бог знает какого величия; «робкий» Гете!—какая живая и потому ценная черта наблюдения!

Это был о д и н Гете—знаменитый старик, несколько принужденно принимавший чужестранцев в своей гостиной. Но смотря на Гете-собеседника, Рожалину сразу же вспомнился д р у г о й Гете—писатель, каким представлял его портрет нашего О. А. Кипренского, отлично известный кругу друзей Рожалина и русских почитателей Гете. Отзыв Рожалина важен: он увеличивает значение этой полузабытой работы русского художника. Кипренский дал Гете-п и с а т е л я. Он словно ждет сформированья какого-то образа, стиха, и вот оттого приостановился на недописанном слове. Во властном лице—острота искания. Глаза его молоды, орлино-зорки. Вот-вот он настигнет нужную мысль или слово, как орел добычу, и чрез миг вновь начнет водить пером по бумаге. В портрете все точно, четко, ясно; никакой романтики, и вместе с тем это—портрет вдохновенного творца в момент творчества. Это—«холод вдохновенья», «змеиной мудрости расчет», изображенный с прекрасной твердостью четкого, строгого рисунка.

В эту явную, признанную самим Гете и его друзьями «схожесть» портрета Кипренского с оригиналом Рожалин внес только одну поправку: «только, думаю, в эдаком положении едва ли кто-нибудь видел голову Гете». Думается, поправку эту нужно отнести не столько к особой зоркости Рожалина, сколько к иронии московского Вертера.

Другого Гете—поэта—Рожалин мог теперь не только вспоминать по портрету Кипренского, он мог смотреть на него. Это был Гете трех бюстов, трех периодов своей жизни. Рожалин превосходно всмотрелся в них,

сличая их мысленно с оригиналом. Он открыл в них важные перепутья жизненного и творческого пути Гете, вычитав их из бюста Гете средних лет работы Мартина-Готлиба Клауера (Веймар, ок. 1790 г.) и бюста Гете-старца работы Даниеля-Христиана Рауха (Иена, 1820 г.). Бюст Клауера очень правдив: в нем «отчетливо выступает ассиметрия двух сторон лица Гете, правая сторона несколько сдавлена, правый глаз лежит глубже, чем левый, правая часть лица уже левой» [49]; эту реалистическую правдивость Клауера верно подметил Рожалин, указав, что в этом бюсте «те же черты сжались и во всем лице есть что-то резкое», но тут же, и опять верно, добавил: «и важное». Это «важное» в лице сорокалетнего Гете один из современных исследователей определяет как «сочетание пламенности и стойкости», как черты «воспрянувшего и многое преодолевшего героя» [50]. Сам Гете признавался, что бюстом Рауха он «очень доволен», и находил его трактовку «поистине величественной» (wirklich grandios) [51]; в нем, на взгляд и современников Гете, и потомства, классически передано величие покоя и красота старости Гете: это самое распространенное из скульптурных изображений Гете.

Но привлек и приковал к себе Рожалина тот знаменитый бюст 38-летнего Гете, который А. Триппель изваял в Риме (1787—1788 гг.) и о котором Гете писал тогда же: «мой бюст отлично удался, все им довольны. Он сработан в прекрасном и благородном стиле, и я не против того, чтоб в мире осталось представление, что таков был мой облик». Московского Вертера очаровал бюст Гете, который, по выражению Э.-К. Метнера, «можно рассматривать как портрет автора «Ифигении» и исполнителя роли Ореста» [52]. В этой роли Гете ближе всего был русскому двойнику «мятежного мученика». На Гете-Ореста он смотрит без тени иронии, с высоким восхищением. Тут он нашел своего Гете, давным-давно возлюбленного в бессонные ночи, проведенные наедине с «Вертером» и «Фаустом»,—нашел Гете-Аполлона, то победно-ликующего, то опаляюще-грозного, но всегда светлого и прекрасного, всегда чуждого тени и тумана. И тут-то, при взгляде на этот бюст, скептик поневоле выразил всю любовь свою к Гете, всю силу давнего восхищения перед ним, поэтом и человеком: «стоит только сравнить эту голову с бюстом Байрона, который стоит почти рядом, чтобы увидеть, который из двух поэтов был прекраснее и собою, и гением».

Вот где, в молчаливом созерцании, а не в принужденной беседе с Гете, Рожалин высказался до конца о том, кто был его единственным «властителем дум». Целомудрие слова помешало ему высказать это Гете, но правдивость любви заставила «скептика» признаться в этом Елагиной.

Эта же правдивость сделала Рожалина внимательным к окружению Гете. Он, как и Шевырев, сумел верно оценить значение Оттилии в закатную пору Гете: она, вместе с двумя герцогинями, «лелеет и бережет» его старость, и сама умна и любезна. Московские юноши 20-х годов предвосхитили оценку биографа, писавшего в конце столетия: «В лице сына Оттилия скорее вышла замуж за отца, на которого она смотрела с нежным удивлением. Это была женщина с темпераментом, веселая, умная, оригинальная, и, о чем бы ни зашел разговор, она оказывалась лучшим собеседником для Гете» [53]. А друга Гете, благодушнейшего канцлера Мюллера, сердечно преданного не только Гете, но и всякому, кому был он люб, Рожалин не только понял, но и полюбил. Понял—можно сказать с полным правом: определение Рожалина, что Мюллер, «будучи канцлером Веймарского государства, есть вместе и его [Гете] канцлер», так метко, что должно войти в биографию

ГЕТЕ
Мраморный бюст работы Александра Триппеля (Рим, 1787—1788 гг.)
Landesbibliothek, Веймар



Гете. Именно так: деятельный канцлер Веймарского государства, не слишком обремененный его не слишком крупными делами, Мюллер был в действительности канцлером необъятного гетева «властительства», простиравшегося, по измерению его биографа, «от Миссисипи до Волги», со столицей Веймаром, куда стекались добровольные подданные этого «властительства дум». Для всех них, в том числе и тех, что стекались «от Волги», Мюллер был настоящим канцлером: любезным, умным и усердным посредником между ними и самим «властителем дум», его кабинетом, его домом, его столицей. Насколько это посредничество было благоприятно, Рожалин испытал на себе и знакомство с канцлером впопыхах поставил даже выше знакомства с его повелителем.

Через двенадцать дней после письма к Елагиной Рожалин собрался написать родителям о посещении Веймара:

«Я проводил их [Шевырева и Волконских] до Веймара. Из всех немецких городов, мною виденных, это самый оригинальный: новенький, удивительно чистый, нет ни одного дома выше чем в три этажа, на улицах почти ни души, и когда вспомнишь, что здесь жили величайшие умы Германии—Виланд, Гердер, Гете и Шиллер, то невольно сравнишь его с человеком размышляющим, уединенным, тихим и задумчивым. Этот городок был некогда Афинами немецкими, и теперь, быть может, в нем лучшее немецкое общество. Я пробыл там дня полтора всего-на-все; однакож меня успели представить Гете. Он важен, но ласков и еще необыкновенно жив по своим летам. Физиогномия его прекрасная; брат может вам показать его портрет; он кажется есть у Киреевских. Гете интересуется всем, что

касается до России, читал все, какие есть, французские, немецкие, английские и итальянские переводы наших стихотворений, расспрашивал меня, что переведено на русский с английского и с немецкого, и звал на другой день опять к себе. Но я мог только благодарить его за приглашение, ибо не хотел другую неделю отсутствовать у Кайсаровых и был уже записан в дилижансе. Во всяком случае я очень счастлив, что, по крайней мере, его видел и что исполнилось мое давнее желание узнать человека, которого я почитаю величайшим из новейших поэтов, т. е. из всех поэтов христианских. Он уже ветхий старик, уже выбрал место для своей могилы подле своего друга Шиллера, и я видел это место. Видел и гроба Гердера и Виланда: первый похоронен в соборной церкви, Виланд в прекрасном поместье, которое прежде ему принадлежало. Я взял себе на память оттиск гердеровой печати. Кроме Гете я познакомился в Веймаре с канцлером Мюллером, предобрым и преуслужливым человеком, который вызвался показать мне все, что есть лучшего в городе, когда опять ворочусь туда» [54].

Письмо это поражает: оно писано точно другим человеком. Даже не упоминается «мятежно-мученическая» вертерьянская выходка с лакеем. Нет и следа иронии к Гете; напротив, откровенное признание: «я счастлив, что его видел», а самое свидание называется исполнением «давнего желания», узнать «величайшего из поэтов христианских». Горький отстой какой-то давней обиды, подмешанный к чернилам, которыми писано письмо к Елагиной, исчез совершенно: новое письмо писано теми же чернилами, что и перевод «Вертера», и строки о Гете в «Московском Вестнике».

Гете—«ласков»: вот новая черта, осветляющая старческий облик Гете, набросанный в письме к Елагиной, и он «необыкновенно жив». «Физиогномия его», не только в прекрасных бюстах, а и у восьмидесятилетнего старика,—«прекрасная», настолько прекрасная, что Рожалин заботится, чтоб родители хоть на портрете увидели ее. Трогательно отмечена и забота старца Гете о месте своего последнего успокоения, и даже посещено самое это место.

Оставив иронию, Рожалин вспомнил и еще один—интереснейший для нас—предмет его разговора: Гете говорил о России. «Гете интересуется всем, что касается до России». Это относится не только к русской литературе. Гете интересовался русской историей и политикой. В дневниках и разговорах Гете за первые месяцы 1829 г. не трудно отыскать следы этого живого интереса. Всю середину апреля 1829 г. Гете отдал на чтение только что вышедшей книги Сегюра «Histoire de Russie et de Pierre le Grand» (Paris, 1829). Он четыре раза отмечает это чтение в своем дневнике—15-го, 18-го, 19-го, 20 апреля. «Чтение очень интересовало его,—сообщает Эккерман,—и привело к некоторым заключениям», между прочим о «Петра твореньи», с которыми мы уже знакомы [56]. Петр I, о котором Гете много думал в апреле 1829 г., легко мог быть предметом майского разговора Гете с русскими посетителями. Еще более вероятно, что разговор шел о русско-турецкой войне, так занимавшей тогда Европу. Гете с живым и постоянным вниманием следил за ходом военных действий. 25 марта он отмечает в дневнике: «Читал известия о русской кампании». За два дня до встречи с москвичами он делает новую запись, одну из пространных в лаконичнейшем дневнике Гете: «Закончил «Das Bulletin universel». Обдумал прежде просмотренное; ближе рассмотрел положение дел греков в настоящую минуту. Русские прочно занимают полуостров Метану (Methana) под предлогом устройства провиантских магазинов». В июне следуют записи: «Занимался началом русско-турецкой кампании, битвою при Правади (Pravadi), которая пред-

ставляется очень ясно» (7-го); «Обсуждение большой победы русских над великим визирем. Мой сын сообщил о том, что теперь происходит в стане победителей» (24-го) [56]. В разговоре с Мейером и Эккерманом Гете выражал надежду на удачу русских в их походе во Фракию, а после заключения Адрианопольского мира сказал Эккерману: «что русские показали умеренность и не дошли до Константинополя—черта великая» [57].

С другой стороны, и Рожалин интересовался войной и, когда был заключен мир, спрашивал Елагину: «Объявлены ли у вас условия нашего мира с турками? Четыре народа освобождены от жестокого ига успехами нашего оружия» [58].

После сказанного можно допустить, что если в разговоре с русскими гостями «Гете интересовался в с е м, что касается до России», то и русский поход во Фракию несомненно был в числе этого «всего».

Но больше всего конечно интересовался Гете русской поэзией. Тут Рожалин сообщает сведение драгоценное: Гете «читал все, какие есть, французские, немецкие, английские и итальянские переводы наших стихотворений». Это значит, что Гете всеми доступными ему средствами искал знакомства с русской поэзией и знал ее постольку, поскольку русские поэты были переведены на знакомые Гете языки.

Но Гете задал ему и обратный вопрос: что переведено на русский язык с английского и немецкого? Рожалину в ответ пришлось говорить о русских переводчиках Шиллера и самого Гете—следовательно о Жуковском, Веневитинове, Тютчеве, А. А. Шишкове и др. Стеснительная лаконичность Рожалина скрыла все это от нас.

Увидев Гете зорче и глубже, чем в первом письме, Рожалин разглядел и город Гете: в елагинском письме его нет вовсе, в письме к родителям Веймар зарисован верною и любящей рукою.

Это письмо Рожалина, прекрасно уловившее закатную атмосферу Гете и его города, было по достоинству оценено его друзьями: они напечатали



ГЕТЕ

Фрагмент терракотового бюста работы Мартина-Готлиба Клауера (Веймар, около 1790 г.)
Goethe-Nationalmuseum, Веймар

его с незначительными пропусками в «Московском Вестнике» в ряду других «Отрывков из частных писем русского путешественника» [59]. Со страниц журнала оно производит сильное впечатление. Должно отметить, что письма Рожалина из-за границы очень ценились друзьями и не были не замечены врагами. «Журнал я издаю опять,—писал Погодин в конце 1829 г.— Да здравствует «Московский Вестник»! Четыре корреспондента в чужих краях: ведь это сокровище. Ив. Киреевский едет в Париж, Рожалин в Дрезден, Петр Киреевский в Мюнхен. По крайней мере будет место, где честному человеку сказать свое мнение» [60]. В 1833 г. П. А. Вяземский спрашивал А. И. Тургенева: «Пишет ли что-нибудь Рожалин? Ведь это скучно, что все вы ездите по белому свету, и никто ничего нам не рассказываете, вы, коим от господа бога, не в пример другим, грамота далась. Читаем же мы с жадностью сплетни других путешественников; еще жаднее читали бы мы ваши» [61]. Но это же корреспондентство любомудров, уехавших в Западную Европу, вызывало злость Булгарина. С прямым намеком на Рожалина и Шевырева он роптал: «В чужих краях странствуют несколько юных россиян, которые выдают себя за первоклассных русских поэтов, философов и критиков, и всем журналистам сообщают известия о России, а более о русской литературе» [62].

12 мая 1829 г. Гете записал в своем дневнике, по обыкновению кратко, но полно, весь свой день:

«Многообразные подготовительные работы. Генрих Мюллер начал рисовать терракоты. Людвиг Фейхтвангер из Гамбурга показывал красивые минералы... За обедом д-р Эккерман; обсуждали дальше мотивы «Годов странствий». Вечером г. Форстер с супругой у Оттилии, также женевец и эльзасец. Вечером проф. Ример. Просматривали извлечения из писем 1787 г. и обсуждали редакцию представленной бумаги. Для себя—«История Польши» Сисмонди» [63].

Какой длинный и насыщенный трудовой день для 80-летнего старца! Тут и работа над «Вильгельмом Мейстером» с Эккерманом, и над «Итальянским путешествием» с Римером, и просмотр какой-то деловой бумаги, и участие в приеме у Оттилии известного историка искусства Фр. Форстера, и час, уделенный давней страсти к минералогии, и занятие с художником, и чтение интересной исторической книги. И вот между минералами и обедом с Эккерманом Гете и принял русских посетителей. Он записал об этом так же кратко, как и обо всем случившемся в этот день: «В 1 час княгиня Волконская с двумя молодыми русскими, в сопровождении тайного советника ф. Мюллера». Вот и все. По краткости записи нельзя судить о впечатлении, произведенном на Гете встречей с любомудрами: эта краткость у Гете для всех и всегда. После встречи с москвичами Гете обедал с Эккерманом, и мы должны были бы искать отклика на эту встречу в «Разговорах», но как раз между 14 апреля и 1 сентября 1829 г. Эккерман, изменив своей аккуратности, ничего не записал из разговоров Гете, и мы лишены возможности и от него узнать что-нибудь о московских любомудрах. Но о свидании с ними Гете скоро вспомнил и, по капризу судьбы, с нескрываемой и напрасной досадой.

Ровно через месяц после посещения русских, 12 июня, друг Цельтер, берлинский композитор (1758—1832), известил Гете, что его должен был посетить в Веймаре польский поэт, рекомендованный пианисткой М. Шимановской, ценимой и Цельтером, и Гете: речь шла о Мицкевиче. Получив это извещение, Гете почему-то решил, что посещение уже состоялось, и,

ГЕТЕ
Гипсовый бюст работы Христиана-Даниэля Рауха (Иена, август 1820 г.)
Goethe-Nationalmuseum, Веймар



весьма недовольный, отвечал Цельтеру 19 июля: «Сопровождая княгиню Волконскую, польский поэт посетил меня, с большой свитой (mit grosser Umgebung), не промолвил ни слова и не имел настолько такта, чтоб удостоить меня отдельного посещения. Еслиб и светским людям не случалось достаточно часто, в недобрую минуту, делать неловкости, то подобное поведение заслуживало бы порицанья и осужденья»[64]. За «польского поэта» (имени его очевидно Гете не знал или не помнил) сошел, по всем вероятиям, бедный Рожалин: он ведь действительно «не удостоил» Гете «отдельного посещения», несмотря на то, что трижды был зван на него; за «свиту» сошли Шевырев и молодой князь Волконский, а «не промолвил ни слова» Гете, запамятовав, перенес на Рожалина с Шевырева, из «трусости» пред «олимпийцем» промолчавшего все свидание. Из этого странного эпизода почти рикошетом узнаем мы, как обидело Гете внезапное бегство московского Вертера из Веймара.

Однако через месяц Гете как-то разобрался в этой путанице и написал Цельтеру (15/VIII): «Мы слишком рано побранили нашего польского поэта, рекомендованного madame Шимановской,—он еще сюда не прибыл; то был один русский, с которым мы его смешали»[65]. Через три дня после этого письма Мицкевич прибыл в Веймар вместе с Э. Одынцем, и Гете записал под 19 августа совсем сухо: «...Затем двое поляков... К обеду двое поляков». День спустя он писал Цельтеру уже с явным раздражением: «А вот теперь наш польский поэт дает о себе знать; несколько ранее, в том обществе, я был бы рад его видеть; теперь же мне приходится принимать его отдельно,— а это, в конце концов, трудно, почти невозможно!»[66]

Так вертерьянская стеснительность и людебоязнь Рожалина, заставившая его бежать из Веймара от второго свидания с Гете, причинила, волей-неволей, не один, а несколько огорчительных часов автору «Вертера».

Рожалин после Веймара опять основался в Дрездене.

Вскоре он был обрадован приездом Петра Васильевича Киреевского, а затем и Ивана Васильевича. Вместе с Петром Киреевским Рожалин отпраздновал в Дрездене праздник в честь Гете.

«Мы, — рассказывает Рожалин Елагиной, — пошли в театр смотреть «Фауста» и видели чудо! Первый монолог был испорчен бешенством актера; зато все остальное шло превосходно. Петр Васильевич был в восхищении; не находил только довольно грации в здешней Гретхен, хотя видел самую грациозную из немок. Зато что уж был за Мефистофель! Нельзя вообразить себе н и ч е г о совершеннее этой игры. Эта роль досталась Паули, первому здешнему актеру, которого имя стоит того, чтобы быть известным... Талант его очень разнообразен: он равно хорош в шуте, разбойнике и герое, и все это чудесно смешалось в роли Мефистофеля. Это был точно ледяной сосуд адского пламени[67]. Досадовал я только, что сумасшедший Тик слил сцену убийства маргаритинова брата, молитву Гретхен перед образом Богоматери и угрызения совести ее в церкви в о д н у сцену и тем все испортил. Впрочем сколько я здесь ни видел хороших трагедий, ни одна не производила такого эффекта. Фауст на сцене производит действие, как т р а г е д и я.

Фауст был дан 27 августа, когда вся Германия праздновала рождение Гете, уже восьмидесятилетнего. Обещали дать Фауста еще два раза; мы дожидались с нетерпением и узнали, что он з а п р е щ е н. Вам известно, что здешняя королевская фамилия католической веры, почти одна из всего народа. Молодые принцы очень оскорбились словами Фауста: Wer kann sagen и пр. [68], а батюшка их, испугавшись, тотчас и запретил пьесу» [69].

В этом отрывке одинаково примечательна и нелюбовь, типично гетеанская, к католичествующему немецкому романтизму («сумасшедший Тик» испортил гетева «Фауста»), и негодование против католической реакции, враждебной Гете.

Но,—отмечает Рожалин с немалою наблюдательностью,—«в Германии воздвиглась сильная партия против философии вообще. Шеллинг, ничего не выдавая, своим молчанием как будто сам осудил ее; его последователи молчат также. Стефенс пишет одни романы. Подвизается только Гегель, но уже стар, а на него градом сыплются критики и хула. Враги философии собрались под знаменем Гете и клянутся этим одним именем. Он один все проникнул, все узнал, решил—и без философии» [70].

Последнюю фразу не надо понимать в том смысле, что Гете собрал под свое знамя врагов философии: он никогда этим не занимался. Но Рожалин верно уловил факт: антифилософская реакция в Германии очень желала опереться на Гете и прикрыться его авторитетом, тем более веским, что был юбилейный год. Гете-старец был автономен от всех потоков и ручьев немецкой философии начала XIX ст. Обладатель самодовлеющего и целостного мира своей поэзии—философии—науки, Гете так же не искал для своей философии помощи у Шеллинга или Гегеля, как для своей поэзии не испытывал нужды в пособлении Шлегеля или Тика, или для своего «Учения о цветах»—в научении со стороны тогдашних физиков. Критический пантеизм Гете не нуждался в не-критическом мистическом пантеизме Шеллинга, страдающем грехом всеистолкователъства, а на Гегеля есте-

ствоиспытатель Гете пожаловался Эккерману, будто его философия «вытравляет беспредрассудочное, естественно-функционирующее созерцание и мышление, прививает искусственную и тяжеловесную манеру как мышления, так и изложения» [71].

Эти исключительно изустные и эпистолярные высказывания Гете были вовсе не кличем к походу против современной философии, а только отграничиванием себя от нее. Наоборот, Гете предвидел, что германской философии предстоят еще важные задачи, и говорил Эккерману, что ей «остается сделать еще два великие дела. Кант написал «Критику чистого разума». Теперь требуется, чтоб способный и значительный человек написал критику чувства и человеческого понимания и, если это будет, как следует, сделано, то от немецкой философии немного придется требовать» [72]. Это было сказано как раз в том 1829 г., когда «враги философии собирались под знаменами Гете»: на деле они собирались под собственными знаменами реакции, выдавая их за знамя Гете.

Характерно для московского любомудра, что он со своими «двумя душами, бьющимися в одной груди», тут, при первой вести о походе против философии, предводительствуемом будто бы Гете, так же крепко становится на сторону своей «философической души», как только что стал на сторону «души гетеанской» против католичества, посягающего на «Фауста».

Литературное «сегодня» Германии, по мнению Рожалина, бедно: «Впрочем здесь интересного хоть шаром покати. Изящная литература вообще спит. Тик, как все говорят и как я сам сужу по одной мною прочитанной и им недавно написанной повести, упадает». И есть только один, кто, как солнце германской культуры, не знает затмения: это—Гете. «Гете недавно выдал «Вильгельма Мейстера», несколько переделанного в «Wanderjahren», и третью часть своей переписки с Шиллером, и это есть важнейшее» [73]. Рожалин с неослабным вниманием следит за этим «важнейшим»—не только за «трудами», но и за «днями» Гете и, сообщив Шевыреву в декабре 1830 г., что «переписка» вышла вся, делится с ним горестным опасением, на этот раз, к счастью, не сбывшимся: «Остальных томов его сочинений мы ждали к новому году, но вероятно их не увидим. Гете сильно занемог и медики выдают уже отчаянные бюллетени» [74].

На этом можно бы закончить рассказ о встрече Рожалина с Гете, но к рассказу позволительно сделать post-scriptum: досказать жизнь и судьбу московского Вертера, прочимого друзьями в русские Винкельманы.

Почти до конца 1830 г. Рожалин прожил в Мюнхене с Ив. и П. Киреевскими. Они жили в доме друга Гете, знакомого нам искусствоведа С. Буассере: в нижнем этаже у него сдавались комнаты для студентов [75]. В Мюнхене Рожалин занимался классическими языками, древностями и историей еще усерднее, чем в Дрездене. С еще большим усердием слушал он Шеллинга и достиг второй своей мечты: узнал его лично. «Мы,—делится он своей радостью с А. П. Елагиной,—были у Шеллинга на дому два раза. Вчера он звал нас к себе через Петра Васильевича, который пробыл с ним целый вечер с глазу на глаз и принес назад много замечательных слов». 8 августа 1830 г. он писал родителям: «Шеллинговы уроки стали особенно интересны. Вообразите себе Платона, вооруженного всеми успехами, какие сделала наука с его времени, доказывающего языком самым поэтическим бессмертие души и необходимость принять все догматы откровения; таков теперь Шеллинг. Как жаль, что нельзя свести на его лекции всех тех русских, которые боятся его, как антихриста» [76]. Шеллингианская

мечта юности была утолена; но туманы шеллинговой «философии откровения» не отрывали Рожалина от науки: он отличался постоянством в своих научных занятиях и интересах. Мечта о широкой научной деятельности также близка была к утолению. Его уже звали на кафедру. В 1831 г. ему намечали передать кафедру истории в Московском университете, так как Погодин собирался в трехлетнюю командировку. Рожалин отвечал: «Я теперь о профессорстве не хочу еще и думать. Лучше сделать несколько шагов вперед к науке, чем с е с т ь на кафедре» [77]. Его прочили на кафедру словесности, на место Мерзлякова, он отвечал: «Эта кафедра н е п р е м е н н о должна принадлежать Шевыреву» [78].

Кафедру Мерзлякова занял карьерист-оппортунист И. И. Давыдов, а кандидатуру Рожалина на какую бы то ни было кафедру сняла сперва болезнь, потом смерть.

В июне 1831 г. он уехал в Рим, где заменил Шевырева в качестве преподавателя у сына кн. З. А. Волконской, но приехал туда уже больной чахоткой: «Я серьезно записался в мертвецы», с тоскующей иронией писал он Шевыреву [79]. Он знал, что скоро умрет, и тем с большей жадностью упивался Италией, ее античной красотой, искусством, небом. Он торопится все узнать, изучить, понять: «кроме развалин, которые я почти все осмотрел и изучил,—пишет он Кошелеву,—главными предметами моего изучения были и останутся Ватикан и Капитолий, да еще некоторые частные музеи и галлереи. Я буду доволен, если успею живым образом пройти здесь вообще историю искусства. Занятия мои в древней литературе также получают здесь какую-то особенную жизнь... Местность, климат, остатки древностей, даже некоторые обычаи объясняют мне много...» [80] Читая это большое письмо, иные мысли которого предвосхищают на несколько десятилетий воззрения Ипполита Тэна, начинаешь понимать, почему друзья видели в Рожалине будущего русского Винкельмана. Если бы это письмо довелось прочесть Гете, он верно приветствовал бы этот юный труд и одушевленные мечты, в которых не мог бы не увидеть следов своего собственного «Итальянского путешествия». В 1832—1833 гг. с Рожалиным встретился в Риме А. И. Тургенев. Рожалин заменил ему Стендаля в руководстве обозрением римских древностей и красот, и Тургенев нашел, что по своим знаниям и любви к искусству Рожалин будет «находка для университета». Тургенев требовал от Вяземского, чтобы тот добился от Уварова денежной помощи для Рожалина как замечательного ученого [81].

Но Рожалин уже знал, что для него все кончено. Он, почти умирающий, потянулся в Россию.

13 июня 1834 г. Жуковский писал А. П. Елагиной: «Рожалин должен быть теперь, если он приехал, в Петербурге. На эту минуту еще не знаю, что с ним делается и где он. Написал и я к Вяземскому, просил его отыскать Рожалина и узнать все его нужды... Готов просить за него Уварова, но наперед сказываю, что на свое ходатайство не надеюсь, ибо уже знаю на опыте, что Уваров мастер обещать и великий немастер исполнять. Что от меня будет зависеть, сделаю...»

А немного ниже Жуковскому пришлось приписать: «Вот что я получил нынче в ответ на письмо мое к Вяземскому. Посылаю записку его. Прибавить к этому нечего».

Приложена была записка С. А. Соболевского к Вяземскому: «Бедный Рожалин, приехавший в воскресенье поутру из-за границы, на другой же день скончался. Я его похоронил вчера поутру. Ваш Соболевский».

Приписка Вяземского: «Вот что, к сожалению, я узнал о Рожалине. Лучше было не спрашивать» [82].

Судьба захотела быть до конца немилостивой к московскому Вертеру: все его рукописи, пересланные после его смерти в Москву, сгорели в конторе дилижансов. Погодин записал в дневнике: «Был поражен до глубины сердца известием о гибели бумаг Рожалина. Боже мой! Этот человек как бы не существовал на земле!» [83]

Кн. З. А. Волконская, навсегда оставшаяся в Италии, не захотела и по смерти разлучить Рожалина с его другом Веневитиновым: в саду своей римской виллы она поставила ему памятник рядом с памятником переводчику «Фауста»: «Там,—по рассказу Погодина, посетившего виллу в конце 1830 г.,—под сенью кипариса стоит урна в память о нашем незабвенном Дмитрии Веневитинове; близ нее—камень с именем Николая Рожалина» [84].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Записки А. И. Кошелева. 1812—1883 годы». Berlin, 1884, стр. 6—12.

[2] «Русский биографический словарь», том Рейтерн—Рольцберг. СПБ, 1913, стр. 319—320.

[3] Ксен. Полевой, Записки, т. I. СПБ, 1888, стр. 151.

[4] Кош., стр. 12—13.

[5] «Афоризмы из различных писателей по части современного германского любомудрия». «Мнемозина», ч. II. М., 1824, стр. 74, 76, 77.

[6] «Мнемозина», ч. IV. М., 1825, стр. 161.

[7] Там же, ч. II, стр. 77.

[8] П. Н. Сакулин, Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель, т. I, ч. I. М., 1913, стр. 161.

[9] Е. М. Феоктистов, Материалы по истории просвещения в России. СПБ, 1865, т. I, стр. 153—158.

[10] Сак., т. I, ч. I, стр. 545.

[11] Сочинения Д. Веневитинова. «Проза». М., 1831, стр. 18.

[12] Там же, «Несколько мыслей в план журнала», стр. 29.

[13] Там же.

[14] В. Ф. Одоевский, 4338-й год. Петербургские письма. Ред. и вступ. статья О. Цеховницера. М., 1926, стр. 26.

Кн. В. Ф. Одоевский навсегда сохранил глубокий интерес к Гете. Основной персонаж его лучшего произведения «Русских ночей» (1844)—Фауст, «мистик... в струе русского духа», по определению автора. «Русские ночи» напутствованы эпиграфом из Гете. В своей рецензии на «Основания краниоскопии» чтимого Гете анатома Каруса («О. З.» 1844, т. 34, библиогр., стр. 79—82) Одоевский признавался, что видит «в Карусе, как в Гете, который также был и поэтом, и естествоиспытателем, зарю будущей, новой науки, которая... не будет ограничиваться одним каким-либо оторванным членом природы, но заключит в живом своем организме всю природу во всей общности; словом, науки, которая, как природа, будет жива, едина и многоразлична, в противоположность нынешней науке, которая мертва, неопределенна и односторонняя» (Сакулин, т. I, ч. II, стр. 488—489). В 1842 г. кн. В. Ф. Одоевский посетил дом Гете во Франкфурте; на стр. 9 альбома посетителей имеется его запись: «Fürst Wladimir Odoewsky aus Russland».

[15] Кош., стр. 13—16.

[16] См. главу о Кюхельбекере.

[17] «М. Т.» 1825, ч. II, № 5. «Современная русская литература. «Евгений Онегин», роман в стихах А. С. Пушкина», стр. 44.

[18] Там же, № 15, особое прибавление «Толки о Евгении Онегине», стр. 1—11.

[19] Н. Р... ин, «Нечто о споре по поводу Онегина. Письмо к редактору «Вестника Европы».—«Вестник Европы» 1825, № 17, сентябрь, стр. 26—28.

[20] «Мысли на дороге» (1833—1835). Пушк., Сочин., т. V, стр. 362.

[21] Письмо к А. П. Зонтаг от 6/18 марта 1849 г. «Уткинский сборник, I. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой» под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904, стр. 126.

[22] Сочинения И. В. Киреевского. Издание А. И. Кошелева. М., 1861, т. I, стр. 7.
[23] Письмо от 9 ноября 1826 г. «Письма» под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского, т. II. М.-Л., 1928, стр. 17.
[24] Об отношениях Пушкина к «М. В.» см. в новейшей работе И. В. Сергиевского «Пушкин-журналист» (вступит. статья к V тому Собр. соч. Пушкина, изд. «Красной Нивы». М., 1931, стр. 16—28).
[25] «М. В.» 1827, ч. I, стр. 11, 217—226; ч. II, стр. 17—47, 125—145, 283—284.
[26] Э к к., т. I, стр. 231.
[27] Т а м ж е, стр. 286.
[28] «М. В.» 1827, ч. III, стр. 22—50, 121—148.
[29] «М. В.» 1827, ч. I, стр. 304—321 и ч. IV, стр. 394—407.
[30] «М. В.» 1827, ч. III, стр. 375—376.
[31] Н. К о л ю п а н о в, Биография А. И. Кошелева. Изд. О. Ф. Кошелевой, т. I, кн. II. М., 1889, стр. 121.
[32] И в. В. К и р е е в с к и й, Собрание сочинений под ред. М. О. Гершензона. К-во «Путь». М., 1911, т. I, стр. 45.
[33] В. П. Г о р ч а к о в, Выдержки из дневника об А. С. Пушкине. См. М. А. Ц я в л о в с к и й, Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, стр. 112.
[34] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 586—587. Письмо от 23/V 1829 г. из Дрездена.
[35] Н е е г n—Арнольд-Герман-Людвиг Г е р е н (1760—1842)—знаменитый немецкий историк, профессор Геттингенского университета. В 1828 г. в «Лит. Нов.» «М. В.» было напечатано: «Н. М. Рожалин приступает к печатанию геренова большого сочинения: «О политике, сношениях и торговле древних народов». Первую часть, содержащую общие замечания об Азии и исследования о персах, он издает особо. Надеемся, что все благомыслящие соотечественники пожелают переводчику успешного окончания его прекрасного труда» (ч. VIII, стр. 234). Это издание не было осуществлено. В «М. В.» Рожалин поместил три отрывка из Герена—о Рамайяне и Магабарате (см. выше) и «О древней торговле» (ч. IV).
[36] Уткинский сборник, стр. 46—47.
[37] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 572. Письмо от 28/V из Петербурга.
[38] Т а м ж е, стр. 568.
[39] «Отрывки из частных писем русского путешественника». Письмо из Дрездена от 22/XII 1828 г.—«М. В.» 1830, ч. II, «Смесь», стр. 300.
[40] К о л., т. I, кн. II, стр. 124—125.
[41] Письма от 17/XI и 12/XII 1830 г.—«Р. А.» 1906, № 2, стр. 240 и 247.
[42] «W. A.», IV Abt., B. XII, S. 370.
[43] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 585—586.
[44] Так в подлиннике; очевидно: «избавила всех нас от неприятности видеть приятеля в числе лакеев в гетевой передней». Это письмо Шевырева к А. П. Елагиной от 29 мая 1829 г. из Флоренции печатаем с подлинника, вплоть до 1932 г. хранившегося в г. Белеве среди остатков Долбинского архива Киреевских-Елагиных; ныне—в Рукописном отделении Ленинской библиотеки в Москве. Письмо неполностью и неисправно было напечатано в «Р. А.» 1879, кн. I, стр. 138—139.
[45] Э к к., т. I, стр. 229.
[46] «О Байроне», 1827 г. П у ш к., Сочин., т. V, стр. 400.
[47] «М. В.» 1828, ч. X, стр. 56—63.
[48] Письмо от 29/V 1828 г. См. ниже.
[49] «Propyl.», S. 39, Taf. 74—75.
[50] Э. М е т н е р, К портретам Гете. В книге «Размышления о Гете». Книга I. М., 1914. Изд-во «Мусагет», стр. 409.
[51] «Propyl.», S. 63, Taf. 118.
[52] «Propyl.», S. 37, Taf. 69—71; «Итальянское путешествие», запись от 28 августа 1787 г. Гете—Вейнб., т. VI, стр. 235; М е т н е р—стр. 404—410, и воспроизведение, табл. 1—2.
[53] Б е л ь ш., т. II, стр. 431.
[54] Письмо из Дрездена от 4/VI 1829 г.—«Р. А.» 1909, № 8, стр. 565—566.
[55] Э к к., т. II, стр. 61. Запись от 11/III 1829 г.
[56] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 43, 66, 79, 87.
[57] Э к к., т. II, стр. 175 и 207. Записи от 7/IV и 6/XII 1829 г.
[58] Письмо от 13/XI 1829 г.—«Р. А.» 1909, № 8, стр. 592.
[59] «М. В.» 1830, ч. II, «Смесь», стр. 296—303. Полным совпадением приведенного письма Рожалина к родителям о веймарском посещении с «отрывком», напечатанным на стр. 300 «Московского Вестника», доказывается принадлежность Рожалину и всех других из этого цикла «Отрывков из частных писем русского путеше-

ственника», подписанных буквою «Г» (вероятно опечатка вместо обычного «Р»). Эти «Отрывки» не упомянуты в числе сочинений Рожалина ни Колюпановым в его «Библиографическом указателе сочинений и переводов Рожалина» («Биография А. И. Кошелева», т. I, кн. II. М., 1889, стр. 120), ни Саитовым в его очерке о Рожалине («Остафьевский архив», т. III, Примечания. СПБ, 1908, стр. 581—584). Наоборот, приписываемая Саитовым Рожалину статья «О нынешней славе России в чужих краях» («М. В.» 1830, ч. I, № 1) принадлежит ему лишь наполовину: под этим придуманным Погодиным заглавием напечатаны отрывки из письма Рожалина из Дрездена (ноябрь 1829 г.) и письма Шевырева из Рима (от 27 окт. 1829 г.). На это указывал и В. В. Стратен в новейшей из статей о Рожалине: «Н. М. Рожалин, идеалист 20-х годов XIX в.» («Ученые Записки высшей школы г. Одессы», т. II, Отдел Гуман.-Обществ. Наук. Одесса, 1922, стр. 103—107). Со статьей Стратена я ознакомился уже после того, как было написано мое исследование о Рожалине, небольшою своею частью вошедшее в исследование о Гете и русских писателях.

[60] Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. II. СПБ, 1889, стр. 327—328.

[61] «О. А.», т. III, стр. 220.

[62] Барс., кн. III, стр. 49.

[63] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 67.

[64] «W. A.», IV Abt., B. XLVI, S. 16—17.

[65] Там же, стр. 46.

[66] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 114; IV Abt., B. XLVI, S. 55.

[67] Отзыв Рожалина об известном артисте Людвиге-Фердинанде Паули (1793—1841) совпадает с установившимся суждением о нем как об актере широкого сценического охвата: он умел передавать в ярких образах и мягкий юмор старости, и лисье пронырство интриганов, и ироническую злобу Яго, и сумрачное злодейство Моора. Мефистофель, где сплетались все оттенки ума, злобы, хитрости и иронии, считался лучшей его ролью. См. «Allgemeine Deutsche Biographie», Leipzig, 1887, B. XXV, S. 266—267.

[68] Известный ответ Фауста на вопрос Маргариты:

Ты в бога веришь?
— Друг, сказать кто может:
Я верую в него?
Священника и мудреца встревожит
Вопрос твой... (Перевод В. Брюсова).

О сильном впечатлении от «Фауста» на сцене Рожалин писал и Шевыреву: «Он дан был прекрасно. Поверишь ли, что он чудесен на сцене? Что есть в нем трагического, то производит эффект огромный; прочие сцены улетают из внимания». («Р. А.» 1906, № 2, стр. 230).

[69] Письмо от 16/IX 1829 г.—«Р. А.», № 8, стр. 578.

[70] Там же, стр. 580.

[71] «Gespräche»: запись от 28/III 1827 г. Перевод Д. Аверкиева (Экк., т. I, стр. 304), очень далек.

[72] Экк., т. II, стр. 149.

[73] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 581.

[74] Письмо от 10/XI 1830 г.—«Р. А.» 1906, № 2, стр. 235.

[75] «Р. А.» 1906, № 1, стр. 158.

[76] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 596, 599.

[77] «Р. А.» 1906, № 2, стр. 251.

[78] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 601.

[79] «Р. А.» 1906, № 2, стр. 253.

[80] Кол., т. I, вып. II, стр. 122—123.

[81] «Арх. Т.», т. VI, стр. 126, 149—150, 156, 185.

[82] И. А. Бычков, Неизданные письма Жуковского к А. П. Елагиной и А. П. Зонтаг. «Русский Библиофил» 1912, № 7—8, стр. 109.

[83] Барс., т. IV, стр. 249. О приезде Рожалина в Россию и об истории с его бумагами см. еще у С. Шпицера, Д. В. Веневитинов.—«Голос Минувшего» 1914, кн. I, стр. 268—269.

13 июля 1834 г. В. Одоевский писал Кошелеву: «Право, брат, это очень глупо: уроды живут и размножаются, а такие люди, как Рожалины, мрут, как мухи... Постарайся, чтобы собрали все, что осталось после покойника, и напечатали бы». (Кол., т. II, стр. 37).

[84] Барс., т. V, стр. 240.

II. С. П. ШЕВЫРЕВ И ГЕТЕ

ДВА ШЕВЫРЕВЫХ: 20-Х И 50-Х ГГ.—ШЕВЫРЕВ В СРЕДЕ ЛЮБОМУДРОВ.—ПУШКИН И ШЕВЫРЕВ.—УЧАСТИЕ ШЕВЫРЕВА В „МОСКОВСКОМ ВЕСТНИКЕ".—ПЕРЕВОД И ОБЪЯСНЕНИЕ „ЕЛЕНЫ" ГЕТЕ.—В. Л. ПУШКИН ПРОТИВ ГЕТЕ.—ПИСЬМО Н. БОРХАРДА К ГЕТЕ.—ГЕТЕ О СТАТЬЯХ ШЕВЫРЕВА, КАРЛЕЙЛЯ И АМПЕРА ОБ „ЕЛЕНЕ".—ПИСЬМО ГЕТЕ НА СТРАНИЦАХ „МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА".—ШЕВЫРЕВ У ГЕТЕ В 1829 Г.—ПОСЕЩЕНИЕ ШЕВЫРЕВЫМ ВЕЙМАРА В 1838 Г.—ПРИЕМ ПО КЛАССОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.—ДОМ И БЫТ ГЕТЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ ШЕВЫРЕВА.—ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОМ ПОСЕЩЕНИИ В 1829 Г.—ГЕРМАНИЯ И КАБИНЕТ ГЕТЕ.

Во время веймарского свидания с Гете 12 мая 1829 г. княгиня Зинаида Волконская говорила много, Рожалин меньше, а Степан Петрович Шевырев, по выражению самого Гете, «вовсе не промолвил с ним слова». Между тем можно было бы ждать как раз обратного: не «Северная Коринна» и не московский Вертер, переведший «Вертера», а именно Шевырев должен был бы стать во главе беседы. До 12 мая 1829 г. о Рожалине Гете не слыхал вовсе, с кн. З. Волконской у него была давняя светская встреча, но Шевырева он знал заочно, писал и даже печатал о нем. Шевырев, как никто другой после Веневитинова, мог быть пред Гете посланником от русского гетеанства. Рожалин был каким-то правнуком Гете по «Вертеру», он нес наследие юного Гете в своей судьбе, в замкнутом мире своего мышления и жизнечувствия, Шевырев же получил из рук Веневитинова знамя русского гетеанства и развернул его на страницах «Московского Вестника» так широко, что шелест его очень скоро достиг до слуха старца Гете в Веймаре. «Предъистория» знакомства Гете с Шевыревым гораздо интереснее его «истории».

Шевырев и Погодин! «Официальная народность» и «квасное славянофильство»!—нечто такое, от чего сторонились не только западники, но и славянофилы типа Хомякова и Ив. Киреевского. Славянофильство не в запрещенной мурмолке и в гонимой жандармами бороде, а в чиновном мундире и с официально-выбритым подбородком, славянофильство не под жандармским надзором, а с крупными чинами, немалыми орденами и нескудными пенсиями—вот что вспоминается при имени Шевырева, и вспоминается с полным основанием: мундир с орденами, полученными за служение уваровскому «православию—самодержавию—народности», так плотно и навсегда охватил невзрачную фигурку Шевырева, что из-под него не осталось видно ни клочка того романтического плаща, в котором ходил Шевырев в 20-х годах. А так именно, «москвичем в гарольдовом плаще», он и предстал пред Гете в 1829 г. В эти годы еще не было Шевырева—проводника официальной «народности», зачинателя исторического изучения прошлого русской литературы, противника Грановского, неприятеля Белинского,—в эти годы знали Шевырева—поэта, эстетика, переводчика Шиллера и Гете, бойкого полемиста против Булгарина и Греча. В эти медовые годы русского любомудрия имя Шевырева означало противоположное тому, что оно значило для Белинского и Герцена. Понять, что оно тогда означало, можно легко из письма Пушкина к Плетневу в 1831 г.: «Куда бы не худо посадить Шевырева на опустевшую кафедру Мерзлякова, доброго пьяницы, но ужасного невежды! Это была бы победа над университетом, т. е. над предрассудками и вандализмом» [1].

Репутация Шевырева в конце 20-х, начале 30-х годов была не та, что в 40-х и 50-х: его романтический плащ, на опытный глаз охранщиков, был на алой подкладке и не смахивал на благонамеренный мундир, вызывавший негодование Белинского и Герцена. В доносе Ф. Булгарина, поданном в 1827 г. в III Отделение, Шевыреву отведено второе место в рядах московских «отчаянных юношей», «исповедующих правила якобинства» [2].

В 40—50-х годах Шевырев—славянофил уваровского официального покроя, в 20-х годах—он горячий поклонник и проводник западной культуры. Он, правда, упорно думает об историческом призвании России, верит в ее высокое культурное назначение, но вот как выражает он эту свою думу и веру: «Я думаю, что первым писателем в России был бы теперь тот, кто бы вернее показал назначение Русского в ряду других народов. Если бы я был Академия или университет, я предложил бы эту задачу. Решение этой задачи имело бы удивительно быстрое влияние на ход образования нашего. У нас все должно быть с сознанием, потому нам можно заранее указать цель нашу. Пример в Петре, представителе всей России, в этом первом европейском Русеком... Если уж русский полюбит образование, то водворит его во всем человечестве, и счастье его собственное будет тесно связано с образованием последнего дикого... Только Русские в состоянии объяснить Восток Европейцам, да они и созданы для этого кондукторства. Они просвещение Запада приведут туда и выйдут оттуда с полным солнцем». Он пишет драму из древнеримской жизни и на предполагаемый упрек друзей—«что не пишешь русской трагедии?»—отвечает: «Да у нас не слишком ли много теперь националят? Я боюсь, чтобы не надоели этой национальностью и чтобы только не изгадили дела?» Это все—мысли и ощущения Шевырева в 1830 г., когда он про себя говорил, что «пока предан Западу», хотя «мнениями» принадлежит уже «нашему Востоку—России». В 20-х годах он был «предан Западу» без этого «пока» [8].

Шевыреву было 17 лет (родился в 1806 г.), когда он впервые выступил как поэт, прочитав в Обществе любителей российской словесности свои стихи «Песнь старца», а на торжественном собрании Университетского благородного пансиона, этой дорогой и хрупкой оранжереи дворянской педагогики, произнес речь «О влиянии поэзии и красноречия на счастье гражданских обществ». В ней он, пропев гимн науке любомудрия, выдержал экзамен на звание любомудра. Но он не вошел в тесный веневитиновский кружок любомудров и в «Московском Вестнике» явился представителем поэзии, а не философии: он считал себя поэтом и писателем, и в этом его поддерживал Пушкин. «Это голос души моей: его я слышал от Жуковского, от Пушкина», [4] возражал он Погодину, влекшему его к повседневной работе журналиста. Шевырев имел право так думать. Как поэта его отметил сам Пушкин: он признавал в нем поэтический талант и критическое дарование. В отзыве на альманах «Денница» (М., 1830 г.) Пушкин писал: «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим». Шевырев-поэт предпочтен здесь Тютчеву и признан поэтом «немецкой школы». Пушкин высоко ценил и Шевырева-критика. «Московская критика с честью отличается от петербургской,—писал он в «Мыслях на дороге» (1833—1835 гг.).—Шевырев, Киреевский, Погодин (все сотрудники «Московского Вестника».—*С. Д.*) и другие написали несколько опытов, достойных стать на ряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке, и о музыке, как о политической экономии, т. е. наобум и как-нибудь». Известно, как Пушкин ненавидел туманы немецкой метафизики, которыми московская молодежь заволокла и захолодила поэзию и художественную прозу «Московского Вестника», и как «декламировал против философии» Погодину в 1827 г. В 1833—1834 гг. Пушкин сменил эту «декламацию» на более спокойное суждение. Рекомендуя читателю статью Ивана Киреев-

ского, он пишет: «Автор принадлежит к молодой школе московских литераторов, которая основалась под влиянием немецкой философии и которая уже произвела Шевырева... и Д. Веневитинова, так рано оплаканного друзьями прекрасного!» Читатель, как предполагается этой рекомендацией, уже знает Шевырева и ценит его не менее Веневитинова, всеми оплаканного. Свою высокую оценку литературной деятельности Шевырева Пушкин перенес и на его научные труды, начав в 1835 г. разбор его «Истории поэзии» восклицанием: «История поэзии»—явление утешительное, книга важная!» [5]

Восприятие и оценка Пушкиным литературной деятельности Шевырева 20-х—начала 30-х годов может служить образцом той оценки, которую она находила у писателей пушкинского поколения и у старших: Жуковского, Вяземского, Ал. Тургенева. Раздумывая, какую бы книгу послать за границу взыскательному русскому европейцу Ал. Тургеневу, Вяземский делает пушкинский выбор: «разве том «Истории поэзии» нашего Вильменя—Шевырева?» [6], приравнивая работу молодого ученого к блестящим «essais» и «œuvres» знаменитого французского академика, историка и критика, которым зачитывалась вся Европа.

В кружке же молодых писателей немецко-философического призыва Шевырев ценился еще выше. Можно было бы привести много таких оценок, принадлежащих Киреевскому, Соболевскому и др., но ярче всех, потому что наивнее всех, выразил эту любовь-веру в Шевырева Максимович, когда писал в 1829 г.: «Милому Шевыреву, с в е т л о й н а д е ж д е н а ш е й, привет!» [7] Эту «светлую надежду» на культурное служение Шевырева однажды выразили ему, в коллективном письме за границу, люди разного направления мысли и социального чина: славист Ю. Венелин и славянофил Хомяков, цензор С. Т. Аксаков и поэт-Хмель, Н. Языков, переводчик гумбольдтова «Космоса» Фролов и переводчик тассова «Иерусалима» Раич и многие другие. Пушкин счел нужным приписать и свой привет-призыв: «Примите и мой сердечный привет, любезный Степан Петрович, мы, жители прозаической Москвы, осмеливаемся писать к вам в поэтический Рим, надеясь на дружбу вашу. Возвратитесь, обогащенные воспоминаниями, новым знанием, вдохновениями, возвратитесь и оживите нашу дремлющую северную литературу» [8].

Шевырев несомненно «оживлял», если не «северную литературу», то «дремлющий» в метафизике, а потом уснувший в археологии «Московский Вестник»: он с первой же «части» явился в нем поэтом, переводчиком, критиком, полемистом—и всюду гетеанцем. Переводы из Гете и Шиллера он начал еще в «Урании» (1826). В первой части «Московского Вестника» 1827 г. он дал «Характер Гамлета» из «Вильгельма Мейстера», во второй—«Разговор об истине и правдоподобии в искусстве»—«из Гете»; в шестой части появился его «Отрывок из междудействия к «Фаусту»—«Елена» и его статья о ней. В 1828 г. в восьмой части журнала он дал три перевода стихотворений Гете—«Поэзия», «Время и поэт» и «Благодать», а в «Обозрении русских журналов за 1827 г.» он полемизирует с «Московским Телеграфом» по поводу его суждений о Гете и Шиллере. В десятой части—опять стихи «из Гете» и в большой рецензии на «Манфреда»—суждения о Гете и Байроне, с которыми мы уже знакомы. В одиннадцатой части, в разборе «критических сочинений» Шлегеля, рассказан эпизод о Гете и Фоссе. В двенадцатой части дан Шевыревым разбор «Геца фон Берлихингена» в переводе Погодина [9]. Целый круг гетеаны! Если прибавить к этому ряд его



С. П. ШЕВЫРЕВ
Рисунок карандашом Э. В. Дмитриева-Мамонова
Собрание Беэр, Москва

переводов из веймарцев, друзей и сотрудников Гете—из Шиллера и Гердера, то круг этой «гетеаны» станет еще обширнее. Входя в еще более широкий круг гетеаны Веневитинова, Рожалина, Титова, Мальцова, Погодина [10] и др., гетеана Шевырева занимает центральное место в этой гетеане «Московского Вестника». Шевырев всячески заинтересован Гете: и как поэт, и как критик, и как «теоретик изящного». Гете для него—не только величайший поэт современности, он еще и основоположник современной эстетики, и властный творец новой культуры, каждое слово которого важно для строителей здания «русской культуры», какими мнили себя любомудры. Шевырев старался раскрыть русскому читателю связь поэтического дела Гете с общим устремлением европейской культуры, как бы приучая их быть русскими европейцами и через то—гетеанцами.

«Гете назначено стать во главу нового века поэзии»,—пишет Шевырев по поводу русского «Геца фон Берлихингена».—Блестящий век французской литературы уже миновался». Германия таила в себе самобытные силы. Шекспир помог «образовать Гете и Шиллера» как драматических писателей. Шевырев приводит рассказ самого Гете о создании «Геца». Гете пошел дальше Шекспира по пути «сближения искусства с историею», перейдя от царей к людям всех классов и положений. Шевырев высоко ценит исторический реализм «Геца», включивший широкие народные массы в действо трагедии, которая от этого стала живой картиной XVI в. с его бурными движениями низов, подрывающих феодальный строй ударами восстаний. Шевырев признает эстетические недостатки трагедии, «но,—говорит он,—когда вспомним, что в этом произведении вмещено целое столетие, то невольно оправдаем автора» [11]. Эта статья Шевырева—не только п е р в ы й в русской литературе опыт и з у ч е н и я Гете, но и апология исторического реализма, вызвавшего на сцену народные массы и похоронившего навсегда ложноклассическую трагедию королей и героев. Говоря так о Гете, Шевырев писал тем самым апологию и другой трагедии народных масс—«Бориса Годунова» Пушкина, сцена из которого была напечатана в первом номере «Московского Вестника» 1827 г.

Шевырев следил с живым вниманием за «трудами и днями» старца Гете. Этим объясняется, что отрывок из «Елены» появился в русском переводе, едва только она вышла по-немецки весною 1827 г., в 4-м томе последнего прижизненного издания его сочинений под названием «Е л е н а». Классическо-романтическая фантасмагория. Интермедия к «Фаусту». В октябре 1827 г. Шевырев уже представил в редакцию «Московского Вестника» перевод отрывка из «Елены» (стихи 9273—9384) и свою статью о ней, а в первом ноябрьском выпуске журнала (ч. VI, № 21) то и другое было уже напечатано. Чтобы торжественнее обставить появление на русском языке нового произведения Гете, редакция «Московского Вестника» поместила в том же номере журнала литографированный портрет Гете работы одного из «архивных юношей»—И. С. Мальцова. Для перевода Шевырев выбрал эпизод с Линцеем, приносящим сокровища к стопам Елены, сидящей на троне. Фауст отвергает его дары, повелевая ему строить храм. Диалог между Фаустом и Еленой оканчивается его вопросом: «Кто сердцу жизни даст?»—«Моя любовь», отвечает Елена [12].

Представив опыт перевода из нового произведения Гете, Шевырев тут же дал опыт изъяснения целого произведения.

Этот опыт предпринят был не без полемической цели: «Московский Вестник» шел войною на «Московский Телеграф», по самому своему назва-

нию стремившийся быть скорейшим вестителем всех европейских культурных новостей. В № 17 журнала Полевого за 1827 г. было приведено сообщение некоего «француза, живущего в Веймаре»: «Я читал в рукописи новое необыкновенное творение Гете, которое скоро будет напечатано: это дополнение к «Фаусту», которое сам Гете называл фантасмагорией, и, мне кажется, это сочинение непереводимо. Между странным и темным, какая глубокость и поэзия! Не могу сказать вам, что это такое: от осады Трои до падения Миссолунги, греческая мифология, средние века, Байрон—все находится тут: то видение великой, самобытной души» [13].

«Телеграф» Полевого первым передал в Россию известие о «Елене», но, увы, оно уже запоздало: «Елена» не только была уже напечатана, но даже прочтена Шевыревым, и московские любомудры не отказали себе в удовольствии посчитаться с Полевым: «непереводимое сочинение» они всего через три недели после заметки Полевого предложили русскому читателю в стихотворном переводе, а в ответ на замечание о «странности и темноте» «Елены» Шевырев писал: «не желая безмолвно и безотчетно раболепствовать перед художником, как иные любители искусства, которые, не понимая произведения и называя его темным и странным, другими словами, бессмыслицей, все-таки им восхищаются и восклицают: тут много поэзии, хотя я ничего не понимаю,—мы постараемся по силам объяснить себе тайны поэта». «Объяснение» Шевырева выдержано в тонах христианского идеализма.

Для Шевырева «Елена»—не «темное», а символическое произведение, но имеющее при том «все признаки, все качества произведений самобытных, не применяемых ни к какой особенной мысли». Приблизительно так сам Гете объяснял «Елену» Эккерману, когда, не отрицая ее иносказательности, утверждал: «но все в ней ясно для чувств и при сценическом исполнении прямо бросится в глаза» [14]. Изложив предание о Фаусте, Шевырев говорит: «Это был один мертвый материал: поэту следовало вдохнуть в него жизнь, одушевить его мыслью,—и эта мысль есть преображение красоты во время рыцарства». Красота—по любомудру-истолкователю,—точно так же как и женщина, только со времени христианства получила «права священные и неотъемлемые. Свет любви чистой, одушевляющей религию нашу, осветил все чувства человека, и с того времени женщина стала прекрасною половиною преображенной души его». Эту метаморфозу испытал и образ Елены. В античности она—раба Менелая: тогда «красота еще рабствовала пред человеком», в средние века она «становится предметом обожания чистого, душевного». Пред такой Еленой—Еленой Гете—одинаково склоняется и власть «земного стяжания» (Линцей), и власть духа и мужества (Фауст). «Та Елена, которой никто не встретил в безмолвных палатах Менелая, кроме зловещего раздора, возводится на трон в готическом замке рыцаря Фауста. Ей вручено право казнить преступника и венчать царя. Единый взгляд ее лучше сокровищ мира. Кто имеет право на ее любовь? Вождь мужей, лучший из рыцарей, имеющий права над подобными себе!—Кто же родился от сочетания преображенной красоты с великодушным рыцарством?—Эвфорион, живая музыкальная поэзия христианского века, которая поет от сердца, измеряя его биением такт своих песен, столь же разнообразных, как чувства души человеческой; желая обнять вещественное, своим огнем превращает его в пламень и объемлет один призрак; непрестанно рвется из пределов мира земного в небеса беспредельные и исчезает в этом лучезарном стремлении. В сей поэзии

все небесно, все духовно, кроме лиры и мантии. Когда исчезла она,—исчезли ее родители: красота духовная, возвышенная и великодушное м у ж е с т в о,—исчезли в вечность». «Но какая участь пленниц Троянских, в коих олицетворена женщина древнего мира, назначенная для одних чувственных наслаждений?—Они превращаются в разные явления внешней природы и тем ясно оправдывают свое назначение.

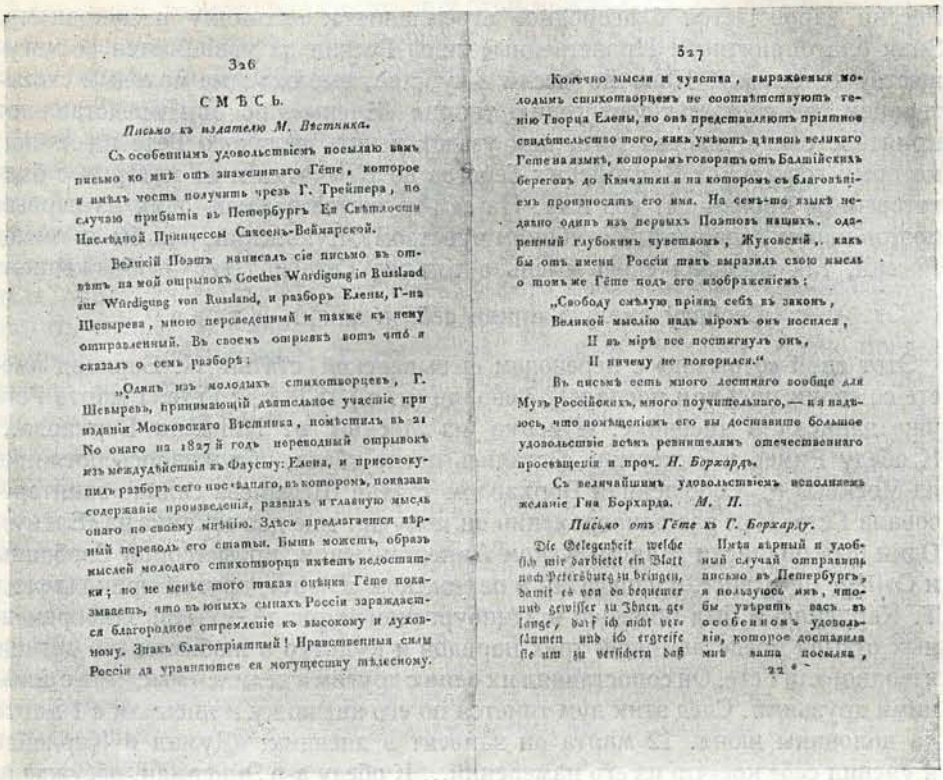
В сей прозрачной фантасмагории поэт-ясновидец раскрыл многие тайны истории и поэзии. Здесь разрешена им загадка рождения романтизма и звучной рифмы. Вместе с торжественным преображением красоты должно было духовно преобразиться и то искусство, которое ей служит,—поэзия. Когда плененный рыцарь стал любить красоту не чувственно, но душевно, тогда любовь вылетела из тесных пределов земли, чтобы свободно носиться по небу и бесконечно предаваться своим очищенным наслаждениям,—тогда и песнь огласила не землю, но небо,—и в своих звуках выразила беспокойное стремление души бесконечно разнообразными размерами, и гармонию чувства любящего—гармоническим созвучием, рифмою. В беседе любовников как чувство отвечает чувству, так и слово должно отвечать слову» [15].

Толкование Шевыревым «Елены»—это плащ христианского романтика, ученика Жуковского, переводчика ваккенродеровых «Размышлений об искусстве» [16], наброшенный на создание поэта, испытывавшего физический озноб от выспренних туманов немецкого романтизма: «классическим я называю все здоровое, а романтическим—все больное», сказал однажды Гете Эккерману, а в год появления шевыревской статьи выразился еще резче про католичествующих романтиков: «я называю их поэзию л а з а р е т н о й; напротив, истинно т и р т е й с к о й поэзией я называю такую, которая не только воспевает битвы, но исполняет людей мужества для противостояния в житейской борьбе» [17].

Для Шевырева и его последовательного гетеанства характерно увлечение новым созданием Гете, далеко не вызвавшим восхищения у современников. Для его критико-литературного анализа похвально, что он—в неприведенных здесь местах его статьи—сумел найти «Елене» место в ряду других произведений Гете и сделать несколько верных замечаний об ее стиле и форме.

У «Елены» в России оказались и друзья, и враги. В числе последних очутился старый арзамасец В. Л. Пушкин. В его повестушке «Капитан Храбров», печатавшейся в лучших альманахах 1829—1830 гг., в том числе в «Северных Цветах», туповатый армейский капитан похваляется:

Но я всегда любил учиться,
И мой полковник, граф Вальтрон,
Саксонец, Гете обожатель,
Был мой наставник и приятель;
Он колдунов, чертей любил,
И, признаюсь, ему в угоду
Я принял новую методу:
Расина-трагика бранил,
Не смел Вольтера звать поэтом,
А восхищался я Гамлетом
И Фауста переводил.



326

СМѢСЬ.

Письмо къ издателю М. Вѣстника.

Съ особеннымъ удовольствіемъ посылаю вамъ письмо ко мнѣ отъ знаменитаго Гёте, которое я имѣлъ честь получить чрезъ Г. Трейтера, по случаю прибытія въ Петербургъ Ея Свѣтлости Наслѣдной Принцессы Саксенъ-Веймарской.

Великій Поэтъ написалъ сіе письмо въ отвѣтъ на мой отрывокъ Goethes Würdigung in Russland zur Würdigung von Russland, и разборъ Елены, Г-на Шевырева, мною переведенный и также къ нему отправленный. Въ своемъ отрывкѣ вотъ что я сказалъ о семъ разборѣ:

„Одинъ изъ молодыхъ стихотворцевъ, Г. Шевыревъ, принимающій дѣятельное участіе при изданіи Московскаго Вѣстника, помѣстилъ въ 21 No онаго на 1827 й годъ переводный отрывокъ изъ междудѣйствія къ Фаусту: Елена, и присовокупилъ разборъ сего послѣдняго, въ которомъ, показавъ содержаніе произведенія, развилъ и главную мысль онаго по своему мнѣнію. Здѣсь предлагается вѣрный переводъ его статьи. Быть можетъ, образъ мыслей молодаго стихотворца имѣетъ недостатки; но не менѣе того такая оцѣнка Гёте показываетъ, что въ юныхъ сынахъ Россіи зараждается благородное стремленіе къ высокому и духовному. Знакъ благопріятный! Нравственныя силы Россіи да уравняются ея могуществу тѣлесному.

327

Конечно мысли и чувства, выражаемыя молодымъ стихотворцемъ не соотвѣтствуютъ генію Творца Елены, но онѣ представляютъ пріятное свидѣтельство того, какъ умѣютъ цѣнить великаго Гете на языкѣ, которымъ говорятъ отъ Балтійскихъ береговъ до Камчатки и на которомъ съ благовѣніемъ произносятъ его имя. На семъ-то языкѣ недавно одинъ изъ первыхъ Поэтовъ нашихъ, одаренный глубокимъ чувствомъ, Жуковскій, какъ бы отъ имени Россіи такъ выразилъ свою мысль о томъ же Гёте подъ его изображеніемъ:

„Свободу смѣлую пріявъ себѣ въ законъ,
Великой мыслію надъ міромъ онъ носился,
И въ мірѣ все постигнулъ онъ,
И ничему не покорился."

Въ письмѣ есть много лестнаго вообще для Музъ Россійскихъ, много поучительнаго, — и я надѣюсь, что помѣщеніемъ его вы доставите большое удовольствіе всѣмъ ревнителямъ отечественнаго просвѣщенія и проч. *Н. Борхардъ.*

Съ величайшимъ удовольствіемъ исполняемъ желаніе Гна Борхарда. *М. П.*

Письмо отъ Гёте къ Г. Борхарду.

Die Gelegenheit welche sich mir darbietet ein Blatt nach Petersburg zu bringen, damit es von da bequemer und gewisser zu Ihnen gelange, darf ich nicht versäumen und ich ergreife sie um zu versichern daß

Имѣя вѣрный и удобный случай отправить письмо въ Петербургъ, я пользуюсь имъ, чтобы увѣрить васъ въ особенномъ удовольствіи, которое доставила мнѣ ваша посылка,

22*

Начало письма Гете к Г. Борхарду о статье Шевырева по поводу „Елены" Гете, помещенное в № 11 „Московского Вестника" 1828 г.
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Но особенно увлеклась Гете жеманная капитан-исправничиха: начитавшись с армейским капитаном «Фантасмагории» в переводе Шевырева,

Еленой Фаустовой быть
Аксинья Павловна желала,
Чего-то тайного искала,
И не хотела говорить
О классиках она ни слова:
Но всей душой была готова
С рогами чорта полюбить
И всю вселенну удивить
Рождением Эвфориона [18].

На ряду с этим комическим врагом у шевыревской «Елены» нашлось в России много друзей—и среди них один, самый неожиданный.

Некий чиновник 10-го класса, служивший в Москве по министерству народного просвещения, Николай Борхард, большой почитатель Гете и прилежный читатель «Московского Вестника», прочтя шевыревскую «Елену», написал целый «отрывок»: «Goethes Würdigung in Russland zur Würdigung von Russland» («Оценка Гете в России, как оценка самой России»). Вот что он писал там в объяснение сделанного им перевода статьи Шевырева об «Елене»: «Быть может образ мыслей молодого стихотворца имеет недостатки; но не менее того такая оценка Гете показывает, что в юных сынах

России зарождается благородное стремление к высокому и духовному. Знак благоприятный! Нравственные силы России да уравняются ее могуществу телесному! Конечно мысли и чувства, выражаемые молодым стихотворцем, не соответствуют гению творца «Елены», но они представляют приятное свидетельство того, как умеют ценить великого Гете на языке, которым говорят от Балтийских берегов до Камчатки и на котором с благоговением произносят его имя. На сем-то языке недавно один из первых поэтов наших, одаренный глубоким чувством, Жуковский, как бы от имени России, так выразил свою мысль о том же Гете под его изображением:

Свободу смелую прияв себе в закон, и т. д.» [19]

Этот свой «отрывок» с переводом шевыревской статьи Н. Борхард вместе со своим письмом послал 12 февраля (н. с.) 1828 г. к Гете. 1 марта Гете уже записал в дневнике: «Письмо из Москвы от Николая Борхарда... К обеду Ример и Эккерман. Остались после обеда, обсуждалось послание из Москвы» [20]. Сообщенная Борхардом статья Шевырева сильно заинтересовала Гете. Как раз одновременно он получил еще два отклика на «Елену». Один был подписан Жаном-Жаком Ампером-сыном, профессором Сорбонны и Collège de France, и напечатан в парижском «Globe»; другой принадлежал Т. Карлейлю и был помещен в эдинбургском журнале [21]. Три одновременных отзыва представителей трех народов и культур о любимом его детище взволновали Гете. Он сопоставлял их один с другим и делился мыслями с близкими друзьями. След этих дум тянется по его дневнику и письмам с 1 марта до половины июня. 12 марта он заносит в дневник: «Думал о Карлейле и уяснил себе кое-что из его намерений... К обеду д-р Эккерман, обсуждали прием «Елены» в Париже и Москве». Через два дня: «Вновь просмотрел и обдумал статью об «Елене» в «Globe». На другой день: «Обдумал прием «Елены» в Германии, Париже и Москве» [22]. О том, что переживал Гете при этих обдумываниях и к чему он пришел, он рассказал Цельтеру: «Я замечаю, что получившая от меня вызов мировая литература устремляется на меня, желая потопить как ученика чародея. Шотландия и Франция изливаются почти ежедневно, в Милане издают весьма значительную газету под названием «Эхо»... К этому могу сообщить, что мне стало теперь известно, как принимают «Елену» в Эдинбурге, Париже и Москве. Очень поучительно познакомиться с тремя различными образами мышления (Denkweisen): шотландец ищет (sucht) проникнуть в произведение, француз—понять его, русский—усвоить себе. Среди немецких читателей, быть может, найдутся все три» [23]. Так сформулировал себе Гете три истолкования «Елены». Через три недели он написал знаменитейшему из толкователей, Карлейлю, ответ на его письмо. Гете уверяет английского мыслителя, что не было еще случая такого участия представителя одной нации к представителю другой: «тем более радостно было для меня ваше истолкование «Елены». Вы и здесь поступили по-своему и прекрасно, а так как к тому же времени получены были из Парижа и Москвы две статьи о том же произведении, столь долго вынашивавшемся, то я высказался об этом лаконически следующим образом». Гете приводит формулу из письма к Цельтеру и продолжает: «Таким образом, не сговорясь, эти трое представили все категории возможного участия в эстетическом произведении; притом понятно, что эти три способа не должны быть непременно резко отграничены между собою, но каждый зовет другие себе на помощь для достижения своей цели. И так как я не могу погружаться в подобные

размышления, несмотря на то, что при этом можно было бы высказать кое-что приятное и полезное, то я попросил молодого друга высказаться по поводу этого, принимая во внимание бывшие между нами разговоры. Это—dr. Эккерман» [24].

Своей формулой Гете был так доволен, что решил ее обнародовать почти в том виде, как сообщил Карлейлю; в журнале «Ueber Kunst und Alterthum» (во 2-й части VI тома, вышедшей в 1828 г.) появилась заметка Гете: «Helena in Edinburg, Paris und Moscau» (под заглавием выписаны названия журналов и в их числе «Der Moskowische Bote» № 21, 1827, S. 79). В ней Гете писал: «Шотландец стремится (strebt вместо прежнего sucht—ищет) проникнуть в произведение; француз—понять его; русский — усвоить себе (aneignen). Таким образом гг. Карлейль, Ампер и Шевырев вполне представили все категории возможного участия в произведении искусства или природы. Дальнейшее обсуждение да будет предоставлено нашим благосклонным друзьям. Отмечая и подчеркивая сопоставление этих трех, никогда резко не разграничиваемых друг от друга категорий, они найдут в этом для себя желанный повод просветить и нас относительно разнообразия эстетических воздействий» [25].

Таким образом сопоставление трех разнонациональных суждений об «Елене» явилось для Гете поводом установить вообще троякий образ восприятия творений не только искусства, но и природы. Гете умолчал, какой из этих трех родов восприятия кажется ему лучшим, но неоспоримо, что стремления «проникнуть» в произведение (durchdringen) и «понять» его (verstehen)—менее решительны и властны, чем стремление «у с в о и т ь е г о» (aneignen).

28 апреля 1828 г. Гете записал: «Просмотрел письмо в Москву... Наследная великогерцогская чета уезжает в Петербург. Продолжал вдумываться в посланье из Москвы от 31 января 1828 г.» Ответное письмо Гете пометил почему-то «1 мая», тогда как «чета», с которой было послано письмо, выехала из Веймара 30 апреля. Получив письмо, Борхард писал Погодину, издателю «Московского Вестника»: «С особенным удовольствием посылаю Вам письмо ко мне от знаменитого Гете, которое я имел честь получить через г. Трейтера [26] по случаю прибытия в Петербург ее светлости наследной принцессы Саксен-Веймарской. Великий поэт написал сие письмо в ответ на мой отрывок «Goethes Würdigung in Russland zur Würdigung von Russland» и разбор «Елены» г-на Шевырева, мною переведенный и также к нему отправленный». Приведя известную нам выдержку из своего «отрывка», Борхард заканчивал: «В письме [Гете] есть много лестного вообще для Муз Российских, много поучительного, и я надеюсь, что помещением его Вы доставите удовольствие всем ревнителям отечественного просвещения». Погодин «с величайшим удовольствием исполнил желание г-на Борхарда» и под заглавием «Письмо Гете» поместил в отделе «Смесь» в первом июньском выпуске «Московского Вестника» обращение Борхарда и письмо Гете в подлиннике и в русском переводе [27]. Вот что писал Гете в Москву:

«Имея верный и удобный случай отправить письмо в Петербург, я пользуюсь им, чтобы уверить вас в о с о б е н н о м удовольствии, которое доставила мне ваша посылка, счастливо сюда прибывшая.

Когда мы многие годы жизни употребим на образование самих себя, стараясь сохранить в творениях следы успехов нашего мышления с тем, чтобы и потомок наш мог видеть, что ему предстоит в жизни, что полезно

и что препятствие; и когда уже в преклонных летах мы узнаем, что наша цель, прежде казавшаяся далекою, достигнута, что смелое желание исполнилось, то какое сладкое чувствование мы тогда испытываем.

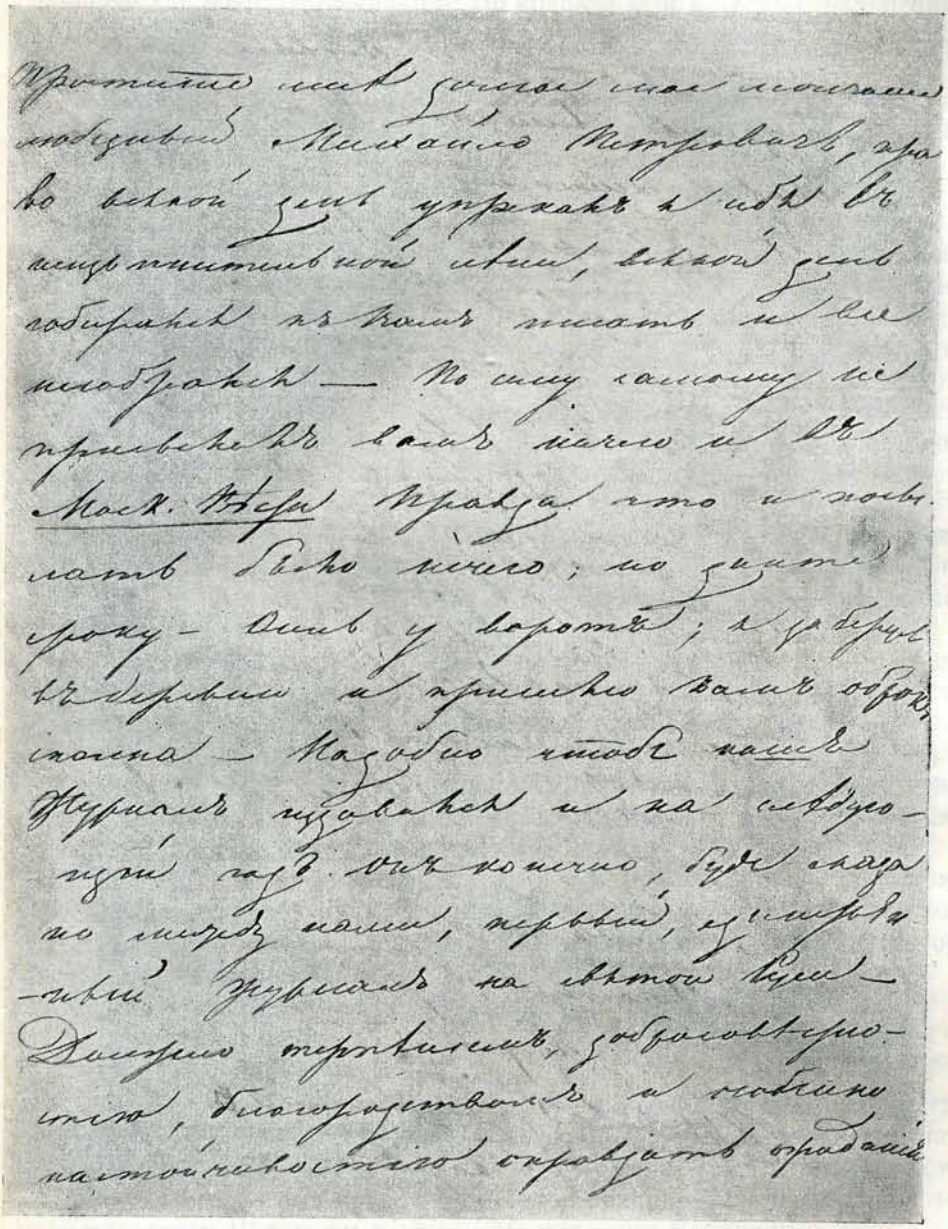
Я не легко сделался дидактическим в моих сочинениях: мне всегда казалось выгоднейшим поэтическое представление предметов, частью действительных, частью идеальных, дабы мыслящему читателю можно было смотреться в образы и самому, при возрастающей опытности, извлекать из них разнообразнейшие результаты.

Хотя мы, западные, многими посредствами, а особенно через г-на Боуринга [28] уже знакомы с достоинствами ваших стихотворцев, хотя, судя по ним и по многим другим благородным признакам, можем предполагать высокое эстетическое образование в обширной области вашего языка; но, несмотря на то, для меня все еще было неожиданным встретить в отношении ко мне на отдаленном Востоке чувства столь же нежные, сколько глубокие, коих милее и привлекательнее вряд ли мы можем найти и на нашем Западе, уже многие столетия идущем к образованию.

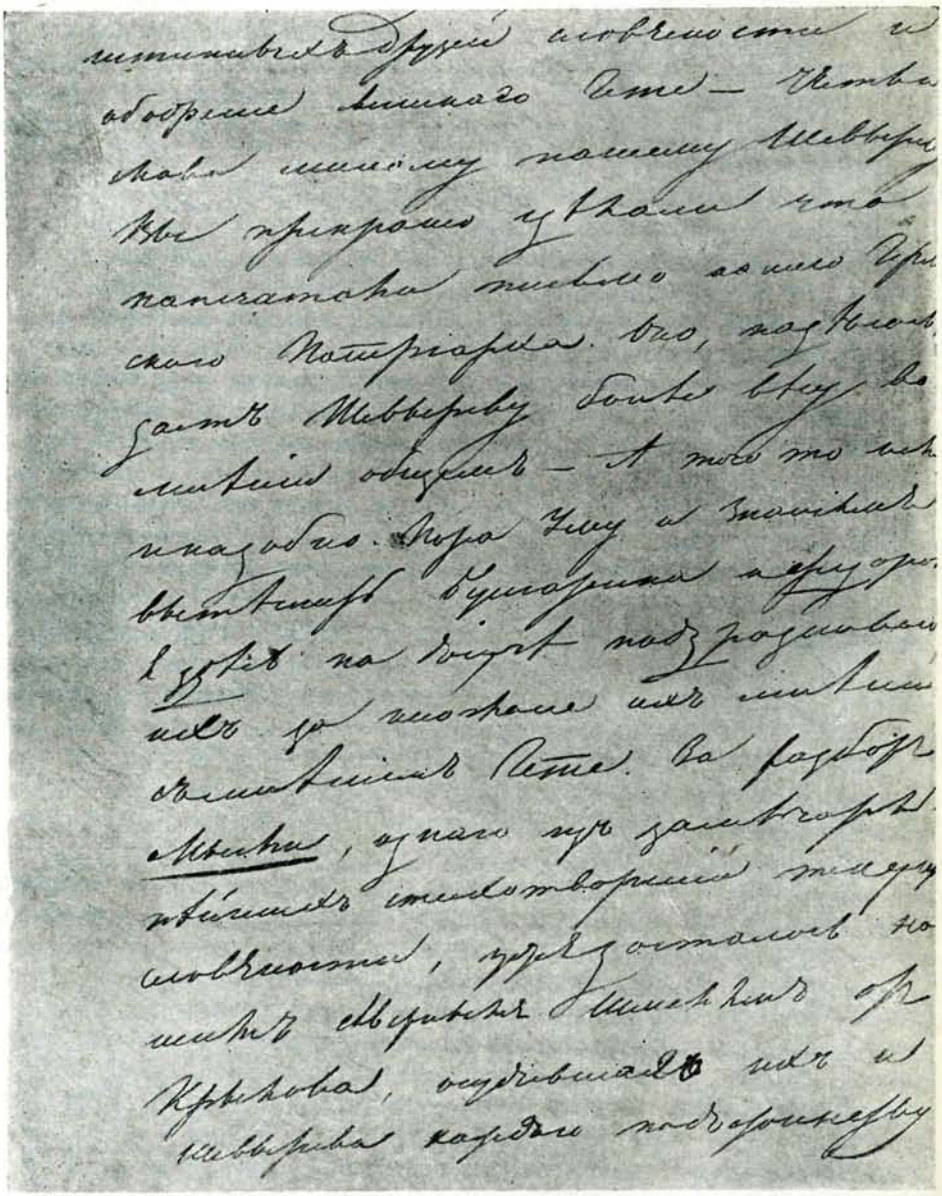
Разрешение проблемы, или, точнее сказать, узла проблем, предложенных в моей «Елене», разрешение столь же удовлетворительное, проницательное, сколько простосердечное,—не могло не удивить меня, хотя я и привык уже испытывать, что нельзя по прошедшему времени судить о быстроте успехов новейшего. Уже мои усладительные отношения к Жуковскому были мне доказательством нежнейшего сочувствия и чистого деятельнейшего соучастия.

Положение, в котором вы [29] находитесь, заставляет меня пожелать счастья в том прекрасном и спокойном влиянии, которое вы имеете на великий народ. Продолжайте с тою же постепенностью, как прежде, передавать своим соотечественникам то, что имеет для них пользу ближайшую. Имея всегда в виду монарха и его мудрые, благодетельные намерения, вы на вашем месте исполняйте вам предстоящее. Что честному возможно, то и полезно, что простыми понято, то принесет плоды. Да будет вам всегда возбудительною наградою одобрение вашего сердца вместе с одобрением ваших начальников». Нельзя тут не прервать Гете и не помочь ему высказать его мысль просто, без обиняков: «Не идите по следам декабристов»— вот то, что хочет он сказать московским любомудрам, и набрасывает им такую программу политического и общественного поведения, что, верно, прочтя ее, был доволен и сам Николай I. Это—программа не только верноподданнического послушания: 1) «иметь всегда в виду монарха и его мудрые благодетельные намерения» и 2) «исполнять» только то, что «предстоит» каждому на его «месте»,—это программа тишайшей гражданской умеренности: «что честному возможно, то и полезно», это, хуже того,—программа откровенного сервилизма: не только сентиментальное «одобрение сердца», но и более реальное «одобрение начальников» должно «возбуждать и награждать» послушных учеников Гете. Один из «архивных юношей» несомненно тут понял бы и поблагодарил Гете за совет: «числившийся по архивам» Алексей Степанович Молчалин, но он—сколько известно—не сотрудничал в «Московском Вестнике» (впрочем, может быть под псевдонимом).

Гете благожелательно обращался к молодежи, только что переведшей на русский язык его новую вещь, с изъяснениями, но, право, они могли усомниться в пользе своего дела, прочтя призыв «передавать соотечественникам с постепенностью» и лишь то, что имеет для них «пользу бли-



Первая страница автографа письма Пушкина к М. П. Погодину от 1 июля 1828 г.
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва



Вторая страница автографа письма Пушкина к М. П. Погодину от 1 июля 1828 г.
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

жайшую». Как было решить, имеет ли мятежный «Фауст», переводимый Шевыревым, или бурный «Гец», издаваемый Погодиным, «пользу ближайшую» для «соотечественников»? По крайней мере в мудрых «намерениях монарха», осуществляемых цензурою и III Отделением, эта «польза» решительно отвергалась.

Наставления Гете даже по языку—тяжелому, мертвенно-бюрократическому—кажутся монологом Фамусова, но в «Московском Вестнике» не нашлось Чацкого, чтобы подать ему злую, заслуженно-злую реплику.

Но произнеся монолог Фамусова, Гете выступает далее в иной роли: проповедника мирного просвещенства:

«Размышления, к которым я приведен теперь, столь же обширны и необъятны, как то государство, в средоточии коего вы находитесь. Уже древняя столица, которую мы еще незадолго почитали в развалинах, снова непонятно возникла из пепла, и вы, вместе с достойными друзьями вашими, быв призваны разделить участь столь важной точки вселенной, в значительнейшую эпоху, не ставьте границ вашему учению, чтобы вернее достигнуть туда, где чистая, простая, благородная деятельность необходима для уничтожения многих препятствий, для совершения многого добра.

Здесь должен я окончить, ибо мои размышления, кажется, начинают уже терять свою цену, удаляясь от того, что служило к ним поводом; но я надеюсь, что вы в вашем положении будете уметь дать особенный смысл сказанному мною вообще.

Мой поклон вашим друзьям; продолжайте спокойно знакомить человека с самим собою, да почувствует он свою цену и достоинство и да научится узнавать то место, которое ему назначено в отношении к целому миру и в особенности внутри его определенного круга.

Если вы опять когда-нибудь пришлете мне искреннюю весть о себе и ваших успехах,—это мне доставит большое удовольствие, и во всякое время мне будет приятно иметь повод говорить с вами.

Прошу вас при случае сказать усердный поклон моему старинному любезнейшему другу, тайному советнику Лодеру, и напомнить обо мне прежнему моему соседу Г. Трейтеру, Главному доктору при Императорском Воспитательном Доме.

Искреннее участие в вас принимающий

И.-В. Гете.

Веймар, 1 мая 1828 г.».

В старости Погодин вспоминал, что «самое блистательное торжество имел Шевырев, написав «разбор» 2-й части «Фауста»: сам германский патриарх отдал справедливость Шевыреву, благодарил его и написал к нему письмо» [80]. Погодин был прав: письмо Гете Борхарду было благодарностью и наставлением Шевыреву и всему «Московскому Вестнику».

Пушкин живее всех отозвался на письмо Гете: через какой-нибудь месяц он уже поздравлял Погодина: «Надобно, чтоб наш журнал издавался и на следующий год. Он, конечно, будь сказано между нами, первый, единственный журнал на святой Руси. Должно терпением, добросовестностью, благородством и особенно настойчивостью оправдать ожидания истинных друзей словесности и одобрение великого Гете. Честь и слава милому нашему Шевыреву! Вы прекрасно сделали, что напечатали письмо Германского Патриарха. Оно, надеюсь, даст Шевыреву более весу в мнении общем, а того-то нам и надобно. Пора уму и знаниям вытеснить Булгарина и Фе-

дорова. Я здесь на досуге поддразниваю их за несогласие их с мнением Гете. За разбор М ы с л и [31] одного из замечательнейших стихотворений текущей словесности, уже досталось нашим северным шмелям от Крылова, осудившего их и Шевырева каждого по достоинству. Вперед и да здравствует «Московский Вестник!»

Пушкин вспомнил и в печати одобрение Гете: разбирая в 1830 г. «Денницу» Максимовича, он с похвалой отозвался о молодой школе московских литераторов, «которая уже произвела Шевырева, заслужившего одобрительное внимание великого Гете» [32].

Этим «вниманием великого Гете» Шевырев был поставлен как бы главою русского философического гетеанства, которое переживало в это время свой апогей. Но тотчас же начался и закат. Пожелания Пушкина, выраженные в письме к Погодину, не осуществились. «Московский Вестник» продолжал, правда, издаваться и в 1829, и в 1830 гг., но вряд ли бы он вызвал «одобрение великого Гете». Журнал хирел и тощал. В 1829—1830 гг. переводы из Гете и статьи о нем исчезают со страниц «Московского Вестника». «Не лежит у меня сердце к Гете», отметил Погодин в дневнике 2/III 1828 г. [33] Он наполнял «Московский Вестник» статьями по русской истории и археологии. Веневитинов умер, кн. В. Одоевский, Титов, Кошелев служили в Петербурге, Рожалин в 1829 г. уехал за границу. В феврале 1829 г. уехал в Италию и Шевырев наставником при сыне кн. З. Волконской. Друзья провожали его туда с великими надеждами.

Шевырев ехал в Италию гетеанцем, а через три года вернулся оттуда дантеанцем. Уже в 1830 г. он писал приятелю: «Я прочел всего Данте или лучше заготовил его на всю жизнь. Что за богатства! Как этот человек в себя вместил весь век свой!.. Читаю Петрарку и Ариоста. Что за язык—этот язык итальянский! У нас в нем только находят звуки и забывают его художественность, его красоту собственно эстетическую» [34].

С этой новой любовью Шевырев хотел связать и свою ученую, и свою поэтическую деятельность. Из Италии он прислал Погодину свое рассуждение «О возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение» с образчиком перевода 7-й песни «Освобожденного Иерусалима». Оно было первым шагом на кафедру, где его так хотел видеть Пушкин, что, по словам Погодина, ехал в Петербург «облеченный во всеоружии брани» за Шевырева [35]. Вступая адъюнктом на кафедру словесности, Шевырев представил диссертацию «Данте и его век», а темой пробной лекции (в начале июня 1833 г.) взял итальянское возрождение: «Изящное искусство в XVI в.». С Италией же связывал Шевырев свою поэзию. Он переводил уже не Гете, а Тассо и Данте. Как Фауст, он сменил Гретхен, поэзию севера, на Елену, поэзию юга. Но в 1829 г. он выехал из Москвы поклонником Гретхен, и таким приехал в Веймар, увлекши с собой Рожалина.

«Предъистория» знакомства Гете и Шевырева обильна событиями. Зато «история» их встречи бедна ими. Когда знаешь эту «предъисторию» и вспомнишь о «трусости» Шевырева, которая почти зачеркнула его встречу с Гете, начинаешь понимать, что очевидно «олимпийство»—вольное и невольное—жизни и поэзии Гете могло внушить такую степень пиэтета, что она граничила с трепетом, с трусостью: иные посетители Гете, как Шевырев, способны были забыть свою биографию, все свои гетеанские труды, даже свою заочную известность Гете и дрожать перед ним.

То, что Рожалин обозвал «трусостью», сам Шевырев назвал немногим мягче—«робостью». 29 мая 1829 г. он писал А. П. Елагиной из Флоренции:

«Если Гете нас робел, как же мы-то должны были его бояться? Мы все молчали и смотрели. Он показал нам подарок Жуковского: картину, изображающую арфу у стула, на котором кто-то сидел и исчез, оставив плащ свой. Луна ударяет на струны. Эта мысль взята из его «Елены». Гете очень доволен этим подарком. Княгиня своею любезностью загладила нашу скромность. Оттилия Гете не хороша, даже дурна, но очень умна и любезна; она вся дышет Байроном и сожалеет, что он не успел исполнить своего обещания—посетить Веймар. Гете очень добрый дедушка: когда вошел в комнату внук его, он весь устремился на него. Видно, что в бессмертии своем, как поэт, он слишком уверен: ему хочется жить и во внуках. Какие огненные глаза! Но они одни и живут в нем, а в прочем он только что бродит по земле. Он сидел на стуле, протянувши руки и беспрестанно сжимая пальцы. Уже все ему в тягость, а особенно незнакомые лица,—как будто ему уж нет времени видеть новое. Он редко теперь выходит из дома, однако все издает журнал свой. По-французски говорит он дурно. С большим участием слушал он, как княгиня говорила ему о том, как ценят его в России. *Оттилия слыхала о Пушкине, но не могла сказать его имени*, потому что имена русские жестки даже и для немецкого уха» [36]. Вот и все: несколько строк, исполненных удивления пред огненным взором Гете, и теплого чувства к его старости и семейственности. Гете «с большим участием слушает», как ценят его в Москве, но это говорит ему не тот, чью «оценку» он недавно читал и на которую отвечал как на «оценку самой России», это говорит ему светская женщина. Гете показал картину, связанную с «Еленой», но перекинулся ли он хоть словом с переводчиком «Елены»? Гете просто отметил в дневнике, что у него были двое русских юношей с княгиней. Расслышал ли он фамилию одного из них, уже известную ему, побывавшую под его пером, напечатанную им в его журнале? Приходится думать, что нет, и этим объяснить, что сам Гете не заставил заговорить заробевшего гетеанца: если бы имя Шевырева дошло до слуха престарелого поэта, вряд ли оно скрылось бы в записи 12 мая под мало говорящей фразой о посещении «двух русских юношей».

Через девять лет Шевырев опять был в Веймаре и, освободившись от своей «робости» пред «олимпийцем», лежавшим уже в могиле, дополнил свой рассказ подробностями психологическими и описательными. Рассказ Шевырева о веймарском посещении 1838 г. совершенно забыт: ни один из старых и новых русских и немецких исследователей русских отношений Гете не упоминает о нем. Это дает ему право занять видное место в нашем исследовании:

«Восемь лет тому назад я имел счастье видеть Гете и быть у него. Такие минуты не забываются в жизни. Я был тогда в Веймаре с покойным Р[ожалиным]. Мы оба имели некоторое право на такую честь: Р[ожалин]—как переводчик «Вертера», я—как автор разбора «Елены», заслужившего приветливое слово Гете. Княгиня В[олконская] ввела нас обоих через канцлера фон Мюллера, который всегда, в подобных случаях, исправлял должность церемониймейстера при своем друге Гете. Канцлер предупредил нас, что поэт всегда будет смущен и молчалив при первом свидании с людьми ему незнакомыми...

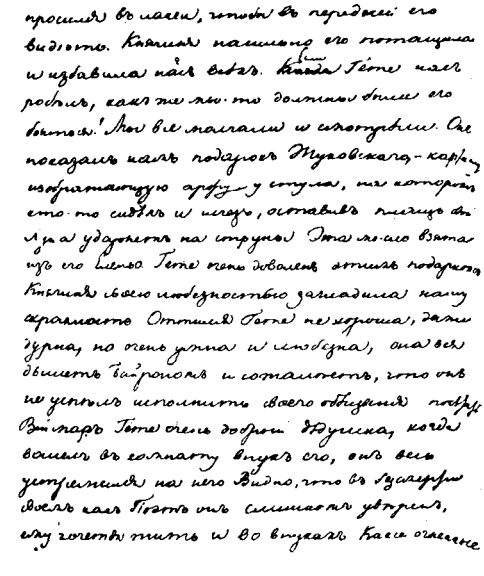
Я помню, с каким благоговением и трепетом я всходил по изящной лестнице гетева дома, убранной копиями прекрасных статуй. Я понимал здесь впечатление Миньоны, гуляющей по галереям Ватикана. Мне также казалось, что все эти статуи смотрели на меня, входящего к великому Гете.

План Рима виден был на стене, как тот мраморный план, который вы видите на стенах лестницы Музея Капитолийского. Он был тут кстати: он приготовлял к великому видению. На верху лестницы перед входом в переднюю, на полу, у двери, глаза ваши встречали мозаиковое гостеприимное «Salve», как в домах Помпеи. Наконец я был в передней. Еще несколько шагов, и надобно было предстать пред Гете.

Эти минуты ожидания могу я сравнить только с теми, когда в первый раз подъезжал к морю, к Риму, к храму св. Петра, Мон-Блану... То же самое ощущение, когда приближаешься ко всякому земному величию. Роковые шаги были сделаны. Я стоял в дверях гостиной—и величавая фигура Гете медленно и спокойно двигалась к нам навстречу. Всего прежде поражало в нем, как в бюсте Юпитера, высокое чело, надрезанное морщинами; под ним юношески сверкали черные глаза, живости чудной на лице старца; след правильного греческого профиля еще обрисовывался ясно; могучие плечи и стан дивно прямо поддерживали эту древнюю пластическую голову. Когда Гете сел в кресла, он принял положение сидящего Юпитера: руки его со сжатыми кулаками спускались по коленям—и в пальцах заметно было движение когтей орла или льва, который то вбирает их в себя, то выпускает. Разговор сначала шел очень медленно, тем более, что Гете говорил на французском языке, который затруднял его. Оттилия, вольнее им владевшая, оживляла беседу—и, я помню, говорила о произведениях Пушкина и особенно о его «Кавказском пленнике», которого узнала она через перевод, ей сообщенный князем Э[лимом] М[ещерским]. Речь коснулась и Байрона; много сожалела Оттилия о том, что он не сдержал данного свекру ее слова и не приехал в Веймар. Когда Гете узнал, что Р[ожалин] перевел его «Вертера», он улыбнулся и сказал с каким-то вздохом: «А! Это шалость моей юности». Лицо его оживилось и просияло выразительною улыбкою, когда вошел его маленький внук, сын Оттилии, хорошенький мальчик, который теперь вырос и обещает быть замечательным музыкантом [37]. Гете устремил глаза на своего внука, как на свое будущее, и был рад, что мог рекомендовать его гостям». Гете показал гостям картину Каруса: «она ему очень нравилась... Гете любил показывать произведения искусства, которыми изобиловал дом его. Провожая, он повел нас в комнату, где стояли мраморы и гипсовые копии. Здесь я помню особенно бюст тридцатилетнего Гете: красота мужа необыкновенная,—это был помолодевший Юпитер Ватикана» [38].

В поездку 1838 г. Шевырев посетил Франкфурт и записал такое впечатление от родины Гете: «И в Франкфурте, как в Гамбурге, торговля осилила литературу: этот город больше торгует, чем пишет; но он хранит в себе самое драгоценное воспоминание для немцев: здесь колыбель Гете. Я видел дом, в котором он родился, дом богатый и высокий. Я видел Рёмер (Römer)—и здесь залу венчания императоров и залу пиршества. Сюда нельзя войти, не вспомнив, что здесь отроческий гений великого гения Германии питался памятью минувшего и, может быть, здесь зародился его «Гец». Франкфурт всегда был горд своим уроженцем и подкреплял ослабевшую старость поэта рейнвейном, ровесником ему по годам. Золотой венец, дар франкфуртских граждан, хранится в доме Гете в числе других редкостей» [39].

Второе посещение Веймара (19-20/7-8 июня 1838 г.) Шевырев очень ярко отразил в неизданном дневнике своем. Записи сделаны в самом Веймаре: они напоминают систему «кольев» Жуковского: кратки, обрывисты, сжаты.



Автограф письма С. П. Шевырева к А. П. Елагиной от 29 мая 1829 г. с рассказом о посещении Гете
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Но, в отличие от Жуковского, Шевырев очень скоро проделал у себя в кабинете второе путешествие по «кольям» с пером в руке, и «колья» превратились в связный рассказ о посещении дома Гете. Почти все записи «кольев» текстуально вошли в «Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин», появившиеся на следующий год в «Отечественных Записках», но вошли в связном, пополненном изложении автора, не нуждающемся в комментировании. Этот рассказ здесь и воспроизводится, а то, что не вошло в него из «кольев», будет приведено в скобках в соответствующем месте рассказа. Текст «кольев», целиком перенесенный в рассказ 1839 г., выделен разрядкой.

19/7 июня Шевырев записал в дневнике: «В Веймар приехали мы в три часа ночи. Насилу добрался я до трактира и до постели»[40]. Этот ночной приезд русского гетеанского паломника конца 30-х годов развернут в «Дорожных эскизах» в яркую, богатую социальными красками картину.

«Город глубоко спал, когда носильщик прикатил мои пожитки к гостинице. Разбуженный стуком Hausknecht отворил мне дверь и, сердитый, впросонках, отвел мне самую дурную комнату во всем трактире. Я спрашивал, нет ли лучше? «Нет, все заняты», был лаконический ответ его. Слуга ушел, а Шевырев с помощью служанки тотчас же перешел в лучшую комнату насупротив прежней. «Утром насилу я докликался слуги; вообще меня принимали очень дурно. Вот что значит притти пешком в гостиницу. Но когда я взял лон-лакея и объявил, что иду к канцлеру фон Мюллеру, когда на вопрос хозяйки: буду ли я обедать в гостинице, я отвечал, что обедаю в Бельведере у великой княгини, когда хозяин в книге проезжающих увидел возле моего имени чин гофрата,—тогда все переменилось: хозяин уже провожал меня до коляски, предложил мне переменить мою комнату на лучшую; за ужином и за обедом на другой

день сам потчевал меня во второй раз кушаньем. Вечером трусливый Hausknecht подошел ко мне с подобострастием и, глупо улыбаясь, спросил меня: не сердит ли я еще на него? Наконец слуга трактира, поднося мне счет перед отъездом, с глубоким поклоном сказал: «Da haben Sie die Rechnung, Herr Hofrath».

Никто из русских посетителей не набросал такой типичной для феодально-придворного Веймара сценки: «по одежке встречают, а—вопреки пословице—по социальному паспорту провожают»! Паспорт же этот выдавался в Веймаре двором.

Веймар 1838 г. произвел на Шевырева «впечатление Помпеи. Улица гробов, ведущая вас в город, покинутый жителями, наводит на вас такое же уныние, как теперь Веймар: только гробницы, да опустелые дома великих мужей!... «Вот дом Гердера», скажет вам проводник. «Вот дом Шиллера», скажет он вам еще на другой улице, указав на простой, низкий домик мещанской наружности. «Вот дом Гете», воскликнет он гордо, остановясь перед домом довольно большим и замечательным для скромного Веймара».

Шевырев посетил канцлера Мюллера, не застал Эккермана и отправился в дом Гете. Его описание дома чрезвычайно ценно: он, подобно А. И. Тургеневу, собрал в своем описании отзвуки живого и свежего предания о Гете и дал полнее и обстоятельнее всех русских посетителей топографию и описание комнат и всего, что в них было; кажется, что живой Гете сопутствует Шевыреву в его «путешествии по комнатам»; но в то же время Шевырев уловил в своем рассказе и начальный момент превращения дома Гете в платный музей, начало туристско-промышленного «использования» гетевской посмертной славы. Среди описаний гетева жилища, появившихся в первое десятилетие после его смерти, забытый рассказ Шевырева занимает, если не первое, то одно из первых мест. «Если захотите в Веймаре видеть дом Гете, надобно предупредить бывшего секретаря и библиотекаря при Веймарской библиотеке, г. Крейтора, который очень радушно всем его показывает, в ожидании разумеется червонца или по меньшей мере талера.

С чувством стеснительно неприятным всходил я опять по той же лестнице: план Рима висел на том же месте; статуи стояли тут же; то же «Salve» встретило меня перед входом... Но все как пусто и как изменилось! Нечистота лестниц уже показывала отсутствие хозяина. Парадные комнаты, в которых принимал нас Гете, были заперты по причине отсутствия г-жи Оттилии. Сюда не простирается право г. Крейтора, который заведует только кабинетом, спальнею и коллекциями Гете и комнатами, где находится естественный музей. Я вошел в кабинет. Крейтор, показывающий все с постепенностью и важностью, достойными дома Гете, остановил меня и сказал: «Вспомните, что вы вошли в комнату, где в течение сорока лет жил и думал Гете». Передо мною была маленькая, четвероугольная, довольно низенькая комната с низкими окнами в сад. Во всем ее убранстве господствовала простота до скудости. Все предметы ее остались точно так, как были они расположены в последний день жизни Гете, и с тех пор не тронуты с места. Простой четвероугольный стол стоит в средине: на нем в картоне деревянная чернильница и песочница. В комнате ни дивана, ни кресла, но всего три стула, из которых два у стола, и на одном из них, где сидел

Гете, лежит подушка. Возле стола высокая корзина, куда Гете клал свой платок. Такое отсутствие спокойной мебели в комнате все придумано с целью: Гете боялся всякой приманки к неге как повода к лени. В течение целого утра он более ходил по комнате и редко садился: этим беспрерывным движением его и содержанием тела в непрерывной деятельности Крейтор объясняет, почему он, несмотря на глубокую старость, всегда сохранял прямизну своего стана. Единственная нега, какую позволял он себе вечером, когда утомленный трудами дня садился у стола и собирал около себя друзей своих, была подушка, на которую облокачивал он руки. Никто, кроме самых искренних друзей, не мог проникнуть в тайну его кабинета, и эта комната до самой смерти Гете пребывала невидимою для его посетителей. Г. Крейтор с живым участием и весьма красноречиво показывает все вещи, принадлежавшие Гете, и сообщает много любопытных подробностей из его жизни. В его полной и изящной речи очень заметно, что он не малое время был секретарем при Гете, который часто диктовал ему свои произведения.

Между вещами много замечательного. Сначала привлекает внимание ваше бюст Наполеонов, ввиде флакона из венецианского стекла, на котором проходят всевозможные отливы радуги: это подарок, присланный дочерью Эккермана из Венеции. Гете очень любил эту игрушку и видел в ней подтверждение теории цветов. Флакон стоял у него всегда перед зеркалом, как стоит и теперь, так что в нем отражалась всегда и задняя сторона бюста со своими радужными цветами».

(После описания флакона в дневнике еще фраза: «Его (т. е. Гете) выражение об этом флаконе», но выражение это не приведено.—*С. Д.*).

«Далее замечательна призма из четырех красок, символически выражающая его теорию, и на каждой краске по надписи: Sinnlichkeit (чувственность), Phantasie (фантазия), Verstand (разум) и Vernunft (ум). Гете находил соотношение между лучами света и четырьмя способностями, в которые, по его мнению, дух человеческий преломляется, как свет в лучи. (В дневнике: «Призма четыре цвета: Sinnlichkeit (зеленый)—Phantasie (красный)—Verstand и Vernunft. Система фантастическая».—*С. Д.*). В числе автографов с благоговением развернете вы «Геца фон Берлихингена», писанного собственной рукою Гете: это черновая рукопись, но она написана так четко и разборчиво, что вы ее примете невольно за перебеленную. Вы обратитесь к Крейтору с вопросом удивления и он вам скажет, что он с тем же вопросом обращался к самому Гете: отчего все его рукописи так чисты и чужды помарок? Оттого, что Гете долго носил в себе произведения и тогда уже передавал их бумаге, когда они во всей полноте подробностей и в окончательных формах представлялись его воображению. (В дневнике важное пояснение: «Слова самого Гете Крейтору о том, как он долго носил в себе произведения и как скоро их писал».—*С. Д.*). Нельзя не согласиться, что потребна необыкновенная внутренняя сила и сосредоточенность гения, чтобы в самом себе выносить создание и отделать его в малейшие черты. Другая рукопись остановит вас: «Римские элегии» (Erotica romana). Здесь заметны некоторые поправки, но сделанные после рукою поэта. Крейтор рассказывал, что Гете, будучи недоволен самими римскими эле-

гиями, хотел сжечь их и поручил это ему, но он не исполнил приказания и сохранил их».

Шевырев, хорошо повидимому знакомый с историей создания «Римских элегий», весьма внимательно, по-ученому, ознакомился с их рукописью: он приводит отвергнутое Гете первоначальное их заглавие: «Erotica Romana», а в дневнике еще отмечает: «Поправки стихов в рукописи: regst вм. rührst. Место о Вертере, которое не было никогда напечатано». «Место о Вертере»—это начало первого, более короткого, варианта второй «Римской элегии», оставшегося в рукописи: Гете отмахивался в нем от прискучивших ему вопрошаний: существовал ли Вертер? кто такая Лотта? и т. п.

Экземпляр «Манфреда» с надписью: from the author, присланный от Байрона к Гете, в чудном фантастическом футляре Ост-Индии, лежит возле этих рукописей. Недалеко от стола, на двери, висит доска, где Гете записывал для себя все важные современные политические события, следя их внимательно по важнейшим газетам [41]. С другой стороны комнаты, между двумя этажерками, которые уставлены зонтиками, ширмочками и другими безделицами, дареными Гете от его знакомых и родных в день его именин и рождения, вы видите на стене гипсовый медальон, полуразбитый, с портретом Наполеона». Его историю мы уже знаем из письма А. И. Тургенева.

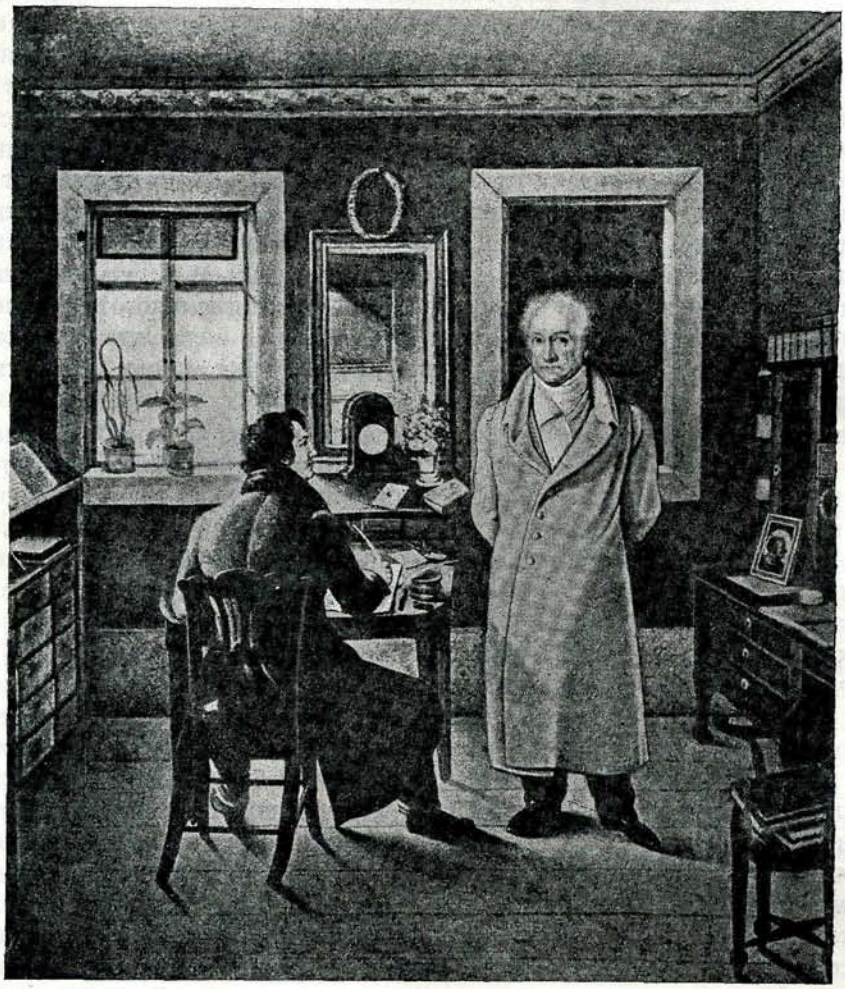
«Кроме стола, стоящего в середине, где занимался Гете, есть в комнате другой стол у окна: здесь обыкновенно сидели за столом внуки Гете, не отходившие от деда по смерти их отца. Иметь их у себя в кабинете не мешало его занятиям. Такая же точно чернильница стоит на столе внуков, какая у деда. В картоне видна корпия. Один из внуков Гете был очень жив и нетерпелив, ему не сиделось на стуле, он хотел резвиться. Старик приучал ребенка к терпению и, обещая ему награждение денежное, заставлял его в течение часа сидеть у стола и щипать корпию. Когда ребенок высиживал, тогда получал деньги.

На полках этажерок видны книги. Здесь заметны сочинения Гете и особенно теория цветов, которою он гордился более, нежели чем-нибудь. Три последние тома его переписки с Шиллером переплетены и стоят особо, на них видна буква L; они назначены были для отсылки к Лодеру, но Гете не успел сделать этого до своей смерти. Тут же видны исторические словари и Conversations-Lexicon, служившие ему для справок. Крейтор говорит, что Гете сначала не любил сего последнего сборника, но после сознался в его пользе и всегда держал его у себя в кабинете. На другой полке стоят книги, которые присланы ему были перед его смертью от разных ученых и литераторов. Тут заметил я Историю всемирной литературы А. Вахлера, которую Гете много уважал.

Из кабинета налево вы входите в спальню, которая еще вчетверо меньше кабинета. Здесь он умер. Самая простая деревянная кровать стоит в углу и занимает почти четверть комнаты; на ней перина, одеяло весьма запачканное и одна подушка... Комната снизу кругом обита коврами. Вольтеровские кресла поставлены у кровати и перед ними разложен маленький коврик для ног. Тут же столик и на нем зеленый зонтик для глаз. В углу, с другого конца, на столе видна склянка с лекарством, которое в последний раз принимал Гете; на ярлыке склянки вы читаете надпись: S. Excellenz dem Herrn Geheimrath von Göthe (его превосходительству господину тай-

ному советнику фон Гете). Все это осталось так, как было в день его смерти. Подумаешь, это постель и спальня самого бедного человека.

Здесь Крейтор с чувством расскажет вам последние минуты жизни Гете. Я уже знал их прежде из описаний, но в комнате, где совершилось событие, рассказ был кстати. «Отчего он умер? Какая была главная причина его смерти?» спросил я Крейтора. «Он простудился,—был ответ его.— Зима была очень суровая, здесь в комнатах дуло из-под полов. Нет, он не



Гете в своей рабочей комнате диктует секретарю
Картина маслом Иосифа Шмелера
Landesbibliothek, Веймар

должен был умереть так скоро; несмотря на 81 год, старость не коснулась его своим разрушением; как он прямо держал себя! Как тело его было свежо и еще полно сил до самой смерти! Вся жизнь его была так устроена, что он должен был провести самую долгую старость, умеренность во всем, начиная с пищи до внутренних ощущений; всякое неприятное чувство он удалял от себя; все ему служило, все поклонялось; уважаемый всем миром, ласкаемый судьбою он мог еще жить долго, долго». («Простота до скупости

в спальне Гете. Как богат был внутренний мир Гете! Чудное явление, если вникнуть во всю глубину его!»).

«Почти час провел я в кабинете и в спальне Гете, слушая занимательные рассказы Крейтора. В первом моем путешествии я видел гостиную Гете, теперь, после его смерти, в этих двух маленьких, тесных, скудных до бедности комнатках открылся мне тот богатый внутренний мир, в котором он жил, нарочно окружая себя такою непривлекательною, обыкновенною внешностью. Здесь воображал я себе, как из угла в угол двигалась медленно и спокойно его величавая пластичная фигура: это был орел или лев в тесной клетке. Но какое богатство души, какой роскошный внутренний мир надобно было носить в себе, чтобы добровольно запереть себя в нее и отказаться от всех приманок внешней жизни, имея все к тому средства! Кабинета в нашем смысле не было у Гете,—или, вернее, он был постольку, поскольку надобно человеку где-нибудь сидеть да ходить; но кабинет его настоящий был душа его, обнимавшая собою мир... Сорок лет такой чудной, деятельной жизни в этой тяжкой и довольно темной клетке о двух окнах! Здесь явился на свет «Тасс», «Фауст», «Вильгельм Мейстер», «Елена»... Зрелище поучительное, открывшееся нам по смерти великого! Эта клетка могучего гения есть свидетельство его железной воли, эта нищенская бедность говорит о чудном богатстве души... Вот тайна германского гения!

Да, кабинет Гете есть символ не только его жизни, но и всей Германии. Она вся такова: скудость снаружи, богатство внутри; бедная существенность—дивный мир мыслей. Русским, привыкшим к наружному величию, она кажется и тесна и мелка, и я с ними согласен,—и я готов шутить над ее невинностью в удобствах жизни, но в кабинете Гете я постигаю ее тайну, и сквозь эту жалкую существенность вижу яснее внутренние сокровища ее жизни немецкой... Но эта мысль, справедливая в других случаях и пошлая здесь, совершенно уничтожится, когда вы из кабинета Гете отправитесь с г. Крейтором рассматривать любопытные коллекции, которые стоили ему очень дорого. Здесь найдете многочисленное собрание ваз майолических (vasa majolica), итальянских медалей и разных произведений искусства. Гете жил всегда в этом мире и любил перебирать свои коллекции. Любопытно собрание бюстов, украшавших его комнаты: в ряду их заметите бюст Гегеля. Рядом стоят черепа: череп со всеми подробностями головной системы, самим Галлом [42] подаренный Гете, снимок с черепа шиллерова, и настоящий череп Вандика, не знаю, каким образом доставшийся Гете. Не менее достойно внимания собрание автографов: здесь оригинал письма В. Скотт к Гете и почерки всех знаменитых полководцев Франции, последние подарены женою генерала Раппа.

Гете любил иметь у себя портреты всех друзей своих и замечательных знакомых: но нельзя не сказать, что эти портреты исполнены очень дурно и похожи более на карикатуры: Гете заказывал их веймарскому живописцу Шмельцеру» [43].

В «Дневнике» в числе этих плохих портретов Шевырев отметил еще «портрет Мицкевича».

О драгоценных кубке, венце и печати, принадлежавших Гете, мы прочли уже у А. Тургенева.

В доме Гете, в его кабинете, спальне и парадных комнатах, Шевырев увидел символ его жизни и даже символ всей Германии. В этом много справедливого и много совершенно ложного. Превосходно уподобление, данное

Гете: «Это был орел или лев в тесной клетке», но ему не пришло в голову продолжить свое сравнение. Парадные комнаты с созданиями искусства и комнаты с научными коллекциями были тоже клетками—раззолоченными и разукрашенными отделениями той единой захолустной веймарской клетки, которая называлась—бытие великого поэта Гете в качестве господина тайного советника фон Гете, серьезного министра полуопереточного государства на курьих ножках. Шевырева поразила вопиющая несоответственность: величайший солнцелюбец жил и работал в темных клетушках (в дневнике своем Шевырев даже ахнул: «Простота до скупости в спальне Гете»), поэт мирового мыслительного простора сжимал себя под давящими потолками мещанских комнатушек. Знаменитое предсмертное восклицание Гете «Mehr Licht!» («Больше свету!»), тысячу раз символически комментированное, истолкованное как последняя заповедь гуманиста, ныне оспаривается. Но слова эти, по замечанию современной нам посетительницы дома Гете, «могли быть произнесены хотя бы по той причине, что свету в комнате слишком мало и умиравший Гете не мог не страдать от его недостатка» [44]. Должно сказать точнее: перед смертью или немного раньше Гете должен был произнести эти слова: он задыхался в своей закуте-спальне, и любой современный врач тотчас бы велел перевести больного в другую, просторную, светлую комнату, открыть форточки, дать больному вдоволь дышать свежим воздухом. Умиление на этот возглас Гете: «Больше свету!» просто отвратительно: это умиление на крик больного, которому не оказывают надлежащей помощи.

В сущности совершенно так же Гете задыхался и в клетке своей веймарской жизни. «Существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней как к единственной, в которой он мог действовать» (Энгельс),—существовать в этой среде—значит задыхаться, значит нажить себе тягчайшую астму. Весь веймарский быт Гете был существованием больного астмой: он от нее не умирал, правда, но он и никогда не был здоров: еслиб он мог без астмы жить в спертом воздухе веймарского мелкопоместного двора и общества, он не был бы тогда ни великим поэтом, ни зорким ученым. Шевырев сказал правду, извлекши ее из внимательного осмотра дома Гете: великий поэт больше сорока лет прожил в «тяжкой и довольно темной клетке о двух окнах», но только бывший московский любомудр ошибся названием: клетка называлась не «кабинетом Гете», а «Веймаром Гете». [45]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Переписка П., т. II, стр. 232.

[2] Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором. 3 изд. Л., 1925, стр. 82—92.

[3] Письмо 1830 г. к Ал. В. Веневитинову, Барс., т. III, стр. 73—76.

[4] Барс., т. II, стр. 179—180.

[5] Пуш., т. V, стр. 49, 361—362; М. П. Погодин, Дневник 4/III 1827 г. «Пушкин и его современники», тт. XIX—XX, стр. 84; Пуш., т. V, стр. 46—47, 388.

[6] «О. А.», т. III, стр. 287.

[7] Барс., т. III, стр. 48.

[8] Письма П., т. I, стр. 85. Письмо от 29 апреля 1830 г.

[9] В виде предположения высказываю мысль, что Шевыреву же принадлежат выбранные из Гете «Мысли о дружбе и об изящном» во 2-й части и «Анекдоты о Гете» в 6-й части «М. В.» за 1827 г.

[10] В. П. Титов (1807—1891) в своей статье «О романе» (часть VII) высказывает ряд суждений о романах Гете; М. П. Погодину принадлежит «Юбилей г. Лодера»

(ч. V), московского профессора, старого друга Гете; не знаю, кому принадлежит известие о новом французском переводе «Фауста» и о представлении его (ч. VI).

[11] «М. В.» 1828 г., ч. XII, Критика, стр. 109—128. Свои похвалы «Гецу фон Берлихингену» как трагедии с участием народных масс Шевырев должен был, цензуры ради, уравновесить указанием на то, что сам «Гец подчиняется священному гласу верховной власти своего монарха».

[12] О портрете Гете работы И. С. Мальцова см. в работе А. М. Эфроса: «Гете в художественном наследстве СССР».— Вот три первые строфы из речи Линцея в переводе Шевырева:

Твой раб, царица, пред тобой!
Он молит милости одной:
Да скажет мне твой светлый взгляд:
«Ты нищ, как раб, как царь—богат».
Кто ныне я—и кто я был?
Я взглядом землю покорил,
Но молния моих очей
Притуплена красой твоей.
С Востока грозно мы пришли,
И Запад стерт с лица земли,
И за народом шел народ,
Не зная, кто во след идет... и т. д.

[13] «М. Т.» 1828 г., № 17, стр. 54—55, «Литературные Известия».

[14] Эккк., т. I, стр. 281; запись 29 ноября 1827 г.

[15] С. Шевырев, Отрывок из междудействия к «Фаусту»—«Елена» («М. В.», ч. VI, 1827 г., стр. 3—8)—«Иностранные книги. Елена, междудействие к Фаусту, соч. Гете». С. Ш... (там же, стр. 79—93).

[16] Шевырев вместе с Титовым и Мельгуновым перевел этот катехизис романтической и идеалистической эстетики—«Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком». М., 1826.

[17] Эккк., т. II, стр. 159, 22; запись 2 апреля 1829 г. и 26 сентября 1827 г.

[18] Первый отрывок—из II главы, напечатанной в «Северных Цветах» на 1829 г., второй—из III главы, помещенной в «Радуге» на 1830 г. Чтобы не вышло ошибки, о какой «Елене» идет речь, В. Л. Пушкин потрудился сделать примечание к строке: «Еленой Фаустовой быть»: «Читай «Елену», новую поэму г. Гете». (Сочинения В. Л. Пушкина, изданные под ред. В. И. Саитова. Изд. Евг. Евдокимова, СПБ, 1893, стр. 109—110.) В четвертой главе «Капитана Храброва» В. Пушкин сделал вылазку и против I части «Фауста», с ее сценами «Кухня ведьмы» и «Вальпургиева ночь»:

Мы после вдруг заговорили
О новых книгах, о стихах,
И модный романтизм хвалили.
«Хвала германцам. О чертях
Они понятие нам дали!»
Вскричал наш князь: «и доказали,
Что шабаш ведьм и колдунов,
Мяуканье и визг котов,
Крик филинов и змей шипенье
Прямое сцены украшенье.

Отрицательно отнесся ко II части «Фауста» и П. А. Катенин. Прочтя 10 томов посмертных сочинений Гете, он уверял Пушкина (письмо от 4 января 1835 г.), что в них «любопытного одно продолжение «Фауста» и то сумбур неизвиненный ничем гениальным, ибо гений выжился из лет» (Переписка П., т. III, стр. 177).

[19] «М. В.» 1828 г., ч. IX, № 11, стр. 326.

[20] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 186.

[21] «Globe», tome VI, № 34, p. 209. «The Foreign Review» 1828, № 11, p. 430.

[22] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 191—193.

[23] Письмо от 21 мая 1828 г. («W. A.», IV Abt., B.. XLIV, S. 101).

[24] Письмо от 15 июня 1828 г., там же, стр. 138.

[25] Заметка вошла в «W. A.», Band XL, Weimar, 1903, S. 358. Выражение из письма к Карлейлю: «an einem ästhetischen Werke dargestellt» Гете заменил более широким и емким: «an einem Kunst- oder Naturprodukt vollständig durchgeführt».

[26] Вильгельм Трейтер—главный врач Московского воспитательного дома, сын бывшего веймарского министра, дом которого был в соседстве с домом Гете. По медицинским спискам, в 1809 г. значится как «штаб-лекарь», в 1814 г.—как «доктор».

[27] «М. В.» 1828, ч. IX, № 11, стр. 326—333. Собственноручный подлинник письма Гете к Н. Борхарду остается неизвестен, поэтому немецкий текст «М. В.» является первоисточником. Веймарское издание перепечатало письмо Гете не из «М. В.», а с перепечатки в «Журнале для немецких читателей в России» (1837 г., № 30, 14 апреля). См. «W. A.», IV Abt., B. XLIV, 1909, S. 78—81 и 370—371. Редакторам Веймарского издания осталось повидимому неизвестным, что письмо к Борхарду было тогда же напечатано на родине Гете: во «Frankfurter Telegraph» («Neue Folge» № 17, April 1837, S. 129—131) в заметке: «Goethe in Russland». Mitgeteilt von H. König. Заметка принадлежит перу Г. Кёнига, известного автора книги о русской литературе: «Literarische Bilder aus Russland. Hgg. von H. König. Stuttg. u. Tübingen, 1837». Книга эта была написана Кёнигом по запискам и изустным сообщениям его русских знакомцев, встречавшихся с ним за границей, более всего по мыслям и суждениям одного из «архивных юношей»—Николая Александровича Мельгунова, которого Белинский недружелюбно называл «суфлером Кёнига» («Письма», т. I, СПБ, 1914, стр. 211). Несомненно этим «суфлером» внушены и вступительные к письму Гете строки во «Frankfurter Telegraph»: «В России между молодыми писателями и их друзьями имя Гете стяжало великое благоговение. Молодой московский поэт Шевырев при самом появлении «Елены» представил стихотворный перевод отрывка из этого интермеццо и изложил в своей статье содержание и основные мысли этого произведения». Борхарда Кёниг называет «живущим в Москве немецким литератором».—Русский текст письма Гете приведен по «М. В.».

[28] См. главу о Жуковском.

[29] «Гете не мог знать моих отношений,—делает к этому месту примечание сам Борхард,—и потому я не принимаю всех этих слов на мой счет. Но он сам мне вручил право, как читатели увидят ниже, дать особенный смысл всему сказанному им вообще, и я, с его позволения, вменяю себе в честь отнести все сие к русским литераторам, оставляя себе одно счастье быть посредником в этом деле».—Гете счел безвестного Борхарда—по аналогии с Ампером и Карлейлем—за влиятельного писателя, соратника Шевырева по «Der Moskowische Bote». Борхард своеместно вернул по принадлежности всю честь гетевых одобрений, пожеланий и надежд.

[30] М. П о г о д и н, Воспоминания о Ст. П. Шевыреве. СПБ, 1869, стр. 15.

[31] В № 8 (ч. VIII) «М. В.» 1828 г. Шевырев поместил стихотворение «Мысль» («Падет в наш ум чуть видное зерно»...) (стр. 357—358). Отплачивая Шевыреву за едкий и сплошь отрицательный разбор «Северной Пчелы», напечатанный в «М. В.», Булгарин поместил в своей газете (1828, № 53 от 15 мая) «Письмо к издателям», в котором подверг издевательскому высмеиванию философское стихотворение Шевырева. Крылов, вступившийся за Шевырева,—сам «дедушка И. А. Крылов».

[32] Письма П., т. II, стр. 53. П у ш., т. V, стр. 47.

[33] В августе 1842 г. Погодин посетил Веймар, но в дневнике его гораздо ярче и обильнее отражены впечатления от семейства веймарского придворного «протоиерея Стефана Сабинина», чем от города Гете и Шиллера. Лишь одно замечание этого выходца из крепостной среды заслуживает отметки: «Недавно останки Шиллера и Гете поставлены в склепе под часовнею вместе с членами герцогской фамилии, что немцы считают великою почестию для бессмертных поэтов». Впрочем и Погодин не обошелся без традиционной хвалы этой «фамилии»: «Какое бедное владение Веймарское, но одно умное герцогское семейство, и Веймар бессмертен во веки-веков». Однако те параллели, которые Погодин приводит к Карлу-Августу, сильно ослабляют хвалу: «Август II (курфюрст Саксонский.—*С. Д.*) был государь во многих отношениях недостойный, но его собрания, составляющие первое украшение Дрездена, искупают множество проступков пред судом его подданных. Точно то же можно сказать теперь о Людовике Баварском, который возводит Мюнхен на высокую степень славы» (Б а р с., т. VII, стр. 31—33). Очевидно «точно то же» мог сказать Погодин и о Карле-Августе Веймарском.

Рассуждая в одном письме о некотором демократизме в русской литературе, Погодин вспомнил «как гениальный Гете кичился званием тайного советника великого герцогства Веймарского, которое поместится свободно в любом нашем уезде» («Р. А.» 1882 г., № 5, стр. 69).

[34] Б а р с., т. III, стр. 75. Письмо к А. В. Веневитинову.

[35] Т а м ж е, стр. 305.

[36] С подлинника из Елагинского архива. Шевырев с явным облегчением переходит далее к рассказу о Рожалине: «Но опять о Рожалине», и строки его дышат теплотой, сердечным вниманием к сложной личности и судьбе московского Вертера. В конце письма Шевырев успокаивает неудовлетворенную гетеанку Елагину: «Прочие все подробности о Гете расскажет Вам Погодин из других писем». В бумагах

Погодина, хранящихся в Ленинской библиотеке в Москве, не нашлось этих писем (см. «Р. А.» 1879, № 1, стр. 138—139).

[37] Внук Гете, хорошо запомнившийся Шевыреву и кн. Волконской, был старший—Вальтер, впоследствии барон фон Гете, камергер, занимавшийся музыкой и издавший несколько композиций для пения.

[38] С. Шевырев, Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин.—«О. З.» 1839 г., т. III, стр. 114—117.

[39] Там же, стр. 109.

[40] Дневник Шевырева. Рукопись, т. II. Бумаги Шевырева № 4/2, л. 87; дальнейший текст на л. 87, 87 об., 88 (Гос. Публ. Библ. в Ленинграде).

[41] «В 1828 г. Гете заинтересовали тринадцать тогдашних событий политического характера. Он записал их на первую таблицу и отметил их последовательное развитие в годы 1829 и 1830 на двух следующих таблицах. Ход вещей, связь их в изложении Гете и перед его взором становится божественно (!) видимым... Связь—вот что открывается глазу Гете и что его прежде всего интересует» (Мариэтта Шагинян, Путешествие в Веймар. ГИЗ. М.-П., 1923, стр. 104—105).

[42] Франц-Иосиф Галль (Gall, 1758—1828)—френолог, автор сочинения «Philos. mediz. Untersuchungen über Natur und Kunst im kranken und gesunden Zustande des Menschen» (1792), далее: Вандик—Ван-Дейк, Антонис (1599—1641)—знаменитый фламандский портретист, ученик Рубенса.

[43] С. Шевырев, Дорожные эскизы, стр. 118—125.

[44] М. Шагинян, Путешествие в Веймар, стр. 105 (писано в 1914 г.).

[45] Почти одновременно с Шевыревым посетил Веймар Януарий Михайлович Неверов, друг Белинского, и впечатления западника почти совпали с впечатлениями славянофила. В очерке «Дом Гете в Веймаре. Из путевых впечатлений» («Литерат. Прибавл. к Русскому Инвалиду» 1839 г., том I, стр. 7—31) Неверов дает яркую зарисовку Веймара и дома Гете. Кельнер в гостинице пожаловался ему: «Когда жив был Herr Geheimrath von Goethe, то веймарские гостиницы были всегда наполнены приезжими, но теперь они стоят пустыми». Неверов был приглашен на вечер к Оттилии Гете, *которая «одушевляла беседу рассказами о своем великом родственнике»*. В доме Гете «ясно рисуется колоссальная фигура Гете. В мелких подробностях, в вещах самых обыкновенных, видишь жизнь разумную, в которой все, даже самое обыкновенное, имело мысль и значение высшее. Я провел в этих залах только три часа; но в них надобно бы было остаться три недели: надобно изучать их, потому что кто лучше Гете умел разумно жить? Кто может сравниться с ним в неподражаемом искусстве сливать с жизнью вседневную науку и искусство?... Патриархальная простота и величавость—вот характер жилища Гете». В одной из зал «Гете является наверху своего земного, внешнего величия. Богатые собрания редкостей, царские подарки, на каждом шагу след глубокого благоговения современников, следы царственных особ, или лично посещавших поэта, или оказавших ему свое внимание богатыми подарками».

В одной из комнат находился «на круглом столе картон с портретами всех лиц, с которыми Гете был в связях или просто знаком: в это отделение дома он приходил обыкновенно после обеда и час или два занимался расстановкою, размещением своих музеев, что было и прогулкою и занятием: иногда же он спрашивал картон с портретами, говоря, что хочет повидаться со старыми друзьями, и эту молчаливую беседу часто оканчивал грустным замечанием, что многих уже не стало. Вообще он *работал только поутру, до 2 часов; послеобеденное же время, если не принимал* посторонних, любил проводить или в своем музее или в семействе».

О кабинете Гете Неверов пишет: «Это довольно просторная, но низкая, неприятная и дурно освещенная комната; хотя в ней и два окна, но они малы и выходят в сад. Стены ее приятные, штукатурные, окрашенные голубою краскою, без всяких украшений... Весь этот кабинет с его мрачностью, с его простыми, даже грубыми и почерневшими мебелями производит какое-то таинственное, скажу даже высокое впечатление на душу... Самый простой французский литератор не стал бы работать в этой черной комнате». Один из опекунов внуков Гете рассказал Неверову, «что поэт не любил принимать у себя в кабинете и доступ в него был так труден для постороннего, что король баварский в одно из своих посещений Гете, желая проникнуть в это убежище гения, принужден был употребить хитрость и, идучи по парадной лестнице, притворился, что у него идет кровь из носа, и вместо прямого пути вверх, в приемные комнаты, неожиданно повернуть направо, прямо в прихожую и кабинет поэта, о месте коих он заранее осведомился».

Общее значение посещения дома Гете Неверов выразил в следующих словах: «Понятие, составленное о нем (о Гете) при чтении его творений и автобиографии, *превращается здесь в живой образ, присутствие которого кажется чувствуешь*».

III. З. А. ВОЛКОНСКАЯ И ГЕТЕ

ВСТРЕЧА ГЕТЕ С З. А. ВОЛКОНСКОЙ В 1813 Г.—„КНЯГИНЯ ЗЕНЕИДА" В СВИТЕ АЛЕКСАНДРА I.—МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА В ЖИЗНИ З. ВОЛКОНСКОЙ.—„ГОТИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ".—САЛОН ВОЛКОНСКОЙ В МОСКВЕ.—ЖАНДАРМСКИЕ ОТЗЫВЫ О ВОЛКОНСКОЙ.—БЕГСТВО ИЗ РОССИИ.—ВОЛКОНСКАЯ У ГЕТЕ В 1829 Г.—ВЕЙМАР В ПУТЕВЫХ ЗАПИСКАХ ВОЛКОНСКОЙ.—ГЕТЕ И ВОЛКОНСКАЯ НА РАЗВАЛИНАХ ПАЛЛАДИО В ВИЧЕНЦЕ.—ПАМЯТНИКИ В САДУ ВИЛЛЫ ВОЛКОНСКОЙ.

Из всех русских посетителей 12 мая в дневнике Гете сохранилось одно имя—кн. З. А. Волконской; оно оставило там и дальнейший след.

Гете встретился с ней впервые едва ли не в самые тяжелые дни своей жизни; 1 мая 1813 г. в Теплице он занес в свой дневник: «Вечером у его высочества. Фон Алопеус, графиня Нессельроде, княгини Волконские. Позднее пришел кн. Барятинский. Известие о смерти Кутузова» [1].

Это был самый разгар войны с Наполеоном. Веймарский герцог не присоединился к коалиции России и Пруссии и был на стороне Наполеона. В апреле «веймарский батальон был взят в плен пруссаками; пруссаки и русские заняли холмы близ Веймара; со дня на день могло разыграться сражение между ними и французами». В дневниках у Гете тревожные отметы: «Вступление русских в Гамбург и Лейпциг» (3/IV). «Шум из-за русских» (7/IV) и т. д. Домашние убедили Гете уехать. 17 апреля, «после того как его художественные сокровища, да вероятно и важнейшие рукописи были вынесены из дому и зарыты в землю, он покинул Веймар. Как раз во-время! Уже на следующий день пушечные ядра пролетали над городом, а на улицах раздавался треск ружейной пальбы». Через Дрезден приехал он в Теплиц. В дневнике под 21/IV запись: «Ночью суета и размещение русских с факелами». От Гете не укрылись и бытовые черты из жизни русского солдата: «Русские, покупавшие красные яйца»: наступила пасха (запись 25/IV). 8 мая Гете отмечает: «В город прибыло много русских раненых. Наполеон в Дрездене», и только через неделю более успокоительное известие: «Русские собрались в путь в то время, как пришло сообщение об австрийском решении выступить против Франции» [2]. Сам Александр I был в это время в Теплице.

В эти-то тревожные дни Гете встретился с «княгинями Волконскими» в самом высшем кругу теплицкого, тогда международного, общества. Одна из Волконских была княгиня Софья Григорьевна (1800—1868), сестра декабриста С. Г. Волконского и жена кн. П. М. Волконского (1776—1852), генерал-адъютанта и самого близкого человека к Александру I, не покидавшего его с юных лет до самой кончины. Другая была знаменитая «княгиня Зенеида», жена (с 1811 г.) другого ее брата, флигель-адъютанта, генерал-майора кн. Никиты Григорьевича (1781—1841) [3]. Гете встретил их в обществе русского посланника в Баварии кн. Барятинского, жены другого русского посланника—г-жи Алопеус и недоброй памяти графини М. Д. Нессельроде (1786—1849), той самой, которая проявила впоследствии такое злое усердие к гибели Пушкина. Душою этого общества была «княгиня Зенеида». В 1813—1815 гг., в самое пышное время русского «empire'а» и императорства, Александр I считал «княгиню Зенеиду» «одним из прекраснейших украшений своего двора» [4], а по отзыву придворно-исторического эхо, сам был неравнодушен к ней. Следуя со своим мужем в свите императора по всем устоявшим от революции и Наполеона и вновь реставрируемым большим и малым дворам европейских родственников и союзников Александра I, она всюду и всех поражала своей красотой, тонким умом и утонченным образованием: оно

было наследием ее от отца, «московского Аполлона», французского поэта и русского дипломата, кн. А. М. Белосельского-Белозерского (1752—1809), бывшего послом в Дрездене, а больше в Фернее у приятеля своего Вольтера, который хвалил его французские стихи и вместе с Делилем и Лагарпом обращался к нему со стихотворными посланиями. В эти именно годы З. Волконская приобрела от Европы титул «La Corinne du Nord», но она тогда еще не писала стихов: очаровывала своим пением и была скорее «русской Каталани».

Ее разговора искали придворные, дипломаты, полководцы, цари, и на них сыпались не только благоуханные лепестки ее изящного остроумия, но кололи их порой и острые шипы ее тонкой иронии.

Гете заметил ее, но из всех разговоров того вечера он отметил в своем дневнике не какое-нибудь блестящее или острое слово «Северной Коринны», а важную военную и политическую новость: смерть фельдмаршала Кутузова.

Через два года он записал для памяти: «советнику Фолькель [управляющему двором Марии Павловны] пакет для Волконской». Это могло быть и «княгине Зенеиде» [5].

Вторично встретился он с нею через 16 лет, и в том же месяце мае, но уже не в теплицком обществе «высочеств» и «светлостей», а в Веймаре, у себя в гостиной. За эти годы «княгиня Зенеида» пережила много,—так много, что, расскажи она об этом, из рассказа ее могла бы составиться целая книга высокого интереса и немалого исторического значения.

После теплицкой встречи с Гете ее ждали в 1815 г. блистательные успехи в Париже. Сам «упоительный Россини, Европы баловень, Орфей», рукоплескал ей за исполнение его «Italiana in Algeri» [6]. Великая трагическая артистка Марс сетовала, что природа ошиблась: аристократке дала великое сценическое дарование: для придворной дамы, с которой сам император был в переписке, подмостки и рампа были запретны. Она не была счастлива с мужем и вся отдалась воспитанию сына Александра (1811—1878). Теперь, в 1829 г., 18-летний юноша, он был уже автор стихотворения «Ангелы» [7]; впоследствии дипломат по наследству (в Дрездене, Неаполе, Мадриде), он стал и французско-русским писателем по наследству: писал в 30—40-х годах на наследственные темы—об Италии и Риме—и печатался в журналах друзей и поклонников его матери: в «Современнике», «Московском Наблюдателе», «Москвитянине».

В 1817 г. З. А. Волконская вернулась в Россию, но так заскучала в аракчеевском Петербурге, что уехала в полу-Италию—в Одессу. Батюшков писал оттуда друзьям: «она здесь поселилась, и все у ног ее» [8]. Через год она вернулась в Петербург, но, чуждаясь светской жизни, предалась литературным занятиям. В 1819 г. вышли ее «Les quatres nouvelles».

Десять лет спустя Шевырев писал об ее литературных опытах: «В ней врожденная любовь к искусству. О если бы она в молодости писала по-русски! У нас бы поняли, в чем состоит деликатность и эстетизм стиля. Она создала бы у нас шатобрианову прозу» [9]. Русская иностранка, она напряженно учится мыслить, говорить, писать по-русски. Она пробует стать на русскую почву, но аракчеевская земля уходит из-под ее ног, и она опять изчезает на юг: в Рим, в Верону. Она пишет там оперу «Giovanna d'Arco» и сама выступает в роли Орлеанской Девы. Пластическим совершенством исполнения она чарует художников: Ф. Бруни и Брюллов пишут ее портреты. Отдышавшись в Италии, она возвращается в Петербург



З. А. ВОЛКОНСКАЯ
Гравюра Вейсс с миниатюры Мюнере
Частное собрание, Москва

и, ища забвения в науке, погружается в изучение славянских и скандинавских древностей. После двух лет труда в Париже выходит ее повествование «Le tableau Slave», встреченное хвалою французской критики. Его переводят и на русский язык. Новый свой роман из древнеславянской жизни—«Ольга»—она начинает по-французски, но продолжает по-русски. Она так нешуточно отдалась своим историческим занятиям, что в известном археологе И. М. Снегиреве «возбудила большое удивление знаниями таких предметов, которые при ее положении в свете казались ей мало известны» [10]. Она вместе с поэтами-декабристами, А. Бестужевым, Кюхельбекером, А. Одоевским, одна из первых очутилась, по выражению ее внучатого племянника С. М. Волконского, «в полосе какого-то странного славяно-готического патриотизма. Люди, не имевшие или очень мало имевшие корней в своей стране, получившие умственное пробуждение с Запада, душою все же тяготели к родине и желали видеть ее культурно равною другим странам. Княгиня Зинаида заплатила дань этому влечению в своих писаниях и музыкальных произведениях» [11].

Московское пятилетие «княгини Зенеиды» (1824—1829) тесно связано с историей русской литературы. У нее был редкий дар и нужная смелость оказывать в своем доме гостеприимство свободной мысли, поэзии и красоте, не считаясь с тем, что суровые законы эпохи отказывали им во всяком приюте. Когда Пушкин писал ей:

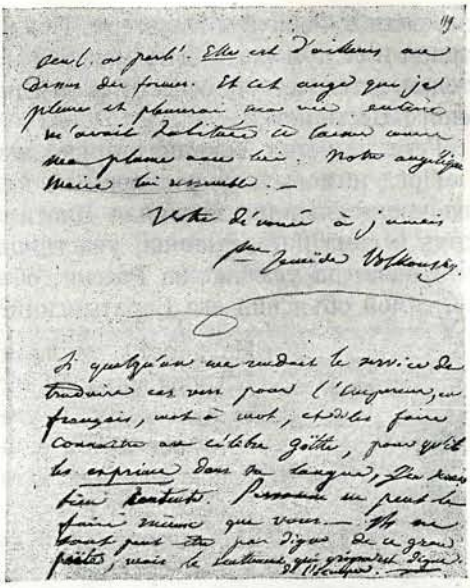
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона,—

он перечислил не все «толки» и не весь «лепет», при которых

Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновенья.

«Княгиня Зенеида» держала этот «скипетр» свободных «вдохновений» при гораздо более опасных «толках»—тех, что вылетали про нее и ее общество из «портретных» Хлестовой и Фамусова, перепуганных 14-м декабря, и из властных казарм Скалозубов; она не опускала свой скипетр и при еще более опасном «лепете молвы»—доносах шпионов и заправил III Отделения. Она дала торжественный вечер в честь жены декабриста, отправлявшейся, вопреки воле Николая I, в Сибирь; она принимала у себя, как друга, опального изгнанника Мицкевича. Она была «царицей муз и м ы с л и» кружка любомудров и гетеанцев, поименно значившегося в списках III Отделения. Это учреждение выразило о ней свой «толк» в донесении фон Фока Бенкендорфу от 9/VIII 1826 г: «Между дамами самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство—княгиня Волконская и генеральша Коновницына (мать двух декабристов.—*С. Д.*); их частные кружки служат средоточием всех недовольных; и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и их слуг» [12].

Волконская не скрывала, что расправа Николая I с декабристами внушает ей отвращение. Как многие, она романтизировала «дней александровых прекрасное начало». Ей тем легче было это делать, что она знала Александра в эпоху его блестящих заграничных военно-дипломатических гастролей 1813—1815 гг., когда он выступал на сценах Берлина, Дрездена, Парижа



Последняя страница автографа письма З. А. Волконской к Каролине Эглофштейн от 31 января 1826 г. с упоминанием о Гете
Goethe-und Schiller-Archiv, Веймар

в роли освободителя Европы. Личные отношения к ней Александра носили характер дружбы, быть может и более сильного чувства. Романтизированный Александр являлся в глазах Волконской рыцарем, Николай казался выскочкой, Скалозубом на престоле; нельзя сомневаться в искренности этих чувств. Когда Александр I умер, Волконская испытала действительное потрясение, отразившееся в ее известном письме к ее учителю, академику бар. А. Мериану [13]. Она отозвалась на смерть Александра кантатой, где ей принадлежали не только слова, но и музыка. Посылая кантату в Веймар графине Каролине Эглофштейн и прося вручить ее Марии Павловне, Волконская присоединила и еще просьбу: «Если кто-нибудь окажет мне услугу перевести эти стихи об императоре по-французски слово в слово и сделать их благодаря этому известными Гете, я буду этому очень рада. Никто не сделал бы этого лучше вас. Они не достойны, быть может, внимания великого поэта, но чувство, которое царит в них, достойно того, чтоб овладеть им» [14].

Отзыва Гете об этом сочинении кн. Зинаиды мы не знаем. Но чувства к Александру, выраженные в этой кантате, и противоположные им чувства к Николаю I кн. Волконская сохранила навсегда. Николай I относился к ней с враждебной подозрительностью.

В мае 1829 г. она ехала в Италию с мыслью начать новую жизнь, забыв и навсегда оставив в России все николаевско-бенкендорфовское, все казарменно-кандальное, а все, что было ей дорого и что хотелось помнить из прошлого,—уместить в сад своей римской виллы. Она, по словам А. И. Тургенева, «оживила пустынность своей виллы воспоминаниями о живых и мертвых: там в русской избе—урна императору Александру, на греческой вазе—имя Каподистриа и французская эпитафия няньке Василисе» [15], там «древний обломок», посвященный Карамзину, урна в память Веневитинова. С годами там прибавилась плита Рожалину и «древний» же «обломок» Пушкину.

На перепутьи в это увезенное из России в Рим милое прошлое урн и обломков она сочла долгом заехать в Веймар к Гете, как некогда ее отец

заезжал в Ферней к Вольтеру. Все московское пятилетие Гете был властителем и ее дум (хотя быть может и не самодержавным), как был он пленителем эстетической совести и мысли окружавшей ее молодежи «Московского Вестника».

Гете встретил ее как старую знакомую.

Пред ним была уже теперь не краса общества дипломатов и царей, а вдохновительница, истинная Диотима опального круга мыслителей и поэтов и сама писательница, участница их журнала. Открыла ли она Гете, что навсегда уезжает из России, объяснила ли ему свой отъезд так, как ей самой объяснил его Боратынский?

Из царства виста и зимы,
Где под управой их двоякой,
И атмосферу, и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный
Под авзонийский небосклон...
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой чистой красоте
Рафаэль дышет на холсте...
Там лучше ей.

Сам некогда беглец «под авзонийский небосклон», автор «Итальянского путешествия» понял бы ее.

Во всяком случае она, а не оробевший Шевырев, ввела Гете в культурную работу москвичей, одушевленную его именем, и ее «с большим участием слушал он».

Осталось два следа этого свидания Гете с З. Волконской. Гете отдарил ее за какой-то подарок, очевидно полученный при свидании: «две серебряные медали г. канцлеру Мюллеру для княгини Волконской», записал он 16 мая, через четыре дня после свидания, а на другой день писал—или обсуждал—ответ на письмо «княгини Зенеиды», не дошедшее до нас: «Под вечер г. канцлер фон Мюллер. Ответ княгине Волконской».

Переписка Гете с нею—или вернее княгини с ним—продолжалась; по крайней мере 30 января 1830 г. он записал: «Пришло послание от княгини Волконской» [16]. Это «послание» до нас не дошло.

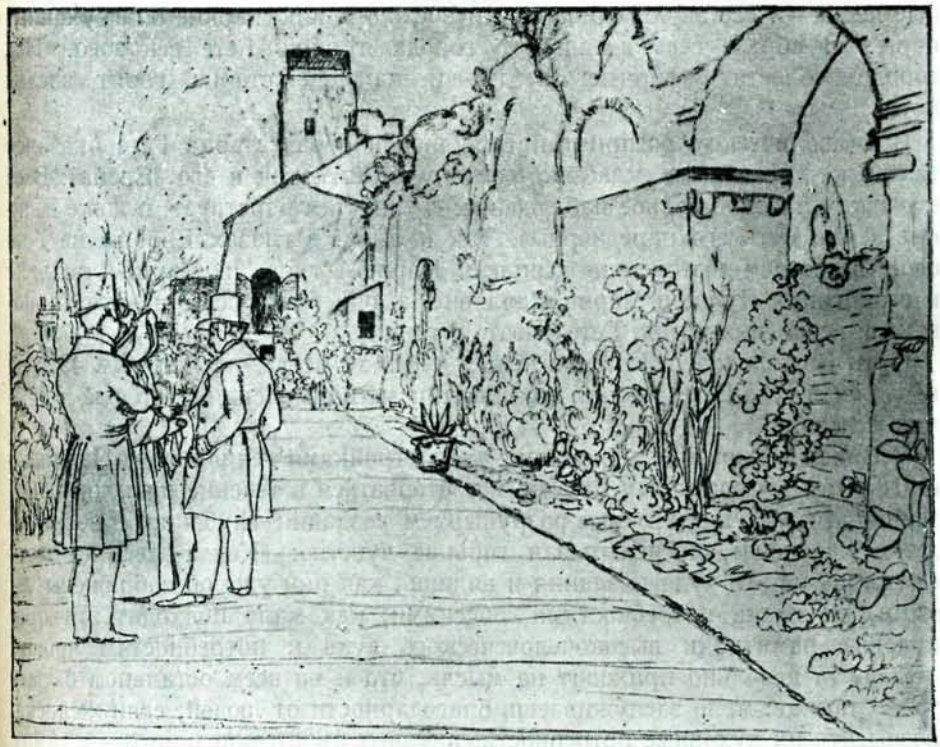
3 марта 1830 г. Оттилия Гете писала А. Мицкевичу и Э. Одынцу в Рим, где они бывали частыми гостями на вилле Волконской:

«Мой тесть, слава богу, чувствует себя хорошо и очень занят второй частью «Фауста». Он мне поручает не только самые сердечные приветствия для вас, но просит меня, чтобы Вы взяли на себя труд передать кн. Волконской его благодарность за письмо и подарок, которым она его обрадовала и почтила, как знаком памяти. От меня прибавьте, что я все еще жалею, что видела ее так мимолетно» [17].

Беспокойство,
Охота к перемене мест,
Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест—

было «свойством», но вряд ли «крестом» княгини Зинаиды. Наоборот, в нем находила она, как впоследствии ее друг Гоголь, успокоение от многих

мыслительных тревог и противочувствий. Она вела запись своих путевых впечатлений и восклицала: «Путешествие—какой изобильный источник для мыслящего! Там называют горами, что далее пригорки; что здесь дремучий лес—там редкая роща; то, что там пропасть, здесь долина; что для того восток, для другого север; для меня отечество, для тебя чужбина: но могут ли быть края совсем чужие для истинного филантропа? Отечество! Священное имя, священный прах, где над гробницами предков наших раздается наш родной язык. Отечество! Ты наш родитель, а братья и друзья—всюду, где жизнь пылает и сердце бьется. Славянин! Гордись родиной, дари ее жизнью своею, но простирай руку всем, ибо великое родство соединяет на земле сердца, любящие бессмертную истину создателя и красоту его создания» [18].



Вилла Волконской в Риме
Рисунок пером В. А. Жуковского
Изображены: З. А. Волконская, говорящий с ней Н. В. Гоголь и стоящий рядом С. П. Шевырев
На рисунке сохранилась собственноручная подпись Жуковского: „Villa Wolchonsky"
Публичная Библиотека, Ленинград

Это «великое родство» она почувствовала и с Гете и поспешила запечатлеть свою встречу с ним в 1829 году:

«Веймар. Удаляясь от пантеона великих писателей германских, моя душа исполнена чувствами благоговейными. Все там дышит наукой, поэзией, размышлением и почтением к гению. Гений там царствует, и даже великие земли суть его царедворцы. Там я оставила ангела, проливающего слезы на земле [19]. Там я посетила Гете. Такого всеобъемлющего поэта можно сравнить со старинным, изящным, многолюдным городом, где

храмы светлого греческого стиля, с простыми гармоническими линиями, с мраморными статуями, красуются возле готических церквей, темных, таинственных, с прозрачными башнями, с кружевною резьбою, с гробницами рыцарей средних веков. В городе старинном все живо, важно, незабвенно: памятники, книги, здания, мавзолеи рассказывают векам о героях, о великих мужах. В городе изящном все действует, все парит; ученые углубляются в архивы всех времен; художники воображают, животворят; поэты, смотря на вселенную, упиваются вдохновением и пророчат. В городе многолюдном страсти кипят жизнью; там все звуки раздаются: там звучат арфы, металлы, гимны, псалмы, народные припевы, страстные песни—и все звуки сливаются и восходят, как жаркие благоуханные пары. В образе сего идеального города я вижу Гете векового. Над городом блестят эфирные звезды, и на челе старца горят звезды неугасимые» [20].

В символическом восприятии Волконской образ старца Гете оказался таким же двуединым, «классико-романтическим», как и его «Елена». В ее отрывке есть одно верное наблюдение: «Гений там царствует, и даже великие земли суть его царедворцы». Так и было: в глазах Европы не Гете был министром-поэтом при герцогах Карле-Августе и Карле-Фридрихе и герцогинях Луизе и Марии Павловне, а они были всего-на-все герцогами и герцогинями при Гете—поэте и гении.

Путь Волконской в Италию лежал через те места, по которым 43 года назад ехал туда Гете, так же, как и она, искать исцеления от холода и уныния севера.

В Виченце поразилась она теми же постройками гениального Палладио (1518—1580), от которых Гете не мог оторваться в течение пяти дней. Созерцая эти, уже настигаемые разрушением создания «глубокого и великого духом человека», он испытывал горькое чувство: «Когда здесь на месте смотришь на эти чудные здания и видишь, как они уже обезображены узкими, грязными потребностями людскими, как мало подходят эти прекрасные памятники высокочеловеческого духа к потребностям прочих людей, то невольно приходит на мысль, что и во всем остальном бывает точно так же: мало заслуживаешь благодарности от людей, если желаешь возвысить их духовные потребности, внушить им высокие понятия о самих себе, дать им почувствовать всю прелесть истинно благородного бытия» [21].

Княгиня Зинаида была потрясена тем же видом надвигающегося разрушения и вспомнила Гете:

«В Виченце имя Палладия одно гремит над будущими развалинами его зданий. Уже валятся украшения, валятся и камни; в театре, подражающем греческим театрам, пыль поднимается под стопами любителя художеств: все брошено, все темнеет... Одна вечно младая природа нежной рукой своей неразлучно обнимает изящные линии, и над рассекшимися карнизами то веет, то горит. Таким образом малолетний внук многомыслящего Гете ласкается и обвивает главу седую своими детскими руками» [22].

На разрушающихся постройках Палладио княгиня вспомнила ту же трогательную сцену, которую запомнил и Шевырев.

«Итальянское путешествие» Волконской кончилось, как и путешествие Гете, в Риме. Но она уже не покинула вечного города: ее могила в его древней земле. Когда умер Гете, поставила ли княгиня Зинаида и в его память еще один древний обломок под кипарисом в своем саду?



Вид виллы Волконской в Риме
Рисунок пером В. А. Жуковского
Сидит: Н. В. Гоголь
Внизу собственноручная подпись Жуковского: „Vue prise de la Villa Volchonsky. 3 Fevrier / 22 Janvier [1839]"
Публичная Библиотека, Ленинград

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «W. A.», III Abt., B. V, S. 40.

[2] Бельш., т. II, стр. 300; «W. A.», III Abt., B. V, S. 30—31; Бельш., т. II, стр. 300; «W. A.», III Abt., B. V, S. 36, 38, 43, 46.

[3] Гете знал и кн. Николая Григорьевича Репнина-Волконского (1778—1845), в 1813—1814 гг. бывшего генерал-губернатором Саксонии. См. в главе об Уварове.

[4] Выражение сына княгини, Ал-дра Ник. Волконского. М. А. Гаррис, Зинаида Волконская и ее время. М., MCMXVI, стр. 47.

[5] «W. A.», III Abt., B. V, S. 177.

[6] «Итальянка в Алжире».

[7] Напечатано в «Литерат. прибавл. к «Русскому Инвалиду» 1838, № 47.

[8] Соч., изд. 1886 г., т. III, стр. 515.

[9] Барс., т. II, стр. 36.

[10] Гаррис, стр. 76.

Когда в конце 1824 года Волконская переселилась в Москву, два ученые общества «Истории и Древностей Российских» и «Любителей Российской Словесности»—избрали ее в свои почетные члены. Она делала попытку основать «Русское Общество» (Société russe) для создания национального музея и для издания ученых трудов по истории и археологии. Позже она изыскивала возможность основать общество для ознакомления Европы с Россией, преимущественно с ее историей и древностями.

[11] «Архив декабриста» под ред. кн. С. М. Волконского и Б. Л. Модзалевского, т. I. П., 1918, стр. XXXVIII—XXXIX.

В октябре 1819 года П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу из Варшавы: «Сейчас я отдал княгине Зенеиде книгу Сопикова: она собирается писать что-то о русской словесности. Велик русский бог! Она мила и русская: не сомневаюсь в успехе или, лучше сказать, в удаче. Она очень любезна и поет, как ангел. Читал ли ты ее Nouvelles? В первой есть тонкие наблюдения и счастливые выражения». («О. А.», т. I, стр. 323).

[12] Гаррис, стр. 18.

[13] Там же, стр. 80—82, 117—128.

[14] Французское письмо к гр. Кар. Эглофштейн из Москвы от 31 января 1826 г. (Гете-Шиллеровский архив в Веймаре; перевод сделан по фотографии подлинника). Печатается впервые.

[15] «Арх. Т.», т. VI, стр. 124.

[16] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 69, 189.

[17] Это письмо Оттилии Гете сохранилось в альбоме Марии Шимановской, хранящемся в музее А. Мицкевича в Париже; впервые напечатано в статье Юзефа Мирского «Polskie Weimariana w Paryżu», Kraków, 1932, стр. 26 (отдельный оттиск из «Przeglądu Współczesnego» 1932, № 119, март).

Большое письмо Оттилии Гете к Мицкевичу (стр. 25—27) с припиской к Одынцу (стр. 27) свидетельствует, что невестка Гете почувствовала живую симпатию к польским поэтам, посещение которых сплелось в причудливую связь с предыдущим посещением русских любомудров. Оттилия, очевидно, знала через Волконскую, что Мицкевич вращался в 1826—1827 году в обществе любомудров, собиравшихся у княгини Зинаиды в Москве.

[18] «Сочинения княгини Зинаиды Александровны Волконской, урожденной княжны Белосельской». Париж и Карлсруэ. 1865 г., стр. 11.

[19] Кто это «ангел?» Уж не Мария ли Павловна?

[20] «Отрывки из путевых впечатлений. Веймар. Бавария. Тироль». Сочинения, стр. 3—4. Первоначально в «Северных Цветах» на 1830 г., стр. 216—227.

[21] «Путешествие в Италию», запись: Виченца, 19 сентября 1786 г. Гете—Вейнберг, т. VI, стр. 31.

[22] Соч., стр. 14. Первоначально в «М. В.» 1830 г., ч. I, стр. 140—151: «Отрывки из путевых записок. Виченца. Падуа. Тоскана. Ниоба». Конец отрывка печатаем по рукописи—по письму З. А. Волконской к Погодину, позволяющей датировать «отрывок». «Сего 29 октября [1829 г.]. Прошу вас, любезный Михайло Петрович, поместить эти строки в вашем альманахе. Кн. Зинаида Волконская». В V части «М. В.» 1830 г. З. А. Волконской принадлежит еще статья «Добродушие» (стр. 372—373), обойденная «Собранием сочинений». Мысль статейки: чтобы верно судить о людях, не довольно ума и справедливости, даже снисходительности: нужно еще и добродушие, которое «охотнее любит и хвалит, нежели порицает».

IV. А. И. КОШЕЛЕВ У ГЕТЕ

КОШЕЛЕВ В КРУГУ ЛЮБОМУДРОВ.—ФИЛОСОФИЗМ И ПРАКТИЦИЗМ.—ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ.—ФИЛОСОФИЯ ПО ИНЕРЦИИ И МЕЧТЫ О „ДЕЛЕ".—ЛЮБОВЬ К А. О. РОССЕТ.—ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ.—КОШЕЛЕВ В ВЕЙМАРЕ.—ОТКРЫТИЕ БЮСТА ГЕТЕ РАБОТЫ ДАВИДА.—КОШЕЛЕВ У МАРИИ ПАВЛОВНЫ.—ДВА СВИДАНИЯ С ГЕТЕ.—ГЕТЕ-ЧИНОВНИК И ГЕТЕ-ПИСАТЕЛЬ.—ПОРТРЕТЫ ГЕТЕ.—КОНЕЦ ГЕТЕАНСТВА И ЛЮБОМУДРИЯ КОШЕЛЕВА.—ЭПИЛОГ РУССКИХ ПАЛОМНИЧЕСТВ К ГЕТЕ.

Через два года пред Гете предстал еще один московский любомудр—правда, накануне полной своей отставки от любомудрия. Это был Александр Иванович Кошелев (1806—1883).

Он был, как мы знаем, один из четырех друзей, принятых Веневитиновым из роя «архивных юношей» в тесный круг любомудров. Из этого круга он ближе всех был с кн. В. Ф. Одоевским и пронес эту дружбу через всю жизнь. Среди пятерых основных любомудров (Веневитинов, Одоевский, Ив. Киреевский, Рожалин) Кошелев был самым трезвым.

В 1823—1825 гг. и позже он с немецким прилежанием штудировал философов и не уступил бы в старании никому из друзей (от этого он и сумел так хорошо рассказать об этом в своих «Записках»). Он любил и умел учиться. Язык влюбленного слышится, когда он вспоминает о своих философах. Оторванный от них, он говорит о них с нежностью: «У меня явилось непреодолимое желание предаться любимым моим занятиям, и мои милые Шеллинг, Окен, Вагнер [1] чудный снова появились на моем столе. Не могу вам выразить удовольствия, овладевшего мною при виде этих книг, за которыми я провел столько счастливых часов» [2]. В напряжение занятий, в круговой обмен философическими знаниями у этой молодежи вводит письмо Д. Веневитинова к Кошелеву. Он признается, что «натуральная философия» Шеллинга еще не прочтена им, но зато он погружен в Платона и Окена. «Из Окена доставлю на-днях перевод. Я избрал для сего его «Теософию» и уверен, что она приведет вас в восторг, тем более, что вы теперь занимаетесь математикой; у него вся система зиждется на сей науке» [3]. Кошелев зачитывается журналом Окена «Isis» и—в книгах и журналах—прилежно странствует по всем столбовым и проселочным дорогам идеалистической философии. Но он заходил и на другие дороги, не столь торные в 20-х годах. «Скажи мне, любезный Одоевский,—спрашивает он в одной записке,— неужели у тебя ничего нет ни Локка, ни Кондильяка? Мне бы очень нужно» [4]. Он читал тогда не только Декарта, но и Юма, и Гельвеция.

Кошелева не особенно влекло в литературу. Его касания к писательству немногочисленны. Он слабее других был связан с «Московским Вестником». В конце 1826 г. Кошелев одновременно с В. Одоевским и Д. Веневитиновым переселился в Петербург и стал служить в канцелярии министерства иностранных дел. Это был первый переход к «делу». «Мы все часто виделись и собирались у кн. Одоевского,—вспоминает Кошелев,—главным предметом наших бесед была уже не философия, а наша служба с ее разными смешными и грустными принадлежностями. Впрочем, иногда вспоминали старину, пускаясь в философские прения и этим несколько себя оживляли» [5]. Кошелеву еще нужно любомудрие, но оно уже не занятие, как в Москве, а лишь способ оживления от занятий: это—живая вода, которою нужно иногда опрыснуть себя, чтобы зашевелились члены, скованные мертвой водой петербургской канцелярщины. «Вы не можете себе представить,—пишет Кошелев московским приятелям, для которых любомудрие и поэзия—еще занятия, почти профессия, а не случайные

живительные взбрызги,—как я почувствовал себя загрубевшим после того, как я три или четыре месяца провел в механических занятиях».

От ведомства графа Нессельроде он отдыхает в обществе Платона и Шеллинга: «Как я ими наслаждаюсь, проводя много времени среди китайских теней! Что это за божественные лица и как сравнительно ничтожны все нас окружающие! Клянусь вам, если бы эти божественные гении не напоминали мне мою небесную отчизну, я бы кончил тем, что совсем бы огрубел в окружающей обстановке, ибо ничто не влияет на нас так опасно, как постоянные встречи людей с ограниченными мыслями и чувствами» (4/IV 1827 г.) [6].

Так Кошелев, по выражению П. Н. Сакулина, «по инерции продолжал заниматься философией». Сила этой инерции значительно ослабела с кончиной Д. Веневитинова (15/III 1827 г.): он еще умер под споры друзей о философии вообще, о Шеллинге, о христианстве [7], но споры эти с каждым месяцем становились все глуше и тусклее. В 1830 г. Кошелев еще прослушал публичный курс лекций последовательнейшего шеллингианца проф. Д. М. Велланского, но это кажется и было последним проявлением силы инерции.

Еще в 1828 г., засев за книги по историческим, политическим и юридическим наукам, Кошелев писал матери, что готовит себя к поприщу «человека государственного», а через три года уже намечал себе целый план деятельности, ничего общего не имеющей с метафизикой: «Как ни сильно во мне желание учиться, но оно не может наполнить всего моего существования: м н е н у ж н а ж и з н ь д е й с т в и т е л ь н а я. Постараюсь сделаться первым агрономом в России. Менее чем в 5 лет я удвою свои доходы и произведу чувствительные улучшения в положении крестьян» [8].

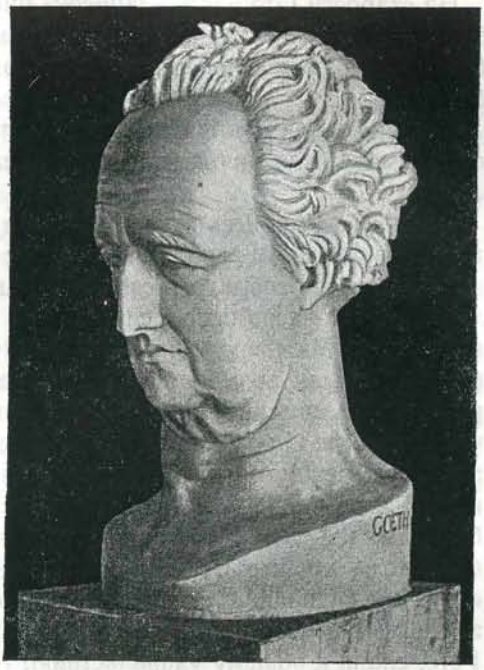
«Жизнь действительная» сразу, но не так, как предполагал Кошелев, оторвала его и от метафизики, и от петербургских канцелярий.

В 1831 г. он познакомился с «черноокою Росетти», и этот «небесный дьяволенок», по выражению Жуковского, внушил бывшему любомудру далеко не «небесную» страсть: он, по его словам, «страстно влюбился в Россет». Встречаясь с ней у Карамзиных, где она всех «очаровывала и красотою, и умом» [9], он добился ее полуответа: они «почти решили соединиться браком». Его смущало лишь ее фрейлинство и приверженность к большому свету. Он письменно обратился к ней «с изъяснением любви, но и с изложением предположений насчет будущего». Объяснение кончилось ее отказом. Кошелев впал в тоску, в тяжелую болезнь и искал исцеления в чужих краях.

Но за границей располагал он не только вылечиться от Россет, но и коечему научиться: «За границей я буду обращать особенное внимание на агрономию и относящиеся к ней науки. Я устрою сельское хозяйство по новому способу, я буду производить сахар, примусь за всевозможные предприятия,—одним словом, постараюсь с пользой употребить свое время» [10].

«В первых числах июня 1831 г., когда уже оказалась холера в Петербурге, отправился я в Любек,—вспоминает Кошелев в своих «Записках».— Плавание наше было благополучно. Вид безбрежного моря, нахождение между небом и бездонною водою и вообще новизна образа жизни на пароходе приводили меня в восторг; но особенно радовало меня то, что покончил с Петербургом, с его щетами и дрязгами, что я удаляюсь от места, где я в последнее время так много сердечно пострадал, и что теперь будто начинаю новую жизнь». Когда Кошелев ступил на берег, первою мыслью

ГЕТЕ
Мраморный бюст Пьера-Жана Давида д'Анжер
(Веймар, август-сентябрь 1829 г.)
Landesbibliothek, Веймар



его, верного преданьям «Московского Вестника», было, что он попирает землю великих философов и поэтов. Он весь отдался радости, что он—в Германии:

«Несмотря на сильные боли в печени, вид иностранного, хотя и маленького города и многого другого, чего я прежде не видывал, произвели на меня сильное впечатление. Мысль, что я нахожусь в стране Канта, Шеллинга и Гете, меня приводила в восторг. Мне все казалось замечательным, разумным, прекрасным. Самый немецкий обед в Травемюнде найден мною отменно вкусным, а гостиница по своим удобствам и чистоте чуть-чуть не баснословною. Любек, своеобразностью и древностью зданий, чрезвычайно меня поразил; казалось мне, что я расхаживаю по древней Германии» [11].

Кошелев отправился лечиться в Карлсбад. Воды ему помогли: через семь недель он выехал оттуда «почти совершенно здоровым». Дальнейший маршрут из Карлсбада на Лейпциг, Люцен, Наумбург был продиктован ему все тем же еще живым для него преданием «Московского Вестника».

«Из Карлсбада,—рассказывает Кошелев,—я направился на Веймар, куда газеты и другие публикации сзывали поклонников Гете на открытие памятника, ему воздвигавшегося в тамошней публичной библиотеке. Предполагалось поставить там сделанный известным французским ваятелем Давидом бюст Гете и совершить это торжество 28 августа, в 82-ю годовщину от рождения великого поэта. Я приехал в Веймар накануне этого дня, твердо уверенный, что в этот день наверное сподоблюсь счастия лицезреть Гете и тем удовлетворить давнишнему желанию увидеть наконец своими глазами того великого человека, которого творения меня и друзей моих приводили в восторг. Вышло однако вовсе не так. Гете, за два дня до этого торжества, уехал из Веймара, опасаясь слишком сильных ощущений от этого празднества» [12].

На старости (эта часть «Записок» писана в 1870 г., когда Кошелеву было 64 года) ему не припомнилось самое торжество открытия знаменитого бюста Гете, но в «Дневнике» 1831 г. он дал прекрасное описание этого события:

«Гете не хотел принимать личного участия и уехал в Ильменау, в 6 милях от Веймара, где он намерен был сделать какие-то географические розыскания [13].

С раннего утра весь город пришел в волнение: мужчины оделись в самые новые фраки, дамы разрядились в пух; около 11 часов я отправился в библиотеку, где уже собралось самое избранное общество (роздано было 200 билетов). В 11 часов загремела музыка и кантата, сочиненная другом Гете, канцлером Мюллером, исполненная чувства и высоких мыслей: исполнителями были все лучшие здешние артисты. Артисты помещались на хорах в третьем этаже, так что слышен был звук, будто сходящий с неба, что еще более придавало эффекта. Затем обер-библиотекарь Ример произнес речь, где, между прочим, развивал мысль о братстве народов во имя науки и искусства, приведя в пример, что артист иного народа—француз Давид—безвозмездно, по собственному желанию, покинул Париж, провел несколько месяцев в Веймаре единственно для того, чтобы передать потомству лик величайшего гения, и несколько лет трудился над исполнением этого намерения. Потом заиграла музыка, и завеса, скрывавшая бюст Гете, спала к общему удовольствию. Не могу еще судить о сходстве, но работа чудесная,—видно, что Давид работал не из-за денег, но по внушению высшему. Жаль, что зала слишком мала для такого колоссального бюста, оттого он стоял слишком низко и свет падал не сверху, а с одной стороны».

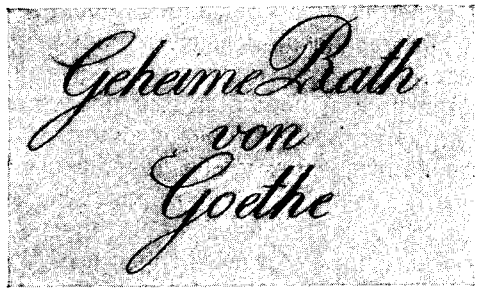
После свидания с Гете Кошелев дополнил свое впечатление: «Давид придал лицу Гете слишком много округлости и не выразил всей той живости, которою одушевлен Гете. Бюст Рауха гораздо ближе к оригиналу, но всего более сходства в гравюре по портрету Стилера».

«В два часа,—продолжает «Дневник»,—мы опять собрались на обед по подписке. За столом пили за здоровье Гете, за здоровье дам; последний тост был за доброе согласие народов (Völkereintracht). При каждом тосте была произносима речь, пелись или читались стихи. Мюллер, предложивший тост за здоровье Гете, произнес весьма трогательную речь; все внимали ему сначала с почтением, а потом с видимым сочувствием. После речи Мюллер прочел письмо, полученное Гете от 18 английских, шотландских и ирландских поэтов, которые соединились под председательством Вальтер Скотта и прислали Гете перстень. Оканчивая речь, Мюллер предложил выпить тост за здоровье Гете из кубка, присланного вольным городом Франкфуртом в дар своему знаменитому сыну. Обед продолжался до 8 часов, а вечером был придворный бал в Бельведере» [14].

В живом описании Кошелева верно уловлена особенность этого праздника: он был не веймарский, даже не всегерманский, а всеевропейский. Это подчеркивалось в речах и тостах, об этом свидетельствовал самый прижизненный памятник гениальному германцу, сработанный гениальным французом для всемирной столицы гетеанства. Пьер-Жан Давид д'Анжер лепил Гете в Веймаре в августе-сентябре 1829 г. Весною 1831 г. бюст был иссечен Давидом из мрамора и 13 августа доставлен в Веймар. 20 августа Гете писал Давиду, что в его работе видит не только «свидетельство расположения человека, близкого ему по духу», но и «доказательство преодоления строгих границ национальности» и выражал уверенность в том, что ра-

бота художника «приблизит нас к возвышенным намерениям дарящего». Таким образом основная мысль праздника была развитием мысли самого Гете. Величественный бюст (85 см. в высоту) вызвал большие толки в маленьком Веймаре. Гете писал Цельтеру, что все в бюсте «сработано превосходно, в высшей степени естественно, правдиво и согласованно в частях». Однако и сам Гете не все в нем принял: подойдя к бюсту, он не скрыл своего изумления, воскликнув: «Kurios! Kurios!» (Странно! Странно!) и добавив: «Во всяком случае, он должен быть поставлен выше» [15].

Замечание Кошелева о постановке бюста совершенно совпало с замечанием самого Гете. Кошелев признал работу Давида «чудесной», но в сходстве предпочтение отдал бюсту Рауха и особенно портрету работы Карла Штилера (Stieler). Это—самый известный из портретов Гете-старца; «орлиные очи» на нем исполнены человеческой зоркости и высокой мысли: перестав быть олимпийцем, Гете у Штилера стал человеком, но таким, которому радуются все живые. Еще когда работа Штилера не была закон-



Визитная карточка „тайного советника фон Гете"
Институт Русской Литературы, Ленинград

чена, Гете писал Оттилии: «Мой портрет будет лучшим из всех». Все веймарские друзья, а вслед за ними и берлинские—Цельтер, Раух, Шадов—нашли портрет превосходным. Он ныне—в новой Пинакотеке в Мюнхене. Фр. Дюрк сделал с него копию масляными красками, посланную в Веймар; принятая Гете за работу самого Штилера, она вызвала его теплую благодарность за то, что «повторение портрета сделано с такою же любящей нежностью». Рейтерн, как мы знаем, с копии сделал превосходный рисунок [16].

Таким образом в оценке портрета Штилера Кошелев сошелся и с Гете, и с его друзьями и родными.

В старости Кошелев, обойдя молчанием празднество в библиотеке и обед, с приятностью вспомнил придворный прием по случаю рождения Гете и открытия бюста. Его рассказ любопытен в историко-бытовом отношении. Всякий, кто приезжал из Петербурга, имея чин и звание, дававшее ему право хоть изредка заглянуть в Зимний дворец на «выход» или бал, встречался в веймарском Бельведере с распростертыми объятиями. Все, кто ехал из России к Гете, оказывались в гостях у Марии Павловны; в свою очередь и тот, кто ехал к Марии Павловне, непременно оказывался в гостях у Гете: его показывали в Веймаре «знатным иностранцам», как в Москве Ивана Великого: провожать таких иностранцев в дом тайного советника фон Гете было едва ли не самой важной государственной обязанностью канцлера фон Мюллера. Здесь обычаи Марии Павловны расходились

с обыкновениями Николая Павловича: гость камер-юнкера А. С. Пушкина не получал приглашения в Зимний дворец, а в круг обязанностей канцлера графа Нессельроде не входило провожать гостей Николая Павловича в квартиру камер-юнкера Пушкина: поручения по делам поэтов в Петербурге возлагались не на канцлеров, а на шефов жандармов. Николай Павлович счел бы сумасшедшим того гофмаршала своего двора, который предложил бы ему устроить вечерний выход и бал по случаю рождения не только Пушкина, но и царелюбивого Жуковского. Такова была разница между Веймаром и Петербургом, между Европой и Россией.

«Я был приглашен на вечер к Великой княгине,—вспоминал Кошелев в 1870 г.—И она, и герцог были очень любезны, тут я увидел цвет веймарского общества. Вечер показался мне очень оригинальным. Когда все собрались, тогда герцог и великая княгиня вышли очень торжественно, сказали каждому несколько слов и затем раскланялись. Я думал, что вечер тем и кончился, а потому собирался уезжать; но наш посланник гр. Санти меня остановил и объяснил, что кончилось только представление и начинается вечер. Вечер был совершенно запросто, и вел. княгиня была приветлива, мила и обаятельна до-нельзя. Главным предметом разговора был разумеется Гете. Великая княгиня познакомила меня с другом Гете—канцлером Мюллером, и поручила ему представить меня Гете, как скоро он возвратится. Отсутствие его продолжалось 10 дней: и в это время я был несколько раз приглашен и к обеду, и на вечер в Бельведерский дворец. И герцог, и в. к. были постоянно весьма любезны, а однажды их любезность дошла до того, что после обеда они пригласили меня остаться у них и на вечер, а чтобы мне не ехать в город и оттуда не возвращаться, они поручили своему сыну, ныне царствующему герцогу, тогда 13-летнему юноше, вместе с его попечителем показать мне парк, оранжереи и теплицы и занять меня до вечера».

В этих приемах и придворных разговорах о Гете прошло время до 4 сентября, когда Гете возвратился в Веймар и Кошелев «получил от канцлера Мюллера приглашение посетить Гете на следующий день в 11 часов утра» [17].

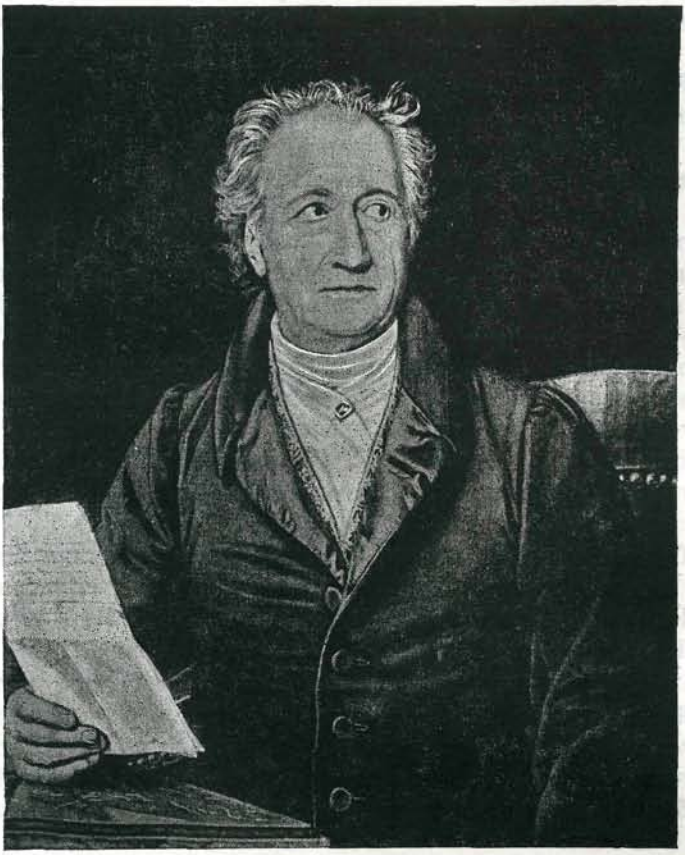
Вот что записал А. И. об этом посещении в своем дневнике:

«4 сент. 1831 г., в 12 час., был я у Гете. С благоговением вошел я в дом его. Лестница, ведущая в его жилище, вся уставлена статуями; в первой комнате много цветов и между цветами стол с книгами и некоторыми предметами из царства ископаемого, во второй—несколько картин и рисунков, статуи и огромные полки с гравюрами. Я не успел рассмотреть комнат, как вошел Гете.

Не могу выразить, что я чувствовал, увидевши этого величайшего гения нашего века; одет он был в светло-гороховом сюртуке и галстух повязан небрежно и весьма слабо, именно как Гете нарисован Стилером. Хотя Гете 84-й год, но он весьма свеж и жив, так что на лицо ему можно дать от 65—70 лет; лицо его весьма значительно, особенно верхняя часть. Держался Гете весьма прямо, глаза его были исполнены огня и жизни. Гете говорит очень скоро. Мы разговаривали о немецкой и русской литературе. Гете очень любит нашего Жуковского, с удовольствием говорит о часах, которые с ним провел; с восторгом вспоминает о времени, когда он жил в дружбе с Шиллером и Гердером, и вообще много ожидает от русских. Посидев у него около часа, я откланялся. Мне сказывали, что Гете до сих пор целый день работает, что у него много написано, что он кончил вторую часть Фауста, но никому ее еще не читал. Великая княгиня

Мария Павловна его весьма часто посещает, раза два или три в неделю. Нельзя вообразить, как он здесь всеми боготворим. На нем не сбылась пословица: on n'est jamais prophète dans son pays» [18].

Через 39 лет Кошелев снова рассказал о своей встрече с Гете, и ближайшее знакомство с этим вторым его рассказом убеждает, что, в исключение из обычного правила, в более позднем рассказе он был более точен, чем в рассказе, современном событию. Запись дневника, как явствует из сопоставления с позднейшим рассказом, повидимому слила в одно целое два разнородных впечатления от двух свиданий Гете: это—запись вообще



ГЕТЕ
Портрет маслом Иосифа-Карла Штилера (Веймар, май—июнь 1828 г.)
Новая Пинакотека, Мюнхен

о встрече, о знакомстве с Гете, а не о двух раздельных свиданиях с ним, образующих эту встречу. То, что рассказывается в дневниковой записи о доме Гете, о трепете ожидания, о внешнем виде поэта, о Жуковском,— все это относится к утреннему свиданию 4 сентября, но «восторженные воспоминания» Гете о Шиллере, вообще весь разговор о литературе, привнесен из другого свидания, 5 сентября вечером. Из этого же вечернего свидания почерпнуты и сведения о работах Гете.

Вот что в 1870 г. записал Кошелев о первом утреннем свидании 4 сентября [19].

«Не могу выразить, с каким трепетом приближался я к дому Гете, входил на его крыльцо и, наконец, позвонил. Служанка, вышедшая ко мне

навстречу, тотчас пригласила меня войти, указала мне гостиную, а сама пошла докладывать обо мне хозяину. Стены комнаты, в которую я вошел, были увешаны картинами и гравюрами, а в углах стояли статуи-антики. Я еще не успел осмотреться, как отворилась дверь из кабинета и вошел Гете. Хотя лицо его мне было весьма известно из множества портретов, мною виденных, однако глаза живого Гете и выражение его лица меня поразили. Когда мы сели, то Гете тотчас начал говорить о великой княгине, о счастии Веймара, обладающего таким сокровищем, и пр. Потом он заговорил о великом нашем императоре, о могуществе России и пр. Мне хотелось навести Гете на предмет более интересный, а потому позволил себе маленькую ложь, сказавши Гете, что Жуковский ему кланяется. «Ах,— подхватил Гете,—как счастлив действительный статский советник фон Жуковский, имея лестное поручение заботиться о воспитании наследника всероссийского престола». Дальнейший разговор продолжался в том же смысле, и я ушел более чем разочарованный» [20].

П. И. Бартенев сохранил в двух своих записях другой вариант рассказа Кошелева об утреннем посещении Гете, где царедворская церемонность Гете обнаруживается еще резче.

«Вспоминая про первое свое заграничное путешествие, Кошелев рассказывал, как ласково принимала его в Веймаре великая княгиня Мария Павловна и как она не могла довольно наговориться с ним по-русски. По ее рекомендации он отправился к Гете. Тот принял его с чиновничьею важностью и говорил только о русском дворе. Чтобы как-нибудь перевести беседу на другой предмет, Кошелев сказал, что привез ему поклон от Жуковского. «А, Жуковский! Он далеко пойдет! Он, кажется, уже действительный статский советник?» Кошелев ушел разочарованный» [21].

Через 20 лет Бартенев, говоря о Жуковском, вспомнил этот рассказ Кошелева и передал немецкую фразу из разговора Гете: «первый вопрос великого Гете приехавшему в Веймар молодому А. И. Кошелеву был: «Wie ist die Hoflage des Herrn Staatsraths Jukowsky?» [22]

Бывший московский любомудр искал встречи с великим поэтом, а был принят тайным советником; желая перейти к разговору о поэтах, он вспомнил о русском поэте, известном Гете, забыв, что автор «Светланы» был тоже «советник», и так и не мог избавиться от разговора о чинах и дворах. Он готов был бежать из Веймара, не найдя автора «Фауста» в тайном советнике фон Гете:

«На следующий же день я хотел уехать из Веймара, откланявшись поутру великой княгине и герцогу; но рано утром я получил от Гете записку, которою он приглашал меня к себе на вечер. Нельзя было не принять приглашения; и я был вполне вознагражден за неприятное утро, проведенное у Гете. Гостей было немного: канцлер Мюллер, живописец Мейер и еще человека три или четыре. Ни о великой княгине, ни о русском императоре не было и помину. Разговор весь был литературный. Гете жаловался на то, что политика и реализм убивают всякую изящную литературу и искусство и что последние, в их нынешнем положении, не имея возможности ни прямо переделать людей, ни подчиниться их временным требованиям, должны стать на высшую точку, открыть или указать людям иной новый мир и покорить их силою новых мыслей. Мейер говорил очень умно. В 10 3/4 часов канцлер Мюллер встал и тем подал сигнал к отъезду. Я простился с Гете и на другой день отправился во Франкфурт-на-Майне» [23].

Кошелеву посчастливилось узнать Гете в самом тесном кругу его друзей. Среди них он пленился старым другом Гете Мейером, «особенно милым и общительным человеком, отличавшимся своею простотою и откровенностью» [24].

Гете отметил в дневнике только первую встречу с Кошелевым: «4 сентября. В 12 часов г. Александр Кошелев» [25]. Встреча с Гете была едва ли не последним ярким жизненным впечатлением, которое Кошелев искал еще под властью былого любомудрия и мечтаний «Московского Вестника». Он пережил эту встречу, как любомудр: с тем же печальным разочарованием, почти бегством от Гете, как было с Рожалиным, и затем с тем же восхищением и преклонением, с которым подошли к Гете Шевырев и Волконская.

Но это была последняя дань Кошелева «Германии туманной»: метафизической и поэтической. Он преклонился пред творцом «Фауста» тогда, когда весь «Фауст», за исключением разве конца II части, где действует Фауст-гидротехник, мелиоратор и агроном, перестал для него существовать.

Вернувшись из-за границы в Россию, Кошелев действительно принялся за осуществление своей хозяйственно-практической программы помещика, желающего в крепостном имении воспользоваться всеми достижениями буржуазной науки и техники.

От любомудрия он откочевал к славянофильству, но прежде всего стал человеком дела, буржуазно-дворянской инициативы.

В 1848 г. он записал в дневнике: «Мне 42 года; говорят, что я очень трудолюбив и, действительно, я великий человек на малые дела; но, в сравнении с тем, чем каждому человеку следовало бы быть, я—нуль. Конечно,—оговаривается он с полным правом,—другие из нашего сословия менее чем нуль,—и продолжает:—но разве ничтожность другого может служить мне в оправдание? Сколько времени потерял и как мало сделал добра на сем свете!» [26]

Времени—на метафизику и гетеанство—Кошелев потерял не так уж много, гораздо менее своих сверстников: но потерянное он во всяком случае наверстал, и среди не только «менее чем нулей», но даже и среди «единиц» своего класса он далеко выдавался как человек и как общественный и политический деятель. Но вся эта деятельность не имела уже ничего общего с философией и поэзией.

Кошелев и его посещение Гете—это эпилог московского любомудрия и гетеанства, это—его элегия: оно умерло раньше, чем умер сам Гете.

Но посещение Кошелевым Веймара может и вообще служить эпилогом истории о русских писателях в гостях у Гете: оно было последним, сколько знаем, посещением Веймара русским писателем при жизни Гете. С 1832 г. туда можно было ездить лишь на его могилу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] И. Я. Вагнер (1775—1841)—философ-математик, автор «System der Idealphilosophie» (1804), «Mathematische Philosophie» (1811) и др.
[2] Кол., т. I, кн. 2, стр. 216—217. Писано в 1827 г.
[3] Там же, стр. 110, осень 1825 г.
[4] Сак., т. I, ч. I, стр. 321.
[5] Кош., стр. 21.
[6] Кол., т. I, кн. 2, стр. 216—217.
[7] Сак., т. I, ч. I, стр. 311—321.

[8] К о л., т. I, кн. 2, стр. 216—217.
[9] Сочинения А. С. Хомякова, т. VIII. М., 1904, стр. 120.
[10] К о л., т. I, кн. 2, стр. 217.
[11] К о ш., стр. 32.
[12] Т а м ж е, стр. 35.
[13] «Он посетил здесь (в Ильменау) старые, знакомые места, полные воспоминаний из юношеских дней; особенно радовался он, что может показать их внукам, которых взял с собою. В уединенно расположенном досчатом домике на Киккельгане он разыскал стихи, написанные им некогда на стене:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы.
Подожди немного—
Отдохнешь и ты.

7 сентября 1783 г. Гете.

«Да, подожди немного, отдохнешь и ты!» повторил он тихим и грустным голосом и осушил слезы, катившиеся по его щекам» (Б е л ь ш., т. II, стр. 603—604).
[14] К о л., т. II, стр. 3—6.
[15] «Propyl.», S. 83—84. Taf. 158.
В предпочтении бюста Рауха бюсту Давида с Кошелевым согласен и современный исследователь. В работе Э. К. Метнера «К портретам Гете» читаем: «Гениальный скульптор, Пьер-Жан Давид создал в 1829 г. великолепный образ неведомого «олимпийца», в котором отдельные личные и племенные черты Гете тонут в чуждом ему идеально-романском типе». («Размышления о Гете». Книга I. Кн-во «Мусагет». М., 1914, стр. 402).
[16] Т а м ж е, стр. 79—80.
[17] К о ш., стр. 35—36.
[18] К о л., т. II, стр. 7—8.
[19] В частях, совпадающих с дневником, рассказ «Записок» так точен (хотя и более подробен), что должно думать, что Кошелев основывал его на записях дневника 1831 г., но дополнял по памяти всем, что было упущено тогда. Этим и объясняется, что «Записки» разделяют встречу с Гете на два свидания и резко обособляют их характер, содержание и отношение к ним самого Кошелева.
[20] К о ш., стр. 36—37.
[21] Это «рассказывал», эта значительно большая резкость тона, свойственная изустному рассказу (сами «Записки» Кошелева скорее мягки по тону), и наконец то обстоятельство, что «некролог» Кошелева, откуда взято сообщение Бартенева, появился в 1-й январской книжке «Русского Архива», опередившей выход посмертных «Записок» в том же году (1884) в Берлине, заставляют признать сообщение Бартенева записью изустного рассказа, слышанного от близко знакомого ему Кошелева. П. Б а р т е н е в, Некрологи. А. И. К о ш е л е в.—«Р. А.» 1884 г., № 1, стр. 248.
[22] «Каково положение при дворе статского советника Жуковского?»—П. Б[артенев]. Рецензия на Уткинский сборник.—«Р. А.» 1904 г., № 6, обложка. Еще раз этот рассказ Бартенев повторил в «Р. А.» 1911 г., № 7, стр. 449.
[23] К о ш., стр. 37.
По рассказу П. И. Бартенева, вечером 5-го «великий человек был уже совсем иной. Общество состояло из писателей и художников, и разговор был тому соответственный» («Р. А.» 1884 г., № 1, стр. 248).
[24] К о л., т. II, стр. 7.
[25] «W. A.», III Abt., B. XIII, S. 133.
[26] К о л., т. II, стр. 80.
В своем «практицизме» Кошелев зашел далеко. Через пять лет после посещения Гете, в 1836 г., он просил В. Ф. Одоевского исходатайствовать ему право курить вино из картофеля. «Друзья мои», признается он сам, «жестоко меня за это бранили». Хомяков успокаивал друзей, говоря, «что человек, который погружался по уши в немецкую философию, не может сгинуть в откупах». (К о л., т. II, стр. 59). В 1848 г. Кошелев отказался от откупов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИОГРАФИЯ ГЕТЕ И ЭПОХИ РУССКОЙ ИСТОРИИ.—ВОЛЬТЕР В ПОЛИТИКЕ ЕКАТЕРИНЫ II И В ОБИХОДЕ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА.—ГЕТЕАНСКИЙ КУРС ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЛИТИКИ САМОДЕРЖАВИЯ.—РУССКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ ГЕТЕ, ИХ СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ И МОТИВЫ ОБЩЕНИЯ С ГЕТЕ.—ПОСЕТИТЕЛЬ ГЕТЕ В РУССКОМ РОМАНЕ.—РУССКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ ФРАНКФУРТСКОГО ДОМА ГЕТЕ.—ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ ГЕТЕ.

Перед нами протянулась длинная цепь встреч Гете с Россией—преимущественно с литературной Россией его эпохи.

Тут налицо несколько классовых слоев, поколений, исторических смен. Если начать их исчисление с Радищева, учившегося в 1760-х гг. одновременно с Гете в Лейпцигском университете, то встречи, знакомства и сношения Гете с представителями России второй половины XVIII и первых десятилетий XIX в. занимают период времени в шестьдесят пять лет (1767—1832); это—три поколения, друг друга сменяющих в жизни и истории. В истории русской литературы это еще большее число эпох и смен: от рационалистического бунтарского просветительства времени Екатерины (Радищев) и придворной одописи (Хвостов), через розовые сады дворянского сентиментализма (Карамзин), «словено-русскую» бурсу адмирала Шишкова и потешные хоромы «Арзамаса»—в пушкинский салон З. Волконской, на московские антресоли дворянско-усадебного любомудрия и зачаточного славянофильства (Шевырев, Кошелев).

Первым русским литературным посетителем Веймара был Карамзин. Это было признаком смены вех в культурном устремлении русского дворянства. Веймару предшествовал Ферней, Гете предшествовал Вольтер.

Екатерина II как «первая помещица» своей империи своим интересом к вольтерову острословию, к его необозримой литературе словесного «приятства», пикантной вольности и вольного пикантства, своей перепиской с первым писателем века отбрасывала на все свое рабовладельческое сословие фальшивый блеск «просвещенности» и «европеизма». Екатерина была императрицей помещиков—эксплоататоров крепостного крестьянства, и ее отношения к Вольтеру, вплоть до покупки его библиотеки, которую он за русское жалованье должен был хранить в своем же доме, являются образцом идеологической маскировки абсолютизма. Вольтер превосходно умел на всю Европу разглашать благожелательные предисловия и комментарии по всем политическим делам и делишкам «северной Семирамиды». Этим двуединством отношения Екатерины к Вольтеру предрешался и круг его русских посетителей: это были—или послы, или «вояжеры». Состав их однообразен: это самый верхний, вельможный слой русского дворянства. К Вольтеру ехали из петербургских и московских дворцов и палат, а не из проселочных усадеб и маленьких особняков кривых московских захолустий. Социальный состав посетителей был гарантией, что из Фернея в Россию привезено будет лишь пикантное острословие, а не вольная мысль и революционная идея, которую умели извлечь—и в России!—из сочинений Вольтера другие классовые группы. Екатерина была спокойна за политическую благонамеренность и господина Вольтера, и его русских гостей со многими тысячами крепостных душ.

Русское гетеанство зарождалось в иной обстановке. «Вертер» в русских переводах и подражаниях сразу же нашел себе дорогу и в маленькую черноземную усадьбу, и в московские особняки среднедворянского круга, и в уездную глушь. Судя по этим успехам «Вертера» в широких кругах русских читателей разной социальной прослойки, надо было ждать в скорости и русских гостей в Веймар. Состав их был бы иной, чем «вояжеров» в Ферней.

В 90-х годах XVIII столетия мечтали попасть в Германию к Гете не только сыновья среднепоместного И. П. Тургенева, но и мелкопоместный Жуковский. Так это и было бы, еслиб не Великая французская революция 1789 года. Она открыла глаза Екатерине на Вольтера: оказалось, что его читали не только владельцы крепостных душ, русских и французских, но и сами эти души—лучшие, умнейшие, передовые из них. «Вольтерьянец» стало означать «революционер». Присмотрелись к русской жизни, и увидели, что вольтерьянство в «низших» классах—в мелком провинциальном дворянстве, в мещанстве, в разночинцах—означает не благополучное острословие на французском языке, а религиозное вольномыслие, политический радикализм на самом простом русском языке. Вольтер был объявлен вне закона; бюсты его выброшены из зал и гостиных перетрусившей Фелицы, книги запрещены.

Павел пошел дальше своей матери: он запретил все книги, идущие из-за границы, и наставил рогаток на заставах. К Гете не только нельзя было поехать, но Гете нельзя стало читать в России без риска попасть в кутузку. Десятилетие 1790—1800 гг. не дает ни одного русского посещения Веймара.

Это была единственная ошибка в гетеанской политике самодержавия—во время реакционного перепуга принять гетеанца за вольтерьянца, смешать Ферней с Веймаром. Александр I поспешил ее исправить и установить иной курс, которого держался и Николай I.

Этот курс начинается с 1804 г.—со времени водворения в Веймаре Марии Павловны. Тогда начались и прочно закрепились связи русского двора с Веймаром. С точки зрения русского правительства социальный паспорт Гете оказался совершенно удовлетворительным: министр, верноподданный Карла-Августа, консерватор-монархист, враг народоправств и революций. Подробностями не интересовались: неважно, что этот министр написал «Фауста», влив в него свою мыслительную мятежность и едкий скепсис—в Мефистофеля, важно, что этот министр был знаменитый, признанный всей Европой писатель, союз с которым, или по крайней мере дружественный нейтралитет которого стоил союза с половиной германских государств. У Александра I оказался превосходный дипломат при дворе его литературного величества Гете I: Мария Павловна. Она умело, уверенно и прикровенно вела политику усвоения Гете русскому двору и монархии. Это вполне удалось: дружественный нейтралитет Гете был обеспечен даже в самых рискованных предприятиях самодержавия—например в подавлении польской революции 1830/31 г., когда все великие и малые державы европейской словесности восставали на державу Николая I. Великий литературно-научный и общекультурный авторитет Гете был отлично использован русским правительством (основание Харьковского университета, Азиатская академия). Многократно официально заявляемая и изъявляемая (письмами и визитами самодержцев и их жен, орденами, крупными подарками, академическими почестями, материальной поддержкой просветительных учреждений, руководимых Гете) дружба русского двора с Гете имела целью: с одной стороны—поднять и укрепить в Европе культурный престиж русского самодержавия, что продолжало вольтерьянскую политику Екатерины II, с другой стороны—дружба царей и цариц с Гете важна была для «внутреннего употребления». Гете был «освоен» с такой бесспорностью, что годился как поучительнейший объект наглядного обучения: мировой писатель жил в совете и в ладу с русским правительством, тогда как писатели не мировые и не

европейские, а только русские, не находили modus vivendi с тем же правительством. Вывод подсказывался сам собой: вина была в писателях, а не в правительстве. Русское правительственное и официозное гетеанство—это русская автократодицея, опыт правительственной самоапологии.

Павел I не разобрал, чем отличается гетеанство от вольтерьянства. Александр I и Николай I разобрали это очень хорошо: вольтерьянство, спускаясь в социальные низы, было и могло быть революционно,—это доказала Великая революция, в идеологическом сплаве которой доля вольтерова была достаточно велика; гетеанство то, что в нем было революционного,—«Фауста» и дух научной пытливости—могло передать лишь далекому будущему, а все остальное, связанное с пресловутым «олимпийством» его творца, не сулило никаких выходов на площадь, под знамена революции,—наоборот, все остальное в великолепной форме и с гениальной силой учило приятию настоящего и освящению существующего. Диагноз официальных гетеанцев подтвердился: поколение декабристов читало не Гете, а Байрона, и единственный декабрист, благоговевший пред Гете, Кюхельбекер, приняв сначала Гете как Прометея, кончил отречением от него, когда на досуге, в тюрьме и ссылке, хорошенько поразобрался в его «олимпийстве». Наоборот, последекабрьское поколение «любомудров», являвшееся идеологическим вскормленником дворянской реакции в эпоху аграрного кризиса 20-х годов, нашло в Гете «властителя своих дум»: оно обрело в его «объективизме» эстетико-философскую формулу приятия последекабрьской действительности, в его «олимпийстве»—догмат превосходства искусства над жизнью. Из среды гетеанцев-любомудров Николай Павлович не получил ни одного ссыльного, но нескольких апологетов «православия—самодержавия—народности» (Погодин, Шевырев). Лишь в конце 40-х годов Николаю Павловичу пришлось ругнуть Гете за «Фауста»: в немецкой революции 1848 г. он учуял и критику Мефистофеля, и творческий порыв Фауста. До этой поры даже «Фауст», хотя и не без труда, проходил все же врата русской цензуры (переводы Губера, 1838, Вронченко, 1844). «Гетеанство» было поэтому единственной литературной сектой, которую терпел и которой даже покровительствовал святейший синод русского самодержавия. «Гетеанец» никогда не приравнивался больше к «вольтерьянцу», как сделал это вовсе безграмотный Павел I.

Со своей стороны и Гете находил общую социально-политическую почву для личных отношений с русскими посетителями. Контингент этих посетителей многосложен. Два императора, три императрицы, великие князья и княгини, виднейшие представители русского двора, дипломатии, армии, высших кругов аристократии в неоднократных встречах, специальных посещениях и переписке свидетельствовали Гете свое почтение, уважение, восхищение. Пестрый и многочисленный строй внелитературных русских посетителей Гете, лишь частично отраженный на предшествовавших страницах, оставлял свой след не только в памяти и дневниках Гете, но и в его доме. Драгоценные подарки Яковлева и Ханыкова, коллекция автографов, собираемая через Клингера, коллекция сибирских драгоценных камней и минералов от Строганова (быть может и от гр. Гр. Кирилл. Разумовского), коллекция древнерусских монет от А. А. Кавелина, коллекция барельефов от Ф. П. Толстого, коллекция слепков с камей и гемм Эрмитажа, полученная от Алопеуса, золотой и платиновый самородки от Канкрина, а по сути дела от Николая I, многочисленные подарки от Марии Павловны, драгоценная табакерка от Марии Федоровны, бюсты

от Александры Федоровны—вот самый краткий инвентарь полученный Гете от его аристократических русских знакомых. Стоит здесь вспомнить историю с суздальскими иконами: для исполнения желания Гете были мобилизованы и министр внутренних дел, и губернатор, и историограф. Список русских корреспондентов и адресатов Гете заключает в себе тридцать пять имен, но вероятен и еще ряд имен, доводящий его до полусотни. Список всех русских знакомцев Гете переходит за сотню, но он не отражает их действительного числа: оно было значительно больше.

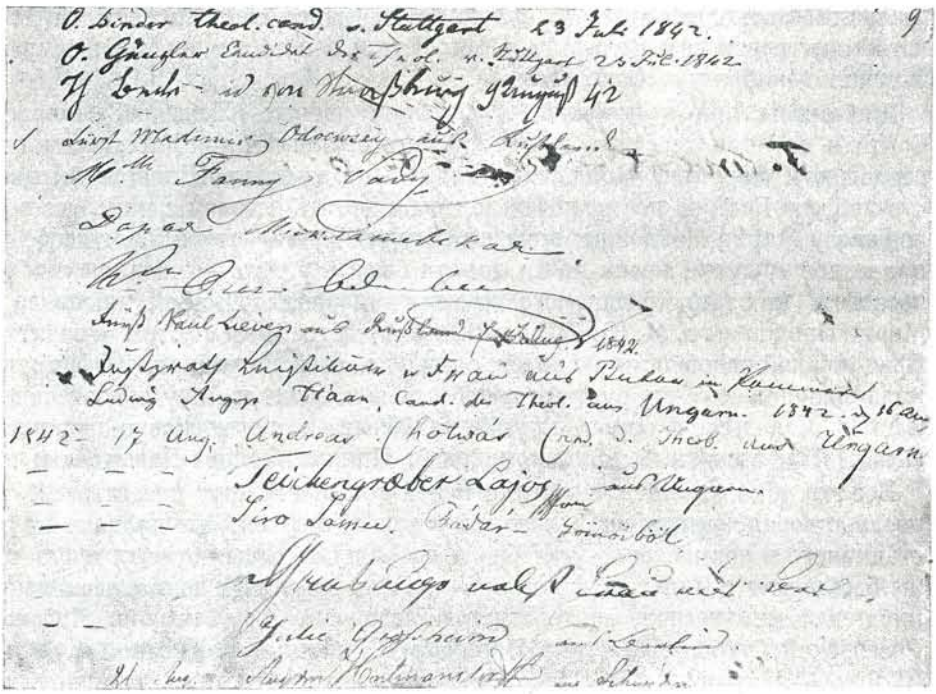
Тропа в дом Гете проложена была «высочайшими стопами» и поэтому она стала—особенно после 1813 года—торной для всех русских, кто появлялся в Германии и не хотел или не мог миновать Веймара. Довольно четко намечаются группы этих посетителей Гете. Тут есть и послы, и командированные, и визитеры, и путешественники, и паломники, и туристы, и «вояжеры».

Биограф Гете говорит, что его дом принимал в последнее тридцатилетие (1800—1832) жизни Гете кроме немцев еще «необозримый ряд иностранных гостей со всего цивилизованного мира». Для современников Гете был высшим представителем культуры вообще, и если сам не всегда и не для всех был «властителем дум» (это титул, более подходящий для Байрона) или «пленителем сердец» (что более подходит к Шиллеру), то всегда и для всех был владетелем вершины европейской культуры, при чем вершина эта была трехглавой: поэзия, философия, наука. Оттого с бьющимися сердцами паломничали к Гете «нежные Вертеры» разных стран и национальностей, но к нему же устремлялись и Фаусты современности из Англии, Франции, России, и Вильгельмы Мейстеры в годы своих странствий и социальных исканий, а с другой стороны—министр маленького Веймарского государства, тайный советник В. фон Гете, привлекал к себе и представителей европейской политики, государственности и придворного безделья больших и малых дворов царствующей Европы времен Империи и Реставрации: министр-поэт, писатель-царедворец у всех этих провинциальных королей и проселочных герцогов с их свитой почитался лицом, достойным их милостивого посещения.

Крепостная Россия XVIII—начала XIX в. влила свою струю в этот поток европейского посетительства. Перед нами прошли многочисленные представители этого русского потока. Они классово разнохарактерны—отсюда классовая разнохарактерность в их восприятии Гете: сиятельный крепостник, важный вельможа, представитель правящей дворянской России, носитель крупных чинов, знатный владелец крепостных душ ищет в тайном советнике фон Гете опоры для своих феодально-дворянских мнений и настроений. За крупным вельможей тянется и его провинциальный дворянский подголосок с его обожанием «великого Гиотте». Царская Россия в лице стоящей у власти феодально-дворянской бюрократической клики стремится сделать Гете орудием своей внешней и внутренней политики, использовать авторитет Гете и в реакционной политике мракобесия «Священного Союза», и в качестве примера послушного правительству слуги для строптивых русских литераторов. Иное видят в Гете представители антифеодального лагеря—декабрист Кюхельбекер, охваченный преддекабрьскими настроениями Строганов, разночинец Рожалин; они воспринимают в нем близкие к их классовой идеологии стороны: протест против разлагающегося феодального мира, песню нового молодого социального строя, идущего к нему на смену.

На фоне этой классово неоднородной толпы посетителей Веймара ярко видна и классовая сложность творчества Гете, и политическая острота использования Гете и его творчества как орудия классовой борьбы эпохи. Поскольку в настоящей работе нас интересуют именно русские посетители Гете, необходимо отметить, что последний относился к ним с особой внимательностью.

Рассказывая о доступности Гете для европейских посетителей, Бельшовский почтительно замечает: «И если великий человек и не принимал каждого безвестного писателя, каждого незрелого студента или какую-нибудь жену берлинского мясника, хотевшую выразить ему как автору «Коло-



Страница из книги записей посетителей (1842 г.) дома, в котором родился Гете во Франкфурте-на-Майне
Среди фамилий—имя В. Ф. Одоевского
Goethe-Museum, Франкфурт-на-Майне

кола» свое глубоко прочувствованное удивление, то все же доступность его была очень велика» (т. II, стр. 439). Это ограничение, о котором говорит биограф, относилось ко всем посетителям, только не к русским. Гете принимал всех русских посетителей без исключения. Неизвестно ни одного случая отказа в приеме русскому посетителю. Единственный раз, когда Гете заикнулся было об отказе русскому посетителю, был случай с Гречем, но и тут отказ был взят назад. Среди русских посетительниц Гете не находится параллели к «жене берлинского мясника», но вряд ли многие из русских дам, принятых им, были более осведомлены в его сочинениях, чем эта «жена мясника», и однако ни о каком отказе им и слуху нет. Гете принимал всех русских, и самое большее, если ворчал на них post factum как на тех двух туристов, на которых пожаловался Эккерману.

Причина этого предпочтения русским ясна: Гете находился в вотчине сестры русского императора, зависевшей от своих высоких русских род-

ственников. С появлением в Веймаре Марии Павловны образовался наиболее прочный круг посетителей Гете—от нее к нему шли и послы, и командированные, и визитеры. В Петербурге были сперва Александр, потом Николай Павлович. В Веймаре была Мария Павловна. Путешествуя по Германии, русскому сановнику, придворному или просто человеку хороших дворянских кровей было невозможно не нанести почтительного визита Марии Павловне: Александр или Николай Павлович в Петербурге непременно спросят: «А был ли ты у сестры?» Но нанести визит Марии Павловне—значило побывать непременно и у Гете, ибо поэт-министр был самым крупным алмазом очень скромной веймарской короны. Даже беззаботный насчет всякой литературы (если она не относится к ведомству III Отделения) генерал Бенкендорф,—и тот, будучи в Веймаре, «счел долгом явиться» к тайному советнику Вольфгангу фон Гете и в почтительности к нему не уступил декабристу Кюхельбекеру.

Дипломаты при веймарском и соседних дворах (Ханыков, Яковлев, Санти и др.) так же считают себя аккредитованными при Гете, как и при герцогах и королях. Вряд ли престарелый адмирал Шишков читывал что-либо из Гете, но все же почел долгом отметить встречу с ним: она произошла у Марии Павловны; вряд ли «Стурдзе библическому» мог особенно нравиться «Фауст», но он почел долгом бывать у Гете—отнюдь не «библического», но зато ласкаемого русским двором. Прямой посланец к Марии Павловне гр. М. Ю. Вьельгорский является и к Гете: это —визит по официальной надобности, но вместе с тем и по своей потребности. Официальная признанность Гете русским двором делает визит к нему обязательным и для молодых птенцов крупноусадебных и подмосковно-дворцовых гнезд. Таковы визиты к нему молодых Панина, Орлова-Давыдова и др.

Все это пока еще тот самый, или почти тот самый круг посетителей, что посольствовал, паломничал и вояжировал в Ферней: это высшие круги столичного и подмосковно-усадебного дворянства, отцы которых точно так же беседовали с Вольтером, как они—с Гете. Круг этот дает и нескольких писателей или господ, «литературе приверженных»: Ханыков, Лобанов-Ростовский, Стурдза, Полетика, Норов, гр. Р. Эдлинг, а один из этой группы—Шишков—является даже вождем целого литературного направления. Эта же группа официальных посетителей и чтителей Гете выставляет двух теоретиков и апологетов гетеанской политики русского двора—С. С. Уварова и кн. Э. П. Мещерского, в котором совмещается и вскормленник, и командированный, и постоянный турист и даже комми-вояжер Веймара и Гете.

Эта ведущая группа официальных и официозных гетеанцев дает начало моде на визиты и «вояжи» к Гете. С легкой руки царей, цариц и царедворцев устремление в Веймар с 1813 г. начинает приобретать характер своеобразного модного туризма: «просвещенный», т. е. прочитавший несколько французских книг и «Вертера» по-французски или по-русски, владетель каких-нибудь захолустных саратовских или тамбовских «крепостных душ», попав за границу, иногда считал долгом побывать и в Веймаре, как его отец, разгулявшись в Париже, не забывал заглянуть в Ферней. Юный Казадаев, несколько других русских с именем или без имени, проходящих тенями по дневникам Гете и по страницам «Разговоров с Эккерманом»,—вот примеры этих вояжеров из-за моды и туристов по советам высокопоставленных путеводителей. Этот второй круг посетителей Веймара уже значительно шире былых фернейцев: тут не одно вельможество,

не одни столичные верхи, но и среднедворянский, поместный и служилый круг.

Третью группу посетителей Гете составляют те, кто одной ногой стоит в придворной гостиной, другой в писательском кабинете. А. И. Тургенев и В. А. Жуковский с ранней юности были читателями Гете, чтителями его гения и рвались в Веймар еще через павловы рогатки. Это настоящие литературные паломники по устремлению, но, когда они попали в Веймар, их вертерьянские годы были уже позади, они, особенно Жуковский, успели примириться с тем обществом, которое изгнало из своей среды Вертера,—и их пребывание в Веймаре было одновременно и паломничеством к Гете, и почтительным представлением ко двору Марии Павловны. Жуковский в глазах Гете был чем-то близким к почетному и официальному представителю двора Николая Павловича. Таким посетителем был и А. А. Перовский: визит был двойствен—его делали одновременно и попечитель Харьковского учебного округа А. А. Перовский и писатель-романтик Антоний Погорельский.

Четвертая группа посетителей—чисто писательская. Она очень пестра: это ее резко отличает от былых посетителей Фернея. В ней и профессионал-журналист Греч, и вечно безместный «служащий дворянин» Кюхельбекер, переходящий в профессионалы-литераторы, и слегка фрондирующая кн. З. Волконская, наделенная подлинной любовью к искусству и столь же подлинной неуживчивостью с империей Николая I, тут и разночинец-скептик Рожалин, вычитавший из «Вертера» не то, что вычитывали Андрей Тургенев с товарищами, тут же и Шевырев, пока еще переводчик «Фауста», тут и любомудр-гетеанец, а в будущем откупщик и славянофил Кошелев. Это—путешественники и паломники к Гете; визит к Марии Павловне для них или просто не существует, или они наносят его тогда, когда уже нельзя не нанести его (Кошелев). Русская политика Гете им неприятна: Кошелев едва не сбежал от Гете из-за его изъявлений верноподданничества Николаю Павловичу с Марией Павловной. Эта группа ищет в Веймаре только Гете, а в Гете—только писателя: все остальное ей неинтересно. Немудрено, что этой группе, несмотря на то, что свидания ее с Гете были кратковременны, мы обязаны наиболее подробными сказаниями о нем. А. И. Тургенев живал по неделям в Веймаре, и показания его дневников больше относятся к двору Марии Павловны, чем к Гете. Рожалин и Шевырев пробыли в Веймаре один день, но сумели дать много ценного в своих письмах о Гете. Их путь к Гете был путем их собственного культурного развития. К личному общению с Гете их толкало долгое и плодотворное общение с его творчеством, толкала многолетняя работа над ним.

Смерть Гете прервала русские посещения Веймара тогда, когда они сделались уже настолько приметным явлением русской жизни, что появилась даже попытка обобщить это явление в художественном синтезе. В 1843 г. появился слабый роман Л. В. Бранта «Жизнь, как она есть. Записки неизвестного, ч. I—II. СПБ». В этом романе автор заставляет своего героя съездить в Веймар и описывает его беседу с Гете: ей посвящена вся XIII глава первой части (стр. 3—55). Это верный знак, что посещения Гете стали в конце 20-х—начале 30-х годов явлением столь же типичным для известных слоев русского общества, как посещения Толстого в Ясной Поляне в 80-х годах для гораздо более широких кругов того же общества: в конце 80-х годов появились также и первые изображения толстовства в художественной литературе.

Интересно взглянуть на круг посетителей гетевского дома уже после его смерти. Вот примеры русских записей из книги посетителей Дома Гете во Франкфурте-на-Майне: среди многих записей остзейских немцев читаем в 1842 г.: «Fürst Wladimir Odoewsky aus Russland. M-lle Fanny Davy. Дарья Миклашевская. Кн. Ольга Одоевская. Fürst Paul Lieven aus Russland» (7/VIII). Не знаем, кто такая Fanny Davy, но не удивляемся, встретя в Доме Гете давнего его почитателя любомудра кн. Вл. Ф. Одоевского с женою, кн. П. Ливена и какую-то Дарью Миклашевскую: это обычный круг и прижизненных посетителей Гете. Через два года встречаем посетителей: «D-r der Philosophie J. von Staden. Julius Diebrich, d-r med., aus Moskau» (1/VII 1844)—и это обычно: мало ли было у Гете поклонников из русских немцев и немецких русских? В 1847 г.: «Sokoloff, Mosaikarbeiter aus Petersburg» (2/X), а в 1856 г. «Professeur émérite de l'Académie Im-le des Beaux Arts de S. Petersbourg Nicolas Outkine» (13/VII): это продолжение того интереса к Гете, который был и у прежних русских художников: Кипренского, Толстого, Рейтерна. В 1857 г. «Gaievsky aus Petersburg»—это обычное литераторское посещение: тогда Шевырев, теперь—известный автор статей о Пушкине и Дельвиге В. П. Гаевский. Русский круг Веймара и Франкфурта остается тот же: он шире Фернея, но несравненно уже Ясной Поляны.

В этом круге есть как будто только одно вакантное место: в нем нет будущих «западников». Но в 1830—1840 гг. они много читали, переводили и истолковывали Гете. Герцен остроумно высмеивал лжегетеанство Уварова, Белинский приветствовал «Римские элегии» в переводе Струговщикова и нападал на «Менцеля, критика Гете», а друг его Ян. М. Неверов совершил паломничество в Веймар и оставил превосходный очерк: «Дом Гете в Веймаре. Из путевых записок» («Лит. прибавл. к «Русскому Инвалиду» 1839 г.). К дому Гете нашли свою тропу и «люди 40-х годов», но они по-разному и не так, как их предшественники, отнеслись к Гете. От поклонников Гете слово перешло к его критикам.

Писатели—лишь одна из групп русских посетителей Гете; история русских отношений Гете, как неоднократно повторялось в этой работе, значительно шире и сложнее его отношений с русскими писателями. Во всей глубине и сложности эти русские отношения Гете встанут пред нами лишь тогда, когда будет поднята нетронутая целина архивов русских и немецких. Остается пожелать, чтобы этот труд скорее был совершен. Тогда и история русских писательских посещений Гете будет освещена полнее и глубже, чем в этой работе.